АНРИ

БАРБЮС

Огонь
Ясность



ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Огонь. Ясность
Анри Барбюс

Аннотация
Анри Барбюс. Огонь. Ясность
Огонь. (Дневник взвода)
- Предисловие
- I. Видение
- II. В земле
- III. Смена
- IV. Вольпат и Фуйяд
- V. Стоянка
- VI. Привычки
- VII. Погрузка
- VIII. Отпуск
- IX. Великий гнев
- X. Арговаль
- XI. Собака
- XII. Портик
- XIII. Грубые слова
- XIV. Солдатский скарб
- XV. Яйцо
- XVI. Идиллия
- XVII. Подкоп
- XVIII. Спички

XIX. Бомбардировка
XX. Огонь
XXI. Перевязочный пункт
XXII. Прогулка
XXIII. Работа
XXIV. Заря
Ясность
I. Я
II. Мы
III. Вечер и рассвет
IV. Мари
V. Дни
VI. Голос из сумерек
VII. Выводы
VIII. Глашатай
IX. Гроза
X. Стены
XI. На краю света
XII. Тени
XIII. Куда идешь ты?
XIV. Развалины
XV. Явление
XVI. De profundis clamavi
XVII. Утро
XVIII. Глаза
XIX. Призраки

XX. Культ
XXI. Нет!
XXII. Ясность
XXIII. Лицом к лицу

Аннотация

«Огонь» – роман, сочетающий в себе черты дневниковой прозы и художественного произведения. Ужас Первой мировой войны, уже знакомый читателю по произведениям Ремарка, Хемингуэя и Юнгера, приобретает в нем иной, натуралистически-беспощадный характер.

Люди живут и умирают, а война идет. Это война – глазами ее очевидцев, страшная и бессмысленная. Война – разрушительная, сверхъестественная сила, «а не штык, сверкающий, как серебро, не петушиная песня рожка на солнце!».

В издание также вошел роман «Ясность», рассказывающий о судьбе обыкновенного конторского служащего Симона Полэна. Уныло и однообразно тянется день за днем его жизнь. Симона мало заботят происходящие вокруг события, его мысли устремлены к одной цели – «выбиться в люди». Но неожиданно жизнь Симона и многих молодых людей его поколения в корне меняется – начинается Первая мировая война…

Анри Барбюс
Огонь. Ясность

Henri Barbusse
LE FEU
CLARTE

Copyright © Перевод. Н. Яковлева, наследники, 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026

* * *

Огонь. (Дневник взвода)

Предисловие[1]

В этой книге, простой и беспощадно правдивой, рассказано о том, как люди разных наций, но одинаково разумные, истребляют друг друга, разрушают вековые плоды своего каторжного и великолепного труда, превращая в кучи мусора храмы, дворцы, дома, уничтожая дотла города, деревни, виноградники, как они испортили сотни тысяч десятин земли, прекрасно возделанной их предками и ныне надолго засоренной осколками железа и отравленной гнилым мясом безвинно убитых людей.

Занимаясь этой безумной работой самоистребления и уничтожения культуры, они, люди, способные разумно рассуждать обо всем, что раздражает их кожу и нервы, волнует их сердца и умы, молятся богу, молятся искренне и, как описывает это один из героев книги, молятся «идиотски одинаково», после чего снова начинают дикую работу самоубийства, так же «идиотски

---

[1] Примечания: 1

Печатается по тексту: М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24. М., 1953. В тексте М. Горького указание на страницы дано по книге: А. Барбюс. В огне. М., 1935, перевод И. Е. Спивака. Текст А. Барбюса цитируется М. Горьким в том же переводе

одинаково». На странице 251 читатель найдет эту картину богослужения немцев и французов, одинаково искренне верующих, что в кровавом и подлом деле войны «с нами бог».

И они же затем говорят: «Богу — наплевать на нас!» И они же, герои, великомученики, братоубийцы, спрашивают друг друга:

«– Но все-таки как же он смеет, этот Бог, позволять всем людям одинаково думать, что он — с ними, а не с другими?»

Мысля трогательно, просто, как дети, — в общем же «идиотски одинаково», — эти люди, проливая кровь друг друга, говорят:

«– Если бы существовал Бог, добрый и милосердный, — холода не было бы!»

Но, рассуждая так ясно, эти великие страстотерпцы снова идут убивать друг друга.

Зачем?

Почему?

Они и это знают, — они сами говорят о себе:

«– Ах, все мы не плохие люди, но — такие жалкие и несчастные. И при этом мы глупы, слишком глупы!»

И, сознавая это, они продолжают позорное, преступное дело разрушения.

Капрал Бертран знает больше других, он гово-

рит языком мудреца.

«– Будущее! — воскликнул он вдруг тоном пророка. — Какими глазами станут смотреть на нас те, которые будут жить после нас и душа которых будет наконец приведена в равновесие прогрессом, неотвратимым, как рок? Какими глазами они посмотрят на эти убийства и на наши подвиги, о которых даже мы сами, совершающие их, не знаем, следует ли сравнивать их с делами героев Плутарха и Корнеля или же с подвигами апашей?.. И, однако, смотри! Есть же одно лицо, один образ, поднявшийся над войной, который вечно будет сверкать красотою и мужеством!

Опершись на палку, склонившись к нему, я слушал, впивая в себя эти слова, раздавшиеся в безмолвии ночи из этих почти всегда безмолвных уст. Ясным голосом он выкрикнул:

— Либкнехт!

И поднялся, не разжимая скрещенных рук. Его прекрасное лицо, хранившее серьезность выражения статуи, склонилось на грудь. Но вскоре он снова поднял голову и повторил:

— Будущее! Будущее! Дело будущего — загладить это настоящее, стереть его из памяти людей как нечто отвратительное и позорное. И, однако, это настоящее необходимо, необходимо! Позор

военной славе, позор армиям, позор ремеслу солдата, превращающему людей поочередно то в безмозглые жертвы, то в подлых палачей! Да, позор! Это правда, но это — слишком правда; правда для вечности, но еще не для нас. Это будет правдой, когда ее начертают среди других истин, постичь которые мы сумеем лишь позже, когда очистится дух наш. Мы еще далеки от этого. Теперь, в данный момент, это правда почти заблуждение; это священное слово только богохульство!

Он как-то особенно звучно рассмеялся и задумчиво продолжал:

— Как-то раз я сказал им, что верю в пророчества, только для того, чтобы приободрить их и заставить идти вперед».

Но, говоря так, спокойный, мужественный человек, уважаемый всеми людьми своего взвода, ведет их на бессмысленную бойню и умирает на грязном поле, среди гниющих трупов.

Во всем этом ярко и насмешливо горит убийственное противоречие, унижающее человека до степени безвольного инструмента, до какой-то отвратительной машины, созданной злой и темной силой на служение ее дьявольским целям.

И близки и милы душе эти несчастные герои,

но, поистине, они кажутся прокаженными, носящими в себе самих навеки непримиримое противоречие разума и воли. Кажется, что разум их уже настолько окреп и силен, что в состоянии остановить эту отвратительную бойню, прекратить мировое преступление, но… воли нет у них, и, понимая всю гадость убийства, отрицая его в душе, они все-таки идут убивать, разрушать и умирать в крови и грязи.

«– Битвы производятся нашими руками, — говорят они. — Мы служим материалом для войны. Она состоит вся только из плоти и душ простых солдат. Это мы нагромождаем трупы на равнинах и наполняем реки кровью, все мы, хотя каждый из нас невидим и молчалив, ибо слишком велико наше число. Опустевшие города, разоренные села и деревни — это пустыни, лишившиеся нас или оставшиеся после нас. Да, все это мы — и только мы!

— Да, это правда. Война — это народы. Без них не было бы ничего, кроме разве перебранки издалека. Но войну решают не они, а те, которые правят.

— Народы борются теперь, чтобы избавиться от этих правителей. Эта война не что иное, как продолжающаяся Французская революция.

— В таком случае выходит, что мы работаем также и для пруссаков?

— Будем надеяться, что и для них, — согласился один из страдальцев.

— Народы — это ничто, а они должны быть всем, — проговорил в этот момент человек, вопрошающе глядевший на меня; он повторил неведомую для него историческую фразу, которой уже больше века, но придал ей наконец ее великий всемирный смысл.

И этот несчастный, стоя на четвереньках в грязи, поднял свое лицо прокаженного и жадно заглянул вперед, в бесконечность».

Что он увидит там?

Мы верим, что он увидит своих потомков свободными, разумными и сильными волей.

Эту страшную и радостную книгу написал Анри Барбюс, человек, лично переживший весь ужас войны, все ее безумие. Это не парадная книга гениального Льва Толстого, гений которого созерцал войну в далеком прошлом; это не жалобное сочинение Берты Зутнер «Долой войну!», — сочинение, написанное с добрым намерением, но неспособное никого и ни в чем ни убедить, ни разубедить.

Это — книга простая, исполненная пророче-

ского гнева, это — первая книга, которая говорит о войне просто, сурово, спокойно и с необоримою силою правды. В ней нет изображений, романтизирующих войну, раскрашивающих ее грязно-кровавый ужас во все цвета радуги.

Барбюс написал будни войны, он изобразил войну как работу, тяжелую и грязную работу взаимного истребления ни в чем не повинных людей, — не повинных ни в чем, кроме глупости. В его книге нет поэтически и героически раскрашенных картинок сражений, нет описаний мужества отдельных солдат, — книга Барбюса насыщена суровой поэзией правды, она изображает мужество народа, мужество сотен тысяч и миллионов людей, обреченных на смерть и уничтожение великим провокатором народов — капиталом. Этот Дьявол, совершенно реальный, неутомимо действующий среди нас, — это он главный герой книги Барбюса. Ослепив миллионы простаков ложным блеском идей и учений, убивающих волю, отравив их ядом жадности, зависти, своекорыстия, он согнал миллионы их на плодородные поля Франции, и там они в течение четырех лет разрушают в прах все созданное трудом многих столетий, еще раз показывая самим себе, что злейший враг человека — его безволие

и неразумие.

Барбюс глубже, чем кто-либо до него, заглянул в сущность войны и показал людям бездну их заблуждения.

Каждая страница его книги — удар железного молота правды по всей той массе лжи, лицемерия, жестокости, грязи и крови, которые в общем зовутся войной. Мрачная книга его страшна своей беспощадной правдой, но всюду во мраке изображаемого им сверкают огоньки нового сознания, — и эти огоньки, мы верим, скоро разгорятся во всемирное пламя очищения земли от грязи, крови, лжи и лицемерия, созданных Дьяволом Капитала. Люди, о которых говорит Барбюс, уже начинают смело отрицать власть бога над человеком, и это верный признак, что скоро они почувствуют, со стыдом и гневом, как преступна и отвратительна власть человека над подобным себе.

Мы живем в трагические дни, нам невыносимо тяжело, но мы живем накануне возрождения всех добрых сил человека к свободному творчеству и труду. Это — правда, и она должна утешить нас, увеличить наши силы, придать нам бодрость.

М. Горький

Предшествующее было написано за 15 лет до

наших дней, в трагический год голода, в год конца победоносной войны голодных пролетариев, рабочих и крестьян, против богато вооруженных капиталистами Европы армий русских фабрикантов и помещиков и против посланных европейскими лавочниками — в помощь своим братьям по жиру и духу — войск, среди которых был даже отряд кавалерии на ослах.

За полтора десятка лет пролетариат царской России и ее колоний непрерывным, чудотворным трудом превратил обширную безграмотную страну полунищих крестьян и полудикой жадной мелкой буржуазии — в мощный социалистический братский союз народов.

Ныне капиталисты Европы снова затевают войну, основная цель которой нападение на Союз Социалистических Советов. Для того чтоб начать эту войну, капиталистам необходимо единство. Наиболее наглая и очумевшая группа их предполагает достичь единства по примеру Наполеона: побить своих соседей и, схватив побежденных за шиворот, двинуть их против государства социалистического. План простой и ясный, этот план и заставил меня вспомнить об ослах.

Позорнейшая роль ослов в бойне 1914–18 годов характеризуется, как известно, поведением

вождей немецкой социал-демократии, русских меньшевиков, эсеров и многих прочих вождей той мелкой буржуазии, из которой капиталисты 15 лет фабрикуют фашистов.

Мне кажется, что социалистически-революционная ценность работы Барбюса и других — сродных ему по духу — литераторов особенно хорошо и ясно видна именно с этой выше намеченной точки зрения. Его книга — одна из первых, которые за 15 лет отрезвили многие тысячи голов, опьяненных кровью, и антифашистское движение, все более широко растущее в наши дни, должно признать Барбюса одним из первейших своих основоположников.

М. Горький

11 сентября 1935 года

I. Видение

Памяти товарищей, павших рядом со мной под Круи и на высоте 119

А. Б.

Лицом к вершинам Дан-дю-Миди, Эгюий-Верт и Монблана, на галерее санатория, в ряд лежат люди; из-под одеял виднеются исхудалые бескровные лица; глаза лихорадочно блестят.

Эта застекленная терраса дворца-госпиталя одиноко возвышается над миром.

Красные, зеленые, коричневые, белые одеяла из тонкой шерсти не шевелятся. На шезлонгах царит молчание. Кто-то кашлянул. Изредка слышится только шелест мерно переворачиваемых страниц книги или вопрос и ответ осторожно перешептывающихся соседей, или иногда на балюстраде хлопает крыльями дерзкая ворона, которая отбилась от стай, рассыпающихся бусами черного жемчуга в прозрачном небе.

Молчание здесь — закон. К тому же, эти богатые, независимые люди, съехавшиеся сюда со всех концов света, пораженные одним и тем же недугом, отвыкли говорить. Они ушли в себя и

думают только о своей жизни и смерти.

На галерее появляется служанка; она вся в белом и двигается бесшумно. Она раздает газеты.

— Кончено! — говорит тот, кто первый развернул газету. — Война объявлена!

Хотя все давно готовы к этому известию, оно потрясает: ведь все чувствуют его безмерное значение.

Эти умные, образованные люди, умудренные страданием и раздумьем, отрешенные от жизни, далекие от других людей, словно уже принадлежа будущему, глядят вдаль, в непонятную страну живых и сумасшедших.

— Это преступление со стороны Австрии! — говорит австриец.

— Или Англии, — говорит англичанин.

— Надеюсь, что Германия будет побеждена, — говорит немец.

* * *

Они опять ложатся под одеяла, лицом к вершинам и небу. Но, несмотря на чистоту воздуха, тишина полна принесенной вестью.

Война!

Некоторые нарушают молчание и вполголоса

повторяют это слово, размышляя о том, что наступает величайшее событие нашего времени, а может быть, и всех времен.

Эта весть вызывает в сияющей природе какой-то смутный сумрачный мираж.

Среди спокойных просторов долины, украшенной розовеющими деревьями и бархатистыми пастбищами, среди великолепных гор, под черными зубцами елей и белыми зубцами вечных снегов возникает движение толп.

Везде кишат полчища. По полям, волна за волной, они несутся в атаку и застывают; дома выпотрошены, как люди, и города — как дома; деревни предстают раздробленной белизной, словно упав с неба на землю; страшные груды мертвецов и раненых меняют вид равнин.

Каждый народ, пожираемый со всех сторон резней, беспрестанно вырывает из своих недр все новых солдат, полных сил и крови; в реку смерти вливаются живые притоки.

На севере, на юге, на западе, повсюду идут бои. Куда ни повернешься, — везде война.

Кто-то из этих бледных провидцев приподнимается на локте, называет и подсчитывает сегодняшних и грядущих участников войны: тридцать миллионов солдат. Другой, ошеломлен-

ный зрелищем войны, бормочет:

— Бьются две армии: это кончает самоубийством единая великая армия.

— Не надо бы… — глухим голосом говорит первый в ряду.

Другой возражает:

— Начинается опять Французская революция.

— Берегитесь, монархи! — шепотом возвещает третий.

— Может быть, это последняя война, — прибавляет четвертый.

Молчание. Несколько человек, еще бледные от трагедии бессонной ночи, покачивают головой.

— Прекратить войны! Да разве это мыслимо? Прекратить войны! Язва мира неисцелима!

Кто-то кашляет. И под солнцем пышных лугов, где лоснятся гладкие коровы, опять воцаряется великая тишина; черные леса, и зеленые поля, и голубые дали заслоняют видение и гасят отсвет огня, от которого загорается и рушится старый мир. В бесконечной тишине замирает гул ненависти и страдания черной вселенной. Собеседники, один за другим, опять уходят в себя, озабоченные тайной своих легких и спасением своего тела.

Но когда в долину нисходит вечер, на вершинах Монблана разражается гроза.

В такие опасные вечера выходить запрещается; даже до большой веранды в гавань, куда укрылись больные, — долетают последние волны ветра.

Пожираемые внутренней язвой, смертельно раненные люди созерцают переворот стихий; от ударов грома над горами приподнимаются тучи, расстилавшиеся, как море, и с каждым ударом в сумраке словно вздымается огненный и дымный столп; бледные, изможденные зрители следят за орлами, кружащими в небе и взирающими на землю сквозь клубы туманов.

— Прекратить войны! Прекратить грозу!

Но, достигнув грани живого мира, освободившись от страстей и пристрастий, от приобретенных понятий, от власти традиций, прозрев, умирающие сознают простоту бытия и видят великие возможности.

Последний в ряду восклицает:

— Внизу что-то ползет!

— Да… что-то живое.

— Как будто растения…

— Как будто люди.

И вот в зловещих отсветах грозы, под черными взлохмаченными тучами, тяжело нависшими над землей, как злые ангелы, открывается ка-

кая-то широкая лиловая равнина. Из недр этой равнины, затопленной грязью и водой, выходят призраки; они цепляются за поверхность почвы, они обезображены, как чудовищные утопленники. Чудится, что это солдаты. Изрезанная длинными параллельными каналами, истекающая потоками, изрытая ямами, полными воды, равнина непомерна, и погибающим нет числа… Но тридцать миллионов рабов, преступно брошенных друг на друга в войну, в эту грязь, поднимают головы, и на их человеческих лицах наконец появляется выражение воли. В руках этих рабов будущее, и ясно, что старый мир обновится только благодаря союзу, который когда-нибудь заключат те, чье число и страдания бесконечны.

II. В земле

Большое бледное небо переполнено раскатами грома: при каждом взрыве, от ударов рыжей молнии, одновременно взвивается огненный столп в уходящую ночь и дымный столп в бледный рассвет.

Там, высоко-высоко, далеко-далеко, кольцом взлетает стая страшных, мощно и прерывисто дышащих птиц; они глядят на землю; их слышно, но не видно.

Земля! При свете медлительной, безысходной зари открывается огромная, залитая водой пустыня. В лужах и воронках по воде пробегает рябь от колючего предутреннего ветерка; на этих полях бесплодия, изрезанных рытвинами, в скудном мерцании поблескивают, как стальные рельсы, колеи дорог, проложенных ногами солдат и ночными обозами; из грязи торчат сломанные колья, вывихнутые рогатки, перекрещенные наподобие буквы Х; спутанные, скрученные мотки, целые заросли проволоки. Везде илистые отмели и лужи; словно непомерная, серая, кое-где затонувшая холстина колышется на море. Дождь перестал, но все мокро, влажно, вымыто, вымокло, затоплено,

и даже белесый свет как будто течет.

Обозначаются длинные извилистые рвы, где сгущается осадок ночи. Это окопы. Дно устлано слоем грязи, от которой при каждом движении приходится с хлюпаньем отдирать ноги; вокруг каждого убежища скверно пахнет мочой. Если наклониться к боковым норам, они тоже смердят, как зловонные рты.

Из этих горизонтальных колодцев вылезают тени; движутся чудовищными бесформенными громадами, словно какие-то медведи топчутся и рычат. Это мы.

Мы закутаны, как жители арктических стран. Шерсть, брезент, одеяла обволакивают нас, странно округляют, торчат и высятся над нами. Кое-кто потягивается, зевает во весь рот. Различаешь лица, красные или лиловатые, испещренные грязью, заросшие нестрижеными бородами, запачканные небритой щетиной; словно светом ночников, они чуть озарены слипшимися, заспанными глазами.

Трах! Тах! Тах! Ббац! Ружейные выстрелы, канонада. Над нами везде треск или грохот — продолжительные раскаты или отдельные удары. Черная огненная гроза не стихает никогда, никогда. Уже больше пятнадцати месяцев, уже

пятьсот дней в этом уголке мира перестрелка и бомбардировка идут непрестанно: с утра до вечера и с вечера до утра. Мы погребены в недрах поля вечной битвы; но словно тиканье домашних часов в былые времена — в почти легендарном прошлом, — этот грохот слышишь, только когда прислушаешься.

Из-под земли показывается пухлая детская мордочка с воспаленными веками, с такими красными скулами, точно на них наклеили ромбы из красной бумаги; открывается один глаз, оба глаза; это — Паради. Его щеки испещрены полосами: это отпечатались складки парусины, под которой он спал, укрывшись с головой.

Он обводит нас взглядом своих маленьких глазок, замечает меня, кивает головой и говорит:

— Ну вот, прошла еще одна ночь!

— Да, а сколько нам еще предстоит таких ночей?

Он воздевает к небу пухлые руки. С трудом он извлек себя из землянки, и вот он уже рядом со мной. Он споткнулся о какую-то кучу; она оказалась человеком, который сидит в полутьме на земле, остервенело чешется и тяжело вздыхает. Паради уходит, шлепая по лужам, ковыляя, как пингвин, среди потопа.

* * *

Мало-помалу из недр земли вылезают люди. В углах сгущается тень; эти человеческие тучи приходят в движение, дробятся… Их узнаешь всех, одного за другим.

Вот появляется человек; голова у него закутана в одеяло, словно в капюшон. Дикарь, или, верней, палатка дикаря! Раскачивается справа налево и перемещается. Вблизи, в плотной оправе вязаной шерсти, можно различить квадратное желтое, йодистое лицо в черноватых пятнах: переломанный нос, раскосые китайские глаза и жесткие мокрые усы, похожие на щетку.

— А-а, вот Вольпат! Как дела, Фирмен?

— Дела, дела как сажа бела! — отвечает Вольпат.

Он говорит с трудом, протяжно, хриплым голосом. Кашляет.

— На этот раз мне каюк. Слышал ночью атаку? Ну и жарили они! Основательная поливка!

Он сопит и вытирает рукавом вогнутый нос. Запускает руку за пазуху под шинель и куртку, нащупывает тело и начинает чесаться.

— На свечке я сжег штук тридцать «блондинок», — ворчит он. — В большой землянке, у

подземного прохода, их тьма-тьмущая, прямо кишмя кишат! Я видел, как они шныряют по соломе, вот как я сейчас вижу тебя.

— А кто ходил в атаку? Боши?

— Боши, и мы тоже. Это было у Вими́. Контратака. Ты не слыхал?

— Нет, — отвечает за меня толстяк Ламюз, человек-бык. — Я храпел вовсю. Ведь прошлой ночью я был на работах.

— А я слыхал, — объявляет маленький бретонец Бике. — Я плохо спал; вернее, совсем не спал. У меня своя собственная землянка. Да вот, поглядите, вот она, паскуда!

Он показывает на продолговатую ямку у самой поверхности земли; здесь на кучке навоза только-только может улечься один человек!

— Ну и никудышная квартира! — восклицает он, покачивая маленькой, словно недоделанной, головой, — я почти и не дрых; уже засыпал, да помешали… проснулся… Не от шума, а от запаха. Сменяли сто двадцать девятый полк. Да-а, все эти парни шагали у самой моей морды. Я и проснулся: так ударило в нос.

Мне это знакомо. Я часто просыпался в окопах от густой вони, которая тянется за проходящим отрядом.

— Эх, кабы это убивало вшей! — говорит Тирет.

— Наоборот, это их подзадоривает, — замечает Ламюз. — Чем больше смердишь, тем больше их у тебя заводится.

— И хорошо еще, — продолжает Бике, — что они меня разбудили своей вонью! Вот я сейчас рассказывал этому толстобрюхому: продрал глаза как раз вовремя; успел схватить свой брезент (я им закрываю мою дыру); какой-то сукин сын уже собирался его спереть.

— В сто двадцать девятом полку все как есть сволочи!

В глубине, у наших ног, сидит на корточках человек; при утреннем свете его трудно разглядеть; он обеими руками хватается за свои одеяния, скребется и чешется. Это дядюшка Блер.

Он мигает узкими глазками; его лицо покрыто слоем пыли. Над беззубым ртом торчат толстыми желтоватыми комками усы. Руки чудовищно черны; они так грязны, словно обросли волосами, а ладони покрыты жесткой серой корой. От этой скрюченной фигуры пахнет старой кастрюлей.

Он усердно чешется и в то же время болтает с долговязым Барком, который стоит в стороне и наклонился к нему.

— Дома я не такой грязный и черный, — гово-

рит Блер.

— Н-да, бедняга, дома ты, наверно, белей! — замечает Барк.

— Твое счастье, — подзадоривает Тирет, — а то бы твоя женка народила от тебя негритят!

Блер сердится. Хмурит брови (его лоб совсем черный от грязи).

— Чего ты лезешь? А хотя б и так? На то и война. А ты, чучело гороховое, ты думаешь, на войне у тебя не изменился фасад и повадки? Да погляди на себя, обезьянья харя, погань неумытая! Эка, понес околесицу! Бывают же такие дурни!

Он проводит рукой по темной коре, покрывающей его лицо; после стольких дождей она оказалась несмываемой.

— Да и если я такой, каков я есть, значит, я так хочу. Прежде всего у меня нет зубов. Лекарь уже давно сказал мне: «У тебя больше нет ни одного зуба. Этого слишком мало. На первой же остановке ступай, говорит, в *естаматологический* кабинет».

– *Томатологический*, — поправляет Барк.

— Стоматологический, — устанавливает Бертран.

— А я не пошел: не хотел, — продолжает Блер, — хоть лечат и задаром.

— Почему же не пошел?

— Да так, неохота возиться, — отвечает он.

— Ты сущий повар, — говорит Барк. — Тебе бы надо заделаться поваром.

— Я и сам так думаю, — простодушно соглашается Блер.

Все смеются. Черный человек обижен. Он встает.

— У меня от вас брюхо заболело, — презрительно отчеканивает он. — Пойду в нужник.

Когда его черный силуэт исчез, собеседники лишний раз повторяют старую истину, что на фронте грязнее всех повара.

— Если увидишь чумазого парня с грязным рылом и в грязной одежде, такого, что прикоснуться к нему можно только щипцами, так и знай: наверняка повар! И чем грязней, тем он верней повар.

— Истинно верно! — подтверждает Мартро.

— А-а, вот Тирлуар! Эй, Тирлуар!

Тирлуар подходит, озабоченный, поглядывая туда-сюда; он бледен, как хлор; худая шея пляшет в слишком широком и жестком воротнике шинели. У него острый подбородок; верхние зубы торчат; резкие морщины с глубоко забившейся в них грязью у рта кажутся намордником. По обык-

новению, он взбешен и, как всегда, бранится:

— У меня ночью свистнули сумку!

— Это сто двадцать девятый полк! А где ты ее держал?

Он показывает на штык, воткнутый в стенку, у входа в прикрытие.

— Здесь висела, вот на этой зубочистке.

— Растяпа! — хором восклицают собеседники. — Сам людям подставил! Да ты что, рехнулся?

— Экая досада! — стонет Тирлуар.

Вдруг его охватывает гнев; его лицо передергивается, кулаки сжимаются, словно узлы веревки. Он потрясает ими.

— Эх, попадись мне этот стервец! Да я бы ему морду разбил, выпотрошил бы ему брюхо, да я бы… Ведь у меня в сумке лежал непочатый кусок сыру. Пойти еще поискать, что ли!

Он растирает себе живот кулаком, короткими взмахами, словно ударяя по струнам, он держится с чувством собственного достоинства; его лицо искажается гневом; похожий на больного, закутанного в халат, он уходит в утреннюю мглу. Его ругань доносится даже издали; наконец он исчезает.

— Вот балда! — говорит кто-то.

Все хихикают.

— Он свихнулся и спятил, — объявляет Мартро, по обыкновению усиливая мысль сочетанием двух однозначащих слов.

* * *

— Эй, братишка, погляди, — говорит явившийся Тюлак, — погляди-ка!

Тюлак великолепен. На нем казакин лимонно-желтого цвета, сшитый из непромокаемого спального мешка. Тюлак проделал в нем дыру для головы и поверх этого футляра надел ремни и пояс. Он рослый, костлявый, решительный. На ходу он вытягивает шею и косит глазами. Он что-то держит в руке.

— Вот нашел сегодня, когда копал ночью землю в конце Нового хода: мы меняли прогнивший настил. Хорошая штуковина, мне сразу понравилась. Это топор старинного образца.

Действительно, «топор старинного образца»: заостренный камень с рукояткой из побуревшей кости. Настоящее доисторическое орудие.

— Его удобно держать, — говорит Тюлак, помахивая своей находкой. — Да, недурно придумано. Лучше сделано, чем наши топорики военного образца. Словом, сногсшибательно! На, погляди-

ка!.. А-а? Отдай. Он мне пригодится. Увидишь…

Он потрясает этим топором четвертичного периода и сам кажется питекантропом, наряженным в лохмотья, укрывшимся в недрах земли.

* * *

Один за другим подходят солдаты из отделения Бертрана и собираются у поворота траншеи. В этом месте она немного шире, чем в той части, где тянется ровно: там, чтобы разминуться, надо прижаться к грязной стенке и упереться животом в живот товарища.

Наша рота в резерве; она занимает окопы второй линии. Здесь нет сторожевой службы. Ночью нас посылают вперед на земляные работы, но, пока светло, нам нечего делать. Нас свалили в одну кучу; мы словно прикованы локоть к локтю; нам остается только как-нибудь убить время до вечера.

Дневной свет наконец пробился в бесконечные трещины, избороздившие эту местность; он добирается до наших нор. Печальный свет севера! Здесь даже небо тесное и грязное, словно отягченное дымом и смрадом заводов. При этом тусклом освещении разнородные наряды жителей нашего дна предстают во всем своем убожестве среди

огромной безысходной нищеты, породившей их. Но ведь здесь ружейные выстрелы кажутся однообразным тиканьем часов, а пушечные залпы — урчанием кота; ведь великая драма, которую мы разыгрываем, тянется слишком долго, и больше не удивляешься своему виду и наряду, придуманному нами для защиты от дождя, льющегося сверху, от грязи, проникающей снизу, от бесконечного холода, пребывающего всюду.

Звериные шкуры, одеяла, парусина, вязаные шлемы, суконные и меховые шапки, шарфы, накрученные на шею или повязанные, как чалмы; фуфайки и сверхфуфайки, сверходеяния и кровли из клеенчатых, просмоленных, прорезиненных капюшонов, черных или всех (полинявших) цветов радуги, покрывают этих людей, скрывают форменную одежду почти так же, как кожу, и расширяют тело и голову до огромных размеров. Один напялил на спину квадратную клеенку с большими белыми и красными клетками, найденную где-то на стоянке в столовой, — это Пепен; его узнаешь уже издали скорей по этой арлекиновой вывеске, чем по его бледному бандитскому лицу. Вот оттопыривается манишка Барка, вырезанная из стеганого одеяла, когда-то розового, а теперь бурого от пыли и дождя.

Вот огромный Ламюз — разрушенная башня с остатками афиш. Вот маленький Эдор: кираса из чертовой кожи придает ему вид жесткокрылого насекомого с глянцевитой спинкой; и среди них всех, как Великий вождь, блистает оранжевым нагрудником Тюлак.

Каска придает некоторое единообразие головам всех этих людей. Да и то! Одни надевают ее на кепи, как Бике; другие — на вязаный шлем, как Кадийяк, третьи — на шапку, как Барк, — и это усложняет наряд и создает разнообразие.

А наши ноги!.. Только что, согнувшись в три погибели, я спустился в нашу землянку — низкий тесный погреб, отдающий сыростью и плесенью; здесь натыкаешься на пустые банки из-под консервов и грязные тряпки; здесь валялись два длинных спящих свертка, а в углу, при свете огарка, какая-то тень, стоя на коленях, рылась в сумке… Вылезая через прямоугольное отверстие, я увидел ноги. Они торчали отовсюду, горизонтально, вертикально или наклонно, вытянутые, согнутые, сплетенные, они мешали пройти; все их проклинали; это была многообразная и многоцветная коллекция: гетры и краги, черные и желтые, высокие и низкие, из кожи, из плотной парусины, из какой-то непромокаемой ткани;

обмотки — синие, голубые, черные, серые, цвета хаки, коричневые… Один только Вольпат все еще носит короткие краги времен мобилизации; Мениль Андре уже две недели щеголяет в чулках из грубой зеленой шерсти. А Тирета всегда узнаешь по серым в белую полоску суконным обмоткам, вырезанным из штатских брюк, висевших черт знает где в начале войны… У Мартро обмотки разного цвета: ему не удалось найти два одинаковых изношенных и грязных куска шинели, чтобы разрезать их на полосы. У некоторых солдат ноги обернуты в тряпки, даже в газеты, обмотаны спиралями веревок или даже телефонными проводами (это практичней). Пепен ослепляет товарищей и прохожих рыжими крагами, которые он снял с мертвеца. Барк считает себя (ну и надоедает же он иногда!) изворотливым парнем, мастером на выдумки: он обмотал гетры марлей; эти белые икры, вязаная шапка, белеющая из-под каски, и клок рыжих волос на лбу придают ему клоунский вид. Потерло вот уже месяц ходит в сапогах немецкого солдата, в отличных, почти новых сапогах, подбитых подковками. Их дал ему на хранение Карон, когда был ранен в руку и эвакуирован. А сам Карон снял их с баварского пулеметчика, убитого на Пилонской дороге. Пом-

ню, как наш Карон рассказывал об этом:

— Да, милый мой, лежит парень задом в яме, весь согнулся, глазеет в небо, а ноги задрал вверх. Как будто подставляет мне свои сапожки и хочет сказать: «Бери, пожалуйста!» — «Что ж, ладно!» — говорю. Зато сколько хлопот было стащить с него эти чоботы; и повозился же я! Добрых полчаса пришлось тянуть, поворачивать, дергать, накажи меня бог: ведь парень мне не помогал, лапы у него не сгибались. Ну, я столько тянул, что в конце концов ноги от мертвого тела отклеились в коленях, штаны порвались и — трах! — в каждой руке у меня по сапогу, полному каши. Пришлось опорожнить их, выбросить из них ноги.

— Ну, брат, врешь!

— Спроси у самокатчика Этерпа! Он мне помогал: мы запускали руки в сапог и вытаскивали оттуда кости, куски мяса и носков. Зато какие сапоги! Гляди! Стоило потрудиться!

...И вот, пока не вернется Карон, Потерло вместо него носит сапоги, которые не успел износить баварский пулеметчик.

Так по мере сил, разумения, энергии, возможности и смелости каждый изворачивается, стараясь бороться с чудовищными невзгодами. Каждый показывает себя и словно говорит: «Вот все, что

я сумел, смог, посмел сделать в страшной беде, в которую попал».

Мениль Жозеф дремлет, Блер зевает. Мартро уставился в одну точку и курит. Ламюз чешется, как горилла, а Эдор — как мартышка. Вольпат кашляет и ворчит: «Я подохну». Мениль Андре вынул зеркальце и гребенку и холит свою шикарную каштановую бороду, словно редкостное растение. Однообразная тишина то тут, то там прерывается приступами неистового волнения, вызываемого повсеместным, неизбежным, заразительным присутствием паразитов.

Барк — парень наблюдательный; он обводит всех взглядом, вынимает изо рта трубку, плюет, подмигивает и говорит:

— Ну и не похожи мы друг на друга!

— А с чего нам быть похожими? — отвечает Ламюз. — Это было бы чудом.

* * *

Наш возраст? Мы все разного возраста. Наш полк — резервный; его последовательно пополняли подкрепления, — то кадровые части, то ополченцы. В нашем полувзводе есть запасные из ополчения, новобранцы и солдаты среднего

возраста. Фуйяду сорок лет. Блер мог бы быть отцом Бике, новичка призыва тринадцатого года. Капрал называет Мартро «дедушкой» или «старым отбросом», смотря по тому, шутит он или говорит серьезно. Мениль Жозеф, если бы не война, остался бы в казарме. Забавное зрелище, когда нас ведет сержант Вижиль, славный мальчуган с пушком над губой; на днях, на стоянке, он прыгал через веревочку с ребятами. В нашей разношерстной компании, в этой семье без семьи, у очага без очага, объединены три поколения; они живут, ждут, цепенеют, словно бесформенные истуканы, словно дорожные столбы.

Откуда мы? Из разных областей. Мы явились отовсюду. Я смотрю на соседей: вот Потерло, углекоп из шахты Калонн; он розовый; брови у него соломенно-желтые, глаза васильковые; для его крупной золотистой головы пришлось долго искать на складах эту каску, похожую на огромную синюю миску; вот Фуйяд, лодочник из Сетта; он бешено вращает глазами; у него длинное, худое лицо, как у мушкетера, и впалые щеки. Действительно, они не похожи друг на друга, как день и ночь.

Кокон, тощий, поджарый, в очках, с лицом, изъеденным испарениями больших городов,

тоже резко отличается от Бике, неотесанного, серого бретонца с квадратной челюстью, тяжелой, как булыжник; Андре Мениль, внушительный фармацевт из нормандского городка, краснобай с отличной пушистой бородой, совсем не похож на Ламюза, мордастого крестьянина из Пуату, толстяка, у которого щеки и затылок вроде ростбифа. Жаргон долговязого Барка, исходившего весь Париж, смешивается с почти бельгийским певучим говором северян, попавших к нам из 8-го полка, со звонкой раскатистой речью ребят из 144-го полка, с наречием овернцев из 124-го полка, которые упрямо собираются в кучки среди чужаков, словно муравьи, притягивающие друг друга…

Я еще помню первую фразу весельчака Тирета, — представившись, он сказал: «Ребята, я из Клиши-ла-Гаренн! А вы чем можете похвастать?» — и первую жалобу Паради, которая способствовала его сближению со мной: «Они с меня смеются, потому что я с Морвана[2]…»

Чем мы занимались? Да чем хотите. Кем мы были в ныне отмененные времена, когда у нас еще было какое-то место в жизни, когда мы

---

[2] Примечания: 2
Морван — горная область в центре Франции.

еще не зарыли нашу судьбу в эти поры, где нас поливает дождь и картечь? Большей частью земледельцами и рабочими. Ламюз — батраком, Паради — возчиком; у Кадийяка, детская каска которого, как говорит Тирет, торчит на остром черепе, словно купол колокольни, есть своя земля. Дядя Блер был фермером в Бри. Барк служил посыльным в магазине и, отвозя товар на трехколесном велосипеде, шнырял между парижскими трамваями и такси, мастерски ругал пешеходов и распугивал их, словно кур, на проспектах и площадях. Капрал Бертран, который держится всегда в сторонке, молчаливый и вежливый, с прекрасным мужественным лицом и открытым взглядом, был рабочим в мастерской футляров. Тирлуар красил автомобили и, говорят, не ворчал. Тюлак держал маленькое кафе у заставы Дю-Трон, а добродушный бледный Эдор — кабачок у дороги, недалеко от теперешнего фронта; его заведению, конечно, здорово досталось от снарядов: как известно, Эдору не везет. Мениль Андре, еще довольно опрятный и причесанный, торговал в аптеке на площади содой и непогрешимыми патентованными средствами; его брат Жозеф продавал газеты и иллюстрированные романы на станции железной дороги; далеко, в

Лионе, очкастый Кокон, человек-цифра, облачившись в черную блузу, весь в ржавчине, хлопотал за конторкой скобяной лавки, а Бекюв Адольф и Потерло с самой зари при свете тусклой лампочки, своей единственной звезды, добывали уголь в шахтах на севере.

Есть и другие; чем они занимались, не упомнишь; их смешиваешь одного с другим: есть деревенские бродячие мастера на все руки, не говоря уже о подозрительном Пепене: у него, наверно, не было никакого ремесла. (Мы только знаем, что три месяца тому назад, после выздоровления в лазарете, он женился… чтобы получить пособие, установленное для жен мобилизованных.)

Среди нас нет людей свободных профессий. Учителя обыкновенно унтер-офицеры или санитары. В полку брат марист[3]— старший санитар при полевом госпитале; тенор — ординарец-самокатчик при военном враче; адвокат — секретарь полковника; рантье — капрал, заведующий продовольствием в нестроевой роте. У нас нет ничего подобного. Все мы — настоящие солдаты; в этой войне почти нет интеллигентов — арти-

[3] Примечания: 3

Брат марист — монах, член религиозной организации «Общество девы Марии»; монахи этого католического ордена нередко работали в годы войны санитарами на фронте.

стов, художников или богачей, подвергающихся опасности у бойниц; они попадаются редко или только в тех случаях, когда носят офицерское кепи.

Да, правда, все мы разные.

И все-таки мы друг на друга похожи.

Несмотря на различие в возрасте, происхождении, образовании, положении и во всем, что существовало когда-то, — несмотря на все пропасти, разделявшие нас, мы в общих чертах одинаковы. Под одной и той же грубой оболочкой мы скрываем или обнаруживаем одни и те же нравы, одни и те же привычки, один и тот же упрощенный характер людей, вернувшихся в первобытное состояние.

Одна и та же речь, состряпанная из заводских и солдатских словечек и из местных диалектов, приправленная, как соусом, словообразованиями, объединяет всех нас в единую толпу, которая уже давно приходит со всех концов Франции и скопляется на северо-востоке.

Связанные общей непоправимой судьбой, сведенные к одному уровню, вовлеченные, вопреки своей воле, в эту авантюру, мы все больше уподобляемся друг другу. Страшная теснота совместной жизни нас гнетет, стирает наши особенности.

Это какая-то роковая зараза. Солдаты кажутся похожими один на другого, и, чтобы заметить это сходство, даже не надо смотреть на них издали: на расстоянии все мы только пылинки, несущиеся по равнине.

* * *

Ждем. Надоедает сидеть; встаешь. Суставы вытягиваются и потрескивают, как дерево, как старые дверные петли. От сырости люди ржавеют, словно ружья, медленней, но основательней. И сызнова, по-другому, принимаемся ждать.

На войне ждешь всегда. Превращаешься в машину ожидания.

Сейчас мы ждем супа. Потом будем ждать писем. Но всему свое время: когда поедим супу, подумаем о письмах. Потом примемся ждать чего-нибудь другого.

Голод и жажда — сильные чувства; они мощно действуют на душевное состояние моих сотоварищей. Суп запаздывает, и они начинают злиться и жаловаться. Потребность в пище и питье выражается ворчанием:

— Время уже восемь. Куда это запропастились харчи?

— А мне как раз со вчерашнего дня, с двенадца-

ти часов жрать хочется, — буркает Ламюз. Его глаза увлажняются от голода, а щеки багровеют, словно их мазнули краской.

С каждой минутой недовольство растет.

— Плюме, наверно, опрокинул себе в глотку мою флягу вина, да еще и другие; нализался и где-нибудь свалился пьяный.

— Определенно и наверняка, — подтверждает Мартро.

— Мерзавцы! Вши проклятые, эти нестроевые! — рычит Тирлуар. — Ну и поганое отродье! Все до одного пропойцы и бездельники! Лодырничают по целым дням в тылу и не могут даже поспеть вовремя. Эх, был бы я хозяином, послал бы я их всех в окопы на наше место, и пришлось бы им попотеть! Прежде всего я бы приказал: каждый во взводе по очереди будет поваром. Конечно, кто хочет… и тогда…

— А я уверен, — орет Кокон, — что это сукин сын Пепер задерживает других. Он делает это назло, да и не может утром продрать глаза, бедняга! Он должен проспать непременно десять часов в своей блошатой постели! А то этому барину целый день будет лень рукой шевельнуть!

— Я б им показал! — ворчит Ламюз. — Будь я там, они б у меня живо повскакали с постели. Я

бы двинул их сапогом по башке, схватил бы их за ноги…

— На днях, — продолжает Кокон, — я высчитал: он ухлопал семь часов сорок семь минут, чтобы добраться сюда с тридцать первого пункта. А на это пяти часов за глаза довольно.

Кокон — человек-цифра. У него страсть, жадность к точным числам. По любому поводу он старается добыть статистические данные, собирает их, как терпеливый муравей, и преподносит их всем, кто хочет его послушать. Сейчас он пускает в ход цифры, словно оружие; его сухонькое личико — сочетание углов и треугольников с двойным кольцом очков — искажено злобой.

Он становится на ступеньку для стрельбы, оставшуюся с тех времен, когда здесь была первая линия, и яростно высовывает голову поверх бруствера. При свете косых холодных лучей поблескивают стекла его очков, и капля, висящая на кончике носа, сверкает, как алмаз.

— А Пепер?! Ну и ненасытная утроба! Прямо не верится, сколько кило жратвы он набивает себе в брюхо за один только день!

Дядя Блер «кипит» в своем углу. Его седоватые свисающие усищи, похожие на костяную гребенку, дрожат.

— Знаешь? Там, на кухне, все они дрянцо на дрянце. Их зовут: «Ни черта, Ни черта, Ни хрена и Компания».

— Форменное дерьмо, — убежденно говорит Эдор и вздыхает. Он лежит на земле с полуоткрытым ртом; у него вид мученика; тусклым взглядом он следит за Пепеном, который снует взад и вперед, словно гиена.

Негодование против опаздывающих все возрастает.

Тирлуар-«ругатель» изощряется вовсю. Он сел на своего конька и чувствует себя в своей стихии. Он подзадоривает товарищей:

— Добро б еще дали что-нибудь вкусное. А то ведь опять угостят какой-нибудь пакостью.

— Эх, ребята, а какую падаль дали нам вчера. Нечего сказать… Куски камня! Это у них называется бифштексом? Скорее старая подметка. У-ух! Я сказал ребятам: «Осторожней! Жуйте медленней, а то сломаете клыки: может быть, сапожник забыл вынуть оттуда гвозди!»

В другое время эта шутка Тирета, если не ошибаюсь, бывшего устроителя кинематографических гастролей, нас бы рассмешила, но сейчас все слишком взбешены, и она вызывает только общий ропот.

— А чтобы мы не жаловались, что жратва слишком жесткая, дадут, бывало, вместо мяса чего-нибудь мягкого; безвкусную губку, пластырь. Жуешь, словно кружку воды пьешь, вот и все.

— Да, это, — говорит Ламюз, — неосновательная пища, не держится в брюхе. Думаешь — насытился, а на деле у тебя в ящике пусто. Вот мало-помалу и подыхаешь: пухнешь с голоду.

— Следующий раз, — в бешенстве восклицает Бике, — я добьюсь разрешения поговорить с начальником, я скажу: «Капитан!..»

— А я, — говорит Барк, — объявлюсь хворым и скажу: «Господин лекарь...»

— Жалуйся или нет, все одно ничего не выйдет. Они сговорились выжать все соки из солдата.

— Говорят тебе, они хотят нас доконать!

— А водка?! Мы имеем право получать в окопах водку, — ведь это проголосовали где-то; не знаю где, не знаю когда, — но знаю, что мы торчим здесь вот уже три дня, и три дня нам ее только сулят.

— Эх, беда!

* * *

— Несут! — объявляет солдат, сторживший на повороте.

— Наконец-то!

Буря жалоб и упреков сразу стихает, как по волшебству. Бешенство внезапно сменяется удовлетворением.

Трое нестроевых, запыхавшись, обливаясь потом, ставят на землю фляги, бидон из-под керосина, два брезентовых ведра и кладут круглые хлебы, нанизанные на палку. Прислоняются к стенке траншеи и вытирают лицо платком или рукавом. Кокон с улыбкой подходит к Пеперу и вдруг, забыв, что осыпал его заочно ругательствами, протягивает руку к одному из бидонов, целая коллекция которых привязана к поясу Пепера наподобие спасательного круга.

— Что ж нам дадут пожевать?

— Да вот это, — уклончиво отвечает помощник Пепера.

Он по опыту знает, что объявлять заранее меню — значит вызывать горькое разочарование.

И, еще отдуваясь, он начинает жаловаться на длинный, трудный путь, который сейчас пришлось проделать:

— Ну и народу везде! Видимо-невидимо! Яблоку некуда упасть! Прямо арабский базар! Чтоб протолкаться, приходилось сплющиваться в листик папиросной бумаги… А еще говорят: «Служит

на кухне, значит, „окопался“...» Так вот, по мне, уж в тысячу раз лучше торчать вместе с ротой в окопах, быть в дозоре или на работах, чем заниматься вот этим ремеслом два раза в сутки, да еще ночью!

Паради приподнял крышки бидонов и осмотрел содержимое.

— Бобы на постном масле, суп и кофеек. Вот и все.

— Черт их дери! А вино? — орет Тюлак.

Он созывает товарищей:

— Эй, ребята! Погляди-ка! Безобразие! И вина уже не дают!

Жаждущие сбегаются со всех сторон.

— Тьфу ты, хреновина! — восклицают они, возмущенные до глубины души.

— А в ведре-то что? — ворчит нестроевой, еще весь красный и потный, тыча ногой в ведро.

— Н-да, — говорит Паради. — Ошибка вышла, вино есть.

— Эх ты, раззява! — говорит нестроевой, пожимая плечами, и смотрит на него с невыразимым презрением. — Надень очки, чертова кукла, если не видишь как следует!

И прибавляет:

— По четвертинке на человека... Может быть,

чуть-чуть поменьше: меня толкнул какой-то олух в Лесном проходе, вот и пролилось несколько капель… Эх, — спешит он прибавить, повышая голос, — не будь я так нагружен, дал бы ему пинка в зад! Но он смылся на всех парах, скотина!

Несмотря на это решительное утверждение, он сам осторожно сматывается; его осыпают проклятиями, сомневаются в его честности и умеренности: всем обидно, что паек уменьшился.

Все набрасываются на пищу и начинают есть стоя, или на коленях, или присев на корточки, или примостившись на бидоне или на ранце, вытащенном из ямы, где они спят, или повалившись прямо на землю, уткнувшись спиной в грязь, мешая проходить, вызывая ругань и отругиваясь. Если не считать этой перебранки и обычных словечек, которыми они изредка перекидываются, все молчат; они слишком заняты поглощением пищи, рот и подбородок у них вымазаны маслом, как ружейные затворы.

Они довольны.

Как только работа челюстей приостанавливается, все начинают отпускать сальные шутки. Все наперебой орут, чтобы вставить свое словечко. Даже Фарфаде, щуплый служащий из мэрии, улыбается, а ведь первое время он держался среди нас

так благопристойно и одевался так опрятно, что его принимали за иностранца или выздоравливающего. Расплывается в улыбке и красномордый Ламюз; его рот похож на помидор; его радость источает слезы; расцветает, как розовый пион, лицо Потерло; дрожат от удовольствия морщины Блера; он встал, вытянул шею и движется всем коротким тощим тельцем, которое как бы служит придатком к огромным свисающим усам; проясняется даже сморщенная, жалкая мордочка Кокона.

* * *

— А кофей! Подогреть бы его, а? — спрашивает Бекюв.

— На чем? Дуть на него, что ли?

Бекюв, любитель горячего кофе, говорит:

— Дайте уж я это сварганю. Подумаешь, большое дело! Соорудите только печурку и решетку из штыковых ножен. Я уж знаю, где найти дрова. Наколю щепок ножом: хватит, чтоб разогреть котелок. Увидите!

Он идет за дровами.

В ожидании кофе все свертывают папиросы или набивают трубки.

Вынимают кисеты. У некоторых кожаные или

резиновые кисеты, купленные у торговца. Но таких мало. Бике вытаскивает табак из носка, завязанного веревочкой. Большинство пользуется мешочком от противогазовой маски, сделанным из непромокаемой ткани: в нем отлично можно хранить «перло» или «легкий» табак. А некоторые просто-напросто выскребывают курево из кармана шинели.

Собравшись в кружок, курильщики харкают у самого входа в землянку, где помещается большая часть полувзвода, и слюной, желтой от никотина, загаживают то место, куда упираются руками и коленями, когда влезают или вылезают.

Но кому какое дело до таких мелочей?

* * *

Мартро получил письмо от жены. Речь зашла о продуктах.

— Моя хозяйка мне написала, — говорит Мартро. — Знаете, сколько теперь стоит у нас хорошая, жирная живая свинья?

…Внезапно обсуждение экономического вопроса превращается в яростный спор между Пепеном и Тюлаком.

Они обмениваются увесистыми отборными ругательствами.

В заключение один говорит другому:

— Да наплевать мне на то, что ты скажешь или не скажешь! Заткнись!

— Заткнусь, когда сам захочу, балда!

— А вот я тебе заткну глотку кулаком!

— Кому? Кому? Мне?

— А ну, а ну!

Они брызжут слюной, скрежещут зубами и наступают друг на друга. Тюлак сжимает свой доисторический топор, его косые глаза мечут молнии. Пепен, бледный, зеленоглазый, с хулиганской мордой, явно подумывает о своем ноже.

Они пронзают друг друга взглядами и рвут на части словами. Вдруг между ними появляется миротворная рука величиной с голову ребенка и налитое кровью лицо: это Ламюз.

— Ладно, ладно! Не станете же вы калечить друг друга! Так не годится!

Другие тоже вмешиваются, и противников разнимают. Из-за спин товарищей они все еще бросают друг на друга свирепые взгляды.

Пепен пережевывает остатки ругательств и желчно, неистово кричит:

— Жулик, хулиган, разбойник! Погоди, я тебе это припомню!

А Тюлак говорит стоящему рядом солдату:

— Этакая гнида! Нет, каково? Видал? Знаешь, право слово: здесь приходится иметь дело со всякой швалью. Как будто знаешь человека, а все-таки не знаешь. Но если этот хочет меня испугать, нарвется! Погоди, на днях я тебя отделаю, увидишь!

Между тем беседа возобновляется и заглушает последние отголоски ссоры.

— И так вот каждый день! — говорит Паради. — Вчера Плезанс хотел дать в морду Фюмексу, уж не знаю за что, из-за каких-то пилюль опиума. То один, то другой грозится кого-нибудь укокошить. Здесь все звереют, ведь мы и живем, как звери.

— Народ несерьезный! — замечает Ламюз. — Прямо дети.

— А еще взрослые!

* * *

Время идет. Сквозь туманы, окутывающие землю, пробилось немного больше света. Но погода по-прежнему пасмурная, и вот пошел дождь. Водяной пар расползается клочьями и оседает. Моросит. Ветер опять веет огромной мокрой пустотой, и его медлительность приводит в отчаяние. От тумана и капель воды тускнеет все, даже тугие кумачовые щеки Ламюза, даже оранжевый

панцирь Тюлака, и гаснет в нашей груди радость, которой преисполнила нас еда. Пространство сужается. Над землей, над этим полем смерти, нависает поле печали — небо.

Мы торчим здесь и бездельничаем. Трудно будет убить время, дотянуть до конца дня. Дрожим от холода, переходим с места на место, топчемся, словно скот в загоне.

Кокон объясняет соседу расположение сети наших траншей. Он видел общий план и произвел вычисления. В месте расположения нашего полка пятнадцать линий французских окопов; из них одни брошены, заросли травой и почти сровнялись с землей; другие глубоки и битком набиты людьми. Эти параллельные линии соединяются бесчисленными ходами, которые извиваются и запутываются, как старые улицы. Сеть окопов еще гуще, чем мы думаем, живя в них. На двадцать пять километров фронта одной армии приходится тысяча километров вырытых линий: окопов, ходов сообщения и других траншей. А французская армия состоит из десяти армий. Значит, около десяти тысяч километров окопов с французской стороны и столько же с немецкой… А французский фронт составляет приблизительно восьмую часть всего фронта

войны на земном шаре.

Так говорит Кокон и в заключение обращается к соседу:

— Видишь, как мало мы значим во всем этом…

У Барка бескровное лицо, как у всех бедняков из парижских предместий, козлиная рыжая бородка и хохолок на лбу в виде запятой; он опускает голову.

— Правда, как подумаешь, что один солдат и даже несколько — ничто, даже меньше, чем ничто, вдруг почувствуешь себя совсем затерянным, затонувшим, словно капелька крови в этом океане людей и вещей.

Барк вздыхает и замолкает, и в тишине слышится отрывок рассказываемой вполголоса истории:

— …Он привел двух коней. Вдруг дз-з-з! Снаряд! Остался только один конь…

— Скучно, — говорит Вольпат.

— Ничего, держимся, — бормочет Барк.

— Приходится, — прибавляет Паради.

— А зачем? — с сомнением спрашивает Мартро.

— Да так: нужно.

— Нужно, — повторяет Ламюз.

— Нет, причина есть, — говорит Кокон. — Вернее, много причин.

— Заткнись! Лучше б их не было, раз приходится держаться.

— А все-таки, — глухо говорит Блер, никогда не упуская случая повторить свою любимую фразу, — они хотят нас доконать.

— Сначала, — говорит Тирет, — я думал о том, о сем, размышлял, высчитывал; теперь я больше ни о чем не думаю.

— Я тоже.

— Я тоже.

— А я никогда и не пробовал.

— Да ты не такой дурень, как кажешься! — говорит Мениль Андре пронзительным насмешливым голосом.

Собеседник втайне польщен; он поясняет свою мысль:

— Первым делом — ты не можешь ничего знать.

— Надо знать только одно: у нас, на нашей земле, засели боши, и надо выкинуть их вон, и как можно скорей, — говорит капрал Бертран.

— Да, да, пусть убираются к чертовой матери! Спору нет! Чего там! Не стоит ломать себе башку и думать о другом. Только это уж слишком долго тянется.

— Эх, чтоб их черти драли! — восклицает Фуй-

яд. — Действительно, долго.

— А я, — говорит Барк, — я больше не ворчу. Сначала я ворчал на всех; на тыловиков, на штатских, на местных жителей, на «окопавшихся». Да, я ворчал, но это было в начале войны, я был молод. Теперь я рассуждаю здраво.

— Здраво рассуждать — это терпеть; как есть, так и ладно!

— Еще бы! Иначе спятишь. Мы и так обалдели. Верно я говорю, Фирмен?

Вольпат в знак согласия убежденно кивает головой; он сплевывает и внимательно разглядывает свой плевок.

— Ясное дело! — говорит Барк.

— Тут не стоит доискиваться. Надо жить изо дня в день, если можно, даже из часа в час.

— Правильно, образина! Надо делать, что прикажут, пока не разрешат убираться по домам.

— Н-да, — позевывая, говорит Мениль Жозеф.

Загорелые, обветренные, запыленные лица выражают одобрение; все молчат. Это явно чувство людей, которые полтора года назад явились со всех концов страны и собрались на границе. Это отказ понимать происходящее и отказ быть самим собой; это надежда не умереть и борьба за то, чтобы прожить как можно лучше.

— Приходится делать, что велят, да, но надо выкручиваться, — говорит Барк и, медленно прохаживаясь взад и вперед, месит грязь.

* * *

— Конечно, надо, — подтверждает Тюлак. — А если ты не выкрутишься сам, за тебя этого не сделает никто. Будь благонадежен!

— Еще не родился такой человек, который бы позаботился о другом.

— На войне каждый за себя!

— Ну конечно!

Молчание. И вот среди всех лишений эти люди вызывают сладостные образы прошлого.

— А как в Суассоне одно время хорошо жилось! — говорит Барк.

— Эх, черт!

В глазах появляется отсвет потерянного рая; он озаряет лица, посиневшие от холода.

— Не житье, а масленица! — мечтательно вздыхает Тирлуар; он перестает чесаться и смотрит вдаль, поверх насыпи.

— Эх, накажи меня бог, весь город почти пустовал и, в общем, был в нашем распоряжении! Дома, постели!..

— И шкафы!

— И погреба!

У Ламюза даже слезы выступили на глазах, расцвело все лицо и защемило сердце.

— А вы долго там оставались? — спрашивает Кадийяк, который прибыл сюда позже с подкреплениями из Оверни.

— Несколько месяцев…

Почти утихшая беседа оживает при этих воспоминаниях о временах изобилия.

Паради говорит, словно во сне:

— Наши солдаты шныряли по дворам; бывало, возвращаются на постой, под мышкой у них по кролику, а к поясу кру́гом привешены куры: «позаимствовали» у какого-нибудь старикана или старухи, которых никогда в глаза не видели и не увидят.

Все вспоминают позабытый вкус цыпленка и кролика.

— Случалось кое за что и платить. Денежки тоже плясали. В ту пору мы были богаты.

— В лавках оставляли сотни тысяч франков!

— Мильоны! Каждый день так швыряли деньгами, что и представить себе не можешь. Сущий праздник, как в сказке!

— Верь не верь, — говорит Блер Кадийяку, — но при всем этом богатстве везде, где мы только ни

проходили, трудней всего было достать огонь. Приходилось его искать, находить, покупать. Эх, старина, пришлось нам побегать за огнем!

— А мы стояли там, где нестроевая рота. Поваром был толстяк Мартен Сезар. Вот был мастер добывать дрова!

— Да, молодец! Чего там, он знал свое дело.

— У него на кухне всегда был огонь, всегда. По всем улицам рыскали повара и скулили, что нет ни дров, ни угля; а у нашего всегда был огонь. Если случалось, что ни черта больше нет, он говорил: «Не беспокойся, я уж выкручусь». И в два счета все было готово.

— Можно сказать, он иной раз даже перебарщивал. Первый раз, когда я его увидел на кухне, знаешь, чем он растапливал печку для варева? Скрипкой, — он нашел ее где-то в доме.

— Все-таки безобразие, — говорит Мениль Андре. — Скрипка хоть не очень-то полезная вещь, а все-таки…

— Иной раз он пускал в ход бильярдные кии. Нашему Зизи едва-едва удалось спереть один кий, чтобы смастерить себе палку. Все остальное пошло в огонь. Потом потихоньку отправили туда же и кресла из красного дерева. Он их рубил и распиливал по ночам, чтоб какой-нибудь на-

чальник не заметил.

— Ну и штукарь! — говорит Пепен. — А мы пустили в ход старую мебель; нам хватило ее на две недели.

— То-то у нас ничего и нет! Надо сварить суп — ни черта: ни дров, ни угля. После раздачи стоишь дурак дураком перед кучей дерьмовой говядины, а ребята над тобой смеются, да еще потом обругают. Как же быть?

— Такое уж ремесло! Мы не виноваты.

— А начальники не ругались, когда кто-нибудь хапал?

— Они сами тащили, да еще как! Демезон! Помнишь, какую штуку выкинул лейтенант Вирвен? Высадил топором дверь винного погреба! Один наш солдат увидел, ну, лейтенант подарил ему эту дверь на растопку, чтобы парень не разболтал.

— А бедняга Саладен, офицер по продовольственной части? Его встретили в сумерки: выходит из подвала, а в каждой руке по две бутылки белого вина. Будто кормилица с четырьмя сопляками. Ну, его накрыли; ему пришлось спуститься обратно в эту бутылочную шахту и раздать всем по бутылке. А вот капрал Бертран — строгих правил: не захотел пить. Помнишь, сосиска ходячая?

— А где теперь тот повар, что всегда добывает топливо? — спрашивает Кадийяк.

— Помер. В его котел попал «чемодан». Сам Мартен не был ранен, он умер от потрясения, когда увидел, что его макароны задрали ноги и полетели вверх тормашками. Лекарь сказал: «*Пазмы* сердца». У него было слабое сердце; он был силен только по части дров. Похоронили его честь честью. Гроб сделали из паркета; плитки сколотили гвоздями, на которых висели картины; вбили кирпичом. Когда повара несли на кладбище, я думал: «Его счастье, что он умер: ведь если б он это видел, он никогда не простил бы себе, что не додумался пустить на растопку паркет». Этакий ловкач!

— Наш брат солдат выкручивается, как может; на товарища ему наплевать. Скажем, ты отвиливаешь от работы в наряде, или хватаешь кусок получше, или занимаешь местечко поудобней, а от этого другим плохо приходится, — философствует Вольпат.

— Я часто выкручивался, чтоб не идти в окопы, — говорит Ламюз, — и не помню уж, сколько раз мне удавалось отвертеться. Сознаюсь. Но когда ребята в опасности, я не отлыниваю, не выкручиваюсь. Тут я забываю, что я военный,

забываю все. Тут для меня только люди, и я действую. Зато в других случаях я думаю о собственной шкуре.

Это не пустые слова: Ламюз — мастер по части увиливания; тем не менее он спас жизнь многим раненым, подобрав их под обстрелом.

Он объясняет это без хвастовства:

— Мы все лежали в траве. Боши здорово палили. Трах-тах-тах! Бац, бац!.. Дззз, дззз!.. Вижу: несколько ребят ранено, я встаю, хоть мне и кричат: «Ложись!» Не могу ж я их оставить. Да в этом и нет никакой заслуги: я не мог поступить по-другому.

Почти за всеми солдатами из нашего взвода числятся высокие воинские подвиги; у каждого кресты за храбрость.

— А я не спасал французов, зато хватал бошей, — говорит Бике.

Во время майских атак он бросился вперед; он исчез и вернулся с четырьмя немцами.

— А я их убивал, — говорит Тюлак.

Два месяца тому назад он уложил в ряд перед взятой траншеей девять немцев.

— Но больше всего я ненавижу их офицеров.

— А-а, сволочи!

Этот крик вырвался у всех сразу, из глубины

души.

— Эх, старина, — говорит Тирлуар, — вот толкуют, что немцы — погань. А я не знаю, правда это или и тут нас морочат; может быть, их солдаты такие же люди, как и мы.

— Наверно, такие же люди, как мы, — говорит Эдор.

— Как сказать! — кричит Кокон.

— Во всяком случае, нельзя знать точно, каковы солдаты, — продолжает Тирлуар, — зато уж немецкие офицеры!.. Ну, это не люди, а чудовища. Это особая погань, верно тебе говорю, старина. Можно сказать: это микробы войны. Ты бы поглядел на них вблизи: ходят — точно аршин проглотили, долговязые, тощие, будто гвозди, а головы у них телячьи.

— А у многих змеиные.

— Я раз как-то возвращался из наряда, — продолжает Тирлуар, — и встретил пленного. Вот падаль! Это был прусский полковник, говорят, с княжеской короной и золотым гербом на ремнях. Пока его вели по траншее, он все орал: как смели его задеть по дороге! И на всех он смотрел сверху вниз. Я сказал про себя: «Ну, погоди, голубушка, ты у меня попляшешь!» Я выждал удобную минуту, изловчился и со всей силы дал ему пинка в

зад. Так он, знаешь, повалился на землю и чуть не задохся.

— Задохся?

— Да, со злости: он понял, что случилось, — а именно, что по его офицерской, дворянской заднице саданул простым сапогом, подбитым гвоздями, простой солдат. Он завыл, как баба, и забился, как припадочный.

— Я не злой, — говорит Блер. — У меня дети, и мне жалко резать дома даже свинью знакомую, но этакого гада я б охотно пырнул штыком — у-ух! прямо в пузо!

— Я тоже!

— Да еще не забудьте, — говорит Пепен, — что у них серебряные каски и пистолеты, за которые всегда можно выручить сотню монет, и призматические бинокли, которым цены нет. Эх, беда! Сколько я упустил удобных случаев в начале войны! В ту пору я был балдой. Так мне и надо! Но будьте благонадежны, уж я добуду серебряную каску. Слушай, накажи меня бог, когда-нибудь добуду. Я хочу не только шкуру, но и добро Вильгельмова золотопогонника. Будьте благонадежны: я сумею это раздобыть до конца войны!

— А ты думаешь, война кончится? — спраши-

вает кто-то.

— А то нет? — отвечает другой.

* * *

Вдруг справа от нас поднимается шум; появляется толпа людей; темные фигуры перемешаны с цветными.

— В чем дело?

Бике идет на разведку; скоро он возвращается, указывает большим пальцем через плечо на пеструю толпу и говорит:

— Эй, ребята, поглядите! Публика!

— Публика?

— Ну да. Господа. «Шпаки» со штабными.

— Штатские! Только бы продержались!

Это сакраментальная фраза. Она вызывает смех, хотя ее слышали уже сотни раз; справедливо или нет, солдат придает ей другой смысл и считает ее насмешкой над своей жизнью, полной лишений и опасностей.

Подходят две важные особы, две важные особы в пальто, с тростью в руке; и третий в охотничьем костюме, в шляпе с перышком; в руке у него полевой бинокль.

За штатскими идут, указывая им дорогу, два офицера в светло-голубых мундирах, на кото-

рых блестят рыжие или черные лакированные портупеи.

На рукаве у капитана сверкает шелковая повязка с вышитыми золотыми молниями; он предлагает посетителям взобраться на ступеньку для стрельбы у старой бойницы, чтобы поглядеть. Господин в дорожном костюме влезает, опираясь на зонтик.

— Видел? — спрашивает Барк. — Ни дать ни взять, начальник станции, разрядился и показывает вагон первого класса на Северном вокзале богатому охотнику в день открытия охоты: «Пожалуйте, садитесь, господин помещик!» Знаешь, когда господа из высшего общества, одетые с иголочки, щеголяют ремнями и побрякушками, и валяют дурака, и пускают пыль в глаза своим снаряжением… Охотники на мелкого зверя!

Три-четыре солдата, у которых обмундирование было не в порядке, исчезают под землей. Остальные не двигаются, застывают; даже их трубки потухли; слышатся только обрывки беседы офицеров и гостей.

— Это окопные туристы, — вполголоса говорит Барк и громче прибавляет: — Им говорят: «Пожалуйте сюда, медам и месье!»

— Заткнись! — шепчет Фарфаде, опасаясь, как

бы горластый Барк не привлек внимание этих важных господ.

Кое-кто из них поворачивает голову в нашу сторону. От этой кучки отделяется какой-то господин в мягкой шляпе и развевающемся галстуке. У него седая бородка; он похож на художника. За ним идет другой — очкастый, чернобородый, в белом галстуке, в черном пальто и черном котелке.

— А-а-а! Вот они, наши «пуалю»! — восклицает первый. — Это настоящие «пуалю»!

Он подходит к нам робко, как к диким зверям в зоологическом саду, и подает руку ближайшему солдату, но довольно неловко, как протягивают кусок хлеба слону.

— Э-э-э, да они пьют кофе, — замечает он.

— У нас говорят «сок», — поправляет человек-сорока.

— Вкусно, друзья мои?

Солдат тоже оробел от этой странной экзотической встречи; он что-то бормочет, хихикает и краснеет, а господин в штатском отвечает: «Э-э-э!»

Он кивает головой и пятится назад.

— Очень хорошо, очень хорошо, друзья мои! Вы — молодцы!

Среди серых штатских костюмов яркие во-

енные мундиры расцветают, словно герани и гортензии на темной клумбе. И вот гости удаляются в обратном направлении. Слышно, как офицер говорит: «Господа журналисты, нам еще многое предстоит осмотреть!»

Когда блестящее общество исчезает из виду, мы переглядываемся. Солдаты, скрывшиеся в норах, постепенно вылезают на поверхность земли. Люди приходят в себя и пожимают плечами.

— Это — газетные писаки, — говорит Тирет.

— Газетные писаки?

— Ну да, те самые птицы, что высиживают газеты. Ты что, не понимаешь, голова садовая? Чтобы писать в газетах, нужны парнишки.

— Значит, это они морочат нам голову? — спрашивает Мартро.

Барк делает вид, что держит под носом газету, и намеренно фальцетом начинает декламировать:

— «Кронпринц рехнулся, после того как его убили в начале войны, а пока у него всевозможные болезни. Вильгельм умрет сегодня вечером и сызнова умрет завтра. У немцев нет больше снарядов; они лопают дерево; по самым точным вычислениям, они смогут продержаться только до конца этой недели. Мы с ними справимся, как только захотим, не снимая ружья с плеча. Если

мы и подождем еще несколько дней, то только потому, что нам неохота отказаться от окопной жизни; ведь в окопах так хорошо: там есть вода, газ, душ на всех этажах! Единственное неудобство — зимой там жарковато... Ну, а эти австрийцы уже давно не держатся: только притворяются...» Так пишут уже пятнадцать месяцев, и редактор говорит своим писакам: «Эй, ребята, ну-ка, поднажмите! Постарайтесь состряпать это в два счета и размазать на четыре белые страницы: их надо загадить!»

— Правильно! — говорит Фуйяд.

— Ты что смеешься, капрал? Разве это неправда?

— Кое-что правда, но вы, ребятки, загибаете, и если бы пришлось отказаться от газет, вы бы первые заскулили. Небось, когда приносят газеты, вы все кричите: «Мне! Мне!»

— А что тебе до всего этого? — восклицает Блер. — Ты вот ругаешь газеты, а ты поступай, как я: не думай о них!

— Да, да, надоело! Переверни страницу, ослиная морда!

Беседа прервана, внимание отвлекается. Четверо солдат составляют партию в «манилью»; они будут играть, пока не стемнеет. Вольпат старает-

ся поймать листик папиросной бумаги, который улетел у него из рук и кружится и порхает на ветру, над стеной траншеи, как мотылек.

Кокон и Тирет вспоминают казарму. От военной службы в их душе осталось неизгладимое впечатление, это неистощимый источник всегда готовых, неувядаемых воспоминаний; лет десять, пятнадцать, двадцать солдаты черпают из него темы для разговоров… Они воюют уже полтора года, а все еще говорят о казарме.

Я слышу часть разговора и угадываю остальное. Ведь эти старые служаки повторяют одни и те же анекдоты: рассказчик когда-то метким и смелым словом заткнул глотку злонамеренному начальнику. Он говорил решительно, громко, резко. До меня доносятся обрывки этого рассказа:

— …Ты думаешь, я испугался, когда Неней мне это отмочил? Ничуть не бывало, старина. Все ребята притихли, а я один громко сказал: «Господин унтер, говорю, может быть, это так и есть, но…» (Следует фраза, которой я не расслышал.) Да, да, знаешь, я так и брякнул. Он и бровью не повел. «Ладно, ладно», — говорит. И смылся, и с тех пор он всегда был шелковый.

— У меня то же самое вышло с Додором, знаешь, унтером тринадцатого полка, когда кончался

срок моей службы. Вот был скотина! Теперь он сторож в Пантеоне. Он меня страшное дело как терпеть не мог! Так вот…

И каждый выкладывает свой запас исторических слов. Все они как на подбор, каждый говорит: «Я не такой, как другие!»

* * *

— Почта!

Подходит рослый широкоплечий парень с толстыми икрами, одетый тщательно и щеголевато, как жандарм.

Он дурно настроен. Получен новый приказ, и теперь каждый день приходится носить почту в штаб полка. Он возмущается этим распоряжением, как будто оно направлено исключительно против него.

Но, не переставая возмущаться, он мимоходом, по привычке, болтает то с одним, то с другим солдатом и созывает капралов, чтобы передать им почту. Несмотря на свое недовольство, он делится всеми имеющимися у него новостями. Развязывая пачку писем, он распределяет запас устных известий.

Прежде всего он сообщает, что в новом приказе черным по белому написано: «Запрещается но-

сить на шинели капюшон».

— Слышишь? — спрашивает у Тирлуара Тирет. — Придется тебе выбросить твой шикарный капюшон.

— Черта с два! Это меня не касается. Этот номер не пройдет! — отвечает владелец капюшона: дело идет не только об удобстве, задето и самолюбие.

— Это приказ командующего армией!

— Тогда пусть главнокомандующий запретит дождь. Знать ничего не желаю. И слышать не хочу.

Вообще приказами, даже не такими необычными, как этот, солдаты возмущаются… прежде чем их выполнить.

— Еще приказано, — прибавляет почтарь, — стричь бороду. И патлы. Под машинку, наголо!..

— Типун тебе на язык! — говорит Барк: приказ непосредственно угрожает его хохолку. — Не на такого напал! Этому не бывать! Накось, выкуси!

— А мне-то что! Подчиняйся или нет, мне на это наплевать.

Вместе с точными писаными известиями пришли и другие, поважней, но зато неопределенные и сказочные: будто бы дивизию сменят и пошлют на отдых в Марокко, а может быть, в Египет.

— Да ну? Э-э!.. О-о!.. А-а!!!

Все слушают. Поддаются соблазну новизны и чуда.

Однако кто-то спрашивает:

— А кто тебе сказал?

Почтарь называет источник своих сведений:

— Фельдфебель из отряда ополченцев; он работает при ГШК.

— Где?

— При Главном штабе корпуса… Да и не он один это говорит. Знаешь, еще парень, не помню, как его звать: что-то вроде Галля, но не Галль. Кто-то из его родни, не помню уж, какая-то шишка. Он знает.

— Ну и как?..

Солдаты окружили этого сказочника и смотрят на него голодным взглядом.

— Так в Египет, говоришь, поедем?.. Не знаю такого. Знаю только, что там были фараоны в те времена, когда я мальчишкой ходил в школу. Но с тех пор…

— В Египет!..

Эта мысль внезапно овладевает воображением.

— Нет, лучше не надо! — восклицает Блер. — Я страдаю морской болезнью, блюю… Ну, да ничего, морская болезнь быстро проходит… Только вот

что скажет моя хозяйка?

— Не беда! Привыкнет! Там улицы кишмя кишат неграми и большими птицами, как у нас воробьями.

— А ведь мы должны были отправиться в Эльзас?

— Да, — отвечает почтальон. — В Казначействе некоторые так и думают.

— Что ж, это дело подходящее!

…Но здравый смысл и опыт берут верх и гонят мечту. Уж сколько раз твердили, что нас пошлют далеко, и столько раз мы этому верили, и столько раз это не сбывалось! Мы вдруг как будто просыпались после сна.

— Все это брехня! Нас слишком часто охмуряли. Не очень-то верь и не порть себе кровь.

Солдаты опять расходятся по своим углам; у некоторых в руке легкая, но важная ноша — письмо.

— Эх, надо написать, — говорит Тирлуар, — недели не могу прожить, чтобы не написать домой. Ничего не поделаешь!

— Я тоже, — говорит Эдор, — я должен написать женке.

— Здорова твоя Мариетта?

— Да, да. С ней все в порядке.

Некоторые уже примостились для писания. Барк стоит, разложив бумагу на записной книжке в углублении стены: на него словно нашло вдохновение. Он пишет, пишет, согнувшись, с остановившимся взглядом, поглощенный своим делом, словно скачущий всадник.

У Ламюза нет воображения; он сел, положил на колени пачку бумаги, послюнил карандаш и перечитывает последние полученные им письма: он не знает, что написать еще, кроме того, что уже написал, но упорно хочет сказать что-то новое.

От маленького Эдора веет нежной чувствительностью; он скрючился в земляной нише. Он держит в руке карандаш, сосредоточился и, не отрываясь, смотрит на бумагу; он мечтательно глядит, вглядывается, что-то видит, его озаряет другое небо. Взгляд Эдора устремлен туда. Эдор словно разросся в великана и достигает родных мест…

Именно в эти часы люди в окопах становятся опять, в лучшем смысле слова, такими, какими были когда-то. Многие предаются воспоминаниям и опять заводят речь о еде.

Под грубой оболочкой начинают биться сердца; люди невольно бормочут слова любви, вызывают в памяти былой свет, былые радости: летнее

утро, когда в свежей зелени сада сияет белизной сельский дом или когда в полях на ветру медлительно и сильно колышутся хлеба и рядом беглой женственной дрожью вздрагивают овсы; или зимний вечер, стол, сидящих женщин и их нежность, и ласковую лампу, и тихий свет ее жизни, и ее одежду — абажур.

Между тем Блер принимается за начатое кольцо: он надел еще бесформенный алюминиевый кружок на круглый кусочек дерева и обтачивает его напильником. Он усердно работает, изо всех сил думает: на его лбу обозначаются две морщины. Иногда он останавливается, выпрямляется и ласково смотрит на свое изделие, словно оно тоже глядит на него.

— Понимаешь? — сказал он мне однажды о другом кольце. — Дело не в том, хорошо это вышло или скверно. Главное, я сам это сделал для жены, понимаешь? Когда меня одолевала тоска и лень, я глядел на эту карточку (он показал фотографию толстой женщины), и тогда мне опять становилось легко работать над этим кольцом. Можно сказать, мы сделали его вместе, понимаешь? Можно сказать, кольцо было мне добрым товарищем, и я с ним простился, когда отправил его моей хозяйке.

Теперь он вытачивает новое кольцо. С медным ободком. Блер работает рьяно. Он вкладывает в эту работу всю душу и хочет как можно лучше выразить свое чувство; у него своя каллиграфия.

Почтительно склоняясь над легкими, убогими «драгоценностями», такими маленькими, что большая огрубевшая рука не может их удержать и роняет, эти люди, сидящие в голых ямах, кажутся еще более дикими, еще более первобытными, но вместе с тем и более человечными, чем в любом другом облике.

Невольно возникает мысль о первом изобретателе, праотце художников, который пытался придать долговечным материалам образ всего, что он видел, и вдохнуть в них душу всего, что чувствовал.

* * *

— Идут! Идут! — возвещает шустрый Бике, исполняющий в нашей части траншеи обязанности швейцара. — Их целая куча!

Действительно, появляется туго затянутый, наглухо застегнутый унтер и, помахивая ножнами от сабли, кричит:

— А ну, проваливай! Говорят вам, проваливай! Чего вы тут околачиваетесь? Живо! Чтоб я вас

больше не видел в проходе!

Все нехотя отходят. Некоторые, в сторонке, медленно, постепенно погружаются в землю.

Идет рота ополченцев, присланная сюда для земляных работ по укреплению окопов второй линии и тыловых ходов. Они вооружены кирками и ломами, одеты в жалкие лохмотья, еле волочат ноги.

Мы их разглядываем. Они проходят один за другим, исчезают. Это скрюченные старички с пепельными щеками или толстяки, страдающие одышкой, затянутые в слишком тесные, выцветшие, замаранные шинели; пуговиц не хватает; изодранное сукно оттопыривается.

Наши зубоскалы, Барк и Тирет, прижавшись к стене, рассматривают их сначала молча. Потом начинают улыбаться.

— Парад метельщиков! — говорит Тирет.

— Посмеемся! — возвещает Барк.

Кое-кто из старичков забавен. Вот у этого, что плетется в шеренге, плечи покатые, как у бутылки; у него очень узкая грудь и тощие ноги, и все-таки он пузатый.

Барк не выдерживает:

— Эй ты, барон Дюбидон!

— Ну и пальтецо! — замечает Тирет, завидев

человека, у которого вся шинель в разноцветных заплатах.

Он окликает ветерана:

— Эй, дядя с образчиками!.. Эй ты, послушай!

Тот оборачивается и глядит на Тирета, разинув рот.

— Дяденька, послушай, будь любезен, дай мне адрес твоего лондонского портного!

Человек с поношенным, морщинистым лицом хихикает. Услышав оклик Барка, он останавливается, но поток людей, идущих за ним, сейчас же уносит его дальше.

Проходит несколько менее замечательных фигур, и вдруг появляется новая жертва для шутников. На красной жесткой шее растет что-то вроде грязной бараньей шерсти. Колени согнуты, тело подалось вперед, спина колесом; этот ополченец еле держится на ногах.

— Глянь, — орет Тирет, указывая на него пальцем, — вот знаменитый человек-гармошка! На ярмарке вы бы платили, чтобы поглазеть на него. А здесь — задаром.

Ополченец вполголоса ругается. Кругом хохочут.

Этого достаточно, чтобы подзадорить остряков; желание вставить свое словцо и позабавить

нетребовательную публику побуждает их вышучивать старых товарищей по оружию, которые трудятся днем и ночью на окраинах великой войны, подготовляя и приводя в порядок поля битв.

В издевке принимают участие и другие зрители. Сами жалкие, они глумятся над людьми, еще более жалкими.

— Погляди-ка на этого! А вон тот!

— Нет, полюбуйся на того низкозадого: у него зад по земле волочится! Эх ты, недоносок! Не достать тебе до неба! Эй!

— А этот верзила! Конца-краю ему нет! Вот так небоскреб. Это человек стоящий! Да, ты человек стоящий, старина!

«Стоящий человек» идет мелкими шажками; он держит кирку прямо перед собой, как свечу; у него искаженное лицо, весь он скрючился от «прострела».

— Эй, дедушка, хочешь два су? — спрашивает Барк, хлопая его по плечу, когда тот проходит совсем близко.

Оскорбленный ополченец ворчит:

— Ах ты чертов шалопай!

Тогда Барк пронзительным голосом кричит:

— Ну, ты поаккуратней, старый слюнтяй, лохань с дерьмом!

Ополченец резко поворачивается и в бешенстве что-то бормочет.

— Э-э, — смеясь, кричит Барк, — да он и сердиться умеет, рухлядь. Он и драться готов, скажите пожалуйста! Его можно было бы испугаться, будь ему только на шестьдесят лет меньше!

— И если бы он не нахлестался, — без всякого основания прибавляет Пепен, уже отыскивая взглядом другие жертвы.

Показывается впалая грудь последнего старика, и вскоре исчезает его сутулая спина.

Шествие ветеранов, изможденных, измаранных окопной грязью, заканчивается; зрители, эти мрачные троглодиты, наполовину вылезшие из своих зловонных пещер, провожают их насмешливыми, почти враждебными взглядами.

А время идет; небо тускнеет, предметы чернеют; вечер примешивается к слепой судьбе и темной, невежественной душе толп, заживо погребенных в окопах.

В сумерках раздается топот, гул и говор, — это прокладывает себе дорогу новый отряд.

— Африканцы!

Они проходят. Коричневые, желтые, бурые лица; редкие или густые курчавые бороды; зеленовато-желтые шинели; грязные каски с

изображением полумесяца вместо нашего значка — гранаты. Лица, широкие или, наоборот, угловатые и заостренные, блестят, как новенькие медные монеты; глаза сверкают, как шарики из слоновой кости и оникса. Время от времени в шеренге выделяется черная, словно уголь, рожа рослого сенегальского стрелка. За ротой несут красный флажок с изображением зеленой руки.

На них глядят молча. Их никто не задевает. Они внушают почтение и даже некоторый страх.

Между тем эти африканцы кажутся веселыми и оживленными. Они, конечно, идут в окопы первой линии. Это их обычное место; их появление — признак предстоящей атаки. Они созданы для наступления.

— Они да еще семидесятипятимиллиметровки! Можно сказать, им надо поставить свечку! В трудные дни марокканскую дивизию всегда посылали вперед!

— Они не могут шагать в ногу с нами. Они идут слишком быстро. Их уж не остановишь…

Это черные, коричневые, бронзовые черти; некоторые из них суровы; они молчаливы, страшны, словно капканы. Другие смеются; их смех звенит, как странная музыка экзотических инструментов; сверкает оскал зубов.

Зрители пускаются в рассказы о свойствах этих «арапов»: об их неистовстве в атаках, их страсти к штыковым боям, их беспощадности. Повторяют истории, которые африканцы охотно рассказывают сами, и все почти в тех же выражениях и с одинаковыми жестами: «Немец поднимает руки: „Камрад! камрад!“ — „Нет, не камрад!“» И мимически изображают штыковой удар: как штык всаживают в живот сверху и вытаскивают снизу, подпирая ногой.

Один сенегальский стрелок, проходя мимо нас, слышит, о чем мы говорим. Он смотрит на нас, улыбается во весь рот и повторяет, отрицательно качая головой: «Нет, не камрад, никогда не камрад, никогда! Рубить башка!»

— Они и впрямь другой породы; и кожа у них точно просмоленная парусина, — говорит Барк, хотя он и сам далеко не робкого десятка. — На отдыхе им скучно. Они только и ждут, чтоб начальник положил часы в карман и скомандовал: «Вперед!»

— Что и говорить, это и есть настоящие солдаты!

— А мы не солдаты, мы — люди, — говорит толстяк Ламюз.

Темнеет, и все-таки эти верные, ясные слова

озаряют лица тех, кто ждет здесь по целым дням, кто ждет здесь месяцами.

Это — люди, заурядные, ничем не примечательные люди, внезапно вырванные из привычной для них жизни. В массе своей они невежественны, равнодушны, близоруки, полны здравого смысла, который иногда им изменяет; они склонны идти, куда велят, делать, что прикажут, выносливы в работе и способны долго терпеть.

Это простые люди, которых еще больше упростили; здесь поневоле усиливаются их главные инстинкты: инстинкт самосохранения, себялюбие, стойкая надежда выжить, удовольствие поесть, попить и поспать.

Но иногда из мрака и тишины их великих человеческих душ вырываются глубокие вздохи, крики страдания…

Стемнело; почти ничего не видно; сначала глухо, где-то вдали, потом все звучней раздается команда:

— Второй полувзвод! Стройсь!

Мы строимся. Начинается перекличка.

— Пошли! — говорит капрал.

Цепь приходит в движение. Перед складом инструментов остановка, топтание на месте. Каждого нагружают лопатой или киркой. В тем-

ноте их раздает какой-то унтер.

— Тебе — лопата. Проходи! Тебе — тоже лопата, тебе — кирка! Ну, живо! Валяй!

Все идут через проход, перпендикулярный траншее, прямо вперед, к подвижной границе, к новой, живой, страшной границе.

Слышится прерывистое мощное дыхание: в небе невидимый самолет описывает большие дуги, кружится все ниже и заполняет пространство. Впереди, справа, слева — везде раздаются раскаты грома и в темноте сверкают крупные беглые зарницы.

III. Смена

Сероватая заря с трудом отделяется от еще бесформенной черноты. Между отлогой дорогой, которая справа ведет вниз из мрака, и темной тучей леса Аллё, где слышишь, но не видишь, как приготовляются к отправке и отходят боевые обозы, — простирается поле.

Мы, солдаты 6-го батальона, пришли сюда к концу ночи. Мы составили ружья в козлы и теперь, в кругу, озаренные тусклым светом, увязая в грязи, окутанные туманом, мы стоим синеватыми кучками или одинокими призраками; стоим и ждем; все смотрят на дорогу, которая ведет туда, вниз. Мы ждем остальную часть полка: 5-й батальон, который занимал первую линию окопов и вышел после нас…

Вдруг глухой гул…

— Вот они!

На западе показывается какая-то большая черная толпа; она надвигается, словно ночь, на сумерки дороги.

Наконец-то! Кончилась проклятая смена, которая началась вчера в шесть часов вечера и продолжалась всю ночь. Последний солдат вы-

шел из последней траншеи.

На этот раз пребывание в окопах было ужасно. Впереди была восемнадцатая рота. Она сильно пострадала: восемнадцать убитых и около пятидесяти раненых; за четыре дня из каждых трех солдат выбыло по одному, а ведь атаки не было — только бомбардировка.

Мы это знаем, и по мере того как приближается истерзанный батальон, мы шлепаем по грязи и, узнавая друг друга, наклоняемся и говорим:

— Восемнадцатая рота!.. Каково, а?

При этом каждый думает: «Если так будет продолжаться, что станется с нами со всеми? Что будет со мной?»

Семнадцатая, девятнадцатая и двадцатая роты подходят одна за другой и составляют ружья.

— Вот и восемнадцатая!

Она приходит позже всех: она была в первой линии, и ее сменили последней.

День чуть прояснился; показался белесый свет.

Впереди — капитан, ротный командир. Он с трудом идет по дороге, опираясь на палку: он был когда-то ранен на Марне; боль усиливается от ревматизма и еще от другого страдания. Он надел капюшон, опустил голову и как будто идет за гробом; видно, что он задумался и действительно

идет за гробом.

Вот и рота.

Ее ряды расстроены. У нас сжимается сердце. В этом шествии батальона восемнадцатая рота явно короче трех остальных.

Я выхожу на дорогу и иду навстречу солдатам восемнадцатой. Уцелевшие люди пожелтели от глины и пыли; они как будто окрашены в цвет хаки. Сукно затвердело от присохшей рыжей грязи; полы шинели, словно концы досок, хлопают по желтой коре, которая покрывает колени. Лица исхудалые, землистые; глаза расширились и лихорадочно блестят. От пыли и грязи стало еще больше морщин.

Среди этих солдат, возвращающихся «оттуда», поднявшихся с ужасного дна, стоит оглушительный шум. Они говорят все сразу, наперебой, очень громко, размахивают руками, смеются и поют.

Можно подумать, что на дорогу высыпала праздничная толпа.

Вот второй взвод; во главе идет долговязый лейтенант, затянутый в шинель, похожую на свернутый зонтик. Я следую за солдатами, пускаю в ход локти и проталкиваюсь к отделению Маршаля; эта часть пострадала больше всех; из

одиннадцати товарищей, не разлучавшихся целых полтора года, уцелело только три человека, включая капрала Маршаля.

Капрал меня увидел. Он радостно вскрикивает и улыбается во весь рот; он ослабляет свой ружейный ремень и протягивает мне обе руки.

— Эй, друг, как живешь? Как дела?

Я отвожу взгляд и почти шепотом спрашиваю:

— Бедняга, значит, круто пришлось?

Он сразу мрачнеет.

— Да, старина, на этот раз было страшное дело. Барбье убит.

— Да, мне говорили… Барбье!..

— В субботу, в одиннадцать часов вечера. Верхнюю часть спины у него отхватило снарядом, словно бритвой отрезало, — говорит Маршаль. — Бе́ссу осколком пробило живот и желудок. Бартелеми и Бобез ранены в голову и шею. Всю ночь пришлось бегать по траншее, чтоб укрыться от ураганного огня. Малыш Годфруа — ты его знаешь? — ему выдрало внутренности, вся кровь вытекла сразу, как из опрокинутой лохани; он был такой маленький, а сколько крови в нем было, прямо диву даешься: в траншее хлынул целый ручей, по крайней мере, в пятьдесят метров! Куньяру осколками искрошило ноги. Когда

его подняли, он еще дышал. Это было на сторожевом посту. Я был вместе с ними. Но когда упал этот снаряд, меня там не было: я пошел в окопы спросить, который час. Я оставил на посту ружье, а когда вернулся, смотрю: его согнуло пополам, ствол скрутило, как штопор, а часть приклада превратилась в опилки. Так пахло свежей кровью, что меня затошнило.

— А Монден тоже, да?

— Его на следующее утро, значит, вчера, в землянке; ее разрушил «чемодан». Монден лежал — ему раздробило грудь. А говорили тебе о Франко? Он был рядом с Монденом. Обвалом ему перешибло позвоночник. Когда его отрыли и усадили на землю, он заговорил; он наклонил голову набок, сказал: «Помираю», — и помер. С ним был еще Вижиль; на теле ничего не было, но голову расплющило в лепешку; большая, широченная, — вот такая! Он лежал плашмя на земле, черный, его нельзя было узнать; словно это была его тень, тень, какую иногда видишь, когда ходишь с фонарем ночью.

— Вижиль! Да ведь он был призыва тринадцатого года, совсем мальчуган! А Монден и Франко, такие славные ребята, хоть и с нашивками!.. Вот и нет еще двух хороших товарищей!

— Да, — говорит Маршаль.

Но его уже окружает целая орава товарищей; его окликают и дергают со всех сторон. Он отбивается, отвечает на их шутки, и все толкаются и смеются.

Я перевожу взгляд с одного на другого; лица веселые и, хотя искажены усталостью и покрыты корой грязи, выражают торжество.

Да чего там! Если бы на передовых позициях солдатам давали вино, я бы сказал: «Они все пьяны!»

Я приглядываюсь к одному из уцелевших солдат; он что-то лихо напевает и шагает в такт, как гусары в песенке; это барабанщик Вандерборн.

— Эй, Вандерборн! Да ты, кажется, доволен?

Вандерборн, обычно спокойный, сдержанный, кричит:

— Мой черед еще не пришел! Видишь: вот он — я!

И с сумасшедшим видом он размахнулся и хлопнул меня по плечу.

Понимаю…

Если эти люди, несмотря ни на что, счастливы, выйдя из ада, то именно потому, что они оттуда вышли. Они вернулись, они спасены! Еще раз смерть их пощадила. По установленному порядку

каждая рота идет на передовые позиции раз в шесть недель! Шесть недель! На войне у солдат, и в важных и в незначительных делах, детская психология: они никогда не заглядывают далеко вперед. Они думают только о завтрашнем дне, живут изо дня в день. Сегодня каждый из этих людей уверен, что хоть еще немножко, а поживет!

Вот почему, несмотря на чудовищную усталость и на свежую кровь, которой они забрызганы, и на гибель братьев, вырванных из их рядов, несмотря на все, вопреки себе самим, они ликуют, что уцелели, они гордо наслаждаются тем, что еще стоят на ногах.

IV. Вольпат и Фуйяд

Мы пришли на стоянку, кто-то крикнул:

— А где же Вольпат?

— А Фуйяд? Где они?

Их забрал и увел в первую линию окопов 5-й батальон. Мы должны были встретиться с ними на стоянке. Их нет. Два человека из нашего взвода потеряны!

— Эх, распроклятая жизнь! Вот что значит давать людей! — зарычал сержант.

Доложили капитану; он разразился бранью и сказал:

— Мне эти люди нужны! Найти их немедленно! Ступайте!

Капрал Бертран вызвал Фарфаде и меня из амбара, где мы уже растянулись и засыпали:

— Надо пойти искать Вольпата и Фуйяда!

Мы вскочили и отправились, охваченные тревогой. Два товарища, взятые 5-м батальоном, попали в эту адскую смену. Кто знает, где они и что с ними стало!

...Мы опять поднимаемся по откосу. Мы идем по той же дороге, но в обратном направлении, по той же длинной дороге, по которой шли с самой

зари. Хотя мы взяли с собой только винтовки, мы чувствуем себя усталыми, сонными, скованными среди печальной равнины, под затуманенным небом. Вскоре Фарфаде начинает тяжело дышать. Сначала он немного говорил, но от усталости замолчал. Он храбр, но хрупок и за всю свою прежнюю жизнь не научился пользоваться ногами; со времен своей первой исповеди он сидел в канцелярии мэрии, между печью и старыми пыльными папками, и только писал бумаги.

В ту минуту, когда мы выходим из лесу и, скользя, увязая в грязи, вступаем в зону ходов сообщения, впереди показываются две тени. Подходят два солдата: видны округлые очертания вещевых мешков и стволы ружей. Двойной колыхающийся призрак обозначается явственней.

— Это они!

У одной тени большая белая перевязанная голова.

— Раненый! Да это Вольпат!

Мы бежим к товарищам. Наши сапоги, хлюпая, увязают в грязи; в подсумках от тряски позвякивают патроны.

Тени останавливаются и ждут нас.

— Наконец-то! — кричит Вольпат.

— Ты ранен, друг?

— Что? — спрашивает он.

Сквозь плотную повязку он ничего не слышит. Приходится кричать. Мы подходим, кричим. Тогда он отвечает:

— Это ничего!.. Мы возвращаемся из той дыры, куда пятый батальон посадил нас в четверг.

— Вы с тех пор и оставались там? — орет Фарфаде.

Его визгливый, почти женский голос хорошо доходит даже до перевязанных ушей Вольпата.

— Ну да, — отвечает Фуйяд. — Черт бы их побрал! Ты думаешь, мы улетели на крылышках или — еще чище — ушли на своих на двоих без приказания?

Оба садятся на землю. Лицо Вольпата выделяется желтовато-черным пятном; голова, обмотанная холщовыми тряпками, завязанными на макушке в большой узел, кажется кучей грязного белья.

— Бедняги! Про вас забыли!

— Да! — восклицает Фуйяд. — Забыли. Четыре дня и четыре ночи в яме, под градом пуль! И, кроме того, воняло дерьмом.

— Еще бы! — говорит Вольпат. — Это тебе не обычный пост: пошел в смену и вернулся. Этот пост — попросту воронка, похожая на всякую дру-

гую воронку от снаряда. В четверг нам сказали: «Стойте здесь и стреляйте безостановочно!» Вот что нам сказали. На следующий день к нам сунул нос парень-связист из пятого батальона. «Что вы здесь делаете?» — спрашивает. «Да вот стреляем; нам приказало стрелять, мы и стреляем. Раз приказано, значит, так и нужно; мы ждем, чтобы нам приказали делать что-нибудь другое». Парень смылся; у него был не очень-то храбрый вид, он никак не мог привыкнуть к пальбе. Он говорил: «Это двести двадцать!»

— У нас на двоих, — говорит Фуйяд, — был один ржаной хлеб, ведро вина (его нам дали в восемнадцатой роте) и целый ящик патронов. Мы палили и попивали винцо. Из осторожности мы приберегли несколько патронов и краюху хлеба; но вина не оставили ни капли.

— И плохо сделали, — говорит Вольпат, — пить хочется. Ребята, есть у вас чем промочить глотку?

— У меня осталось с четвертинку, — отвечает Фарфаде.

— Дай ему! — говорит Фуйяд, указывая на Вольпата. — Ведь он потерял много крови. А мне только пить хочется.

Вольпата трясет, и среди тряпок, намотанных

на голову, его раскосые глаза лихорадочно блестят.

— Э-эх, хорошо! — выпив, говорит он.

— А ведь мы словили двух бошей, — прибавляет он, выливая (как этого требует вежливость) последние капли вина из фляги Фарфаде. — Они ползли по равнине и сослепу попали в нашу дыру, как кроты в ловушку. Дурачье! Мы их сцапали. Ну, вот. Мы стреляли тридцать шесть часов подряд, так что у нас больше не оставалось запаса. Тогда мы зарядили наши «хлопушки» последними патронами и стали ждать, не отходя от этих увальней-бошей. Парень-связист, верно, забыл сказать в своей части, что мы сидим в этой яме. А вы у себя в шестом батальоне забыли вытребовать нас обратно; восемнадцатая рота про нас тоже забыла. Мы ведь были не на обычном посту, где смена происходит в определенное время, как в карауле; я уж думал, что нам придется торчать там до самого возвращения полка. В конце концов нас открыли санитаришки из двести четвертого полка: они рыскали по равнине, подбирали раненых. Они о нас сообщили. Тогда нам было приказано убираться немедленно. Мы снарядились и посмеивались: хорошее «немедленно», нечего сказать! Мы развязали бошам

ноги, повели их, сдали в двести четвертый полк и вот пришли сюда. По дороге мы даже подобрали сержанта: он укрылся в яме и боялся выйти. Мы его выругали; это его подбодрило; он нас поблагодарил; его зовут Сасердот.

— А твоя рана, браток?

— Да я ранен в уши. Недалеко взорвался «чемодан». Как бахнет! Моя голова, можно сказать, проскочила между осколками, но чуть-чуть, а вот ушам досталось.

— Если бы ты видел, — говорит Фуйяд, — оба уха висят, как лохмотья, прямо глядеть противно. У нас было с собой два бинта, а «помощники смерти» дали нам еще один. Он и обмотал башку тремя.

— Ну, давайте ваши пожитки! Идем!

Мы с Фарфаде делим между собой ношу Вольпата. Фуйяд, мрачный от жажды, ворчит и упрямо не хочет отдавать винтовку и снаряжение.

Мы медленно трогаемся в путь. Всегда забавно идти не в строю; это случается так редко, что удивляешься, и приятно. Нас всех бодрит дыхание свободы. Мы идем по полю, словно ради удовольствия.

— Прогуливаемся! — гордо заявляет Вольпат.

Мы подходим к повороту на гребне откоса.

Вольпат предается радужным надеждам.

— Да, старина, в конце концов у меня хорошая рана. Меня эвакуируют. Непременно!

Он моргает глазами; они поблескивают среди накрученных белых бинтов, красноватых с обеих сторон.

Внизу, в деревне, часы бьют десять.

— Плевать мне на время! — говорит Вольпат. — Больше мне до него дела нет.

Он начинает болтать. Его слегка лихорадит; он говорит оживленней и быстрей, с удовольствием ступая замедленным шагом.

— Мне, как пить дать, привяжут к шинели красный ярлык и пошлют в тыл. Меня поведет вежливый господин и скажет: «Пожалуйте сюда, теперь поверните сюда… Так… Бедняга!..» Потом полевой лазарет, санитарный поезд; дамочки из Красного Креста всю дорогу будут за мной ухаживать, как за Жюлем Крапле; потом лазарет в глубоком тылу. Койки с белыми простынями; посреди палаты гудит печь; люди, обязанные заниматься нами; казенные шлепанцы и ночной столик: мебель! А в больших госпиталях! Вот где хорошо кормят! Там мне будут подавать вкусные обеды; там я буду принимать ванны, брать все, что дают. И сласти! Не придется из-за них драться

до крови. Ни черта не придется делать: положу руки поверх одеяла, и они будут лежать, как дорогие вещи, как игрушки! А ногам под одеялом будет тепло-тепло; они будут греться сверху донизу, накаляться добела, а пальцы расцветут, как букеты фиалок…

Вольпат останавливается, роется в карманах, вынимает свои знаменитые суассонские ножницы и что-то еще.

— Погляди! Видел?

Это фотография его жены и двух сыновей; он мне ее уже не раз показывал. Я смотрю и одобряю.

— Меня отправят подлечиться, — говорит Вольпат, — и пока мои уши будут прирастать, жена и малыши будут глядеть на меня, а я — на них. И пока уши будут расти, как салат, — война подойдет к концу… Ну, русские поднажмут… Мало ли что может быть…

Он убаюкивает себя этим мурлыканьем, тешит счастливыми предсказаниями, думает вслух, уже как бы отделившись от нас и празднуя свое особое счастье.

— Разбойник! — кричит Фуйяд. — Ну и повезло ж тебе, чертов разбойник.

Да и как ему не завидовать? Он уедет на целый

месяц, а то и на два, а то и на три месяца, и на это время, вместо того чтобы бедствовать и подвергаться опасности, превратится в рантье!

— Сначала, — говорит Фарфаде, — мне было чудно, когда кто-нибудь хотел получить «выгодную рану». А теперь, что бы там ни говорили, теперь я понимаю, что только на это и может надеяться бедный солдат, если он еще не рехнулся.

* * *

Мы подходим к деревне. Идем вдоль леса.

Вдруг на опушке, в полутени, появляется женская фигура. Игра лучей обвела ее светом. Деревья составляют фон из лиловых штрихов. Стройная женщина! Ее голова сияет светом белокурых волос; на бледном лице выделяются огромные ночные глаза. Это ослепительное существо смотрит на нас, дрожа; вдруг оно исчезает. Словно факел погас.

Это появление и исчезновение так взволновало Вольпата, что он теряет нить разговора.

— Прямо лань, а не женщина!

— Нет, — не расслышав, говорит Фуйяд. — Ее зовут Эдокси. Я ее знаю: я ее уже видел. Беженка. Не знаю, откуда она. Живет в какой-то семье, в Гамблене.

— Она худенькая, но красивая, — замечает Вольпат. — Хорошо бы ее приголубить!.. Лакомый кусочек, настоящий цыпленочек!.. Ну и глазищи у нее!..

— Затейница! — сказал Фуйяд. — На месте не устоит! Узнаешь ее по всклокоченным белокурым волосам. Видишь ее здесь. И вдруг — хлоп! — нет ее. И, знаешь, не боится ничего. Иногда она добирается почти до первой линии. Ее даже видали в поле, впереди окопов. Занятная!

— Гляди, вот она опять! Она не теряет нас из виду. Неужто мы ее интересуем?

В эту минуту силуэт, очерченный линиями света, украсил уже другой конец опушки.

— Ну, мне на женщин наплевать! — объявляет Вольпат, опять предаваясь мечтаниям о своей эвакуации.

— Во всяком случае, в нашем взводе один парень здорово в нее втюрился. Да вот и он; легок на помине!..

Справа из зарослей высунулась голова Ламюза, похожая на морду рыжего кабана.

Он шел по следам этой женщины. Заметил ее, остановился как вкопанный, уже готов был броситься к ней. Но наткнулся на нас.

Узнав Вольпата и Фуйяда, толстяк Ламюз ра-

достно вскрикнул. В эту минуту он забыл все и думал только о том, как бы поскорей взять у нас и понести мешки, ружья и сумки.

— Давайте все это мне! Я отдохнул. Ну, давайте!

Он хотел нести все. Мы с Фарфаде охотно избавились от багажа Вольпата, а Фуйяд, выбившись из сил, согласился отдать ему свои сумки и ружье.

Ламюз превратился в ходячий склад. Под огромной ношей он почти исчез и, согнувшись, подвигался мелкими шажками.

Но чувствовалось, что им владеет одна мысль: он поглядывал в сторону, он искал женщину, к которой чуть не бросился.

Останавливаясь, чтобы поправить багаж, передохнуть и отереть пот, он каждый раз украдкой озирался и посматривал на опушку леса. Но больше он не видел этой женщины.

А я увидел ее опять! И на этот раз мне показалось, что ее интересовал кто-то из нас.

Она мелькала там, налево, в зеленой чаще. Держась за ветку, она нагибалась; ее ночные глаза сверкали; бледное лицо, ярко освещенное с одной стороны, сияло, как полумесяц. Она улыбалась.

Проследив направление ее взгляда, я обернулся

и увидел Фарфаде; он тоже улыбался.

Потом она исчезла в листве, унося с собой эту ответную улыбку…

Так мне открылась тайна близости этой гибкой, хрупкой, ни на кого не похожей цыганки и выделявшегося среди нас тонкого, стройного Фарфаде. Ясно…

Ламюз не видел ничего: он был ослеплен и перегружен ношей, которую взял у Фарфаде и у меня; он старался сохранить равновесие, ничего не уронить, внимательно глядел себе под ноги и с трудом переступал.

У него был несчастный вид. Вот он стонет, задыхается, его гнетет печальная забота. В его хриплом прерывистом дыхании чудится биение и ропот сердца. Глядя на перевязанного Вольпата и на сильного, полнокровного толстяка Ламюза, таящего вечно не удовлетворенный порыв, я вижу, что из них опасней ранен не тот, кого считают раненым.

Наконец мы спускаемся к деревне.

— Сейчас попьем, — говорит Фуйяд.

— Меня скоро эвакуируют, — говорит Вольпат.

Ламюз кряхтит.

Товарищи вскрикивают, подбегают и собираются на маленькой площади, где высится церковь

с двумя башенками, настолько поврежденная снарядом, что ее трудно узнать.

V. Стоянка

Белесая дорога в ночном лесу странно перерезана и загромождена тенями. Словно по волшебству, лес вышел из своих пределов и катится в глубины мрака. Это полк идет на новую стоянку.

Впотьмах тяжелые ряды теней, нагруженных с головы до ног, теснятся и сталкиваются; каждая волна, на которую напирают сзади, натыкается на ту, что катится впереди. По бокам отдельно движутся более стройные призраки-начальники. Над этой плотной толпой, сдавленной откосами, поднимается глухой гул — восклицания, обрывки беседы, слова команды, кашель и песни. Этот шум сопровождается топотом ног, лязгом штыков, манерок и металлических бидонов, рокотом и грохотом шестидесяти фургонов обоза первого разряда и обоза второго разряда, которые следуют за обоими батальонами. Вся эта толпа шагает, вытягивается вверх по дороге, и под высоким куполом ночи задыхаешься от запаха, похожего на запах львов в клетке.

Шагая в строю, не видишь ничего, но когда в давке натыкаешься на соседа, — различаешь

жестяную миску, голубоватую стальную каску, черный ствол ружья. Иногда, при свете ослепительных искр, выбитых огнивом, или при свете красного пламени, вспыхивающего на крошечной головке спички, замечаешь за близкими четкими очертаниями рук и лиц неровные ряды плеч и касок; колыхаясь, как волны, они идут на приступ непроницаемого мрака. Потом все гаснет, и, пока шагают ноги, глаза каждого пешехода не отрываются от того предполагаемого места, где должна торчать спина идущего впереди солдата.

После нескольких остановок тяжело опускаешься на мешок у пирамиды ружей, которые составляешь по свистку с лихорадочной поспешностью и удручающей медлительностью, не видя ничего в чернильных потемках; но вот брезжит заря, ширится, овладевает пространством. Стены мрака рушатся. Опять мы присутствуем при величественном зрелище: над нашей вечно бродячей ордой поднимается день.

Из этой походной ночи выходишь, словно по концентрическим кругам: сначала менее густая тень, потом — полутень, потом — тусклый свет. Ноги одеревенели, спины ноют, плечи болят. Лица остаются серо-черными, словно с трудом вырываешься из ночи; теперь никогда уже не

удается отделаться от нее окончательно.

На этот раз большое стадо идет на отдых. Где нам придется прожить эту неделю? Думают (но никто не знает точно), что в Гошен-л'Аббе. Об этой деревне рассказывают чудеса.

— Говорят, там не житье, а рай!

При бледном свете в рядах товарищей начинаешь различать фигуры и лица; люди опустили голову, зевают во весь рот. Раздаются возгласы:

— Никогда еще не было такой стоянки! Там штаб бригады! Там полевой суд! Там у торговцев можно найти все.

— Раз есть штаб бригады, значит, дело пойдет!

— А как ты думаешь, найдется там для нас обеденный стол?

— Все что хочешь, говорят тебе!

Какой-то пророк зловеще покачивает головой.

— Какая это будет стоянка, я не знаю: я там никогда не бывал, — говорит он. — Знаю только, что она будет не лучше других.

Но ему не верят: мы выходим из шумной лихорадочной ночи; леденея от холода, мы подвигаемся на восток, к неизвестной деревне, которая явит нам дневной свет, и всем кажется, что мы приближаемся к какой-то обетованной земле.

* * *

На рассвете мы подходим к домам, которые еще дремлют у подножия откоса, за плотной завесой серых туманов.

— Пришли!

У-у-ух! Мы отмахали за ночь двадцать восемь километров…

Но что это?.. Мы не останавливаемся. Проходим мимо домов, и постепенно их опять окутывает мгла и саван тайны.

— Значит, придется шагать еще долго. Это — там, там!

Мы шагаем, как автоматы; мы охвачены каким-то оцепенением, ноги каменеют, суставы скрипят, хрустят, мы готовы кричать от боли.

День запаздывает. Вся земля покрыта пеленой туманов. Холод такой, что на остановках измученные люди не решаются присесть и ходят взад и вперед, словно призраки, в сырой темноте. Колючий зимний ветер хлещет нас по лицу, подхватывает, уносит слова и вздохи.

Наконец солнце пробивает пар, нависший над нами и пронизывающий нас сыростью. Среди низких туч открывается волшебная поляна.

Солдаты потягиваются, на этот раз действи-

тельно просыпаются и приподнимают голову к серебряному свету первых лучей.

Очень скоро солнце начинает припекать, и становится слишком жарко.

Солдаты в строю уже задыхаются, потеют и ворчат еще сильней, чем недавно, когда они лязгали зубами от холода и когда туман проводил словно мокрой губкой по лицам и рукам.

Местность, по которой мы проходим в это раскаленное утро, — меловая страна.

— Сволочи! Они вымостили дорогу известняком!

Дорога ослепляет нас белизной; теперь над нашим шествием нависает большая туча сухой извести и пыли.

Лица багровеют и лоснятся; у некоторых они налиты кровью и словно вымазаны вазелином; щеки и лбы покрываются корой, которая прилипает и крошится. Ноги теряют даже приблизительную форму ног, будто их окунули в кадку штукатура. Сумки и ружья обсыпаны пылью, и вся наша орда оставляет справа и слева на протяжении всего пути молочно-белый след на придорожных травах.

И вдруг, в довершение всего, окрик:

— Правей! Обоз!

Мы бросаемся вправо; дело не обходится без толкотни.

По дороге с адским грохотом мчится целый обоз грузовиков — длинная вереница квадратных болидов. Проклятие! Они мерно поднимают столбы белой пыли, словно ватой окутывают всю землю и осыпают нас.

И вот мы одеты в светло-серый покров; на лицах белесые маски со сгустками на бровях, усах, бороде и в морщинах. Мы похожи на странных стариков.

— Вот состаримся, будем такими уродами, как сейчас, — говорит Тирет.

— У тебя даже плевки белые, — замечает Бике.

Когда мы каменеем на остановке, нас можно принять за ряды статуй; сквозь гипс чуть пробиваются грязные остатки человеческого облика.

Мы трогаемся в путь. Молчим. Мучаемся. Каждый шаг становится пыткой. Лица искажаются гримасами, которые застывают под белой коростой. От бесконечных усилий мы скрючились; мы изнемогаем от мрачной усталости и отвращения.

Наконец мы замечаем желанный оазис: за холмом, на другом холме, повыше, черепичные кровли среди листвы, светло-зеленой, как салат.

Там — деревня; она уже видна, но мы еще не пришли. Наш полк медленно взбирается к ней, а она как будто отступает.

В конце концов, к двенадцати часам дня, мы приходим на стоянку, уже казавшуюся невероятной и сказочной.

Держа ружье на плече, мерным шагом полк вступает в Гошен-л'Аббе и до краев заполняет улицу. Ведь большинство деревень в Па-де-Кале состоит только из одной улицы. Но какой улицы! Часто она тянется на несколько километров. Здесь единственная большая улица разветвляется перед мэрией и образует две другие: деревня расположена в виде буквы Y, неровно обведенной низкими домами.

Самокатчики, офицеры, ординарцы отделяются от длинного движущегося хвоста. По мере того как мы продвигаемся, люди кучками ныряют в ворота сараев: ведь свободные жилые дома предназначены для господ офицеров и канцелярий. Наш взвод сначала ведут на один конец деревни, потом на другой, — туда, откуда мы явились (между квартирмейстерами произошло недоразумение).

Это хождение взад и вперед отнимает время; взвод, который гоняют с севера на юг и с юга

на север, страшно устал и раздражен бесполезным шаганием; он проявляет лихорадочное нетерпение. Главное — как можно скорее освободиться и устроиться на стоянке, если мы хотим осуществить давно лелеемый замысел: снять у какого-нибудь местного жителя помещение со столом, за которым можно было бы есть и пить! Об этом деле, об его чудесных выгодах уже много толковали. Собрали деньги и решили на этот раз рискнуть и позволить себе такую роскошь.

Но можно ли будет это устроить? Многие помещения уже заняты. Не мы одни пришли сюда с мечтой об удобствах; придется побегать взапуски в поисках стола.

За нашей ротой идут еще три другие, а четыре уже пришли до нас, да еще будут полуказенные столовки для санитаров, писарей, ездовых, ординарцев и других; казенные столовки для унтер-офицеров и что там еще?.. Все эти люди сильней простых рядовых; у них больше свободы действий и возможностей; они могут заблаговременно осуществить свои замыслы. И пока мы еще шагаем по четверо в ряд к сараю, отведенному для нашего взвода, на завоеванных порогах уже стоят эти волшебники и хлопочут по хозяйству.

Тирет блеет и мычит:

— Вот и хлев!

Довольно большой сарай. Рубленая солома; наши шаги поднимают облако пыли; пахнет нужником. Но это — более или менее закрытое помещение. Мы садимся и снимаем с себя ношу.

Те, кто лишний раз мечтал о каком-то рае, лишний раз остаются с носом.

— Послушай, да ведь здесь так же паршиво, как везде.

— Один черт.

— Ну да!

— Ясное дело…

Но нельзя терять время на разговоры. Предстоит изловчиться и опередить других; это называется «система И» (извернуться и изловчиться). Изо всех сил и как можно скорей! Мы спешим. Хотя поясницу ломит и ноги разбиты, мы делаем последнее неистовое усилие, от которого будет зависеть наше благополучие в течение целой недели.

Наш отряд разделяется на два патруля: они выходят рысцой, один направо, другой налево, на улицу, уже запруженную озабоченными, ищущими солдатами; все эти кучки следят одна за другой и… торопятся. Кое-где даже сталкиваются и переругиваются.

— Начнем с того конца! Сейчас же! Иначе мы прозеваем!..

Все это представляется мне каким-то отчаянным сражением между всеми солдатами на улицах только что занятой деревни.

— Нам, — говорит Мартро, — все приходится брать с бою, все!

* * *

Мы обходим дома, стучим в каждую дверь, робко здороваемся, предлагаем себя, как ненужный товар. Раздается чей-то голос:

— Мадам, нет ли у вас уголка для солдатиков? Мы заплатим.

— Нет, у меня стоят офицеры! — или: — Унтер-офицеры, — или: — Здесь столовка для музыкантов… для писарей… для почтарей… для господ санитаров из лазарета и т. д.

Сколько хлопот! Перед нами закрываются все приоткрывшиеся двери, а мы по ту сторону порога переглядываемся, и в наших глазах все меньше надежды.

— Господи! Вот увидишь, мы не найдем ничего, — ворчит Барк. — Слишком много разной швали успело устроиться до нас! Вот дерьмо!

Толпа повсюду растет. Все три улицы начинают

чернеть и наполняться по закону сообщающихся сосудов. По дороге нам попадаются жители: старики, или уродливые скрюченные мужчины, или заморыши с перекошенной рожей, или молодые люди, от которых веет тайной скрытых болезней и политических связей. Много старух в нижних юбках и девушек, тучных, пухлощеких, покачивающихся, как белые гусыни.

Вдруг, между двумя домами, на какой-то улочке, мне является видение: в темноте мелькает женщина…

Это Эдокси! Эдокси, женщина-лань; это ее на равнине преследовал, как фавн, Ламюз в то утро, когда мы вели раненого Вольпата и Фуйяда и она появилась перед нами на опушке леса, как бы соединенная с Фарфаде улыбкой.

Она-то и озарила, словно неожиданное сияние, эту улочку. Но вдруг исчезла за выступом стены, и все опять погрузилось во мрак… Она здесь? Уже? Значит, она следовала за нами в нашем долгом, мучительном странствовании?.. Ее тянет к нам…

Да, это бросается в глаза: я видел ее только минуту, в светлом уборе ее волос, но заметил, что она задумчива и озабоченна.

Ламюз идет вслед за мной и ее не замечает. Я ему о ней не говорю. Он еще успеет заметить это

прекрасное пламя, он рвется всем существом к этой женщине, но она убегает от него, как блуждающий огонек. Впрочем, пока мы слишком заняты делами. Надо во что бы то ни стало завоевать желанный угол. С настойчивостью отчаявшихся людей мы опять идем на поиски. Нас увлекает за собой Барк. Он принял это дело близко к сердцу. Он весь трепещет, его обсыпанный пылью хохолок тоже дрожит. Он нас ведет, принюхиваясь к воздуху. Он предлагает нам попытаться проникнуть в эту желтую дверь. Вперед!

У желтой двери показывается согбенная фигура: поставив ногу на дорожный столб, Блер очищает ножом заскорузлый сапог и сдирает с него слой известки... Он словно занимается лепкой.

— У тебя никогда не было таких белых ног, — поддразнивает его Барк.

— Ладно, шутки в сторону, — говорит Блер, — ты не знаешь, где эта повозка?

Он поясняет:

— Хочу разыскать зубоврачебную повозку, чтобы мне вырвали последние старые костяшки и вставили челюсть. Говорят, эта повозка зубодера стоит здесь.

Он складывает нож, прячет его в карман и идет

вдоль стены, поглощенный мыслью о воскрешении своей челюсти…

Лишний раз мы клянчим, как нищие, повторяя все те же словечки:

— Здравствуйте, мадам! Нет ли у вас уголка для еды? Мы заплатим, мы заплатим, ясное дело…

— Нет…

При свете низкого оконца, как в аквариуме, показывается странное плоское лицо старика, перерезанное морщинами, похожее на страницу старой рукописи.

— У тебя ведь есть сарайчик?

— В сарайчике тоже нет места: там стирают белье…

Барк подхватывает эти слова на лету:

— Все-таки, может быть, подойдет. Можно взглянуть?

— Там стирают, — бормочет женщина, продолжая подметать пол.

— Знаете, — скорчив любезную мину, говорит Барк, — мы ведь не какие-нибудь буяны, что напьются и скандалят. Можно взглянуть, а?

Баба перестает мести. Она худая и плоская. Кофта висит на ней, как на вешалке. У нее невыразительное, застывшее, словно картонное лицо. Она смотрит на нас и нерешительно, нехотя ве-

дет нас в темную-темную глинобитную конуру, заваленную грязным бельем.

— Великолепно! — искренне восклицает Ламюз.

— Славная девчурка! — говорит Барк и треплет по щеке пухлую, румяную девочку, которая разглядывает нас, задрав грязный носик. — Мадам, это ваша?

— А этот? — решается спросить Мартро, показывая на откормленного ребенка, с тугими, как пузырь, щечками, вымазанными в варенье и пыли.

Мартро робко пытается приласкать чумазого, липкого малыша.

Женщина не удостаивает ответом.

Мы топчемся, юлим, хихикаем, словно нищие, мольбы которых еще не услышаны.

— Хоть бы эта старая стерва согласилась! — с тревогой шепчет мне на ухо Ламюз. — Здесь отлично, а везде уже занято.

— Стола нет, — наконец говорит женщина.

— О столе не беспокойтесь! — восклицает Барк. — Да вот в углу стоит старая дверь. Она будет нам столом.

— Нет, вы мне тут все разбросаете и перевернете вверх дном! — недоверчиво отвечает

картонная женщина, явно жалея, что сразу же не прогнала нас.

— Право, не беспокойтесь! Да сейчас увидите сами! Эй, Ламюз, подсоби мне, дружище.

Мы кладем старую дверь на две бочки. Карга недовольно смотрит.

— Немножко почистить ее, и все будет отлично, — говорю я.

— Да, мамаша, хорошенько провести метлой: это будет лучше всякой скатерти!

Она не знает, что ответить, и смотрит на нас с ненавистью.

— У меня только два табурета, а вас-то сколько?

— Около дюжины.

— Дюжина! Господи Иисусе!

— Ничего! Устроимся! Вот здесь есть доска; вот и скамья готова. Верно, Ламюз?

— Ну, ясное дело! — отвечает Ламюз.

— Эта доска мне нужна, — заявляет женщина. — У меня до вас стояли солдаты, они уже пробовали ее взять.

— Да мы ведь не жулики, — сдержанно замечает Ламюз, чтоб не рассердить женщину, от которой зависит все наше благополучие.

— Я о вас не говорю, но, знаете, солдаты портят

все. Беда с этой войной!

— Значит, сколько это выйдет, за стол напрокат и за то, чтоб что-нибудь разогреть на плите?

— Двадцать су в день, — нехотя бурчит хозяйка, словно мы у нее вымогаем эту сумму.

— Дороговато! — говорит Ламюз.

— Так платили другие, что стояли до вас. И какие были славные люди: давали нам свои харчи! Я знаю, что для солдат это нетрудно. Если, по-вашему, это дорого, я сейчас же найду других охотников на эту комнату, на этот стол и печь. Их будет меньше двенадцати. Ко мне все время ходят и заплатят подороже, если мы захотим. Подумайте, двенадцать человек!

— Я сказал: «Дороговато!» — но в конце концов ладно! — спешит прибавить Ламюз. — Как, ребята?

Он задал этот вопрос только для проформы. Мы соглашаемся.

— Выпить бы! — говорит Ламюз. — Продаете винцо?

— Нет, — отвечает баба.

И голосом, дрожащим от гнева, прибавляет:

— Вы понимаете, военные власти заставляют нас продавать вино не дороже пятнадцати су! Пятнадцать су! Веда с этой проклятой войной!

На ней теряешь деньги! Подумайте: пятнадцать су! Вот я и не продаю вина. У меня, конечно, есть вино, но только для себя. Конечно, иногда, чтоб услужить, я уступаю его знакомым, людям толковым, но, вы сами понимаете, не по пятнадцати су!

Ламюз принадлежит к людям толковым. Он хватается за флягу, которая всегда висит у него на поясе.

— Дайте мне литр! Сколько будет стоить?

— Двадцать два су — я продаю по своей цене. И, знаете, это только чтоб вам услужить: вы ведь военные.

Барк теряет терпение и что-то ворчит про себя. Баба бросает на него злобный взгляд и делает вид, что хочет вернуть флягу Ламюзу.

Но Ламюз окрылен надеждой наконец выпить; он багровеет, как будто вино уже разлилось по его жилам; он спешит прибавить:

— Не беспокойтесь, мамаша, это останется между нами, мы вас не выдадим!

Она стоит неподвижно и возмущается установленными ценами. И вот, охваченный страстным желанием выпить, Ламюз окончательно сдается и унижается до того, что говорит:

— Ничего не поделаешь, мадам. Известно, на-

род военный! Что они смыслят!

Хозяйка ведет нас в погреб. Он уставлен тремя бочками внушительных размеров.

— Это и есть ваш запасец?

— Шельма старуха, — ворчит Барк.

Ведьма оборачивается и злобно восклицает:

— А вы бы небось хотели, чтоб мы разорились на этой проклятой войне! И так теряем деньги то на одном, то на другом!

— На чем? — настаивает Барк.

— Сразу видно, что вам не приходится рисковать своими деньгами!

— Конечно, мы ведь рискуем только своей шкурой!

Мы вмешиваемся в разговор, опасаясь, как бы он не принял дурной оборот.

Вдруг кто-то дергает дверь погреба, и раздается мужской голос:

— Эй, Пальмира!

Хозяйка уходит, ковыляя, предусмотрительно оставив дверь открытой.

— Здо́рово! Тут славное винцо! — говорит Ламюз.

— Вот гады! — бормочет Барк; он никак не может успокоиться после подобного приема.

— Стыд и срам! — говорит Мартро.

— Можно подумать, что ты это видишь в первый раз!

— А ты тоже хорош, кисляй! — возмущается Барк. — Старуха нас обворовывает, а ты ей сладким голосом говоришь: «Ничего не поделаешь, народ военный!» Совести у тебя нет!

— А что еще сказать? Значит, лучше затянуть пояс потуже? Не было бы ни жратвы, ни выпивки! Если б она потребовала с нас за вино по сорок су, все равно пришлось бы платить. Правда? Так вот, мы еще должны почитать себя счастливыми. Признаюсь, я уж боялся, что она не согласится.

— Известно, везде и всегда одна и та же история, а все-таки…

— Да, нечего сказать, мирные жители ловко обделывают свои делишки! Конечно, кое-кто из них разбогатеет. Не всем же рисковать своей шкурой!

— Эх, славный народ в восточных областях!

— Да и северяне тоже хороши!

— …Они встречают нас с распростертыми объятиями!..

— Скорее, с протянутой рукой…

— Говорят тебе, — повторяет Мартро, — что это стыд и срамота.

— Заткнись! Вот опять эта стерва!

Мы идем известить товарищей о нашей удаче; потом за покупками. Когда мы возвращаемся в новую столовую, там уже хлопочут: готовят завтрак. Барк пошел получать наши доли провизии и благодаря личным связям с главным поваром, хоть и принципиальным противником подобного деления, получил картошку и мясо на пятнадцать человек.

Он купил топленого свиного сала — комок за четырнадцать су: будет жареная картошка. Он еще купил зеленого горошку в консервах: четыре банки. А банка телячьего студня Андре Мениля будет нашей закуской.

— Вкусно поедим! — с восхищением говорит Ламюз.

* * *

Мы осматриваем кухню. Барк с довольным видом ходит вокруг чугунной, тяжело дышащей плиты, занимающей целую стену этого помещения.

— Я поставил еще один котелок, — шепчет он мне.

Он приподнимает крышку.

— Огонь не очень-то сильный. Вот уж полчаса, как я положил мясо, а вода все чистая.

Через минуту он уже спорит с хозяйкой из-за этого добавочного котелка. Хозяйка кричит, что ей теперь не хватает места на плите; ведь солдаты говорили, что им нужна только одна кастрюля; она и поверила; если бы она знала, что будет столько хлопот, она бы не сдала комнаты. Барк добродушно отшучивается, и ему удается успокоить это чудовище.

Один за другим приходят и остальные. Они подмигивают, потирают руки, предаются сладким мечтаниям, предвкушая пир, словно гости на свадьбе.

Попадая с улицы в эту черную конуру, они слепнут и несколько минут стоят растерянные, как совы.

— Не очень-то светло! — говорит Мениль Жозеф.

— Ну, старина, чего тебе еще надо?

Остальные хором восклицают:

— Здесь прямо великолепно!

Все утвердительно кивают головой.

Происшествие: Фарфаде неосмотрительно задел плечом влажную, грязную стену; на куртке осталось большое пятно, такое черное, что его видно даже здесь, хотя темно, как в погребе. Опрятный Фарфаде ворчит и, стараясь больше не

прикасаться к стене, натыкается на стол и роняет ложку. Он нагибается и шарит по корявому полу, где годами в тишине оседала пыль и паутина. Наконец ложка найдена; она вся в черной пыли, с нее свисают какие-то нити и волокна. Уронить здесь что-нибудь — это целая катастрофа. Здесь надо двигаться осторожно.

Ламюз кладет между двумя приборами руку, жирную, как окорок.

— Ну, к столу!

Мы приступаем к еде. Обед обильный и тонкий. Гул разговоров смешивается со звоном опорожняемых бутылок и чавканьем полных ртов. Мы наслаждаемся вдвойне: ведь мы едим сидя; сквозь отдушину пробивается свет; он озаряет угол стола, один прибор, козырек, глаз. Я украдкой посматриваю на этот мрачный пир, где веселье бьет через край.

Бике рассказывает, как ему пришлось искать прачку и умолять ее выстирать белье. «Но это стало мне в копеечку!» Тюлак рассказывает, что перед бакалейной лавкой стоит хвост; войти туда не имеешь права; стоишь, как баран в загоне.

— Стоишь на улице, а если ты недоволен и ворчишь, тебя прогоняют.

Какие еще новости? Новый приказ грозит су-

ровыми карами за мародерство и уже содержит список виновных. Вольпата эвакуировали. Солдат призыва девяносто третьего года отправляют в тыл; среди них Пепер.

Барк приносит жареную картошку и сообщает, что у нашей хозяйки за столом едят солдаты — санитары пулеметной роты.

— Они думают, что устроились лучше нас, а на самом деле нам лучше всех, — убежденно говорит Фуйяд, гордо оглядывая гнусную конуру, где так же тесно и темно, как в землянке. (Но кому придет в голову подобное сравнение?)

— Знаете, — говорит Пепен, — ребятам из девятой роты везет! Их держит задаром одна старуха: ее хозяин помер пятьдесят пять лет назад; он был когда-то вольтижером. Говорят даже, что она задаром дала им кролика, и сейчас они едят рагу.

— Хорошие люди есть везде! Но ребятам из девятой роты повезло: они одни в целой деревне попали на постой к хорошим людям!

Пальмира приносит нам кофе. Она к нам привыкает, слушает нас и даже задает угрюмым тоном вопросы:

— Почему вы унтера «сочным» зовете?

Барк поучительным тоном отвечает:

— Так было всегда.

Она уходит; тогда мы высказываем мнение о кофе:

— Что-то жидковато! Даже сахар на дне виден.

— А баба дерет по десяти су!

— Это фильтрованная вода.

Дверь приоткрывается; обозначается светлая щель; показывается голова мальчика. Его подзывают, словно котенка, и дарят ему кусочек шоколада.

— Меня зовут Шарло, — щебечет ребенок. — Мы живем тут рядом. У нас тоже солдаты. У нас всегда солдаты. Мы им продаем все, что они хотят; только вот иногда они напиваются пьяные.

— Малыш, поди-ка сюда! — говорит Кокон и ставит его между своих колен. — Слушай-ка! Твой папаша небось говорит: «Хоть бы война тянулась подольше!» А-а?

— Ну да, — отвечает ребенок, кивая головой, — у нас теперь много-много денег. Папа сказал, что к концу мая мы заработаем пятьдесят тысяч франков.

— Пятьдесят тысяч? Не может быть!

— Правда, правда! — уверяет ребенок. — Он сказал это маме. Папа хочет, чтоб так было всегда. А мама иногда не знает: ведь мой брат Адольф на фронте. Но мы устроим его в тыл, и тогда пусть

война продолжается!

Вдруг, прерывая эти признания, из комнат наших хозяев доносятся пронзительные крики. Шустрый Бике идет узнать, в чем дело.

— Это ничего, — возвращаясь, говорит он. — Хозяин разорался на хозяйку за то, что она, мол, порядков не знает: положила горчицу в рюмку, а «так люди не делают».

Мы встаем. В нашем подземелье стоит тяжелый запах табака, вина и остывшего кофе. Едва мы переступаем порог, нам в лицо веет удушливый жар, отягченный запахом растопленного жира; этот чад вырывается каждый раз, как открывают дверь в кухню.

Мы проходим сквозь полчища мух, они облепили стены и при нашем появлении шумно разлетаются.

— Это как в прошлом году!.. Снаружи мухи, внутри вши…

— А ты в этом уверен?

В углу этого грязного домишки, заваленного хламом и пропыленными прошлогодними отбросами, обсыпанного пеплом многих угасших солнц, среди мебели и всякой утвари что-то движется: это старик с длинной шеей, облупленной, шершавой, розовой, как у больной облезлой

курицы. У него и профиль куриный: подбородка нет, нос длинный; впалые щеки прикрыты грязно-серой бородой, и большие круглые веки поднимаются и опускаются, словно крышки, на выцветших стеклянных глазах.

Барк его уже заметил.

— Погляди: он ищет клад. Он говорит, что где-то в этой конуре зарыт клад. Старик — свекор хозяйки. Становится вдруг на четвереньки и тычется рылом во все углы. Вот, погляди!

Старик неустанно ворошит отбросы палкой. Он постукивает ею по стенам и кирпичным плиткам пола. Его толкают жильцы этого дома и чужие люди; Пальмира задевает его метлой, не обращая на него внимания, и, наверно, думает про себя, что пользоваться общественным бедствием куда выгодней, чем искать какие-то там шкатулки.

В углублении, у окна, перед старой, засиженной мухами картой России, две кумушки вполголоса поверяют друг другу тайны.

— Да, надо быть осторожной с водкой, — бормочет одна. — Если наливать неловко, не выйдет шестнадцати рюмок на бутылку, и тогда мало заработаешь. Я не говорю, что приходится докладывать из своего кармана; конечно, нет, но меньше зарабатываешь. Чтоб этому помочь,

торговцам надо столковаться, но столковаться трудно даже для общей выгоды!

На улице жара, везде рои мух. Еще несколько дней тому назад их было мало, а теперь везде гудят их бесчисленные крошечные моторы. Я выхожу вместе с Ламюзом. Мы решили пройтись. Сегодня нечего делать: полный отдых после ночного перехода. Можно поспать, но гораздо интересней погулять на свободе: ведь завтра опять учение и работы…

Некоторым не повезло: их уже впрягли…

Ламюз предлагает Корвизару пройтись с нами, но Корвизар теребит свой круглый носик, торчащий на узком лице, как пробка, и отвечает:

— Не могу. Я должен убирать дерьмо.

Он показывает на лопату и метлу; согнувшись, задыхаясь от вони, он выполняет обязанности мусорщика и золотаря.

Мы идем вялым шагом. День навис над сонной деревней; в желудках, набитых пищей, тяжело. Мы говорим мало.

Вдруг где-то раздаются крики: на Барка напала целая свора хозяек… На эту сцену робко смотрит бледная девочка; ее косичка — словно из пакли; губы усеяны прыщами от лихорадки. Смотрят и женщины; они сидят у дверей в тени и занима-

ются жалким рукоделием.

Проходят шесть человек во главе с капралом-капитенармусом. Они несут тюки новых шинелей и связки сапог.

Ламюз рассматривает свои опухшие, огрубелые ноги.

— Н-да. Мне нужны чоботы, а то эти скоро каши запросят… Не ходить же босиком!

Слышится храп аэроплана. Мы следим за ним; поднимаем головы, вытягиваем шеи; глаза слезятся от яркого света. Когда мы опять смотрим на землю, Ламюз объявляет:

— От этих штуковин никогда не будет проку, никогда!

— Что ты! За короткое время мы уже достигли таких успехов!..

— Да, но на этом и остановятся. Лучше не сделают никогда.

На этот раз я не спорю: как всегда, невежество решительно отрицает прогресс; я предоставляю этому толстяку считать, что наука и промышленность вдруг остановились на своих необыкновенных достижениях.

Начав поверять мне свои глубокие мысли, Ламюз подходит ближе, опускает голову и говорит:

— Знаешь, Эдокси здесь.

— Да ну?

— Да. Ты никогда ничего не замечаешь, а я заметил. (Ламюз снисходительно улыбается.) Так вот, знаешь: раз она здесь, значит, кто-то ее интересует. Правда? Она пришла ради кого-то из нас, ясное дело.

Он продолжает:

— Старина, хочешь, я тебе скажу? Она пришла ради меня.

— А ты в этом уверен?

— Да, — глухо отвечает человек-бык. — Прежде всего, я ее хочу. А потом, она уже два раза попадалась мне на глаза. Понимаешь? Ты скажешь: она убежала; но ведь она робеет, да еще как…

Он стал посреди улицы и смотрит мне прямо в глаза. Его лоснящиеся щеки и нос, все его пухлое лицо выражает важность. Он подносит шаровидный кулак к бурым, тщательно закрученным усам и с нежностью поглаживает их. И опять принимается изливать свою душу:

— Я ее хочу… и, знаешь, я готов на ней жениться. Ее зовут Эдокси Дюмай. Раньше я не думал жениться на ней. Но с тех пор, как я узнал ее фамилию, мне кажется, будто что-то изменилось, и я готов жениться на ней. Эх, черт возьми, славная бабенка! И дело не только в красоте… Эх!..

Толстяк взволнован и старается выразить свои чувства словами.

— Эх, старина! Бывает, что меня надо удерживать крючьями, — мрачно отчеканивает он, и кровь приливает к его жирной шее и щекам. — Она такая красивая, она… А я, я… Она так не похожа на других, ты заметил, я уверен: ты ведь все замечаешь. Правда, она крестьянка, и все-таки в ней есть что-то такое, чего нет у парижанки, даже у самой разряженной, расфуфыренной парижанки, верно? Она… Я… Мне…

Он хмурит рыжие брови. Ему хочется выразить все великолепие своих чувств. Но он не умеет изъясняться и замолкает; он одинок, вечно одинок.

Мы идем дальше вдоль домов. У дверей выстроились телеги с бочками. Окна, выходящие на улицу, расцветились пестрыми банками консервов, пучками трута, всем, что вынужден покупать солдат. Почти все крестьяне занимаются бакалейной торговлей. Местная торговля развивалась медленно, но теперь первый шаг сделан; каждый крестьянин пустился в спекуляцию, он охвачен страстью к цифрам, ослеплен умножением.

Раздается колокольный звон. Открывается шествие. Военные похороны. На передке обозной телеги сидит солдат; он везет гроб, покрытый зна-

менем. За гробом идет полувзвод солдат, унтер, полковой священник и человек в штатском.

— Эх, куцые похороны! — говорит Ламюз. — Здесь поблизости лазарет. Пустеет, ничего не поделаешь. Умершим хорошо! Позавидуешь! Но только иногда, не всегда...

* * *

Мы прошли мимо последних домов. За деревней, в поле, расположились полковые обозы. Походные кухни и дребезжащие повозки, которые следуют за ними со всякой утварью, фургоны Красного Креста, грузовики, фуражные телеги, одноколка почтальона.

Вокруг всех этих повозок теснятся палатки ездовых и сторожей. Между ними, на голой земле, стоят кони и стеклянными глазами смотрят на клочок неба. Четыре солдата устанавливают стол. Под открытым небом дымит кузница. Этот пестрый людный поселок раскинулся в развороченном поле, где параллельные и дугообразные колеи каменеют на солнце; везде уже валяются отбросы.

На краю лагеря выделяется чистотой и опрятностью белый фургон. Можно подумать, что это роскошный ярмарочный балаган на колесах, где

берут дороже, чем в других.

Это знаменитый стоматологический фургон, который искал Блер.

А вот и сам Блер; он его разглядывает. Он, наверно, уже давно вертится здесь и не сводит с фургона глаз. Дивизионный санитар Самбремез возвращается из деревни и поднимается по откидной раскрашенной лестнице к дверце фургона. Он держит в руках большую коробку бисквитов, булку и бутылку шампанского. Блер его окликает:

— Эй, толстозадый, эта колымага — зубоврачебная?

— Здесь написано, — отвечает Самбремез, дородный коротышка, чистый, выбритый, с тяжелым белым подбородком. — Если не видишь, обратись не к зубному врачу, а к ветеринару, чтоб он протер тебе буркалы.

Блер подходит и разглядывает это учреждение.

— Ишь штуковина! — говорит он.

Он подходит еще раз, отходит, колеблется, прежде чем доверить свою челюсть врачу. Наконец решается, ставит ногу на ступеньку и исчезает за дверью.

* * *

Мы идем дальше… Сворачиваем на тропинку, где высокие кустарники обсыпаны пылью. Шумы затихают. Солнце парит, жарит и печет дорогу, расстилает ослепительные жгуче-белые полосы и трепещет в безоблачном синем небе.

На первом повороте слышится легкий скрип шагов, и прямо перед нами Эдокси!

Ламюз испускает глухое восклицание. Может быть, он опять воображает, что она ищет именно его, он еще верит в какую-то милость судьбы. Всей своей громадой он направляется к Эдокси.

Она останавливается среди боярышника и смотрит на Ламюза. Ее до странности худое, бледное лицо выражает тревогу; веки великолепных глаз бьются. Она стоит с непокрытой головой; полотняный корсаж вырезан на груди. Увенчанная золотом, эта женщина вблизи в самом деле обольстительна. Лунная белизна ее кожи привлекает и поражает. Глаза блестят, зубы сверкают между приоткрытых губ, красных, как сердце.

— Скажите!.. Я хочу вам сказать!.. — задыхаясь, говорит Ламюз. — Вы мне так нравитесь!..

Он протягивает руку к желанной женщине.

Она с отвращением отшатывается.

— Оставьте меня в покое! Вы мне противны!

Ламюз хватает своей лапой ручку Эдокси. Эдокси пытается ее вырвать. Яркие волосы распустились и трепещут, как пламя. Ламюз тянется к ней, вытягивает шею. Он хочет поцеловать Эдокси. Он хочет этого всем телом, всем существом. Он готов умереть, лишь бы коснуться ее губами.

Но она отбивается, испускает приглушенный крик; ее шея вздрагивает; прекрасное лицо обезображено злобой.

Я подхожу и кладу руку на плечо Ламюза, но мое вмешательство уже не требуется; Ламюз что-то бормочет и отступает; он побежден.

— Вы с ума сошли! — кричит ему Эдокси.

— Нет! — стонет несчастный Ламюз, ошеломленный, подавленный, обезумевший.

— Чтоб это больше не повторялось, слышите! — кричит она.

Она уходит, вся трепеща; он даже не смотрит ей вслед; он опустил руки, разинул рот и стоит там, где стояла она; он уязвлен в своей плоти, очнулся и уже не смеет молить.

Я веду его с собой. Он плетется молча, сопит, тяжело дышит, словно долго бежал.

Он опускает большую голову. В безжалостном свете вечной весны он напоминает бедного

циклопа, который когда-то бродил на древних берегах Сицилии, похожий на чудовищную игрушку, осмеянный и покоренный сияющей девушкой-ребенком…

Проходит бродячий виноторговец, подталкивая тачку, на которой горбом торчит бочка; он продал несколько литров часовым. Лицо у него желтое, плоское, как сыр камамбер; редкие волосы превратились в пыльные волокна; он так худ, что его ноги болтаются в штанах, словно привязанные к туловищу веревками. Он исчезает за поворотом дороги. На краю деревни, под крылом покачивающейся скрипучей дощечки, на которой написано ее название, праздные солдаты в карауле говорят об этом бродячем полишинеле.

— Поганая морда! — восклицает Бигорно. — И знаешь, что я тебе скажу? Столько «шпаков» как ни в чем не бывало болтается на фронте! Не надо их сюда пускать, и особенно неизвестных молодчиков!

— Ты загибаешь, вошь летучая! — отвечает Корне.

— Помалкивай, старая подметка! — настаивает Бигорно. — Напрасно им доверяют. Уж я знаю, что говорю.

— А Пепер отправляется в тыл, — говорит Ка-

нар.

— Здешние бабы все — рожи, — бормочет Ла Моллет.

Остальные солдаты глядят по сторонам и наблюдают за петлями и поворотами двух неприятельских аэропланов. От игры лучей эти механические жесткие птицы кажутся то черными, как вороны, то белыми, как чайки; вокруг них в лазури взрывается шрапнель, словно хлопья снега неожиданно посыпались в жаркий день.

* * *

Мы возвращаемся. К нам подходят два солдата. Это Карасюс и Шейсье.

Они сообщают, что повар Пепер отправляется в тыл, по закону Дальбьеза[4], и зачисляется в ополчение.

— Вот теплое местечко для Блера! — говорит Карасюс, у которого забавный большой нос совсем не соответствует лицу.

По деревне кучками или парами проходят

[4] Примечания: 4

Закон Дальбьеза — закон, названный по имени депутата-радикала Виктора-Антуана Дальбьеза (1876–954); принят 17 августа 1915 года; согласно этому закону, пополнение армии ограничивалось набором 1916 года, тогда как военное министерство предполагало призвать наборы 1916–917 годов.

солдаты; их соединяет переплетенными нитями беседа.

Отдельные солдаты подходят друг к другу, расходятся, потом сходятся опять, словно их притягивает друг к другу магнит.

Вдруг бешеная толкотня: в толпе взлетают белые листки. Это газетчик продает по два су газеты, которые стоят одно су. Фуйяд остановился посреди дороги; он худ, как заячья лапка. На солнце сияет розовое, как ветчина, лицо Паради.

К нам подходит Бике; одет не по форме: в куртке и суконной шапке. Он облизывает губы.

— Я встретил ребят. Мы выпили. Ведь завтра придется опять приниматься за работу, и первым делом надо будет почистить свое барахло и винтовку. С одной только шинелью сколько будет возни! Это уже не шинель, а какая-то бронированная подкладка.

Появляется канцелярист Монтрей; он зовет Бике:

— Эй, стрекулист! Письмо! Я ищу тебя уже целый час! Никогда не усидит на месте. Юла!

— Не могу ж я поспеть всюду зараз, толстый мешок! Давай-ка сюда!

Он рассматривает конверт, взвешивает письмо в руке и, распечатывая его, сообщает:

— Это от моей старушки!

Мы замедляем шаг. Бике читает, водит пальцем по строчкам, убежденно покачивает головой и шевелит губами, как молящаяся женщина.

Мы подходим к центру деревни; толпа увеличивается. Мы козыряем майору и черному священнику, который идет рядом с ним, как прогуливающаяся дама. Нас окликают Пижон, Генон, молодой Эскютнер и стрелок Клодор. Ламюз кажется слепым и глухим; он способен только двигаться.

Подходят Бизуарн, Шанрион, Рокет и громко сообщают великую новость:

— Знаешь, Пепер отправляется в тыл!

— Забавно, как они там ничего не знают! — говорит Бике, отрываясь от письма. — Старуха обо мне беспокоится.

Он показывает мне строки материнского послания. «Когда ты получишь мое письмо, — читает он по складам, — ты, наверно, будешь сидеть в грязи и холоде, без еды, без питья, мой бедный Эжен!..»

Он смеется.

— Она написала это десять дней тому назад. Вот уж попала пальцем в небо! Теперь не холодно: сегодня отличная погода. Нам не плохо: у нас

своя столовка. Раньше мы бедствовали, а теперь нам хорошо.

Мы возвращаемся в нашу собачью конуру, обдумывая эту фразу. Ее трогательная простота меня волнует; она выражает душу, множество душ. Только показалось солнце, только почувствовали мы луч света и устроились чуть поудобней, и вот ни мучительное прошлое, ни ужасное будущее больше не существуют… «Теперь нам хорошо». С плохим покончено.

Бике, как барин, садится за стол и собирается писать. Он старательно раскладывает и проверяет бумагу, чернила, перо, улыбается и выводит ровные, круглые буквы на маленьком листке.

— Если бы ты знал, что я пишу моей старушке, ты бы посмеялся, — говорит он.

Он с упоением перечитывает письмо и улыбается самому себе.

VI. Привычки

Мы царим на птичьем дворе.

Толстая курица, белая, как сметана, высиживает яйца на дне корзины, у конуры, где копошится пес. А черная курица расхаживает взад и вперед. Она порывисто вытягивает и втягивает упругую шею и движется большими жеманными шагами; виден ее профиль с мигающей блесткой зрачка; кажется, что ее кудахтанье производит металлическая пружина. Ее перья переливаются черным блеском, как волосы цыганки; за ней тащится выводок цыплят.

Эти легкие желтые шарики бросаются под ноги матери короткими, быстрыми шажками и поклевывают зерна. Только последние два цыпленка стоят неподвижно и задумчиво, не обращая внимания на механическое кудахтанье матери.

— Плохой признак! — говорит Паради. — Если цыпленок задумался, значит, он болен.

Паради то закидывает ногу на ногу, то расправляет их.

Рядом, на скамье, Блер потягивается, зевает во весь рот и опять принимается глазеть; он больше всех любит наблюдать за птицами: они живут

так мало и так спешат наесться.

Да и все мы смотрим на них и на старого, общипанного, вконец истасканного петуха; сквозь облезлый пух виднеется голая, словно резиновая, ляжка, темная, как поджаренный кусок мяса. Петух подходит к белой наседке, которая то отворачивается, как будто сухо говорит «нет!» — и сердито клохчет, то наблюдает за ним голубыми глазами, похожими на маленькие эмалированные циферблаты.

— Хорошо здесь! — говорит Барк.

— Гляди, вот утята! — отвечает Блер. — Они забавные, чудные!

Проходит вереница крошечных утят; это еще почти яйца на лапках; большая голова торчит на шейке, как на веревочке, и быстро-быстро тянет за собой тщедушное тельце.

Из своего угла толстая собака тоже смотрит на них глубокими честными черными глазами, в которых под косым лучом солнца светится прекрасный рыжий блик.

За этим двором, через выемку в низкой стене, виден плодовый сад; зеленая густая влажная трава покрывает жирную землю; дальше высится стена из зелени, украшенная цветами, белыми, как статуи, или пестрыми, как банты. Еще дальше

— луг, где вытянулись зелено-черные и зелено-золотистые тени тополей. Еще дальше — грядка торчком вставшего хмеля и грядка сидящих в ряд кочанов капусты. На солнце, в воздухе и на земле с музыкальным жужжанием трудятся пчелы, как об этом говорится в стихах, а кузнечик вопреки басням поет без всякой скромности и один заполняет своим стрекотанием все пространство.

С вершины тополя вихрем слетает полубелая, получерная сорока, похожая на обгорелый клочок газеты.

Солдаты сидят на каменной скамье и, прищурив глаза, с наслаждением потягиваются и греются на солнце, которое в этом широком дворе накаляет воздух, как в бане.

— Мы здесь уже семнадцать дней! А мы-то думали, что нас вот-вот отсюда отправят!

— Никогда нельзя знать! — говорит Паради, покачивая головой, и щелкает языком.

В открытые ворота виднеется куча солдат; они разгуливают, задрав нос, и наслаждаются солнцем, а дальше в одиночку ходит Теллюрюр. Он выступает посреди улицы; колыхая пышным животом, ковыляя на кривых ногах, похожих на ручки корзины, он обильно заплевывает землю.

— А мы еще думали, что здесь будет плохо, как

на других стоянках. Но на этот раз настоящий отдых: и погода соответственная, и вообще хорошо.

— И занятий и работ не так уж много.

— Иногда приходишь сюда отдохнуть.

Старичок, сидящий на краю скамьи (это не кто иной, как дедушка, искавший клад в день нашего приезда), подвигается к нам и поднимает палец.

— Когда я был молодым, женщины на меня заглядывались, — утверждает он, покачивая головой. — Ну и перебывало же у меня бабенок!

— А-а! — рассеянно говорим мы: от этой старческой болтовни наше внимание кстати отвлек грохот нагруженной, тяжело подвигающейся телеги.

— А теперь, — продолжает старик, — я думаю только о деньгах.

— Ах да, вы ведь ищете клад, папаша.

— Конечно, — говорит старик.

Он чувствует наше недоверие.

Он ударяет себя по черепу указательным пальцем и показывает на дом.

— Глядите, — говорит он, показывая на какое-то насекомое, ползущее по стене. — Что этот зверь говорит? Он говорит: «Я — паук, я тку нитки богородицы».

И древний старик прибавляет:

— Никогда не надо судить о том, что люди делают, потому что нельзя знать, что случится.

— Правда, — вежливо отвечает Паради.

— Чудак, — сквозь зубы говорит Мениль Андре, доставая из кармана зеркальце, чтобы полюбоваться своим лицом, похорошевшим на солнце.

— У него не все дома, — блаженно бормочет Барк.

— Ну, я пошел, — с тревогой говорит старик: он не может усидеть на месте.

Он идет опять искать клад. Он входит в дом, к стене которого мы прислонились; он оставляет дверь открытой, и в комнате, у огромного очага, мы видим девочку; она играет в куклы так серьезно, что Барк задумчиво говорит:

— Она права.

Для детей игры — важные занятия. Играют только взрослые.

Мы глазеем на животных, на людей, на что попало. Мы наблюдаем жизнь вещей, окрашенную климатом и временами года. Мы привязались к этому уголку страны, где случайно задержались среди своих постоянных блужданий дольше, чем в других местах, и становимся чувствительней ко всем его особенностям. Сентябрь, это похмелье

августа и канун октября, этот трогательнейший месяц, сочетает хорошие дни с кой-какими смутными предвещаниями. Мы уже понимаем значение этих сухих листьев, перелетающих с камня на камень, как стая воробьев.

Действительно, эти места и мы привыкли друг к другу. Нас столько раз пересаживали с одной почвы на другую, и вот мы пустили корни здесь и больше не думаем об отъезде, даже когда говорим о нем.

— Одиннадцатая дивизия отдыхала целых полтора месяца, — говорит Блер.

— А триста семьдесят пятый полк? Девять недель! — убежденно подхватывает Барк.

— Мы останемся здесь, по крайней мере, столько же; я говорю: по крайней мере.

— Мы здесь и закончим войну…

Барк умиляется и готов в это поверить.

— Кончится ж она когда-нибудь!

— Когда-нибудь! — повторяют другие.

— Все может быть, — говорит Паради.

Он говорит это слабым голосом, не очень убежденно. А между тем против этого нечего возразить. Мы тихо повторяем его слова, баюкаем себя ими, как старой песенкой.

* * *

Через несколько минут к нам подходит Фарфаде. Он садится на опрокинутую кадку, подпирает подбородок кулаками, но держится в сторонке.

Его счастье прочней нашего. Мы это хорошо знаем; он — тоже; он поднимает голову, смотрит отчужденным взглядом на спину старика, который уходит искать клад, и на нас, когда мы говорим, что останемся здесь. Наш хрупкий, чувствительный товарищ окружен ореолом себялюбивой славы, он кажется особым существом, отъединенным от нас, словно ему с неба свалились нашивки.

Его идиллия с Эдокси продолжается и здесь. У нас есть доказательства, и однажды он даже сказал об этом сам.

Эдокси живет недалеко от него… На днях вечером я видел: она шла мимо дома священника; пламя ее волос было притушено косынкой; она, наверно, шла на свидание: она спешила и заранее улыбалась… Хотя Эдокси и Фарфаде, может быть, еще только дали друг другу клятвы, она уже принадлежит ему, и он будет держать ее в объятиях.

Скоро он нас покинет: его отзовут в тыл, в штаб бригады, где нужен хилый человек, умеющий

печатать на машинке. Это уже официально известно, написано. Он спасен: мрачное, невидимое для других будущее для него открыто и ясно.

Он смотрит на окно, за которым чернеет комната: эта темнота ослепляет Фарфаде; он надеется, у него двойная жизнь. Он счастлив: ведь еще не наступившее, но уже близкое счастье — единственное истинное счастье в этом мире.

Вот почему Фарфаде вызывает зависть.

— Все может быть! — опять бормочет Паради, но так же неуверенно, как и всегда, когда ему случается произносить эти необъятные слова в тесноте нашей теперешней жизни.

VII. Погрузка

На следующий день Барк сказал:

— Я тебе объясню, в чем дело. Есть люди, которые…

Внезапно это объяснение прервал пронзительный свисток.

Мы стояли на платформе вокзала. Ночью тревожный сигнал заставил нас вскочить и разлучил с деревней; мы явились сюда. Конец отдыху; нас перебрасывают на другой участок фронта. Мы исчезли из Гошена под покровом ночи, не видя ни людей, ни вещей, не успев проститься с ними даже взглядом, унести с собой их последний образ.

Совсем близко, чуть не задевая нас, маневрировал паровоз и изо всех сил гудел. Рот Барку заткнула своим воплем эта огромная махина; Барк выругался; исказились гримасой и лица других оглушенных солдат; все были в касках и полном снаряжении; мы стояли на часах, охраняя вокзал.

— Да замолчи ты! — в бешенстве заорал Барк, обращаясь к дымному свистку.

Но страшный зверь как ни в чем не бывало продолжал властно затыкать нам глотки. Наконец

он умолк, но отзвук его рева еще звенел в наших ушах, и мы потеряли нить разговора; Барк только сказал в заключение:

— Да.

Тогда мы осмотрелись.

Мы были затеряны здесь, как в огромном городе.

Бесконечные железнодорожные составы, поезда по сорока, по шестидесяти вагонов образовали нечто похожее на ряды темных, низких, совершенно одинаковых домов, разделенных улочками. Перед нами, вдоль подвижных домов, тянулась главная линия — бесконечная улица, где белые рельсы исчезали на том и на другом конце, поглощаемые расстоянием. Отрезки поездов, целые поезда — большие горизонтальные колонны — сотрясались, перемещались и возвращались на прежнее место. Со всех сторон раздавался мерный стук по бронированной земле, пронзительные свистки, звонки сигнального колокола, металлический грохот огромных кубов, сочетавших перебой своих стальных обрубков с лязгом цепей и глухими отгулами в длинном позвоночнике. На первом этаже здания, возвышающегося среди вокзала, как мэрия, раздавалось прерывистое стрекотание телеграфа и звонки телефона

вперемежку с раскатами голосов. А кругом, на земле, покрытой угольной пылью, — склады товаров, низкие сараи, чьи загроможденные недра виднелись издали, будки стрелочников, лес стрелок, водокачки, железные решетчатые столбы с проводами, черневшими в небе, как линии нотной бумаги, диски семафоров и над всем этим мрачным плоским городом — два паровых подъемных крана, высотой с колокольню.

Дальше, на пустырях, вокруг лабиринта платформ и строений, стояли военные автомобили, грузовики и бесконечные ряды коней.

— Нечего сказать, придется поработать!

— Сегодня вечером погрузят целый корпус!

— Вот, гляди, они подъезжают!

Целая туча, покрывая грохот колес и топот лошадиных копыт, приближалась, росла на вокзальной улице, между рядами строений.

— Пушки уже погружены.

Действительно, там, на открытых платформах, между двумя пирамидальными складами ящиков, выделялись профили колес и длинные стволы орудий. Зарядные ящики, пушки и колеса были выкрашены в желтый, коричневый, зеленый цвета.

— Они замаскированы. Там и кони выкрашены.

Да вот, погляди вот на этого, на этого, у него такие мохнатые ножищи, будто он в штанах! Так вот, он был белым, а его окатили краской.

Эта лошадь стояла в стороне от других лошадей; они, казалось, ее чуждались; она была серо-желтого, явно поддельного цвета.

— Бедняга! — сказал Тюлак.

— Видишь, — сказал Паради, — коняг не только посылают в огонь, на смерть, но еще изводят.

— Что делать! Это для их же пользы.

— Как же… Нас тоже для нашей пользы!

К вечеру начали подходить войска. Со всех сторон они стекались к вокзалу. Горластые начальники шагали сбоку. Они останавливали потоки солдат и втискивали их в барьеры или загоны. Солдаты составляли ружья, складывали ранцы и, не имея права выходить, ждали, заключенные в полумрак.

По мере того как темнело, прибывало все больше отрядов. Вместе с ними подъезжали автомобили. Скоро поднялся безостановочный грохот: лимузины среди гигантского прибоя маленьких, средних и больших грузовиков. Все это выстраивалось и втискивалось в установленные границы. Гул и шум поднимался над этим океаном существ и машин, который бился о ступени

вокзала и местами уже проникал внутрь.

— Это еще ничего, — сказал Кокон, человек-счетчик. — В одном только штабе армейского корпуса тридцать офицерских автомобилей, а знаешь, — прибавил он, — сколько понадобится поездов по пятидесяти вагонов, чтобы погрузить весь корпус — людей и товар, — конечно, кроме грузовиков, которые переберутся в новый сектор на собственных лапах? Все равно, брат, не угадаешь! Потребуется девяносто поездов!

— Да ну? Вот так штука! А у нас ведь тридцать три корпуса!

— Даже тридцать девять, эх ты, вшивый!

Сутолока усиливается. Вокзал наполняется и переполняется толпами. Везде, где только можно различить человеческую фигуру или ее призрак, суматоха и лихорадочные приготовления, похожие на панику. Приходит в действие вся иерархия начальства: офицеры суетятся, носятся, словно метеоры, размахивают руками, сверкают золотыми галунами, отменяют приказы, рассылают вестовых и самокатчиков, которые движутся в толпе; одни медленно, другие стремительно, как рыбы в воде.

Вот и вечер. Солдат, сбившихся в кучу вокруг пирамид ружей, уже трудно различить: они

сливаются с землей; потом эту толпу можно обнаружить только по вспыхивающим трубкам и цигаркам. Кое-где во мраке сверкает непрерывная цепь светлых точек, как иллюминация на праздничной улице.

Над этой черной зыбкой толпой гудят раскаты морского прибоя; перекрывая рокот, раздаются приказы, крики, возгласы, шум какой-то разгрузки или переноски, пыхтение котлов и грохот паровых молотов, глухо ударяющих во мраке.

На огромном темнеющем пространстве, полном людей и машин, вспыхивают огни. Эти электрические лампочки офицеров и начальников отрядов, ацетиленовые фонари самокатчиков, перемещающиеся зигзагами, как белая точка и белесое пятно.

Ослепительно вспыхивает ацетиленовая фара, отбрасывая снопы света. Другие фары тоже буравят и разрывают темноту.

И вот вокзал принимает сверхъестественный вид. В черно-синем небе возникают непонятные призраки. — Обозначаются какие-то груды, огромные, как развалины города. Различаешь начало каких-то непомерных рядов, исчезающих в ночи. Угадываешь громады, ближайшие очертания которых вырываются из неизвестных бездн.

Слева отряды конницы и пехоты прибывают еще и еще сплошным потоком. Стелется гул голосов. При вспышке фосфоресцирующего света или красном отблеске вырисовываются отдельные ряды; слышатся протяжные гулы.

Под кружащимся дымным пламенем факелов мелькают серые громады и черные пасти товарных вагонов; обозные солдаты по сходням ведут коней. Раздаются оклики, возгласы, неистовый топот, шум борьбы, ругань солдат и бешеные удары копыт запертой лошади.

Рядом грузят автомобили на открытые платформы. Холм прессованного сена кишит людьми. Люди неистово хлопочут у огромных тюков.

— Вот уже три часа, как мы стоим здесь на якоре, — вздыхает Паради.

— А это кто?

В проблесках света мелькает отряд гномов, окруженных светляками; они приносят странные инструменты и исчезают.

— Это прожекторная команда, — говорит Кокон.

— О чем ты задумался, брат?

— Сейчас в армейском корпусе четыре дивизии, — отвечает Кокон. — А бывает и три, а то и пять. Сейчас четыре. И каждая наша дивизия, —

продолжает человек-цифра, которым может гордиться наш взвод, — состоит из трех ПП — пехотных полков; двух БПС — батальонов пеших стрелков; одного ПТП — полка территориальной пехоты, не считая частей специального назначения, артиллерии, саперов, обозов и так далее, не считая еще штаба ПД — пехотной дивизии — и частей, не входящих в бригаду, а включенных непосредственно в ПД. Линейный полк состоит из трех батальонов; он занимает четыре поезда: один для ШП — штаба полка, для пулеметной роты и НР — нестроевой роты, и по одному поезду для каждого батальона. Здесь погружаются не все войска: погрузка будет производиться на линии дороги в зависимости от места стоянок и сроков смены.

— Я устал, — говорит Тюлак. — Едим мы не очень-то сытно, вот что. Держишься только потому, что завели такую моду, но больше нет ни силы, ни бодрости.

— Я справлялся, — продолжает Кокон. — Войска, настоящие войска погрузятся только после двенадцати. Они еще размещены по деревням, на десять километров в окружности. Прежде всего отправятся все управления армейского корпуса и ВЧ — внедивизионные части, — услужливо

объясняет Кокон, — то есть входящие непосредственно в корпус. Среди ВЧ нет ни аэростатных частей, ни авиаотрядов; это слишком громоздкая штука; они передвигаются собственными средствами, со своими людьми, своими канцеляриями, своими лазаретами. Во внедивизионные части входит и стрелковый полк.

— Стрелкового полка нет, — наобум говорит Барк. — Есть батальоны. Потому и говорят: такой-то стрелковый батальон.

Кокон пожимает плечами; его очки презрительно мечут молнии.

— А ты это знаешь, молокосос? Какой умник! Знай, что есть пешие стрелки, а есть и конные; это не одно и то же.

— Тьфу ты, черт! — восклицает Барк. — О конных я и забыл.

— То-то! — говорит Кокон. — В ВЧ армейского корпуса входит корпусная артиллерия, то есть главная артиллерия, кроме дивизионной. В нее входит ТА — тяжелая артиллерия, ОА — окопная артиллерия, АП — артиллерийские парки, пушечные бронеавтомобили, зенитные батареи и все такое. Есть еще саперные батальоны, полевая жандармерия, то есть пешие и конные «фараоны», санитарная часть, ветеринарная

часть, обозные части, территориальный полк для охраны и работ при ГК — Главной квартире, интендантство (с продовольственным обозом, который обозначают буквами ПРО, чтобы не путать с ПО — Почтовым отделом). Есть еще гурт скота, ремонтное депо и так далее. Автомобильный отдел, целый улей нестроевых, — о них я мог бы говорить целый час, если б хотел, — казначейство, которое заведует казной и почтой, военно-полевой суд, телеграфисты, весь электротехнический отряд. Везде есть заведующие, командиры, управления, отделы, подотделы — все это кишит писарями, вестовыми и ординарцами, словом, целый базар! Видишь, что делается вокруг корпусного генерала!

В эту минуту нас окружают солдаты в полном снаряжении; они несут ящики, тюки, свертки, подвигаются с трудом, кладут ношу на землю и испускают тяжелые вздохи.

— Это штабные писаря. Они составляют часть ГК — Главной квартиры, это что-то вроде генеральской свиты. При переезде они перетаскивают ящики с архивами, столы, реестры и всю дрянь, необходимую для их канцелярщины. Вот, погляди, эти двое — старый дядя и молоденький фертик — несут пишущую машинку: продели ружье в

ручку футляра и тащат. Писаря работают в трех отделах, а есть еще Почтовый отдел, канцелярия и ТОК — Топографический отдел корпуса; этот отдел распределяет карты по дивизиям и составляет карты и планы по снимкам с аэропланов, показаниям наблюдателей и пленных. Штаб АК — армейского корпуса — состоит из офицеров всех канцелярий, они находятся в ведении помощника начальника и главного начальника (оба полковники). ГК — Главная квартира, в узком смысле слова, состоит из ординарцев, поваров, кладовщиков, рабочих, электротехников, жандармов и конной охраны; ими командует майор.

Вдруг всех нас кто-то сильно отталкивает.

— Эй! Сторонись! — вместо извинений кричит человек, подталкивая вместе с другими солдатами повозку.

Это трудная работа. В этом месте подъем, и, как только люди перестают цепляться за колеса и удерживать повозку, она катится назад. Во мраке люди скрипят зубами, ворчат, борются с ней, как с чудовищем.

Барк потирает бока и окликает кого-то из неистовых людей:

— И ты думаешь, у тебя что-нибудь выйдет, старый селезень?

— Черт подери! — орет солдат, весь поглощенный своим делом. — Осторожней! Тут камень! Сломаете колымагу!

Он делает резкое движение, опять толкает Барка и на этот раз набрасывается на него:

— Ты чего стал на дороге, чурбан?

— Да ты пьян, что ли? — отвечает Барк. — «Чего стал на дороге?» Ишь выдумал! Помолчи! Вшивый!

— Сторонись! — кричит еще кто-то, ведя людей, согнувшихся под тяжелой ношей.

Больше негде стоять. Мы везде мешаем. Нас отовсюду гонят. Мы идем вперед, расступаемся, пятимся.

— А кроме того, — бесстрастно, как ученый, продолжает Кокон, — есть еще дивизии; каждая устроена приблизительно так же, как и корпус…

— Да знаем, знаем. Хватит!

— Вот разбушевалась кобыла в конюшне на колесах, — замечает Паради. — Это, наверно, теща жеребца.

— Бьюсь об заклад, это кобыла лекаря; ветеринар сказал, что это телка, которая скоро станет коровой!

— А ловко все это устроено, что и говорить! — с восхищением воскликнул Ламюз; но его оттерла

толпа артиллеристов, которые несли ящики.

— Правильно, — соглашается Мартро, — чтобы перевезти весь этот скарб, надо быть смышленым и не зевать... Эй ты, смотри, куда лапы ставишь, чертова требуха!

— Ну и перевозка! Даже когда я с семьей переезжал в Маркуси, и то хлопот было меньше. Правда, я тоже не дурак.

Все замолкают; в тишине опять раздается голос Кокона:

— Чтобы видеть погрузку всей французской армии, находящейся на позициях, — я уже не говорю о тыле, где еще вдвое больше людей и учреждений, вроде лазаретов (они стоили девять миллионов и эвакуируют семь тысяч больных в день), — чтобы видеть такую погрузку в поезда по шестидесяти вагонов, отправляемых один за другим через каждые четверть часа, потребуется сорок дней и сорок ночей.

— А-а! — восклицают все.

Но это слишком величественно для их воображения; эти цифры им уже надоели. Солдаты зевают, и среди этого столпотворения, среди беготни, криков, молний, отсветов и дымов они смотрят слезящимися глазами, как вдали, на вспыхивающем горизонте, проходит чудовищ-

ный бронепоезд.

VIII. Отпуск

Прежде чем двинуться вперед по дороге, ведущей через поля к окопам, Эдор присел у колодца. Он был бледен; вместо усов у него торчали только жалкие пучки волос. Обхватив руками колено, он поднял голову, посвистел и во весь рот зевнул.

От опушки леса, где стояли телеги и кони, как в цыганском таборе, шел к колодцу обозный солдат с двумя брезентовыми ведрами, которые плясали при каждом его движении. Он остановился перед этим сонным безоружным пехотинцем и взглянул на его туго набитый мешок.

— В отпуск ходил?

— Да, возвращаюсь из отпуска, — ответил Эдор.

— Ну, старина, тебе можно позавидовать: шесть дней погулял! — сказал обозный солдат и пошел дальше.

Но вот еще четыре человека идут вниз по дороге тяжелым, неторопливым шагом; от грязи их сапоги превратились в карикатуры на сапоги. Заметив Эдора, они останавливаются, как один человек.

— А-а, вот и Эдор! Эй, Эдор! Эй, старина, значит,

вернулся! — восклицают они, бросаются к нему и протягивают руки, такие большие и грубые, словно на них бурые шерстяные перчатки.

— Здорово, ребята! — отвечает Эдор.

— Ну, что? Как? Хорошо провел отпуск?

— Да, — отвечает Эдор. — Неплохо.

— Мы ходили в наряд за вином и малость нагрузились; пойдем с нами, а?

Они гуськом спускаются по откосу и, взявшись под руки, идут по полю, усыпанному мокрой известкой, которая под их ногами хлюпает, как тесто, замешиваемое в квашне.

— Значит, повидал женку? Ты ведь только ради этого и жил, только о ней и говорил; стоило тебе рот открыть, и пошло: «Мариетта, Мариетта».

Бледный Эдор нахмурился.

— Видеть-то я ее видел, но только один разок. Никак нельзя было по-другому. Не повезло: что ни говори, а это так.

— Как же это случилось?

— Как? Знаешь, мы живем в Вилле-л'Аббе; в этом поселке всего четыре домика, ни больше, ни меньше; он стоит по обе стороны дороги. Один из домов и есть наш кабачок; Мариетта его содержит, или, верней, опять содержит, с тех пор как его больше не осыпают снаряды и «чемоданы».

И вот перед моим отпуском она попросила разрешение на въезд в Мон-Сент-Элуа, где живут мои старики; я ведь получил отпуск в Мон-Сент-Элуа. Понимаешь?

Мариетта — бабенка с головой, знаешь, она попросила разрешение задолго до моего отпуска. Но, как на грех, мой срок пришел раньше, чем она получила разрешение. И все-таки я поехал. Знаешь, у нас в роте нельзя зевать: пропустишь очередь, пропадет отпуск. Я и остался ждать Мариетту у моих стариков. Я их очень люблю, а все-таки ходил с кислой рожей. А они были рады видеть меня и огорчались, что я с ними скучаю. Но что поделаешь? К концу шестого дня — к концу моего отпуска, накануне отъезда — парень на велосипеде, сын Флоранс, привозит мне письмо от Мариетты: она пишет, что еще не получила пропуска…

— Вот беда! — восклицают собеседники.

— …но, — продолжает Эдор, — что мне остается только одно: пойти к мэру Мон-Сент-Элуа (он выхлопочет мне разрешение у военных властей) и приехать самому в два счета к ней в Вилье.

— Это надо было сделать в первый день, а не на шестой!

— Ясно! Но я боялся с ней разминуться и про-

зевать ее; с первого же дня я все ждал ее, все надеялся, что вот-вот увижу ее в открытой двери... Ну, я и сделал, как она мне написала.

— А в конце концов ты ее видел?

— Всего один день, или, вернее, одну ночь.

— Этого достаточно! — весело восклицает Ламюз.

— Еще бы! — подзадоривает Паради. — За одну ночь такой молодец, как ты, натворит делов! Из-за него и жене придется потом поработать!

— То-то у него такой усталый вид! Погляди! Вот уж погулял! Босяк! А-а, скотина!

Под градом сальных шуток бледный Эдор мрачно качает головой.

— Ну, ребята, заткните глотки на пять минут!

— Расскажи-ка!

— Это не басня! — сказал Эдор.

— Так ты, говоришь, скучал со своими стариками?

— Ну да! Как они ни старались заменить мне Мариетту, как ни угощали вкусной домашней ветчиной и водкой, настоянной на сливе, как ни чинили мое белье, как ни баловали... (Я даже заметил, что при мне они старались не ругаться между собой.) Но, понимаешь, все это не то: я только поглядывал на дверь и ждал: вдруг она

откроется и войдет Мариетта. Так вот, я пошел к мэру и отправился в путь вчера в два часа дня, вернее, в четырнадцать часов: ведь я считал часы с полночи! Значит, мне оставалась от отпуска всего-навсего одна ночь! Подъезжал я в сумерках в поезде узкоколейки, смотрел в окно и почти не узнавал родных мест. Иногда я чувствовал, что они появляются и как будто говорят со мной. Потом замолкают. Наконец приехал, и вот надо еще идти пешком до последней станции.

Никогда еще не было такой погоды: уже шесть дней лил дождь, шесть дней небо мыло и перемывало землю. Земля размякла и расползлась; везде ямы и рытвины.

— Да и здесь тоже. Дождь перестал только сегодня утром.

— Нечего сказать, мне повезло. Везде бежали все новые ручьи; они смывали межи, как строки на бумаге; целые холмы текли сверху донизу. Ветер вдруг поднимал целые тучи дождя; они неслись галопом, хлестали по ногам, по шее, по морде.

Все равно! Когда я пешедралом добрался до станции, ничто в мире не заставило б меня вернуться назад, даже если сам черт стал бы корчить мне рожи!

Приехал я не один: были и другие отпускные, они ехали не в Вилье, а дальше, но им приходилось идти через наш поселок. Так вот, мы пошли в деревню целой компанией… Нас было пятеро, пять товарищей, но мы друг друга не знали. Я ничего не узнавал: наши места еще больше разворочены бомбардировкой, чем эти, да еще дождь, да еще темень.

Я уже сказал вам, что в нашем поселке всего четыре домика. Они далеко друг от друга. Подходим мы к пригорку. Я не очень разбирался, где мы, да и другие ребята тоже, хотя они немного знали наш поселок: они ведь были из наших краев. Да и дождь лил как из ведра.

Надо было идти быстрей. Мы пустились бежать. Мы прошли мимо фермы Алле — это первый дом в нашем поселке; смотрим: вместо него какой-то каменный призрак! Из воды торчат обломки стен: дом потонул. Другая ферма, немного подальше, — то же самое.

Наш дом — третий. Он стоит у дороги, на самой верхушке ската. Мы принялись карабкаться вверх под дождем; он хлестал нас, слепил (в глазах чувствуешь какой-то мокрый холод), и приходилось удирать врассыпную, совсем как от пулемета. Вот наконец и наш дом! Я бегу как

помешанный, как солдат-африканец на приступ. Там Мариетта! Она стоит у двери, поднимает руки за сеткой дождя, такого дождя, что она не может выйти и стоит, согнувшись, между косяками двери, как Пресвятая Дева в нише. Я бросаюсь к ней галопом и все-таки не забываю подать знак товарищам идти за мной. Мы вваливаемся в дом. Мариетта смеется, а на глазах у нее слезы от радости; она ждет, когда мы останемся одни, чтобы посмеяться и поплакать как следует. Я предложил ребятам отдохнуть. Они уселись, кто на стулья, кто на стол.

«Куда вы идете?» — спрашивает Мариетта. «В Вовель». — «Господи Иисусе! — говорит она. — Да вы туда не дойдете! Вы не сможете пройти эту милю ночью, по размытым дорогам; да еще везде болота. И не пробуйте!» — «Ладно, значит, пойдем завтра. Только поищем, где бы переночевать». — «Я пойду с вами, — говорю я, — до фермы „Повешенного“. Там места достаточно. Чего-чего, а уж места хватит. Вы там поспите, а на рассвете пойдете дальше». — «Ладно! Махнем туда!»

Эта ферма — последний дом в Вилье; она стоит наверху; значит, можно было надеяться, что ее не затопило.

Вот мы выходим. Ну и дорога! Мы промокли

до нитки; вода проникает даже в сапоги через подметки и через суконные штаны; они промокли насквозь. Не доходя до этого «Повешенного», мы видим тень в длинном черном плаще; она держит фонарь. Поднимает его; видим: на рукаве золотой галун; морда лютая.

«Чего вы здесь шляетесь?» — спрашивает; подбоченился, а дождь барабанит, словно град, по капюшону.

«Это отпускные. Идут в Вовель. Сегодня вечером они не могут двинуться дальше. Они хотят переночевать на ферме „Повешенного“».

«Что-о? Переночевать здесь? Да вы что, обалдели? Здесь полицейский пост. Я караульный унтер-офицер; на ферме содержатся пленные боши. Убирайтесь-ка отсюда в два счета! Спокойной ночи!»

Ну, мы поворачиваем оглобли и начинаем спускаться, спотыкаемся, как пьяные, скользим, пыхтим, хлюпаем, увязаем в грязи. Кто-то из наших ребят под дождем и ветром кричит мне: «Мы проводим тебя до дому; крова у нас нет, зато есть время».

«А где вы переночуете?» — «Найдем, уж не беспокойся; ведь остается только несколько часов». — «Найдем, найдем! Легко сказать, — го-

ворю. — Ну, пока зайдите на минутку ко мне». — «Что ж, на минутку можно».

И мы гуськом возвращаемся к Мариетте, все пятеро; промокли до костей.

И вот вертимся, топчемся в нашей комнатушке; это все, что есть в нашем доме, ведь у нас не дворец.

«Виноват, мадам, — спрашивает один парень у Мариетты, — нет ли у вас подвала?»

«Там полно воды, — отвечает Мариетта, — не видно нижней ступеньки, а всего-то их две».

«Тьфу ты, черт! — говорит парень. — Ведь чердака тоже нет…»

Через минутку он встает и говорит мне:

«Спокойной ночи, старина! Мы пошли».

«Как? Вы уходите в такую погоду, ребята?»

«А ты что думал? Не станем же мы мешать тебе и твоей жене!»

«Но как же, брат?..»

«Никаких „но“. Сейчас девять часов вечера, а ты должен убраться до зари. Значит, прощай, друг! Эй, ребята, пошли!»

«Пошли, — отвечают ребята. — Спокойной ночи!»

И вот они уже подходят к двери, открывают ее. Тут мы с Мариеттой переглянулись. И не

двинулись с места. Потом опять переглянулись и бросились за ними. Я схватил одного за полу шинели, она — другого за хлястик. Все на них вымокло, хоть выжимай!

«Ни за что! Мы вас не отпустим! Этому не бывать! Нельзя…»

«Но…»

«Никаких „но“», — отвечаю, а Мариетта запирает дверь.

— Ну и как? — спрашивает Ламюз.

— Ну, и ничего не было, — отвечает Эдор. — Все забились по углам, зевали, просидели смирно всю ночь, словно в доме лежал покойник. Сначала немного болтали. Время от времени кто-нибудь спрашивал: «Ну как? Дождь еще льет?» — и выходил взглянуть, и возвращался: «Льет». Да и слышно было, что льет. Один толстяк, усатый, как болгарин, боролся со сном изо всех сил. Иногда один или двое засыпали; но кто-нибудь всегда зевал и из вежливости приоткрывал один глаз и потягивался или усаживался поудобней.

Мы с Марие́ттой не спали. Мы глядели друг на друга, но мы глядели и на других, а они глядели на нас. Вот и все.

Утро встало; за окном посветлело. Я вышел взглянуть, какая погода. Дождь не переставал. В

комнате бурые люди ворочались и тяжело дышали. У Мариетты глаза были красные: ведь она всю ночь глядела на меня. Между нами сидел солдат; он дрожал от холода и набивал трубку.

Вдруг кто-то стучит в окно. Я приоткрываю. Вижу: человек в каске; с нее так и течет вода; его словно принес и втолкнул страшный ветер.

«Эй, хозяйка, можно получить кофе?»

«Сейчас, мосье, сейчас!» — кричит Мариетта.

Она встает со стула, разминает ноги. Она ничего не говорит, глядится в наш осколок зеркала, слегка оправляет волосы и попросту (вот баба!) говорит:

«Я приготовлю кофе для всех».

Выпили; теперь пора уходить нам всем. Да и посетители то и дело стучат.

«Эй, мамаша! — кричат они и тычутся в приоткрытое окно. — Найдется у вас кофеек? Скажем, три стакана! Четыре!»

«И еще два!» — говорит другой.

Все отпускные подходят к Мариетте, чтобы попрощаться. Они хорошо понимают, что здорово помешали нам в эту ночь; но я вижу, что они не знают, прилично ли заговорить об этом или лучше ничего не говорить.

Тогда решается толстый «болгарин»:

«Мы вам, сударынька, здорово подгадили, а?»

Он это сказал, чтобы показать, что хорошо воспитан. Мариетта протягивает ему руку.

«Ну, что вы! Желаю вам приятно провести отпуск».

А я ее обнял и принялся целовать. Старался целовать как можно дольше. Целых полминуты! Мне было горько, — еще бы!.. Но я радовался, что Мариетта не захотела выгнать товарищей на улицу, как собак. Я чувствовал, что она тоже считала меня молодцом за то, что я этого не сделал.

«Но это еще не все, — говорит один отпускной, приподнимая полу шинели, и шарит в кармане, — это еще не все: сколько мы вам должны за кофе?»

«Ничего: ведь вы провели эту ночь у нас, вы наши гости».

«Что вы, мадам, совсем нет!..»

И вот мы спорим, рассыпаемся друг перед другом в любезностях. Говори что хочешь, мы только бедняки, но все эти церемонии… это было, брат, чертовски хорошо!

«Что ж, двинем?» — говорят ребята.

Они уходят один за другим. Я остаюсь последним.

Вдруг еще один прохожий стучит в окно: еще

одному приспичило выпить кофе. Мариетта высовывается в открытую дверь и кричит:

«Одну минутку!»

Она сует мне в руку сверток и говорит:

«Я купила маленький окорок. Думала: поужинаем с тобой. И литр хорошего вина. Но когда я увидела, что нас пятеро, я не захотела делить, а теперь тем более. Вот ветчина, хлеб, вино. Возьми, поешь один, милый. А им мы и так достаточно дали».

— Бедная Мариетта! — вздыхает Эдор. — Ведь я не видел ее пятнадцать месяцев! И когда еще увижу!.. Да и увижу ли когда-нибудь?

Ей пришла в голову хорошая мысль, — она положила все это в мой мешок.

Он приоткрывает коричневый мешок.

— Вот здесь ветчина, и хлеб, и винцо! Так вот, раз это уж здесь, знаете, что мы сделаем? Мы это поделим, а, ребятки?

IX. Великий гнев

Вольпат вернулся из отпуска после поправки; он отсутствовал два месяца; его окружили. Но он хмурился, молчал и сторонился всех.

— В чем дело, Вольпат? Почему ты молчишь? Что ж ты ничего не расскажешь?

— Расскажи, что ты видел в госпитале и потом, когда выздоравливал, старый колпак! Помнишь, как ты уехал весь в бинтах и морда у тебя была будто в скобках. Говорят, ты был в канцеляриях. Да рассказывай, черт подери!

— Я больше ничего не хочу рассказывать о моей собачьей жизни! — ответил наконец Вольпат.

— Как ты сказал? Как он сказал?

— Мне все осточертело! Вот что! Люди! Мерзотина! Блюю я на них. Можешь им это передать.

— А что они тебе сделали?

— Они сволочи! — ответил Вольпат.

Уши у него были пришиты, но лицом он не изменился: те же татарские скулы. С упрямым видом он стоял в кругу любопытных. Чувствовалось, что он озлоблен, что внутри у него все кипит, что за этим молчанием таится гнев.

Наконец он не выдержал. Обернулся в сторону

тыла и показал кулак бесконечному пространству.

— Их слишком много, — сказал он сквозь зубы, — слишком много!

Казалось, он мысленно угрожает кому-то, отталкивает целую толпу идущих на штурм призраков.

Скоро мы опять приступили к расспросам. Товарищи знали, что его раздражение прорвется и при первом удобном случае — тишина разразится громами.

Это было утром в глубоком проходе, где после земляных работ мы собрались завтракать. Шел проливной дождь; нас сбило в кучу и затопило; мы ели стоя, лишенные крова, прямо под открытым текучим небом. Приходилось изощряться, чтобы предохранить «обезьяну» — консервную говядину — и хлеб от воды, хлеставшей отовсюду; мы ели, пряча по мере возможности лицо и руки под капюшоном. Вода барабанила, подскакивала и текла ручьями по мягкой холщовой или суконной броне и мочила то дерзко, то исподтишка нашу пищу и нас самих. Ноги все больше увязали в глубине глинистого рва, размытого потоками.

Несколько человек смеялось, вытирая мокрые усы; другие гримасничали, откусывая разбухший

хлеб и липкое мясо; холодные капли кололи кожу везде, где только не покрывала ее плотная грязная броня.

Прижимая к сердцу котелок, Барк заорал:

— Эй, Вольпат! Так ты, говоришь, видел там только сволочей?

— А каких? — крикнул Блер, и новый порыв ветра подхватил и унес его слова. — Каких же ты видал сволочей?

— Всяких, — буркнул Вольпат. — Да и... Их слишком много, черт их дери!

Он пробовал объяснить, в чем дело. Но мог только повторять: «Их слишком много!» Он был подавлен, задыхался и отдувался; он проглотил размокший кусок хлеба и вместе с ним комок тяжелых воспоминаний.

— Ты, верно, говоришь про окопавшихся?

— А то про кого же!

Он швырнул через насыпь остатки говядины, и этот крик бешено вырвался из его груди.

— Плюнь ты на окопавшихся, старый дурак! — посоветовал Барк шутливо, но не без горечи. — Не стоит портить себе из-за них кровь!

Вольпат весь скрючился и спрятался под тонким клеенчатым капюшоном, по которому блестящим потоком лилась вода; он подставил под

дождь котелок, чтоб его вымыть, и проворчал:

— Я еще не спятил и понимаю, что тыловики нужны. Требуются бездельники, белоручки? Ладно… Но их там слишком много, и все одни и те же, и все дрянь, вот что!

Излив в этих словах свой гнев, Вольпат почувствовал облегчение и отрывисто заговорил:

— В первом же поселке, куда меня послали малой скоростью, я видел их целые кучи, целые кучи, и сразу они мне не понравились. Всякие там отделы, подотделы, управления, центры, канцелярии. Как попадаешь туда, видишь: сколько людей, сколько разных учреждений, и у всех разные названия. Прямо с ума сойти! Да, хитрец, кто придумал названия всем этим отделам!

Как же мне не портить себе кровь! Насмотрелся я на них! И волей-неволей, даже когда что-нибудь делаю, все думаю о них!

Эх, все эти молодчики! Болтаются там и разводят канцелярщину, вылощенные, в кепи и офицерских шинелях, в ботиночках; едят тонкие блюда; когда угодно, пропускают стаканчик винца в глотку, моются, да не один раз, а два раза в день, ходят в церковь, бездельничают, не вынимают папиросы изо рта, а вечером ложатся на перины и почитывают газеты. А потом вся эта

мразь будет говорить: «Я был на войне!»

Больше всего поразила Вольпата одна подробность.

— Все эти «солдаты» не таскают с собой котелка и фляги и не едят стоя. Им нужны удобства. Им больше нравится пойти к какой-нибудь шлюхе, сесть за отдельный, приготовленный для них стол, лопать, корчить важных господ, а бабенка убирает в буфет их посуду, банки консервов, весь их бордель для жратвы, словом, все, что бывает только у богачей, да и то в мирное время, в этом проклятом тылу!

С неба низвергались водопады. Сосед Вольпата покачал головой и сказал:

— Тем лучше для них!

— Я не сумасшедший… — опять начал Вольпат.

— Может быть, но ты непоследователен.

На это Вольпат обиделся; он привскочил, поднял голову; дождь как будто только и ждал этого и обдал ему лицо.

— Что? Это что такое? «Непоследовательный»! Эх ты, шваль!

— Да, да, сударь! — повторил сосед. — Ты лаешься, а самому небось хочется быть на месте этих бездельников и сволочей!

— Конечно, но что это доказывает, дубина ты этакая? Ведь мы были в опасных местах, а теперь наша очередь отдохнуть. А в тылу все одни и те же, говорят тебе; там есть и молодые, здоровенные, как быки, мускулистые, как борцы, и слишком их много. Слышишь, я повторяю: «слишком много», потому что это так и есть.

— Слишком много? А ты почем знаешь, голова садовая? Ты знаешь, что это за учреждения?

— Не знаю, — ответил Вольпат, — но я говорю…

— А ты думаешь, это такая простая штука — управлять всеми делами?

— Плевать мне на них, но…

— А ты что, хочешь сам туда пролезть? — поддразнил Вольпата невидимый сосед в капюшоне, на который низвергались целые водопады; в этом вопросе таилось или полное равнодушие, или безжалостное желание рассердить Вольпата.

— Я не умею, — просто ответил Вольпат.

— Зато другие умеют, — пронзительным голосом сказал Барк, — я знаю одного…

— Я тоже видел одного такого, — отчаянно заорал сквозь бурю Вольпат. — Да, я встретил этого пройдоху недалеко от фронта, где-то там, где есть эвакуационный пункт и отделение ин-

тендантства.

В это время налетел ветер, и донесся вопрос:

— А что это за парень?

На мгновение ветер утих, и Вольпат кое-как смог ответить:

— Он был на распределительном пункте, показывал мне всю их неразбериху: ведь он сам был редкостью на этой ярмарке. Он водил меня по коридорам, залам или баракам; он приоткрыл дверь с надписями или показывал ее и говорил: «Гляди-ка сюда и вот сюда!» Я побывал с ним везде; но он потом не пошел в окопы, не беспокойся. Да он там и раньше не бывал, тоже не беспокойся. Этот пройдоха, когда я увидел его в первый раз, прохаживался по двору. «Это текущая работа», — говорит. Мы разговорились. На следующий день он устроился денщиком, чтобы «укрыться» и не идти на фронт: с самого начала войны в первый раз подошла его очередь.

Всю ночь он нежился в пуховой постельке; утром на пороге он чистил своей «мартышке» сапоги: шикарные желтые сапожки. Не жалел он на них мази, прямо золотил. Я остановился поглядеть. Парень рассказал мне свою историю. Не помню хорошенько всей его арапской брехни, так же как не помню французской истории

и хронологии, которой мне забивали голову в школе. Его ни разу не отправляли на фронт, хотя он был призыва третьего года и здоровяк. Опасности, трудности, пакость войны — все это было не для него, а для других; да, он небось знал, что если только поставит ногу на линию огня, линия захватит его всего; вот он и отбивался руками и ногами, чтоб не двигаться с места. Его и так и сяк пробовали забрать, но, шалишь, он ускользал из рук всех капитанов, всех полковников, всех военных лекарей, хоть они и здорово бесились и злились на него. Он мне это рассказывал сам. Как он устраивался? Он притворялся, что падает сидя. Принимал идиотский вид. Корчил дурачка. Становился похож на сверток грязного белья. «У меня какое-то общее переутомление», — хныкал он. Люди не знали, как его взять, и в конце концов оставляли в покое, каждый его выблевывал к черту. Вот как. Когда нужно было, он проделывал разные другие штуки, понимаешь? Иногда вдруг у него заболевала нога; он ловко умел хромать. А потом уж он устраивался; он был в курсе всех делишек, знал все ходы. Вот уж знал парень расписание поездов! Он проскальзывал в учреждения, где были теплые местечки, и тихонько оставался там, и даже лез из кожи вон,

чтобы люди в нем нуждались. Он вставал часа в три ночи, чтобы сварить кофе, ходил по воду, пока другие лопали; словом, везде, куда только он ни пролезал, он умудрялся прослыть за своего, скотина этакая! Он трудился, чтобы не трудиться. Он напоминал мне одного парня, который мог бы честно заработать сотню монет — столько труда он ухлопывает на изготовление фальшивой бумажки в пятьдесят франков. Но вот в чем дело: этот пройдоха спасет свою шкуру. На фронте его понесло бы течением, но он не дурак. Плевать ему на тех, кто мается на земле, и еще больше плевать на них, когда они очутятся под землей. Когда все кончат воевать, он вернется домой и скажет друзьям и знакомым: «Вот я здоров и невредим», — а его приятели будут радоваться: ведь он славный парень, хоть и настоящий мерзавец, и — глупей всего! этому сукину сыну верят, а людям он нравится.

Так вот, не думай, что парней такого сорта мало; их тьма-тьмущая в каждом учреждении; они изворачиваются и всячески цепляются за свои местечки и говорят: «Не пойду», — и не идут, и никогда не удается послать их на фронт.

— Все это не ново, — говорит Барк. — Знаем, знаем!

— А канцелярии! — воскликнул Вольпат, увлекшись рассказом о своем путешествии. — Их целые дома, улицы, кварталы. Ведь я видел только один уголок в тылу, один пункт, а чего только не нагляделся там. Никогда бы не поверил, что во время войны столько народу просиживает стулья в канцеляриях…

В эту минуту кто-то высунул руку и подставил ее под дождь.

— Соус больше не течет!..

— Ну, тогда нас погонят в прикрытие, увидишь…

Действительно, послышалась команда: «Марш!»

Ливень перестал. Мы зашагали по длинной, узкой луже, по дну траншеи, где за минуту до этого вздрагивали и расплывались дождевые капли.

Ноги хлюпали по грязи. Вольпат снова принялся ворчать. Я слушал его, глядя, как передо мной покачиваются плечи, прикрытые убогой шинелью.

Теперь Вольпат сердился на жандармов.

— Чем дальше от фронта, тем их больше.

— У них другое поле сражения.

У Тюлака давно был зуб против жандармов.

— Надо видеть, — сказал он, — как на стоянках

эти молодцы стараются сначала найти, где можно хорошо устроиться и поесть. А потом, когда обделают эти делишки, стараются пронюхать, где идет тайная торговля вином. Они стоят начеку и следят в оба за дверьми хибарок: не выйдут ли оттуда солдаты навеселе, поглядывая направо-налево и облизывая усы.

— Среди них есть и хорошие: я знаю одного у нас, в Кот-д'Ор.

— Молчи! — решительно прервал его Тюлак. — Все они хороши: один лучше другого.

— Да, им лафа, — сказал Вольпат. — А ты думаешь, они довольны? Ничуть не бывало… Они ворчат…

— Я встретил одного. Он ворчал. Ему здорово надоела «словесность». Он жаловался: «Не стоит ее учить, она все время меняется. Да вот, например, устав полевой жандармерии: только выучишь главную суть, и вдруг оказывается, это уже не то. Эх, когда же кончится эта проклятая война?»

— Они делают, что им велят, — робко сказал Эдор.

— Конечно, ведь это не их вина. А все-таки они кадровые солдаты, получают жалованье, пенсию, медали, а вот мы только штатские. Нечего сказать, они странно воюют.

— Это напоминает мне лесника, которого я встретил в тылу, — сказал Вольпат. — Он тоже ворчал, что его назначают на работы. «Черт знает что с нами делают, — говорит. — Мы старые унтера; за нами по меньшей мере четыре года службы. Правда, нам платят хорошее жалованье; ну и что ж? Мы ведь на государственной службе! А нас унижают! В штабах нас заставляют чистить уборные и выносить помои. Штатские видят, как с нами обращаются, и презирают нас. А попробуй поворчать, грозят отправить в окопы, как простого солдата! А во что превращается наше звание? Когда мы вернемся после войны в наши коммуны и опять станем лесниками (если только вернемся), люди в коммунах и лесах скажут: „А-а, это вы подметали улицы в Х.?“ Чтобы восстановить нашу честь, запятнанную человеческой несправедливостью и неблагодарностью, придется составлять протокол за протоколом даже против богачей, даже против важных шишек!»

— А я видел справедливого жандарма, — возразил Ламюз. — Он говорил: «Жандарм вообще человек не пьющий. Но везде бывают прохвосты, правда? Жандарма население действительно боится, это верно; так вот, сознаюсь, некоторые этим злоупотребляют; это отбросы жандармерии,

они заставляют подносить им рюмочки. Был бы я начальником или бригадиром, я б их упрятал в тюрьму, и как следует, потому что публика обвиняет всю жандармерию в целом за проделки одного жандарма — взяточника и любителя составлять протоколы».

— Самый поганый день в моей жизни, — сказал Паради, — это день, когда я козырнул жандарму: я принял его за младшего лейтенанта, по белым галунам. К счастью (говорю это себе в утешение, но, может быть, это так и есть), к счастью, он, кажется, меня не видел.

Молчание.

— Да, конечно, — пробормотали остальные. — Но что делать? Не стоит горевать.

* * *

Немного позже, когда мы уже сидели у стены, поставив ноги в грязь, Вольпат все еще продолжал выкладывать свои впечатления:

— Вхожу это я в зал, в канцелярию пункта; это была, кажется, расчетная часть. Куда ни глянь — столы. Народу — как на рынке. Все галдят. По бокам, вдоль стен, и посреди комнаты сидят люди перед своими папками, как торговцы старой бумагой. Я попросил зачислить меня опять в наш

полк, а мне сказали: «Хлопочи, выкручивайся сам!» Я нарвался на сержанта: ломака, франтик, свеженький, как огурчик; у него даже очки с золотыми галунами. Он молодой, но остался на сверхсрочной службе и потому имел право не идти на фронт. Я говорю: «Сержант!» А он меня не слушает, он слишком занят, он распекает писаря: «Беда с вами, милый мой: двадцать раз я вам говорил, что один экземпляр, на предмет исполнения, надо послать командиру эскадрона, начальнику полевой жандармерии при корпусе, а другой, для сведения, без подписи, но с указанием, что таковая имеется в подлиннике, — начальнику охраны Амьена и других городов области согласно имеющемуся у вас списку, конечно, от имени военного губернатора… Ведь это очень просто».

Я отошел и жду, когда он кончит ругаться. Минут через пять опять подхожу к нему. Он говорит: «Милый мой, некогда мне возиться с вами, у меня другие дела в голове». И действительно, он бесился перед пишущей машинкой, чертов слюнтяй: он, мол, нечаянно нажал на верхний регистр и, вместо того чтоб подчеркнуть заголовок, наставил целую строчку восьмерок. И вот он слышать ни о чем не хотел и орал и бранил американцев: машинка была американская.

Потом он принялся крыть другого бездельника за то, что в ведомости распределения карт пропустили: Продовольственный отдел. Управление транспортом скота и продовольственный обоз Триста двадцать восьмой пехотной дивизии.

Рядом какой-то чурбан во что бы то ни стало хотел отпечатать на гектографе больше циркуляров, чем можно было, и потел и пыхтел, а получились листки, на которых ничего нельзя было разобрать. Другие лодыри болтали. Какой-то ферт спрашивал: «А где наши парижские скрепки?» Да и слова у них там мудреные: «Скажите, пожалуйста, какие элементы расквартированы в Х.?» Элементы? Это что за тарабарщина? — ворчал Вольпат. — Эти франты сидели за большим столом; я подошел, сержант бесился перед целым ворохом бумажек и наводил порядки (лучше б он где надо навел порядок), какой-то парень позевывал, барабанил пальцами по бювару: он был писарем в отделе отпусков, а как раз началось большое наступление и отпуска были отменены, ему больше нечего было делать. Он говорил: «Вот здорово!»

А ведь это еще только один стол в одной комнате, в одном отделе, в одном управлении. Я видел еще целую уйму канцелярий. Уж не упомню ка-

кие, прямо с ума сойти!

— А у этих лоботрясов галуны?

— Там-то мало у кого, а вот в канцеляриях второй линии у всех галуны; там целые коллекции, целые зверинцы золотопогонников.

— А вот я какого видел ферта с галунами, — сказал Тюлак, — это был автомобилист, суконце на нем — прямо атлас, новенькие галуны и ремни, как у английского офицера, хоть сам он был солдатом второго разряда. Подпер он щеку рукой, развалился в шикарном автомобиле с зеркальными стеклами; он служил при нем лакеем. Потеха, да и только! Важного барина корчил, сукин сын!

— Совсем как солдатики на картинках в дамских журнальчиках, в шикарных похабных журнальчиках.

У каждого свои воспоминания, свои старые песенки о «пристроившихся». Все говорят наперебой. Поднимается гул. Мы сидим у мрачной стены, сбившись в кучу; перед нами расстилается истоптанное, серое, грязное поле, бесплодное от дождя.

— Он… заказал мундир у военного портного, а не выпросил у каптенармуса.

— …Устроился вестовым в Дорожном отделе, а потом в провиантской части, а потом на веще-

вом складе, а потом самокатчиком при отделе снабжения одиннадцатой группы. Он должен каждое утро отвозить пакет в интендантство, в Управление сети огневых точек, в Понтонный парк, а вечером в дивизионную и в окопную артиллерию. Вот и вся его работа.

— …Этот денщик рассказывал: «Когда я возвращался из отпуска, бабенки кричали, приветствовали нас на всех переездах». А я ему сказал: «Они, верно, принимали вас за солдат».

— «…А-а, говорю, так вы, значит, мобилизованы?» — «Конечно, отвечает, ведь я ездил в командировку: читал лекции в Америке по поручению министра. Разве это не мобилизация? А еще, друг мой, я не плачу за квартиру, значит, я мобилизован…»

— …А я…

— Словом, — крикнул Вольпат, и властный голос этого путешественника, только что возвратившегося «оттуда», заставил всех замолчать, — словом, я видел всю их свору за жратвой. Два дня я был помощником повара на кухне интендантского управления: мне не позволили бить баклуши в ожидании ответа на мое прошение, а ответ все не приходил, ведь к нему прибавили отношение, запрос, справку, заключение, и всем

этим бумажкам приходилось останавливаться на полдороге в каждой канцелярии.

Ну, значит, я был поваром на этом базаре. Раз подавал обед я, потому что главный повар вернулся из четвертого отпуска и устал. Я видел и слышал всех этих господ каждый раз, как входил в столовку (она помещалась в префектуре).

Там были нестроевые, но был и кое-кто из действующей армии; были старики, немало и молодых.

Мне стало смешно, когда кто-то из этих болванов сказал: «Надо закрыть ставни для безопасности». Ведь они сидели в комнате, в двухстах километрах от линии огня, но эта падаль делала вид, что им угрожает бомбардировка с аэропланов…

— Мой двоюродный брат, — сказал Тирлуар, шаря в карманах, — пишет мне… Да вот что он пишет: «Дорогой Адольф, меня окончательно удержали в Париже, я причислен к канцелярии лазарета номер шестьдесят. Пока ты там, я торчу в столице под вечной угрозой „таубе“ и „цеппелинов“».

— Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо!

Эта фраза вызывает общее веселье; ее смакуют, как лакомство.

— А потом еще смешней было во время обеда этих окопавшихся, — продолжал Вольпат. — Обед был хороший: треска (это было в пятницу — постный день), но приготовленная шикарно, вроде камбалы «Маргерит» или как там ее? А уж разговорчиков я наслушался…

— Они называют штык «Розали», да?

— Да. Чучела! Но эти господа говорили больше всего о самих себе. Каждый хотел объяснить, почему он не на фронте; он говорил и то, и се и лопал вовсю, да, в общем, говорил: «Я болен, я ослаб, поглядите, какая я развалина, я старый хрыч». Они старались откопать в себе всякие болезни и щегольнуть ими: «Я хотел пойти на войну, но у меня грыжа, две грыжи, три грыжи». Ну и обед! «Приказы об отправке всех на фронт, — объяснял один весельчак, — это, говорит, комедия; в последнем действии все всегда улаживается. А последнее действие — это параграф: „…если не пострадают от этого интересы службы…“». Другой рассказывал: «У меня было три друга, офицеры, я рассчитывал на них. Я хотел обратиться к ним, но незадолго до того, как я собрался подать прошение, они, один за другим, были убиты в сражениях; вот не везет мне!» Один объяснял другому, что он-то хотел пойти на фронт, но стар-

ший врач обхватил его обеими руками и силой удержал в запасном батальоне. «Что ж, говорит, мне пришлось покориться. В конце концов я принесу больше пользы родине моим умом, чем ружьем». А тот, что сидел рядом с ним, кивал кудлатой головой: «Правильно! Правильно!» Он, правда, согласился поехать в Бордо, когда боши подходили к Парижу и когда Бордо стал шикарным городом, но потом он определенно вернулся поближе к фронту, в Париж, и говорил что-то в таком роде: «Я полезен Франции моим талантом; я должен непременно сохранить его для Франции».

Они говорили еще о других, которых там не было: майор, дескать, становится невыносимым, чем больше он дряхлеет, тем становится строже; генерал неожиданно производил ревизии, чтоб выловить окопавшихся, но неделю тому назад он опасно заболел и слег в постель. «Он умрет непременно; его состояние не вызывает больше никаких опасений», — говорили они, покуривая папиросы, которые дурехи из высшего света посылают солдатам на фронт. «Знаешь Фрази? — сказал кто-то. — Он молоденький, хорошенький, прямо херувим; так вот он нашел наконец способ остаться: на скотобойнях требовались резники,

вот он и поступил туда по протекции, хоть он и юрист и служил в нотариальной конторе. Ну, а сыну Фландрена удалось устроиться землекопом». — «Он землекоп? А ты думаешь — его оставят?» — «Конечно, — ответил кто-то из этих трусов, — землекоп, значит, дело верное...»

— Вот болваны! — проворчал Мартро.

— И все они завидовали, не знаю почему, какому-то Альфреду, не помню его фамилии: «Когда-то он жил на широкую ногу в Париже, завтракал и обедал в гостях или в лучших ресторанах с друзьями. Делал по восемнадцати визитов в день. Порхал по салонам, с файфоклока до зари. Без устали дирижировал котильонами, устраивал праздники, ходил по театрам, не считая уже прогулок в автомобилях, и все это поливал шампанским. Но вот началась война. И вдруг он, бедненький, устал: не может стоять поздно вечером у бойницы, не спать и резать проволочные заграждения. Ему надо спокойно сидеть в тепле. Чтоб он, парижанин, отправился в провинцию, похоронил себя в окопах? Да никогда в жизни!» — «Я это понимаю, — отвечал другой франт, — мне тридцать семь лет, в моем возрасте надо себя беречь!» А пока он это говорил, я думал о Дюмоне, леснике; ему было сорок два года; его кокнуло на

высоте сто тридцать два, так близко от меня, что, когда пачка пуль попала ему в голову, даже меня всего затрясло от сотрясения его тела.

— А как эти холуи обращались с тобой?

— Они мной гнушались, но не очень это показывали. Только время от времени, когда уже не могли удержаться. Они смотрели на меня искоса и больше всего старались не коснуться меня, когда проходили мимо: ведь я был еще грязный после окопов.

Мне было противно среди всех этих выродков, но я повторял про себя: «Ничего, Фирмен, ты здесь только проездом...» Только раз меня чуть не взорвало, когда кто-то из них сказал: «Потом, когда мы вернемся с войны... если вернемся». Ну, уж это простите. Он не имел права так говорить! Пусть он там «устраивается», но пусть не корчит человека, которому угрожает опасность: ведь он упрятался, чтоб не идти на фронт! И еще они рассказывали о боях, ведь они побольше нас в курсе всех дел и знают, как ведется война, а после, когда ты вернешься домой — если только вернешься, — ты окажешься еще виноватым, поверят не тебе, а этим болтунам.

— Эх, посмотрели бы вы, как они шутили при ярком свете! Ведь они пользуются жизнью и

покоем. Прямо балет, апофеоз в театре! И сколько таких!.. Сотни тысяч!.. — возмущенно крикнул Вольпат.

Но людей, плативших своим здоровьем и жизнью за безопасность других, забавлял гнев, который душил Вольпата, забившегося в угол и окруженного ненавистными призраками.

— Хорошо еще, что он не рассказывает о тех, кто пролез на завод под видом рабочих и укрылся от войны, и обо всех, кто остался дома под свежеиспеченным предлогом национальной обороны, — пробормотал Тирет. — Он бы надоедал нам этим до второго пришествия!

— Ты говоришь, их сотни тысяч, старая муха? — насмешливо сказал Барк. — А вот в девятьсот четырнадцатом году (слышишь?) военный министр Мильеран[5] сказал в палате депутатов: «Уклонившихся у нас нет!»

— Мильеран? — проворчал Вольпат. — Я этого человека не знаю, но если он это сказал, он уж наверняка подлец!

---

[5] Примечания: 5

Мильеран, Александр-Этьен (1859–943) — французский политический деятель. В 1920–924 годах был президентом Франции. В 1914–915 годах — военный министр.

* * *

— Пусть другие делают у себя, что хотят, но почему даже у нас в полку есть неравенство и теплые местечки?

— Всякий старается окопаться за чьей-нибудь спиной, — сказал Бертран.

— Это правда: кем бы ты ни был, всегда найдутся люди порядочней и подлей тебя.

— Все, кто у нас не идет в окопы или никогда не идет на передовые линии, и даже те, кто идет туда только изредка, все они, если хочешь, «уклонившиеся», и ты б увидел, сколько их, если б нашивки давали только настоящим бойцам.

— Их по двести пятьдесят человек на каждый полк в два батальона, — сказал Кокон.

— Есть ординарцы, вестовые, а одно время были даже денщики у унтеров.

— Повара и помощники поваров.

— Старшие сержанты и квартирмейстеры.

— Капралы, заведующие продовольствием, и нестроевые, состоящие при кухне.

— Несколько канцелярских крыс и знаменосцев.

— Почтальоны.

— Обозники, рабочие команды, все их началь-

ники и даже саперы.

— Самокатчики.

— Не все.

— Почти все санитары.

— Кроме санитаров-носильщиков: ведь у них не только чертовски трудное ремесло, но они живут вместе с ротами и во время атаки идут за ними с носилками. Но вот санитары при госпиталях — другое дело.

— Они почти все священники, особенно в тылу. Священников под ружьем я что-то не встречал, а ты?

— Я тоже. На картинках в газетах видал, а здесь не случалось.

— Говорят, все-таки бывали такие.

— Да ну?

— Все равно! Хуже всего приходится в этой войне пехотинцу.

— Другим тоже не сладко. Не мы одни.

— Нет, — упрямо возразил Тюлак, — только мы!

* * *

Вольпат продолжал:

— Ты скажешь, я уж знаю, ты скажешь, что автомобилистам и тяжелой артиллерии круто

пришлось под Верденом. Правда. И все-таки по сравнению с нами у них нестроевая служба. Мы подвергаемся опасности всегда, а они подвергались ей только раз; нам приходится иметь дело еще с пулями и гранатами, а им — нет. В тяжелой артиллерии они разводили у своих землянок кроликов, восемнадцать месяцев лопали яичницу. А мы действительно торчим в опасных местах. Те, кто бывает в нашем положении только изредка или один раз, — не в счет. А то бы выходило, что все вокруг вояки, даже нянька с ребятишками, когда гуляют по улицам в Париже: ведь есть «таубе» и «цеппелины», как говорил тот болван, о котором сейчас рассказывал приятель.

— В первой дарданелльской экспедиции даже один фармацевт был ранен осколком. Не веришь? Ей-ей. Да, офицер с зеленой нашивкой, а был ранен.

— Это случайность. Я так и написал Мангусту; он служил в обозе и тоже был ранен, но грузовиком.

— Ну да, это так и есть. Ведь бомба может упасть на какой-нибудь бульвар в Париже, или в Бордо, или в Салониках.

— Да, да. Так вот, очень легко сказать: «Все подвергаются одинаковой опасности!» Погоди! С

начала войны из нестроевых было убито только несколько человек по несчастной случайности, а вот из нас только несколько человек выжило по счастливой случайности. А это не одно и то же; ведь если помрешь, то надолго.

— Н-да, — сказал Тирет. — Но вы надоели с вашими историями об «уклонившихся». Раз против этого ничего нельзя поделать, не стоит и языком трепать. Это напоминает мне историю одного стражника в Шерей, где мы были месяц тому назад; он ходил по улицам и выискивал штатских, годных по возрасту к военной службе, и, как пес, вынюхивал окопавшихся. И вот он останавливает толстую бабу, смотрит только на ее усы да как заорет: «Ты чего не на фронте?»

— А мне, — сказал Пепен, — наплевать на «уклонившихся» или «полууклонившихся»: не стоит терять на них время, но терпеть не могу, когда они начинают хвастать. Я согласен с Вольпатом: пусть «устраиваются», ладно, дело житейское, — но чтобы потом они не говорили: «Я был на войне». Да вот, например, добровольцы…

— Смотря какие. Те, что пошли безоговорочно в пехоту, да, тут ничего не скажешь, перед ними можно только преклоняться, как все равно перед павшими на поле боя; а вот добровольцы,

поступившие в учреждения или в разные там специальные войска, даже в тяжелую артиллерию, — эти действуют мне на нервы. Знаем мы их! Они как начнут любезничать в гостях и скажут: «Я пошел на войну добровольцем!» — «Ах, как это красиво! Вы по собственной воле пошли навстречу смерти!» — «Как же, маркиза, уж я таковский». Эх ты, брехун! Пускает пыль в глаза!

— Я знаю одного молодчика; он поступил добровольцем в авиационный парк. У него был красивый мундир; он с таким же успехом мог бы поступить в оперетку.

— Да, но тогда он не смог бы говорить: «Полюбуйтесь, вот я каков: взгляните, перед вами доброволец!»

— Да что я говорю: «Он с таким же успехом мог бы поступить в оперетку!» Даже лучше было б, если б он туда поступил. По крайней мере, смешил бы публику, а так он только бесит.

— Раз воюешь, надо рисковать шкурой, правда, капрал?

— Да, — ответил Бертран. — Война — это смертельная опасность для всех, для всех, неприкосновенных нет. Значит, надо идти прямо вперед, а не притворяться, что идешь, нарядившись в щегольской мундир. А на необходимые работы

в тылу надо назначать действительно слабых людей и настоящих стариков.

— Видишь ли, слишком много богатых и важных людей; они кричали: «Спасем Францию и раньше всего спасемся сами!» Как только объявили войну, многие бросились укрываться. Самым ловким это удалось. Я в нашем углу заметил, что окопались главным образом те, кто больше всего вопил о любви к родине… Во всяком случае, ребята сейчас правильно сказали: если уж упрятался, то последняя подлость — уверять, что рисковал шкурой. Ведь тех, кто взаправду рисковал жизнью, надо почитать так же, как убитых.

— Ну и что ж? Всегда так бывает. Человека не переменишь.

— Ничего не поделаешь… Ворчать, жаловаться?.. Да вот, кстати, насчет жалоб; ты знал Маргулена?

— Маргулена? Это тот славный парень из нашего полка, его оставили подыхать на поле сражения, думали, что он убит?

— Да. Так вот он хотел жаловаться. Каждый день он говорил, что пожалуется на все капитану, майору и потребует, чтоб каждый по очереди шел в окопы. После еды он говорил: «Скажу; это так же верно, как то, что здесь стоит вот эта бутылка

вина». А через минуту прибавлял: «Если я не говорю, то только потому, что здесь никогда нет бутылки вина». А если ты опять проходил мимо него, он опять говорил: «Как? Тут бутылка вина? Ну, увидишь, я скажу!» В общем, он так ничего и не сказал. Правда, его убили. Но до этого он бы успел пожаловаться тысячу раз.

— К черту все это! — мрачно проворчал Блер.

— Нам одно ясно: что дело темное. А вот если б и вправду что-нибудь прояснилось!..

— Эх, ребята, — воскликнул Вольпат, — послушайте, что я скажу: чтоб очистить все эти тыловые учреждения, пришлось бы отвести туда воды Сены, Гаронны, Роны и Луары! А пока что там живут, и даже хорошо живут, и преспокойно дрыхнут каждую ночь. Каждую ночь!

Солдат замолчал. Он вспомнил, как проводишь ночи, весь скрючившись, насторожившись, черный, грязный, на передовом посту, на дне ямы, раздробленная челюсть которой вырисовывается каждый раз, когда пушечный залп мечет в небо огненную зарю.

Кокон горько усмехнулся:

— После этого и умирать не хочется.

— Да чего ты? — миролюбиво сказал кто-то. — Не загибай, селедка копченая!

X. Арговаль

С полей надвигался вечерний сумрак. Подул нежный, как слова, ветер.

В домах, на длинной дороге, кое-где превращенной в деревенскую улицу, уже не хватало дневного света; зажигались лампы и свечи; мрак выходил на улицу; свет и тень постепенно менялись местами.

За деревней, в поле, бродили солдаты без всякого снаряжения. Мы мирно заканчивали день. Мы наслаждались праздностью, прелесть которой чувствуешь, когда по-настоящему устал. Стояла прекрасная погода; мы только начинали отдыхать и мечтали. В сумерках лица казались строже и спокойней.

Ко мне подошел сержант Сюилар, взял меня под руку и сказал:

— Пойдем, я тебе кое-что покажу.

На краю деревни стояли ряды высоких спокойных деревьев, и время от времени от теплого ветра тяжелые ветви величественно покачивались.

Сюилар шел впереди. Он повел меня по узкой, извилистой дороге; по обеим сторонам ее росли

кусты; их верхушки тесно соприкасались. Мы прошли несколько шагов среди сплошной зелени. От последних лучей, косо падавших на дорогу, в листве загорались светло-желтые круглые пятна, похожие на золотые монеты.

— Как тут хорошо! — сказал я.

Сюилар молчал. Он посматривал в сторону. Вдруг он остановился.

— Кажется, здесь.

Мы поднялись по тропинке на поляну, обсаженную большими деревьями; воздух был насыщен запахом свежего сена.

— Посмотри! Вся земля истоптана, — заметил я, рассматривая следы. Здесь происходила какая-то церемония.

— Иди сюда! — сказал Сюилар.

Он вывел меня в соседнее поле. Там стояла кучка солдат; они говорили, понизив голос. Мой спутник протянул руку и сказал:

— Это здесь.

В нескольких шагах от изгороди, которую в этом месте образовали молодые деревья, торчал столб, не больше метра вышиной.

— Здесь, — сказал Сюилар, — сегодня утром расстреляли солдата двести четвертого полка. Ночью вбили столб. На заре привели этого парня

и заставили товарищей по взводу расстрелять его. Дело в том, что он вздумал увильнуть, не хотел идти в окопы; во время смены он отстал, потом тихонько вернулся на стоянку. Вот и вся его вина; должно быть, начальство хотело припугнуть других.

Мы подошли к солдатам.

— Да нет, совсем нет, — говорил один. — Он совсем не был разбойником; он не был закоренелым преступником. Мы с ним пошли на фронт в одно время. Такой же был парень, как и все мы, не лучше, не хуже; только немного ленивый, вот и все. Он был на передовых позициях с самого начала войны, и я никогда не видел его пьяным.

— Беда в том, что у него скверное прошлое. Сбежал он не один; их было двое. Но другому дали только два года тюрьмы. А Кажар[6] еще до войны, когда был штатским, попал под суд и был осужден; поэтому не признали смягчающих обстоятельств. Когда он был штатским, он с пьяных глаз что-то натворил.

— На земле следы крови, — нагнувшись, сказал кто-то.

— Это проделали со всеми церемониями, — про-

---

[6] Примечания: 6

Я изменил фамилию этого солдата и название деревни. (*Прим. автора.*)

должал другой, — присутствовал полковник… на коне; Кажара разжаловали, привязали к колышку; верно, пришлось бедняге стать на колени или сесть на землю.

— Прямо диву даешься, — сказал третий, — за что человека казнили. Разве только, чтобы припугнуть других, как сказал сержант.

На столбе солдаты уже нацарапали слова, выражавшие возмущение, и прибили к этому столбу грубо вырезанный из дерева военный крест с надписью: «Кажару, мобилизованному в августе 1914 года, — благодарная Франция».

Возвращаясь на стоянку, я увидел Вольпата: он был окружен товарищами и разглагольствовал. Наверно, рассказывал какой-нибудь новый анекдот из своих воспоминаний о путешествии в страну счастливцев.

XI. Собака

Погода была ужасная. Ветер сбивал с ног, вода заливала землю, дороги вспучились.

Я возвращался из наряда на нашу стоянку, на край деревни. Под частым дождем земля в это утро была грязно-желтой, небо — черным, как грифельная доска. Ливень стегал розгами пруд. Вдоль стен, шлепая по грязи, согнувшись, пробирались жалкие тени.

Несмотря на дождь, на холод и резкий ветер, у ворот фермы, где мы расположились, собрались солдаты. Издали эта толпа казалась огромной движущейся губкой. Все вытягивали шеи, таращили глаза и говорили:

— Ну и молодчина!

— Да, уж он не робкого десятка! Вот храбрец так храбрец!

Но любопытные стали расходиться; вымокшие, красноносые, они от удивления разводили руками, потом от холода засовывали их в карманы.

В середине поредевшего круга стоял тот, кто привлек всеобщее внимание: голый по пояс Фуйяд. Он мылся прямо под дождем.

Тощий, как насекомое, он размахивал длинны-

ми, тонкими руками, сопел, кряхтел, неистово мылил и поливал водой голову, шею и грудь с выступающими ребрами. Его впалые щеки покрылись белоснежной бородой, а голова — шапкой пены, которую дырявил дождь.

Вместо лохани он пользовался тремя котелками, он наполнил их водой, неизвестно откуда добытой, — в деревне воды не было, — а так как во всеобщем небесном и земном потопе некуда было положить что бы то ни было, он запихивал полотенце за пояс штанов, а мыло совал в карман.

Те, кто еще остался, с восхищением следили за этим эпическим омовением в такую непогоду, покачивали головой и повторяли:

— Да у него прямо болезнь чистоплотности!

— Знаешь, говорят, его отметят в приказе по полку за дело в той воронке от снаряда, где он сидел с Вольпатом.

— Ну, еще бы, он заслужил отличие.

Не отдавая себе в этом отчета, солдаты смешивали оба подвига: подвиг в бою и подвиг купания — и смотрели на Фуйяда как на героя дня, а он отдувался, фыркал, задыхался, хрипел, отплевывался, пробовал под этим небесным душем вытереться насухо быстрыми, неожиданными

взмахами и наконец стал одеваться.

* * *

После мытья ему стало холодно. И вот он вертится на месте и останавливается у входа в сарай, где мы живем. Ледяной ветер бьет его по длинному смуглому лицу, исторгает из глаз слезы, и они катятся по щекам, когда-то обвеянным мистралем; из носу у него течет и каплет.

Побежденный колючим ветром, который хлещет его по ушам (хотя голова повязана шарфом) и по икрам (хотя его петушиные ноги защищены желтыми обмотками), Фуйяд возвращается в сарай; но сейчас же выскакивает оттуда, свирепо вращает глазами и бормочет: «Хреновина! Будь ты проклята!» произнося эти слова с тем южным акцентом, с каким говорят за тысячу километров отсюда, в том краю, откуда изгнала Фуйяда война.

Он стоит неподвижно на улице, чувствуя себя больше, чем когда-либо, чужим в этой северной местности. Ветер налетает и опять грубо встряхивает и колотит это костлявое, легкое пугало.

Дело в том, что в сарае, который предоставили нам на стоянке, почти невозможно жить, черт его дери! В нашем убежище тесно, темно, холодно,

словно в колодце. Одна половина его затоплена, там плавают крысы, а люди сбились в кучу на другой половине. Стены из планок, склеенных глиной, растрескались, сломаны, пробиты, продырявлены. В ту ночь, когда мы сюда пришли, мы до утра кое-как заткнули ветками, прутьями и листьями трещины, до которых можно было дотянуться рукой. Но дыры в крыше по-прежнему зияют. Слабый свет не может пробиться сверху, зато ветер врывается, дует со всех сторон, изо всех сил, и мы вечно подвергаемся нападению сквозняков.

Вот и стоишь, как столб, в этой кромешной тьме, растопырив руки, чтоб не наткнуться на что-нибудь, стоишь да дрожишь и воешь от холода.

Фуйяд вошел опять, подстегиваемый холодом; теперь он жалеет, что мылся. Ломит поясницу, колет в боку. Он хотел бы что-то предпринять, но что?

Сесть? Невозможно. Слишком грязно: земля и каменные плиты покрыты грязью, а соломенная подстилка истоптана башмаками и совсем отсырела. Сядешь — замерзнешь; ляжешь на солому — мешает запах навоза и задыхаешься от испарений аммиака… Фуйяд только смотрит на свое

место и так зевает, что кажется, у него вот-вот отвалится челюсть, удлиненная бородкой, в которой можно было б увидеть седые волоски, если бы свет был здесь настоящим светом.

— Не думайте, — сказал Мартро, — что другим лучше и приятней, чем нам. После супа я зашел к одному парню из одиннадцатой роты; они стоят на ферме, у госпиталя. Надо перелезть через стену, а лестница слишком короткая; ноги во как приходится задирать! — замечает коротышка Мартро. — А когда попадешь в этот курятник или крольчатник, все тебя толкают и ты мешаешь всем и каждому. Не знаешь, куда податься. Я оттуда сбежал.

— А мне, — сказал Кокон, — после жратвы захотелось зайти к кузнецу выпить чего-нибудь горячего, за деньги, конечно. Вчера он продавал кофе, а сегодня утром пришли жандармы — парень струхнул и запер дверь на ключ.

Фуйяд видел, как товарищи вернулись повесив нос и повалились на солому.

Ламюз попробовал вычистить ружье. Но здесь это невозможно, даже если сесть на землю у двери, даже если приподнять мокрое, заскорузлое полотнище палатки, повисшее, как сталактит. Здесь слишком темно.

— А если уронишь винтик, его уже не найти, хоть удавись, особенно когда пальцы свело от холода!

— Я хотел кое-что починить, но шалишь, не тут-то было!

Остается только одно: вытянуться на соломе, закутать голову платком или полотенцем, чтоб укрыться от напористой вони гниющей соломы, и уснуть.

Фуйяд сегодня не назначен ни в наряд, ни в караул; он располагает временем и решает лечь. Он зажигает свечу, чтобы порыться в своих вещах, и разматывает длинный шарф; тень этого тщедушного тела сгибается и разгибается.

— Эй, ягнятки! Картошку чистить! — зычным голосом кричит у двери человек в капюшоне.

Это сержант Анрио. Он добродушен и хитер; он пошучивает грубовато и приятно, но зорко следит, чтобы все вышли из сарая, чтобы никто не увильнул от работы. За дверью под беспрерывным дождем, по размытой дороге, уже идет второе отделение, собранное и отправленное на работу унтером. Оба отряда соединяются. Мы идем вверх по улице, взбираемся на глинистый пригорок, где дымит походная кухня.

— Ну, ребята, начинай! Дело пойдет быстро,

если возьметесь дружно… Ну, чего ты ворчишь? Все равно не поможет!

Минут через двадцать мы возвращаемся быстрым шагом. В сарае мы натыкаемся на наши вещи; все вымокло и холодит руки; острый запах промокших животных примешивается к испарениям нашей грязной подстилки.

Мы собираемся у деревянных столбов, подпирающих крышу сарая, подальше от водяных струй, отвесно падающих сквозь дыры в крыше, от этих зыбких колонн, стоящих на брызжущих подножиях.

— Вот они! — кричит кто-то.

Два человека один за другим появляются в двери; с них струится и каплет вода. Это Барк и Ламюз. Они ходили искать жаровню. Из этой экспедиции они вернулись не солоно хлебавши. Они сердито ворчат: «Ни жаровни, ни дров, ни угля! За деньги и то не найдешь!»

Невозможно развести огонь.

— Дело лопнуло; уж если даже я ничего не добился, значит, не добьется никто! — гордо объявляет Барк, за которым числятся сотни подвигов по хозяйственной части.

Мы не двигаемся, а если двигаемся, то медленно: ведь здесь слишком тесно; мы подавлены.

— Это чья газета?

— Моя, — отвечает Бекюв.

— Что там пишут? Тьфу ты, забыл, что в такой темноте ничего не разберешь!

— Они пишут, что теперь солдату дают все, что нужно, чтоб ему было тепло. У солдат, мол, есть и шерстяное белье, и одеяла, и печки, и жаровни, и угля сколько влезет. Даже в окопах первой линии.

— Эх, разрази их гром! — бурчат бедные узники сарая и грозят кому-то кулаками.

Но Фуйяд равнодушен к тому, что говорят. В темноте он согнулся всем своим донкихотским костлявым телом и вытянул жилистую шею. Его привлекает что-то лежащее на земле.

Это Лабри, собака другого взвода, овчарка-полукровка с отрубленным хвостом.

Лабри свернулся в комок на соломенной трухе.

Фуйяд смотрит на Лабри; Лабри смотрит на Фуйяда.

Подходит Бекюв и нараспев, как житель окрестностей Лилля, говорит:

— Он не ест своей похлебки. Нездоров песик! Эй, Лабри, что с тобой? Вот тебе хлеб, вот мясо! Жри! Вкусно? Ему скучно, ему больно. Скоро он подохнет.

Лабри несчастлив. Солдат, которому его поручили, нисколько о нем не заботится, обращается с ним грубо, мучает его. Целый день собака сидит на привязи. Ей холодно, ей неудобно; она заброшена. Она не живет своей обычной жизнью. Время от времени она надеется выйти, замечая, как взад и вперед ходят люди; она поднимается, потягивается и робко виляет хвостом. Но это обманчивая надежда. Лабри ложится опять и намеренно не глядит на свою полную миску.

Лабри скучает; ему опротивела жизнь. Даже если он избежит пули или осколков снаряда (ведь он подвергается опасности не меньше нас), он все равно подохнет.

Фуйяд гладит его по голове, Лабри опять смотрит на Фуйяда. У них один и тот же взгляд, с той разницей, что человек смотрит сверху вниз, а пес снизу вверх.

Была не была! Фуйяд садится в угол, прячет руки под полы шинели и подгибает ноги, как складную постель.

Опустив посиневшие веки, закрыв глаза, он предается воспоминаниям. Он вызывает видения прошлого. В такие минуты родные края, с которыми он разлучен, облекаются в нежную плоть живого существа. Благоуханный, пестрый Эро,

улица Сетта. Видно так хорошо, все кажется таким близким, что Фуйяд слышит скрип уключин на Южном канале и грохот погрузки на пристанях, и эти родные шумы призывают его.

В конце дороги, пахнущей тмином и бессмертником так сильно, что этот запах проникает в рот и становится почти вкусовым ощущением, — на самом солнце, под благоуханным теплым ветром (это только взмахивают крыльями лучи), на горе Сен-Клер зеленеет и цветет крохотная усадьба его родных. Оттуда видно, как сливается бутылочно-зеленая лагуна с небесно-голубым Средиземным морем, а иногда в темной синеве неба различаешь далекий призрак — зубцы Пиренейских гор.

Там Фуйяд родился и вырос, счастливый, свободный. Он играл на золотисто-рыжей земле, и даже играл в солдаты. Он с пылом размахивал деревянной саблей; его пухлые щеки румянились, а теперь они ввалились, пожелтели и как будто покрылись рубцами… Он открывает глаза, осматривается, покачивает головой и предается сожалениям о тех временах, когда война и слава вызывали в нем чистое, восторженное чувство. Он прикрывает глаза рукой, чтоб удержать это видение.

Теперь он вспоминает другое.

В тех же краях, на горе, он в первый раз увидел Клеманс. Она прошла, вся залитая солнцем. У нее в руках была охапка соломы, — по сравнению с золотыми волосами солома казалась бурой. Во второй раз она шла с подругой. Они остановились обе, чтобы поглядеть на него. Он услышал шепот и обернулся. Заметив, что он их видит, они убежали, шелестя юбками и звонко смеясь.

На том же месте он с Клеманс впоследствии построил дом. Перед домом виноградник (Фуйяд ухаживал за ним, надев свою любимую соломенную шляпу, которую он носил во все времена года).

У входа в сад — хорошо знакомый розовый куст, который пользовался своими шипами только для того, чтобы ласково удерживать Фуйяда.

Вернется ли Фуйяд домой? Он слишком глубоко заглянул в прошлое; он видит будущее во всей его ужасной наготе. Он думает о потерях своего полка, тающего при каждом обстреле, о жестоких испытаниях, боях, болезнях, истощении…

Он встает, откашливается, чтобы избавиться от всего, что было, от всего, что будет. И вот опять ледяной ветер, мрак, люди, тоскливо ожидающие вечера; он возвращается к действительности и опять начинает дрожать.

Сделав несколько шагов, он натыкается на солдат. Чтобы рассеяться и утешиться, они вполголоса говорят о еде.

— У нас, — говорит кто-то, — пекут хлебы круглые, большие, как колеса от телеги.

И он радостно таращит глаза, словно желая увидеть эти хлебы.

— У нас, — вмешивается в разговор бедный южанин, — праздничные обеды тянутся так долго, что свежий хлеб к концу обеда черствеет!

— У нас есть винцо… Как будто простенькое, а если в нем нет пятнадцати градусов, это уже не то!

Тогда Фуйяд принимается рассказывать о темно-красном, почти лиловом вине; оно хорошо для смесей, как будто создано для этого.

— А у нас, — говорит беарнец, — есть вино жюрансон, но настоящее, не такое, какое выдают за жюрансон в Париже. Я знаком с одним виноделом…

— Если приедешь к нам, — говорит Фуйяд, — увидишь: у меня есть мускат всех сортов, всех оттенков; можно подумать: это образчики шелков. Приезжай ко мне на месяц, дружок! Каждый день буду угощать тебя другим вином!

— Вот кутнем! — восклицает благодарный

солдат.

Разговоры о вине приводят Фуйяда в волнение; они напоминают теплый запах чеснока южной кухни. Запахи водки, вин и ликеров ударяют ему в голову, хотя в сарае завывает ветер.

Фуйяд внезапно вспоминает, что в деревне, где мы стоим, живет виноторговец Маньяк, родом из Безье. Этот Маньяк сказал ему: «Заходи ко мне на днях, мы разопьем винцо из наших краев, черт возьми! У меня припрятано несколько бутылок; пальчики, брат, оближешь!»

Эта возможность вдруг ослепляет Фуйяда. По всему его телу пробегает дрожь от удовольствия; теперь он знает, что делать… Выпить южного вина, и даже вина из его родных мест, выпить много! Увидеть жизнь опять в розовом свете, хотя бы на один денек! Да, да, ему нужно выпить; он мечтает напиться пьяным.

Он немедленно покидает собеседников и тут же идет к Маньяку.

Но на пороге он натыкается на капрала Бруайе, который перебегает от сарая к сараю и выкрикивает у каждой двери:

— Марш слушать приказ по полку!

Рота собирается и строится в каре на глинистом пригорке, где от походной кухни к дождю приме-

шивается копоть.

«Пойду выпить после чтения приказа!» — решает Фуйяд.

Он слушает этот приказ рассеянно, поглощенный своей мыслью. Но все-таки он слышит, как начальник читает: «Строго запрещается выходить до семнадцати часов и после двадцати часов», — и капитан, не обращая внимания на единодушный ропот солдат, поясняет приказ высшего начальства:

— Здесь штаб дивизии. Пока вы будете здесь, не показывайтесь! Прячьтесь! Если дивизионный генерал увидит кого-нибудь из вас на улице, он сейчас же пошлет вас в наряд, на работу. Чтоб ни один солдат не попадался ему на глаза! Не выходить весь день! Делайте, что хотите, лишь бы вас не было видно.

И все возвращаются в сарай.

* * *

Два часа. Только через три часа, когда совсем стемнеет, можно будет безнаказанно выйти на улицу.

А пока — спать? Фуйяду спать больше не хочется; его взволновала надежда выпить. А кроме того, если поспать днем, ночью не уснешь. Ну,

нет! Лежать с открытыми глазами всю ночь, да это страшней кошмара!

Погода стала еще хуже. Дождь и ветер усиливаются и снаружи и внутри…

Как же быть, раз нельзя ни оставаться неподвижным, ни сесть, ни лечь, ни погулять, ни работать?

Усталых, продрогших солдат все больше охватывает отчаяние; они томятся, не знают, что с собой делать.

— Черт подери, до чего же здесь скверно!

Эти слова покинутых людей раздаются, как жалобный вопль о помощи.

И бессознательно они предаются единственному возможному занятию — начинают топтаться, ходить взад и вперед, чтобы не замерзнуть.

И вот они принимаются шагать быстро-быстро, вдоль и поперек, по этому узкому помещению, в котором всего-то несколько шагов; ходят кругом, сталкиваются, задевают друг друга, ежатся, прячут руки в карманы, притоптывают. Ветер настигает их даже на соломе, они кажутся городскими нищими, ожидающими под нависшим зимним небом, когда откроется дверь какого-нибудь благотворительного учреждения. Но для этих людей дверь не откроется. Разве только че-

рез четыре дня, вечером, когда их опять погонят в окопы.

Кокон одиноко сидит на корточках в темном углу. Его кусают вши, но он ослабел от холода и сырости, не решается переменить белье и не двигается, отдав себя на съедение вшам.

Но вот уже скоро пять часов вечера. Фуйяд снова мечтает о вине и ждет, храня в душе эту надежду.

— Который час? Без четверти пять… Без пяти пять… Айда!

Он выходит в черную ночь. Перепрыгивая через лужи, шлепая по грязи, он направляется к заведению Маньяка, щедрого, словоохотливого южанина. Под дождем, в чернильном мраке, с большим трудом отыскивает дверь. Боже мой, она заперта! Фуйяд зажигает спичку и, прикрывая огонек большой костлявой рукой, как абажуром, читает зловещую надпись: «Заведение закрыто». Наверно, Маньяк за какое-нибудь нарушение правил изгнан во тьму и обречен на праздность: ему запретили торговать. Фуйяд поворачивается, идет прочь от кабачка, который стал для его земляка тюрьмой, но не отказывается от своей мечты… Он пойдет в другой кабачок, выпьет простого вина за деньги, вот и все.

Он сует руку в карман, нащупывает кошелек. Кошелек на месте. Там должно быть тридцать семь су. Конечно, это не золотые россыпи, но все-таки…

Вдруг Фуйяд останавливается и хлопает себя по лбу. Его лицо вытягивается, искажается ужасной, невидимой в темноте гримасой.

Нет, у него больше нет тридцати семи су! Эх ты, старый дурак! Забыл, что накануне купил коробку сардинок (ведь так надоели казенные серые макароны) и еще угостил вином сапожников, которые починили ему башмаки.

Беда! Осталось, наверно, только тринадцать су!

Чтоб опьянеть как следует и забыть теперешнюю жизнь, ему надо выпить добрых полтора литра, черт подери! А здесь литр красного вина стоит двадцать одно су. Не хватает!

Он озирается в темноте. Ищет. Может быть, найдется товарищ, который даст взаймы денег или угостит вином. Но кто, кто? Во всяком случае, не Бекюв: ведь у него только и есть что «крестная» (она посылает ему каждые две недели табаку и почтовой бумаги). Не Барк: он не захочет; не Блер: он скуп и не поймет. Не Бике: он, кажется, сердится на Фуйяда; не Пепен: сам клянчит и не платит, даже когда приглашает выпить. Эх, если

бы здесь был Вольпат! Есть еще Мениль Андре, но Фуйяд уже должен ему за несколько угощений. А капрал Бертран? Нет, Фуйяд послал его к черту в ответ на какое-то замечание, и теперь они смотрят друг на друга косо. Фарфаде? Фарфаде никогда с ним не разговаривает. Нет, он чувствует, что нельзя попросить у Фарфаде. Да и зачем — черт подери! — искать избавителей в собственном воображении? Где сейчас все эти люди?

Он медленно идет обратно на стоянку. Потом вдруг бессознательно поворачивает и опять идет вперед нерешительным шагом. Он все-таки попробует. Может быть, люди, которые уже сидят за столиками… В час, когда тьма спускается на землю, он подходит к центру деревни.

Освещенные двери и окна кабачков отражаются в лужах на главной улице. Через каждые двадцать шагов — кабачок. Чернеют фигуры солдат; чаще всего они идут вниз по улице целой компанией. Когда проезжает автомобиль, все сторонятся, освещенные фарами и забрызганные грязью, расплескиваемой колесами по всей улице.

Кабачки полны солдат. В запотевшие окна видно, что везде битком набито.

Фуйяд входит наудачу в кабачок. Уже на пороге

его умиляет теплый воздух, свет, запах и гул голосов. Что ни говори, все это обрывки прошлого в настоящем.

Он протискивается между столиков, обходит их, задевает, оглядывает всех посетителей. Увы! Он здесь никого не знает.

В другом кабачке — то же самое. Не везет Фуйяду! Как он ни вытягивает шею, как ни старается найти знакомого среди всех этих людей, которые пьют, беседуют или сидят в одиночку и пишут письма, — все напрасно! Он — как нищий. Никто не обращает на него внимания.

Не найдя никого, кто бы пришел ему на помощь, он решается купить вина хотя бы на оставшиеся гроши. Он подходит к стойке…

— Полбутылки вина, да хорошего!..

— Белого?

— Ну да!

— Ты, парень, видно, с юга, — говорит хозяйка, протягивает ему бутылочку и стакан и получает двенадцать су.

Он садится у края стола, уже занятого четырьмя посетителями, играющими в «манилью»; он до краев наполняет стакан, выпивает и опять наполняет его.

— Эй, за твое здоровье! Смотри не разбей стака-

на! — вдруг орет над самым ухом Фуйяда новый посетитель в грязной синей куртке; у него густые сросшиеся брови, бледное лицо, коническая голова и большие оттопыренные уши. Это оружейник Арленг.

Не очень красиво сидеть одному за бутылкой перед товарищем, которому явно хочется выпить. Но Фуйяд делает вид, что не понимает вожделений Арленга, который вертится перед ним с просительной улыбкой. Фуйяд залпом выпивает стакан. Тогда Арленг поворачивается к нему спиной и ворчит: «Эти южане не очень-то любят делиться! Жадюги!»

Фуйяд подпирает подбородок кулаками и смотрит невидящими глазами в угол кабачка, где солдаты толпятся, теснятся, толкаются, стараясь пройти.

Конечно, это белое винцо недурно, но что эти жалкие капли для жаждущей пустыни? Тоска оставила Фуйяда ненадолго. И вернулась.

Фуйяд встает. Выпить пришлось только два стакана, а в кошельке осталось только одно су. Собрав последние силы, он заходит в другой кабачок, напрасно ищет там знакомых и, уходя, бормочет, чтобы не выдать себя: «Черт бы его побрал! Эта скотина никогда не приходит

вовремя!»

Он возвращается в сарай. Там по-прежнему шумит ветер и дождь. Фуйяд зажигает огарок и при свете пламени, которое отчаянно трепещет, словно пытаясь улететь, идет взглянуть на Лабри.

С огарком в руке он садится на корточки перед бедной собакой, которая умрет, может быть, раньше его. Лабри спит чутко, он приоткрывает один глаз и виляет хвостом.

Фуйяд гладит собаку и тихо говорит:

— Ничего не поделаешь! Ничего!

Больше он ничего не хочет прибавить, чтоб не огорчать Лабри; собака соглашается с ним, кивает головой и опять закрывает глаза.

Фуйяд встает с трудом (у него ломит суставы), идет спать. Теперь у него только одна надежда — заснуть, чтобы кончился этот мрачный день, этот день небытия, один из многих дней, которые придется еще героически вытерпеть, пережить, пока не наступит последний день войны или последний день жизни.

XII. Портик

— Туман. Хочешь туда пойти?

Это спрашивает меня Потерло. Он поворачивается ко мне. Его славное лицо кажется прозрачным от света голубых глаз.

Потерло — родом из Суше; с тех пор как наши выбили немцев из этой деревни, он хочет увидеть места, где жил счастливо в те времена, когда еще был свободным человеком.

Это опасное паломничество. Не потому, что мы далеко: до Суше рукой подать. Мы уже полгода живем и работаем в окопах и ходах сообщения так близко, что, кажется, можно услышать голоса из этой деревни. Надо только вылезти прямо отсюда на Бетюнскую дорогу: вдоль нее тянутся окопы; под ней прорыты ячейки наших прикрытий; надо пройти четыреста или пятьсот метров вниз по этой дороге, и попадешь в Суше. Но все эти места неприятель постоянно обстреливает. После своего отступления он осыпает их снарядами, которые время от времени сотрясают нас в наших подземельях и мечут над насыпью огромные черные гейзеры из земли и разных обломков или столбы дыма высотой с церковь.

Зачем немцы бомбардируют Суше? Неизвестно. В этой деревне, не раз переходившей из рук в руки, не осталось больше никого и ничего.

Но в это утро нас обволакивает густой туман, и под этим покровом, который небо накинуло на землю, можно рискнуть… По крайней мере, можно быть уверенным, что нас не заметят. Туманом герметически закрыт усовершенствованный глаз — немецкая «колбаса», которая, наверно, где-то там, в небе, окутана этой ватой; туман стоит легкой, но непроницаемой стеной между нашими линиями и немецкими наблюдательными пунктами в Лансе и Ангре.

— Ладно, пойдем! — отвечаю я на вопрос Потерло.

Мы посвятили в наш план унтера Барта; он кивает головой и опускает веки, давая нам понять, что закрывает на это глаза.

Мы вылезаем из траншеи и выходим на Бетюнскую дорогу.

Днем я здесь в первый раз. Раньше мы видели эту страшную дорогу только издали; в темноте, согнувшись, под пулями, мы не раз перебегали ее вприпрыжку.

— Так пойдем, брат?

Через несколько шагов Потерло останавлива-

ется посреди дороги, где нависли растрепанные хлопья тумана; он таращит голубые глаза и приоткрывает красный рот.

— Ну и ну!.. — бормочет он.

Я оборачиваюсь к нему; он указывает мне на дорогу, покачивает головой и говорит:

— Вот она. Господи! И подумать, что это она!.. Да я ее знаю так, что с закрытыми глазами увижу ее точно такой же, какой она была; она даже мерещится мне. А теперь и смотреть на нее страшно! Какая была прекрасная дорога, вся обсажена высокими деревьями… А теперь?.. Погляди, до чего ее искалечили!.. Погляди: окопы по обеим сторонам, вдоль всей дороги! Камни разбиты, истолчены, деревья вырваны с корнем, раскиданы, расщеплены, обуглены, пробиты пулями, а вот это — прямо шумовка! Эх, брат, ты и представить себе не можешь, какая это была прекрасная дорога!

Он идет дальше и на каждом шагу ужасается.

В самом деле, дорога чудовищна: по обе стороны ее зарылись две армии, уцепились за нее и полтора года ее истязают; над этой дорогой пролетают только пули и целые стаи, целые тучи снарядов; они ее избороздили, взъерошили, засыпали землей, снесенной с полей, разрыли и

вывернули до самых недр. Это проклятый путь, бесцветный, ободранный, зловещий и величественный.

— Если бы ты знал ее раньше! Она была чистая и прямая, — говорит Потерло. — Все деревья стояли на месте, везде были цветы, похожие на бабочек; здесь всегда с тобой кто-нибудь приветливо здоровался: проходила женщина с двумя корзинами, или люди проезжали на двуколке и громко разговаривали, а их блузы раздувались на ветру. Эх, хорошо здесь раньше жилось!

Он идет дальше к брустверам, к берегам реки туманов, протекающей по руслу дороги. Он нагибается и останавливается у еле заметных бугорков, на которых чернеют могильные кресты; вбитые там и сям в стену туманов, они напоминают вехи крестного пути, изображенные в церквах. Я зову Потерло. Если идти похоронным шагом, мы не доберемся. Пошли!

Мы подходим к скату; я шагаю впереди; Потерло тащится сзади, опустив голову, поглощенный своими мыслями, тщетно стараясь разглядеть родные места. Здесь дорога понижается. С севера она прикрыта выступом. В этом защищенном месте еще есть кой-какое движение.

На грязном, большом пустыре, поросшем со-

жженной травой, рядами лежат мертвецы. Их приносят сюда по ночам, очищая окопы или равнину. Они ждут, многие уже давно, — когда их перенесут на кладбище, в тыл.

Мы тихо подходим к ним. Они тесно прижались друг к другу: каждый окаменел в той позе, в какой его застигла смерть. У некоторых лицо заплесневело, кожа словно заржавела, пожелтела, покрылась черными точками. У многих лицо совсем черное, смоляное; губы распухли: это раздутые, как пузыри, негритянские головы. А ведь здесь лежат не негры. Между двух тел торчит чья-то отрубленная кисть руки с клубком оборванных жил. Другие бесформенные, загаженные глыбы; среди них разбросаны какие-то предметы снаряжения или куски костей. Дальше лежит труп, который был в таком состоянии, что его пришлось втиснуть в проволочную сетку, прикрепленную к концам кола, чтобы тело не рассыпалось по дороге. Его принесли сюда, словно какой-то комок; он так и лежит в металлическом гамаке. Ни верхней, ни нижней части тела не узнать; в этой каше виден только зияющий карман штанов. Из него выползает и вползает обратно какое-то насекомое.

Над трупами летают письма; они выпали из

карманов или подсумков, когда мертвецов клали на землю. Я нагибаюсь и на запачканном клочке бумаги, бьющемся на ветру, разбираю следующую фразу: «Дорогой Анри, какая чудесная погода в день твоих именин!» Мертвец лежит на животе; глубокой бороздой у него рассечена от бедра до бедра поясница; голова вывернута; вместо глаза пустая впадина; висок, щека и шея поросли чем-то вроде мха.

Омерзительная вонь разносится ветром над этими мертвецами и над кучей отбросов: здесь валяются клочья парусины, обмотки, лохмотья, измаранные, пропитанные запекшейся кровью, обугленные, заскорузлые, землистые и уже истлевшие; они кишат червями. Неприятно! Мы переглядываемся, покачиваем головой, не решаясь сказать вслух, что плохо пахнет. И все-таки не торопимся уйти.

В тумане появляются сгорбленные люди; они что-то несут. Это санитары-носильщики, нагруженные новым трупом. Старые, худые, они идут медленно, кряхтят, потеют, гримасничают от усилий. Нести вдвоем мертвеца через ходы сообщения, по слякоти — почти сверхчеловеческий труд.

Они кладут мертвеца, одетого во все новое.

— Ведь он еще совсем недавно был на ногах, — говорит санитар, — и вдруг, два часа тому назад, ему прострелили голову: он вздумал пойти поискать в поле немецкое ружье, в среду он должен был уехать в отпуск и хотел привезти это ружье домой. Это сержант четыреста пятого полка, призыва четырнадцатого года. Славный был паренек!

Санитар приподнимает платок, прикрывающий лицо убитого; этот сержант совсем молод; он как будто спит; только глаза закатились, щеки — восковые, а в ноздрях и на губе застыла розовая пена.

Его труп кажется чем-то чистым в этом свалочном месте; он еще откидывает голову набок, когда его трогают, как будто хочет улечься поудобней; можно подумать, что он не так мертв, как все остальные. Он изуродован меньше других, он кажется торжественней, ближе тому, кто на него смотрит. И перед всей этой грудой убитых существ мы скажем только о нем: «Бедный парень!»

Мы идем дальше по той же дороге; она ведет вниз, к Суше. Под белизной тумана она предстает страшной долиной скорби. Кучи обломков, обрывков, отбросов высятся на ее перебитом хребте

и по краям; она становится непроходимой. Землю устилают деревья; они вырваны с корнями, расщеплены, раздроблены. Насыпи снесены или разворочены снарядами. Вдоль всей дороги уцелели только могильные кресты: чернеют окопы, по двадцать раз засыпанные и опять вырытые, мостки над ямами, решетки из прутьев над рытвинами.

Мы подвигаемся, все перевернуто, полно гнили, от всего веет всеобщей гибелью. Мы ступаем по мостовой из осколков снарядов. Мы натыкаемся на них, попадаем в их кучи, как в ловушку, спотыкаемся о груды разбитого оружия, обломков кухонной утвари, бидонов, плит, швейных машин, мотков электрических проводов, предметов немецкого и французского снаряжения, покрытых корой сухой грязи, подозрительных лохмотьев, склеенных красно-бурой замазкой. И надо остерегаться невзорвавшихся снарядов: отовсюду торчат их заостренные головки, днища или бока, выкрашенные в красный, синий, темно-бурый цвет.

— Это бывшая траншея бошей, им пришлось ее оставить.

Кое-где она засыпана, кое-где продырявлена снарядами. Мешки с землей разбросаны,

прорваны, опорожнены и треплются по ветру; деревянные подпорки лопнули и торчат со всех сторон. Прикрытия до краев засыпаны землей и чем угодно. Можно подумать, что это разбитое, расширенное, загаженное, иссохшее русло реки, покинутое водами и людьми. В одном месте траншея стерта с лица земли; вместо широкого рва — свежевспаханное поле с симметрически вырытыми ямами.

Я показываю моему спутнику на это необычное поле, по которому, казалось, прошел гигантский плуг. Но Потерло поглощен своими мыслями.

* * *

Он тычет пальцем в пространство; он ошеломлен, как будто только что проснулся.

— Красный кабачок!

Это плоский пустырь, засыпанный битым кирпичом.

— А это что такое?

Камень? Нет, это голова, черная, дубленая, начищенная ваксой голова. Рот перекошен, усы торчат. Большая обугленная голова кота. Это немец; он погребен стоймя.

— А это?

Это нечто мрачное: белый-белый череп, в двух

шагах от него — пара сапог, и между ними куча изодранных ремней и тряпок, слепленных бурой грязью.

— Пойдем! Туман уже редеет. Скорей!

В ста метрах от нас, в волнах тумана, перемещающихся вместе с нами и все менее надежных, свистит и разрывается снаряд… Он падает туда, где мы должны пройти.

Мы спускаемся. Откос становится более отлогим. Мы с Потерло идем рядом. Он молчит, поглядывает направо и налево.

Вдруг он опять останавливается и вполголоса бормочет:

— В чем дело? Это здесь… Ведь это здесь…

Действительно, мы не вышли за пределы равнины, широкой, бесплодной, опаленной равнины, а между тем мы в Суше.

* * *

Деревня исчезла. Никогда я еще не видел подобного исчезновения деревни. Аблен-Сен-Назер и Каранси еще сохранили подобие селений, хотя дома там пробиты, изуродованы, а дворы засыпаны известкой и черепицами. А здесь, среди истерзанных деревьев, окружающих нас, как призраки, все потеряло первоначальный облик;

нет даже обломка стены, решетки, двери, и под грудой балок, камней и железной рухляди странно видеть остатки мостовой: здесь была улица.

Это похоже на грязный болотистый пустырь в окрестностях города, куда годами сваливали хлам, всякие отбросы, старую утварь; среди этих разнообразных куч мусора пробираешься очень медленно, с большим трудом. После бомбардировок изменился весь облик местности; даже речонка повернула в сторону от мельницы, течет куда попало и образует пруд посреди маленькой разрушенной площади, где стоял крест.

В ямах, вырытых снарядами, гниют огромные, раздувшиеся трупы лошадей; кое-где валяются изуродованные чудовищной раной останки того, что когда-то было человеческим существом.

Вот поперек тропинки, являющей полный разгром, среди целого потопа обломков, под скорбным небом, лежит человек; он как будто спит; но он лежит плашмя, сплющился, прижался к земле: нет, он не спит, он мертв. Этот солдат разносил суп. Рядом лежат нанизанные на лямку хлебы, целая гроздь бидонов, привязанных к плечу ремнями. Наверно, этой ночью осколок снаряда пробил ему спину. Можно не сомневаться: мы первые обнаружили этого неизвестного

солдата, погибшего неизвестно как. Может быть, он истлеет, прежде чем его найдут. Мы ищем его номерок; номерок увяз в запекшейся луже крови, в которой холодеет его правая рука. Я записываю имя и фамилию, начертанные кровавыми буквами. Потерло предоставляет мне делать все, что угодно. Он движется, как лунатик. Он смотрит, смотрит и растерянно озирается по сторонам: он что-то ищет среди всего этого разгрома, он ищет даже в туманных далях.

Он садится верхом на балку, отшвырнув ногой стоявшую на ней сплющенную кастрюлю. Я сажусь рядом с ним. Накрапывает дождь. Сырой туман оседает каплями и покрывает все глянцем.

Потерло бормочет:

— Тьфу ты!.. Тьфу ты!..

Он вытирает пот со лба, поднимает на меня умоляющие глаза. Он пробует понять, окинуть взглядом разрушение всего этого уголка мира, привыкнуть к этим утратам. Он бормочет бессвязные слова. Снимает каску. Над его головой поднимается пар. Он с трудом говорит:

— Эх, брат, ты и представить себе не можешь, не можешь, не можешь…

Он задыхается.

— Красный кабачок, там, где мы видели голову того боша и кругом кучи отбросов… эта помойка… это… был кирпичный дом и рядом два низких флигеля… Сколько раз, брат, в том месте, где мы остановились, сколько раз я говорил «до свиданья!» славной бабенке, которая стояла на пороге и смеялась! Я вытирал рот, смотрел в сторону Суше и шел домой; пройдешь, бывало, несколько шагов, обернешься и крикнешь ей что-нибудь для смеху! Эх, ты и представить себе не можешь! А это, это!..

Он показывает на страшное опустошение…

— Не надо здесь задерживаться, друг. Гляди, туман рассеивается.

Он с усилием встает.

— Пойдем!..

Самое трудное еще впереди. Его дом…

Он топчется, озирается, идет…

— Это здесь… Нет, я прошел. Это не здесь. Не знаю, где это, не знаю, где это было. Эх, горе! Беда!

Он в отчаянии ломает руки, он еле стоит на ногах среди щебня и досок. Он ищет то, что было в его доме: уют комнат, отрадную тень. Все это развеяно по ветру. Затерянный на этой загроможденной равнине, где нет никаких примет, он

смотрит в небо, как будто там можно что-нибудь найти.

Он мечется во все стороны. Вдруг он останавливается и отступает на несколько шагов.

— Это было здесь! Как пить дать! Видишь, я узнаю по этому камню. Здесь была отдушина. Вот след сорванного железного бруска!

Он тянет носом, соображает, медленно, безостановочно кивает головой.

— Вот, когда больше ничего нет, только тогда понимаешь, что был счастлив. Эх, как счастливо мы жили!

Он подходит ко мне и нервно смеется.

— Это редкий случай, а? Я уверен, что ты еще никогда не видел ничего подобного: чтоб невозможно было найти свой дом, где всегда жил!

Он поворачивается и уводит меня.

— Ну, пошли, раз ничего больше нет! Как поглядишь на места, где все это было!.. Пора, брат!

Мы уходим. В этих призрачных местах, в этой деревне, погребенной под обломками, мы — единственные живые существа.

Мы опять поднимаемся вверх. Мой товарищ шагает повесив голову: он показывает мне поле и говорит:

— Здесь кладбище! Оно было здесь, а теперь

оно везде.

На полдороге мы замедляем шаг. Потерло подходит ко мне.

— Видишь ли, это уж слишком. Вся моя прежняя жизнь пошла насмарку, вся жизнь…

— Ну, что ты! Ведь твоя жена здорова, ты это знаешь, твоя дочка тоже.

Его лицо принимает странное выражение.

— Моя жена… Я тебе кое-что расскажу… Моя жена…

— Ну?

— Ну, брат, я ее видел.

— Ты ее видел? А я думал, что она осталась в области, занятой немцами!

— Да, она в Лансе, у моих родных. И все-таки я ее видел… Ну, ладно, черт подери!.. Я расскажу тебе все. Так вот, я был в Лансе три недели назад… одиннадцатого числа. Три недели тому назад.

Я смотрю на него; я ошеломлен… Но по его лицу видно, что он говорит правду. Он шагает рядом со мной в проясняющемся тумане и бормочет:

— Как-то раз нам сказали… Ты, может быть, помнишь… Нет, ты, кажется, там не был. Нам сказали: «Надо укрепить сеть проволочных заграждений перед параллелью Бийяра». Понимаешь, что это означает? До сих пор это никогда

не удавалось: как только выходишь из траншеи, тебя видят на спуске, — у него чудное название…

— Тобогган.

— Да, да… В этом месте так же опасно ночью или в тумане, как среди бела дня: на него заранее направлены ружья, установленные на подсошках, и пулеметы. Немцы поливают снарядами все, даже когда ничего не видно.

У нас взяли солдат из рабочей нестроевой роты, но некоторые увильнули, их заменили рядовыми из строевых рот. Я был с ними. Ладно. Выходим. Ни одного выстрела! «Что это значит?» — спрашивают солдаты. Но вот из-под земли вылезает один бош, два боша, десять бошей, — серые черти! — машут нам руками и кричат: «Камрад! Мы эльзасцы!» — и все выходят из Международного хода. «Мы не будем стрелять, говорят, не бойтесь, друзья! Дайте нам только похоронить наших убитых товарищей!» И вот все мы начали работать, каждый на своей стороне, и даже разговорились с ними: ведь это эльзасцы. Они бранили войну и своих офицеров. Наш сержант знал, что с неприятелем нельзя вступать в беседу, и нам даже читали приказ, что с бошами можно говорить только винтовкой. Но сержант сказал, что подвернулся единственный случай укрепить

проволочные заграждения, и раз боши дают нам работать во вред им же, надо этим воспользоваться… Вдруг какой-то бош говорит: «Нет ли среди вас кого-нибудь из занятых областей, кто бы хотел узнать о своей семье?»

Ну, брат, тут я не выдержал. Я не раздумывал, хорошо это или плохо, вышел вперед и сказал: «Я!» Бош стал меня расспрашивать. Я сказал, что моя жена — в Лансе, у родных, вместе с дочкой. Он спросил, где она живет. Я объяснил. Он сказал, что хорошо знает, где это. «Вот что, говорит, я отнесу ей от тебя письмо и даже ответ тебе принесу». Вдруг этот бош как хлопнет себя по лбу и подходит ко мне: «Да вот что, брат, еще лучше: если сделаешь, что я тебе скажу, ты увидишь жену, и ребенка, и всех, вот как я сейчас вижу тебя!» Для этого надо только пойти с ним в такой-то час, надеть немецкую шинель и бескозырку (он мне их достанет). Он примет меня в их рабочую команду, которую посылают за углем в Ланс; мы дойдем до дома, где живет моя жена. Я смогу ее увидеть, если только не буду показываться; за своих людей он ручается, но в доме, где живет моя жена, стоят немецкие унтеры; вот за них он не отвечает… Что ж, я согласился.

— Опасная штука!

— Конечно, опасная. А я решился сразу, не подумав, не желая обдумывать. Как? Повидать своих? Если даже меня потом расстреляют, что ж, пусть, даром ничего не дается. Это «закон спроса и предложения», так, что ли, говорят?

Ну, брат, все пошло как по маслу. Комар носу не подточит. Только им пришлось повозиться, чтобы найти для меня бескозырку: знаешь, у меня большая голова. Но устроили и это: в конце концов откопали бескозырку как раз по моей башке. А сапоги у меня ведь немецкие, — знаешь, те, что Карон снял с убитого боша и оставил мне. Так вот, я пошел в немецкие окопы (они здорово похожи на наши) вместе с этими, так сказать, бошами; они говорили на чистейшем французском языке, как мы с тобой, и советовали мне не волноваться.

Не было даже тревоги, ничего. Все прошло так гладко и просто, что я даже забыл, что я липовый немец. Мы пришли в Ланс к вечеру. Помню, мы прошли мимо ратуши и двинулись по улице Четырнадцатого июля. Я видел, как жители ходили по улицам, совсем как у нас на стоянках. В темноте я их не узнавал, а они — меня. Да им и в голову не могло прийти, что мы выкинули такой фортель… Было темно, хоть глаз выколи.

Наконец я пришел в сад моих родных.

Сердце у меня билось; я дрожал с головы до ног, словно весь превратился в сердце. Я еле удержался, чтобы громко не расхохотаться и не заговорить по-французски, так я был счастлив и взволнован. Камрад бош сказал мне: «Пройди разок-другой, погляди в окно. Но как будто случайно… Осторожней!..» Тогда я сразу спохватился, взял себя в руки. Этот бош был славный парень, молодчина: ведь если б я попался, что бы с ним сделали, а?

Знаешь, у нас, да и везде в Па-де-Кале, входные двери разделяются надвое: внизу что-то вроде загородки по пояс человеку; наверху — что-то вроде ставня. Верхнюю половину двери можно открыть, и получится окошко.

Ставень был открыт; кухня (она, конечно, служит и столовой) была освещена; слышались голоса.

Я прошел, вытянув шею. За круглым столом сидели мужчины и женщины; их лица розовели при свете лампы. Я впился глазами в Клотильду. Я видел ее хорошо. Она сидела между двумя бошами, кажется, унтерами; они с ней разговаривали. А она что делала? Ничего. Опустила голову, приветливо улыбалась; ее белокурые волосы

золотила лампа.

Она улыбалась. Она была довольна. Она как будто чувствовала себя хорошо среди этих сволочей бошей, у лампы, у огня, в хорошо знакомом мне родном тепле. Я прошел мимо, потом вернулся и опять прошел. Я опять увидел ее, и она все улыбалась. И не через силу, не лживой улыбкой, нет, настоящей улыбкой, от души улыбалась. И пока я проходил туда и обратно, я успел увидеть и мою дочку; она протягивала ручонки толстяку бошу с галунами и пробовала взобраться к нему на колени. А кто сидел рядом с ним? Мадлен Вандаэр, вдова Вандаэра, моего товарища по девятнадцатому полку, убитого на Марне, под Монтионом.

Она знала, что он убит: она была в трауре! И вот она даже не смеялась, она прямо хохотала, ей-богу… и смотрела то на одного, то на другого боша, словно говорила: «Как мне здесь хорошо!»

Эх, брат, я пошел дальше и наткнулся на «камрадов»; они ждали меня, чтобы проводить назад. Как я вернулся, уж не знаю. Меня совсем пришибло. Я шатался как очумелый. Попробовал бы меня кто-нибудь тронуть! Я бы заорал во всю глотку, устроил скандал; пусть бы меня убили, лишь бы покончить с этой подлой жизнью!

Понимаешь? Моя жена, моя Клотильда, в этот день, во время войны, улыбалась! Как? Значит, стоит на некоторое время уехать, и ты больше не в счет! Уходишь из дому, идешь на войну, все ревут, можно подумать, для них все погибло; и потом мало-помалу привыкают жить без тебя, и ты как будто не существовал; без тебя обходятся, чувствуют себя счастливыми по-прежнему и улыбаются. Эх, проклятая жизнь! Я не говорю о той стерве, что смеялась; но моя, моя собственная Клотильда в ту минуту, когда я ее случайно увидел, в ту минуту — что там ни говори! — плевала на меня!

И добро бы она сидела с друзьями, родными; так нет же, с унтерами бошами! Ну, скажи, разве не стоило броситься в комнату, влепить ей две оплеухи и свернуть шею курочке в трауре?

Да, да, я хотел было это сделать. Я знаю, что это было бы уж слишком… Но я взбесился, понимаешь…

Заметь, я не хочу сказать больше того, что говорю. Клотильда — славная баба. Я ее знаю и доверяю ей. Можно не сомневаться: если б меня ухлопали, она бы, для начала, выплакала все слезы. Она считала меня живым, согласен. Но дело не в этом. Раз у нее тепло, светит лампа, сидят

люди, даже если меня нет, все равно она чувствует себя хорошо, довольна и не может удержаться — улыбается.

Я повел Потерло дальше.

— Ты, брат, загнул. Ну что за нелепые мысли!..

Мы шли совсем медленно. Мы были еще у подножия холма. Туман серебрился и редел. Скоро должно было показаться солнце. И показалось.

* * *

Потерло взглянул на меня и сказал:

— Пройдем окольным путем в Каранси и вернемся с другого конца.

Мы свернули в поля. Через несколько минут он сказал:

— Так ты считаешь, что я загнул? Ты говоришь — я загнул?

Он подумал.

— Эх!

Он опять покачал головой и прибавил:

— Но как же? Все-таки ведь это так и было…

Мы пошли вверх по тропинке. Потеплело. Мы добрались до ровной площадки.

— Посидим перед обратной дорогой! — предложил Потерло.

Он сел. В его голове роились мысли. Он морщил

лоб. Он повернулся и смущенно посмотрел на меня, словно собираясь попросить об услуге.

— Скажи-ка, брат, я прав?

И, взглянув на меня, он обвел взглядом все вокруг, словно ожидая ответа от самой природы.

В небе и на земле происходила перемена. Туман исчез. Дали открылись. Тесная, серая, мрачная равнина расширялась, гнала прочь тени и окрашивалась в разные цвета. Мало-помалу, на восток и на запад, свет простирал над ней свои крылья.

И вот далеко внизу, между деревьев, показался Суше. Благодаря расстоянию и свету этот поселок являлся взорам восстановленный, обновленный солнцем.

— Я прав? — переспросил Потерло еще нерешительней.

Прежде чем я успел ответить, он сам ответил себе, сначала вполголоса:

— Она ведь совсем молодая: ей всего двадцать шесть лет. Она не может совладать с собой; молодость из нее так и прет; когда Клотильда отдыхает при свете лампы, в тепле, она поневоле улыбается; и даже если она захохочет во все горло, это, значит, смеется и поет в груди молодость. По правде сказать, Клотильда улыбалась совсем не другим, а самой себе. Это жизнь. Она живет.

Да, да, она живет, вот и все. Ведь не ее вина, если она живет. А что ж ей — умирать, что ли? Так что ж ей делать? По целым дням оплакивать меня, проклинать бошей? Ворчать? Нельзя же плакать и жаловаться целых полтора года! Так не бывает. Это тянется слишком долго, говорят тебе. Все дело в этом.

Вдруг он замолкает и смотрит на панораму Нотр-Дам-де-Лорет, озаренную солнцем.

— Вот тоже и моя дочка: когда чужой дяденька не посылает ее к черту, она старается влезть к нему на колени. Ей бы, пожалуй, приятней было, чтоб на его месте был ее родной дядя или друг отца, но все-таки она ластится к тому, кто часто сидит рядом с ней, даже если это толстый боров в очках.

— Эх! — восклицает он, вставая, подходя ко мне и размахивая руками. Мне скажут: «А если ты не вернешься с войны?» Я отвечу: «Ну, брат, тогда крышка: ни тебе Клотильды, ни любви! Когда-нибудь тебя заменит в ее сердце другой. Ничего не поделаешь: она тебя забудет, на твоем месте появится другой, она начнет новую жизнь. Да, если я не вернусь...»

Он добродушно смеется.

— Но я определенно решил вернуться! Да, уж

для этого надо быть боевым. А не то!.. Надо быть боевым, — повторяет он серьезней. — А не то, если даже придется иметь дело со святыми или ангелами, в конце концов проиграешь. Такова жизнь. Но я боевой.

Он опять смеется.

— Меня не запугаешь.

Я тоже встаю и хлопаю его по плечу.

— Ты прав! Все это кончится!

Он потирает руки. Он все говорит, говорит:

— Да, черт подери! Все это кончится! Будь благонадежен! Знаю, немало придется поработать, чтоб это кончилось, и еще больше потом, когда это кончится. Придется повозиться, поработать. Да и не только руками.

Придется построить все заново. Что ж, построим. Дом? Погиб. Сад? От него ничего не осталось. Ну что ж, построим новый дом. Разобьем новый сад. Чем меньше осталось, тем больше сделаем. Ведь это и есть жизнь, и мы живем, чтоб строить заново, правда? Мы восстановим и нашу семейную жизнь, восстановим дни, восстановим ночи.

И другие тоже. Все восстановят свою семью. Знаешь, что я тебе скажу? Это, может быть, придет скорей, чем кажется…

Да, я отлично представляю себе, как Мадлен

Вандаэр выйдет замуж за другого парня. Она вдова, но ведь она вдова уже полтора года. Ты думаешь, это пустяки, полтора года? Так долго, кажется, даже не носят траура! Но об этом забывают и говорят о вдове: «Это стерва!» И, в общем, требуют, чтобы она покончила с собой. Да ведь все люди забывают умерших, поневоле забывают. И ни мы, ни другие в этом не виноваты. Забывают. И все тут.

Когда я вдруг увидел Мадлен, когда я увидел, что она смеется, у меня глаза на лоб полезли, как будто ее муж был убит накануне. А ведь его, беднягу, укокошили уже давно. Уже давно, слишком давно. Мы уже не те. Но держись, надо вернуться домой, надо быть боевым! Мы будем сильными и заживем опять.

По дороге он посматривает на меня, подмигивает и, радуясь, что нашел новый довод, говорит:

— Я уже заранее знаю: после войны все жители Суше опять примутся за работу и заживут... Вот будут дела! Да вот, например, дядя Понс. Ну и чудак! Он был таким аккуратным, что подметал траву в своем саду щеткой из конского волоса или, стоя на коленях, подстригал траву ножницами. Ну что ж, он еще доставит себе это удовольствие! А тетка Имажинер! Она жила в домишке на краю

деревни, близ замка Карлер, толстая бабища; она как будто катилась по земле, словно у нее под юбками были колесики. Каждый год она рожала детей. Исправно! Настоящий пулемет! Что ж, она опять займется этим делом. Да еще как!

Он останавливается, размышляет, чуть улыбается и почти про себя смущенно говорит:

— …Знаешь, что я тебе скажу, я заметил… Это не важно, конечно, но я заметил (это замечаешь сразу, даже когда об этом не думаешь): у нас стало чище, чем в мое время…

На земле поблескивают рельсы, затерянные в некошеной высохшей траве. Потерло показывает ногой на эту заброшенную колею, улыбается и говорит:

— Это наша железная дорога. Узкоколейка. Черепаха. Наш поезд не торопился! Он полз медленно! За ним бы поспела улитка. Что ж, мы дорогу восстановим. Но поезд, наверно, не пойдет быстрей. Это ему воспрещается!

Мы поднимаемся на вершину; Потерло оборачивается и в последний раз глядит на истерзанные места, где мы побывали. Еще отчетливей, чем недавно, деревня на расстоянии как будто воссоздается среди сломанных деревьев, похожих на молодые ростки. Еще больше, чем недавно,

хорошая погода придает этим бело-розовым грудам видимость жизни и даже подобие мысли. Даже камни преображаются и оживают. Красота лучей возвещает и показывает будущее. На лице солдата появляется отсвет этого возрождения. Весна и надежда вызывают на его лице улыбку; его розовые щеки, ясные голубые глаза и золотистые ресницы как будто свежевыкрашены.

* * *

Мы спускаемся в ход сообщения. Туда проникает солнечный свет. Траншея светлая, сухая, гулкая. Я любуюсь ее прекрасной геометрической формой и глубиной, гладкими стенами, отполированными лопатой, и мне радостно слышать отчетливый звук наших шагов по твердому грунту или дощатому настилу.

Я смотрю на часы. Девять часов. В стекле отражается розово-голубое небо и тонкие очертания кустарников, растущих по краям траншеи.

Мы с Потерло переглядываемся с какой-то смутной радостью, нам приятно смотреть друг на друга, как будто мы давно не виделись! Он говорит, и, хотя я давно привык к его певучему северному произношению, я как будто впервые замечаю, что он поет.

Мы пережили тяжелые дни, трагические ночи, в холоде, в воде, в грязи. Теперь, хотя еще зима, первое хорошее утро возвещает нам, убеждает нас, что скоро еще раз наступит весна. Верхнюю часть траншеи уже украсила нежно-зеленая трава, и среди первых трепетаний новорожденных побегов пробуждаются цветы. Конец коротким тесным дням! Весна приходит и сверху и снизу. Мы дышим полной грудью, мы пьянеем.

Да, черные дни пройдут. Война тоже кончится, чего там! Война, наверное, кончится в это прекрасное время года; оно уже озаряет нас и ласкает своими дуновениями.

…Свист. А-а, шальная пуля!

Пуля? Не может быть! Это дрозд!

Забавно, как это похоже… Дрозды, тихо щебечущие птицы, поля, смена времен года, уют комнат, залитых светом… Да, война кончится, мы навсегда вернемся к родным: к жене, к детям или к той, кто для нас одновременно и жена и ребенок; мы улыбаемся им в этом юном сиянии, которое уже объединяет нас.

…В месте скрещения двух ходов, на краю поля, стоит нечто вроде портика: два столба прислонились один к другому, а между ними переплелись и висят, как лианы, электрические провода!

Хорошо! Будто нарочно придумано, будто театральные декорации. Тонкое ползучее растение обвивает один столб, и, следя за ним глазами, видим, что оно уже перекидывается на другой.

Стены хода поросли травой и вздрагивают, как бока прекрасного живого коня. Скоро мы выходим к нашим окопам, на Бетюнскую дорогу.

Вот и наше расположение. Наши товарищи здесь. Они едят и наслаждаются теплом.

Поев, они вытирают миски и алюминиевые тарелки кусочком хлеба…

— Гляди-ка, солнца больше нет!

Правда. Оно скрылось за тучу.

— Скоро польет дождь, ребятки, — говорит Ламюз.

— Везет же нам! Как раз когда надо уходить!

— Проклятый край! — восклицает Фуйяд.

Действительно, этот северный климат никуда не годится. Всегда моросит, всегда туман. Только покажется солнце и тут же гаснет в сыром небе.

Наш четырехдневный срок в окопах скоро кончится. К вечеру нас сменят. Мы медленно собираемся. Укладываем ранцы и сумки. Чистим ружья и затыкаем дула.

Четыре часа. Быстро густеет туман. Мы друг друга уже не различаем.

— Черт подери, опять дождь!

Упало несколько капель. И вдруг ливень. Ну и ну! Мы натягиваем на голову капюшоны, брезент. Возвращаемся в прикрытие, шлепая по грязи, пачкая колени, руки, локти: дно траншеи становится вязким. В землянке мы едва успеваем зажечь свечу, поставленную на камень, сбиваемся в кучу вокруг нее и дрожим от холода.

— Ну, в дорогу!

Мы вылезаем. Сырой ледяной мрак. Ветер. Я смутно различаю мощную фигуру Потерло. Мы по-прежнему стоим рядом в строю. Когда мы трогаемся в путь, я кричу ему:

— Ты здесь?

— Да, перед тобой! — кричит он в ответ, оборачиваясь ко мне.

В эту минуту ветер и дождь хлещут его по лицу. Но Потерло смеется. У него такое же счастливое лицо, как и утром. Ливню не лишить его радости, которую он носит в своем крепком, мужественном сердце; мрачному вечеру не погасить солнца, озарившего несколько часов назад его мысли.

Мы идем. Толкаемся. Спотыкаемся… Дождь не перестает, по дну траншеи бегут ручьи. Настилы дрожат на размякшей земле; одни сдвинулись вправо, другие — влево, мы скользим. В темноте

их не видно, и на поворотах попадаешь ногой в ямы, полные воды.

В сумерках я слежу за каской Потерло; вода течет с нее, как с крыши; я смотрю на его широкую спину, покрытую куском поблескивающей клеенки. Я не отстаю от Потерло и время от времени окликаю его; он мне отвечает всегда благодушно, всегда спокойно.

Когда мостки кончаются, мы увязаем в грязи. Уже совсем темно. Внезапно мы останавливаемся, и я натыкаюсь на Потерло. Кто-то сердито кричит:

— В чем дело? Подвигайся! Ведь мы отстаем!

— Да я не могу вытащить ноги! — жалобно отвечает другой.

Увязшему наконец удается выбраться; нам приходится бежать, чтобы догнать роту. Мы ставим ноги куда попало, спотыкаемся, хватаемся за стенки и пачкаем руки в грязи. Мы уже не идем, а бежим; раздается лязг железа и ругань.

Дождь усиливается. Вторая внезапная остановка. Гул голосов. Кто-то упал!

Он встает. Мы идем дальше. Я стараюсь идти по пятам за Потерло, следя за его каской; она слабо поблескивает в темноте, время от времени я кричу:

— Ну, как?

— Хорошо, хорошо, — отвечает он, сопя и отдуваясь, но все еще звучным, певучим голосом.

Ранец больно оттягивает плечи, трясется от толчков, от напора стихий. Траншея засыпана недавним обвалом, мы увязаем… Приходится вытаскивать ноги из рыхлой земли и высоко поднимать их. Выбравшись отсюда, мы сейчас же попадаем в какой-то поток. Вереницы людей протоптали две узких колеи; нога застревает в них, как в трамвайном рельсе; иногда мы попадаем в глубокие лужи. В одном месте надо пройти под тяжелым мостом, пересекающим ход сообщения; это очень трудно: приходится стать на колени в грязь, сплющиться, припасть к земле и ползти на четвереньках. Немного дальше приходится подвигаться, хватаясь за кол, который покосился от дождя и загораживает дорогу.

Мы подходим к перекрестку.

— Ну, вперед! Поживей, ребята! — кричит унтер, забившись в углубление, чтобы дать нам пройти. — Это место опасное.

— Сил больше нету, — мычит кто-то таким хриплым, прерывающимся голосом, что нельзя узнать, кто это.

— Тьфу, к черту, дальше не пойду! — говорит

другой, задыхаясь.

— А что я могу сделать? — отвечает унтер. — Это не моя вина! Ну, поживей, здесь скверное место. Последнюю смену здесь обстреляли.

Мы идем дальше, среди потоков воды и порывов ветра. Нам кажется, что мы спускаемся все ниже и ниже в какую-то яму. Скользим, падаем, отталкиваемся. Мы уже не идем, а медленно катимся вниз, хватаемся за что попало. Главное, двигаться прямо, как можно прямей.

Где мы? Наперекор потокам дождя я высовываю голову из бездны, в которой мы барахтаемся. На еле видимом фоне темного неба я различаю край траншеи, и вдруг перед моими глазами возникает какое-то зловещее сооружение: два черных столба склонились друг к другу, а между ними висит что-то вроде длинных спутанных волос. Это портик, который я заметил сегодня днем.

— Вперед! Вперед!

Я опускаю голову и больше ничего не вижу, но опять слышу шлепанье подошв и лязг штыковых ножен, глухие возгласы и прерывистое дыхание людей.

Новый резкий толчок. Мы внезапно останавливаемся; меня опять швыряет на Потерло; я наталкиваюсь на его спину, сильную, крепкую,

как дуб, как здоровье и надежда. Он мне кричит:

— Смелей, брат, скоро придем!

Мы не двигаемся. Надо отойти назад… Черт подери! Нет, опять идем дальше!..

Вдруг на нас обрушивается чудовищный взрыв. Я дрожу всем телом; мою голову наполняет металлический гул; запах серы проникает мне в ноздри; я задыхаюсь. Земля подо мной разверзлась. Я чувствую: что-то меня приподнимает и отбрасывает в сторону, душит, почти слепит среди громов и молний… Но я отчетливо помню: в это мгновение, когда, обезумев, я бессознательно искал взглядом моего брата по оружию, я увидел: он широко раскинул руки, его подбросило стойма, он весь почернел, и вместо головы пламя!

XIII. Грубые слова

Барк видит: я пишу. Он на четвереньках ползет ко мне по соломе, и вот передо мной его смышленое лицо, рыжий клоунский хохолок, живые глазки, над которыми сходятся и расходятся треугольные брови. Его губы движутся во все стороны: он жует плитку шоколада и держит в руке мокрый огрызок.

Обдавая меня запахом кондитерской, он полным ртом шамкает:

— Послушай… Ты вот пишешь книжки… Ты потом напишешь о солдатах, расскажешь о нас, а?

— Да, конечно, я расскажу о тебе, о всех товарищах и о нашей жизни…

— А скажи-ка…

Он кивает головой на мои записи. Я держу карандаш в руке и слушаю. Барк хочет задать мне вопрос.

— Скажи-ка, пожалуйста… Я хочу тебя спросить… Вот в чем дело: если в твоей книге будут разговаривать солдаты, они будут говорить, как взаправду говорят, или ты подчистишь, переделаешь по-вашему? Это я насчет грубых словечек. Ведь можно дружить и не браниться между собой,

а все-таки никогда солдаты не откроют рта хотя бы на минуту, чтобы не сказать и не повторить словечки, которые типографщики не очень-то любят печатать. Так как же? Если в твоей книге этих словечек не будет, портрет у тебя выйдет непохожим: все равно как если бы ты хотел нас нарисовать и не положил бы самой яркой краски там, где нужно. Но что делать? Так писать не полагается.

— Я поставлю грубые слова там, где нужно, потому что это правда.

— Слушай-ка, а если ты их поставишь, ведь разные там ваши господа, которым дела нет до правды, обзовут тебя свиньей!

— Наверно. Но я так и напишу. Мне дела нет до этих господ.

— Хочешь знать мое мнение? Хоть я и не разбираюсь в книгах, — это будет смело, ведь так не полагается; вот будет здорово, если ты так напишешь! Но в последнюю минуту тебе станет совестно: ведь ты слишком вежливый!.. Это даже твой недостаток; я заметил это с тех пор, как знаю тебя. Это — и твою поганую привычку: когда нам раздают водку, ты говоришь, будто она вредна, и, вместо того чтобы отдать свою долю товарищу, выливаешь водку себе на голову, чтоб вымыть

патлы.

XIV. Солдатский скарб

Наш сарай стоит в глубине двора «Фермы немых», помещение низкое, как землянка. Для нас всегда только землянки, даже в домах! Когда пройдешь двор, где навоз, хлюпая, уходит из-под сапог, или когда обойдешь его, с трудом удерживая равновесие на узкой каменной обочине, и заглянешь в дверь сарая, не видно ничего…

Но, вглядываясь в темноту, смутно различаешь какое-то мрачное углубление, где какие-то черные фигуры сидят на корточках, лежат или ходят из угла в угол. В глубине, направо и налево, дрожит бледное пламя двух свечей, окруженное туманным кольцом, как далекие апрельские луны; при этом свете можно наконец разобрать, что эти глыбы — люди, изо рта которых вылетает или пар, или густой дым.

В этот вечер в нашей берлоге, куда я пробираюсь с предосторожностями, все взволнованы. Завтра утром нас отправляют в окопы, и жильцы сарая начинают укладывать вещи.

В темноте я все-таки избегаю западни: бидонов, котелков и снаряжения, валяющегося на земле, но вдруг натыкаюсь на солдатские хлебы, на-

громожденные посреди сарая, словно камни на стройке… Я пробираюсь в свой угол. Там сидит на корточках огромное шарообразное косматое существо в овчине, нагнувшись над кучей мелких поблескивающих предметов. Я хлопаю его по спине. Оно оборачивается, и при мерцающей свече, вставленной в кольцо воткнутого в землю штыка, я различаю часть лица, один глаз, кончик уса и угол приоткрытого рта. Человек благодушно ворчит и опять принимается разглядывать свой скарб.

— Что ты тут делаешь?

— Укладываю. Укладываюсь.

Мнимый разбойник, подсчитывающий добычу, оказывается, не кто другой, как мой товарищ Вольпат. Теперь я вижу, что он делает: он свернул вчетверо полотнище палатки, положил его на постель, то есть на отведенную ему охапку соломы, и на этом ковре разложил содержимое своих карманов.

Это целый склад; Вольпат пожирает его глазами, как заботливая хозяйка, и настороженно следит, чтобы никто не наступил на его добро… Я рассматриваю эту богатую выставку.

Платок, трубка, кисет (где лежат еще листки папиросной бумаги), нож, кошелек и огниво (все

это необходимые предметы солдатского обихода), два обрывка кожаных шнурков, обвившиеся, как земляные черви, вокруг часов, спрятанных в потускневший от старости целлулоидный футляр; круглое зеркальце и другое — четырехугольное, правда разбитое, но наилучшего качества, с граненными краями; пузырек скипидара, пузырек с минеральным маслом, почти пустой, и еще один пустой пузырек; бляха от немецкого пояса с надписью «С нами бог», кисть от темляка того же происхождения; завернутая в бумагу «авиастрела», похожая на стальной карандаш, острая, как игла; складные ножницы и складная ложка-вилка; огрызок карандаша и огарок свечи; стеклянная трубочка с аспирином, в которой лежат еще таблетки опиума; несколько жестяных коробок.

Заметив, что я рассматриваю его личное имущество, Вольпат дает мне объяснения:

— Вот старая офицерская замшевая перчатка. Я срезаю пальцы, чтобы затыкать дуло моего «самострела»; это телефонная проволока (только проволокой и можно пришивать к шинели пуговицы, если хочешь, чтоб они держались). А здесь что? Здесь белые нитки, крепкие, не такие, какими шиты наши солдатские вещи (те нитки

вытягиваются, как макароны на вилке); а вот набор иголок; я воткнул их в открытку. Английские булавки отдельно, — вот там… А вот мои бумажки. Целая *биотека*!

Действительно, на выставке предметов, выложенных из карманов Вольпата, поразительное количество бумаг: фиолетовый пакетик почтовой бумаги (скверный печатный конверт истерт); солдатская книжка (переплет затвердел, запылился, словно кожа старого бродяги, обтрепался и уменьшился со всех сторон); клеенчатая облезлая тетрадка, набитая письмами и фотографиями; среди них почетное место занимает карточка жены и детей.

Из связки пожелтевших и почерневших бумаг Вольпат вытаскивает эту фотографию и лишний раз показывает мне. Я опять знакомлюсь с мадам Вольпат, пышногрудой женщиной с рыхлыми кроткими чертами; она сидит между двумя мальчуганами; они в белых воротничках; старший — худой, младший — круглый, как мяч.

— А у меня, — говорит двадцатилетний Бике, — только карточка моих стариков.

Он ставит к свече фотографию старика и старухи; они глядят на нас; у них благонравный вид, как у детишек Вольпата.

— У меня тоже есть карточки родных, — говорит другой. — Я никогда не расстаюсь с фотографией моего выводка.

— Что ж, каждый носит при себе родню, — прибавляет третий.

— Странное дело, — замечает Барк, — если слишком долго смотреть на карточку, она изнашивается. Не надо слишком часто и слишком долго глазеть на нее: не знаю, что там происходит, а только в конце концов сходство от этого пропадает.

— Правда, — говорит Блер. — Я тоже так считаю.

— У меня в моих бумажках есть еще карта этой местности, — продолжает Вольпат.

Он разворачивает карту. Она истерлась по краям, стала прозрачной в сгибах и похожа на шторы, сшитые из квадратов.

— У меня еще газета (он разворачивает статью о солдатах) и книга (роман ценой в двадцать пять сантимов: «Дважды девственница»)… А вот еще клочок газеты «Этампская пчела». Не знаю, зачем я это припрятал. Наверно, была причина. На свежую голову я вспомню. А вот моя колода карт, шахматная доска из бумаги и шашки из чего-то вроде сургуча.

Барк подходит, смотрит и говорит:

— У меня в карманах еще больше разных штук. — Он обращается к Вольпату: — А есть у тебя германский зольдбух, вшивая голова? А пузырьки с йодом? А браунинг? Вот у меня есть. Да еще два ножа.

— На кой мне револьвер или немецкая книжка? — отвечает Вольпат. — Я мог бы иметь два ножа и даже десяток, но с меня довольно и одного.

— Как сказать, — возражает Барк. — А есть у тебя металлические пуговицы, эх ты, перевернутое рыло?

— У меня они в кармане! — восклицает Бекюв.

— Солдат не может обойтись без них, — уверяет Ламюз. — А то штаны не будут держаться на помочах.

— А у меня всегда под рукой в кармане набор инструментов, — говорит Блер.

Он вытаскивает их; они лежали в мешочке от противогазовой маски; он потрясает ими. Позвякивают напильники — трехгранный и обыкновенный; звенят необделанные алюминиевые колечки.

— А у меня всегда с собой веревка. Вот это полезная штука! — говорит Бике.

— Не так, как гвозди, — возражает Пепен и показывает три гвоздя: большой, средний и маленький.

Один за другим солдаты вступают в беседу, продолжая работать. Мы привыкаем к полумраку. Но капрал Салавер, заслуживший прозвище «золотые руки», вставляет свечку в «люстру», которую он сфабриковал из коробки от сыра и проволоки. Мы зажигаем свет, и под этой «люстрой» каждый любовно, как мать детьми, похваляется содержимым своих карманов.

— Прежде всего, сколько их у нас?

— Чего — карманов? Восемнадцать, — отвечает кто-то — конечно, Кокон, человек-цифра.

— Восемнадцать карманов! Ишь загнул, крысиная морда! — восклицает толстяк Ламюз.

— Да, да, восемнадцать, — настаивает Кокон, — посчитай-ка, раз ты такой умный!

Ламюз хочет проверить: он подносит руку к огарку, чтобы сосчитать верней, и начинает загибать свои толстые бурые пальцы: два висячих задних кармана в шинели, карман для перевязочных материалов, который служит для табака, два внутренних кармана в шинели спереди да на каждом боку два внешних кармана с клапаном. Три кармана в штанах, даже три с половиной,

ведь есть еще передний карманчик.

— Я держу в нем компас, — объявляет Фарфаде.

— А я шнур от трута.

— А я, — говорит Тирлуар, — маленький свисток. Его мне прислала жена; она написала мне так: «Если тебя ранят в сражении, свистни, чтобы товарищи прибежали спасти тебе жизнь!»

Все смеются над этой простодушной фразой.

Тюлак вступает в беседу и снисходительно говорит Тирлуару:

— Они там в тылу не знают, что такое война. А если ты заговоришь о тыле, ты тоже понесешь околесицу.

— Ну, этого кармана мы считать не будем: он слишком мал, — говорит Салавер. — Итого десять.

— В куртке четыре. Пока всего только четырнадцать.

— Еще два кармана для патронов; это новые карманы; они держатся на ремнях.

— Шестнадцать, — объявляет Салавер.

— Эх ты, растяпа! Да погляди на мою куртку! А эти два кармана? Ты их не считал? Чего ж тебе еще нужно? Ведь это настоящие карманы, там, где полагается! Это штатские карманы: дома ты держишь в них платок для соплей, табак и адреса,

куда тебе нужно отвезти товар.

— Восемнадцать! — объявляет Салавер торжественно, как аукционист. — Восемнадцать! Правильно! Присуждено!

В эту минуту кто-то спотыкается о каменный порог; раздаются гулкие шаги, как будто конь бьет копытом землю, фыркает и… чертыхается.

После короткого молчания кто-то зычным голосом повелительно орет:

— Эй, вы там!.. Укладываетесь? Смотрите, чтоб к вечеру все было готово и чтоб свертки были прочные! Нынче идем на передовые позиции, и даже, может быть, дело будет жаркое!

— Ладно, ладно! — рассеянно отвечают несколько солдат.

— Как пишется: Арнесс? — спрашивает Бенэк. Он стоит на четвереньках и выводит карандашом адрес на конверте.

Кокон диктует ему по буквам имя: «Эрнест», — а унтер смывается и повторяет то же самое распоряжение у соседней двери. Блер берет слово и говорит:

— Слушайте, ребята! Всегда держите флягу в кармане! Уж я пробовал держать ее то тут, то там, но удобней всего в кармане, верьте мне. Если ты в походе, в полном снаряжении, или в окопах,

налегке, все равно, она у тебя всегда под рукой, на всякий случай: бывает, у товарища есть винцо, и он хочет тебе добра, и говорит тебе: «Дай-ка твою флягу», — или, скажем, по дороге попадется виноторговец. Слушайте, друзья, что я вам скажу, и вы будете всегда довольны: держите флягу в кармане!

— Как бы не так, — отвечает Ламюз, — никогда я не положу флягу в карман. Это чепуха на постном масле, ни больше, ни меньше; лучше привесить ее на крючке к ремню.

— Нет, лучше привязать ее к пуговице шинели, как противогазовую маску. А то снимешь снаряжение и вместе с ним флягу, и вдруг как раз можно купить винца…

— У меня немецкая фляжка, — говорит Барк. — Она плоская; ее можно держать в боковом кармане; она отлично входит и в подсумок, если патроны выбросить или пересыпать в сумку.

— Немецкая фляга никуда не годится, — возражает Пепен. — Она не держится стоймя. Только занимает место.

— Погоди, морда, — говорит Тирет, не лишенный сообразительности, — если мы пойдем в атаку, как сказал унтер, ты, может быть, найдешь немецкую флягу, вот будет здорово!

— Унтер, правда, это говорил, — замечает Эдор, — но он не знает.

— В немецкой фляге больше четверти, — заявляет Кокон, — а точная вместимость четверти отмечается у них чертой пониже горлышка. Всегда выгодно иметь флягу побольше: ведь если твоя фляга вмещает ровно четверть кофе, или вина, или святой водицы, или чего другого, ее надо наполнять до краев, а это никогда не делается при раздаче, а если и делается, все равно ты сам прольешь.

— Еще бы, конечно, не делается, — говорит Паради, возмущенный воспоминанием об этом недоливании. — Капрал при раздаче сунет во флягу палец да еще похлопает раза два по дну. Словом, тебя надувают на одну треть, и ты остаешься с носом.

— Правильно, — говорит Барк. — Но слишком большая фляга — это тоже невыгодно: раздатчик тебе не доверяет, боится налить лишку и потому не доливает, и ты оказываешься в убытке.

Между тем Вольпат сует обратно в карманы один за другим выставленные им предметы. Когда доходит очередь до кошелька, Вольпат смотрит на него с жалостью.

— Совсем отощал, бедняга!

Он считает:

— Три франка! Эх, брат, надо тебе опять потолстеть, а то на обратном пути у меня не будет ни шиша!

— Не у тебя одного пусто в кошельке!

— Солдат тратит больше, чем зарабатывает. Это уж так. Спрашивается, что было б с нами, если б мы жили только на паек.

Паради отвечает с корнелевской простотой:

— Подохли бы!

— А у меня в кармане всегда вот что.

И Пепен весело показывает серебряный столовый прибор.

— Он принадлежал обезьяне, у которой мы жили в Гран-Розуа.

— Может быть, он ей принадлежит еще и теперь?

Пепен отвечает неопределенным жестом, выражающим одновременно и гордость и скромность. Вдруг он смелеет, улыбается и говорит:

— Я знаю эту старую каргу. Наверно, теперь она до конца жизни будет искать по всем углам свой прибор.

— А мне, — говорит Вольпат, — удалось стибрить только пару ножниц. Другим везет. А мне — нет. Зато уж я берегу эти ножницы, хотя, можно

сказать, они мне ни к чему.

— Я стянул несколько вещиц, да что толку? Пустяковые. Саперы всегда успевали спереть до меня.

— Что ни делай, всегда кто-нибудь пролезет вперед. Ну, да ничего.

— Эй вы, кому дать йоду? — кричит санитар Сакрон.

— Я берегу письма жены, — говорит Блер.

— Я отсылаю их ей обратно.

— А я берегу. Вот они.

Эдор вытаскивает связку потертых, лоснящихся бумаг; их чернота стыдливо скрывается в полумраке.

— Я их берегу. Иногда перечитываю. Когда холодно и невмоготу, я их перечитываю. Это не согревает, но все-таки кажется, что становится теплее…

В этих словах таится глубокий смысл: многие поднимают голову и говорят:

— Да, да. Правильно!

Все говорят бессвязно; в глубине сарая копошатся огромные тени, в углах сгущается мрак и мерцают редкие свечи.

Люди странно мелькают, ходят взад и вперед, нагибаются, ложатся на пол; эти деловитые пере-

селенцы говорят сами с собой или окликают друг друга и натыкаются на кучи наваленных вещей. Они показывают свои богатства:

— На, погляди!

— Ну и штука! — завистливо отвечает другой.

Каждый хочет иметь все то, чего у него нет. У нас во взводе есть баснословные сокровища, предметы всеобщей зависти: например, двухлитровый бидон Барка, раздутый умелым холостым выстрелом и вмещающий теперь два с половиной литра; нож Бертрана — знаменитый нож с роговым черенком.

Среди суеты и шума каждый искоса посматривает на эти музейные экспонаты, потом опять не отрываясь глядит только на собственный «товар» и старается привести его в порядок.

Действительно, жалкий товар! Все, сделанное для солдатского обихода, уродливо, скверного качества, начиная от башмаков с картонными подметками до плохо скроенного, плохо сшитого платья из гнилого, плохо окрашенного сукна; оно просвечивает, как промокательная бумага, выцветает на солнце за один день, промокает от дождя за один час; ремни перетираются и рвутся, как стружки, не выдерживая тяжести ружья. Фланелевое белье тоньше бумажного, а табак

похож на солому.

Мартро стоит рядом со мной. Он показывает мне на товарищей:

— Погляди, как эти бедняги рассматривают свой скарб: ни дать ни взять матери загляделись на своих ребят. Послушай, как они называют все эти штуковины! Вот этот говорит: «Мой нож!» Будто отец говорит: «Мой Леон», или «Мой Шарль», или «Мой Адольф». И, знаешь, они никак не могут брать с собой меньше клади. Не то что они этого не хотят (ведь от нашего ремесла сил не прибавляется, правда?). А не могут. Они слишком любят свой скарб.

Поклажа!.. Она чудовищна, и солдаты знают, что от каждого лишнего предмета, от каждой вещи она еще мучительней.

Ведь, кроме всего того, что суешь в карманы и сумки, еще взваливаешь себе тяжелый груз на спину.

Ранец — это сундук и даже шкаф. И старый солдат чудесно умеет его набивать, искусно укладывая вещи и хозяйственные запасы. Кроме положенного по уставу обязательного груза (две коробки говяжьих консервов, дюжина сухарей, две плитки кофе, два пакета сгущенного супа, мешочек сахару, смена белья и запасные башма-

ки), мы ухитряемся втиснуть туда еще несколько коробок консервов, табак, шоколад, свечи, плетеные туфли, даже мыло, спиртовку, сухой спирт и вязаные вещи. Да еще одеяло, одеяльце для ног, полотнище палатки, мелкие инструменты, котелок и лагерные принадлежности; вот поклажа и растет, увеличивается, разбухает, становится огромной и тяжелой. Мой сосед прав: солдат отмахает десять километров по ходам сообщения, является на свой пост и каждый раз дает себе обещание избавиться от уймы лишних вещей, освободиться от этого ярма. Но каждый раз, готовясь двинуться дальше, он опять наваливает на плечи ту же изнурительную, чуть не сверхчеловеческую ношу и никогда с ней не расстается, хоть и всегда ее проклинает.

— Бывают ловкачи, они умеют устраиваться, — говорит Ламюз, — они ухитряются положить кое-что в ротную повозку или в санитарный фургон. Я знаю одного парня: у него две новых рубахи и одна пара кальсон в ящике у унтера, но, понимаешь, ведь в роте двести пятьдесят человек, и этот фокус известен, и мало кто может им воспользоваться, — только унтеры: чем больше у них нашивок, тем ловчей они прячут свой скарб… Да еще майор иногда осматривает фургон и, если

найдет твое барахло: в какой-нибудь колымаге, где не полагается, выбросит его прямо на дорогу: «К черту!» — а то еще выругает тебя и посадит под арест.

— В начале войны было легко. Некоторые, я сам видел, везли свои сумки и даже ранец в детской колясочке.

— Эх! Хорошее было времечко! А теперь все переменилось.

Вольпат остается глух ко всем этим речам; закутавшись в одеяло, как в шаль, похожий на старую ведьму, он вертится вокруг какого-то предмета, лежащего на земле.

— Не знаю, — говорит он, не обращаясь ни к кому в отдельности, — взять этот поганый бидон или нет. Он у нас единственный во взводе; я всегда таскал его с собой. Так-то так, но он дырявый, течет, что твое сито.

Он никак не может решиться; это настоящая сцена расставания.

Барк поглядывает на него со стороны и, посмеиваясь, бормочет: «Старый хрыч! Полоумный!» Но вдруг он умолкает.

— В конце концов на его месте всякий был бы таким же болваном!

Вольпат откладывает решение:

— Посмотрю завтра утром, когда уложу ранец.

Солдаты осматривают и набивают карманы; потом доходит очередь до сумок и подсумков; Барк поучает нас, как втиснуть две сотни патронов в три подсумка. Пачками — невозможно. Патроны надо распаковать и положить их рядками, стоймя, один головкой вверх, другой — вниз. Так можно набить каждый подсумок до отказа и сделать себе пояс весом в шесть кило.

Ружье уже вычищено. Проверяют обмотку казенной части и затыкают дуло: эта предосторожность необходима в окопной войне.

Каждый должен легко находить свое ружье.

— Я сделал зарубки на ремне. Видишь, я вырезал край.

— А я привязал к ремню шнурок от башмака: так я узнаю его и на глаз, и на ощупь.

— А я прицепил металлическую пуговицу. Верное дело. В темноте я ее сейчас же нащупаю и узнаю: «Это мой карабин». Понимаешь, ведь бывают ребята, которым на все наплевать; пока товарищ чистит ружье, они бьют баклуши; потом, не торопясь, тихонько хватают ружье того растяпы, что почистил, и даже так обнаглеют, что скажут: «Капитан, у меня ружье чистехонько, „ол-ред“». Но со мной этот номер не пройдет.

Это система «И», а от системы «И» мне блевать хочется.

И хотя все ружья одинаковы, они отличаются друг от друга, как почерки.

* * *

— Странное и чудно́е дело, — говорит мне Мартро, — завтра мы идем в окопы, а до сих пор нет еще ни пьянства, ни драки; сегодня вечером — послушай! — до сих пор еще не было даже ссоры. А я…

— Конечно, — сейчас же спохватывается он, — двое уже дернули и обалдели… Они еще не вполне готовы, но уже клюкнули, чего там…

— Это Пуатрон и Пуальпо из взвода Бруайе.

Они лежат и вполголоса беседуют. Круглый нос и зубы Пуатрона поблескивают у самой свечи; он поднял палец, и тень четко воспроизводит пояснительные движения его руки.

— Я умею разводить огонь, но не умею зажечь его опять, если он потух, — заявляет Пуатрон.

— Балда! — говорит Пуальпо. — Если ты умеешь развести огонь, значит, ты умеешь зажечь и потухший огонь: ведь если ты его зажигаешь, значит, он раньше потух, и можно сказать, ты его не разводишь, а заново зажигаешь.

— Толкун! Все это брехня! Ты мудришь. Плевать мне на все твои словечки. Я тебе говорю и повторяю: разводить огонь я мастер, а чтобы зажечь его опять, когда он потух, — нечего и думать. И все тут.

Я не слышу возражений Пуальпо.

— Да черт тебя дери! Втемяшил себе в голову. Вот упрямый вол! — хрипит Пуатрон. — Тридцать раз говорят тебе: не у-ме-ю. Ну и тупая башка!

— Потеха, да и только!.. — шепчет мне Мартро.

Да, пожалуй, он слишком поторопился, когда говорил, что нет пьяных.

В логовище, устланном пыльной соломой, царит возбуждение, вызванное прощальными возлияниями; солдаты чинят, приспособляют, собирают свое добро; одни, опустившись на колени, стучат молотком, как углекопы; другие стоят, не зная, на что решиться. Все галдят и размахивают руками. В облаке дыма мелькают лица; темные руки движутся в сумраке, как марионетки.

Из соседнего сарая, отделенного от нашего только перегородкой высотой в человеческий рост, раздаются пьяные крики. Два солдата отчаянно, бешено ссорятся. Воздух сотрясается от грубейших слов, какие только существуют на земле. Но одного из буянов — солдата другого взвода

— жильцы сарая выставляют за дверь, и фонтан ругательств оставшегося солдата мало-помалу иссякает.

— Наши все держатся! — с некоторой гордостью замечает Мартро.

Это правда. Благодаря капралу Бертрану, который ненавидит пьянство, эту роковую отраву, наш взвод меньше других развращен вином и водкой.

...Там кричат, пьют, беснуются. И без конца хохочут.

Пробуешь разгадать некоторые лица, вдруг поражающие взгляд в этом зверинце теней и отражений. Но не удается. Видишь людей, но не можешь проникнуть в их тайны.

* * *

— Уже десять часов, друзья! — говорит Бертран. — Ранцы уложите завтра. Пора на боковую!

Все медленно ложатся. Но болтовня не прекращается. Когда солдата не торопят, он делает все с прохладцей. Каждый куда-то идет, возвращается, что-то несет; я вижу скользящую по стене непомерную тень Эдора; он проходит мимо свечи, придерживая кончиками пальцев два мешочка камфары.

Ламюз ворочается, стараясь улечься поудобней. Он чувствует себя плохо: как ни велика вместимость его желудка, сегодня он явно объелся.

— Не мешайте спать! Эй вы, заткните глотку! Скоты! — кричит со своей подстилки Мениль Андре.

Этот призыв на минуту успокаивает солдат, но гул голосов еще не стихает и хождение взад и вперед не прекращается.

— Правда, нас завтра погонят в окопы, — говорит Паради, — а вечером на передовые линии. Но никто об этом даже не думает. Это известно, вот и все.

Мало-помалу каждый занимает свое место. Я вытягиваюсь на соломе. Мартро свернулся рядом со мной.

Осторожно, стараясь не шуметь, входит какая-то громада. Это старший санитар, брат марист, толстый бородач в очках; он снимает шинель, чувствуется, что ему неловко показывать свои ляжки. Силуэт этого бородатого гиппопотама спешит улечься. Он отдувается, вздыхает, что-то бормочет.

Мартро кивает мне на него головой и шепчет:

— Погляди! Эти господа постоянно брешут. Спросишь его, что он делал до войны, он не ска-

жет: «Я был учителем в церковно-приходской школе»; нет, он посмотрит на тебя из-под очков и скажет: «Я преподаватель». Когда он встает ранехонько, чтобы пойти к мессе, и замечает, что разбудил тебя, он не скажет: «Я иду к заутрене», — а соврет: «У меня живот болит. Надо пойти в нужник, ничего не поделаешь».

Немного дальше дядя Рамюр рассказывает о своих краях:

— У нас маленький поселок. Небольшой. Мой старик целый день обкуривает трубки; работает ли или отдыхает, он дымит в воздух или в пар от миски…

Я прислушиваюсь к этому рассказу: вдруг он принимает специальный, технический характер:

— Для этого он приготовляет соломку. Знаешь, что такое соломка? Берешь стебелек зеленого колоса, снимаешь кожицу. Разрезаешь надвое, потом еще надвое, и получаются стебельки разной длины, так сказать разные номера. Потом веревочкой и четырьмя стеблями соломы обматываешь чубук трубки.

На этом урок прекращается. Не нашлось ни одного охотника послушать.

Теперь горят только две свечи. Крыло тени

покрывает лежащих вповалку людей.

В этом первобытном общежитии еще слышатся отдельные разговоры. До меня доносятся их обрывки.

Дядюшка Рамюр возмущается майором:

— У майора, брат, четыре галуна, а он не умеет курить. Тянет-тянет трубку и сжигает ее. У него не рот, а пасть. Дерево трескается, накаляется; глядишь, это уже не дерево, а просто уголь. Глиняные трубки прочней, но и они у него лопаются. Ну и пасть! Вот увидишь: когда-нибудь выйдет такой скандал, какого еще никогда не бывало: трубка накалится докрасна, прожарится до самого нутра и при всех взорвется в его пасти. Увидишь!

Мало-помалу в сарае воцаряется тишина, покой, мрак; сон побеждает заботы и хоронит надежды постояльцев. Эти люди улеглись, завернулись в одеяла, превратились в свертки; их ряды кажутся трубами огромного органа, звучащего разнообразными храпами.

Уже уткнувшись носом в одеяло, Мартро рассказывает мне о себе:

— Я торгую тряпками, иначе говоря, я — тряпичник, но оптовик: я скупал у мелких уличных тряпичников, а склад у меня на чердаке. Я покупал всякую рухлядь, начиная с белья и кончая

жестянками из-под консервов, но больше всего — ручки от щеток, мешки и старые туфли; моя специальность — кроличьи шкурки.

А немного позже он говорит:

— Я хоть низкорослый и нескладный, а могу снести на чердак сотню кило по лестнице, да еще в деревянных башмаках. Раз мне пришлось иметь дело с темным человеком: говорили, что он торгует живым товаром, так вот…

— Черт подери, чего я не могу выносить, — вдруг восклицает Фуйяд, — это упражнений и маршировки! На отдыхе нас изводят учением, у меня ломит поясницу, не могу ни спать, ни разогнуть спину.

Вдруг раздается лязг железа: это Вольпат решился взять свой бидон, хоть и бранит его за то, что он дырявый.

— Эх, когда ж кончится эта война? — стонет кто-то, засыпая.

Раздается упрямый глухой крик возмущения:

— Они хотят нас доконать!

В ответ так же глухо звучит:

— Не горюй!

…Я просыпаюсь ночью; часы бьют два; при белесом, наверно лунном, свете беспокойно ворочается силуэт Пинегаля. Вдали пропел петух.

Пинегаль приподнимается на соломе и хрипло говорит:

— Да что это? Ночь, а петух орет. Пьян, что ли?

И смеется, повторяя: «Пьян, что ли?» — опять закутывается в одеяло и засыпает; в его горле что-то клокочет: смех смешивается с храпом.

Пинегаль невольно разбудил Кокона. Человек-цифра начинает размышлять вслух и говорит:

— Когда мы пошли на войну, в нашем отделении было семнадцать человек. Теперь в нем тоже семнадцать человек после пополнений. Каждый солдат износил уже четыре шинели: одну синюю, три дымчато-голубых, две пары штанов, шесть пар башмаков. Надо считать по два ружья на человека. Запас провианта выдавали нам двадцать три раза. Из семнадцати человек четырнадцать были у нас отмечены за подвиги в приказе, — из них двое по бригаде, четверо по дивизии, один по армии. Раз мы бессменно оставались в окопах шестнадцать дней. Мы стояли и жили в сорока семи разных деревнях. В нашем полку две тысячи человек, а с начала войны через него прошло двенадцать тысяч…

Вычисления Кокона прерывает странное сюсюканье. Это Блер: вставная челюсть мешает ему говорить и есть. Но он каждый вечер надевает ее

на всю ночь упорно, мужественно: в фургоне ему сказали, что он привыкнет.

Я приподнимаюсь, как на поле сражения. Я еще раз оглядываю этих людей, которые прошли через много областей и много испытаний. Я смотрю на них; они брошены в бездну сна и забвения; некоторые, со своими жалкими заботами, детскими инстинктами и рабским невежеством, еще стараются ухватиться за край этой бездны.

Меня одолевает сон. Но я думаю о том, что они сделали и сделают. И в недрах убогой человеческой ночи, простертой в этом логовище, под саваном мрака, мне грезится какой-то великий свет.

XV. Яйцо

Мы не знали, что делать. Хотелось есть, хотелось пить, а на этой несчастной стоянке ничего не было.

Обычно правильное снабжение на этот раз захромало; мы были лишены самого необходимого.

Исхудалые люди скрежетали зубами. На убогой площади со всех сторон торчали облезлые ворота, обнаженные скелеты домов, облысевшие телеграфные столбы.

Мы убеждались, что нет ничего.

— Хлеба нет, мяса нет, ничего нет; придется затянуть пояс.

— И сыра *макаш*[7], и масла не больше, чем варенья на вертеле.

— Ничего нет, ничего! Хоть тресни, ничего не найдешь.

— Ну и поганая стоянка! Три лавчонки, и везде только сквозняки и дождь!

— Имей хоть кучу денег, а все равно, что ветер свистит у тебя в кармане: ведь торгашей-то нет!

---

[7] Примечания: 7
Ничего нет. (*арабск.*)

— Будь хоть самим Ротшильдом или военным портным, здесь богатство тебе ни к чему.

— Вчера близ седьмой роты мяукал кот. Будьте уверены, они его уже зажарили.

— Да. Хотя у него были видны все ребра.

— Что и говорить, туго приходится.

— Некоторые ребята, — говорит Блер, — не зевали: как пришли, сейчас же купили несколько бидонов вина вон там, на углу.

— Эх, сукины дети! Везет же им! Теперь они смогут промочить горло!

— Надо сказать, что это не вино, а дрянь: им только полоскать фляги.

— Говорят, некоторые даже пожрали.

— Тьфу ты, пропасть! — восклицает Фуйяд.

— А я и не ломал над этим голову: у меня осталась одна сардинка, а на дне мешочка — щепотка чаю: я его пожевал с сахаром.

— Ну, этим не насытишься, даже если ты не обжора и у тебя плоская кишка.

— За два дня дали поесть только один раз — какое-то желтое месиво: блестит, как золото. Не то жареное, не то пареное! Все осталось в миске.

— Наверно, из него понаделают свечей.

— Хуже всего, что нечем зажечь трубку!

— Правда. Вот беда! У меня больше нет трута.

Несколько штук было, да сплыло. Как ни выворачивай карманы — ничего! А купить — накось выкуси!

В самом деле, тяжело смотреть на солдат, которые не могут закурить трубку или папиросу: они покорно кладут их в карманы и слоняются как потерянные. К счастью, у Тирлуара есть зажигалка и в ней немного бензина. Те, кто об этом знает, вертятся вокруг него, держа в руках набитую трубку. Нет даже бумаги, которую можно было бы зажечь об этот огонь: приходится прикуривать прямо от фитиля и тратить последние капли бензина, оставшиеся в тощей, как насекомое, зажигалке.

Но мне повезло… Я вижу: Паради бродит, задрав голову, мурлычет и покусывает щепку.

— На, возьми! — говорю я.

— Коробка спичек! — восклицает он и с восхищением смотрит на нее, как на драгоценность. — Вот здорово! Спички!

Через минуту он уже закуривает трубку; его сияющее лицо багровеет от огня; все вскрикивают.

— У Паради есть спички!

К вечеру я его встречаю у какого-то разрушенного дома, на углу двух единственных улиц этой самой жалкой из всех деревень, Паради зовет

меня:

— Пс-с-т!

У него странный, несколько смущенный вид.

— Послушай, — растроганно говорит он, глядя себе под ноги, — ты подарил мне коробку спичек. Так вот, я тебя отблагодарю. Держи!

Он кладет мне что-то в руку.

— Осторожней! — шепчет он. — Может разбиться.

Ослепленный белизной, великолепием его подарка, я смотрю и не верю своим глазам… Яйцо!

XVI. Идиллия

— Право, — сказал Паради, шагая рядом со мной, — верь не верь, но я чертовски устал, сил больше нет. Ни один переход не осточертел мне так, как этот.

Он волочил ноги, сгибаясь всем своим крупным телом под тяжестью мешка, объем и сложные очертания этой ноши казались невероятными. Два раза он споткнулся и чуть не упал.

Паради вынослив. Но всю ночь, пока другие спали, ему пришлось носиться по траншее, исполняя обязанности связиста; не удивительно, что он устал.

Он ворчит:

— Да что они, резиновые, что ли, эти километры? Наверно, резиновые…

Через каждые три шага он резким движением подтягивал мешок и отдувался; он составлял единое целое со своими свертками и тюками; он покачивался и кряхтел, как старый, доверху нагруженный воз.

— Скоро придем, — сказал какой-то унтер.

Унтер говорил так всегда, по любому поводу. Но, несмотря на это, к вечеру мы действительно

пришли в деревню, где дома, казалось, были нарисованы мелом и тушью на синеватой бумаге неба, а черный силуэт церкви со стрельчатой колокольней и тонкими островерхими башенками высился, как огромный кипарис.

Но, придя в деревню, где назначена стоянка, солдат еще не избавляется от мучений. Взводу редко удается поселиться в предназначенном для него месте: оказывается, оно уже отдано другим; возникают недоразумения и споры; их приходится разбирать на месте, и только после многих мытарств каждому взводу наконец предоставляют временное жилье.

Итак, после обычных блужданий нам отвели навес, подпертый четырьмя столбами; стенами служили ему четыре стороны света. Но крыша была хорошая; это ценное преимущество. Здесь уже стояли двуколка и плуг; мы поместились рядом. Пока приходилось топтаться и ходить взад и вперед по деревне, Паради все ворчал и бранился; а тут он бросил ранец, потом бросился сам на землю и некоторое время не двигался, жалуясь, что у него онемела спина, болят ступни и старые раны.

Но вот в доме, которому принадлежал этот сарай, прямо перед нами появился свет. В скучных

сумерках солдата больше всего привлекает окно, где звездой сияет лампа.

— Зайдем-ка туда! — предложил Вольпат.

— Ну, что ты!.. — сказал Паради. Однако он приподнялся и встал. Ковыляя от усталости, он направился к засветившемуся в полумраке окну и к двери.

За ним пошел Вольпат, а за ними я. Мы постучали; нам открыл старик с трясущейся головой, с лицом помятым, как старая шляпа; мы спросили, нет ли вина для продажи.

— Нет, — ответил старик, качая лысой головой, на которой кое-где еще росли седые волоски.

— Нет ли пива, кофе? Чего-нибудь?

— Нет, друзья мои, ни-че-го. Мы не здешние… Беженцы…

— Ну, если ничего нет, пошли!

Мы повернулись, чтоб уйти. Все-таки минутку мы попользовались теплом комнаты и полюбовались светом лампы… Вольпат уже дошел до порога; его спина исчезла в потемках.

Вдруг я заметил старуху; она сидела на стуле в другом углу кухни и, видно, была очень занята какой-то работой.

Я ущипнул Паради за руку.

— Вот красавица хозяйка. Поухаживай за ней!

Паради с гордым равнодушием махнул рукой. Плевать ему на женщин: ведь уже полтора года все женщины, которых он видит, не для него. А если б даже они и были для него, все равно наплевать!

— Молодая или старая, все равно! — сказал он и зевнул.

Но все-таки от нечего делать, от нежелания уйти он подошел к этой старухе.

— Добрый вечер, бабушка! — пробормотал он, еще не кончив зевать.

— Добрый вечер, детки! — прошамкала старуха.

Вблизи мы ее разглядели. Она — сморщенная, сгорбленная, скрюченная; бледное лицо похоже на циферблат стенных часов.

А что она делала? Поместившись между стулом и краем стола, она старательно чистила ботинки. Это был тяжелый труд для ее детских рук; они двигались неуверенно; иногда она попадала щеткой мимо, а ботинки были прегрязные.

Заметив, что мы на нее смотрим, она сказала, что должна непременно в этот вечер почистить ботинки своей внучки, которая рано утром отправляется в город, где работает модисткой.

Паради нагнулся, чтобы получше рассмотреть

эти ботинки. Вдруг он протянул к ним руку.

— Дайте-ка, бабушка! Я вам в два счета начищу эти башмачки.

Старуха отрицательно покачала головой и пожала плечами.

Но Паради силой отобрал у нее ботинки; слабая старуха попробовала сопротивляться, но тщетно.

Паради схватил каждой рукой по ботинку, и вот он нежно держит их, минуту созерцает и даже, кажется, сжимает.

— Ну и маленькие! — говорит он таким голосом, каким никогда не говорил с нами.

Он завладел щетками; усердно и осторожно натирает ими ботинки, не сводит глаз со своей работы и улыбается.

Очистив ботинки от грязи, он кладет ваксу на кончик двойной щетки и заботливо смазывает их.

Ботинки изящные. Видно, что это ботинки кокетливой девушки; на них блестит ряд мелких пуговиц.

— Все пуговки на месте, — шепчет мне Паради, и в его голосе слышится гордость.

Ему больше не хочется спать; он уже не позевывает. Напротив, он сжал губы; лицо озарено юным, весенним светом; только что казалось: он

вот-вот заснет, а теперь он как будто проснулся.

Он проводит пальцами, почерневшими от ваксы, по ботинку, который расширяется кверху; можно угадать форму ноги. Паради умеет чистить ботинки, но вертит и перевертывает их неуклюже; он улыбается и мечтает о чем-то далеком. Старуха воздевает руки к небу и, призывая меня в свидетели, восхищенно говорит:

— Вот услужливый солдат!

Готово! Ботинки начищены и блестят, как зеркало. Делать больше нечего…

Паради кладет их на край стола осторожно, как реликвию, и наконец выпускает их из рук.

Он долго не сводит с них глаз, потом опускает голову и глядит на свои башмаки. Сравнив их с ботинками девушки, этот рослый парень — герой, цыган и монах — улыбается еще раз от всего сердца.

…Вдруг старуха привстала. У нее мелькнула мысль.

— Я ей скажу. Она вас поблагодарит. Эй, Жозефина! — кричит она, поворачиваясь к двери.

Но Паради останавливает ее широким, величественным движением руки.

— Нет, бабушка, не стоит! Не надо ее беспокоить! Мы уходим. Право, не стоит!

Он так убежденно и властно сказал это, что старуха послушно села и замолчала.

Мы пошли под навес спать в объятиях поджидавшего нас плуга.

Паради опять принялся зевать, но еще долго при свече видно было, что с его лица не сходит счастливая улыбка.

XVII. Подкоп

После сутолоки раздачи писем, когда солдаты возвращаются, кто обрадованный письмом, кто — полуобрадованный открыткой, кто с новым грузом ожидания и надежды, какой-то товарищ, размахивая листком бумаги, сообщает нам необыкновенную новость:

— Помните деда Хлопотуна из Гошена?

— Того чудилу, что искал клад?

— Да. А ведь старик нашел!

— Да что ты? Врешь!..

— Говорят тебе, нашел, образина! Что мне тебе еще сказать? Молитву прочесть, что ли? Не умею... Ну, так вот, двор его дома обстреляли, и у стены, в развороченной земле оказался ящик, полный монет: старик получил свой клад прямо в руки. Даже поп тихонько примазался к этому делу, хотел объявить это чудом и приписать его к поповскому счету.

Мы разинули рот:

— Клад!.. Вот так история!.. Ай да старый хрыч!

Эта неожиданная новость повергает нас в бездну размышлений.

— Да, никогда нельзя знать наперед!

— А как мы смеялись над старым сморчком, когда он нес околесицу о своем кладе, и все уши нам прожужжал, и морочил нам голову!

— Помнишь, мы там говорили: «Все может быть. Никогда нельзя знать!» Тогда мы и не думали, что это так и есть, помнишь?

— Все-таки кое-что знаешь наверняка, — говорит Фарфаде.

Как только мы заговорили о Гошене, он задумался и смотрел неподвижным взглядом, словно ему улыбался любимый образ.

— Но этому я бы тоже не поверил!.. — прибавил он. — После войны я туда вернусь; вот уж, наверно, старик будет хвастать своим кладом!

* * *

— Требуется доброволец: кто хочет помочь в работе саперам? — говорит рослый унтер.

— Нашел дураков! — ворчат солдаты и не двигаются.

— Надо вызволить товарищей! — настаивает унтер.

Ворчание прекращается; кое-кто поднимает голову.

— Есть! — говорит Ламюз.

— Собирайся, брат, пойдем со мной!

Ламюз застегивает ранец, свертывает одеяло, надевает сумки.

С тех пор как его несчастная страсть к Эдокси угасла, он еще больше помрачнел и, хотя каким-то роковым образом продолжает толстеть, замкнулся, держится в сторонке и молчит.

День прошел. Вечером кто-то приближается к нам, поднимаясь и опускаясь по буграм и впадинам, как будто плывет в полумраке, и время от времени протягивает руки, словно зовет на помощь.

Это Ламюз. Он подходит к нам. Он весь в грязи, обливается потом, вздрагивает и как будто чего-то боится. Он шевелит губами, долго мычит и не может выговорить ни слова.

— В чем дело? — напрасно спрашивают его.

Ему предлагают вина. Он знаками отказывается. Поворачивается ко мне и подзывает меня кивком головы. Я подхожу к нему; он шепчет мне тихо, как в церкви:

— Я видел Эдокси.

Он хочет вздохнуть; из его груди вылетает свист; уставившись в какое-то далекое страшное видение, Ламюз говорит:

— Она сгнила! Это было в том месте, которое захватили немцы, — продолжает Ламюз, — наши

колониальные войска отбили его в штыковой атаке дней десять назад.

Сначала пробили дыру. Я работал вовсю. Я сделал больше других и оказался впереди. Остальные расширяли и укрепляли проход позади меня. Вдруг вижу груду балок: наверно, я попал в старую засыпанную траншею. Она была засыпана, но не совсем: были и пустые места. Я убирал один за другим наваленные куски дерева, и вот смотрю: стоит что-то вроде большого мешка, набитого землей; на нем что-то висит.

Вдруг балка подалась, и этот чудной мешок свалился на меня. Он меня придавил; я чуть не задохся от трупного запаха… Из этого мешка торчала голова, а то, что на нем висело, оказалось волосами.

Понимаешь, было темно, плохо видно. Но я все-таки узнал эти волосы (других таких волос не сыщешь в целом свете), узнал и лицо, хотя оно совсем распухло и покрылось плесенью; вместо шеи какая-то каша; Эдокси умерла, может быть, месяц тому назад. Это была Эдокси; верно тебе говорю.

Да, это была женщина, к которой я раньше никогда не мог подойти; ведь я смотрел на нее только издали и никогда не мог к ней прикос-

нуться: она была не для меня, как жемчужина. Помнишь? Эдокси бегала повсюду. Она шныряла даже по передовым позициям. Наверно, в нее угодила пуля. Эдокси, наверно, была убита и затерялась в траншее, и вот благодаря этому подкопу я случайно ее нашел.

Понимаешь, в чем дело? Мне пришлось кое-как поддерживать ее одной рукой, а другой работать. Эдокси валилась на меня всей тяжестью. Да, брат, она хотела меня поцеловать, а я не хотел. Это было страшно. Она как будто говорила: «Ты меня хотел, что ж, целуй». У нее на… вот здесь был приколот букет цветов; он хлестал меня по носу, он тоже сгнил, как труп какого-то зверька.

Пришлось поднять ее на руки и вместе с ней осторожно повернуться, чтобы сбросить ее по ту сторону насыпи. Было так тесно, что, поворачиваясь, я невольно прижал ее к груди изо всех сил, как прижал бы ее живую, если б она только пожелала…

Потом я полчаса отряхивался от этого прикосновения и запаха, которым она обдавала меня против моей, да и против своей воли. Эх, хорошо еще, что я устал как собака.

Он поворачивается на живот, сжимает кулаки и засыпает, уткнувшись носом в землю, измучен-

ный воспоминаниями о любви и тлене.

XVIII. Спички

Пять часов вечера. Три человека копошатся на дне черной траншеи.

Они черные, страшные, зловещие в этом углублении, у потухшего костра. От дождя и небрежности солдат огонь погас, и трое поваров смотрят на головешки, погребенные под пеплом, на остатки холодеющего костра, пламя которого умерло, исчезло.

Вольпат, шатаясь, подходит к этой кучке людей и сбрасывает с плеч какую-то черную ношу.

— Я потихоньку вытащил это из стены землянки.

— Значит, дрова есть, — говорит Блер. — Но надо их зажечь. А то как же сварить мясо?

— Хороший кусок, — стонет другой черный человек. — Грудинка. По мне, это лучший кусок говядины: грудинка!

— Огня! — требует Вольпат. — Нет больше спичек, нет больше ничего!

— Да, нужен огонь! — ворчит Пупарден; он нерешительно топчется и покачивается в этой темной яме, как огромный медведь в клетке.

— Что и говорить, нужен! — подтверждает

Пепен, вылезая из землянки, словно трубочист из камина.

Он высится в сумраке темной громадой.

— Будьте благонадежны, я уж достану, — гневно и решительно говорит Блер.

Он стал поваром совсем недавно и старается преодолеть все трудности.

Сейчас он повторил слова Мартина Сезара, который всегда умел найти огонь. Блер во всем подражает великому легендарному повару, как офицеры пытаются подражать Наполеону.

— Если понадобится, я сорву всю обшивку с офицерской землянки. Я отберу спички у самого полковника. Я пойду…

— Пойдем за огнем!

Пупарден шагает впереди. Его темное лицо похоже на дно закопченной кастрюли. Холод лютый; Пупарден плотно закутался. На нем шуба, частью из козьего меха, частью из овчины, полубурая, полубелая, и в этой лохматой оболочке с двумя геометрически очерченными полосами он похож на некоего апокалиптического зверя.

На Пепене вязаная шапка, до того почерневшая и засаленная, что ее можно принять за шапку из черного атласа. Вольпат в своих шерстяных шлемах и фуфайках кажется движущимся стволом

дерева: в плотной коре этого двуногого бревна квадратный вырез, и в нем виднеется желтое лицо.

— Пойдем к десятой роте! У них там всегда есть все, что нужно. Это на Пилонской дороге, за Новым ходом.

Четыре страшных чудовища пускаются в путь; они движутся подобно туче; траншея извивается перед ними, как кривая, немощеная, темная и небезопасная улица. В этом месте она необитаема; она служит ходом сообщения между первыми и вторыми линиями окопов.

В пыльных сумерках повара встречают двух марокканцев. У одного лицо цвета черного сапога, у другого — цвета желтого башмака. В сердцах поваров появляется проблеск надежды.

— Спички есть, ребята?

— Макаш! — отвечает черный и смеется, оскалив длинные, словно фарфоровые, зубы.

Желтый подходит и спрашивает у белых:

— Табак? Шуйя[8] табак?

Он протягивает руку, словно сделанную из мореного дуба; у него лиловатые ногти, зеленовато-желтый рукав.

---

[8] Примечания: 8
Немного. (*арабск.*)

Пепен рычит, шарит по своим карманам, вытаскивает щепотку табаку, смешанного с пылью, и дает его марокканцу.

Немного дальше повара натыкаются на часового; он дремлет в полумраке, среди обвалов. Еще не совсем проснувшись, он говорит:

— Направо, потом опять направо, а потом все прямо. Не сбейтесь с дороги!

Они идут дальше. Долго идут.

— Мы, наверно, далеко, — говорит Вольпат после получасовой бесполезной ходьбы по безлюдной траншее.

— Погляди-ка, здесь крутой спуск, правда? — замечает Блер.

— Не беспокойся, старая крыса, — подсмеивается Пепен. — А если трусишь, поворачивай оглобли…

Они идут дальше. Спускается ночь… Все еще пустынная траншея страшная, бесконечная пустыня — приняла обветшалый, странный вид. Насыпи разрушены; от обвалов дно превратилось в «американские горы».

По мере того как четверо охотников за огнем углубляются во мрак этой чудовищной дороги, их охватывает смутное беспокойство.

Пепен теперь идет впереди; он останавливает-

ся и движением руки останавливает товарищей.

— Кто-то идет!.. — шепчут они.

В глубине души им страшно. Напрасно они вышли из прикрытия все вместе и так долго отсутствуют. Они провинились. И неизвестно, чем это еще кончится.

— Влезем сюда! Скорей! Скорей! — говорит Пепен.

Он показывает на прямоугольное отверстие на уровне земли. Они его ощупывают. Прямоугольная тень оказывается входом в прикрытие. Они входят туда один за другим; последний нетерпеливо подталкивает остальных, и все прячутся в непроницаемом мраке узкой норы.

Шаги и голоса раздаются все отчетливей.

Из кучки четырех солдат, забившихся в эту дыру, высунулись руки, они шарят по земле. Вдруг Пепен бормочет сдавленным голосом:

— Что там такое?

— Что? — спрашивают остальные.

— Обоймы! — вполголоса отвечает Пепен. — Немецкие обоймы! Мы попали к бошам!

— Удирай!

Трое бросаются к выходу.

— Осторожней, дьяволы! Не двигайтесь! Идут!..

Быстрые шаги. Идет только один человек.

Повара не двигаются, не дышат. Их глаза на уровне земли, они видят, как справа шевелится мрак, потом тень отделяется, приближается, проходит… Она принимает более четкие очертания. На голове у нее каска, покрытая чехлом, под которым можно угадать острие. Слышны только шаги.

Едва немец прошел, как четыре повара единым прыжком, не сговариваясь, кидаются вперед, толкают друг друга, бегут как сумасшедшие и набрасываются на него.

— Камрад!.. Месье!.. — кричит он.

Вдруг сверкнул нож. Немец падает, словно погружаясь в землю. Пепен хватает каску и не выпускает ее из рук.

— Надо стрекача задавать! — ворчит Пупарден.

— Обыскать боша!

Они приподнимают, переворачивают и опять приподнимают рыхлое, теплое, влажное тело. Вдруг немец кашляет.

— Он еще жив!

— Нет, подох. Это из него воздух выходит.

Они выворачивают карманы убитого. Слышится прерывистое дыхание четырех черных людей, согнувшихся над трупом.

— Каска — мне! — заявляет Пепен. — Это я пустил ему кровь. Не отдам каску.

У мертвеца отбирают бумажник с еще теплыми бумагами, бинокль, кошелек и краги.

— Спички! — восклицает Блер, потрясая коробком. — Есть!

— А-а, скотина! — тихонько вскрикивает Вольпат.

— А теперь — драла!

Они швыряют труп в угол и убегают во всю прыть, охваченные паникой, не думая о шуме, который они производят.

— Сюда!.. Сюда!.. Ребята, поднажмем!

Они молча мчатся по лабиринту небывало пустынных бесконечных проходов.

— У меня в груди сперло, — хрипит Блер, — мне каюк!..

Он шатается и останавливается.

— Ну, понатужься, старая калоша, — кричит Пепен, задыхаясь.

Он хватает его за рукав и тащит за собой, как упрямую лошадь.

— Пришли! — говорит Пупарден.

— Да, я узнаю это дерево!

— Это Пилонская дорога!

— А-а-а! — стонет Блер, прерывисто дыша и

сотрясаясь, как мотор. Он бросается вперед из последних сил и садится на землю.

— Стой! — кричит часовой. — Да откуда вы? — бормочет он, узнав их.

Они хохочут, прыгают, как паяцы; их потные, забрызганные кровью лица и руки кажутся еще черней; в руках Пепена поблескивает каска немецкого офицера.

— Вот так история! — изумленно бормочет часовой. — В чем дело?

Они ликуют и беснуются.

Все говорят сразу. Наспех, кое-как рассказывают драму, после которой еще не успели прийти в себя. Дело в том, что, расставшись с полусонным часовым, они заблудились и попали в Международный ход, часть которого принадлежит нам, а часть — немцам. Между обеими частями нет никакого заграждения. Только что-то вроде нейтральной зоны, на обоих концах которой стоят часовые. Наверно, немецкий часовой не стоял на посту, или спрятался, заметив четыре тени, или отступил и не успел вызвать подкрепления. А может быть, немецкий офицер случайно зашел слишком далеко в нейтральную зону… Словом, так и нельзя разобраться в том, что произошло.

— Смешней всего, — говорит Пепен, — что мы

это знали и не остереглись, когда пошли…

— Мы ведь искали огня! — говорит Вольпат.

— И достали! — кричит Пепен. — Ты не потерял спички, старый хрыч?

— Будьте благонадежны! — отвечает Блер. — Немецкие спички получше наших. Без них у нас бы не было огня! Потерять спички? Посмел бы их кто-нибудь у меня отнять!

— Мы опаздываем. Вода в котле небось замерзла. Навострим лыжи и махнем к себе. А потом расскажем товарищам, какую штуку мы сыграли с бошами…

XIX. Бомбардировка

Мы в открытом поле, среди необозримых туманов.

Над нами темно-синее небо. К концу ночи прошел снег; он осыпает плечи и забивается в складки рукавов. Мы идем по четыре. Все надели капюшоны. В полумраке мы кажемся каким-то племенем, переселяющимся из одной северной страны в другую северную страну.

Мы прошли через разрушенный Аблен-Сен-Назер, мельком видели беловатые груды домов и темную паутину ободранных крыш. Деревня очень длинная; мы вошли в нее ночью, а когда выходили, ее последние домишки уже белели от предутреннего инея. Через решетку в каком-то подвале, на берегу волн этого окаменелого океана, мы заметили огонь, поддерживаемый сторожами мертвого города. Мы шлепали по болотистым полям, блуждали по безлюдной местности, где ноги вязли в грязи, потом ступили на более или менее твердую почву; вышли на дорогу, ведущую из Каранси в Суше. Высокие придорожные тополя разбиты, стволы расщеплены; в одном месте тянется колоннада огромных сломанных

деревьев. Дальше в темноте, с обеих сторон, нас сопровождают карликовые призраки деревьев, они расколоты надвое, похожи на пальмы или растерзаны, превращены в деревянную корпию, в пучки волокон; другие согнулись и словно стоят на коленях. Кое-где путь преграждают глубокие рытвины. Вместо дороги — лужа; идешь на каблуках, расплескивая воду ногами, как веслами. Местами проложены доски. Там, где они лежат косо, по ним скользишь. Иногда столько воды, что они плавают и под тяжестью человека с хлюпаньем тонут, а человек спотыкается или падает и бешено ругается. Теперь, наверно, часов пять утра. Снег перестал; обнаженная, испуганная пустыня проясняется, но мы еще окружены широким кольцом туманов и мрака.

Мы идем, мы идем дальше. Доходим до места, где можно различить темный пригорок; внизу копошатся люди.

— Подходите по двое! — командует начальник отряда. — Каждые два человека будут нести по очереди балку или плетень!

В каждой паре один солдат берет у другого винтовку. А тот поворачивает и с трудом вытаскивает из кучи длинную, грязную, скользкую балку, весом чуть не в сорок кило, или плетень

из покрытых листьями веток, величиной с дверь; их можно нести на спине, только согнувшись, подняв руки и придерживая за края.

Мы идем дальше. Мы рассыпались по сероватой дороге, идем медленно-медленно, тяжело-тяжело ступаем, глухо кряхтим, ругаемся сдавленным от усилий голосом. Пройдя сотню метров, каждые два солдата обмениваются ношей: тот, кто нес два ружья, теперь несет балку или плетень, и, пройдя две сотни метров, все, кроме унтеров, обливаются потом, хотя дует резкий предрассветный ветер.

Вдруг там, в пустынных местах, куда мы идем, вспыхивает и расцветает звезда: это ракета. Она освещает небосвод молочным сиянием, затмевает созвездия и летит вниз, пленительная, как фея.

Там, впереди, какой-то беглый свет: вспышка, грохот.

Это — снаряд.

В небе от взрыва на миг появляется отблеск, и приблизительно на расстоянии километра, с востока на запад, мы ясно различаем возвышенность.

Она принадлежит нам — вся видимая отсюда часть до вершины, занятой нашими войсками. На другом склоне, в ста метрах от наших передовых

позиций, находятся передовые позиции немцев.

Снаряд упал на вершину, в наши линии. Это стреляет неприятель.

Второй снаряд. Третий, четвертый. На вершине холма возникают столбы лиловатого света, тускло озаряющего весь горизонт.

И вот уже весь холм сверкает ослепительными звездами; внезапно вырастает лес фосфоресцирующих султанов, и над бездной ночи вспыхивает сине-белый волшебный свет.

Те из нас, кто изо всех сил старается удержать на спине тяжелую, грязную, скользкую ношу и удержаться на скользкой земле, не видят ничего и молчат. Другие дрожат от холода, лязгают зубами, фыркают, сопят, утирают нос мокрым платком и проклинают размытую дорогу, но все-таки смотрят и поясняют это зрелище.

— Совсем как фейерверк! — говорят они.

И вот, дополняя эту феерическую зловещую декорацию, перед которой ползет, копошится и шлепает по грязи черный-пречерный отряд, — взлетает красная звезда, за ней — зеленая, потом, гораздо медленней, целый сноп красных звезд.

Солдаты, которые не несут тяжести, смотрят и невольно с каким-то простодушным восхищением бормочут:

— Гляди… красная!.. Гляди… зеленая!..

Это подают сигналы немцы, да и наши: вызывают артиллерию.

Дорога заворачивает и ведет в гору. Наконец светает. Все предстает в грязном обличье. По обеим сторонам дороги, словно покрытой светло-серым грунтом и белыми хлопьями, грустно открывается действительный мир. Мы оставляем позади себя развалины Суше, где дома превратились в площадки, засыпанные строительными материалами, а деревья — в изодранные кусты, устилающие землю. Мы идем влево и проникаем в зияющую дыру. Здесь ход сообщения.

Мы сваливаем ношу на огороженное место, предназначенное для нее; мы вспотели и продрогли; исцарапанные руки сводит судорога; мы располагаемся в этой траншее и принимаемся ждать.

Мы зарылись в яму по самый подбородок, уперлись грудью в земляную стену, которая служит нам прикрытием, и следим за развертывающейся перед нами ослепительной драмой. Бомбардировка усиливается. На возвышенности светящиеся столбы, при белесом свете зари, превратились в парашюты, в бледных медуз, отмеченных огненной точкой, а по мере того как светлеет — в

султаны из дымчатых перьев, в страусовые перья, белые и серые, которые возникают над туманной зловещей высотой 119, в пяти- или шестистах метрах от нас; потом и они медленно исчезают. Это поистине огненный столп и облачный столп Библии; они взвиваются вместе и одновременно гремят. В эту минуту на склоне холма мы видим несколько человек, которые бегут укрыться под землей. Один за другим они исчезают; их поглощают муравьиные норы.

Теперь ясней различаешь форму прилетающих «гостинцев»; при каждом залпе в воздухе появляются изжелта-белые хлопья с черным ободком; на высоте метров в шестьдесят они раздваиваются, клубятся, и при взрыве слышен свист пачки пуль, падающих из этих желтых хлопьев.

Стреляют беглым огнем по шести раз подряд: бац, бац, бац, бац, бац, бац! Это семидесятисемимиллиметровые орудия.

Шрапнель семидесятисемимиллиметровок все презирают; тем не менее три дня тому назад Блебуа был убит именно такой шрапнелью. Но вообще она почти всегда разрывается слишком высоко.

Хотя мы это знаем, Барк объясняет:

— «Ночной горшок» достаточно предохраняет

башку от свинцовых шариков. Они ранят тебя в плечо и бросают оземь, но не убивают. Конечно, не надо все-таки зевать. Не вздумай задрать хобот или высунуть руку, чтоб узнать, идет ли дождь. А вот наша семидесятипятимиллиметровка…

— У бошей есть не только семидесятисемимиллиметровки, — перебил его Мениль Андре. — Есть и разные другие штуки. Вот!.. Погляди-ка!..

Раздается пронзительный свист, дребезжание, скрежет. И вдали на склонах, где наши сидят в прикрытиях, скопляются тучи различных очертаний. К гигантским огненным и туманным перьям примешиваются огромные гроздья пара, хохолки, прямые волокна, метелки из дыма, которые свисают и расширяются; все это — белое или серо-зеленое, цвета угля или меди, с золотистыми отсветами или чернильными пятнами.

Два последних взрыва раздались совсем близко; они образуют над притоптанной землей огромные шары бурой и черной пыли, которые раскрываются, закончив работу, неторопливо улетают по воле ветра, принимая облик сказочных драконов.

Ряды наших голов на уровне земли поворачиваются; из глубины рва мы следим за этим зрелищем, развертывающимся в пространствах,

населенных светящимися жестокими видениями, среди полей, раздавленных гремящим небом.

— Это стопятидесятимиллиметровые.

— Даже двухсотдесятимиллиметровые, голова телячья!

— Есть еще снаряды фугасного действия! Эх, скоты! Погляди-ка на этот!

Снаряд взорвался на земле и взметнул темным веером землю и обломки. Казалось, сквозь трещины расколовшейся земли извергся страшный вулкан, скрытый в недрах мира.

Вокруг нас дьявольский шум. У меня небывалое ощущение беспрерывного нарастания, бесконечного умножения всемирного гнева. Буря глухих ударов, хриплых, яростных воплей, пронзительных звериных криков неистовствует над землей, сплошь покрытой клочьями дыма; мы зарылись по самую шею; земля несется и качается от вихря снарядов.

— Эй! Каково! — орет Барк. — А говорили, что у них нет больше снарядов!

— Ну да… Знаем мы эти россказни! И еще газетную брехню.

Среди всех этих шумов слышится мерное тиканье. Из всех шумов на войне этот звук тре-

щотки-пулемета больше всего хватает за душу.

— «Кофейная мельница». Это наша: треск ровный, а у бошей промежутки между двумя выстрелами неровные: так… так-так-так… так-так… так!

— Маху дал, брат! Это не «швейная машина» строчит, это мотоциклетка катит по дороге к тридцать первому прикрытию.

— Нет, это там, наверху, какой-то парень носится на своей «метле», — хихикая, говорит Пепен и, задрав голову, ищет в небе самолет.

Возникает спор. В самом деле, трудно разобрать. Среди этих грохотов, несмотря на привычку, теряешься. На днях в лесу целый взвод принял на минуту за хриплый рев снарядов крик мула, который заорал поблизости.

— Ну и «колбас» в воздухе сегодня! — замечает Ламюз.

Мы поднимаем головы и считаем.

— Восемь «колбас» у нас и восемь у бошей, — говорит Кокон (он уже успел подсчитать).

Действительно, на горизонте, на равном расстоянии друг от друга, перед линией неприятельских привязных аэростатов, которые издали кажутся маленькими, парят восемь длинных, легких и зорких «глаз» армии, соединенных живыми ни-

тями с главным командованием.

— Они видят нас, а мы видим их. Как же укрыться от этих идолов?

— Вот наш ответ!

Действительно, вдруг за нашей спиной раздается отчетливый, яростный, оглушительный грохот семидесятипятимиллиметровых орудий.

Этот гром нас бодрит, опьяняет. Мы кричим при каждом залпе, мы не слышим друг друга; доносится только необычайно пронзительный голос горластого Барка среди этого невероятного барабанного боя, каждый удар которого — пушечный выстрел.

Потом мы поворачиваем голову, вытягиваем шею и на вершине холма видим силуэты черных адских деревьев, вросших страшными корнями в невидимую землю склона, где притаился враг.

— Что это такое?

Батарея семидесятипятимиллиметровок в ста метрах от нас продолжает бухать: это четкие удары исполинского молота по наковальне и чудовищно сильные, яростные крики. Но концерт заглушается зловещим урчанием.

Оно тоже доносится с нашей стороны.

— Ну и здоровый дяденька летит!

На высоте в тысячу метров над нами пролетает

снаряд. Его гул покрывает все куполом. Снаряд медленно дышит; чувствуется, что он пузатый, крупней других. Он пролетает, спускается, грузно подрагивая, как поезд подземной железной дороги, прибывающий на станцию; потом его тяжелый свист удаляется. Мы разглядываем холм. Через несколько секунд его обволакивает туча цвета семги; она покрывает полгоризонта.

— Это двухсотдвадцатимиллиметровый, с батареи на пункте «гамма».

— Эти снаряды видишь, когда они вылетают из пушки, — утверждает Вольпат. — И если смотреть в направлении выстрела, видишь их простым глазом, даже когда они уже далеко от орудия.

Пролетает второй снаряд.

— Вот! Гляди! Видел? Опоздал, брат. Ухнуло! Надо быстрей поворачивать башку! А-а, еще один летит! Видал?

— Нет.

— Растяпа! Надо же быть таким рохлей! Видно, твой отец был ротозеем! Скорей! Вот летит! Видишь, петрушка?

— Вижу. Только и всего?

Несколько человек увидели нечто черное, заостренное, похожее на дрозда со сложенными

крыльями, когда клювом вперед он падает с высоты, описывая дугу.

— Эта птичка весит сто восемнадцать кило, старый хрыч, — гордо говорит Вольпат, — и если попадет в землянку, поубивает всех, кто там есть. Кого не разорвет осколками, убьет ветром или удушит газом, они и ахнуть не успеют!

— Вот тоже хорошо виден двухсотсемидесятимиллиметровый снаряд, когда миномет швыряет его в воздух: гоп!

— И еще стопятидесятипятимиллиметровки Римальо[9], но за ними не уследишь: они летят прямо и далеко-далеко; чем больше смотришь, тем больше они тают у тебя на глазах.

Над полями носится запах серы, черного пороха, паленых тряпок, жженой земли. Как будто разъярились дикие звери; странное, свирепое мычание, рычание, завывание, мяуканье жестоко разрывают наши барабанные перепонки и словно копаются в наших кишках; или это протяжно ревет и вопит сирена погибающего парохода. Иногда даже раздается нечто похожее на возгласы, и странные изменения тона придают

[9] Примечания: 9

Римальо — стопятидесятипятимиллиметровая пушка, названная по имени изобретателя, французского артиллериста Римальо.

им человеческий звук. Кое-где поля приподнимаются и опять опускаются: от горизонта до горизонта свирепствует небывалая буря.

А далеко-далеко чуть слышится приглушенный грохот тяжелых орудий, но его сила чувствуется в порыве ветра, ударяющего нам в уши.

...А вот колышется и тает над зоной обстрела кусок зеленой ваты, расплывающейся во все стороны. Это цветное пятно выделяется и привлекает внимание; все пленники траншеи поворачивают головы и смотрят на этот уродливый предмет.

— Это, наверно, удушливые газы. Приготовим маски!

— Свиньи!

— Это уж бесчестный способ, — говорит Фарфаде.

— Какой? — насмешливо спрашивает Барк.

— Ну да, некрасивый способ. Газы!..

— Ты меня уморишь своими «бесчестными» или «честными» способами, — говорит Барк. — А ты что, никогда не видал людей, распиленных надвое, рассеченных сверху донизу, разодранных в клочья обыкновенным снарядом? Ты не видал, как валяются кишки, словно их разбросали вилами, а черепа вогнаны в легкие как будто уда-

ром дубины? Или вместо головы торчит только какой-то обрубок, и мозги текут смородинным вареньем на грудь и на спину? И после этого ты скажешь: «Это честный способ, это я понимаю!»

— А все-таки снаряд — это можно; так полагается…

— Ну и ну! Знаешь, что я тебе скажу? Давно я так не смеялся.

Барк поворачивается к Фарфаде спиной.

— Эй, ребята, берегись!

Мы навострили уши; кто-то бросился ничком на землю; другие бессознательно хмурят брови и смотрят на прикрытие, куда им теперь не добежать. За эти две секунды каждый втягивает голову в плечи. Все ближе, ближе слышен скрежет гигантских ножниц, и вот он превращается в оглушительный грохот, словно разгружают листовое железо.

Этот снаряд упал недалеко: может быть, в двухстах метрах. Мы нагибаемся и сидим на корточках, укрываясь от дождя мелких осколков.

— Лишь бы не попало в рожу, даже на таком расстоянии! — говорит Паради; он вынимает из земляной стенки осколок, похожий на кусочек кокса с режущими гранями и остриями, и подбрасывает его на руке, чтобы не обжечься.

Вдруг он резко нагибается; мы — тоже.

Бз-з-з-з, бз-з-з-з…

— Трубка!.. Пролетела!..

Дистанционная трубка шрапнели взлетает и вертикально падает; в снаряде фугасного и осколочного действия ударная трубка после взрыва отделяется от раздробленного стакана и обычно врезается в землю там, где падает; но иногда она отскакивает куда попало, как большой раскаленный камень. Ее надо остерегаться. Она может броситься на вас уже через много времени после взрыва, черт ее знает как пролетая поверх насыпей и ныряя в ямы.

— Подлейшая штука! Раз со мной случилось вот что…

— Есть штуки и похуже всего этого, — перебивает Багс, солдат одиннадцатой роты, — это австрийские снаряды: сто тридцать и семьдесят четыре. Вот их я боюсь. Говорят, они никелированные; я сам видел: они летят так быстро, что от них не убережешься; как только услышишь их храп, они и разрываются.

— Когда летит немецкий сто пять, тоже не успеешь броситься на землю и укрыться. Мне рассказывали артиллеристы.

— Я тебе вот что скажу: снаряды морских ору-

дий летят так, что не успеешь и услышать, а они в тебя уже угодили.

— А есть еще этот подлый новый снаряд; он разрывается после того, как рикошетом попадет в землю, отскочит метров на шесть и нырнет опять разок-другой… Когда я знаю, что летит такой снаряд, меня дрожь пробирает. Помню, как-то раз я…

— Это все пустяки, ребята, — говорит новый сержант (он проходил мимо и остановился). — Вы бы поглядели, чем нас угощали под Верденом, я там был. Только «большаками»: триста восемьдесят, четыреста двадцать, четыреста сорок. Вот когда тебя так обстреляют, можешь сказать: «Теперь я знаю, что такое бомбардировка!» Целые леса скошены, как хлеба; все прикрытия пробиты, разворочены, даже если на них в три ряда лежали бревна и земля; все перекрестки политы стальным дождем, дороги перевернуты вверх дном и превращены в какие-то длинные горбы; везде разгромленные обозы, разбитые орудия, трупы, словно наваленные в кучи лопатой. Одним снарядом убивало по тридцать человек; некоторых подбрасывало в воздух метров на пятнадцать; куски штанов болтались на верхушках тех деревьев, что еще уцелели. В Вердене снаряды триста

восемьдесят попадали в дома через крыши, пробивали два, а то и три этажа, взрывались внизу, и вся конура взлетала к черту, а в поле целые батальоны рассыпались и прятались от этого вихря, как бедная беззащитная дичь. На каждом шагу в поле валялись осколки толщиной в руку, широченные; чтобы поднять такой железный черепок, понадобилось бы четыре солдата. А поля… Да это были не поля, а нагромождения скал!.. И так целые месяцы. А тут что? Пустяки! — повторил сержант и пошел дальше, наверно, поделиться теми же воспоминаниями с другими солдатами.

— Капрал, погляди-ка на этих ребят! Рехнулись они, что ли?

На бомбардируемой позиции какие-то крошечные люди бежали к месту взрывов.

— Это артиллеристы, — сказал Бертран. — Как только «чемодан» разорвется, они бегут искать в яме дистанционную трубку; по ее положению и по тому, как она вошла в землю, можно узнать позицию батареи, понимаешь? А расстояние стоит только прочесть: его отмечают на делениях, нарезанных по кольцу трубки, когда закладывают снаряд.

— Все равно… Ну и молодцы эти «артишоки»! Выйти под такой обстрел!..

— Артиллеристы, — сказал солдат из другой роты, который прогуливался по траншее, — артиллеристы либо очень хороши, либо ничего не стоят. Либо молодцы, либо дрянь. Раз как-то я…

— Это можно сказать обо всех солдатах.

— Может быть. Но я говорю тебе не обо всех. Я говорю об артиллерии, и еще я говорю, что…

— Эй, ребята, поищем прикрытие, побережем свои старые кости! А то осколок угодит нам в башку.

Чужой солдат так и не кончил своей истории и пошел дальше рассказывать ее другим, а Кокон из духа противоречия заявил:

— Нечего сказать, весело будет в прикрытии, если уже здесь мы не очень приятно проводим время.

— Гляди, они швыряют минами! — сказал Паради, показывая направо на наши позиции.

Мины взлетали прямо или почти прямо, как жаворонки, подрагивая и шурша, останавливались, колыхались и падали, возвещая в последние секунды о своем падении хорошо знакомым нам «детским криком». Отсюда казалось, что люди на горном кряже выстроились в ряд и играют в мяч.

— Мой брат пишет, что в Аргоннах их обстреливают «горлицами», — говорит Ламюз. — Это

большие тяжелые штуки; их бросают на близком расстоянии. Они летят и воркуют, право воркуют, а как разорвутся, поднимается такой кавардак!..

— А хуже всего «крапуйо»: он как будто гонится за тобой и бросается на тебя, сносит насыпь и разрывается в самой траншее.

— А-а!.. Слышал?

До нас донесся свист и вдруг утих: снаряд не разорвался.

— Этот снаряд говорит: «Начхать!» — заметил Паради.

Мы навострили уши, чтобы иметь удовольствие услышать (или не услышать) свист других снарядов.

Ламюз сказал:

— Тут все поля, все дороги, все деревни усеяны неразорвавшимися снарядами разных калибров, и, надо признаться, нашими тоже. Вся земля, наверно, набита ими, но их не видать. Спрашивается, что делать, когда придет время сказать: «Надо опять пахать землю!»

В своем неистовом однообразии огненный и железный вихрь не утихает: со свистом разрывается шрапнель, наделенная металлической душой, обуянная бешенством; грохочут крупные фугасные снаряды, словно разлетевшийся па-

ровоз с размаху разбивается о стену или груды рельсов и стальных стропил катятся вниз по склону. Воздух уплотняется; его рассекает чье-то тяжелое дыхание; кругом, вглубь и вширь, продолжается разгром земли.

И другие пушки вступают в действие. Это — наши. По звуку их выстрелы похожи на выстрелы семидесятипятимиллиметровых орудий, но сильней; эхо гремит протяжно и гулко, как отзвук грома в горах.

— Это длинные стодвадцатимиллиметровки. Они стоят на опушке леса, в одном километре отсюда. Славные пушечки, брат; они похожи на серых гончих. Тонкие, с маленьким ротиком. Так и хочется сказать им: «Мадам!» Это не то что двухсотдвадцатимиллиметровки: у них только пасть — какое-то ведро из-под угля, они харкают снарядом снизу вверх. Здорово работают! Но в артиллерийских обозах они похожи на безногих калек в колясочках.

Беседа не клеится. Кое-кто позевывает.

Воображение утомлено величием этого артиллерийского урагана. Он заглушает голоса.

— Я никогда еще не видал такой бомбардировки, — кричит Барк.

— Так всегда говорят, — замечает Паради.

— А все-таки! — орет Вольпат. — На днях толковали об атаке. Припомните мое слово, это уже начало!..

— А-а! — восклицают другие.

Вольпат выражает желание вздремнуть; он устраивается на голой земле, прислоняется к одной стенке и упирается ногами в другую.

Болтают о том о сем. Бике рассказывает о крысе:

— Большущая, жирная! Лакомка!.. Я снял башмаки, а она взяла да изгрызла верха! Прямо кружево! Надо сказать, я смазал их салом…

Неподвижно лежавший Вольпат заворочался и кричит:

— Эй, болтуны! Спать мешаете!

— Никогда не поверю, старая шкура, что ты можешь дрыхнуть, когда здесь такой кавардак, — говорит Мартро.

— Хр-р-р! — отвечает захрапевший Вольпат.

* * *

— Стройся! Марш!

Мы трогаемся в путь. Куда нас ведут? Неизвестно. Мы только знаем, что мы в резерве и нас гоняют с места на место: то требуется укрепить какой-нибудь пункт, то надо очистить прохо-

ды, — производить там передвижение войск, не допуская затора и столкновений, так же трудно, как наладить пропуск поездов на крупных узловых станциях. Невозможно ни понять смысл огромного маневра, в котором наш полк — только маленькое колесико, ни разобрать, что готовится на всем участке фронта. Мы блуждаем в подземном лабиринте, без конца ходим взад и вперед, мы измучены длительными остановками, обалдели от ожидания и шума, отравлены дымом, но мы понимаем, что наша артиллерия все усиливает огонь и что наступать будут, наверное, на другом направлении.

* * *

— Стой!

По брустверам траншеи, где нас остановили в эту минуту, барабанили пули. Бешеная, неслыханная ружейная пальба.

— Ну и старается фриц! Боится атаки, с ума сошел от страха. Ну и старается!

Пули градом сыпались на нас, рассекали воздух, скоблили всю равнину.

Я посмотрел в бойницу. На миг предстало странное зрелище.

Перед нами, самое большее метрах в десяти,

вытянувшись в ряд, лежали неподвижные тела — скошенная шеренга солдат; со всех сторон пули летели тучей и решетили этих мертвецов.

Пули царапали землю прямыми бороздами, поднимали легкие четкие облачка пыли, пронзали оцепенелые, припавшие к земле тела, ломали руки, ноги, впивались в бледные, изнуренные лица, пробивали глаза, разбрызгивая кровавую жижу, и под этим шквалом ряды трупов кое-где чуть шевелились.

Слышался сухой треск: острые куски металла с налету рвали ткани и мясо; этот звук был похож на свист неистового ножа или бешеного удара палки по одежде. Над нами пролетал сноп пронзительных свистов и раздавалось более низкое, все более глухое пение рикошетов. И под этим небывалым вихрем криков и воплей мы опускали головы.

— Очистить траншею! Марш!

* * *

Мы покидаем этот клочок поля битвы, где ружейные залпы сызнова расстреливают, ранят и убивают мертвецов. Мы идем вправо и назад. Ход сообщения ведет в гору. В верхней части оврага мы проходим мимо телефонного поста, мимо

нескольких артиллерийских офицеров и солдат.

Здесь опять остановка. Мы топчемся и слушаем, как наблюдатель выкрикивает приказы, а телефонист, сидящий рядом в прикрытии, их принимает и повторяет:

— Первое орудие, тот же прицел! Левей ноль два! По три в минуту!

Кое-кто из нас решается высунуть голову поверх насыпи и может на мгновение охватить взглядом все поле битвы, вокруг которого наша рота кружится с утра.

Я замечаю серую непомерную равнину, где ветер поднимает мутные легкие волны с гребнями дыма.

Огромное пространство, где солнце и тучи отбрасывают черные и белые пятна, бегло сверкает: это стреляют наши батареи; я вижу, как все покрывается вспышками. Потом, на мгновение, часть полей исчезает за туманной беловатой завесой, как в снежную метель.

Вдали, над выцветшими зловещими полями, разрушенными, как древние кладбища, смутно виднеется нечто вроде клочка разорванной бумаги — это скелет церкви, и во всю ширь пространства тесные ряды вертикальных подчеркнутых линий, похожих на палочки в детской

тетради: это дороги, обсаженные деревьями. Равнина исчерчена в клетку, вдоль и поперек, извилинами, а эти извилины усеяны точками — людьми.

Мы различаем обрывки линий, образуемых живыми точками, которые выходят из вырытых борозд и движутся по равнине под грозным разъяренным небом.

Трудно поверить, что каждое из этих пятнышек — живая плоть, живое существо, вздрагивающее и хрупкое, совершенно беззащитное в этом мире, полное глубоких мыслей, воспоминаний и образов; мы ослеплены этой пыльцой, этим множеством людей, крохотных, как звезды в небе.

Бедные ближние, бедные незнакомцы, теперь ваш черед принести себя в жертву! Потом наступит наш! Может быть, завтра и нам придется почувствовать, как над нами раскалывается небо и под ногами разверзается земля, нас сметет дыхание урагана, в тысячу раз более мощного, чем обычный ураган.

Нас гонят в тыловые прикрытия. На наших глазах потухает поле смерти. Гром колотит глуше по чудовищной наковальне туч. Гул всемирного разрушения стихает. Наш взвод себялюбиво окунается в привычные шумы жизни и погружается

в ласковую темноту прикрытий.

XX. Огонь

Вдруг кто-то меня будит; в темноте ночи я открываю глаза.

— Что? В чем дело?

— Твоя очередь идти на пост. Уже два часа ночи, — говорит капрал Бертран.

Я его слышу, но не вижу в отверстие норы, на дне которой лежу.

Я ворчу: «Сейчас», — отряхиваюсь, зеваю в узком гробовом прикрытии, потягиваюсь; мои руки касаются мягкой холодной глины. Я ползу в густом мраке, насыщенном тяжелыми запахами, между спящих солдат. Несколько раз я их задеваю, натыкаюсь на ружья, ранцы, ноги и руки, раскинутые во все стороны, беру свое ружье, и вот я уже стою под открытым небом; я еще сонный, плохо держусь на ногах; на меня налетает черный колючий ветер.

Дрожа от холода, я иду за капралом между высоких темных груд, нижняя часть которых странно сужается на нашем пути. Капрал останавливается. Это здесь. Какая-то черная громадина отделяется от призрачной стены и спускается. Эта громадина громко зевает, словно ржет. Я

поднимаюсь в нишу, которую она занимала.

Луна скрыта в тумане, но все озарено мутным светом, к которому глаз привыкает. Этот свет тускнеет: наверху скользит широкий обрывок тучи. Я нащупываю отверстие бойницы на уровне моей головы и в углублении привычной рукой нахожу кучу гранат.

— Смотри в оба, старина! — вполголоса говорит Бертран. — Не забудь, что там, впереди, налево, наш сторожевой пост. Ну, пока прощай!

Слышатся его удаляющиеся шаги, а за ними сонные шаги часового, которого я сменил.

Со всех сторон трещат выстрелы. Вдруг о насыпь, к которой я прислонился, ударяется пуля. Я приникаю лицом к бойнице. Наша линия извивается по верху оврага; земля круто уходит вниз, и в бездне мрака, куда она погружается, не видно ничего. Но в конце концов глаз различает правильную линию кольев нашей сети, вбитых у самых волн темноты, и круглые ямы — воронки от снарядов, маленькие, средние, большие, огромные; некоторые совсем близко; они завалены какими-то обломками. Ветер дует мне в лицо. Все неподвижно, только пролетает ветер и каплет вода. Холодно так, что без конца дрожишь. Я поднимаю глаза, озираюсь. Везде скорбь, все одето

в траур. Я чувствую себя одиноким, я затерян в мире, разрушенном стихиями.

Вдруг небо стремительно озаряется: взлетела ракета; места, среди которых я затерян, выступают и определяются. Показывается разодранный, взлохмаченный край нашей траншеи: я замечаю тени часовых, приникших к передней стенке через каждые пять шагов, как вертикальные личинки. Их ружья поблескивают каплями света. Траншея укреплена мешками земли; обвалы повсюду ее расширили и кое-где обнажили. При звездном свете ракеты нагроможденные и разъехавшиеся мешки земли кажутся большими плитами древних разрушенных памятников. Я смотрю в отверстие бойницы. В туманном, белесом свете, оставшемся от метеора, я различаю ряды кольев и даже тонкие перекрещенные линии проволочных заграждений. Как будто кто-то исчеркал изрытое мертвое поле. Ниже, в ночном океане, — тишина и неподвижность.

Я спускаюсь с моего наблюдательного пункта и направляюсь наугад к соседу. Я протягиваю руку и касаюсь его.

— Это ты? — вполголоса говорю я, не узнавая его.

— Да, — отвечает он, тоже не зная, кто я, слепой,

как и я.

— Сейчас спокойно, — прибавляет он. — А недавно я думал: они пойдут в атаку; они, может быть, попробовали справа, — метнули кучу гранат. Наши семидесятипятимиллиметровки открыли заградительный огонь: бац! бац!.. Ну, брат, я решил: «Здорово они палят! Если боши повылезли, верно, досталось им на орехи». А-а, послушай, опять сыплются шарики! Слышишь?

Он откупоривает флягу, отпивает глоток и, обдавая меня запахом вина, вполголоса говорит:

— Эх! Ну и подлая война! Разве не лучше было б оставаться дома? Ну, в чем дело? Чего всполошился этот черт?

Недалеко от нас раздается выстрел; пуля чертит короткую, резкую фосфоресцирующую линию. Там и сям, с нашей позиции, раздаются еще залпы: ночью ружейные выстрелы заразительны.

В густом тумане, нависшем над нами, как крыша, мы ощупью идем навести справки. Спотыкаясь, иногда сталкиваясь, мы подходим к какому-то стрелку и касаемся его.

— Что случилось?

Ему почудилось, что кто-то шевелится, а оказалось — никого. Мы с соседом возвращаемся по узкой дороге, затопленной жирной грязью,

ступаем неуверенно, согнувшись, словно под тяжестью ноши.

В одной точке горизонта, потом в другой, везде уже гремят пушки; оглушительный рев смешивается с вихрями ружейной перестрелки, то усиливающейся, то затихающей, и со взрывами гранат, более звонкими, чем треск «дебелей» и «маузеров», и приблизительно похожими на выстрелы обыкновенного ружья. Ветер усилился; он так резок, что приходится уйти за прикрытие; луну заслоняют проносящиеся полчища огромных туч.

Мы здесь вдвоем, совсем близко, так что касаемся друг друга плечом. Мы видим друга друга лишь на мгновение при отсвете пушечных залпов; мы стоим в темноте, а кругом в этом бесовском шабаше вспыхивают и потухают пожары.

— Проклятая жизнь! — говорит сосед.

Мы расходимся, встаем каждый у своей бойницы и впиваемся глазами в неподвижный мир.

Какая грозная, мрачная буря разразится сейчас?

В эту ночь она не разразилась. После долгих часов ожидания, при первом проблеске рассвета, все даже как-то затихло.

Когда заря простерлась над нами, словно гро-

зовой вечер, передо мной еще раз возникли, под черным, как сажа, покровом низких туч, какие-то крутые, печальные, грязные берега, усеянные обломками и отбросами, — края нашей траншеи.

При тусклом свете набитые землей мешки с выпуклыми лоснящимися боками кажутся лиловатыми и свинцовыми, как груды кишок и внутренностей, которыми завалили весь мир.

За мной, в стенке, обнаруживается углубление, и там куча распластанных, наваленных друг на друга предметов высится, словно поленья костра.

Стволы деревьев? Нет — трупы людей.

* * *

Над бороздами поднимается птичий гам, поля возрождаются, свет расцветает в каждой былинке. Я смотрю на лощину. Ниже развороченного поля, где поднялись волны земли, где зияют воронки, за взъерошенным рядом кольев, все еще стынет озеро мрака, а перед противоположным склоном все еще высится стена ночи.

Я оборачиваюсь и разглядываю мертвецов; мало-помалу они выступают из тени, словно выставляя напоказ свои окостеневшие и замаранные тела. Их четверо. Это наши товарищи

— Ламюз, Барк, Бике и маленький Эдор. Совсем рядом с нами они разлагаются, загородив широкую, извилистую и вязкую борозду, которую живым зачем-то еще нужно оборонять.

Их положили сюда кое-как, они лежат один на другом. Верхний завернут в парусину. Головы других прикрыты платками, но по ночам, в темноте, и днем живые по неосторожности задевают мертвецов; платки падают, и приходится жить лицом к лицу с этими трупами, наваленными здесь, как поленья живого костра.

* * *

Они были убиты все вместе четыре ночи тому назад. Я помню эту ночь, как смутный сон. Мы были в разведке, — они, я, Мениль Андре и капрал Бертран. Нам было приказано обнаружить новый сторожевой пост немцев, о котором нам сообщили артиллерийские наблюдатели. К двенадцати часам ночи мы вылезли из траншеи, поползли вниз, цепью, в трех-четырех шагах один от другого, спустились в лощину и увидели простертую, как убитый зверь, насыпь немецкой части Международного хода. Убедившись, что здесь нет поста, мы с бесконечными предосторожностями поползли вверх; я смутно видел

моего соседа справа и соседа слева; они были похожи на темные мешки, медленно скользили, колыхались по грязи в темноте, подталкивая перед собой ружья, поблескивавшие, как игла. Над нами свистели пули, но они нас не знали и не искали. Увидев насыпь нашей траншеи, мы остановились; один из нас вздохнул, другой что-то сказал, третий обернулся всем телом, и его штыковые ножны звякнули о камень. Сейчас же из Международного хода взвилась ракета. Мы припали к земле, застыли и стали ждать, пока не погаснет грозная звезда, которая заливала нас дневным светом, в двадцати пяти — тридцати метрах от нашей траншеи. Тогда пулемет, стоявший по ту сторону оврага, стал поливать место, где мы находились. В ту минуту, когда красная ракета летела, еще не вспыхнув полным светом, капралу Бертрану и мне посчастливилось найти воронку от снаряда; там валялись в грязи сломанные рогатки; мы оба прижались к стенке этой ямы, зарылись как можно глубже в грязь и спрятались за какой-то прогнивший деревянный остов. Пулеметный огонь несколько раз проносился над нами. Мы слышали пронзительный свист, сухие удары пуль по земле и еще глухое хлопанье, сопровождаемое стонами, вскриками

и постепенно затихающим хрипом. Нас с Бертраном чуть не задевал горизонтальный град пуль, которые в нескольких сантиметрах от нас плели сеть смерти и иногда царапали наши шинели; мы все больше приникали к земле, не смея ни приподняться, ни шевельнуться. Мы ждали. Наконец пулемет замолк и наступила полная тишина. Через четверть часа мы оба вылезли из воронки, поползли и свалились, как мешки, у нашего сторожевою поста. Идти дальше было нельзя: в эту минуту уже сияла луна. Пришлось оставаться на дне траншеи до утра, потом до вечера. Пулеметы безостановочно поливали пулями ее края. В бойницу не видны были простертые тела: их скрывал скат; в поле зрения виднелось только нечто похожее на спину. Вечером мы прорыли ход, чтобы добраться до того места, где пали наши товарищи. Эту работу нельзя было проделать за одну ночь; на следующую ночь нас заменили солдаты-землекопы; мы выбились из сил и больше не могли бодрствовать.

Проснувшись, я увидел четыре трупа; до них солдаты добрались из-под низу, на равнине зацепили крючьями и втащили на веревках в подкоп. У каждого трупа было много ран; дыры от пуль чернели на расстоянии нескольких сантиметров

одна от другой. Тела Мениля Андре не нашли. Его брат Жозеф безрассудно искал его повсюду; он вышел один на равнину, несмотря на перекрестный огонь пулеметов. Утром он притащился ползком, как улитка, над насыпью показалось его черное от грязи, неузнаваемое от горя лицо.

Мы втащили его в траншею; его щеки были исцарапаны о колючую проволоку, руки окровавлены, в складки одежды тяжелыми комьями набилась грязь; он весь пропах смертью. Он, как маньяк, повторял: «Его нигде нет!»

Он забился в угол, принялся чистить ружье, не слушая, что ему говорят, и только повторял: «Его нигде нет!»

С тех пор прошло четыре ночи, и я еще раз вижу, как эти тела выступают при свете зари, которая снова встала, чтоб омыть этот земной ад.

Застывший Барк кажется огромным. Его руки прижаты к бокам, грудь провалилась; вместо живота — углубление, похожее на лоханку. Голова приподнята кучей грязи; он словно смотрит поверх своих ног на людей, которые приходят слева; его лицо потемнело, запачкано липким пятном спадающих волос и сгустками запекшейся крови; глаза словно выкипели и залиты кровью. Эдор, наоборот, кажется совсем маленьким; у него

белое-белое личико, как у Пьеро; оно выделяется кружком белой бумаги в темной груде серо-синих трупов, и от этого зрелища щемит сердце. Бретонец Бике, коренастый, квадратный, словно каменная плита, кажется, напрягся изо всех сил и старается приподнять туман; от этого страшного усилия искажено его лицо, на котором выступают скулы и выпуклый лоб; взъерошенные, жесткие, замаранные грязью волосы; разодран последним криком рот, широко открыты мутные, каменные глаза; хватаясь за пустоту, пальцы застыли в предсмертной судороге.

У Барка, у Бике пробит живот, у Эдора — шея. Перетаскивая эти трупы, саперы их еще больше изуродовали. Толстяк Ламюз истек кровью; его лицо опухло и сморщилось; глаза постепенно ввалились в орбиты, один больше другого. Его завернули в парусину; на месте шеи появилось черноватое пятно. Правое плечо изрешетили пули, и рука держится только на обрывках рукава и веревочках, которыми ее кое-как привязали. В первую ночь, когда его сюда положили, эта рука торчала из груды мертвецов, и желтые пальцы, судорожно сжимая комок земли, касались проходивших солдат. Рукав прикололи к шинели.

Туча смрада нависла над останками этих су-

ществ, с которыми мы так близко соприкасались, жили так дружно, так долго страдали вместе.

При виде их мы говорим: «Они умерли все четверо». Но они так обезображены, что нельзя действительно поверить: это они. И только отвернувшись от этих неподвижных чудовищ, мы чувствуем пустоту, создавшуюся среди нас и среди воспоминаний, разорванных этой утратой.

Здесь проходят солдаты из других рот или других полков. Ночью они, как и все мы, невольно цепляются за все, что попадается под руку, живое или мертвое, но днем с отвращением отшатываются от этих трупов, наваленных друг на друга прямо в траншее. Иногда они сердятся:

— Оставили здесь покойников! О чем думает начальство?

— Безобразие!

Но прибавляют:

— Правда, отсюда их никак не убрать.

И пока могила этих трупов — только тьма.

Рассвело. Напротив показался другой склон лощины. Там высота 119, оголенный, облупленный, выскобленный холм, изрезанный ходами сообщения и параллельными окопами, где обнажены глина и мел. Там никто не шевелится, и кажется — наши снаряды, взрываясь, вскипают и

разбиваются брызгами пены, как огромные волны, и гулко ударяются о большой разрушенный, заброшенный мол.

Наша смена кончилась. Часовые, закутанные в мокрую парусину, исполосованные и облепленные грязью, посиневшие от холода, вылезают из углублений, где они стояли, и уходят. У стрелковых ступенек у бойниц занимает место второй взвод. А мы будем отдыхать до вечера.

Мы зеваем, слоняемся. Приходит один товарищ, потом другой. Снуют офицеры с перископами и призматическими биноклями. Мы узнаем друг друга; начинаем опять жить. Перекидываемся обычными словечками. И не будь разрушенной траншеи, разбитых очертаний рва, где мы прячемся, и необходимости говорить вполголоса, можно было бы подумать, что мы находимся где-нибудь в окопах третьей линии. Однако нас всех одолевает усталость; лица пожелтели, от бессонных ночей веки красные, как будто мы долго плакали. За несколько дней мы сгорбились и постарели.

Один за другим солдаты из нашего отделения подходят к повороту траншеи. Они столпились в том месте, где почва совсем меловая; земля ощетинилась перерезанными корнями, и под ее

корой обнажены пласты белого камня, которые лежали во мраке больше ста тысяч лет.

В этом расширенном проходе мы и собрались. Наши ряды поредели: не говоря уже о четырех товарищах, погибших в ту ночь, среди нас больше нет ни Потерло, убитого во время смены, ни Кадийяка, раненного в ногу осколком в тот же вечер. (Кажется, будто это было уже давно!) Нет Тирлуара и Тюлака, они эвакуированы: один заболел дизентерией, другой — воспалением легких, и дело принимает скверный оборот, как пишет Тюлак в открытках, которые от скуки посылает нам из лазарета.

Я еще раз вижу, как подходят и собираются испачканные землей, закопченные пороховым дымом люди; мне хорошо знакомы их лица и позы; ведь мы не разлучались с начала войны и братски привязаны друг к другу. Но теперь у этих пещерных людей меньше различий в одежде…

Дядюшка Блер щеголяет ослепительными зубами; на всем его жалком лице видишь только эту нарядную челюсть. Он мало-помалу привыкает к чужим зубам и пользуется ими для еды; благодаря им изменился его характер и поведение; он больше не черный от грязи и только чуть-чуть неряшлив. Похорошев, он хочет быть изящным.

В эту минуту он мрачен, может быть, потому (о, чудо!), что нельзя умыться. Забившись в угол, он щурит тусклые глаза, жует усы (усы старого воя-ки, когда-то единственное украшение его лица) и время от времени выплевывает волосок.

Фуйяд простудился, он дрожит от холода или позевывает, подавленный, словно общипанный. Мартро не изменился: по-прежнему бородатый, голубоглазый, такой коротконогий, что всегда кажется: его штаны вот-вот вылезут из-под пояса и свалятся. Кокон — все тот же Кокон с пергамент-ным лицом; в его голове по-прежнему роятся цифры; но уже с неделю на нем расплодились вши; они выползают на его шею и кисти рук; он уединяется, долго сражается с ними и возвра-щается к нам сердитый. У Паради почти такой же, как и раньше, хороший цвет лица и хорошее настроение; он не меняется, ему нет сносу. Когда он появляется вдали, на фоне мешков с землей, как новенькая яркая афиша, все улыбаются. Нисколько не изменился и Пепен; он ходит с той же красно-белой клеенчатой шахматной доской на спине; у него лицо острое, как лезвие ножа, глаза зеленовато-серые, холодные, как отблеск стали; ни в чем не изменились ни Вольпат (у него по-прежнему на ногах короткие гетры, на плечах

одеяло; его аннамитское лицо татуировано грязью), ни Тирет (однако с некоторого времени, по какой-то таинственной причине, он возбужден; в его глазах появились кровяные жилки). Фарфаде держится в сторонке; он задумчив, чего-то ждет. В часы раздачи писем он словно пробуждается, но потом опять уходит в себя. Своей тонкой чиновничьей рукой он старательно пишет множество открыток. Он не знает о смерти Эдокси. Ламюз никому, кроме меня, не говорил о последней страшной встрече с этой женщиной. По-видимому, Ламюз жалел, что рассказал мне об этом, и до самой смерти упорно и стыдливо скрывал от других свою тайну. Вот почему Фарфаде по-прежнему живет мечтой о златокудрой женщине и разлучается с ней ненадолго, только когда обменивается с нами редкими словами. А капрал Бертран все такой же сосредоточенный и молчаливый; он всегда готов спокойно улыбнуться нам, дать на наши вопросы ясные ответы, помочь каждому делать то, что надо.

Мы беседуем, как раньше, как недавно. Но приходится говорить вполголоса; мы говорим меньше, спокойней и печальней.

* * *

Небывалый случай: за последние три месяца смена каждой боевой единицы в окопах первой линии происходила через четыре дня, но здесь мы уже пять дней, а о смене еще и не поговаривают. Ходят слухи о предстоящей атаке; известия приносят связисты или нестроевые, которые через ночь нерегулярно — доставляют нам продовольствие. Кроме этих слухов, имеются еще другие признаки: отпуска отменены, письма не приходят, офицеры явно изменились — они озабочены и стараются сблизиться с нами. Но когда с ними заговаривают на эту тему, они пожимают плечами: ведь солдата никогда не предупреждают, что собираются с ним сделать; ему завязывают глаза и повязку снимают лишь в последнюю минуту. Мы только повторяем:

— Поживем — увидим!

— Остается только ждать!

Мы предчувствуем трагическое событие, но как будто равнодушны к нему. Потому ли, что мы не можем понять весь его смысл, или больше не надеемся разобраться в недоступных нам решениях, или беспечно примирились, или верим, что и на этот раз избежим опасности? Как бы то ни было,

вопреки признакам и пророчествам, которые, по-видимому, уже сбываются, мы бессознательно погружаемся в неотложные заботы: нас мучают голод, жажда; уничтожая вшей, мы окровавили ногти, нас одолевает страшная усталость.

— Видал сегодня Жозефа? — говорит Вольпат. — Бедный парень! Он недолго протянет.

— Он что-нибудь да выкинет. Верно говорю. Парень погибнет, понимаешь? При первом удобном случае сам бросится под пулю. Вот увидишь!

— Да и есть от чего рехнуться! Знаешь, их было шестеро братьев. Четверых ухлопали: двоих в Эльзасе, одного в Шампани, одного в Аргоннах. Если Андре убит — это пятый.

— Если б он был убит, его тело нашли бы, увидели с наблюдательного пункта. Нечего ломать себе голову. По мне, в ту ночь, когда они пошли на разведку, он на обратном пути заблудился. Пополз в сторону, бедняга, — и попал в плен к бошам.

— Может, напоролся на их проволочные заграждения и его убило током.

— Говорят тебе, его бы нашли, если б он был убит: ведь боши не стали б его хоронить. Словом, его искали повсюду. Раз не нашли, значит (ранен или не ранен), он попал в лапы к бошам.

С этим столь логическим предположением соглашаются все, и, решив, что Андре Мениль попал в плен, им больше не интересуются. Но его брат по-прежнему вызывает жалость.

— Бедняга, он такой молодой!

И солдаты нашего взвода украдкой сочувственно посматривают на него.

— Жрать хочется! — вдруг заявляет Кокон.

Давно пора есть, все требуют обед. Впрочем, он уже здесь: это остатки вчерашнего.

— И о чем думает капрал? Хочет нас уморить? А-а, вот он! Ну, погоди, я ему сейчас задам! Эй, капрал, чем ты так занят? Почему не даешь нам жрать?

— Да, да, жрать! — хором повторяют вечно голодные солдаты.

— Сейчас приду, — говорит озабоченный Бертран; он ни днем, ни ночью не знает покоя.

— В чем дело? — вдруг восклицает Пепен. — Надоели мне эти сопливые макароны! Да я в два счета открою коробку «обезьяны»!

Драма забыта; начинается ежедневная комедия с едой.

— Не трогайте запасов! — говорит Бертран. — Я вернусь от капитана и сейчас же дам вам поесть.

Скоро он возвращается, приносит и раздает

пищу; мы едим салат из картошки с луком, жуем, уплетаем, и наши лица проясняются.

Паради надел к обеду суконную шапку полицейского образца. Это не соответствует ни времени, ни месту, но шапка совсем новая; портной, который обещал сделать ее уже три месяца назад, сдал ее Паради только в тот день, когда нас послали на передовые позиции. Эта «лодочка» из ярко-голубого сукна, надетая на круглую башку, придает ему вид картонного румяного жандарма. Паради ест и пристально на меня смотрит. Я подхожу к нему.

— Тебе эта шапка к лицу.

— Все равно! — отвечает он. — Я хочу с тобой поговорить. Пойдем!

Он протягивает руку к фляге, стоящей перед его котелком, и после некоторого колебания решает поместить вино в надежное место — в глотку, а флягу — в карман. Он встает, уходит.

Я иду за ним. По дороге он прихватывает каску, которая валяется на земляной ступеньке. Пройдя шагов десять, он останавливается, смотрит себе под ноги, как в те минуты, когда он взволнован, и тихонько говорит:

— Я знаю, где Мениль Андре. Хочешь на него поглядеть? Иди сюда!

Он снимает полицейскую шапку, складывает ее, сует в карман, надевает каску. Идет дальше. Я молча следую за ним.

Мы проходим метров пятьдесят до нашей общей землянки и перекрытия из мешков; проползая под ним, мы всегда опасаемся, что эта грязная арка вот-вот обрушится и переломает нам ребра. За перекрытием, в стенке траншеи — углубление и ступенька, сделанная из плетня, облепленного глиной. Паради влезает на нее и знаком зовет меня на эту узкую скользкую площадку. Когда-то здесь была бойница для часового; она разрушена; ее проделали ниже и снабдили двумя щитами. Приходится согнуться, чтобы не высовывалась голова.

Все еще шепотом Паради говорит:

— Это я приделал два щита: я кое-что задумал, мне хотелось посмотреть. Погляди в эту дырку!

— Я ничего не вижу. Что-то ее заслоняет. Что это там за тряпье?

— Это он, — отвечает Паради.

Да, это был труп, труп человека, сидящего в яме, ужасающе близко от нас.

Я прижался лицом к стальной пластинке, приник глазом к дыре и увидел труп целиком. Он сидел совсем близко; голова свесилась вниз;

руки лежали на коленях, пальцы скрючились. Его можно было узнать, хотя глаза помутнели и выкатились из орбит, хотя облепленная грязью борода затвердела, рот перекосился и виден был оскал зубов. Казалось, мертвец гримасничает и улыбается своему ружью, стоящему перед ним в грязи. Его руки были вытянуты, совсем посинели сверху и побагровели снизу от влажного отсвета ада.

Это был он, Андре Мениль, вымоченный дождем, облепленный грязью и покрытый пеной, замаранный, страшно бледный; уже четыре дня он сидел совсем рядом с нашей насыпью, в воронке от снаряда.

Между этим мертвецом, покинутым в своем сверхчеловеческом одиночестве, и живыми людьми, населявшими землянку, была только тонкая стенка из земли; я заметил, что место, куда я кладу голову, приходится как раз против ямы, где втиснуто это страшное тело.

Я отхожу от глазка.

Мы с Паради переглядываемся.

— Не надо пока говорить Жозефу, — шепчет он.

— Конечно, нет. Но сейчас…

— Я сказал капитану: «Надо бы у мертвого

вынуть из кармана документы!» Капитан тоже сказал: «Не говорите пока брату!»

Пронеслось легкое дуновение ветра.

— Пахнет!

— Еще бы!

Мы потягиваем носом; запах входит в наше сознание, вызывает тошноту.

— Значит, — говорит Паради, — из всех шести братьев остался один Жозеф. Вот что я тебе скажу: мне сдается, что и он не жилец на этом свете, недолго протянет. Этот парень не будет себя беречь, сам постарается, чтоб его укокошили. Хорошо, если ему с неба свалится удачная рана, а не то он пропал. Шесть братьев — это уж слишком! Правда?

Он прибавляет:

— Прямо диву даешься, что он так близко от нас!

— Его рука лежит как раз против того места, куда я кладу голову.

— Да, — говорит Паради, — правая рука, а на ней часы.

Часы!.. Я припоминаю… Мне почудилось? Приснилось? Мне кажется, да, теперь я почти уверен, что три дня назад, в ту ночь, когда мы так устали, я перед сном слышал что-то вроде тиканья часов

и даже подумал: где они тикают?

— Да, может, его часы ты и слышал сквозь стенку, — говорит Паради, которому я это рассказываю. — Часы идут себе, даже когда человек остановился навсегда. Чего там, этой штуке до нас нет дела; она спокойно переживает человека и работает, сколько ей полагается.

Я спросил:

— У него кровь на руках; а куда он ранен?

— Не знаю. Наверно, в живот; мне показалось, у него там кровь. Или в голову? Ты не заметил пятнышка на щеке?

Я припоминаю зеленоватое обезображенное лицо мертвеца.

— Да, правда, у него что-то на щеке, вот здесь. Да, может быть, пуля попала сюда.

— Тише! — вдруг перебивает меня Паради. — Вот он! Не надо было здесь оставаться.

Но все-таки мы не уходим, мы стоим в нерешительности, а прямо к нам идет Жозеф Мениль. Он никогда еще не казался нам таким слабым. Уже издали видно, как он бледен, осунулся, сгорбился; он идет медленно, усталый, измученный неотвязной мыслью.

— Что у вас на лице? — спрашивает он меня.

Он видел, как я показывал Паради, куда попала

пуля.

Я притворяюсь, что не понимаю, и отвечаю уклончиво.

— А-а! — рассеянно произносит он.

В эту минуту я с волнением вспоминаю… Трупный запах! Он слышен; ошибиться нельзя: там труп; может быть, Жозеф поймет…

Мне кажется, что он вдруг почувствовал жалкий призыв мертвеца.

Но Жозеф молчит, одиноко идет дальше, исчезает за поворотом.

— Вчера, — говорит мне Паради, — он пришел сюда с миской, полной рису; он больше не хотел есть. Как нарочно (вот балда!) остановился здесь — и хлоп!.. Хочет выбросить остатки рису за насыпь, как раз туда, где сидит мертвый брат. Ну, этого я уж не выдержал: как схвачу его за рукав в ту минуту, когда он швырнул рис… И рис вывалился в траншею. Жозеф как обернется ко мне, весь красный, разозлился, как крикнет: «Ты это что? Да ты, часом, не рехнулся?» Я стою дурак дураком, что-то пробормотал, кажется, что я сделал это нечаянно. Он пожал плечами и посмотрел на меня, как задорный петушок. И пошел дальше. Пробурчал что-то и сказал Монтрелю: «Видал? Бывают же такие олухи!» Знаешь, паренек ведь

горячий! Как я ни повторял: «Ну, ладно, ладно!» — он все ворчал; да и я не был рад, понимаешь: ведь я как будто вышел виноватым, а на деле был прав.

Мы молча уходим.

Мы возвращаемся в землянку, где собрались остальные. Это бывший офицерский блиндаж; поэтому здесь просторно.

Мы входим; Паради прислушивается.

— Наши батареи уже час, как нажаривают, правда?

Я понимаю, что он хочет сказать, и неопределенно отвечаю:

— Увидим, старина, увидим!..

В землянке, перед тремя слушателями, Тирет рассказывает казарменные истории. В углу храпит Мартро; он лежит у входа, и приходится переступать через его короткие ноги, как будто вобранные в туловище. Вокруг сложенного одеяла на коленях стоят солдаты; они играют в «манилью».

— Мне сдавать!

— Сорок, сорок два! Сорок восемь! Сорок девять! Ладно!

— Везет же этому голубчику! Прямо не верится! Видно, наставила тебе жена рога! Не хочу больше

играть с тобой. Ты меня сегодня грабишь и вчера тоже обобрал!

— А ты почему не сбросил лишние карты? Растяпа!

— У меня был только король, король без маленькой.

— У него была «коронка» на пиках.

— Да ведь это редко бывает, слюнтяй!

— Ну и ну! — закусывая, бормочет кто-то в углу. — Этот камамбер стоит двадцать пять су, а какая пакость: сверху вонючая замазка, а внутри сухая известка!

Между тем Тирет рассказывает, сколько обид ему пришлось вынести за три недели учебного сбора от батальонного командира.

— Этот жирный боров был подлейшей сволочью на земле. Всем нам круто приходилось, когда мы попадались ему на глаза в канцелярии; сидит, бывало, развалясь на стуле, а стула под ним и не видно: толстенное брюхо, большущее кепи, сверху донизу обшитое галунами, как бочка — обручами. Ох, и лют он был с нашим братом — солдатом! Его фамилия — Леб: одно слово — бош!

— Да я его знаю! — воскликнул Паради. — Когда началась война, его, конечно, признали негодным к действительной службе. Пока я проходил

учебный сбор, он уже успел окопаться и на каждом шагу ловил нашего брата: за незастегнутую пуговицу — сутки ареста, да еще начнет тебя отчитывать перед всем народом, если на тебе хоть что-нибудь надето не по уставу. Все смеются; он думает — над тобой, а ты знаешь — над ним, но от этого тебе не легче. На гауптвахту, и все тут!

— У него была жена, — продолжал Тирет. — Старуха…

— Я ее тоже помню, — воскликнул Паради, — ну и стерва!

— Бывает, люди водят за собой шавку, а он повсюду таскал за собой эту гадину; она была желтая, как шафран, тощая, как драная кошка, и рожа злющая. Это она и натравливала старого хрыча на нас; без нее он был скорей глупый, чем злой, а как только она приходила, он становился хуже зверя. Ну и попадало ж нам!..

Вдруг Мартро, спавший у входа, со стоном просыпается. Он приподнимается, садится на солому, как заключенный; на стене шевелится его бородатая тень. В полутьме он вращает круглыми глазами. Он еще не совсем проснулся.

Наконец он проводит рукой по глазам и, словно это имеет отношение к его сну, вспоминает ночь, когда нас отправляли в окопы; осипшим голосом

он говорит:

— Вот кавардак подняли в ту ночь! Что за ночь! Все эти отряды, роты, целые полки орали, и пели, и шли в гору! Было не очень темно. Глядишь: идут, идут солдаты, поднимаются, поднимаются, как вода в море, и размахивают руками, а кругом артиллерийские обозы и санитарные автомобили! Никогда еще я не видел столько обозов ночью, никогда!..

Он ударяет себя кулаком в грудь, усаживается поудобнее и умолкает.

Выражая общую неотвязную мысль, Блер восклицает:

— Четыре часа! Теперь уж слишком поздно: сегодня наши уже ничего не затеют!

В углу один игрок орет на другого:

— Ну, в чем дело? Играешь или нет, образина?

А Тирет продолжает рассказывать о майоре:

— Раз дали нам на обед суп из тухлого сала. Мерзотина! Тогда какой-то солдатик захотел поговорить с капитаном; подносит ему миску к носу…

— Сапог! — сердито кричит кто-то из другого угла. — Почему ж ты не пошел с козыря?..

— Тьфу! — говорит капитан. — Убрать это от меня! Действительно, смердит.

— Да ведь не мой ход был, — недовольно возражает кто-то дрожащим, неуверенным голосом.

— И вот, значит, капитан докладывает батальонному. Приходит батальонный, размахивает рапортом и орет: «Где этот суп, из-за которого подняли бунт? Принести мне его! Я попробую!» Ему приносят суп в чистой миске. Он нюхает. «Ну и что ж? Пахнет великолепно. Где вам еще дадут такого прекрасного супу?..»

— Не твой ход?! Ведь он сдавал. Сапог! Беда с тобой, да и только!

— И вот в пять часов выходим из казармы, а эти два чучела, батальонный с женой, останавливаются прямо перед солдатами и стараются выискать какие-нибудь непорядки в нашей амуниции. Батальонный кричит: «А-а, голубчики, вы хотели надо мной посмеяться и пожаловались на отличный суп, а я съел его с удовольствием, пальчики облизывал, и майорша тоже. Погодите, я уж с вами расправлюсь… Эй вы, там, длинноволосый! Артист! Пожалуйте-ка сюда!» И пока эта скотина нас распекала, его кляча стояла, точно аршин проглотила, тощая, длинная, как жердь, и кивала головой: да, да.

— …Как сказать: ведь у него не было «коронки», это дело особое…

— Вдруг она побелела как полотно, схватилась за пузо, вся затряслась, уронила зонтик и вдруг среди площади, при всем народе, как начнет блевать!

— Эй, тише! — внезапно кричит Паради. — В траншее что-то кричат. Слышите? Как будто: «Тревога!»

— Тревога? Да ты рехнулся?

Не успели это сказать, как в низком отверстии, у входа, показалась тень и крикнула:

— Двадцать вторая рота! В ружье!

Молчание. Потом несколько возгласов.

— Я так и знал, — сквозь зубы бормочет Паради и на коленях ползет к отверстию норы, где мы лежали.

Разговоры прекращаются. Мы онемели. Быстро приподнимаемся. Шевелимся, согнувшись или стоя на коленях; застегиваем пояса; тени рук мечутся во все стороны; мы суем вещи в карманы. И выходим все вместе, волоча за ремни ранцы, одеяла, сумки.

На воздухе нас оглушает шум. Трескотня перестрелки усилилась; она раздается слева, справа, впереди. Наши батареи безостановочно гремят.

— Как ты думаешь, они наступают? — нерешительно спрашивает кто-то.

— А я почем знаю! — раздраженно отвечает другой.

Мы стиснули зубы. Все хранят про себя свои догадки. Спешат, торопятся, сталкиваются, ворчат, но ничего не говорят.

Раздается команда:

— Ранцы надеть!

— Приказ отменяется!.. — вдруг кричит офицер и со всех ног бежит по траншее, расталкивая солдат локтями.

Конец этой фразы не слышен.

Отмена приказа! По всем рядам пробегает трепет, у всех сердце сжалось; все поднимают голову, все замирают в тоскливом ожидании.

Но нет: отменяется только распоряжение касательно ранцев. Ранцев не брать; скатать одеяло и привесить к поясу лопату!

Мы отвязываем, выдергиваем, скатываем одеяла. По-прежнему молчим; каждый пристально смотрит, крепко сжимает губы.

Капралы и сержанты лихорадочно снуют взад и вперед, подгоняя торопящихся солдат.

— Ну, живей! Ну, ну, чего возитесь? Говорят вам, живей!

Отряд солдат с изображением скрещенных топориков на рукаве пробивает себе дорогу и

быстро роет выемки в стене траншеи. Заканчивая приготовления, мы искоса поглядываем на них.

— Что они роют?

— Выход.

Мы готовы. Солдаты строятся все так же молча; они стоят со скатанными через плечо одеялами, подтянув ремешки касок, опираясь на ружья. Я вглядываюсь в их напряженные, побледневшие, осунувшиеся лица.

Это не солдаты; это люди. Не искатели приключений, не воины, созданные для резни, не мясники, не скот. Это земледельцы или рабочие, их узнаешь даже в форменной одежде. Это штатские, оторванные от своего дела. Они готовы. Они ждут сигнала смерти и убийства; но, вглядываясь в их лица, между вертикальными полосами штыков, видишь, что это простые люди.

Каждый из них знает, что, прежде чем встретить солдат, одетых по-другому, он должен будет сейчас подставить голову, грудь, живот, все свое беззащитное тело под пули наведенных на него ружей, под снаряды, гранаты и, главное, под планомерно действующий, стреляющий почти без промаха пулемет, под все орудия, которые теперь притаились и грозно молчат. Эти люди не беззаботны, не равнодушны к своей жизни, как

разбойники, не ослеплены гневом, как дикари. Вопреки пропаганде, которой их обрабатывают, они не возбуждены. Они выше слепых порывов. Они не опьянены ни физически, ни умственно. В полном сознании, в полном обладании силой и здоровьем, они собрались здесь, чтобы лишний раз совершить безрассудный поступок, навязанный им безумием человеческого рода. Все их раздумье, страх и прощание с жизнью чувствуются в этой тишине, в неподвижности, в маске сверхчеловеческого спокойствия, прикрывающей их лица. Это не тот род героев, которых себе представляешь; но люди, не видевшие их, никогда не смогут понять значения их жертвы.

Они ждут. Минуты ожидания кажутся вечностью. Время от времени то один, то другой в ряду чуть вздрагивает, когда пуля, задев переднюю насыпь, впивается в рыхлую землю задней насыпи.

Меркнущий день озаряет мрачным светом эту могучую нетронутую толпу живых, из которых только часть доживет до ночи. Идет дождь: воспоминание о дожде примешивается к моим воспоминаниям о всех трагедиях этой войны. Надвигается вечер; он готовится расставить этим людям большую, как мир, западню.

* * *

Из уст в уста передаются новые приказы. Нам раздают гранаты с железными кольцами. «Каждому взять по две гранаты!»

Проходит майор; он в походной форме, подтянут, держится проще. Он говорит:

— Добрые вести, ребята! Боши удирают! Вы будете молодцами, правда?

Известия вихрем облетают наши ряды:

— Впереди нас идут марокканцы и двадцать первая рота. Атака началась на правом фланге.

Капралов зовут к капитану. Они возвращаются с охапками металлических предметов. Бертран меня ощупывает. Он что-то прицепил к пуговице моей шинели. Это кухонный нож.

— Гляди, что я тебе привесил на шинель! — говорит он. Он смотрит на меня, уходит, ищет других людей.

— А мне? — спрашивает Пепен.

— Нет, — отвечает Бертран. — Брать добровольцев для этого дела запрещено.

Мы ждем в глубинах дождевого пространства, сотрясаемого залпами, лишенного других границ, кроме линий свирепой канонады. Бертран ро́здал ножи и возвращается. Несколько солдат

садится на землю; некоторые позевывают.

Вот пробирается самокатчик Бийет; он держит на руке резиновый плащ офицера и явно отворачивается от нас.

— Ты что ж? Не идешь с нами? — кричит ему Кокон.

— Нет, — отвечает Бийет. — Я в семнадцатой роте, пятый батальон не идет в атаку.

— А-а! Везет этому пятому батальону. Он никогда так не работает, как мы!..

Бийет уже далеко; все смотрят ему вслед и недовольно хмурятся.

К Бертрану подбегает какой-то солдат и что-то шепчет. Бертран оборачивается к нам и говорит:

— Пошли! Наш черед!

Все вместе мы трогаемся в путь. Ставим ноги на ступеньки, вырытые саперами; локоть к локтю вылезаем из траншеи и взбираемся на бруствер.

* * *

Бертран стоит на скате. Он окидывает нас беглым взглядом. Мы все в сборе. Он командует:

— Вперед!

Голоса звучат странно. Мы выступили очень быстро, неожиданно. Все это как сон. В воздухе не слышно свиста. Среди рева пушек явственно

различаешь необычайное затишье в ружейной пальбе…

Мы, как автоматы, спускаемся по скользкому неровному скату, иногда опираясь на ружье с примкнутым штыком. Глаз невольно замечает какую-нибудь подробность: развороченные участки земли, редкие колья с оборванной проволокой, обломки в ямах. Трудно поверить, что мы днем стоим на этом скате; несколько уцелевших солдат еще помнят, как они со всяческими предосторожностями проникали сюда в темноте, а другие только украдкой посматривали в эту сторону сквозь бойницы. Нет, нас не обстреливают. Целый батальон вышел из-под земли, и это, кажется, осталось незамеченным! Затишье таит все нарастающую угрозу. Бледный свет ослепляет нас.

Весь откос покрылся людьми; они спускаются одновременно с нами. Справа вырисовывается рота, которая направляется в овраг через ход 97, когда-то вырытый немцами и теперь почти разрушенный.

Мы выходим за наши проволочные заграждения. Нас еще не обстреливают. Неловкие солдаты спотыкаются, падают и поднимаются. По ту сторону заграждений мы перестраиваемся и

спускаемся немного быстрей. Наше движение невольно ускоряется. Вдруг до нас долетают несколько пуль. Бертран велит приберечь гранаты, ждать до последней минуты.

Но звук его голоса заглушается: внезапно над нами, во всю ширину спуска, вспыхивают зловещие огни, раздирая и оглушая воздух страшными взрывами. По всей линии, слева направо, небо мечет снаряды, а земля взрывы. Ужасающая завеса отделяет нас от мира, отделяет нас от прошлого, от будущего. Мы останавливаемся как вкопанные, ошалев от внезапной грозы, разразившейся со всех сторон; в едином порыве вся наша толпа стремительно бросается вперед. Мы шатаемся, хватаемся друг за друга среди высоких волн дыма. С грохотом проносятся циклоны обращенной в прах земли; в глубине, куда мы несемся все вместе, разверзаются кратеры, одни рядом с другими, одни в других. Мы больше не видим, куда попадают залпы. Срываются с цепей такие чудовищные, оглушительные вихри, что мы чувствуем себя уничтоженными уже одним шумом этих громовых ливней, этих крупных звездообразных осколков, возникающих в воздухе. Видишь и чувствуешь, что эти осколки проносятся совсем близко над головой, шипят,

как раскаленное железо в воде. Вдруг я роняю винтовку: дыхание взрыва обожгло мне руки. Я хватаю ее, шатаясь, опустив голову, бегу дальше, в бурю, сверкающую рыжими молниями, в разрушительный поток лавы; меня подхлестывают фонтаны пыли и копоти. Пронзительный лязг и треск пролетающих осколков причиняют боль ушам, ударяют по затылку, пронзают виски, и невозможно удержаться от крика. От запаха серы переворачивается, сжимается сердце. Дыхание смерти нас толкает, приподнимает, раскачивает. Мы бросаемся вперед прыжками, не зная куда. Глаза мигают, слезятся, слепнут. Впереди пылающий обвал. Путь отрезан.

Это заградительный огонь. Надо пройти через огненный вихрь, сквозь эти страшные вертикальные тучи. Мы проходим. Мы прошли. Какие-то призраки кружатся, взлетают и падают, озаренные внезапными вспышками света. Я на миг различаю странные лица кричащих людей; эти крики видишь, но не слышишь. Костер огромными красными и черными громадами падает вокруг меня, разворачивает землю, вырывает ее из-под моих ног и отбрасывает меня в сторону, как упругую игрушку. Помню, как я перешагнул через какой-то труп; он горел, весь черный;

пунцовая кровь потрескивала на огне, и, помню, рядом со мной полы чьей-то шинели запылали и оставили дымный след. Справа, вдоль всего хода 97, вспыхивали и теснились, как люди, вереницы страшных огней.

— Вперед!

Мы почти бежим. Люди падают; одни валятся всем телом, головой вперед, другие смиренно опускаются, словно садятся на землю. Мы отшатываемся, чтобы не наступить на мертвые тела, простертые или вздыбленные, и на раненых, эта западня опасней: раненые бьются и цепляются за живых.

Международный ход!

Мы добежали. Длинные, вьющиеся стебли колючей проволоки вырваны с корнем, отброшены, спутаны, сметены бомбардировкой. Между этими железными кустарниками, мокрыми от дождя, земля разрыта и свободна.

Международный ход не защищен. Немцы его оставили, или первая волна атаки уже прошла здесь… Изнутри он ощетинился ружьями, поставленными вдоль насыпи. На дне валяются трупы. В канаве из кучи тел торчат неподвижные руки в серых рукавах с красными кантами и ноги в сапогах. Кое-где насыпь снесена, деревянное

крепление раздроблено: весь бок траншеи разбит, завален неописуемым мусором. В других местах зияют круглые колодцы. У меня особенно сохранилось воспоминание о траншее, одетой в странные лохмотья, покрытой разноцветными тряпками: для выделки мешков немцы использовали сукна, бумажные и шерстяные ткани с яркими разводами; все это награблено в какомнибудь мебельном магазине. Эта пестрядь, эти изрезанные, изорванные лоскутья висят, болтаются, хлопают и пляшут на ветру.

Мы рассыпались по траншее. Лейтенант перепрыгнул на другую сторону, нагибается, зовет нас криками и знаками:

— Не задерживайтесь! Вперед! Дальше!

Мы карабкаемся по насыпи, хватаясь за ранцы, ружья, плечи. Дно оврага разворочено снарядами, завалено обломками, кишит лежащими телами. Одни неподвижны, как неодушевленные предметы, другие тихо шевелятся или судорожно дергаются. Заградительный огонь продолжает действовать адскими залпами позади нас, в том месте, которое мы уже прошли. Но там, где мы находимся, у подножия пригорка, — мертвая зона для неприятельский артиллерии.

Недолгое сомнительное затишье. Мы слышим

немного лучше. Переглядываемся. Глаза лихорадочно блестят, к лицу прилила кровь. Все дышат с трудом; в груди колотится сердце.

Мы смутно узнаем друг друга, как будто встречаемся лицом к лицу где-то на далеких берегах смерти. В этом проблеске, среди кромешного ада, мы перекидываемся отрывистыми фразами:

— Это ты?

— Ну и достается нам!

— Где Кокон?

— Не знаю.

— Видел капитана?

— Нет…

— Ты жив?

— Да…

Лощина уже позади. Перед нами противоположный склон. Мы взбираемся гуськом по лестнице, высеченной в земле.

— Осторожно!

Дойдя до середины лестницы, какой-то солдат, раненный осколком снаряда в бок, падает, как пловец, вытянув вперед руки; с головы свалилась каска. Черная тень ныряет куда-то в пропасть: я мельком замечаю, как над черным профилем развеваются волосы.

Мы поднимаемся на вершину.

Перед нами простирается бесцветный пустырь. Сначала мы видим только меловую каменистую изжелта-серую степь; ей нет конца. Впереди ни одной человеческой волны, ни одного живого человека, только мертвецы; свежие трупы как будто еще страдают или спят; старые останки размыты дождями или почти поглощены землей.

Наша цепь бросается вперед рывками и выходит на вершину; я чувствую, что рядом со мной два человека ранены, две тени брошены на землю; они падают нам под ноги, один — с пронзительным криком, другой — молча, как оглушенный ударом бык. Третий исчез, неистово взмахнув руками, словно его унес ветер. Мы бессознательно смыкаем ряды и пробиваемся вперед, все вперед; брешь заполняется сама собой. Унтер останавливается, поднимает саблю, роняет ее, опускается на колени, рывками откидывается назад; каска свалилась; он застывает, уставившись в небо. Наша цепь разрывается на бегу, чтобы не потревожить эту неподвижность.

Лейтенанта уже не видно. Начальства больше нет… Живая волна, бьющая в край плоскогорья, нерешительно останавливается. Среди топота ног слышно хриплое дыхание.

— Вперед! — кричит какой-то солдат.

И все еще стремительней бегут вперед, к бездне.

* * *

— Где Бертран? — жалобно стонет кто-то из бегущих впереди.

— Вот! Там!..

Бертран остановился, нагибается к раненому, но быстро покидает его, а раненый протягивает к нему руки и, кажется, рыдает.

Как только он нас догоняет, из-за бугорка раздается трескотня пулемета. Это тревожная минута; она еще страшней той, когда мы шли сквозь землетрясение и заградительный огонь. Знакомый голос пулемета отчетливо и грозно обращается к нам. Но мы больше не останавливаемся.

— Дальше! Дальше!

Мы задыхаемся, хрипло стонем, но несемся дальше, к горизонту.

— Боши! Я их вижу! — кричит кто-то.

— Да… Из траншеи торчат головы… Эта линия — их траншея. Совсем близко. А-а, скоты!

Действительно, мы различаем серые бескозырки; они то поднимаются, то опускаются до уровня земли, в пятидесяти метрах за полосой изрытого чернозема.

Кучку людей, среди которой мчусь и я, что-то подбрасывает. Мы уже так близко; мы невредимы; неужели не дойдем? Нет, дойдем! Мы широко шагаем. Не слышно больше ничего. Каждый бросается вперед; каждого влечет этот страшный ров; все вытянулись; никто не может повернуть голову ни вправо, ни влево.

Чувствуется, что многие падают. Я отскакиваю вбок, чтоб увернуться от внезапно возникшего передо мной штыка, примкнутого к падающему ружью. Совсем близко от меня окровавленное лицо Фарфаде; он выпрямляется, толкает меня, бросается на Вольпата, бегущего рядом со мной, и хватается за него; Вольпат сгибается, не останавливаясь волочит его несколько шагов, потом стряхивает его, отталкивает, не глядя, не зная, кто это, и прерывающимся голосом, задыхаясь, кричит:

— Пусти меня! Да пусти ты, черт!.. Тебя сейчас подберут… Не бойся!..

Фарфаде с размаху падает и поворачивается во все стороны лицом, покрытым какой-то пунцовой маской, лишенной всякого выражения, а Вольпат уже далеко; он бессознательно повторяет сквозь зубы: «Не бойся!» — и, не отрываясь, смотрит на линию немецких окопов.

Вокруг меня градом сыплются пули; все чаще солдаты внезапно останавливаются, медленно падают, бранятся, размахивают руками, ныряют всем телом, кричат, испускают глухие, бешеные, отчаянные вопли или страшный стон, которым мгновенно исходит вся жизнь. А мы, еще уцелевшие, смотрим вперед, бежим среди игр смерти, поражающей наугад живую плоть наших рядов.

Проволочные заграждения. Здесь есть нетронутая зона. Мы ее обходим. Дальше пробита широкая, глубокая брешь: это огромная воронка, составленная из множества воронок, баснословный кратер вулкана, вырытый пушкой.

Это зрелище ошеломляет. Кажется, что все это разрушение исходит из недр земли. При виде подобного разрыва пластов почвы мы еще яростней бросаемся вперед; некоторые мрачно покачивают головой и не могут удержаться, чтоб не закричать даже в такую минуту, когда слова с трудом вырываются из глотки:

— Вот так так! Ну и всыпали им! Вот так так!

Нас словно несет ветром; мы бежим то вверх, то вниз, поднимаемся на пригорки, спускаемся в низины, бежим сквозь эту непомерную брешь, образовавшуюся в земле, истоптанной, почерневшей, обожженной неистовым пламенем. Ноги

прилипают к глине. Мы злобно их отдираем. Предметы снаряжения, лоскутья материи устилают рыхлую мокрую землю; белье вывалилось из разодранных сумок; поэтому мы не увязаем в грязи и стараемся ставить ногу на это тряпье, когда прыгаем в ямы или взбираемся на бугры.

Позади кричат, подгоняют нас:

— Вперед, ребята! Вперед, черт подери!

— За нами идет весь полк!

Мы не оборачиваемся, но, наэлектризованные этим известием, наступаем еще уверенней.

За насыпью, к которой мы приближаемся, больше не видно бескозырок. Впереди валяются трупы немцев; они или навалены в кучи, или вытянуты в линию. Мы подходим. Насыпь четко вырисовывается во всем своем коварном обличии. Бойницы… Мы близко, невероятно близко от них…

Перед нами что-то падает. Граната. Ударом ноги капрал Бертран отбрасывает ее так ловко, что она взлетает и разрывается как раз над траншеей.

И после этой удачи наш взвод подходит к самому рву.

Пепен ползет по насыпи между трупов. Достигает края и исчезает в траншее. Он вошел первым. Фуйяд размахивает руками, кричит и прыгает в

траншею почти одновременно с ним… Я мельком вижу ряд черных дьяволов: они нагибаются, спускаются с гребня насыпи в черную западню.

Прямо перед нами в упор раздается страшный залп; вдоль всего земляного вала вспыхивает рампа огней. Придя в себя, мы отряхиваемся и смеемся во все горло злорадным смехом: пули пролетели слишком высоко. И сейчас же, с криком и ревом, радуясь избавлению, мы скользим, катимся и живыми вваливаемся в брюхо траншеи.

* * *

Нас обволакивает непонятный дым. В этой душной бездне я вижу сначала только серо-голубые шинели. Мы идем то вправо, то влево, подталкиваем друг друга; рычим, ищем. Оборачиваемся; в руках у нас ножи, ружья, гранаты; сначала мы не знаем, что делать.

— Скоты! Они в прикрытиях! — орут кругом.

Земля сотрясается от глухих взрывов: бой идет под землей, в прикрытиях. Нас вдруг разделяют чудовищные тучи густого дыма; мы больше ничего не видим. Мы барахтаемся, как утопающие, в едких волнах дыма. Мы наталкиваемся на какие-то рифы; это скорчились, скрючились люди;

где-то в глубине они истекают кровью и кричат. Мы едва различаем стены, совсем прямые, обложенные мешками с землей; белый холст разорван, как бумага. Иногда тяжелые испарения колышутся и редеют, и тогда опять видишь полчища нападающих. Словно вырванный из этой пыльной картины боя, на бруствере в тумане вырисовывается поединок; оба силуэта падают и погружаются во тьму. Я слышу несколько слабых возгласов: «Камрад!» Это кричат бледные, исхудалые солдаты в серых куртках; они загнаны в развороченный угол траншеи. Под чернильной тучей опять надвигается гроза — толпа людей поднимается в том же направлении, движется направо, прыжками и вихрями, вдоль мрачной, разбитой плотины.

* * *

И вдруг мы чувствуем: все кончено. Мы видим, слышим, понимаем, что наш поток, докатившись сюда, через все заграждения, не встретил равного потока и что враг отступил. Человеческая стена распалась перед нами. Тонкая завеса распылилась: немцы укрылись в норах, и мы их хватаем, словно крыс, или убиваем. Больше нет сопротивления: пустота, безмерная пустота. Мы идем

вперед, как грозные ряды зрителей.

Вся траншея разрушена. Белые стены обвалились; траншея кажется вязким, разрыхленным руслом реки, иссякшей в каменистых берегах, а кое-где плоской, круглой впадиной высохшего озера; по краям, на откосе, на дне — ледяные груды трупов. И все это заливают новые волны наших прибывающих частей. Прикрытия извергают дым; подземные взрывы сотрясают воздух. Я добираюсь до густой толпы людей, которые цепляются друг за друга и вертятся на расширенной арене. Когда мы приходим, битва кончается; вся груда людей рушится; я вижу: из-под нее вылезает Блер; его каска повисла на ремне и держится на шее; лицо исцарапано; он испускает дикий вопль. Я натыкаюсь на человека, который ухватился за что-то у входа в прикрытие. Остерегаясь черного, зияющего, предательского люка, он держится левой рукой за столб, а правой несколько секунд размахивает ручной гранатой. Сейчас она разорвется… Она исчезает в дыре. Взрыв!.. В недрах земли раздается страшное эхо: вопль погибающих людей. Человек хватает вторую гранату.

Другой солдат, подобрав с земли кирку, колотит ею и разбивает подпорки у входа в другое прикрытие. Происходит обвал. Вход засыпан.

Несколько теней размахивают руками и утаптывают эту могилу.

Один, другой… Среди уцелевших людей, добравшихся до этой желанной траншеи под градом снарядов и пуль, я с трудом узнаю знакомые лица, как будто вся прежняя жизнь вдруг стала чем-то далеким. Люди потеряли свой облик. Все охвачены неистовством.

— Почему мы остановились? — восклицает один, скрежеща зубами.

— Почему мы не идем к следующей траншее? — в бешенстве спрашивает меня другой. — Раз мы уж здесь, мы добежим туда в два счета!

— Я тоже хочу идти дальше!

— Я тоже! А-а, скоты!

Они трепещут, как знамена; они, как славой, гордятся своей удачей: ведь они выжили. Они неумолимы, упоены, опьянены самими собой.

Мы стоим, топчемся на завоеванном участке, на этой странной разрушенной дороге, которая извивается по равнине и ведет от неизвестного к неизвестному.

— Направо!

Мы идем дальше в определенном направлении. Наверно, это передвижение задумано где-то там, начальством. Мы ступаем по мягким телам;

некоторые еще шевелятся, стонут и медленно перемешаются, истекая кровью. Трупы, наваленные вдоль и поперек, как балки, давят раненых, душат, отнимают у них жизнь. Чтобы пройти, я отталкиваю чье-то обезглавленное, растерзанное тело; из его шеи хлещет кровь.

Среди этого крушения, среди глыб обвалившейся или вздыбленной земли и грузных обломков, над кишащей на дне грудой раненых и мертвецов, сквозь движущийся лес дыма, поднявшегося над траншеей и вокруг нее, видишь только воспаленные, потные, багровые лица и сверкающие глаза. Люди как будто пляшут, потрясая ножами. Они веселы, уверены в себе, свирепы.

Бой незаметно утихает. Какой-то солдат спрашивает:

— Ну, а теперь что делать?

Внезапно бой опять разгорается: метрах в двадцати отсюда, на равнине, у поворота серой насыпи, раздается треск ружейных выстрелов, мечущих искры вокруг зарытого пулемета, который харкает и как будто отбивается.

Под крылом какого-то синевато-желтого сияния люди все тесней обступают машину, изрыгающую огонь. Я узнаю недалеко от себя силуэт Мениля Жозефа: он выпрямился, даже не стара-

ется укрыться, идет прямо туда, где прерывисто лает пулемет.

Между Жозефом и мной из траншеи раздается залп. Жозеф зашатался, нагибается и припадает на одно колено. Я подбегаю к нему; он говорит:

— Ничего… В бедро… Как-нибудь доползу.

Он становится благоразумным, послушным, как ребенок. Он тихонько ползет к оврагу.

Я еще точно представляю себе, откуда прилетела ранившая Жозефа пуля. Я пробираюсь слева, обходя опасное место.

Я встречаю только одного из наших. Это Паради.

— Ты?

Я смотрю на него.

Он молча смотрит на меня.

Нас толкают солдаты; они несут на плечах или под мышкой какие-то железные орудия, похожие на больших насекомых. Они загромождают проход и разделяют нас.

— Седьмая рота захватила пулемет! — кричат вокруг. — Он больше не будет кусаться! Скотина бешеная! Скотина!

— А теперь что делать?

— Ничего.

Мы остаемся здесь. Мы сбились в кучу. Садимся.

Живые больше не задыхаются, мертвые больше не хрипят среди дыма, пламени и грохота пушек, доносившегося со всех концов света. Мы не знаем, где мы. Больше нет ни земли, ни неба: одна сплошная туча. В этой драме хаоса намечается первое затишье. Везде замедляются движения и шумы. Канонада ослабевает, и где-то уже далеко небо сотрясается, словно от кашля. Возбуждение улеглось; остается только бесконечная усталость. И опять начинается бесконечное ожидание.

* * *

Где же неприятель? Он везде оставил трупы; мы видели целые ряды пленных: вот там виднеется еще один ряд, скучный, неясный, дымный под грязным небом. Но главная часть рассеялась вдали. До нас долетает несколько снарядов, но мы над ними смеемся. Мы спасены, спокойны, одни в этой пустыне, где бесчисленные трупы соприкасаются с линией живых.

Наступает ночь. Пыль улеглась. Над длинной канавой, набитой людьми, простерся мрак. Люди сходятся, садятся, встают, идут, держась или цепляясь друг за друга. Они собираются между прикрытий, заваленных трупами, садятся на корточки.

Кое-кто положил ружье на землю и отдыхает на краю рва, устало опустив руки; вблизи видно, что лица почернели, обгорели, исполосованы грязью, что глаза воспалены. Все молчат, но начинают искать…

Мы замечаем силуэты санитаров; они ищут, нагибаются, идут дальше, по двое тащат тяжелую ношу. Справа слышатся удары кирки и лопаты.

Я брожу среди этой мрачной сутолоки.

В том месте, где снижается насыпь траншеи, разрушенная бомбардировкой, кто-то сидит. Еще не совсем стемнело. Спокойная поза этого человека, который на что-то задумчиво смотрит, удивительно скульптурна. Я нагибаюсь и узнаю: это капрал Бертран.

Он поворачивается ко мне; в сумерках я чувствую: он улыбается своей тихой улыбкой.

— Я как раз собирался пойти за тобой, — говорит он. — Мы организуем охрану траншеи, пока не получим известий о том, что сделали другие и что происходит впереди. Я поставлю тебя часовым, в паре с Паради, на сторожевой пост.

Мы смотрим на тени мертвецов и живых; на фоне серого неба трупы выделяются чернильными пятнами, сгорбленные, скрюченные в разных позах вдоль всего разрушенного брустве-

ра. Странно видеть эти таинственные движения, в которых участвуют неподвижные мертвецы, среди полей, умиротворенных смертью, где уже два года гремят сражения и целые солдатские города бродят и стынут на огромных и бездонных кладбищах.

В нескольких шагах от нас проходят две тени; они беседуют вполголоса:

— Ну, я, конечно, не стал его слушать и так всадил ему в брюхо штык, что еле вытащил.

— Их было четверо в этой норе. Я крикнул, чтоб они вышли: они вылезали один за другим, я их тут же приканчивал. Кровь текла у меня по рукам до самого локтя. Даже рукава слиплись.

— Эх, — продолжал первый, — когда мы об этом будем потом рассказывать дома, собравшись у очага или вокруг свечи (если только вернемся), никто этому не поверит! Вот беда, правда?

— Ну, на это мне наплевать, только бы вернуться! — отвечает другой. — Скорей бы конец!

Бертран обычно говорит мало и никогда не говорит о самом себе, однако теперь он вспоминает:

— Мне пришлось иметь дело с тремя сразу. Я колол штыком как сумасшедший. Да, все мы озверели, когда ввалились сюда!

Сдерживая волнение, он повышает голос и вдруг восклицает, как пророк:

— Будущее! Какими глазами потомство будет смотреть на наши подвиги, раз мы сами не знаем, сравнивать ли их с подвигами героев Плутарха и Корнеля или с подвигами апашей! И все-таки… посмотри! Есть человек, который возвысился над войной; в его мужестве бессмертная красота и величие.

Я опираюсь на палку и, склонившись, слушаю, впиваю в себя звучащие в тишине вечера слова этого обычно молчаливого человека. Бертран звонко кричит:

— Либкнехт!

Бертран встает, скрестив руки. Его голова опускается на грудь; прекрасное лицо величественно; он похож на мраморную статую. Но он еще раз прерывает молчание и повторяет:

— Будущее! Будущее! Дело будущего — стереть это настоящее, решительно уничтожить его, стереть как нечто гнусное и позорное. И все-таки это настоящее было необходимо, необходимо! Позор военной славе, позор армиям, позор солдатскому ремеслу: оно превращает людей то в тупые жертвы, то в подлых палачей! Да, позор! Это правда, но эта правда еще не для нас. Запомни то, о чем

мы сейчас говорим! Это станет правдой, когда будет записано среди других истин, которые постигнет человек. Мы еще блуждаем далеко от этих времен.

Он особенно звучно рассмеялся и задумчиво прибавил:

— Как-то раз, чтобы приободрить их и заставить идти вперед, я им сказал, что верю в пророчества.

Я сел рядом с Бертраном. Этот солдат всегда делал больше, чем полагалось по долгу службы, и все-таки уцелел; в эту минуту он являл мне образ людей, воплощающих высокое нравственное начало, имеющих силу преодолеть все случайное и в урагане событий стать выше своей эпохи.

— Я тоже так думал всегда, — пробормотал я.

— А-а! — воскликнул Бертран.

Мы переглянулись чуть удивленно и задумались. После долгого молчания Бертран сказал:

— Ну, пора за работу! Бери ружье, пойдем!

* * *

...С нашего сторожевого поста мы видим, как на востоке разгорается зарево, бледней и печальней пожара. Оно рассекает небо под длинной черной тучей, которая простирается, как дым огромного

потухшего костра, как пятно на лике мира. Это опять наступает утро.

Так холодно, что невозможно оставаться неподвижным, несмотря на усталость, сковывающую тело. Дрожишь, трясешься, лязгаешь зубами. Глаза слезятся. Мало-помалу, невыносимо медленно в небе пробивается свет. Все леденеет, все бесцветно и пусто; всюду мертвая тишина. Иней, снег под тяжестью мглы. Все бело. Паради шевелится; он — белесый призрак; мы тоже совсем белые. Я положил сумку на земляной вал, и теперь она словно завернута в бумагу. На дне ямы плавают хлопья мокрого, изъеденного, серого снега, а под ним черная вода, как в грязной лохани. Снаружи выступы, выемки, груды мертвецов покрыты белой кисеей.

В тумане показываются две сгорбленные бугорчатые громады; они темнеют, приближаются, окликают нас. Это пришла смена. У солдат красно-бурые, влажные от холода лица; скулы как глянцевые черепицы; но их шинели не обсыпаны снегом; эти люди спали под землей.

Паради вылезает из ямы. Я иду за ним по равнине; спина у него белая, как у Деда Мороза; походка — утиная; башмаки облеплены снегом; на них белые, словно войлочные, подошвы. Сги-

баясь в три погибели, мы возвращаемся в окопы; на легком белом насте, покрывающем землю, чернеют следы сменивших нас солдат.

Над траншеей кое-где, в виде больших неправильных палаток, натянут на колья брезент, расшитый белым бархатом или испещренный инеем; там и сям стоят часовые. Между ними прикорнули тени; одни кряхтят, стараются укрыться от холода, уберечь от него убогий очаг — свою грудь; другие навсегда закоченели. Навалившись грудью на бруствер, раскинув руки, чуть косо стоит мертвец. Смерть застигла его за работой; он убирал комья земли. Его лицо, обращенное к небу, покрыто ледяной корой, как проказой, веки и глаза белые, на усах застыла пена. Кругом зловоние.

Спят еще другие люди, но не такие белые: слой снега не тронут только на неодушевленных предметах и на мертвецах.

— Надо поспать.

Мы с Паради ищем уголок, нору, где бы укрыться и сомкнуть глаза.

— Не беда, если там мертвяки, — бормочет Паради. — В такой холод они продержатся и не очень будут смердеть.

Мы идем дальше, мы так устали, что наши

взгляды словно волочатся по земле.

Вдруг я вижу: рядом никого нет. Где Паради? Наверно, улегся в какую-нибудь яму. Может быть, он меня звал, а я не слышал.

Навстречу мне идет Мартро.

— Ищу, где бы поспать; я стоял на часах, — говорит он.

— Я тоже. Поищем вместе.

— А что это за кавардак? — спрашивает Мартро.

Из хода сообщения, совсем близко, раздается топот ног и гул голосов.

— Полным-полно солдат… Вы кто такие?

Какой-то парень отвечает:

— Мы — пятый батальон.

Прибывшие остановились. Они в полном снаряжении. Наш собеседник садится передохнуть на выпирающий из ряда мешок и кладет на землю гранаты. Он вытирает нос рукавом.

— Зачем вы сюда пришли? Вам сказали зачем?

— Ясное дело, сказали. Мы идем в атаку. Туда, до конца.

Он кивает головой в сторону севера. Мы с любопытством разглядываем их, замечаем подробности и спрашиваем:

— Вы захватили с собой все барахло?

— Не пропадать же ему! Вот и тащим!

— Вперед! — раздается команда.

Они встают, идут дальше; у них сонные лица; глаза опухли; морщины углубились. Тут и юноши с тонкой шеей, с тусклым взглядом, и старики, и люди среднего возраста. Они идут обычным мирным шагом. То, что им предстоит совершить, кажется нам выше человеческих сил, хотя накануне мы сами уже совершили все это. Выше человеческих сил… А между тем эти солдаты идут на север.

— Смертники! — говорит Мартро.

Мы расступаемся перед ними с каким-то восхищением и ужасом.

Они прошли. Мартро качает головой и бормочет:

— Там, на другой стороне, тоже готовятся. Там люди в серых куртках. Ты думаешь, они рвутся в бой? Да ты рехнулся! Тогда зачем же они пришли? Их пригнали, знаю, но все-таки и они кое в чем виноваты, раз они здесь… знаю, знаю, но все это странно.

Проходит какой-то солдат, и Мартро вдруг говорит:

— А-а, вот идет этот, как его, верзила, знаешь? Ну и громадина! Я-то ростом не вышел, сам знаю,

но этого уж слишком вытянуло вверх. Каланча! А какой всезнайка! Его уж никто не переплюнет! Спросим его, где найти землянку.

— Есть ли прикрытия? — переспрашивает великан, возвышаясь над Мартро, как тополь. — Еще бы… Сколько хочешь. — Он вытягивает руку, как семафор. — Гляди: вот «Вилла фон Гинденбург», а там «Вилла Счастье». Если будете недовольны, значит, вы очень уж привередливые господа. Правда, там на дне есть жильцы, но они не шумят, при них можно говорить громко!..

— Эх, черт! — восклицает Мартро через четверть часа после того, как мы устроились в одной из этих ям. — Здесь жильцы, о которых этот страшенный громоотвод не говорил.

Глаза Мартро слипаются и приоткрываются; он почесывает бока и руки.

— Спать хочется до черта! А уснуть не придется! Не выдержишь!

Мы начинаем зевать, вздыхать и наконец зажигаем маленький огарок; он мокрый и не хочет гореть, хотя мы прикрываем его рукой. Мы зеваем и смотрим друг на друга.

В этом немецком убежище несколько отделений. Мы прислоняемся к перегородке из плохо прилаженных досок; за ней, в погребе № 2, люди

тоже не спят: сквозь щели пробивается свет и слышатся голоса.

— Это ребята из другого взвода, — говорит Мартро.

Мы бессознательно прислушиваемся.

— Когда я был в отпуску, — гудит невидимый рассказчик, — мы сначала горевали: вспоминали моего беднягу брата, он в марте пропал без вести, наверно убит, и нашего сынишку Жюльена, призыва пятнадцатого года (он был убит в октябрьском наступлении). А потом понемногу мы с женой опять почувствовали себя счастливыми. Что поделаешь? Уж больно нас забавлял наш малыш, последний, ему пять лет… Он хотел играть со мной в солдаты. Я ему смастерил ружьецо, объяснил устройство окопов, а он прыгал от радости, словно птенчик, стрелял в меня, кричал и смеялся. Молодчина мальчугашка! Ну и старался ж он! Из него выйдет отличный солдат. В нем, брат, настоящий воинский дух!

Молчание. Потом гул разговоров, и вдруг слышится слово «Наполеон», потом другой солдат или тот же самый говорит:

— Вильгельм — вонючая тварь: ведь это он захотел воевать. А Наполеон великий человек.

* * *

Мартро стоит недалеко от меня на коленях, на дне этой плохо закупоренной ямы, тускло освещенной огарком; сюда вдруг врывается ветер, здесь кишат вши; воздух, согретый дыханьем живых, насыщен трупным запахом…

Мартро смотрит на меня; он, как и я, еще помнит слова неизвестного солдата, который сказал: «Вильгельм — вонючая тварь, а Наполеон — великий человек», и восхвалял воинский дух единственного оставшегося в семье ребенка.

Мартро опускает руки, качает головой, и от слабого света на стене появляется тень этих движений, резкая карикатура на них.

— Эх, — говорит мой скромный товарищ, — все мы неплохие люди, да еще и несчастные. Но мы слишком глупы, слишком глупы!

Он опять поворачивается ко мне. У него заросшее лицо, похожее на морду пуделя, и прекрасные, как у собаки, глаза, которые удивляются, о чем-то смутно размышляют и, в чистоте своего неведения, начинают что-то постигать.

Мы выходим из прикрытия. Немного потеплело; снег растаял, и все опять покрылось грязью.

— Ветер слизал сахар, — говорит Мартро.

* * *

Мне приказано отвести Жозефа Мениля на Пилонский перевязочный пункт. Сержант Анрио выдает мне эвакуационное свидетельство для раненого.

— Если встретите по дороге Бертрана, — говорит Анрио, — скажите ему, чтоб поторапливался. Он пошел сегодня ночью на работу по службе связи; его ждут уже час; ротному не терпится; он вот-вот рассвирепеет.

Я отправляюсь вместе с Жозефом; он еще бледней обычного; как всегда, молчит и медленно тащится. Время от времени он останавливается и морщится от боли. Мы идем по ходам сообщения.

Вдруг навстречу нам идет человек. Это Вольпат. Он говорит:

— Я пойду с вами до конца спуска.

Ему нечего делать; он помахивает великолепной витой палкой и щелкает, словно кастаньетами, драгоценными ножницами, с которыми никогда не расстается.

Пушки молчат. Там, где скат скрывает нас от пуль, мы все трое вылезаем из траншеи. Льет дождь. Выйдя, мы сейчас же натыкаемся на сбо-

рище солдат. У их ног, во мгле, на бурой равнине, лежит мертвец.

Вольпат юркает в толпу и протискивается к простертому телу, вокруг которого стоят эти люди. Вдруг он оборачивается к нам и кричит:

— Это Пепен!

— А-а! — говорит Жозеф, почти теряя сознание.

Он опирается о мою руку. Мы подходим. Пепен лежит, вытянувшись во весь рост; руки судорожно сжаты; по щекам стекают струи дождя; лицо опухло и чудовищно посерело.

Здесь стоит солдат с киркой в руках; он вспотел; у него черноватые морщинистые щеки; он рассказывает о смерти Пепена:

— Он вошел в прикрытие, где спрятались боши. А мы этого не знали и стали прокуривать нору, чтоб очистить ее от немцев; мы проделали эту штуку и нашли беднягу мертвым; он вытянулся, как кошачья кишка, среди этой немчуры, которой он успел пустить кровь. Молодчина! Хорошо поработал! Могу это подтвердить: ведь я мясник из предместья Парижа.

— Одним парнем меньше в нашем взводе! — говорит Вольпат.

Мы идем дальше. Теперь мы — в верхней части оврага, там, где начинается плоскогорье; мы

пробежали его во время атаки вчера вечером, а сегодня уже не узнаем.

Равнина казалась мне совсем плоской, а на самом деле она покатая. Это невиданная живодерня. Она кишит трупами, словно кладбище, где разрыты могилы.

Здесь бродят солдаты; они разыскивают тех, кто был убит накануне и ночью, ворошат останки, опознают их по какой-нибудь примете, а не по лицу. Один солдат, стоя на коленях, берет из рук мертвеца изодранную, стершуюся фотографию — убитый портрет.

К небу от снарядов поднимаются кольца черного дыма; они выделяются вдали, на горизонте; небо усеяно черными точками: это реют стаи воронов.

Внизу, среди множества неподвижных тел, бросаются в глаза зуавы, стрелки и солдаты Иностранного легиона, убитые во время майского наступления; их легко узнать: они разложились больше других. В мае наши линии доходили до Бертонвальского леса, в пяти-шести километрах отсюда. Началась одна из страшнейших атак за время этой войны и всех войн вообще; солдаты единым духом добежали сюда. Они составляли тогда клин, который слишком выдался вперед,

и попали под перекрестный огонь пулеметов, стоявших справа и слева от пройденной линии. Вот уже несколько месяцев, как смерть выпила глаза и сожрала щеки убитых, но даже по этим останкам, разбросанным, развеянным непогодой и почти превращенным в пепел, мы представляем себе, как их крошили пулеметы; бока и спины продырявлены, тела разрублены надвое. Валяются черные и восковые головы, похожие на головы египетских мумий, усеянные личинками и остатками насекомых; в зияющих черных ртах еще белеют зубы; жалкие потемневшие обрубки раскиданы, как обнаженные корни, и среди них — голые желтые черепа в красных фесках с серым чехлом, истрепавшимся, как папирус. Из кучи лохмотьев, слипшихся от красноватой грязи, торчат берцовые кости, а сквозь дыры в тканях, вымазанных чем-то вроде смолы, вылезают позвонки. Землю устилают ребра, похожие на прутья старой, сломанной клетки, а рядом — измаранные, изодранные ремни, простреленные и расплющенные фляги и котелки. Вокруг разрубленного ранца, лежащего на костях и на охапке лоскутьев и предметов снаряжения, белеют ровные точки; если нагнуться, увидишь, что это суставы пальцев.

Всех этих непохороненных мертвецов в конце концов поглощает земля, кое-где из-под бугорков торчит только кусок сукна: в этой точке земного шара уничтожено еще одно человеческое существо.

Немцы, которые еще вчера были здесь, оставили без погребения своих солдат рядом с нашими; об этом свидетельствуют три истлевших трупа; они лежат один на другом, один в другом; на голове у них серые фуражки, красный кант которых не виден под серым ремешком; куртки — желто-серые, лица зеленые. Я рассматриваю одного из этих мертвецов; от шеи до прядей волос, прилипших к шапке, это — землистая каша; лицо превратилось в муравейник, а вместо глаз — два прогнивших плода. Другой — плоский, иссохший, лежит на животе; спина в лохмотьях; они почти развеваются по ветру; лицо, руки, ноги уже вросли в землю.

— Поглядите! Это свеженький!..

Среди равнины, под дождливым, холодеющим небом, на этом похмелье после оргии резни, воткнута в землю обескровленная, влажная голова с тяжелой бородой.

Это один из наших: рядом валяется каска. Из-под опухших век чуть виднеются застывшие, как

будто фарфоровые белки глаз; в зарослях бороды губа блестит, как улитка. Он, наверно, упал в воронку от снаряда, а ее засыпал другой снаряд и зарыл этого солдата по самую шею, как немца с кошачьей головой у «Красного кабачка».

— Я его не узнаю, — с трудом говорит Жозеф, медленно подходя.

— А я его знаю, — отвечает Вольпат.

— Этого бородача? — слабым голосом спрашивает Жозеф.

— Да у него нет бороды. Сейчас увидишь.

Вольпат садится на корточки, проводит палкой под подбородком трупа и отделяет от него ком грязи, которая служила этой голове оправой и казалась бородой. Он поднимает каску, надевает ее на голову мертвеца и прикладывает к его глазам вместо очков кольца своих знаменитых ножниц.

— А-а! — воскликнули мы. — Это Кокон!

— А-а!

Когда внезапно узнаешь о смерти кого-нибудь из тех, кто сражался рядом с вами и жил одной с вами жизнью, или когда видишь его труп, чувствуешь удар прямо в сердце, даже еще не понимая, что произошло. Поистине узнаешь почти о своем собственном уничтожении. И только поздней начинаешь сожалеть о выбывшем из

строя.

Мы смотрим на эту омерзительную голову, похожую на голову ярмарочной мишени; она так изуродована, что стирается всякое воспоминание о живом человеке. Еще одним товарищем меньше!.. Мы стоим вокруг него и ужасаемся.

— Это был…

Хочется что-то сказать. Но не находишь нужных, значительных, правдивых слов.

— Идем! — с усилием произносит Жозеф, страдая от острой физической боли. — У меня больше нет сил останавливаться.

Мы покидаем бедного Кокона, бывшего человека-цифру, бросив на него последний беглый, почти рассеянный взгляд.

— Трудно себе даже представить, — говорит Вольпат.

…Да, трудно себе даже представить. Все эти утраты в конце концов утомляют воображение. В живых нас осталось совсем мало. Но мы смутно чувствуем величие этих мертвецов. Они отдали все: они постепенно отдавали все свои силы и под конец отдали самих себя целиком. Они перешли за грань жизни: в их подвиге есть нечто сверхчеловеческое и совершенное.

* * *

— Погляди, этого ухлопали как будто давно, а… На шее почти иссохшего тела зияет свежая рана.

— Это крыса… — говорит Вольпат. — Трупы старые, но их жрут крысы… Видишь дохлых крыс? Может быть, они отравились; вот их сколько вокруг каждого трупа. Да вот этот бедняга сейчас покажет нам своих крыс.

Он приподнимает ногой распластанные останки, и действительно мы видим под ними двух дохлых крыс.

— Мне хочется найти Фарфаде, — говорит Вольпат. — Я ему крикнул, чтоб он подождал минутку, помнишь: когда мы бежали и он за меня ухватился. Бедняга! Если б он только дождался!

Он ходит взад и вперед, его влечет к мертвецам какое-то странное любопытство. Они равнодушно отсылают его друг к другу; на каждом шагу он всматривается в землю. Вдруг он испускает отчаянный крик. Он машет нам рукой и становится на колени перед каким-то трупом.

— Бертран!

Мы чувствуем острую, щемящую боль. Значит, он тоже убит, а ведь он больше всех воздейство-

вал на нас своей волей и ясностью мысли! Он пал, он пал, как всегда исполняя свой долг. Он нашел смерть на поле брани!

Мы глядим на него, отворачиваемся и смотрим друг на друга.

— А-а!..

Отвратительное зрелище! Смерть придала нелепо смешной вид человеку, который был так спокоен и прекрасен. Волосы растрепались и упали на глаза, усы мусолятся во рту, лицо распухло; мертвец смеется. Один глаз широко раскрыт, другой закрыт, язык высунут. Руки раскинуты крестом, пальцы растопырены. Правая нога тянется в сторону; левая — вывихнутая, влажная, бескостная; она пробита осколком; это и вызвало кровотечение, от которого, наверно, умер Бертран. По иронии судьбы, он дергался в предсмертных судорогах, как паяц.

Мы его бережно выпрямляем и укладываем, мы возвращаем покой этой страшной маске. Вольпат вынимает из кармана убитого бумажник, чтобы отнести в канцелярию, и благоговейно кладет среди своих бумаг, рядом с фотографией своей жены и детей.

— Да, брат, это был настоящий человек! Если он что говорил, ему можно было верить. Эх, как

он был нам нужен!

— Да, — отвечаю я, — он всегда был бы нам нужен.

— Беда!.. — бормочет Вольпат и дрожит.

Жозеф шепотом повторяет:

— Эх, черт подери, эх, черт подери!

По равнине снуют люди, как на городской площади. Идут отряды, посланные на работу, и солдаты-одиночки. Санитары терпеливо и старательно приступают к своей непосильной работе.

Вольпат уходит в траншею сообщить товарищам о наших новых утратах и особенно о великой потере: о смерти Бертрана. Он говорит Жозефу:

— Не будем терять друг друга из виду! Ладно? Время от времени пиши просто: «Все хорошо. Подпись: Камамбер». Ладно?

Он исчезает среди людей, столпившихся на этом пространстве, которым уже завладел мрачный, бесконечный дождь.

Жозеф опирается на мою руку. Мы спускаемся в овраг.

Откос, по которому мы спускаемся, называется «Ячейки зуавов»... Здесь во время майского наступления зуавы начали рыть индивидуальные прикрытия, у которых их и перебили. Некоторые убиты на самом краю ямы и еще держат в

истлевших руках кирку-лопату или смотрят на нее глубокими черными глазницами. Земля так переполнена мертвецами, что после обвалов обнаруживаются целые заросли ног, полуодетых скелетов, груды черепов, валяющихся на стене, как фарфоровые чаши.

Здесь, в недрах земли, лежит несколько пластов трупов; во многих местах снаряды вырыли самые старые из них и бросили на новые. Дно оврага сплошь устлано обломками оружия, клочьями белья, остатками утвари. Мы ступаем по осколкам снарядов, железной рухляди, кускам хлеба и даже сухарям, выпавшим из ранца и еще не размытым дождями. Миски, коробки консервов, каски пробиты пулями и кажутся шумовками всевозможных видов, а уцелевшие вывернутые колья продырявлены.

В этой низине окопы похожи на сейсмические трещины, и кажется, что на развалины после землетрясения вывалились целые возы разных предметов. А там, где нет мертвецов, сама земля стала трупом.

У поворота извилистого рва мы пересекаем Международный ход, все еще трепещущий разноцветными лохмотьями; беспорядочные кучи сорванных тканей придают этой тран-

шее вид убитого существа. Во всю длину, до земляной баррикады, навалены трупы немцев; они переплелись, они извиваются, как потоки осужденных грешников в аду; некоторые высовываются из грязных гротов, среди невообразимого нагромождения балок, веревок, железных лиан, туров, плетней и щитов. На этой баррикаде виден труп; он воткнут стоймя в кучу других трупов; там же, но в зловещей пустоте, наклонно стоит другой; все вместе это кажется большим обломком колеса, увязшего в грязи, оторванным крылом мельницы, и среди всего этого разгрома, среди нечистот и разлагающихся тел валяются открытки, иконки, благочестивые книжонки, листки с молитвами, отпечатанными готическим шрифтом; все это выпало из разодранных карманов. Испещренные словами бумажки, казалось, украсили тысячами белых цветов обмана и бесплодия эти зачумленные берега, эту долину уничтожения.

Я ищу надежное место, чтобы провести Жозефа; он постепенно теряет способность двигаться; он чувствует, как боль распространяется по всему телу. Я его поддерживаю; он уже ни на что не смотрит, а я смотрю на это разрушение.

Прислонившись к расщепленным доскам раз-

битой караульной будки, сидит унтер. Под глазом у него маленькая дырка: удар штыка в лицо пригвоздил его к этим доскам. Перед ним сидит человек, упершись локтями в колени, подперев кулаками шею; у него снесена вся крышка черепа; это похоже на вскрытое яйцо всмятку. Рядом с ним, как чудовищный часовой, стоит полчеловека: человек расколот, рассечен надвое от черепа до таза, он прислонился к земляной стенке. Неизвестно, куда делась вторая половина этого кола; глаз повис вверху; синеватые внутренности спиралью обвились вокруг единственной ноги.

Мы наступаем на согнутые, искривленные, скрюченные французские штыки, покрытые запекшейся кровью.

Сквозь брешь насыпи виднеется дно; там стоят на коленях, словно умоляя о чем-то, трупы солдат прусской гвардии; у них в спинах пробиты кровавые дыры. Из груды этих трупов вытащили к краю тело огромного сенегальского стрелка; он окаменел в том положении, в каком его застигла смерть, скрючился, хочет опереться о пустоту, уцепиться за нее ногами и пристально смотрит на кисти своих рук, наверно срезанных разорвавшейся гранатой, которую он держал; все его лицо шевелится, кишит червями, словно он их жует.

— Здесь, — говорит проходящий альпийский стрелок, — боши хотели проделать фортель: они выкинули белый флаг, но им пришлось иметь дело с «арапами», и этот номер не прошел!.. А-а, вот и белый флаг; им и воспользовались эти скоты!

Он подбирает с земли и встряхивает длинное древко; белый квадратный лоскут невинно развевается.

…Вдоль разбитого хода открывается шествие солдат; они несут лопаты. Им приказано засыпать окопы, чтобы тут же похоронить всех мертвецов. Так эти труженики в касках совершат дело правосудия: они вернут полям обычный вид, засыплют землей рвы, уже наполовину заваленные трупами захватчиков.

* * *

По ту сторону прохода меня окликают: там, прислонясь к колу, на земле сидит человек. Это дядюшка Рамюр. Из-под расстегнутой шинели и куртки на его груди видны повязки.

— Санитары меня перевязали, — говорит он глухим голосом, — но не смогут унести отсюда раньше вечера. Я знаю, что помру с минуты на минуту.

Он покачивает головой и просит:

— Побудь немного со мной!

Он взволнован. Из его глаз текут слезы. Он протягивает мне руку и удерживает меня. Ему хочется многое сказать мне, почти исповедаться.

— До войны я был честным человеком, — говорит он, глотая слезы. — Я работал с утра до ночи, чтобы прокормить семью. И вот я пришел сюда убивать бошей… А теперь меня самого убили… Послушай, послушай, не уходи, послушай!..

— Мне надо отвести Жозефа; он еле стоит. Я вернусь.

Рамюр поднимает на Жозефа заплаканные глаза.

— Как? Он не только жив, но еще и ранен? Избавлен от смерти? А-а, везет же некоторым женам и детям! Ну, ладно, отведи его и приходи обратно!.. Может быть, я еще дождусь тебя…

Теперь надо взобраться на другой склон оврага. Мы проникаем в бесформенное изувеченное углубление старого хода 97.

Вдруг воздух раздирают остервенелые свистки. Над нами проносится шквал шрапнели… В недрах бурых туч сверкают и рассыпаются страшным дождем аэролиты. Выстрелы грохочут, взвиваются в небо, разбиваются о склоны, разворачивают холмы и вырывают из них старые кости мира. И

громовые пожары вспыхивают по всей линии.

Опять начинается заградительный огонь.

Мы, как дети, кричим:

— Довольно! Довольно!

В этом неистовстве смертоносных машин, механического разрушения, преследующего нас повсюду, есть нечто сверхъестественное. Я держу Жозефа за руку; он оглядывается, смотрит на ливень взрывов, как затравленный, обезумевший зверь, и только бормочет:

— Как? Опять? Значит, еще не кончилось? Мы ведь всего насмотрелись, всего натерпелись!.. И вот начинается опять! Так нет же, нет!

Задыхаясь, он падает на колени, озирается с бессильной ненавистью и повторяет:

— Значит, это никогда не кончится, никогда?!

Я беру его под руку и поднимаю.

— Пойдем! Для тебя это скоро кончится!

* * *

Здесь, прежде чем отправиться дальше, надо подождать. Я хочу пойти к умирающему Рамюру: он меня ждет. Но за меня цепляется Жозеф, и к тому же у того места, где я оставил умирающего, суетятся люди. Я догадываюсь: теперь уже не стоит туда идти.

Дно оврага, где мы прижимаемся друг к другу под этой бурей, сотрясается, и при каждом залпе чувствуется глухой самум снарядов. Но в этом углублении мы не подвергаемся опасности. При первом затишье люди, пережидавшие, как и мы, отделяются от нас, идут в гору: это санитары; они с невероятными усилиями карабкаются и несут тела, напоминая упрямых муравьев, отбрасываемых песчинками; другие идут попарно или в одиночку; это раненые или связисты.

— Идем, — говорит Жозеф, согнувшись, измеряя взглядом склон, последнюю часть своего мученического пути.

Здесь деревья: ряд ободранных стволов ивы; одни кажутся широкими, плоскими; другие — зияют, словно стоячие отверстые гробы. Вся местность разворочена, изуродована; холмы, пропасти и мрачные бугры, как будто сюда низверглись все тучи бури. Над черной, истерзанной землей вырисовывается разгром стволов; тускло поблескивает бурое с молочными прожилками небо, похожее на оникс.

У отверстия хода 97 лежит поперек дуб; все его крупное тело скрючено и разбито.

Ход заткнут трупом. Голова и ноги застряли в земле. Струящаяся по дну мутная вода покрыла

туловище песчаным студнем. Под этим мокрым саваном выпирают грудь и живот, прикрытые рубашкой.

Мы переступаем через останки, ледяные, липкие и светлые, как брюхо ящерицы; это трудно: почва рыхлая и скользкая.

В эту минуту над нами раздается адский свист. Мы сгибаемся, как тростник. В воздухе разрывается шрапнель; она оглушает, ослепляет нас, обволакивает черным свистящим дымом. Перед нами солдат взмахивает руками и исчезает в какой-то бездне. Крики поднимаются и падают, словно обломки. Ветер срывает с земли черный покров и отбрасывает в небо; видно, как санитары ставят носилки, бегут к месту взрыва и поднимают что-то неподвижное. Я вспоминаю незабываемую ночь, когда мой брат по оружию Потерло, никогда не терявший надежды, раскинул руки и, казалось, улетел в пламя.

Наконец мы взбираемся на вершину; открывается страшное зрелище: на ветру стоит раненый; ветер встряхивает его, но он стоит как вкопанный; поднятый капюшон развевается; лицо судорожно подергивается, рот широко раскрыт; раненый воет, и мы проходим мимо этого кричащего дерева.

* * *

Мы добрались до нашей бывшей первой линии, откуда мы пошли в атаку. Мы сели на ступеньку для стрельбы и прислонились к выступам, сделанным в последнюю минуту саперами для нашего наступления. Проходит самокатчик Этерп и здоровается с нами. Пройдя мимо, он возвращается и вытаскивает из-за обшлага конверт, край которого вылезал оттуда и казался белым галуном.

— Это ты берешь письма покойного Бике? — спрашивает меня Этерп.

— Да.

— Вот его письмо: оно вернулось обратно. Адреса не разберешь.

Конверт, наверно, лежал в пачке сверху, попал под дождь, и теперь среди лиловатых разводов уже нельзя разобрать адрес. Только в углу уцелел адрес отправителя… Я осторожно вынимаю письмо: «Дорогая матушка…»

— А-а, помню!

Бике лежит под открытым небом в той самой траншее, где мы теперь отдыхаем. Он написал это письмо недавно, на стоянке в Гошен-л'Аббе, в сияющий великолепный день; он отвечал на

письмо матери, которая тогда тревожилась напрасно и рассмешила этим сына…

«Ты думаешь, мне холодно, я мокну под дождем, подвергаюсь опасности. Ничего подобного! Напротив. Все это кончилось. Теперь жарко, мы потеем; делать нам нечего, мы слоняемся и греемся на солнышке. Мне было смешно читать твое письмо…»

Я кладу это письмо в измятый, истрепанный конверт; если бы не случайность, старая крестьянка, по новой иронии судьбы, прочла бы эти строки как раз в то время, когда от тела ее сына под ледяной бурей осталась только горсть мокрого праха, стекающего темным ручейком по насыпям траншеи.

Жозеф откинул голову. Вдруг его глаза смыкаются; он тяжело дышит.

— Крепись! — говорю я.

Он открывает глаза.

— Эх, не мне надо это сказать, — отвечает он. — Поглядите вот на этих! Они возвращаются туда, и вы тоже скоро вернетесь. Для вас все это еще не кончилось. Да, надо быть сильным, чтоб выносить все это еще и еще!

XXI. Перевязочный пункт

Отсюда неприятель уже видит нас с наблюдательных пунктов, — больше нельзя вылезать из окопов. Сначала мы идем по ходу сообщения у Пилонской дороги. Траншея вырыта вдоль нее, а сама дорога исчезла: деревья вырваны с корнем, во всю длину траншея наполовину изгрызла и поглотила дорогу, а что оставалось, покрылось землей, заросло травой и за долгий срок смешалось с полями. Там, где прорвался мешок с землей, теперь грязная впадина, — на уровне наших глаз опять показывается изгрызенный, мощеный край бывшей дороги или корни деревьев, срубленных и использованных на укрепление насыпи. Насыпь изрезана неровно, как волна земли, обломков и черной пены, которая докатилась по огромной равнине до самого края рва.

Мы добираемся до скрещения ходов; на вершине пригорка, под серой тучей, наклонно стоит кол со зловещей надписью. Сеть ходов все сужается: со всех сторон к перевязочному пункту идут люди; их все больше и больше на этих подземных дорогах.

Мрачные переулки усеяны трупами. В стене, че-

рез неровные промежутки, зияют совсем свежие дыры, воронки; они резко выделяются в больной почве; землистые люди сидят на корточках, поджав колени к зубам, или стоят, прислонясь к стенке, молчаливые и прямые, как ружья, которые ждут рядом с ними. Некоторые из этих стоящих мертвецов обращают к живым забрызганные кровью лица или смотрят в пустоту неба.

Жозеф останавливается, чтобы передохнуть. Я говорю ему, как ребенку:

— Скоро придем, скоро придем!

Скорбный путь со зловещими укреплениями еще сужается. У нас появляется чувство удушья; кошмарный спуск становится все уже. Стены как будто сближаются, смыкаются, мы вынуждены поминутно останавливаться, пролезать, нарушая покой мертвецов; на нас напирают: все валом валят в тыл — здесь и ординарцы и калеки, раненые стонут, кричат, спешат, багровые от лихорадки или смертельно-бледные, и содрогаются от боли.

* * *

Вся эта толпа наконец докатывается, скопляется и стонет на перекрестке, где зияют отверстия — входы перевязочного пункта.

Врач размахивает руками и орет, чтоб отстоять

хоть немного свободного места от этого прилива, бьющего в преддверие убежища. Под открытым небом, у входа, он наскоро перевязывает раненых; по слухам, он и его помощники за целый день и за целую ночь еще не отдыхали ни минуты; это сверхчеловеческая работа.

Пройдя через его руки, часть раненых попадает в колодец этого пункта, другая эвакуируется в тыл, на другой перевязочный пункт, устроенный в траншее Бетюнской дороги.

В этой узкой впадине, на перекрестке рвов, как в глубине «Двора чудес»[10], мы ждем два часа; мы зажаты, стиснуты, почти задушены, ослеплены, мы напираем друг на друга, словно скот в тесном загоне, пропитанном запахами мяса и крови. С каждой минутой лица все больше искажаются и бледнеют. Какой-то раненый больше не может удержать слезы; они текут ручьями, он мотает головой, и слезы капают на соседей. У другого из раны хлещет кровь; он кричит: «Эй вы, займитесь мною!» Молодой солдат с воспаленными глазами воздевает руки к небу, воет, как грешник в аду: «Я горю!» — и шипит, и пышет жаром, словно костер.

---

[10] Примечания: 10

«Двор чудес» — квартал нищих, воров, калек и бродяг в средневековом Париже.

* * *

Жозефу сделали перевязку. Он проталкивается ко мне, протягивает мне руку и говорит:

— Рана, кажется, неопасная! Прощайте!

Нас сейчас же разделяет толпа. Я в последний раз смотрю на Жозефа, у него измученное лицо; он поглощен болью, никого и ничего не замечает; дивизионный санитар берет его под руку и уводит. Я их больше не вижу.

На войне и жизнь и смерть разлучают людей, прежде чем успеваешь об этом подумать.

Мне советуют не оставаться здесь и идти вниз, на перевязочный пункт, чтобы отдохнуть перед возвращением.

Здесь два входа, совсем низко, на самом уровне земли. Сюда выходит покатая галерея, узкая, как сточная канава. Чтобы проникнуть в помещение перевязочного пункта, надо сначала повернуться спиной к отверстию этой узкой трубы и спускаться задом, нащупывая ногой ступеньки; высокая ступенька — через каждые три шага.

Когда входишь внутрь, попадаешь словно в тиски, и кажется, что невозможно ни спуститься, ни подняться. Углубляешься в эту бездну, испытывая то же кошмарное чувство удушья,

которое все нарастало, пока приходилось пробираться по окопам, прежде чем добраться сюда. Наталкиваешься на стенки, останавливаешься, застреваешь. Приходится передвигать на поясе подсумки, брать мешки в руки, прижимать их к груди. На четвертой ступеньке чувство удушья усиливается, тебя охватывает смертельный ужас; чуть только поднимешь колено, чтобы податься назад, стукаешься головой о свод. В этом месте приходится ползти на четвереньках, все назад и назад. Чем ниже спускаешься, тем трудней дышать тяжелым, как земля, зачумленным воздухом. Рука чувствует холодное, липкое, могильное прикосновение глиняной стенки. Земля нависает, теснит со всех сторон, облекает в зловещее одиночество, как в саван, и веет в лицо запахом плесени. После долгих усилий добираешься до последних ступенек; вдруг доносится какой-то странный гул, он вырывается из ямы, как жар из натопленной кухни.

Наконец спускаешься на дно этого хода, но страшный сон еще не кончен; попадаешь в темный погреб, высотой не больше полутора метров. Чуть выпрямишься и разогнешь спину — с размаху больно стукаешься головой о балки, и вновь прибывшие более или менее громко, смотря по

состоянию духа и здоровья, неизменно ворчат: «Н-да, хорошо еще, что я в каске».

В углублении сидит на корточках человек. Это дежурный санитар; он однообразно твердит каждому посетителю: «Вытрите ноги!» Здесь уже выросла целая куча грязи, о нее спотыкаешься, в ней увязаешь у нижней ступеньки на пороге этого ада.

* * *

В гуле стонов и жалоб, среди острого запаха, исходящего от бесчисленных ран, в этой призрачной пещере, где ютится неясная, непонятная жизнь, я прежде всего стараюсь осмотреться. Вдоль прикрытия мерцают свечи, кое-где чуть рассеивая мрак. Вдали, как в конце подземного каземата, брезжит тусклый дневной свет. Можно различить какие-то большие предметы, расставленные вдоль коридора: это носилки, низкие, как гробы. Вокруг них и над ними суетятся согнувшиеся, исковерканные тени; у стен кишат вереницы и гроздья призраков.

Я оборачиваюсь. На другом конце, противоположном тому, где пробивается дневной свет, теснятся люди перед полотнищем парусины, протянутым от свода до земли. Сквозь охровую,

наверно, промасленную ткань виднеется свет. Там, в отгороженном закоулке, при ацетиленовой лампе, делают прививки против столбняка. Когда этот занавес приподнимают входящие или выходящие люди, свет внезапно озаряет оборванных раненых солдат. Они толпятся здесь в ожидании прививки, стоят, согнувшись под низким потолком, сидят, ползают на коленях. Они отталкивают друг друга, чтобы не потерять своей очереди или захватить очередь другого, и кричат, словно лают: «Я! Я! Я!» В этом углу, где идет глухая борьба, задыхаешься от теплой вони ацетилена и крови.

Я отхожу в сторону. Ищу, где бы присесть. Я продвигаюсь ощупью, по-прежнему согнувшись и вытянув руки.

При свете раскуриваемой кем-то трубки я замечаю скамью, занятую ранеными.

Глаза привыкают к полумраку; я смутно различаю ряд сидящих людей, забинтованные головы, руки, ноги.

Искалеченные, изуродованные, неподвижные или беспокойные люди цепляются за скамью, как утопающий за лодку; здесь целая коллекция разнообразных бед и страданий.

Один из них вдруг кричит, привстает и опять

садится. Его сосед в разорванной шинели покачивает обнаженной головой, смотрит на него и говорит:

— Ничего, потерпи!..

Эти слова он повторяет много раз, уставившись в одну точку, не снимая рук с колен.

Посреди скамьи сидит молодой человек и разговаривает сам с собой. Он летчик. У него ожоги на боку и на лице. Он весь горит в лихорадке; ему кажется, что его все еще жжет пламя, вылетающее из мотора. Он бормочет: «С нами бог!»

Зуав с перевязанной рукой нагнулся, как будто плечо стало для него непосильной ношей; он спрашивает летчика:

— Ты свалился с самолета, а?

— Чего я только не насмотрелся, — с трудом говорит летчик.

— Да и я насмотрелся! — перебивает его солдат. — Многие бы спятили, если б увидели то, что я видел.

— Садись сюда! — говорит мне кто-то из сидящих на скамье и дает мне место. — Ты ранен?

— Нет, я привел раненого и пойду обратно.

— Ну, значит, тебе еще хуже, чем раненым. Садись!

— Я был мэром у нас в деревне, — объясняет

другой, — но когда я вернусь, никто меня не узнает: ведь столько пришлось маяться!

— Я уже четыре часа торчу здесь, — стонет солдат, похожий на нищего; его рука трясется, голова опущена, спина согнута; он держит на коленях каску, как кружку для подаяния.

— Ждем, чтоб нас эвакуировали, — говорит мне раненый толстяк; он задыхается, потеет и как будто кипит всем телом; его усы свисают, словно отклеиваясь от мокрого лица, мутные глаза широко раскрыты. Его ран не видно.

— Оно самое, ждем, — говорит другой. — Сюда набились все раненые из нашей бригады да еще из других частей. Погляди-ка: здесь мусорный ящик целой бригады.

— У меня гангрена, у меня переломы, у меня все внутри изодрано в клочья, — причитает раненый, закрыв лицо руками. — А еще на прошлой неделе я был молодым, я был чистым. Меня подменили: теперь у меня старое, изуродованное, поганое тело, и приходится с ним возиться.

— Вчера мне было двадцать шесть лет, — говорит другой. — А сегодня сколько?

Он старается поднять свою трясущуюся голову, показать состарившееся за одну ночь, изможденное лицо; его щеки ввалились; в глазах тусклый

маслянистый свет, как в потухающем ночнике.

— Мне больно, — скромно говорит невидимое существо.

— Ничего, потерпи, — бессознательно повторяет другой.

Молчание. Летчик вскрикивает:

— С обеих сторон священники старались перекричать друг друга!

— Это что такое? — с удивлением спрашивает зуав.

— Да у тебя что, не все дома, бедняга? — восклицает стрелок, раненный в руку; она привязана к телу; он на минуту отводит глаза от своей окаменелой ладони и смотрит на летчика.

Летчик смотрит остановившимся взглядом и пытается описать таинственное видение, которое всюду его преследует:

— Сверху, с неба, знаете, мало что видно. Поля — квадратики, деревни кучки; дороги кажутся белыми нитками. Видишь еще какие-то длинные желобки; они как будто нацарапаны острием булавки на мелком песке. Сети, которые окаймляют равнину прерывистыми чертами, это — окопы. В воскресенье утром я летал над линией огня. Между нашими первыми линиями и немецкими, между крайними выступами, между ободками

двух огромных армий, которые стоят одна против другой, смотрят одна на другую, и не видят, и ждут, — расстояние небольшое; иногда сорок, иногда шестьдесят метров. А сверху, с высоты, мне казалось — один шаг. И вдруг вижу: и у бошей и у наших на этих параллельных линиях, которые как будто соприкасаются, что-то происходит: там какая-то каша, живое ядро, а вокруг что-то похожее на черные песчинки, рассыпанные по серому полю. Все это не движется, замерло, как будто нет тревоги! Я снизился, чтоб узнать, в чем дело.

Я понял: было воскресенье, и подо мной служили две мессы; я видел алтарь, священников и стадо молящихся. Чем больше я снижался, тем ясней я видел, что эти две толпы одинаковы, совсем одинаковы, так что все казалось нелепостью. Любая из этих двух церемоний была отражением другой. Мне казалось, что у меня в глазах двоится. Я снизился еще, в меня не стреляли. Почему? Не знаю. Я летел медленно. И вот я услышал… Я услышал рокот, единый рокот. Я разобрал, что это молитва; это было единое песнопение; оно поднималось к небу мимо меня. Я летал взад и вперед, чтобы послушать этот смутный хор; молитвы звучали с обеих сторон, но все-таки

сливались воедино, и чем больше две толпы хотели перекричать друг друга, тем больше голосов объединялось в небе.

Я летел очень низко и расслышал два возгласа, единый крик: «Gott mit uns!»[11] и «С нами бог!». В эту минуту в мой самолет попала шрапнель.

Раненый покачивает перевязанной головой. Его мучает это воспоминание. Он прибавляет:

— В эту минуту я решил: «Я сошел с ума!»

— Это жизнь сошла с ума, — говорит зуав.

У рассказчика горят глаза; он словно бредит; он старается высказать неотвязную мысль.

— Да как же это? Вы только представьте себе: две одинаковые толпы, обе выкликают одинаковые и все-таки противоположные слова, испускают враждебные и в то же время однородные крики? Что должен ответить господь бог? Я знаю, что он знает все, но, даже зная все, наверно, не знает, что делать.

— Вот так история! — восклицает зуав.

— Да богу на нас плевать, не беспокойся!

— И что тут удивительного? Ведь ружья тоже говорят на одном языке, а это не мешает народам палить друг в друга, да еще как!

---

[11] Примечания: 11
С нами бог! *(нем.)*

— Да, — замечает летчик, — но бог-то один. Я еще понимаю, что люди молятся, но куда эти молитвы доходят?

Беседа прекращается.

— Там лежит уйма раненых, — говорит мне человек с выцветшими глазами. — Прямо диву даешься, да, диву даешься, как это их перенесли вниз. Страшно подумать!

В эту минуту проходят два худых солдата колониального полка; они поддерживают друг друга, как пьяные, натыкаются на нас, пятятся и стараются найти местечко, где бы лечь.

— Эх, старик, — хриплым голосом заканчивает свой рассказ один из них, — в этой траншее мы просидели трое суток без еды; трое суток у нас ничего не было. Что поделаешь! Мы пили свою мочу, но ведь это не вода.

Другой в ответ рассказывает о холере:

— Вот скверная штука: лихорадка, рвота, колики! Я от нее подыхал!

— Но как же, — вдруг кричит летчик, настойчиво стараясь разобраться в чудовищной загадке, — но как же бог позволяет людям думать, что он с ними со всеми? Чего он смотрит? Почему он допускает, чтобы мы все в один голос кричали, как болваны, как сумасшедшие: «С нами бог!»

— «Да нет же, нет, вы ошибаетесь, бог с нами!»

Как бы в ответ с носилок раздается стон, и минуту в тишине звучит он один.

* * *

— Я, — слабым голосом говорит кто-то, — не верю в бога. Я знаю, что бога нет. А то почему ж мы страдаем? Нас могут угощать какими угодно россказнями и выдумывать для этого разные словечки, но чтобы все эти страдания ни в чем не повинных людей были от милосердного бога? Это чепуха!

— А я, — говорит другой солдат на той же скамье, — я не верю в бога из-за холода. Я видел, как люди мало-помалу превращались в трупы попросту от холода. Если бы существовал милосердный бог, холода не было б. В этом можно не сомневаться.

— Чтобы верить в бога, надо, чтобы не существовало то, что существует. А до этого далеко.

Несколько искалеченных людей, хоть и не видят друг друга, одновременно кивают головой в знак согласия.

— Правильно, — говорит один, — правильно!

Эти разбитые люди, одинокие, затерянные и, несмотря на победу, побежденные, начинают

прозревать. В трагедии событий бывают минуты, когда люди не только искренни, но и глубоко правдивы; когда им открывается истина.

— А я, — замечает новый собеседник, — не верю в бога, потому…

Эту фразу прерывает ужасный приступ кашля. Наконец солдат перестает кашлять; он посинел; на глазах выступили слезы; он тяжело дышит. Его спрашивают:

— Ты куда ранен?

— Я не ранен, я болен.

— А-а! — разочарованно восклицают солдаты тоном, означающим: «Ну, брат, это неинтересно!»

Кашлявший понимает и начинает расписывать свою болезнь:

— Мое дело пропащее: я харкаю кровью. У меня больше сил нет, и, знаешь, когда силы уходят, обратно они уж не возвращаются.

— Гм, — нерешительно произносят товарищи, но все-таки они убеждены в ничтожестве «штатских» болезней по сравнению с полученными на войне ранами.

Больной смиренно опускает голову и тихонько повторяет:

— Я больше не могу ходить! Куда же мне деть-

ся?

* * *

Горизонтальная бездна, сужаясь, простирается от носилок к носилкам, далеко-далеко, до бледного просвета; в этом подземелье кое-где мигает жалкое красноватое лихорадочное пламя свечей и время от времени кидаются тени; неизвестно отчего, поднимается суета. Неразбериха голов, рук и ног приходит в движение; повсюду, как незримые призраки, возникают и проносятся стоны и жалобы. Лежащие люди шевелятся и ворочаются.

В этой берлоге, среди пленников, униженных, искалеченных страданием, появляется плотная туша: это санитар; его тяжелые плечи покачиваются, как тюк, положенный поперек спины; зычный голос гулко отдается в погребе:

— Опять ты трогал перевязку! Теля вшивый! Так и быть, перевяжу тебя еще раз, братец, но если ты дотронешься до бинта, увидишь, что я с тобой сделаю!

В полумраке он перевязывает голову малорослого солдата; у раненого волосы взъерошены, борода торчком; опустив руки, он молча дает себя перевязать.

Санитар отходит от него, смотрит вниз и во весь голос кричит:

— Это что такое? Эй, друг, да ты, часом, не рехнулся? Это еще что за новости? Ложиться на раненого?!

Огромной рукой он хватает и встряхивает какое-то тело и из-под него, пыхтя и бранясь, вытаскивает другое, на котором первое вытянулось, как на тюфяке; между тем перевязанный карлик, как только его оставляют в покое, поднимает руки к голове и, ни слова не говоря, опять старается снять повязку, сжимающую его череп.

…Вдруг толкотня, крики; вырисовываясь на светящемся фоне, во мраке этого склепа мечутся какие-то тени. Их много; озаренные свечой, они обступили раненого и, бросаясь из стороны в сторону, с трудом удерживают его на носилках. У него отрезаны ступни. Ноги туго перетянуты, чтобы остановить кровотечение. Обрубки изошли кровью, и полотняные бинты кажутся красными штанами. У него потное, темное, дьявольское лицо; он бредит. Его придерживают за плечи и колени; несмотря на то что у него отрезаны ступни, он хочет соскочить с носилок и убежать.

— Пустите меня! — кричит он хриплым, дрожащим от гнева и напряжения басом, в котором

неожиданно прорываются высокие ноты, как в трубе, на которой хотят играть слишком тихо. — Черт подери! Пустите, говорят вам! У-ух! Да вы что думаете? Я останусь здесь, что ли? Ну, разойдись, или я вас всех изобью!

Он извивается и вытягивается так неистово, что тянет за собой тех, кто навалился на него всей своей тяжестью; свеча описывает зигзаги; ее держит, стоя на коленях, солдат; другой рукой он сжимает обезумевшего калеку; калека вопит так громко, что будит спящих и дремлющих. Со всех сторон оборачиваются, приподнимаются, прислушиваются к его воплям и бессвязным жалобам, но в конце концов он утихает. В ту же минуту в другом углу двое раненых, как бы распятые на земле, начинают ссориться, и, чтобы прекратить эту бешеную перебранку, приходится унести одного из них.

Я отхожу в угол, где дневной свет проникает между переплетенными балками, как сквозь сломанную решетку. Я шагаю через бесконечные ряды носилок, загромождающие всю эту подземную аллею, где я задыхаюсь. При свете блуждающих огней человеческие фигуры, простертые на носилках, больше не двигаются, только глухо стонут и кричат.

На край носилок присел человек; он прислонился к стене; изодранная куртка расстегнута, и видна белая впалая грудь, грудь мученика. Откинутая назад голова скрыта в тени, но видно, как бьется сердце.

Дневной свет каплями просачивается вдали; он появился после обвала: несколько снарядов, попавших в одно и то же место, пробили плотный земляной покров этого перевязочного пункта.

На плечах и на складках серо-голубых шинелей белеют отсветы. Чтобы глотнуть свежего воздуха, выбраться на минуту из этого кладбища, у отверстия теснятся полусонные, полумертвые люди, парализованные слабостью и тьмой. На границе мрака этот угол является оазисом: здесь можно постоять, не сгибаясь, и почувствовать ангельское прикосновение небесного света.

— Здесь снаряды выпотрошили нескольких парней, — говорит мне солдат, который ждет очереди при свете проникшего сюда убогого луча. — Ну и каша получилась! Погляди, вот поп собирает требуху, что высыпалась из них!

Старший санитар — толстяк в коричневой мохнатой фуфайке, придающей ему вид гориллы, — снимает кишки и внутренности, обвившиеся вокруг балок разрушенного сруба. Для этого он

пользуется винтовкой с примкнутым штыком: не нашлось достаточно длинной палки. Лысый, бородатый великан пыхтит и неловко действует оружием. У него добродушное, кроткое и жалкое лицо; стараясь зацепить в углах обрывки кишок, он ошеломленно охает. Его глаз не видно под синими очками; он громко пыхтит, у него маленькая голова и непомерно толстая шея конической формы.

Он прокалывает и наматывает на штык длинные ленты внутренностей и собирает куски мяса. Ногами он уперся в землю, между обломков, разбросанных в глубине этого закоулка, полного стонов; можно подумать, что это мясник, занятый какой-то дьявольской работой.

Я повалился в угол, закрыв глаза, и теперь почти не вижу людей, которые стонут, содрогаются и падают вокруг меня.

Я смутно улавливаю обрывки фраз. Солдаты рассказывают все те же удручающе однообразные истории о ранах.

— …Да, черт их дери! В этом месте казалось, что пули сталкиваются в воздухе…

— …У него была пробита голова навылет от виска к виску. Можно было бы продеть сквозь нее веревку.

Ближе ко мне кто-то в заключение бормочет:

— Во сне мне все кажется, что я его опять убиваю.

Среди заживо погребенных раненых жужжат еще другие обрывки фраз; словно постукивают бесчисленные колеса машины, которые все вертятся, вертятся…

Кто-то идет, нащупывая стену палкой, как слепой, и подходит ко мне. Это Фарфаде! Я его окликаю. Он поворачивается наугад в мою сторону и говорит, что у него поврежден глаз. Другой глаз тоже завязан. Я уступаю ему место и усаживаю у стены, придерживая за плечи. Он садится и по-чиновничьи покорно принимается ждать, как в зале ожидания.

Я повалился немного дальше на свободное место. Рядом лежат двое людей и тихонько беседуют; они так близко от меня, что я невольно слышу, о чем они говорят. Это два солдата Иностранного легиона, в касках и темно-желтых шинелях.

— Не стоит вертеться вокруг да около, — с горькой усмешкой говорит один из них. — На этот раз я пропал. Дело ясное: у меня пробиты кишки. Будь я в лазарете, в городе, мне бы сделали операцию вовремя, и, может быть, дело бы пошло на лад. А

здесь!.. Я был ранен вчера. Мы в двух-трех часах от Бетюнской дороги, правда? А от этой дороги сколько часов до лазарета, где можно сделать операцию? Да и когда еще нас подберут!.. В этом, конечно, никто не виноват, но не надо себя обманывать. Конечно, сегодня я еще не помру. Но долго мне не протянуть: ведь у меня все кишки в дырах. Тебе-то лапу вылечат или приделают другую. А я подохну.

— А-а! — говорит другой, убежденный логикой собеседника.

Первый продолжает:

— Послушай, Доминик, ты вел скверную жизнь. Ты здорово пил и с пьяных глаз натворил делов. У тебя большущий список судимостей.

— Не могу сказать, что это неправда, раз это правда, — отвечает другой. — Но тебе-то что?

— После войны, само собой, ты опять примешься за старое, и у тебя пойдут неприятности по делу с бочаром.

Другой вдруг свирепеет:

— Заткнись! А тебе какое дело?

— У меня не больше родных, чем у тебя. Никого, кроме Луизы, да и она не в счет: ведь мы не регистрировались. За мной не числится никаких дел, кроме кой-каких мелочей по службе. У меня

имя чистое.

— Ну так что? Плевать мне на это!

— Вот что я тебе скажу: возьми мое имя. Возьми, я тебе его даю: ведь ни у тебя, ни у меня родных нет.

— Твое имя?

— Тебя будут звать: Леонар Карлотти. Вот и все. Подумаешь, важное дело! Не все ли тебе равно? Тебе не придется отбывать наказание. Тебя не будут преследовать, и ты сможешь зажить счастливо, как жил бы я, если б эта пуля не пробила мне брюхо.

— А-а! Тьфу ты, черт! Ты это сделаешь? Ну, брат, прямо не верится.

— Возьми мое имя. Солдатская книжка у меня в шинели. Так вот, бери мою книжку, а мне дай свою: я унесу все это с собой. Ты сможешь жить, где угодно, кроме тех мест, где меня немного знают: в Лонгвилле, в Тунисе. Запомни это! Ну, да в книжке все записано. Прочти ее хорошенько! Я никому не скажу: чтобы такая штука удалась, надо держать язык за зубами!

Он умолкает и вдруг с дрожью в голосе говорит:

— Все-таки я, может быть, расскажу Луизе: пусть она знает, как я хорошо поступил, и не

поминает меня лихом, когда получит от меня прощальное письмо.

Но тут же он спохватывается и с величественным усилием качает головой:

— Нет, не расскажу. Хоть это и она. Женщины болтливы.

Доминик смотрит на него и все повторяет:

— А-а! Тьфу ты, черт!

Не замеченный ими, я ухожу от этой драмы, разыгрывающейся в жалком углу, среди толчеи и шума.

Я стараюсь протиснуться к выходу. Вдруг раздается глухой стук и целый хор восклицаний.

Это упал старший санитар. В брешь, которую он очищал от рыхлых кровавых останков, влетела пуля и пробила ему горло. Он растянулся на земле. Он вращает круглыми, ошеломленными глазами и брызжет пеной.

Скоро его рот и подбородок покрываются розовыми пузырьками. Под голову ему кладут мешок с перевязочными материалами. Мешок пропитывается кровью. Какой-то санитар кричит, чтобы не портили бинты: они нужны. Начинают искать, что подложить под голову; рана безостановочно выделяет красноватую пену. Находят только круглый хлеб и подсовывают его под затылок, на

котором слиплись волосы.

Раненого берут за руку, задают ему вопросы, но он только пускает все новые и новые пузырьки; их все больше; широкое лицо и черную бороду видно только сквозь это розовое облако. Он кажется фыркающим морским чудовищем; прозрачная розовая пена скопляется и заливает даже круглые, помутневшие глаза, с которых свалились очки.

Он тихонько хрипит. Как ребенок. Он умирает, поворачивая голову вправо и влево, как будто пытаясь сказать: «Нет».

Я смотрю на эту неподвижную тушу и вспоминаю, что это был добрый человек, простодушный, отзывчивый. И как я раскаиваюсь, что иногда бранил его за ограниченность мыслей и за поповскую неделикатность! И теперь, среди всех этих бед, я счастлив, да, счастлив: ведь как-то раз, когда он украдкой читал мое письмо, пока я писал, — я удержался и не наговорил ему слов, которые могли его незаслуженно оскорбить. Я вспоминаю еще, как он меня возмутил своими объяснениями относительно Пресвятой Девы и Франции. Тогда я не допускал, что он говорит искренне. А почему он не мог сказать это искренне? Ведь сегодня он взаправду убит!

…Вдруг удар грома. Почва и стены сотрясаются, и нас швыряет друг на друга. Нависшая над нами земля как будто падает на нас. Часть деревянных креплений рушится, и брешь расширяется. Еще удар, — и еще часть балок с грохотом превращается в прах. Труп старшего санитара откатывается, как ствол дерева, к стене. Все подпорки и стропила, все эти черные, плотные кости подземелья трещат так, что у нас чуть не лопаются барабанные перепонки, и у всех узников этого застенка вырывается крик ужаса.

Новые взрывы грохочут один за другим и разбрасывают нас во все стороны. Бомбардировка рассекает и пожирает, пронзает и укорачивает это убежище. Свистящий град снарядов колотит и разбивает земляную стену перевязочного пункта; в проломы врывается дневной свет. Сверхъестественно выступают воспаленные или смертельно-бледные лица; глаза потухают в агонии или лихорадочно блестят; тела закутаны в белое, залатаны чудовищными повязками. Все, чего не было видно, теперь выступило наружу. Перед этим прибоем картечи и угля, сопровождаемым ураганом света, обезумевшие люди, мигая, скрючившись, встают, разбегаются, стараются спастись. В ужасе, целыми пачками, они катятся

по низкой галерее, как в зыбком трюме погибающего корабля.

Летчик старается выпрямиться во весь рост, упирается затылком в свод, размахивает руками, призывает бога и спрашивает, как его зовут, каково его настоящее имя. Вихрь сбивает с ног и бросает на других раненых солдата, у которого из-под куртки, разверстой, как широкая рана, было видно, как билось сердце. Шинель человека, который однообразно повторял: «Ничего, потерпи!» — вдруг оказалась совсем зеленой, ярко-зеленой, наверно, от пикриновой кислоты, выделенной взрывом, потрясшим его мозг. Остальные, бессильные, искалеченные, шевелятся, тащатся, ползут, залезают в углы, как слепые кроты, как бедные раненые звери, преследуемые грозной сворой снарядов.

Бомбардировка ослабевает, затихает в туче дыма, который еще грохочет среди волн едкого газа. Я вылезаю через брешь и все еще среди отчаянного гула выбираюсь под открытое небо, проваливаюсь в рыхлую землю, спотыкаюсь о балки, утонувшие в ней, цепляюсь за обломки. Вот насыпь! Я ныряю в проходы, издали вижу: они так же мрачны и так же кишат толпами, которые со всех сторон вылезают из окопов и без

конца стекаются к перевязочным пунктам.

По целым дням, по целым ночам здесь будут катиться и сливаться длинные потоки людей, исторгнутых полем битвы, этой равниной; у нее есть внутренности, она истекает кровью и гниет там, в необозримом пространстве.

XXII. Прогулка

Пройдя по бульвару Республики, потом по авеню Гамбетты, мы выходим на площадь Торговли. Наши начищенные башмаки, подбитые гвоздями, звенят по городским тротуарам. Погода отличная. Яркое солнце сверкает, будто сквозь стекла теплицы; витрины магазинов блестят. Полы наших старательно вычищенных шинелей опущены, и, так как обычно они бывают подвернуты, на них обозначаются два синих квадрата.

Наша компания останавливается в нерешительности перед «Кафе префектуры», которое также называется «Большое кафе».

— Мы имеем право войти! — говорит Вольпат.

— Там очень много офицеров, — возражает Блер, дерзнув заглянуть поверх кружевной занавески в оконное стекло, между золотых букв.

— Да мы еще не все осмотрели в городе, — говорит Паради.

Мы идем дальше и, какие мы ни есть простые солдаты, производим смотр шикарным лавкам на площади: здесь модные, писчебумажные, аптекарские магазины; витрины ювелиров сверкают, как генеральские мундиры. Наши лица

расплываются в улыбку. Мы свободны от всякой работы до вечера, мы хозяева своего времени. Мы ступаем неторопливо, спокойно; руки свободны, болтаются взад и вперед.

— Что и говорить, мы неплохо пользуемся отдыхом! — замечает Паради.

Перед нами открывается город, производящий внушительное впечатление. Мы соприкасаемся с жизнью, с жизнью населения, с жизнью тыла, с обычной, нормальной жизнью. А в окопах мы так часто думали, что никогда не доберемся сюда!

Мы видим мужчин, дам, парочки, окруженные детьми, английских офицеров, летчиков, которых уже издали узнаешь по их стройности, изяществу и орденам, и солдат, которые могут выставить напоказ только выскобленную кожу, поношенную одежду и единственное украшение: номерную бляху, сверкающую на шинели; они осторожно вступают в этот прекрасный мир, избавленный от всяких кошмаров.

Мы ахаем, удивляемся, как путешественники, приехавшие издалека.

— Сколько народу! — восклицает Тирет.

— Да, богатейший город! — замечает Блер.

Проходит работница и поглядывает на нас.

Вольпат подталкивает меня локтем, пожирает

ее глазами, вытягивает шею и дальше показывает мне на двух других женщин, которые идут нам навстречу; у него блестят глаза; он убеждается, что город изобилует женским элементом.

— Ну и бабья же здесь!

— Да, старик, чего-чего, а ж… здесь есть!

Преодолев некоторую робость, наш Паради подошел к груде великолепных пирожных, разложенных на прилавке кондитерской, дотронулся до них и съел несколько штук. На каждом шагу приходится останавливаться и ждать Блера: его привлекают и зачаровывают витрины, где выставлены куртки и щегольские кепи, галстуки из светло-голубого тика и красные, блестящие, как красное дерево, башмаки. Блер достиг высшей точки преображения. Если раньше он побивал рекорд неряшливости и нечистоплотности, то теперь он опрятней нас всех, особенно с тех пор, как починили и усовершенствовали его вставную челюсть, сломанную во время атаки. Он держится непринужденно.

— Совсем юноша, — говорит Мартро.

Вдруг мы сталкиваемся лицом к лицу с беззубым существом, улыбающимся во весь рот. Из-под шляпы торчат реденькие черные волосы. Рябое лицо с крупными отвратительными черта-

ми похоже на морды, намалеванные на грубом холсте ярмарочных балаганов.

— Красавица! — восклицает Вольпат.

Мартро, которому она улыбнулась, онемел от восторга.

Так восхищаются солдаты, вдруг очутившись во власти очарований города. Они все больше наслаждаются этой красотой и невероятной чистотой. Они сызнова входят во вкус спокойной, мирной жизни, удобств и даже благополучия, ради которого, собственно, и построены дома.

— Знаешь, брат, мы бы к этому все-таки опять привыкли!

Между тем у магазина готового платья собирается публика: здесь торговец соорудил и выставил в витрине нелепую группу из деревянных и восковых кукол.

На песке, усеянном камешками, как дно аквариума, стоит на коленях немец в новехоньком вытюженном мундире и даже с картонным Железным крестом на груди; он протягивает деревянные розовые руки к французскому офицеру, завитой парик которого как будто служит подушкой для детского кепи; щеки у француза пухлые, румяные, а стеклянные глаза, как у небьющейся куклы, смотрят в сторону. Рядом с этими действу-

ющими лицами лежит игрушечное ружьецо. Название этого художественного произведения указано в надписи: «Камрад!»

— Ну и ну!..

Только эта ребяческая выдумка напоминает здесь о войне, свирепствующей где-то в мире; мы смотрим, пожимаем плечами и начинаем злиться; мы уязвлены, оскорблены; ведь у нас еще слишком свежи воспоминания. Тирет нахмурился и готовится съязвить; но это возмущение не прорывается; мы еще не пришли в себя от неожиданной перемены обстановки.

Вдруг подходит изящная дама, блестя и шурша фиолетовыми и черными шелками, окутанная облаком благоуханий; она замечает нас, протягивает руку в перчатке и касается пальчиками рукава Вольпата и плеча Блера. Блер и Вольпат сразу замирают, заколдованные прикосновением этой феи.

— Скажите, господа, вы ведь настоящие солдаты, с фронта! Вы видели все это в окопах, правда?

— Гм… да… да… — оробев, отвечают бедняги, польщенные до глубины души.

— А-а!.. Вот видишь? Они прямо оттуда! — шепчут в толпе.

Оставшись одни на чудесных плитах тротуара, Блер и Вольпат переглядываются и покачивают головами.

— Что ж, — говорит Вольпат, — в конце концов это приблизительно так и есть.

— Да, конечно, чего там!

Так в первый раз в этот день мы отреклись от истины.

* * *

Мы входим в «Кафе промышленности и цветов».

Посреди паркета протянута плетеная дорожка. На стенах, на четырехугольных столбах, поддерживающих потолок, и на стойке намалеваны лиловые вьюнки, большие маки цвета смородины, розы, похожие на кочаны красной капусты.

— Что и говорить, у нас, французов, есть вкус, — говорит Тирет.

— Немало пришлось попотеть, чтобы нарисовать все это, — замечает Блер, любуясь многоцветными выкрутасами.

— В таких заведениях не только выпить, но и посидеть приятно, — прибавляет Вольпат.

Тут Паради сообщает нам, что до войны по воскресеньям он частенько ходил в такие же

красивые кафе и даже покрасивей этого. Но то было давно, и он отвык. Он показывает на эмалированный, расписанный цветами рукомойник, который висит на стене:

— Здесь даже можно вымыть руки.

Мы степенно направляемся к рукомойнику. Вольпат подает Паради знак открыть кран.

— Пусти в ход плевательную машину!

Мы входим все пятеро в уже переполненный зал и садимся за столик.

— Пять рюмочек вермут-кассиса, ладно?

— Право, мы бы скоро привыкли к этому, — повторяем мы.

Штатские встают со своих мест и подсаживаются поближе к нам. Кто-то вполголоса говорит:

— Адольф, посмотри, у них у всех Военный крест!

— Это настоящие «пуалю»!

Мои товарищи это услышали. Они разговаривают друг с другом уже рассеянно, навострив уши, и бессознательно пыжатся.

Через минуту штатский господин и дама, которые говорили о нас, нагибаются к нам, кладут локти на белый мраморный столик и спрашивают:

— Тяжело жить в окопах, правда?

— Гм… Н-да… Ну, конечно, чего там… Не всегда весело бывает…

— Какая у вас поразительная физическая и моральная стойкость! Ведь в конце концов вы привыкаете к этой жизни, правда?

— Ну конечно, чего там… Привыкаем, очень даже привыкаем…

— А все-таки это страшная жизнь, и сколько страданий! — тараторит дамочка, перелистывая иллюстрированный журнал и разглядывая снимки — мрачные виды опустошенных местностей. — Адольф, зачем пишут о таких ужасах? Грязь, вши, тяжелые работы!.. Как вы ни храбры, а, наверно, вы несчастны!..

Вольпат, к которому она обращается, краснеет. Ему стыдно перенесенных и еще предстоящих бедствий. Он опускает голову и, может быть не отдавая себе отчета во всем значении своей лжи, отвечает:

— Нет, мы не так уж несчастны… Что вы, все это не так страшно!

Дама соглашается:

— Да, я знаю, ведь у вас есть и радости! Например, атака! Ах, это, должно быть, великолепно! Правда? Все эти войска, которые идут в бой, как на праздник! И рожок играет: «Там, наверху, можно

выпить!» — и солдатиков уже нельзя удержать, и они кричат: «Да здравствует Франция!» — и умирают с улыбкой на устах… Ах, мы не удостоились такой чести, как вы: мой муж служит в префектуре; сейчас он в отпуску; у него ревматизм.

— Я очень хотел бы быть солдатом, — говорит супруг, — но мне не везет: начальник нашей канцелярии не может без меня обойтись.

Посетители входят и выходят, сталкиваются, любезно уступают дорогу. Гарсоны снуют, разнося хрупкие сверкающие стаканы и рюмки, зеленые, красные и ярко-желтые с белым ободком. Скрип шагов по паркету, усыпанному песком, сливается с восклицаниями стоящих или сидящих завсегдатаев, с гулким звоном стаканов и стуком домино на мраморных столиках… В глубине щелкают шары из слоновой кости, и приятели, обступив биллиард, отпускают обычные шуточки.

— Каждому свое, милейший, — говорит прямо в лицо Тирету, за другим концом стола, румяный, холеный здоровяк. — Вы герои. А мы работаем ради экономического процветания страны. Это такая же борьба, как и ваша. Я приношу пользу, не скажу, что больше вас, но, во всяком случае, не меньше!

Я смотрю на Тирета, нашего балагура и ост-

ряка.

В дыму сигар видны его выпученные глаза; сквозь гул голосов чуть слышно, как он смиренно, устало отвечает:

— Да, правда… Каждому свое!

Мы потихоньку уходим.

* * *

Выйдя из «Кафе промышленности и цветов», мы молчим. Мы как будто разучились говорить. От недовольства мои товарищи морщатся и дурнеют. Теперь они, кажется, чувствуют, что при этих важных обстоятельствах не выполнили своего долга.

— Наговорили нам с три короба эти рогачи! — ворчит Тирет; его злоба прорывается и растет.

— Надо было сегодня нахлестаться, — грубо отвечает Паради.

Мы идем дальше, не проронив ни слова. Через некоторое время Тирет продолжает:

— Это слизняки, подлые трусы! Они хотели пустить нам пыль в глаза, надуть нас, но этот номер не пройдет! Если я опять встречусь с ними, — говорит он, все больше раздражаясь, — я уж сумею им ответить!

— Мы с ними больше не встретимся, — возра-

жает Блер.

— Через неделю нас, может быть, ухлопают, — заявляет Вольпат.

Недалеко от площади мы попадаем в толпу, которая выходит из ратуши и из какого-то государственного учреждения; оба здания с фронтоном и колоннами похожи на храмы. Это выходят из канцелярии чиновники: штатские всех видов и возрастов, старые и молодые военные; издали кажется, что они одеты почти так же, как мы… Но вблизи, под солдатским одеянием и галунами, обнаруживается их подлинная сущность: это — «окопавшиеся» и дезертиры.

Их ждут нарядные жены и дети. Торговцы заботливо запирают свои лавки, улыбаются, довольные законченным днем, и предвкушают завтрашний: они упоены беспрерывным ростом прибылей и звоном наполняющихся касс. Они остались у своего очага; им стоит только нагнуться, чтобы поцеловать своих детишек. При свете первых фонарей эти богатеющие богачи сияют; все эти спокойные люди с каждым днем чувствуют себя спокойней, но втайне молятся о том, в чем не смеют признаться. Под покровом вечера все они тихонько возвращаются домой, в свои благоустроенные жилища, или идут в кафе,

где их усердно обслуживают. Парочки, молодые женщины и мужчины, штатские или солдаты, у которых на воротнике вышит какой-нибудь предохранительный значок, встречаются и спешат сквозь затемненный мир в свою сияющую комнату; ночь сулит им отдых и ласки.

Проходя мимо приоткрытого окна первого этажа, мы замечаем, как теплый ветер вздувает кружевную занавеску и придает ей легкую, нежную форму женской сорочки.

Толпа движется и оттесняет нас: мы ведь здесь только бедные пришельцы.

Мы бродим по улицам в сумерках, уже золотящихся огнями: в городах ночь украшается драгоценностями. Помимо нашей воли, все, что мы видели, открыло нам великую правду: существует различие между людьми, более глубокое, более резкое, чем различие между нациями, — явная, глубокая, поистине непроходимая пропасть между людьми одного и того же народа, между теми, кто трудится и страдает, и теми, кто на них наживается; между теми, кого заставили пожертвовать всем, до конца отдать свою силу, свою мученическую жизнь, и теми, кто их топчет, шагает по их трупам, улыбается и преуспевает.

В толпе выделяются несколько человек, одетых

в траур; они, может быть, близки нам, но остальные радуются, а не печалятся.

— Неправда, нет единой страны! — вдруг с необычайной точностью говорит Вольпат, высказывая одну общую мысль. — Есть две страны! Да, мы разделены на две разных страны: в одной — те, кто дает, в другой — те, кто берет.

— Что поделаешь! Значит, так и полагается, чтоб счастливые пользовались несчастными.

— И чтоб счастливые были врагами несчастных.

— Что поделаешь! — говорит Тирет.

— Ну да ладно! — еще простодушней прибавляет Блер.

— Через неделю нас, может быть, ухлопают, — повторяет Вольпат.

Мы уходим, опустив головы.

XXIII. Работа

На траншею надвигается вечер. Целый день он приближался, невидимый, как неизбежность, и теперь мрак покрывает откосы длинного рва — края беспредельной раны.

В глубине этой трещины с утра мы беседовали, ели, спали, писали. С наступлением вечера в огромной канаве поднялась суматоха: сонные, вялые люди встряхнулись, зашевелились, столпились. Это час, когда надо идти на работу.

Подходят Вольпат и Тирет.

— Вот и еще один день прошел, день, как всякий другой! — говорит Вольпат, глядя на темнеющую тучу.

— Ничего еще не известно: наш день не кончился, — отвечает Тирет.

По долгому горькому опыту он знает, что здесь нельзя предвидеть даже самое недалекое будущее: даже заурядный, уже начавшийся вечер…

— Стройся!

Мы собираемся, по привычке медленно и рассеянно. Каждый является со своим ружьем, флягой, подсумком и мешком, в котором лежит кусок хлеба. Вольпат еще ест; щека у него оттопырилась и

ходит ходуном. Паради ворчит и лязгает зубами; нос у него посинел. Фуйяд волочит ружье, как метлу. Мартро рассматривает и кладет в карман затверделый слипшийся носовой платок.

Холодно. Моросит дождь. Все дрожат.

Издали кто-то однообразно гнусавит:

— Две лопаты, одна кирка… Две лопаты, одна кирка…

Мы гуськом подходим к складу инструментов, останавливаемся у входа и шагаем дальше, уже нагруженные лопатами и кирками.

— Все в сборе? Пошли! — говорит капрал.

Мы трогаемся в путь, шагаем. Идем вперед, неизвестно куда. Мы знаем только то, что скоро небо и земля сольются в единую бездну.

* * *

Мы выходим из траншеи, уже почерневшей, как потухший вулкан, и вот мы опять на равнине в голых сумерках.

Над нами темнеют тучи, набухшие дождем. Серая равнина тускло освещена, поросла грязной травой, покрыта лужами, словно шрамами. От одиноких деревьев остался только застывший в судорогах остов.

В сыром тумане почти ничего не видно. Впро-

чем, мы смотрим только под ноги, на скользкую землю.

— Ну и грязища!

Мы идем полями, месим жидкую липкую кашу; она расплывается и упорно прилипает к нашим ногам.

— Шоколадный крем!.. Крем мокко!..

На вымощенной части бывших дорог, опустевших, как и поля, наш отряд сквозь липкий пласт толчет ногами мелкие камни; они крошатся и хрустят под нашими подошвами.

— Ходишь будто по сухарям, помазанным маслом.

Кое-где на пригорках лежит густая черная грязь, засохшая, с глубокими трещинами, какая бывает у деревенских колодцев. Во впадинах — лужицы, лужи, пруды, озера; их неровные берега как будто изодраны в клочья.

Все реже слышатся шутки балагуров, которые сначала были бодры и свежи и, попадая в лужи, кричали: «Кря-кря!» Мало-помалу весельчаки мрачнеют и замолкают. Дождь льет сильней. Мы его слышим. Свет гаснет; затуманенное пространство сужается. По земле и в воде еще тянется полоса желто-свинцового света.

* * *

На западе под дождем вырисовываются мглистые монашьи силуэты. Это рота 204-го полка; солдаты закутались в брезент. Мимоходом замечаешь их серые, выцветшие лица, черные носы. Они похожи на крупных промокших волков. Скоро они исчезают из виду.

Мы идем дальше среди полей, поросших какими-то травами; эта глинистая равнина исполосована бесчисленными параллельными колеями, истоптана ногами, изрезана колесами в одном и том же направлении; следы ведут и на передовые позиции, и в тыл.

Мы перескакиваем через зияющие ходы. Это не всегда легко: после обвалов они расширились, края стали вязкими, скользкими. Нас одолевает усталость. Навстречу несутся повозки; они грохочут и забрызгивают нас грязью. Артиллерийские передки обдают нас тяжелыми струями воды. Вокруг колес грузовиков вертятся и расплескивают грязь какие-то жидкие колеса.

По мере того как темнеет, трясущиеся повозки, лошадиные шеи, всадники, карабины и развевающиеся плащи принимают в тумане причудливые очертания. Вдруг происходит за-

тор: зарядные ящики загромоздили дорогу. Кони останавливаются, топчутся, пока мы проходим. Слышится скрип осей, гул голосов, перебранка, слова команды и страшный океанский шум дождя. Над всей этой сумятицей дымятся крупы лошадей и плащи ездовых.

— Осторожней!

Справа на земле что-то лежит. Это ряды мертвецов. Проходя мимо, мы бессознательно стараемся не наступить на них и вглядываемся. Из черной груды торчат подметки, вытянутые шеи, исхудалые лица, судорожно сжатые поднятые руки.

Мы идем, мы идем дальше по этим бледным истоптанным полям, под небом, где развеваются тучи, изодранные, раскиданные, как тряпье, мы идем по чернеющим просторам, которые загрязнились от долгого соприкосновения со всей этой несчастной человеческой толпой.

Мы опять опускаемся в окопы.

Чтоб добраться до них, мы поворачиваем, и те, кто идет в арьергарде, видят, как в сумерках тянется на сто метров вся рота: черные человечки цепляются за склон, ползут один за другим и разъединяются; у них за плечами лопата и ружье; узкой вереницей эти люди идут, углубляются в темноту и словно с мольбой поднимают руки.

Эти ходы составляют еще часть второй линии; они битком набиты людьми. На пороге убежищ, где висит и треплется на ветру баранья шкура или серая парусина, сидят на корточках косматые люди и смотрят на нас бесцветными равнодушными глазами, как будто ничего не видя. Из-под других полотнищ парусины, спущенных донизу, торчат ноги и доносится храп.

— Черт подери! Как это далеко! — начинают ворчать солдаты.

Вдруг толчок; мы пятимся.

— Стой!

Приходится остановиться, пропустить другой отряд. Мы столпились на отлогих скатах траншеи и бранимся. Мимо нас проходит рота пулеметчиков со своей странной ношей.

Этому нет конца. Долгие остановки изнурительны.

Мускулы до боли напряжены. Топтание на месте невыносимо.

Едва мы опять трогаемся в путь, как приходится идти назад до запасного хода, чтобы дать дорогу телефонистам. Мы пятимся, как скот, томящийся в загоне.

Дальше мы идем уже медленней.

— Осторожно! Проволока!

Над траншеей извивается телефонный провод; кое-где он пересекает ее между двух кольев. Если он натянут слабо и повисает, его задевают наши ружья, солдаты стараются высвободить их и проклинают телефонистов за то, что они не умеют привязывать свои «бечевки».

Сплетение нависших проводов все гуще; солдаты вешают ружья на плечо прикладом вверх, опускают лопаты и идут дальше, согнувшись.

* * *

Внезапно шаг замедляется. Мы продвигаемся еле-еле, наталкиваемся на передних. Головная часть колонны, наверно, проникла в трудный проход.

Мы тоже добираемся до этого места; дорога снижается и ведет к зияющей трещине. Это Крытый ход. Наши товарищи уже исчезли за низкой «дверью».

— Значит, придется лезть в эту кишку?

Никто не решается войти в черное узкое подземелье. От всех этих колебаний и замедлений в хвосте колонны происходит толкотня, давка и внезапные остановки.

Едва мы вступаем в Крытый ход, как нас окутывает и разделяет густой мрак. Здесь веет запахом

болота и плесени. На потолке этого земляного коридора обозначаются белесые полосы и пятна; это щели и дыры в досках, сквозь них кое-где льются струи воды; хотя мы идем осторожно, мы спотыкаемся о куски дерева; ударяемся боком о вертикальные подпорки.

В этом бесконечном закрытом проходе воздух глухо сотрясается; здесь установлен мотор прожектора; надо пройти мимо него.

Мы продвигаемся ощупью, увязаем, утопаем; через четверть часа кто-то, изнемогая от мрака и сырости, устав натыкаться на что-то неизвестное, ворчит:

— К черту! Я зажгу свет!

Электрический фонарик вспыхивает ослепительной точкой. Сейчас же сержант орет:

— Черт знает что! Это что за остолоп зажег свет? Обалдел, что ли? Эй ты, вшивый, не понимаешь, что свет видать сквозь щели?

Озарив снопом лучей темные сырые стены, электрическая лампочка потухает. Снова мрак.

— Да кто увидит? — ворчит солдат. — Мы ведь не на первой линии.

— А-а! Кто увидит?!

Сержант, зажатый в наших рядах, продолжает шагать дальше, оборачивается на ходу (в темноте

мы это угадываем) и отрывисто ругается:

— Дерьмо! Ишь окаянный штукарь!

Внезапно он орет опять:

— Эй! Кто там курит? Это что за бардак!

На этот раз он хочет остановиться, но, как ни упирается, как ни цепляется за стенку, как ни пыхтит, ему приходится стремительно идти дальше: его уносит поток солдат; ругательства застревают у него в горле, а цигарка, вызвавшая этот гнев, тухнет во мраке и тишине.

* * *

Прерывистый стук усиливается; от машины пышет жаром; чем ближе мы подходим, тем сильней сотрясается тяжелый воздух. От храпа мотора у нас уже шумит в ушах, и мы содрогаемся всем телом. Становится еще жарче: как будто прямо в лицо нам дышит какое-то чудовище. Мы спускаемся в адскую мастерскую; от темно-красного света стены багровеют, и на них возникают наши грузные согбенные тени.

Среди все возрастающих дьявольских шумов, горячих ветров и отсветов мы идем к горнилу. Мы оглушены. Теперь кажется, что мотор несется по галерее нам навстречу, как остервенелый мотоциклет с фонарем, и вот-вот раздавит нас.

Обожженные, почти ослепленные, мы проходим мимо красного очага и черного мотора; маховик гудит, как ураган. Мы едва успеваем увидеть движение людей. Мы закрываем глаза, задыхаемся от близости этого раскаленного оглушительного дыхания.

Гул и жар неистовствуют уже за нашей спиной и ослабевают… Мой сосед бормочет:

— А этот болван говорил, что виден мой фонарик!

Но вот наконец свежий воздух! Небо темно-синее, чуть светлее земли. Дождь льет вовсю. Мы с трудом ступаем по липкой гуще. Башмаки увязают целиком, и каждый раз приходится с невероятными усилиями вытаскивать ноги из грязи. В темноте ничего не видно. Но при выходе из этой норы замечаешь балки, поваленные в расширенной траншее; это какое-то разрушенное прикрытие.

Вдруг прожектор вытягивает над нами свою длинную невероятную руку свет, блуждающий в пространстве. Среди вывороченных балок и сломанных подпорок мы видим трупы. Совсем близко от меня стоит на коленях мертвец; голова его еще держится; она свисает на спину; на щеке чернеет пятно с зазубринами из капель

запекшейся крови. Другое тело судорожно обхватило кол и повисло на нем. Третье свернулось калачиком; снаряд сорвал с него штаны; виден посиневший бок и живот. Четвертое — простерто на краю груды; рука лежит на земле. В этом месте проходят только ночью: днем здесь опасно. Все наступают на эту руку. При свете прожектора я ее разглядел: она сморщенная, высохшая, расплющенная, как клочок старой бумаги, какой-то омертвевший плавник.

Дождь льет. Шум его потоков заглушает все. Это страшное опустошение. Дождь чувствуешь на всем теле; он нас как будто обнажает. Мы проникаем в открытую траншею, а позади, во мраке, гроза терзает мертвецов, выброшенных сюда и цепляющихся за этот клочок земли, как за плот.

От ветра на наших лицах стынут капли пота. Скоро полночь. Вот уже шесть часов, как мы ходим по непролазной грязи.

В этот час парижские театры сверкают светом ламп и люстр, блистают роскошью, шуршат нарядами, дышат праздничным теплом; беспечная сияющая толпа болтает, смеется, улыбается, рукоплещет; зрители приятно взволнованы сменой острых, все усиливающихся впечатлений, какие вызывает в них комедия, или любуются

богатством и великолепием военного апофеоза, поставленного на сцене мюзик-холла.

— Дойдем ли мы? Черт подери, дойдем ли мы когда-нибудь?

Стон вырывается из груди солдат; они плетутся длинной вереницей в этих трещинах земли, несут ружья, лопаты или кирки под беспросветным, беспрерывным, бесконечным ливнем. Мы идем, мы все идем. От усталости мы опьянели; нас бросает во все стороны; мы отяжелели, промокли, мы ударяемся плечом о земляные стенки, мокрые, как и мы сами.

— Стой!

— Пришли?

— Да, пришли! Черта с два!

Все невольно пятятся; проносится слух:

— Заблудились!

Бродячая орда начинает понимать: мы сбились с пути на каком-нибудь повороте, и теперь попробуй найти дорогу!.. Больше того, из уст в уста передается слух, что за нами идет вооруженная рота; она направляется на передовые позиции. Дорога, по которой мы пошли, занята. Это затор.

Надо во что бы то ни стало попробовать добраться до траншеи, которую мы потеряли; говорят, она налево отсюда; надо проникнуть в

нее через какой-нибудь ход. Раздражение изможденных людей прорывается в жестах и жалобах. Люди тащатся, но вдруг бросают инструменты и отказываются идти дальше. При белом свете взвивающихся ракет видно, как они кучами бухаются на землю. Отряд растягивается во всю длину с юга на север и под безжалостным дождем принимается ждать.

Наш лейтенант потерял дорогу, но ему удается пробиться сквозь ряды в поисках бокового выхода. Открывается маленький ход, низкий и узкий.

— Сюда! Сюда! Вот дорога! — радостно кричит офицер. — Ну, друзья, вперед!

Все ворчат, но опять наваливают на плечи ношу… Вдруг солдаты, уже проникшие в траншею, разражаются проклятиями и ругательствами.

— Да здесь отхожее место!

Отсюда несет зловонием; понятно, что здесь такое. Кто сюда вошел, останавливается, отказывается идти дальше. Одни натыкаются на других; все столпились у этой клоаки.

— Лучше уж пройти полем, — кричит кто-то.

Но над насыпями со всех сторон тучу рассекают молнии, и смотреть из темной канавы на снопы гремящего пламени, которое вспыхивает вверху, так страшно, что никто не откликается на пред-

ложение этого сумасшедшего.

Волей-неволей пройдешь здесь, раз нельзя вернуться назад.

— Вперед, в дерьмо! — кричит первый в ряду.

Мы бросаемся туда, подавляя отвращение. Вонь становится невыносимой. Мы ступаем прямо по испражнениям и чувствуем, что в них увязают ноги.

Свищут пули.

— Нагнись!

Ход неглубок; приходится согнуться, чтобы не быть убитым, и продвигаться так по куче испражнений, усыпанных бумажками.

Наконец мы опять попадаем в проход, из которого вышли по ошибке. Мы опять пускаемся в путь. Всё идем и всё не приходим.

Ручей, протекающий по дну траншеи, смывает с наших ног вонючую, гнусную грязь; мы бредем молча, мы обалдели, мы шатаемся от усталости.

Все чаще, один за другим, грохочут орудийные залпы, и скоро начинает гудеть вся земля. Со всех сторон выстрелы или взрывы мечут беглый луч; он рассекает смутными полосами черное небо над нашими головами. Бомбардировка так усиливается, что свет уже не угасает. Среди беспрерывных молний и раскатов грома мы ясно

различаем друг друга: с касок струится вода, ремни намокли, поблескивает черное железо лопат и даже беловатые капли вечного дождя. Никогда еще я не присутствовал при подобном зрелище: поистине от пушечной пальбы возникает некий лунный свет.

Одновременно с наших и неприятельских позиций взвивается множество ракет; они объединяются в ослепительное созвездие, и в долине неба, мелькающего между брустверами, на мгновение возникает некая Большая Медведица; она освещает наш ужасающий путь.

* * *

Мы опять заблудились. На этот раз мы, наверно, совсем близко от передовых линий; но в этой части равнины углубление образует нечто вроде лохани, где пробегают тени.

Мы прошли траншею сначала в одном, потом в обратном направлении. Среди фосфоресцирующих залпов, прерывистых, как мигающее кино, над бруствером возникают два санитара; они стараются перенести через траншею нагруженные носилки.

Лейтенант, по крайней мере, знает, куда надо отвести отряд; он окликает санитаров:

— Где Новый ход?

— Не знаю.

Мы из рядов спрашиваем: «Далеко боши?» Санитары не отвечают. Они переговариваются между собой. Тот, что впереди, восклицает:

— Дальше не пойду! Устал.

— Да иди, черт! — сердито кричит другой, грузно шлепая по грязи и с трудом удерживая носилки. — Не плесневеть же здесь!

Они ставят носилки на бруствер; край выступает над траншеей. Проходя внизу, видишь ноги простертого человека; дождь поливает носилки и стекает с них почерневшими каплями.

— Это раненый? — спрашивают снизу.

— Нет. Покойник, — бурчит в ответ санитар, — он весит не меньше восьмидесяти кило! О раненых я не говорю: мы носим их уже два дня и две ночи, но возиться с мертвецами!.. Мочи больше нет таскать их!.. Беда!

Санитар перекидывает ногу через ров на бруствер: раскорячась, с трудом удерживая равновесие, он хватает носилки, старается перетащить их и зовет товарища на помощь.

Немного дальше сгибается тень: это офицер в плаще с поднятым капюшоном. Он подносит руку к лицу; на рукаве поблескивают два золотых

галуна.

Он, наверно, покажет нам дорогу… Но вдруг он спрашивает, не видали ли мы его батареи: он ее ищет.

Мы никогда не дойдем.

Но все-таки мы доходим.

Перед нами открывается угольно-черное поле, где торчит несколько тощих кольев; мы молча ползем во все стороны. Это здесь.

Разместить людей — трудное дело. Четыре раза нас заставляют идти вперед, потом назад, чтобы правильно построить роту во всю длину хода, который предстоит вырыть, и чтобы между партиями было одинаковое расстояние; в каждой из них один солдат с киркой и два — с лопатами.

— Еще три шага вперед!.. Нет, много. Шаг назад! Ну, шаг назад! Оглохли?.. Стой!.. Так!..

Этим размещением руководят лейтенант и офицер саперной части, словно выросший из-под земли. Вместе или каждый в отдельности, они суетятся, пробегают вдоль рядов, вполголоса выкрикивают слова команды прямо в лицо солдатам, иногда берут их за руку и ставят, куда надо. Работа, начатая в порядке, превращается в толкотню: изможденным людям беспрестанно приходится вставать с того места, куда они пова-

лились, и они сердятся.

— Мы впереди первой линии, — тихонько говорят вокруг меня.

— Нет, — шепчут другие, — мы как раз позади.

Никто этого не знает. Дождь все льет, хотя слабей, чем раньше. Но что нам дождь! Мы растянулись на земле. Лежать в размякшей грязи так хорошо, что мы остаемся равнодушны к дождю, который покалывает нам лицо, проникает под одежду, поливает наше губчатое ложе.

Но мы едва успеваем передохнуть. Нам не дают безрассудно погубить себя отдыхом. Надо сейчас же приниматься за работу. Уже два часа ночи: через четыре часа будет светло, и немцы нас заметят. Нельзя терять ни минуты. Лейтенант говорит:

— Каждый должен вырыть полтора метра в длину, семьдесят сантиметров в ширину и восемьдесят в глубину. Значит, на каждую партию приходится четыре с половиной метра. Советую поднажать: чем раньше кончите, тем раньше уйдете отсюда.

Знаем мы эти басни! В истории полка не было случая, чтоб отряд землекопов ушел до срока, в который необходимо очистить место, чтобы не быть замеченным и уничтоженным вместе со

своей работой.

Кто-то бормочет:

— Да ладно, ладно… Не стоит очки втирать! Прибереги заряд!

Но, кроме нескольких человек (их невозможно разбудить, им скоро предстоит сверхчеловеческий труд), все бодро принимаются за работу.

Мы начинаем пробивать первый пласт земли, поросший травами. Сначала работа идет легко и быстро, как все земляные работы на ровном месте, и нам кажется, что мы скоро кончим и сможем заснуть в нашей норе. Это придает нам силы.

Но оттого ли, что лопаты стучат, или оттого, что некоторые землекопы, вопреки запрещению, болтают довольно громко, наша работа привлекает внимание неприятеля: справа от нас вертикально взлетает ракета, скрежеща и чертя огненную линию.

— Ложись!

Все бросаются плашмя на землю, и бледный свет широко разливается над этим полем смерти.

Когда он погасает, люди шевелятся, встают и уже осторожней принимаются за работу.

Скоро взвивается длинный золотой стебель

другой ракеты и озаряет темную линию землекопов; они ложатся и застывают опять. Потом вторая ракета, потом третья.

Вокруг раздирают воздух пули. Кто-то кричит:

— Раненый!

Проходит раненый, его поддерживают товарищи; кажется даже, что раненых много. Мелькают кучки людей; они тащат друг друга и исчезают.

Место становится опасным. Мы нагибаемся, садимся на корточки. Некоторые скребут землю, стоя на коленях. Другие работают, вытянувшись, трудятся, поворачиваются и переворачиваются, как спящие, которых мучают кошмары. Верхний пласт поддавался так легко, а теперь земля становится глинистой и вязкой; ее трудно рыть; она прилипает к лопатам и киркам, как замазка. Каждый раз приходится ее соскабливать.

Уже вырастает тощий бугорок земли, каждому кажется, что он укрепит этот зачаток насыпи своей сумкой и скатанной шинелью, все прячутся за этим жалким прикрытием, когда разражается шквал…

Работая, мы потеем; как только мы останавливаемся, нас пронизывает холод. Поэтому приходится преодолевать мучительную усталость и опять приниматься за работу.

Нет, не успеем!.. Земля становится все тяжелее. Рыть все трудней. Какая-то колдовская сила противодействует нам; наши руки цепенеют. Ракеты преследуют нас, охотятся за нами, не дают нам долго двигаться, и, окаменев при каждой вспышке, мы вслед за этим должны справляться с еще более трудной задачей. Мучительно медленно, ценой тяжких страданий мы углубляем ров.

Почва размягчается, земля словно каплет, течет и рыхло, шумно сыплется с лопаты. Наконец кто-то кричит:

— Здесь вода!

Этот крик разносится по всей цепи землекопов.

— Здесь вода! Ничего не выйдет!

— Партия Мелюсона прорыла еще глубже, и там тоже вода. Мы попали в болото!

— Ничего не выйдет!

Мы останавливаемся, не зная, что делать. Во мраке слышен стук лопат и заступов; их швыряют на землю. Унтеры ощупью ищут офицеров, чтоб спросить указаний. И кое-где, не заботясь о дальнейшем, солдаты с упоением засыпают под лаской дождя и под сверканием ракет.

* * *

Приблизительно в это время, насколько я помню, и началась бомбардировка.

Первый снаряд долетел со страшным треском; воздух, казалось, разорвался надвое; над нами уже разорвались другие свисты, как вдруг от первого взрыва, среди величия ночи и ливня, приподнялась земля, и на возникшем багровом экране взмахнули руки.

Наверно, при свете ракет неприятель нас заметил, и прицел оказался правильным…

Солдаты бросились, скатились в вырытый ими, затопленный водой ров. Забились туда, зарылись, окунулись, прикрыв головы железом лопат. Справа, слева, спереди, сзади снаряды падали так близко, что от каждого взрыва мы сотрясались. Скоро плоть этого мрачного желоба, набитого людьми, покрытого лопатами, как чешуей, затряслась непрерывной дрожью под клубами дыма и вспышками пламени. На освещенном поле выли снаряды, взлетали во всех направлениях обломки и осколки. Не прошло и секунды, как все уже подумали то же самое, что бормотали несколько человек, уткнувшись носом в землю:

— Ну, теперь нам крышка!

Впереди, недалеко от того места, где лежал я, поднялась тень и крикнула:

— Давай уходить!

Простертые тела высунулись из-под савана грязи, стекавшей с них жидкими лохмотьями; эти призраки крикнули:

— Давай уходить!

Мы стояли на коленях, на четвереньках; мы поползли по канаве.

— Подвигайтесь! Да ну, подвигайтесь!

Но длинная вереница не шевелилась. Неистовые крики на нее не действовали. Те, что были в самом конце канавы, не двигались и преграждали путь всем нам.

Через лежавших, как через обломки, переползли раненые; они оросили всю роту своей кровью.

Наконец мы узнали причину нашей безнадежной неподвижности.

— Там, в конце рва, — заграждение!

Солдатами, находившимися здесь, как в тюрьме, овладела паника; послышались нечленораздельные звуки; люди метались на месте и вопили. Но как бы ничтожно ни было убежище в едва намечающемся рву, никто не смел вылезти из этого углубления и подняться над уровнем земли, чтобы бежать от смерти к поперечной траншее,

наверно находившейся поблизости… Раненые, которые переползали через живых, подвергались большой опасности; ежеминутно в них попадали пули, и они летели опять вниз, на дно рва.

Всюду поистине низвергался, лил и сливался с дождем огненный дождь. Мы сотрясались с головы до ног, оглушенные сверхъестественным грохотом. Вокруг спускалась, и скакала, и ныряла в волны света отвратительнейшая из всех смертей. Ослепляя нас, она отвлекала наше внимание то в одну, то в другую сторону. Плоть готовилась к чудовищному самопожертвованию! И только в эту минуту ужаса мы вспомнили, что уже не раз испытывали и претерпевали этот воющий, жгучий, вонючий ливень картечи. Только во время новой бомбардировки по-настоящему вспоминаешь те, которые уже перенес.

И опять безостановочно ползли другие раненые, пытаясь бежать от смерти; они наводили ужас; при соприкосновении с ними мы стонали и твердили про себя:

— Мы отсюда не выйдем живыми; никто не выйдет живым!

Внезапно в толпе людей образовалась брешь; все повалили назад, прочь отсюда.

Мы поползли, потом побежали, согнувшись, по

грязи и воде, сверкавшей багровыми отблесками и отсветами; мы шатались и падали, спотыкались о неровности дна, мы сами были похожи на тяжелые снаряды, гонимые громом над самой землей.

Мы пришли к концу рва, который недавно принялись рыть.

— Окопов больше нет! Ничего нет!

Действительно, на равнине, где начались наши земляные работы, глаз не обнаруживал убежища. Даже под стремительным полетом ракет видна была только равнина, огромная, ужасающая пустыня. Траншея, наверно, была недалеко: ведь мы пришли сюда по ходам сообщения. Но как найти ее?

Дождь усилился. На минуту мы остановились в мрачной нерешительности; мы столпились на краю испепеленного неизвестного мира. И вдруг мы бросились бежать кто куда. Одни устремились влево, другие — вправо, третьи — прямо вперед, и всех нас, совсем маленьких, видимых лишь мгновение, среди гремящего дождя, разделила завеса огненного дыма и черные обвалы.

* * *

Бомбардировка ослабела. Она бушевала больше всего в том месте, которое мы уже покинули. Но с минуты на минуту она могла смести и уничтожить все.

Дождь хлестал все неистовей. Это был потоп в ночи. Над нами навис такой непроницаемый мрак, что ракеты освещали только затуманенные, исполосованные дождем куски равнины, по которой шли, бежали, метались растерянные призраки.

Трудно сказать, сколько времени я бродил с нашим отрядом. Мы шли через рытвины. Напрягая взгляд, мы старались пробраться к насыпи и рву, к траншее, к этой гавани спасения, затерянной где-то там, в бездне.

Наконец сквозь грохот битвы и стихий раздался бодрящий крик:

— Траншея!

Но вдруг насыпь зашевелилась. Здесь оказались люди: они отделялись от нее и разбегались.

— Не останавливайтесь здесь, ребята! — закричали нам беглецы. — Не подходите! Беда! Все валится. Окопы ползут к чертовой матери, землянки закупорены! Все затопила грязь! Зав-

тра утром окопов больше не будет. Конец всем здешним окопам!

Мы двинулись дальше. Куда? Мы забыли спросить дорогу, а едва эти промокшие люди показались, их поглотила тьма.

Среди этого опустошения рассыпался даже наш маленький отряд. Мы больше не знали, с кем идем. Каждый шел куда глаза глядят; то один, то другой исчезал во мраке, ища спасения.

Мы поднимались и спускались по склонам. Я заметил согнувшихся, сгорбленных людей; под глухими зарницами они карабкались по скользкому скату; грязь тянула их назад; ветер и дождь отталкивали их.

Мы попали в болото; мы увязали по колено. Мы шли, высоко поднимая ноги и шумно расплескивая воду, как пловцы. Мы продвигались еле-еле, с каждым шагом все медленней и мучительней.

Здесь мы почувствовали приближение смерти, но вдруг наткнулись на какую-то глиняную плотину, пересекавшую болото. Мы пошли по скользкой поверхности этого жалкого островка, и раз, чтобы не сорваться вниз с рыхлого извилистого хребта, нам пришлось согнуться и продвигаться, держась руками за мертвецов, почти затонувших здесь. Я нащупал плечи, ока-

менелые спины, лицо, холодное, словно каска, и трубку, зажатую в зубах.

Мы выбрались отсюда, приподняли голову и услышали недалеко голоса.

— А-а! Голоса! Голоса!

Они показались нам такими сладостными, как будто кто-то называл нас по именам. Мы все вместе подошли ближе, чтобы послушать этот братский шепот.

Голоса зазвучали явственней; они раздавались из-за пригорка, открывшегося перед нами, как оазис, а между тем мы не могли разобрать слова. Звуки смешивались; мы ничего не понимали.

— Что это они говорят? — как-то странно спросил один из нас.

Мы бессознательно перестали искать дорогу.

Нас охватило беспокойство. У нас возникло подозрение. Вдруг мы расслышали отчетливо произнесенные слова:

— Achtung!.. Zweites Geschьtz! Schuss…[12]

И сзади на этот телефонный приказ отозвался пушечный залп.

Мы остолбенели от удивления и ужаса.

— Где мы? Разрази гром! Где мы?

---

[12] Примечания: 12
Слушай!.. Второе орудие! Огонь… *(нем.)*

Мы повернули, но все-таки медленно; мы отяжелели от усталости и сожаления, мы побрели, пронзенные болью, словно множеством пуль; нас притягивала вражеская земля; у нас еле хватало сил отказаться от заманчивой возможности умереть здесь же.

Мы вышли на широкую равнину. И тут мы бросились на землю у пригорка и не могли двинуться дальше.

Мы больше не шевелились. Дождь хлестал нас по лицу, стекал по спине и груди, проникал сквозь суконные штаны, наполнял водой башмаки.

На рассвете нас, может быть, убьют или возьмут в плен. Но мы не думали больше ни о чем. Мы больше ничего не могли, мы больше ничего не знали.

XXIV. Заря

На том месте, где мы свалились от усталости, мы ждем рассвета. Он приближается понемногу, ледяной, зловещий; он озаряет свинцовое пространство.

Дождь перестал. В небе его больше нет. Свинцовая равнина с зеркалами потускневшей воды, казалось, вышла не только из ночи, но из моря.

Полусонные, мы иногда приоткрываем глаза, цепенеем, холодеем, изнемогаем; мы присутствуем при зрелище невероятного возвращения света.

Где же окопы?

Видны только озера, и среди этих озер — линии молочно-белой стоячей воды.

Воды еще больше, чем мы думали. Вода затопила все; она разлилась повсюду, и предсказание встреченных нами солдат сбылось: окопов больше нет. Эти каналы — погребенные окопы. Это всемирный потоп. Поле битвы не спит, оно погибло. Там, вдали, жизнь, может быть, продолжается, но где — не видно.

Чтоб это увидеть, я встаю с трудом, пошаты-

ваясь, как больной, и ложусь опять. Шинель страшной тяжестью притягивает меня к земле. Рядом со мной три бесформенных, чудовищных глыбы. Одна из них — Паради; он покрыт необычайно толстой корой грязи, на месте подсумков у пояса что-то раздулось; Паради тоже встает. Остальные спят и не двигаются. А почему такая тишина? Небывалая тишина. Ни звука; только время от времени среди этого невероятного оцепенения мира в воду падает ком земли. Никто не стреляет… Снарядов нет: они не разрываются. Пуль нет: ведь люди…

Люди? Где люди?

Мало-помалу удается их разглядеть. Некоторые спят недалеко от нас; с головы до ног они покрыты грязью, почти превращены в неодушевленные предметы.

На некотором расстоянии я различаю других: они свернулись и слиплись, как улитки, вдоль насыпи, округленной и наполовину поглощенной водами. Это неподвижный ряд грубых свертков; по ним течет вода и грязь; эти люди такого же цвета, как и земля, с которой они смешались.

Я стараюсь прервать молчание; я спрашиваю у Паради (он тоже смотрит в их сторону):

— Это убитые?

— Сейчас увидим, — вполголоса отвечает он. — Полежим здесь немножко. Наберемся сил и пойдем к ним.

Мы переглядываемся и смотрим на тех, кто свалился здесь. У всех изможденные лица; это даже не лица; это нечто грязное, стертое, измученное; глаза налились кровью. С начала войны мы видели друг друга во всех видах, и все-таки никто никого больше не узнаёт.

Паради всей своей тушей оборачивается и смотрит в другую сторону.

Вдруг я замечаю, что его пробирает дрожь. Он протягивает огромную руку, покрытую корой грязи, бормочет:

— Там… там!..

По воде, выступающей из траншеи, на участке, исполосованном, изрезанном рвами, плавают какие-то круглые рифы.

Мы плетемся к ним. Это — утопленники.

Их головы и руки погружены в воду. Спины с ремнями просвечивают сквозь известковую жижу; голубые полотняные куртки вздулись; черные ступни выворочены и насажены криво на распухшие ноги, как ступни, прилаженные к ногам уродливых кукол. Волосы торчат дыбом, как водяные травы. Вот на самой поверхности

виднеется лицо; запрокинутая голова лежит на краю насыпи; тело исчезло в зыбкой могиле. Мертвец уставился в небо. Желтая одутловатая кожа этой маски кажется дряблой и сморщенной, как остывшее тесто.

Это — часовые; они стояли здесь. Они не ранены: если бы они были ранены, это было бы видно по цвету воды. Они не могли выкарабкаться из грязи. Они старались вылезть из этой отвесной, вязкой ямы, которая медленно, неизбежно наполнялась водой, но их еще больше тянуло на дно. Они погибли, цепляясь за оползающую землю.

Там — наши передовые линии, а там — такие же молчаливые и затопленные окопы немцев.

Мы идем к этим рыхлым развалинам. Мы проходим по равнине, которая еще вчера была областью ужаса; у этой страшной границы, наверно, остановилась в своем порыве наша последняя атака; здесь полтора года пули и снаряды безостановочно бороздили пространство, а на днях их косые линии бешено скрестились над равниной от горизонта к горизонту.

Теперь это — сверхъестественное поле отдыха. Оно устлано людьми: они спят или тихонько шевелятся, приподнимают руку, приподнимают голову, оживают или медленно умирают.

Неприятельская траншея окончательно тонет в самой себе, погружается на дно глубоких низин, болотистых воронок, заваленных грязью, и образует полосу луж и колодцев. Местами еще торчащие края движутся, дробятся и опускаются. В одном месте в эти глубины можно заглянуть.

В этой умопомрачительной грязи нет трупов. Но вот нечто страшней трупа: рука, одинокая, голая, белая, мертвенная, словно камень; она торчит из дыры, которая смутно обозначается в стене сквозь воду. Здесь солдат был заживо погребен в убежище; он только успел высунуть руку.

Подойдя совсем близко, замечаешь, что кучи земли, наваленные в ряд на остатки укреплений этой засыпанной бездны, — человеческие существа. Они умерли? Спят? Неизвестно. Во всяком случае, отдыхают.

Это немцы или французы? Неизвестно.

Один из них открыл глаза и смотрит на нас, покачивая головой. Мы его спрашиваем:

— Француз?

Потом по-немецки:

— Немец?

Он не отвечает, опять закрывает глаза и возвращается в небытие. Мы так и не узнали, кто он.

Невозможно определить происхождение этих

существ ни по их одежде, покрытой пластами грязи, ни по головному убору (голова не покрыта или повязана шерстяной тряпкой под мокрым вонючим капюшоном), ни по оружию (в руках не винтовка, а что-то длинное, липкое, похожее на странную рыбу).

Перед нами и за нами — люди с мертвенными лицами, лишенные дара речи и воли, люди, отягченные землей, облекшей их в черный саван, — все они похожи друг на друга, словно голые. Из этой ужасающей ночи со всех сторон появляются выходцы с того света, облаченные в одинаковые мундиры беды и грязи.

Это конец всего, конец всему. Это огромная передышка на одно мгновение, это эпическое прекращение войны.

Раньше я думал, что страшнейший ад войны — пламя снарядов; потом я долго думал, что это — удушливые, вечно суживающиеся подземелья. Но оказалось, ад — это вода.

Поднимается ветер. Ледяной ветер. Нас пронизывает его ледяное дыхание. На затопленной равнине, усеянной телами, между червеобразными безднами вод, между островками неподвижных людей, слипшихся, как пресмыкающиеся, над этим хаосом, который распластывается и тонет,

чуть обозначаются легкие струи. Здесь медленно перемещаются отряды, звенья караванов, составленных из существ, согнувшихся под тяжестью касок и грязи; эти существа плетутся, рассеиваются и исчезают в тусклых далях. Заря так грязна, что кажется: день кончился.

Уцелевшие люди переселяются, кочуют по этой опустошенной степи, гонимые, изнуренные, устрашенные великой несказанной бедой, жалкие; некоторые ужасающе смешны: засасывающая грязь, от которой они бегут, их почти раздела.

Проходя, они озираются, вглядываются, узнают в нас людей и кричат сквозь ветер:

— Там еще хуже, чем здесь! Наши ребята падают в ямы, их уже нельзя вытащить. Кто этой ночью ступил ногой на край ямы, погиб… Там, откуда мы идем, из земли торчат голова и плечи; они еще шевелятся, а все тело уже засосала грязь. Там есть дорога с плетеным настилом; кое-где он подался, прорвался, и теперь это западня… А там, где больше нет настила, теперь озеро в два метра глубины… А ружья! Некоторые ребята так и не смогли их вытащить. Поглядите на этих: пришлось отрезать до пояса полы их шинелей (черт с ними, с карманами!), чтобы вызволить

людей, но у них и сил больше не хватало тащить эту тяжесть… С нашего Дюма едва удалось снять шинель: она весила не меньше сорока кило, мы вдвоем еле-еле подняли ее… А вот с этого голоногого земля сорвала все: штаны, кальсоны, башмаки. Неслыханное дело!

Они рассыпаются в разные стороны, а за этими отставшими солдатами плетутся еще другие; все спасаются, охваченные ужасом; из-под ног летят тяжелые комья грязи. Беглецы мало-помалу исчезают; закутанные громады всё уменьшаются.

Мы встаем. Под ледяным, ветром мы качаемся, как деревья.

Мы подвигаемся мелкими шажками. Вдруг мы сворачиваем в сторону — нас привлекает странное зрелище: две фигуры странно переплелись; они стоят плечо к плечу, обняв друг друга за шею. Что это? Поединок двух врагов, застигнутых смертью? Они застыли в этом положении и больше не могут отпустить друг друга? Нет, они оперлись друг о друга, чтобы поспать. Они не могли лечь на землю; она уходила из-под них и сама хотела на них лечь; они нагнулись, обхватили друг друга за плечи и, увязнув по колени, заснули.

Мы не нарушаем их покоя и уходим прочь от этого памятника беспомощной братской любви.

Скоро мы и сами останавливаемся. Мы слишком понадеялись на свои силы. Мы не можем идти дальше. Это еще не кончено. Мы опять сваливаемся в размякший угол траншеи и шлепаемся о землю, как сбрасываемый навоз.

Мы закрываем глаза. Время от времени мы их приоткрываем.

К нам, шатаясь, идут какие-то люди. Они нагибаются и тихо, устало говорят между собой. Один из них бормочет:

— Sie sind tot. Wir bleiben hier[13].

Другой отвечает: «Ja»[14]. Это слово звучит как вздох.

Но они замечают, что мы шевелимся. Они сейчас же подходят к нам. Человек чуть слышно говорит:

– *Мы поднимаем руки.*

Они с облегчением вздыхают, ложатся на землю, и, словно это конец их мучениям, один из них, разрисованный грязью, как дикарь, пытается улыбнуться.

— Оставайся здесь! — отвечает ему Паради, не поворачивая головы: он положил ее на буго-

---

[13] Примечания: 13
Они умерли. Останемся здесь *(нем.).*

[14] Примечания: 14
Да *(нем.).*

рок. — Если хочешь, можешь пойти с нами.

— Да, — говорит немец. — С меня довольно.

Мы ему не отвечаем.

Он спрашивает:

— А другим можно?

— Да, — отвечает Паради, — если хотят, пусть тоже остаются.

Все четверо растянулись на земле.

Один из них начинает хрипеть. Из его груди вырывается какая-то рыдающая песнь. Тогда другие привстают, становятся на колени вокруг него и вращают глазами. Мы приподнимаемся и смотрим на них. Хрип затихает, и черноватое горло, которое трепетало, как птичка, больше не двигается.

— Er ist tot![15] — говорит кто-то из немцев.

Он начинает плакать. Другие опять укладываются спать. Плачущий тоже засыпает.

Подходят несколько солдат; они шатаются, внезапно останавливаются, как пьяные, или ползут, как черви; они хотят укрыться здесь, в углублениях, куда мы уже забились, и мы засыпаем вповалку в этой братской могиле.

---

[15] Примечания: 15
Он мертв! *(нем.)*

* * *

Мы просыпаемся. Переглядываемся. Мы с Паради вспоминаем. Мы возвращаемся к жизни, к дневному свету, к кошмару. Перед нами опять пустынная равнина с мелкими затопленными бугорками, местами заржавленная равнина цвета стали; здесь блестят полосы воды и лужи, и на всем пространстве, как нечистоты, валяются тела; они еще дышат или истлевают.

Паради говорит мне:

— Это и есть война!

— Да, это и есть война, — глухо повторяет он. — Именно это, а не что-нибудь другое.

Я понимаю, что он хочет сказать: «Война — это не атака, похожая на парад, не сражение с развевающимися знаменами, даже не рукопашная схватка, в которой неистовствуют и кричат; война — это чудовищная, сверхъестественная усталость, вода по пояс, и грязь, и вши, и мерзость. Это заплесневелые лица, изодранные в клочья тела и трупы, всплывающие над прожорливой землей и даже не похожие больше на трупы. Да, война — это бесконечное однообразие бед, прерываемое потрясающими драмами, а не штык,

сверкающий, как серебро, не петушиная песня рожка на солнце!»

Для Паради это ясно; он вспоминает нашу прогулку в городе и ворчит:

— Помнишь ту бабенку в кафе? Она болтала об атаках, пускала слюни и говорила: «Ах, это, наверно, очень красиво…»

Стрелок, который лежит на животе в гнусной грязи, распластавшись, как плащ, поднимает голову и восклицает:

— «Красиво»! Да, черта с два! Нечего сказать! Может быть, корова тоже говорит «красиво», когда на бойни в Ла-Виллет гонят стадо быков.

Он сплевывает грязью; рот у него выпачкан, лицо мертвенное.

— Пусть говорят: «Так надо!» — бормочет он прерывистым, надорванным голосом. — Ладно. Но «красиво»! Черта с два! — Он отмахивается от этой мысли. И бешено восклицает: — Потому и говорят, что им на нас начхать!

Он опять сплевывает, но, обессилев, падает в свою грязевую ванну и кладет голову на собственный плевок.

* * *

Преследуемый своими мыслями, Паради окидывает взглядом неописуемую картину местности и, не отрываясь от нее, говорит:

— Это и есть война!.. И так везде! Кто мы такие и что здесь такое? Ничего. Все, что мы видим, это только одна точка. Помни, что сегодня утром в мире на протяжении трех тысяч километров происходят такие же, или приблизительно такие же, несчастья или еще похуже!

— И, кроме того, — говорит товарищ (он лежит рядом с нами, а мы его не узнаем даже по голосу), — завтра начнется то же самое. Ведь все это уже началось сызнова позавчера и несколько дней тому назад!

Стрелок с усилием, как будто разрывая грязь, отдирается от земли, где под ним образовалось углубление, похожее на мокрый гроб, и садится в этой яме. Он моргает, встряхивает головой, чтоб очистить лицо от комьев прилипшей грязи, и говорит:

— На этот раз мы еще выживем! И кто знает, завтра, может быть, тоже! Кто знает!

Паради, покрытый тяжелыми пластами черной и желтой грязи, старается выразить мысль о том,

что войну трудно даже представить и измерить во времени и пространстве.

— Когда говорят о войне вообще, — размышляет он вслух, — как будто не говорят ничего. Слова застревают в горле. Мы здесь смотрим на это, как слепые…

Немного дальше гудит бас:

— Да, все это невозможно себе представить.

При этих словах кто-то внезапно разражается смехом:

— Да и как это представить себе, не побывав здесь?

— Для этого надо рехнуться! — говорит стрелок.

Что-то лежит; Паради нагибается.

— Спишь?

— Нет, но никуда не двинусь, — сдавленным, испуганным голосом отвечает комок, покрытый илистым чехлом, таким бугорчатым, как будто его истоптали. — Вот что я тебе скажу: у меня, наверно, пробит живот. Но я в этом не уверен, а посмотреть боюсь.

— Давай поглядим…

— Нет, пока не надо, — отвечает раненый. — Я еще немножко полежу.

Другие слабо шевелятся, шлепают, ползут на

локтях; сбрасывают с себя адский липкий, давящий покров. Понемногу у этих мучеников оцепенение холода проходит, хотя дневной свет больше не разгорается над болотом, куда ведет равнина. Опустошение становится все безотрадней.

Раздается голос, печальный, как похоронный звон:

— Сколько ни рассказывай потом, все равно не поверят. Не по злобе, не для того, чтобы поиздеваться над тобой, а так, просто не смогут поверить. Если будешь еще жив, и сможешь ввернуть словечко, и когда-нибудь скажешь: «Мы ходили на ночные работы, нас обстреливали, мы чуть не утонули в болоте», — тебе ответят: «А-а», — и, может быть, прибавят: «Небось невесело было, туго вам пришлось!» Вот и все. Никто не узнает. Знать будем мы одни.

— Нет, мы сами забудем, даже мы сами! — восклицает кто-то.

— Конечно, забудем… Мы, брат, уже забываем!

— Мы всего натерпелись!

— И каждая новая беда переполняет чашу. Мы не так устроены, чтобы все это вместить… Это растекается во все стороны: мы слишком малы.

— Конечно, все забывается! Не только все ве-

ликие и неисчислимые беды за все время, что это продолжается: переходы, когда стонет земля, ноги стерты в кровь, кости болят, а ноша как будто растет до небес, или дни, когда от усталости забываешь даже свое имя, когда приходится топтаться на месте, когда приходится стоять, не двигаясь, и уже не держишься на ногах; непосильный труд, бесконечные ночи, когда борешься со сном, подстерегаешь врага (а он везде) или когда ложишься спать, а вместо подушки навоз и вши. Забываешь даже «чемоданы», пулеметы, мины, удушливые газы и контратаки. Мы видим все, как оно есть, только в те минуты, когда это происходит. Но все это забывается, уходит неизвестно как, неизвестно куда, и остаются только имена, только названия, как в военной сводке.

— Это правильно, — говорит человек в ошейнике, не поворачивая головы. — Когда я был в отпуску, я заметил, что забыл немало вещей из моей прежней жизни. Несколько своих писем я перечитал, как новую книгу. И все-таки, несмотря на это, я забыл, как мучился на войне. Люди и думают-то немного, но больше всего забывают. Они ведь машины забвения. Вот что такое люди.

— Значит, никто, даже мы сами этого не запомним! Значит, все это горе окончательно

забудется!

Ко всем их страданиям прибавляется еще весть об этом неизбежном великом бедствии; люди сгибаются еще ниже и приникают к жалкому клочку земли, уцелевшему от потопа.

— Эх! Если б об этом помнили!

— Если бы об этом помнили, — говорит другой, — войны больше не было бы!

Третий, в заключение, произносит прекрасные слова:

— Да, если б об этом помнили, война не была б так бесполезна.

Но вдруг кто-то привстает, стряхивает с обеих рук грязь и, черный, как большая увязшая летучая мышь, глухо кричит:

— После этой войны больше не должно быть войн!

В этом углу нас, еще слабых, беспомощных, ветры хлещут и треплют так сильно, что поверхность почвы сотрясается, словно обломок среди потопа, и этот крик человека, как будто желающего улететь, вызывает такие же крики:

— После этой войны больше не должно быть войн!

Мрачные, гневные возгласы этих людей, прикованных к земле, вросших в землю, раздаются

все громче и разносятся ветром:

— Довольно войн! Довольно войн!

— Да, довольно!

— Воевать глупо! Глупо! — бормочут они. — Да и что это все означает, все это, все это, о чем нельзя даже рассказать?

Они ворчат, рычат, как звери, столпившись на клочке земли, который хочет отнять у них стихия. На их лицах висят изодранные маски. Их возмущение так велико, что они задыхаются.

— Мы созданы, чтобы жить, а не околевать здесь!

— Люди созданы, чтобы быть мужьями, отцами, людьми, а не зверьми, которые друг друга ненавидят, травят, режут!

— И везде, везде — звери, дикие звери, загнанные, загубленные звери. Погляди, погляди!

…Я никогда не забуду этих беспредельных полей; грязная вода смыла все краски, срыла все выступы, смешала все очертания; изъеденные жидкой грязью, они расползаются и растекаются во все стороны, заливая искромсанные сооружения из кольев, проволок, балок, и среди этих мрачных стиксовых просторов сила рассудка, логики и простоты вдруг потрясла этих людей, как безумие.

Их явно волнует и мучает мысль: попробовать зажить настоящей жизнью на земле и стать счастливыми. Это не только право, но и обязанность, и конечная цель, и добродетель; ведь общественная жизнь создана только для того, чтобы облегчать каждому личную внутреннюю жизнь.

— Шить!

— Нам!.. Тебе!.. Мне!.. Всем!..

— Довольно войн! Эх!.. Воевать глупо!.. Больше того… Хуже…

Эта смутная мысль, этот отрывистый ропот порождает отклик… Кто-то поднимает голову, увенчанную грязью, и, открыв рот на самом уровне земли, произносит:

— Сражаются две армии: это кончает самоубийством единая великая армия!

* * *

— Да и кто мы такие вот уже два года? Несчастные, невообразимо несчастные люди, да еще и дикари, бандиты, мерзавцы, скоты!

— Хуже! — бормочет солдат, не находя другого выражения.

— Да, согласен!

В это скорбное утро люди, измученные устало-

стью, иссеченные дождем, потрясенные целой ночью грохота, уцелев от извержения вулкана и наводнения, начинают постигать, до какой степени война и физически и нравственно отвратительна; она не только насилует здравый смысл, опошляет великие идеи, толкает на всяческие преступления, но и развивает все дурные инстинкты: себялюбие доходит до жестокости, жестокость — до садизма, потребность наслаждаться граничит с безумием.

Они представляют себе все это, как недавно смутно представляли свои бедствия. Их гнев рвется наружу; они пробуют выразить его словами, стонут, орут. Они как бы силятся освободиться от заблуждения, от невежества, которое пятнает их душу, как грязь — тело, и хотят наконец узнать, за что эта кара.

— Так как же? — восклицает кто-то.

— Как же? — повторяет другой еще настойчивей.

Ветер потрясает затопленные пространства и человеческие глыбы, простертые или коленопреклоненные, неподвижные, словно камни и плиты.

— Войн больше не будет, когда не будет больше Германии! — кричит какой-то солдат.

— Нет, не так надо сказать! — восклицает другой. — Это еще не все.

Завывание ветра почти заглушает эти слова, тогда солдат поднимает голову и повторяет их.

— Германия и милитаризм одно и то же! — яростно отчеканивает другой. — Это немцы захотели воевать и подготовили войну. Германия — это милитаризм.

— Милитаризм… — повторяет другой.

— А что это такое? — спрашивают его.

— Это… это значит быть разбойниками.

— Да. Ты вот говоришь, что сегодня милитаризм зовется Германией. А завтра как его будут звать?

— Не знаю, — отвечает кто-то низким голосом, звучащим, как голос пророка.

— Надо… Надо…

— Надо драться! — хрипло бурчит какая-то глыба, которая со времени нашего пробуждения каменела во всепожирающей грязи. — Надо! (Это тело грузно переворачивается.) Надо отдать все, что у нас есть, наши силы, нашу шкуру, наше сердце, всю нашу жизнь, все радости, что нам еще остались! За это каторжное существование надо еще хвататься обеими руками. Надо все вынести, даже несправедливость, которая царит кругом,

и позор, и всю мерзость, надо целиком отдаться войне, чтобы победить! Но если надо принести такую жертву, — в отчаянии прибавляет человек-глыба, повернувшись еще раз, — то потому, что мы воюем ради всеобщего блага, а не ради какой-нибудь страны, против заблуждения, а не против какой-нибудь страны.

— Нет, — возражает первый собеседник, — надо убить войну во чреве всех стран!

— А все-таки, — бурчит стрелок, сидя на корточках, — некоторые воюют, и у них в голове другая мысль. Я видел молодых, им плевать было на идеи. Для них главное — национальный вопрос, а не что-нибудь другое; для них война — вопрос родины: каждый хочет возвеличить свою родину за счет других стран. Эти парни воевали, и хорошо воевали.

— Эти парни молоды. Они молоды! Их надо простить.

— Можно хорошо работать и не знать хорошенько, что делаешь.

— А правда, люди — сумасшедшие! Это всегда нужно помнить!

— Шовинисты — это вши... — ворчит какая-то тень.

Они повторяют несколько раз, словно продви-

гаясь ощупью:

— Надо убить войну! Да, войну! Ее самоё!

Тот, кто вобрал голову в плечи и не поворачивался, упорствует:

— Все это одни разговоры. Не все ли равно, что думать! Надо победить, вот и все!

Но другие уже начали доискиваться истины. Они хотят узнать, заглянуть за пределы настоящего времени. Они трепещут, стараясь зажечь в себе свет мудрости и воли.

В их голове роятся разрозненные мысли, с их уст срываются нескладные речи:

— Конечно... Да... Но надо понять самую суть... Да, брат, никогда нельзя терять из виду цель.

— Цель? А разве победить в этой войне — не цель? — упрямо говорит человек-тумба.

Двое в один голос отвечают ему:

— Нет!

* * *

В эту минуту слышится глухой шум. Вокруг раздаются крики; мы вздрагиваем.

Целая глыба земли оторвалась от пригорка, к которому мы кое-как прислонились. И среди нас появился труп. Он сидит, вытянув ноги.

От обвала вода, скопившаяся на верхушке буг-

ра, прорвалась, потоками полилась на труп и на наших глазах омыла его.

Мы кричим:

— У него совсем черное лицо!

— Что это за лицо? — задыхаясь, спрашивает кто-то.

Живые собираются в кружок, как жабы. Эту голову, выступающую, словно барельеф, на стене, обнаженной обвалом, невозможно разглядеть.

— Лицо? Да ведь это не лицо!

Вместо лица — волосы.

Вдруг мы замечаем, что этот как будто сидящий труп лежит на животе, согнут и вывернут.

Молча, в ужасе мы глядим на эту вертикальную спину вывихнутого трупа, торчащую вместо груди, на повисшие, закинутые назад руки и вытянутые ноги, упирающиеся в мокрую землю кончиками пальцев.

Наш спор, прерванный появлением этого страшного мертвеца, возобновляется. Кто-то яростно кричит, как будто труп его слушает:

— Нет! Надо одолеть не бошей, а войну!

— Что ж, ты не понимаешь, что надо раз навсегда покончить с войной? Если это откладывать, все, что мы сделали, пойдет прахом. Ни к чему. Пройдут еще два или три года, или еще больше, а

мы все будем мучиться понапрасну.

* * *

— Эх, брат, если все, что мы вынесли, еще не конец этой великой беды, лучше умереть. Я дорожу жизнью: у меня жена, дети, дом, у меня виды на будущее после войны… И все-таки уж лучше умереть.

— Я умру сейчас, — как эхо, отзывается сосед Паради (он, наверно, взглянул на свою рану), — мне жалко умирать, ребят жалко!

— А мне, — шепчет другой, — не жалко умирать: я умираю ради своих детей. Я умру; значит, я знаю, что говорю, и я говорю: «Им не придется воевать!»

— А я, может быть, не умру, — говорит третий, весь трепеща от надежды, которую не может скрыть даже перед обреченными, — но я буду мучиться. Так вот, я говорю: «Тем хуже»; я даже говорю: «Тем лучше»; я готов страдать еще больше, если буду знать, что это на что-нибудь пригодится!

— Значит, после войны придется еще воевать?

— Да, может быть…

— А ты хочешь еще драться?

— Да, потому что я больше не хочу войны, —

ворчит кто-то.

— И придется драться, может быть, не с иностранцами.

— Да, может быть…

Налетает порыв ветра сильней других; мы закрываем глаза и задыхаемся. Но шквал уносится, подхватывая, как добычу, и подбрасывая комья грязи, взбаламучивая воду в траншеях, зияющих, как могила целой армии. Мы продолжаем:

— В конце концов, в чем величие войны?

— В величии народов.

— Но ведь народы — это мы!

Солдат, сказавший это, вопросительно смотрит на меня.

— Да, — отвечаю я, — да, друг, правильно! Сражаются только нашими руками. Материал войны — это мы. Война состоит только из плоти и душ простых солдат. Это мы образуем целые равнины мертвецов и реки крови, все мы, и каждый из нас незаметен: ведь нас великое множество. Опустошенные города, разрушенные деревни, вся эта пустыня — мы. Да, всё это мы, только мы!

— Война — это народы; без них не было бы ничего, ничего, кроме какой-нибудь перебранки на расстоянии. Но решают войну не народы, а хозяева, которые ими правят.

— Теперь народы борются за то, чтоб избавиться от этих хозяев!

— Значит, мы работаем и на пруссаков тоже?

— Да, надо надеяться, что и на них, — отвечает кто-то из этих несчастных солдат.

— Ну, нет, черта с два! — заскрежетав зубами, восклицает стрелок.

Он покачивает головой и замолкает.

— Позаботимся о себе! Не надо совать нос в чужие дела, — сердито бурчит упрямец.

— Нет, надо… Ведь те, кого ты называешь «чужими», совсем не чужие, а такие же люди, как и мы!

— Почему это всегда мы работаем на всех и за всех?

— Да так, — отвечает кто-то и повторяет: — Тем хуже или тем лучше!

— Народы — ничто, а они должны стать всем, — говорит солдат, вопросительно глядевший на меня; он произнес, не подозревая этого, историческую фразу, которой больше ста лет, но придал наконец этим словам великий всемирный смысл.

И человек, спасшийся от бури, встает на четвереньках в грязи, поднимает голову; лицо у него обезображено, как у прокаженного. Он жадно

вглядывается в беспредельные дали.

Он глядит, глядит. Он старается открыть врата неба.

* * *

— Народы должны столковаться через головы тех, кто так или иначе их угнетает. Одно великое множество должно столковаться с другим.

— Все люди должны наконец стать равными.

Эти слова приходят к нам на помощь.

— Равными… Да… Да… Существуют великие начала справедливости, истины. В них веришь, обращаешься к ним, как к свету. И главное начало — равенство.

— Есть еще свобода и братство.

— Но главное — это равенство!

Я говорю им, что братство — мечта, смутное чувство, лишенное содержания; человеку не свойственно ненавидеть незнакомца, но так же не свойственно его любить. На братстве ничего не построишь. На свободе тоже; она слишком относительна в обществе, где все неизбежно зависят друг от друга.

Но равенство всегда остается самим собой. Свобода и братство — только слова, а равенство — это нечто существенное. Равенство — это великая

формула людей.

Эти люди из народа провидят еще неведомую им Революцию, превосходящую все прежние; они сами являются ее источником: слово уже поднимается, поднимается к их горлу, и они повторяют:

— Равенство!..

Они как будто по слогам произносят это слово: они ясно читают его везде, и любой предрассудок, преимущество и несправедливость рушатся от одного соприкосновения с ним. Это ответ на все, это — величественное слово. Они повторяют его на все лады и находят его совершенным. И даже взрывы снарядов сверкают для них ослепительным светом.

— Это было бы прекрасно! — восклицает один.

— Это слишком прекрасно и потому несбыточно! — говорит другой.

Но третий возражает:

— Это прекрасно потому, что это — истина. Но это сбудется не потому, что это прекрасно. Красота сейчас не в ходу, как и любовь. Это неизбежно потому, что это — истина.

— Что ж, раз народы хотят справедливости и раз народы — сила, пусть же они установят царство справедливости.

— За это уже принялись! — говорит кто-то.

— Это дело не за горами, — возвещает другой.

— Когда все люди станут равными, им придется объединиться.

— И тридцать миллионов людей больше не будут совершать, против собственной воли, чудовищные преступления.

Это правда. Тут нечего возразить. Какой мнимый довод, какой призрачный ответ осмелятся противопоставить словам: «И тридцать миллионов людей больше не будут совершать, против собственной воли, чудовищные преступления»?

Я слушаю, слежу за развитием мысли этих людей, заброшенных на это поле скорби; эти слова исторгнуты раной, болью, эти слова истекают кровью.

И вот небо мрачнеет. Внизу от тяжелых туч оно синеет и покрывается броней. Вверху, на небольшой светящейся полоске, его пересекают вихри водяной пыли. Погода портится. Опять польет дождь. Буря и страдания все еще не кончились.

Кто-то говорит:

— Нас спросят: «В конце концов для чего воевать?» Для чего, мы не знаем; но для кого, это мы можем сказать. Ведь если каждый народ ежедневно приносит в жертву идолу войны свежее

мясо полутора тысяч юношей, то только ради удовольствия нескольких вожаков, которых можно по пальцам пересчитать. Целые народы, выстроившись вооруженным стадом, идут на бойню только для того, чтобы люди с золотыми галунами, люди особой касты, могли занести свои громкие имена в историю и чтобы другие позолоченные люди из этой же сволочной шайки обделали побольше выгодных делишек, словом, чтоб на этом заработали вояки и лавочники. И как только у нас откроются глаза, мы увидим, что между людьми существуют различия, но не те, какие принято считать различиями, а другие; тех же, что принято считать различиями, не существует.

— Слушай! — вдруг прерывают его.

Мы замолкаем и слушаем вдали грохот пушек. От гула сотрясаются слои воздуха, и эта далекая сила слабо доносится до нас, а вокруг вода заливает и заливает землю и медленно достигает высот.

— Опять начинается!..

Один из нас говорит:

— Эх, с чем только не придется бороться! Все будет против нас!

В трагической беседе этих затерянных людей,

которая разворачивается здесь, словно шедевр великого драматурга — судьбы, чувствуется беспокойство, колебание. Они предвидят не только страдания, опасности, бедствия, но еще враждебность явлений и людей правде, нагромождение преимуществ, невежество, глухоту, злую волю, предвзятую мысль и черствость хорошо устроившихся людей, и грозные общественные положения, и неприступные твердыни, и непроходимые преграды.

И в ходе смутных мыслей возникает видение: вечные противники выходят из мрака прошлого и вступают в грозовой мрак настоящего.

* * *

Вот они!.. Кажется, будто в небе, на гребнях туч, облекших мир в траур, показывается кавалькада ослепительных воинов. Они мчатся на великолепных боевых конях, мечут молнии, сверкают оружием, доспехами, галунами, султанами, коронами… Эта воинственная, старомодная кавалькада прорезает облака, повисшие в небе, как грозные театральные декорации.

А внизу солдаты, покрытые пластами грязи с земного дна и с опустошенных полей, лихорадочно следят, как эти призраки появляются со всех

концов горизонта, и оттесняют беспредельное небо, и заслоняют синюю даль.

Имя им — легион. Там не только сословие воинов, которые призывают к войне и обожествляют ее, не только те, кого всемирное рабство облекло волшебной властью, не только короли золота, которые высятся над простертым у их ног человечеством и внезапно направляют ход истории, предвкушая крупный барыш; там их целая толпа; сознательно или бессознательно — она состоит на службе у обладателей этих грозных преимуществ.

— Там, — восклицает один из мрачных собеседников, вытягивая руку, словно видя это воочию, — там те, кто говорит: «Как они прекрасны!»

— И те, кто говорит: «Народы друг друга ненавидят!»

— И те, кто говорит: «От войны я жирею, мое брюхо растет!»

— И те, кто говорит: «Война всегда была, значит, она всегда будет!»

— И те, кто говорит: «Дети рождаются в красных французских или синих немецких штанах!»

— И те, кто говорит: «Опустите голову и верьте в бога!»

* * *

Да, вы правы, бедные бесчисленные труженики битв, вы проделали всю эту войну, вы — всемогущая сила, которая пока еще не служит добру, вы — земная толпа, где каждый лик — целый мир скорби, вы мечтаете под небом, где разрываются и развеваются большие черные тучи, взлохмаченные, как злые ангелы, вы грезите, согнувшись под ярмом какой-то мысли! Да, вы правы! Все это против вас. Против вас и вашего великого общего блага, а оно вполне совпадает со священной логикой. Против вас не только вояки, размахивающие саблей, дельцы и торгаши.

Против вас не только чудовищные хищники, финансисты, крупные и мелкие дельцы, которые заперлись в своих банках и домах, живут войной и мирно благоденствуют в годы войны, упершись лбом в тупую доктрину, замкнув свою душу, как свой несгораемый шкаф.

Против вас и те, кто восхищается сверкающими взмахами сабель, кто любуется, как женщины, ярким мундиром. Те, кто упивается военной музыкой или песенками, которыми угощают народ, как стаканчиками вина; все ослепленные, слабоумные, фетишисты, дикари.

Против вас и те, кто погружается в прошлое и говорит только словами былых времен, традиционалисты, для которых злоупотребление приобретает силу закона только потому, что оно освящено обычаем; те, кто хочет жить по воле мертвецов и старается подчинить власти привидений и нянькиных сказок живое, страстное движение вперед.

С ними все священники, которые стараются возбудить или усыпить вас морфием своего рая, лишь бы ничто не изменилось.

Они извращают великое нравственное начало: сколько преступлений они возвели в добродетель, назвав ее национальной! Они искажают даже истины. Вечную истину они подменяют каждый своей национальной истиной. Сколько народов — столько истин, которые исключают одна другую и выворачивают наизнанку настоящую истину.

Все эти люди — ваши враги!

Они вам враги больше, чем немецкие солдаты, что лежат среди нас: ведь это только несчастные, гнусно одураченные бедные люди…

Они вам враги, где б они ни родились, как бы их ни звали, на каком бы языке они ни лгали. Ищите их на небе и на земле! Ищите их всюду! Узнайте

их хорошенько и запомните раз навсегда!

* * *

Человек стоит на коленях; он согнулся, уперся обеими руками в землю, отряхивается, как дог, и ворчит:

— Они тебе скажут: «Друг мой, ты был замечательным героем!» А я не желаю, чтоб мне это говорили! Герои? Какие-то необыкновенные люди? Идолы? Брехня! Мы были палачами. Мы честно выполняли обязанности палачей. И, если понадобится, еще будем усердствовать, чтобы настоящие враги жили припеваючи. Убийство всегда гнусно, иногда оно необходимо, но всегда гнусно. Да, мы были суровыми, неутомимыми палачами! И пусть меня не называют героем за то, что я убивал немцев!

— И меня тоже! — кричит другой так громко, что никто не мог бы ему возразить, даже если б осмелился. — И меня тоже пусть не называют героем за то, что я спасал жизнь французам! Как? Неужели надо обожествлять пожар, потому что красиво спасать погибающих?

— Преступно показывать красивые стороны войны, даже если они существуют! — шепчет какой-то мрачный солдат.

— Эти сволочи назовут тебя героем, — продолжает первый, — чтобы вознаградить тебя славой за подвиги, а самих себя — за все, чего они не сделали. Но военная слава даже не существует для нас, простых солдат. Она только для немногих избранников, а для остальных она — ложь, как все, что кажется прекрасным в войне… В действительности, самопожертвование солдат — только безыменное истребление. Солдаты — толпа, волны, которые идут на приступ: для них награды нет. Они низвергаются в страшное небытие славы. Даже не придется когда-нибудь собрать их имена, их жалкие, ничтожные имена.

— Плевать нам на это! — отвечает другой. — У нас есть другие заботы.

— А посмеешь ли ты хотя бы высказать им это? — хрипло кричит солдат, все лицо которого скрыто под корой грязи. — Если ты это скажешь, тебя проклянут и сожгут на костре! Ведь для них военный мундир — новое божество, но оно — такое же злое, глупое и вредоносное, как и все боги.

Этот солдат приподнимается, падает на землю и опять привстает. Под мерзкой корой у него сочится рана; он пятнает землю кровью; он расширенными глазами всматривается в кровь,

которую пожертвовал на исцеление мира.

* * *

Остальные один за другим встают. Туча темнеет и надвигается на обезображенные, измученные поля. День полон ночи. И кажется, там, на гребнях туч, вокруг призрачных варварских крестов и орлов, церквей, бирж, и дворцов, и храмов войны, беспрестанно появляются все новые и новые враги; их все больше; они заслоняют звезды, которых меньше, чем людей. И даже кажется, что эти выходцы с того света копошатся во всех выбоинах, среди живых существ, которые брошены сюда и почти зарыты в землю, как зерна.

Мои еще живые спутники наконец встают; они еле держатся на ногах; они закованы в грязную одежду, втиснуты в страшные гробы из грязи; во всей своей страшной простоте они подымаются с земли, глубокой, как невежество, они движутся и кричат, напрягая взоры, поднимая кулаки к небу, откуда исходит свет и непогода. Они отбиваются от победоносных призраков: ведь они еще Сирано де Бержераки и Дон Кихоты.

Земля грустно поблескивает; тени шевелятся и отражаются в бледной стоячей воде, затопившей окопы, среди полярной пустыни, где дымятся

дали.

Но глаза этих людей открылись. Солдаты начинают постигать бесконечную простоту бытия.

И пока мы собираемся догнать других, чтобы снова воевать, черное грозовое небо тихонько приоткрывается. Между двух темных туч возникает спокойный просвет, и эта узкая полоска, такая скорбная, что кажется мыслящей, все-таки является вестью, что солнце существует.

Декабрь 1915 года

Ясность

I. Я

Все дни недели схожи, от начала до конца.

Вечер. Часы тихонько бьют семь, и тотчас же оглушает колокол. Я закрываю книгу реестров, вытираю и прячу перо. Беру кашне и шляпу, бросив взгляд в зеркало, которое отражает правильный овал моего лица, блестящие волосы и тонкие усики (видно, что я не простой рабочий). Гашу лампу, спускаюсь из своей маленькой застекленной клетки. Прохожу котельный цех, где густая толпа все еще гудит от удара колокола-освободителя. Темная торопливая толпа растекается по коридорам и тучей несется по лестницам; несколько голосов меня окликают: «До свидания, Симон», — или менее фамильярно: «До свидания, господин Полэн». Я отвечаю тем и другим, и людской поток меня уносит.

Как только раскрывается наружная дверь, видишь голую равнину, тусклый горизонт и черные гигантские декорации; прямоугольные и треугольные формы заводских зданий и высокую погасшую трубу, которую увенчивает только облако нависшей ночи. Тяжелая лавина непри-

метно увлекает меня. Против ворот, вдоль стены, выстроились шеренгой женщины, они ждут; бескровные овечьи лица их смутно белеют в тени. В толпе они узнают своих, кланяются, окликают. Быстро соединяются пары. Я слежу глазами за рабочими: друг за другом идут они призрачной дорогой.

Эта бледная тропа ведет в открытое поле. Путь ее отмечен в пространстве рядами хилых деревьев, — они точно коптят, как погашенные свечи, — телеграфными столбами в бесконечной паутине проволок, кустарником или изгородями, похожими на скелет кустарника. Несколько домиков. Вверху, над редкими строениями пригорода, куда ползет грязная, выброшенная заводом толпа, еще брезжит светлая и желтая полоска неба. Западный ветер вздувает синие, черные или цвета земли блузы, треплет концы шерстяных шарфов и бьет звериным запахом в наши лица, затуманенные сумраком нависшего неба.

Здесь и там привлекают внимание кабаки. Двери заперты: но над дверями и в окнах стекла кажутся золотыми. Рядом с кабаками стоят старые, приземистые заброшенные дома, некоторые из них развалились и открыли путь небу в эту темную долину жилищ. Вокруг меня, на шоссе,

ноги, подкованные железом, отбивают по утрамбованной земле глухую барабанную дробь, затем, на плитах тротуара, точно звенят цепями. Я шагаю, опустив голову, но не слышу своих шагов — так они сливаются с другими…

Как всегда вечерами, все спешат. В том месте, где среди чернильного пейзажа высокое погнувшееся дерево бьется, как живое, внезапно начинается спуск, ноги скользят. Внизу сверкают огни Вивье. Люди, изнуренные за день, спешат к этим земным звездам; вечерами надежды схожи, как и усталость: мы все одинаковы. Я тоже спешу к своему огню, как и все, как и всегда по вечерам.

* * *

Мы долго спускаемся, затем склон обрывается, дорога стелется, как река, и, расширяясь, входит в город. Сквозь ветви старых платанов, еще голых в этот последний мартовский день, видны рабочие бараки: фантастические шахматные доски с квадратами света на темном поле. Эти прямоугольные скалы поглощают наш муравейник. Люди, рассеиваясь среди колоннады сумеречных деревьев, исчезают в тесных квартирах и комнатах; они проникают в черные дыры — двери,

проваливаются в дома, и там свет превращает их в тени.

А я все шагаю в кругу своих спутников, мастеров и служащих: я не знаюсь с рабочими. Затем прощаюсь и дальше иду один.

Силуэты прохожих исчезают; все реже скрипят замки и хлопают ставни; дома замкнулись, ночной город превращается в глубокую пустыню. Я слышу только свой шаг по земле.

Вивье делится на две части, как, впрочем, и большинство городов: богатая часть — Большая улица, «Гран-кафе», шикарные гостиницы, дома с лепными украшениями, церковь и замок на холме; другая часть — рабочие кварталы, куда я иду. Сеть улиц переходит в шоссе, застроенное по обе стороны рабочими бараками; оно ведет к плоскогорью, где стоит завод. Вот дорога, по которой за шесть лет службы у господ Гозлан я привык подыматься по утрам и спускаться, когда смеркается. Я корнями врос в этот квартал; в будущем я хотел бы жить в другой части города. Но между двумя частями города существует разрыв, наподобие границы; он всегда существовал и всегда будет существовать.

На улице Вер мне попался только фонарь, да из тени серой мышкой вынырнула девочка и

снова нырнула в тень, не заметив меня; она вся поглощена караваем хлеба, который ее послали купить, она прижимает его к сердцу, как куклу. Улица Этап — моя улица. В полумраке за окном парикмахерской движутся светлые фигуры, отбрасывая черные силуэты на запотевший экран стекла. В ту минуту, когда я прохожу, стеклянная дверь с дугой надписи распахивается и под бритвенным тазиком, зазывающим прохожего своим позвякиванием, в широкой струе хлынувшего душистого света возникает сам Жюстен Покар; прощаясь с клиентом, он говорит что-то, и я успеваю заметить, как его клиент утвердительно кивает головой, а Покар, непогрешимый в своих суждениях, поглаживает светлой рукой свою вечно юную белокурую бороду.

Я миную бывшую мастерскую жестяных изделий; стены ее потрескались, покосились, облупились, и в запыленных окнах чернеют звезды пробоин. Немного дальше как будто промелькнула детская тень Антуанетт; у девочки болят глаза, и никак не удается их вылечить; но я не уверен, она ли это, и, не останавливаясь, вхожу в свой двор, как и всегда по вечерам.

Каждый вечер на моей дороге, как пограничный столб, маячит Крийон; он целый день во-

зится с какой-нибудь мелкой починкой в дверях своей мастерской в глубине двора. Увидев меня, добряк-великан трясет своей головой в четырехугольной шапочке; у него широкое, бритое лицо с огромным носом и большими ушами. Он хлопает ладонями по кожаному фартуку, жесткому, как доска, тащит меня на улицу, притискивает к воротам и, понизив голос, убежденно говорит:

— Этот Петрарка — настоящий негодяй!

Он снимает шапочку, все энергичнее трясет лохматой головой, будто подметает сумрак, и добавляет:

— Я ему починил кошелек. Ну и рвань была! Я приладил застежку, она мне самому обошлась в тридцать сантимов. Так? Обшил кругом ремешком в плетеночку и все прочее. Сколько времени на такую работу уходит! Ну и что же? Я было заикнулся насчет его швейной машины — мне бы она пригодилась, а ему с ней нечего делать, так его и след простыл.

Он рассказывает о сумасшедших претензиях Тромсона из-за какой-то сборовки и о поведении г-на Бекре, который при всей своей почтенности обманул его доверие: за починку водосточной трубы заплатил ножом, который режет «все, что хочешь». Он перечисляет мне знаменательные

случаи своей жизни. Затем говорит:

— Я человек небогатый, но добросовестный. Я занимаюсь мелкой починкой, потому что мой отец этим занимался и его отец тоже. Понятно, другие метят выше. Но я на этот счет другого мнения. Я делаю свое дело.

Вдруг слышится неистовый, учащающийся топот, и на мостовой показывается фигура; она направляется в нашу сторону рывками, едва держась на ногах, цепляясь сама за себя, движимая какой-то высшей силой. Кузнец Брисбиль пьян, как всегда.

Заметив нас, Брисбиль издает нечленораздельные звуки. Поравнявшись с нами, он приходит в замешательство, затем, пораженный какой-то мыслью, останавливается, стукнув о мостовую каблуками, как лошадь подковами. Он глазом измеряет высоту тротуара; но, взмахнув кулаком, проглатывает то, что хотел сказать, и, спотыкаясь, снова пускается в путь. Лицо его горит красными пятнами. От него пахнет ненавистью и вином.

— Ишь ты, анархист! — говорит Крийон брезгливо. — Ну, скажите-ка, разве это не омерзительные бредни, а?

И, протягивая мне руку, добавляет:

— Кто только избавит нас от него и его при-

спешников! До свидания… Я всегда твержу об этом в муниципальном совете. Я говорю: «Пора покончить с этой шайкой крамольников, раз они нарушают постановления против пьянства». Да куда там! В совете Жан Лятруй. Так? Они стоят за порядок, а как до дела коснется, ищи ветра в поле!

Добряк взбешен. Он грозит в пустоту мощным кулаком, похожим на сложный инструмент. Кивает в ту сторону, где скрылся, ковыляя, Брисбиль.

— Вот они каковы, социалисты! — говорит он. — Державный народ, державный народ, а сами на ногах не держатся! Если уж я и тяну эту лямку, так я ведь стою за спокойствие и порядок. Д'свиданья, д'свиданья… А как поживает тетушка Жозефина? Я за спокойствие, за свободу, за порядок. Недаром я всегда сторонился этой шайки. Недавно я видел тетушку; бежит, шустрая, как молоденькая; ой, заболтался я, заболтался!

Он направляется в свою каморку. Но нет. Оборачивается, окликает меня. Подзывает таинственным жестом.

— Слыхали? Наверху, в замке, все съехались…

Подобострастие понижает его голос: он уже видит владельцев замка и, прощаясь, низко мне

кланяется — инстинктивно.

Мастерская его — узкая стеклянная клетка — доверчиво прижалась под крылышко нашего дома. Я вижу сквозь стекло мощную, топорную фигуру Крийона, он стоит перед останками каких-то механизмов, над которыми возвышается свеча. Свет падает на груду домашней утвари, на предметы, развешанные на стене, и окружает тусклым золотым орнаментом образ этого мудреца, душа которого не омрачена ни яростью протеста, ни завистью; он снова принимается за починку, как его отец и дед.

Я поднялся по ступенькам крыльца и толкнул нашу убогую дверь, на которой единственный выступ — ключ. Дверь со скрипом открывается и пропускает меня в темный коридор, где каменный пол постепенно превратился в дорожку от принесенной на подошвах земли. Ударяюсь лбом о лампу, висящую на стене; она погасла, облита керосином и воняет. Никогда этой лампы не видно, и постоянно на нее натыкаешься.

И я, спешивший, неизвестно зачем, домой, замедляю шаг. Каждый вечер, входя в дом, я переживаю нечто похожее на разочарование.

Прихожу в комнату, которая служит и кухней и столовой, и там же спит моя тетя. Комната по-

гружена во мрак, почти непроглядный.

— Здравствуй, Мам.

Вздох, затем всхлипывание несется с кровати, темнеющей перед бледным квадратом неба в оконной раме.

Тогда я вспоминаю, что утром, после кофе, мы с тетей поссорились. Так случается два-три раза в неделю. На этот раз все вышло из-за испачканного стекла. Сегодня утром, выведенный из терпения неумолчным потоком ее жалоб, я сказал какую-то грубость и ушел, хлопнув дверью. Значит, Мам плакала весь день и, хлопоча по хозяйству, упивалась слезами. Затем, когда стемнело, она легла и погасила лампу, чтобы усугубить и подчеркнуть свою печаль.

Когда я вошел, она чистила впотьмах картофель; картофелины рассыпались и с глухим шумом перекатывались у меня под ногами среди разной утвари и тряпья, разбросанного по полу. Как только я вхожу, тетя моя разражается бурными слезами.

Не смея уже ничего сказать, я сажусь на свое обычное место в углу.

Я вижу, над кроватью, на занавесах, слегка затушевывающих окно, вырисовывается тощая, закутанная в простыню фигура, точно палка под

полотном, ибо моя тетушка Жозефина — сама худоба.

В тишине она начинает понемногу подавать голос и причитать:

— У тебя нет сердца, нет, у тебя нет сердца, нет!.. Какое ужасное слово ты мне сказал… Ты сказал: «Заткнись!» Ах, люди не знают, что я терплю от тебя. Ах ты злюка! Ах ты грубиян!

Я молча слушаю эти слова, пропитанные слезами, капающими с ее лица, тусклым пятном расплывшимися по бесцветной подушке.

Встаю, опять сажусь, говорю несмело:

— Ну, довольно, ну, кончено же…

Она вскрикивает:

— Кончено? О нет! Никогда это не будет кончено!

Простыней, затененной сумраком, она зажимает рот, закрывает лицо и, вытирая глаза, свирепо качает головой, направо-налево, в знак того, что обида не забыта.

— Никогда! Такое слово, как ты мне сказал, навсегда разбивает сердце. Но все же мне надо встать, покормить тебя. Тебе ведь надо поесть. Я воспитывала тебя, когда ты был маленьким (голос ее срывается); я всем пожертвовала ради тебя, а ты обращаешься со мной, как с негодяйкой.

Я слышу стук ее босых ног, точно по плитам пола бегут два ящичка. Глотая слезы, она ищет одежду, раскиданную по кровати и соскользнувшую на пол. Она стоит, сливаясь с темнотой. Но все же я иногда отчетливо вижу ее необычайно узкий силуэт. Она надевает лиф, кофту, и передо мной призрачным видением мелькают белые и темные ткани, руки, тонкие, как плети, острые, костлявые плечи.

Одеваясь, она разговаривает сама с собой, и понемногу вся моя история, все мое прошлое встает в словах бедной женщины, единственного близкого мне существа, которое для меня и мать и служанка.

Она чиркает спичкой. Из темноты возникает лампа и зигзагами кружит по комнате, как домашняя фея. Тетя моя в кольце живого света; глаза у нее навыкате, веки припухшие, дряблые, большой рот шевелится, точно она жует и пережевывает свою печаль. Слезы подчеркивают выпуклость ее глаз, наделяют их блеском и покрывают глянцем острые скулы. Она ходит взад и вперед, предаваясь без устали мрачным мыслям. Морщины избороздили ее лицо, кожа у подбородка и на шее в глубоких складках, извилистых, точно кишки, и в резком свете все это кажется

слегка окрашенным кровью.

Теперь, при зажженной лампе, углы темной берлоги, где мы хоронимся, понемногу выступают: матрацный тик, прибитый двумя гвоздями у окна в защиту от сквозняков; мраморная доска комода, украшенная бахромой пыли; замочная скважина, заткнутая бумагой.

Лампа коптит; не придумав, где ее поставить в загроможденной комнате, Мам ставит ее на пол и, присев на корточки, оправляет фитиль. От стараний старушки, окропленной багрянцем и чернотой, взвивается и падает парашютом клуб черного дыма. Мам вздыхает. Она не в силах молчать.

— Ты, мой милый, — говорит она, — можешь быть таким вежливым, когда захочешь; ты зарабатываешь сто восемьдесят франков в месяц… Ты образованный, но ты слишком пренебрегаешь правилами приличия. За это все тебя осуждают. Ну вот, например, ты плюнул на стекло, я это знаю; голову готова дать на отсечение. А тебе ведь уже двадцать четвертый год! И в отместку за то, что я это заметила, ты мне кричишь, чтобы я заткнула глотку, да, да, ты мне это сказал. Ах, какой ты хулиган! Господа с завода очень хорошо к тебе относятся. Твой бедный отец был их луч-

шим работником. Ты образованнее своего отца, больше похож на англичанина, и ты захотел пойти по коммерции и не стал изучать латынь, и за это тебя все одобрили, но в работе, ах — нет, нет! далеко тебе до отца. Сознайся — ты плюнул на стекло?..

— Потому что твоя бедная мама, — горячится призрак Мам, пересекая комнату с деревянной ложкой в руке, — надо сказать, любила наряды. Это не беда, особенно для того, у кого есть на что наряжаться. Она всегда была ребенком. Да и то сказать, было ей всего двадцать шесть лет, когда ее взяла земля. Ах, как она любила шляпки! Но все же у нее были хорошие стороны, ведь это она сказала мне: «Переезжайте к нам, Жозефина!» И вот, я тебя воспитала, и я всем пожертвовала…

Мам замолкает и прерывает свое занятие, переживая прошлое. Она задыхается, трясет головой и вытирает лицо рукавом.

Я говорю несмело:

— Но я ведь знаю…

В ответ раздается вздох. Она разжигает огонь. Клуб дыма взлетает, ширится, стелется по плите, затягивает кисеей пол. Мам возится у огня, ноги ее в дымном облаке, и тусклые седые волосы выбиваются из-под черного чепца струйками дыма.

Она ищет носовой платок, ощупывает карманы пальцами в черном бархате сажи. Затем передвигает кастрюли, стоя ко мне спиной.

— Отец господина Крийона, — говорит она, — старый Доминик, переселился сюда из Шербура в шестьдесят шестом или шестьдесят седьмом году. Он толковый человек, раз уж он муниципальный советник. (Надо ему деликатно намекнуть, чтобы он убрал свои лохани от двери.) Господин Бонеас очень богатый и прекрасно говорит, хотя у него и больная шея. Вот и нужно тебе хорошенько зарекомендовать себя перед этими господами. Ты образованный, тебе уже платят сто восемьдесят франков в месяц; досадно, что у тебя нет никакого значка, по которому было бы видно, когда ты входишь или выходишь с завода, что ты канцелярист, а не рабочий.

— Это и так видно…

— Но все же со значком лучше.

Глубокие, всхлипывающие вздохи. Мам все сильнее, все настойчивее шмыгает носом, ищет повсюду носовой платок. Она снует с лампой. Я слежу за ней глазами, комната понемногу просыпается. Взгляд мой снова нащупывает каменные плиты пола, спинки стульев, прижавшихся к стене; бледный прямоугольник окна в глубине

над кроватью, низкой и раздувшейся, похожей на кучу земли и гипса; разную рухлядь, раскиданную на полу, напоминающем взрытую кротом землю; горшки, бутыли, котелки, тряпки, свисающие с полок и столов; замочную скважину, похожую на ухо, заткнутое ватой.

— Я так люблю порядок, — говорит Мам, лавируя среди этого хлама, запорошенного пушистой пылью, как углы картины, писанной пастелью.

По привычке я вытягиваю ноги, ставлю их на скамеечку; от старости она лоснится и блестит, словно новенькая. Я поворачиваю голову вслед тощему призраку моей тети, и меня убаюкивают ее движения и неумолчная воркотня.

Но вот она подходит ко мне. Полосатая, серая с белым, кофта висит на ее острых плечах; она обнимает меня за шею и, вся дрожа, говорит:

— При твоих дарованиях ты можешь далеко пойти! Быть может, когда-нибудь ты откроешь людям правду. Это бывало. Были люди, которые открывали глаза миру. Почему бы тебе, мой милый, не быть великим глашатаем!

И голова ее слегка трясется, и слезы еще не высохли, а она смотрит вдаль и видит: я говорю на улицах, и люди слушают меня!

* * *

Не успело это странное заклинание отзвучать в нашей кухне, как Мам, глядя мне в глаза, говорит:

— Мой милый, не заносись слишком высоко. Ты уже смолоду домосед, у тебя привычки солидного, пожилого человека. Это хорошо. Берегись быть не похожим на других.

— Ну, Мам, этого нечего бояться.

Нет, этого нечего бояться. Я хотел бы остаться таким, какой я есть. Что-то привязывает меня к окружению моего детства и юности, и я хотел бы, чтобы все осталось как оно есть навсегда. Конечно, я многого жду от жизни; я надеюсь, я живу надеждой, как все; я даже не знаю хорошенько, чего я жду, но я не хотел бы слишком больших перемен. В глубине сердца я хотел бы, чтобы ничто не тронуло ни печки, ни крана, ни коричневого шкафа, ничто не изменило условий моего привычного вечернего отдыха.

* * *

Тетушка моя, растопив печь, разогревает рагу, помешивая его деревянной ложкой. Огонек

иногда вспыхивает, и скудный свет лохмотьями падает на нее.

Я встаю, заглядываю в кастрюлю. Соус шипит; в нем плавают бледные кусочки картофеля и редкие, скользкие ломтики лука. Мам наполняет глубокую белую тарелку.

— Это тебе, — говорит она. — А мне много ли надо?

Мы садимся друг против друга за маленький, грязноватый стол. Мам шарит по карманам. Темная рука ее, худая и узловатая, с трудом выбирается обратно; она извлекает из кармана кусочек сыра. Мам слегка скоблит его ножом, который держит за лезвие, и не спеша съедает крошки. При свете лампы, стоящей возле нас, я вижу, что лицо ее еще не обсохло; светлая капля застыла и блестит на щеке, припухающей от каждого нового куска. Большой рот ее движется во все стороны и время от времени проглатывает слезы.

Мы сидим перед своими тарелками; и соль насыпана на клочке бумаги, и моя порция варенья положена в горчичницу; мы сидим близко, лбы наши и руки соединены светом, остальное одето унылым мраком. Сидя на этом продавленном кресле, положив руки на шаткий стол, который

сразу же начинает хромать, если налечь на одну сторону, я чувствую, что глубоко врос в эту старую комнату, неряшливую, как запущенный сад, где в ласковой тени вы тихонько покрываетесь пылью.

После еды разговор затихает. Затем Мам снова начинает ворчать и еще раз расстраивается; и на ее выразительной японской маске, под короной белых, как вата, волос, при свете хрипящей керосиновой лампы, ее глаза еще раз увлажняются, излучая неяркий свет.

Слезы старой сентиментальной волшебницы капают на ее толстые губы. Она наклоняется ко мне, и близость наша так глубока, что мне кажется, будто она ко мне прикасается.

Кроме нее, нет никого на свете, кто бы меня по-настоящему любил. Невзирая на ее несносный характер и воркотню, я хорошо знаю, что она всегда права.

* * *

Я зеваю, а Мам убирает грязные тарелки куда-то в темный угол. Она наливает из кувшина воду в таз для мытья посуды и тащит его на плиту.

Антони назначила мне свидание у киоска, в восемь часов. Уже десять минут девятого. Выхо-

жу. Коридор, крыльцо, двор. В темноте знакомые предметы обступают меня, а сами прячутся. Рассеянный свет еще реет в небе. За грудой лоханей призматическая будка Крийона рубином горит в ночной тьме. Крийон никогда не сидит без дела, он обтачивает какую-то вещицу, затем рассматривает свою работу при свече; пламя ее трепыхается, как мотылек, попавший в смолу; Крийон протягивает руку к горшку с клеем, который разогревается на таганке. Я вижу его безмятежное, сосредоточенное лицо ремесленника доброго старого времени, черные пятна небритых щек и нависшее из-под шапочки забрало прямых волос. Он кашляет, и стекла окон дребезжат.

На улице мрак, тишина. Но вот показываются фигуры, люди выходят из домов или возвращаются, изредка слышны голоса. За окнами зажигаются и гаснут огни. В двух шагах от меня промелькнул и скрылся за углом, точно в землю провалился, Жозеф Бонеас; я узнал белый плотный фуляр, прикрывающий фурункулы на его шее. Когда я прохожу мимо парикмахерской, снова распахивается дверь. Вкрадчивый голос говорит: «В делах вся загвоздка в этом». — «Само собой!» — отвечает клиент и исчезает в темноте; я успеваю только заметить, что он мал ростом. Но

это, верно, важная особа: г-н Покар вечно занят широкими планами. Немного дальше, в глубине норы, за решетчатым окном, я смутно различаю силуэт дяди Эйдо — птицы несчастья; этот странный старик всегда кашляет, вечно причитает, и один глаз у него больной. Даже дома он не снимает своей мрачной пелерины и не откидывает абажура-капюшона. Его считают шпионом, и, по-моему, не без основания.

Вот и киоск. Он ждет в одиночестве, острый шпиль его вонзается в темноту. Антони не пришла: она подождала бы меня. Минутное чувство досады сменяется радостью. Не к лучшему ли?

Конечно, Антони еще привлекательна, когда ее видишь. Страсть зажигает в ее глазах золотистые искры, ее худоба опаляет. Но я не лажу с этой итальянкой. Она поглощена своими делами, а мне на них наплевать. Во сто раз милее покладистая толстуха Викторин или мечтательная и порочная г-жа Лакайль, — впрочем, и этой я сыт по горло. Признаться, я очертя голову бросаюсь в кутерьму любовных историй, потом раскаиваюсь. Но я никогда не могу устоять против волшебного искушения первого раза.

Не буду ждать. Ухожу. Миную кузницу мерзкого Брисбиля. Это последний дом в цепи низких

холмов, образующих улицу. В глубоком мраке окно кузницы проступает из-под черного переплета решетки огненным, ярко-оранжевым пятном. На этом листе клетчатого света мечется, то черный и четкий, то бледный и расплывчатый, развинченный силуэт кузнеца. Среди этой иллюминации зловещий призрак беснуется над наковальней в слепом и неуклюжем неистовстве. Он раскачивается — направо, налево, — точно плывет в какой-то адской ладье. Чем он пьянее, тем яростнее сражается с железом и огнем.

Возвращаюсь домой. И, когда я уже подхожу к воротам, меня робко окликают:

— Симон…

Антони. Тем хуже для нее. Ускоряю шаг и долго еще слышу ее шепот.

Подымаюсь в свою комнату. Комната пустая и холодная, и стоит мне вспомнить ее, я всегда дрожу. Затворяя ставни, я вижу улицу: густая чернота покатых крыш с бесконечными трубами, четкими на светлой черноте пространства, несколько молочно-белых окон, и на заднем плане этой угрюмой зубчатой декорации багровый призрак безумного кузнеца. Еще дальше, в лощине, я вижу крест колокольни и высоко-высоко, на холме, ярко освещенный замок — великолепная

корона драгоценных камней. Взгляд, разбегаясь, теряется в этих черных развалинах, где скрыто множество мужчин и женщин, незнакомых, но подобных мне.

II. Мы

Воскресенье. Через раскрытое окно веселый апрельский луч ворвался в комнату. Он преобразил обои с поблекшими цветами, а лоскут красного ситца, наброшенный на мой туалетный столик, стал как новый.

Одеваюсь тщательно. В комнате свежий запах мыла; я верчусь перед зеркалом — то подойду, то отойду. Хочу решить, большие у меня глаза или маленькие. Обыкновенные, конечно, но, право, мне они кажутся лучистыми.

Смотрю на улицу. Под покрывалами тумана, в долине, город просыпается позднее людей.

Сегодня воскресенье, и я вижу сверху, как люди растекаются по улицам. Не сразу их узнаешь — так их изменило парадное платье: женщины цветисто разодеты и кажутся более значительными, чем в будни; старики разогнули спины ради праздника; даже бедняки и те преобразились, потому что они сегодня чистые.

Тусклое солнце обволакивает красные крыши, синие крыши, тротуары и узкие мостовые, вымощенные камнем, мелким, как галька; на них блестят и скрипят начищенные башмаки.

На углу улицы — старый дом, жилище мрачного дяди Эйдо; круглый, темный, как погасший фонарь, дом выступает коническим пятном и точно скопирован со старинного офорта. Дальше выпячивается, как облитый глазурью фаянсовый горшок, дом г-жи Пио. Из-за этих причудливых зданий не замечаешь других домов, серых, с белоснежными занавесками на окнах, а все же они-то и создают город.

На склоне холма, над рекой, против площадки завода, возникает белая геометрия замка. Вокруг этой белизны — ковры ржавой листвы парков. Дальше луга и возделанные поля владельцев замка; еще дальше, среди полос и квадратов вспаханной или зеленеющей земли — кладбище, где каждый год прибавляется столько новых плит.

* * *

Перед мессой нам с тетей надо зайти к Брисбилю: мы вынуждены обратиться к нему, чтобы починить погнувшийся ключ. Я жду Мам во дворе, сидя на лохани у будки Крийона, неживой, холодной и загроможденной незаконченными заказами. Мам никогда не бывает готова вовремя. Она дважды уже выходила на крыльцо в нарядном черном платье с бархатной пелериной

и вдруг, вспомнив что-то, исчезала поспешно, как крот. А тут еще ей приходит в голову мысль кинуть последний взгляд на мою комнату.

Наконец мы идем. Она с гордостью берет меня под руку. Изредка поглядывает на меня, и я гляжу на нее, и в солнечном свете ее улыбка кажется ласковой гримасой.

Сделав несколько шагов, моя тетя останавливается.

— Иди, иди; я тебя догоню.

И она подходит к мусорщице Аполлин. Почтенная женщина — одинаковая как в вышину, так и в ширину — глазеет по сторонам, стоя на тротуаре; она выбита из колеи воскресной праздностью, чувствует себя неловко, и руки ее беспомощно болтаются. Мам увлекает ее за собой; продолжая путь, я оглядываюсь; я слышу, как Мам торопливо, точно поверяя тайну, говорит обо мне; Аполлин, прихрамывая, тащится за ней, размахивая растопыренными руками, широкая, как краб.

— У этого малого, — говорит Мам, — вечный беспорядок в комнате. И он столько воротничков пачкает, и он не умеет сморкаться. Засовывает комом носовые платки в карман, потом они становятся как камень.

— А все-таки он славный молодой человек, — мямлит мусорщица, шествуя вразвалку; она нелепо болтает руками, осиротевшими без метлы, и потряхивает над разбухшими многоярусными башмаками юбкой с тяжелой бахромой засохшей грязи.

Эти признания Мам первому встречному меня раздражают. Я окликаю ее довольно резко. Она вздрагивает и, догнав меня, бросает на меня страдальческий взгляд.

Она бредет, повесив нос под черной с зелеными листьями шляпкой, оскорбленная моим замечанием при посторонних, рассерженная, уязвленная. Старая обида снова в ней просыпается.

— В прошлый раз, — тихонько бормочет она, — ты плюнул на стекло!

Дорогой она не может не прицепиться к другому собеседнику: он стоит на тротуаре в праздничных брюках, как на двух новеньких столбиках, а туго накрахмаленная блуза его кажется каменной. Я не жду Мам и один вхожу к Брисбилю.

Горн заревом освещает кузницу; она вся ощетинилась: на стенах и под потолком развешаны черные инструменты. Среди их темных остовов Брисбиль весь металлический — руки в свин-

це, фартук отливает радугой стальных опилок; Брисбиль грязен из принципа, потому что нынче воскресенье. Он еще не опохмелялся, и лицо у него еще заспанное. Но он с нетерпением ждет, когда зазвонят к мессе, и тогда пойдет пьянствовать в одиночестве.

Сквозь форточку, открытую в тяжелом, плюшевом от пыли окне кузницы, вырисовывается часть улицы, расцвеченной в яркие воздушные тона и усеянной людьми. Четко, как в поле зрения бинокля, выступают, стушевываются, скрещиваются силуэты: вот качаются перья шляпы с лентами; колокольчики штанишек болтаются вокруг худеньких голых икр мальчугана в небесно-голубом галстучке и башмаках на пуговицах; в темных сборчатых юбках, вычерчивающих зигзаги, две кумушки переваливаются, встречаются, впиваются одна в другую и, как две капли чернил, сливаются в одно пятно. На первом плане этого раскрашенного фильма, то появляясь, то исчезая, брюзжит, как всегда, мрачный Брисбиль. Рыжий, звероподобный, веснушчатый, волосы жирные, голос хриплый. Расхаживая взад и вперед по своей клетке, шлепая рваными опорками, он изредка что-то бурчит себе под нос. Брисбиль может кричать, но говорить не умеет; лишь под

нажимом ярости вылетают из его горла хриплые звуки.

Мам входит; переводя дыхание, она садится на табурет, размахивает кривым ключом, который вместе с молитвенником зажат в ее руке. Затем она начинает рассказывать, отрывисто из-за одышки, при каких обстоятельствах ключ погнулся, уснащая свой рассказ множеством подробностей, гнездившихся в ее памяти. Но внезапно внимание угрюмого кузнеца привлекает форточка.

— Скотина! — рычит он.

Мимо проходит г-н Фонтан, виноторговец и владелец кофейни. Широкоплечий, внушительный, заплывший жиром, белый, точно дом. Он нелюдим, никогда рта не раскроет. Он сила: он наживает деньги и накопил уже сотни тысяч франков. В полдень и вечером он исчезает: забившись в задней комнате своего заведения, он ест в одиночестве. Все остальное время он молча собирает деньги. В его стойке — отверстие, куда он опускает монеты. Золото течет в его дом с рассвета до ночи.

— Это какая-то ловушка для су, — говорит Мам.

Я говорю:

— Он богат.

— Что правда — то правда, — издевается Брисбиль. — Проклятый буржуй! А ты такой же несчастный голодранец, как и твои товарищи, но буржуазные идеи крепко в тебя въелись!

Меня передергивает. Это неправда, и Брисбиль раздражает меня: в своей слепой ненависти он обрушивается на все без разбору, а сам, видимо, взволнован появлением этого богача. Бунтарь таращит свои будто стальные глаза и замолкает, как и мы, когда приближается толстый человек.

— Бонеасы еще богаче, — бормочет моя тетя.

Господин Фонтан проходит мимо открытой двери. Слышно, как пыхтит этот толстосум-отшельник. Не успел этот бегемот в широком пальто повернуться спиной и отойти немного, как Брисбиль начинает ругаться:

— Ну и морда! Ты видел, а? Челюсть-то болтается, ровно к ушам подвешена! Прямо свиное рыло.

И, загораясь радостью человека из народа, добавляет:

— К счастью, надо надеяться, что все это скоро полетит к чертям.

Смеется он один. Мам садится подальше. Она ненавидит Брисбиля, она считает его воплощением зависти, злобы и хамства. Впрочем,

все ненавидят этого шута за его пьянство и передовые идеи. Все же, когда в нем нуждаются, предпочитают пойти к нему утром в воскресенье и подолгу засиживаются в кузнице. Все знают, что там можно встретить знакомых, — это уже стало традицией.

— Слышали? Антуанетт скоро вылечат, — говорит Бенуа, появляясь в дверях.

Бенуа — человек-газета. С ним самим никогда ничего не случается, но он существует только для того, чтобы сообщать о том, что случилось с другими.

— Я знаю! — кричит Мам. — Мне сказали нынче утром. Многие знали об этом уже в семи часов утра: в замок приезжает на охоту какой-то знаменитый доктор, а он как раз лечит глаза.

— Бедный ребенок, — вздыхает только что вошедшая женщина.

Брисбиль вмешивается, желчный и злобный:

— Это вы о той девчонке, которую все собираются полечить? Ах ты несчастье! Да кому же до нее дело?

— Всем, — в один голос отвечают две возмущенные дамы.

— Вот как! — ехидно говорит Брисбиль. — То-то она и чахнет.

И он повторяет свою обычную фразу с нелепой торжественностью, как псалом на религиозном собрании:

— Это жертва общественного строя!

Входит Жозеф Бонеас, он охотно навещает Брисбиля, он не пренебрегает общением с обитателями квартала; пришли и Покар, и Крийон, чисто выбритый, кожа лоснится, как полированная; и еще несколько человек. Особенно бросается в глаза Мьельвак — его трясущийся, перламутровый череп; из уважения к обычаям, переступая порог, Мьельвак робко снял шляпу; он работает экспедитором на заводе, носит старенькое, сомнительной чистоты белье и неизменный ветхий пиджачок, который служит ему во всех случаях жизни.

Жозеф Бонеас мне внушает уважение. Его тонкий профиль, матовая траурная одежда, блеск черных лайковых перчаток на черной с золотым обрезом книжечке приковывают мои взгляды.

Он тоже снял шляпу. Тогда и я в уголке украдкой снимаю свою.

Этот вежливый, воспитанный молодой человек поражает врожденным изяществом. Но он болен, его мучают нарывы. Всегда у него шея или руки покрыты гнойниками. В этом тщедушном теле

живет ясный и трезвый ум. Я преклоняюсь перед ним, потому что он рассудителен, полон всяких идей и умеет прекрасно говорить. Недавно по поводу связи современной Франции с традиционной, старой Францией и наших корней в прошлом он дал мне урок социологии, четкий смысл которого был для меня откровением. Я ищу его общества, я пытаюсь ему подражать, а он, конечно, и не подозревает, какое влияние оказывает на меня.

При всеобщем внимании он сообщает, что хочет организовать в Вивье союз молодежи. И обращается ко мне.

— Чем больше я живу, — говорит он, — тем яснее вижу, что все люди поголовно страдают близорукостью. Они не видят, не могут видеть дальше своего носа.

— Да, — говорю я.

Ответ показался мне слишком лаконичным — так же, как и ему, конечно, и наступившее молчание безжалостно подтвердило это. Он заводит беседу с другими, и в темной берлоге Брисбиля я чувствую, как лицо мое краснеет.

Крийон спорит с Брисбилем из-за починки старой шляпы, которую они с увлечением разглядывают, передавая ее друг другу. Крийон сидит,

не отрывая глаз от шляпы. Он душой и телом отдается спору. Его скромное ремесло не защищено никакими твердыми тарифами, и он сам должен отстаивать ценность своей работы. Он колотит кулаками по коленям, обтянутым пропыленными брюками в серую полоску; его толстая волосатая шея похожа на загривок кабана.

— Ну и шляпа! — вопит он. — Я вам скажу, в чем тут дело: дождь погубил ее. Разве это фетр? Это просто грязный носовой платок! Вот вам и жертва декатировки, всяческой чистки-перечистки и непогоды!

Жюстен Покар разговаривает с тремя крестьянами; они держат шапки в руках и слушают его, раскрыв рот. Голосом прекрасного тембра он ведет речь о задуманной им крупной финансовой и промышленной сделке.

Горячка спекуляции наэлектризовывает присутствующих.

— Ну, и наделают делов! — захлебывается от восторга Крийон, отрываясь на минуту от созерцания шляпы, и затем снова принимается за свое занятие.

Жозеф Бонеас говорит мне вполголоса, чем я очень польщен:

— Этот Покар — человек без образования, но

с практической сметкой. Замыслы у него большие, если, конечно, он смотрит на вещи так же, как и я.

А я думаю, что, будь я постарше или пользуйся я большим влиянием в квартале, я, быть может, участвовал бы в затее Покара, которая начинает принимать формы и обещает вырасти в крупное дело.

А Брисбиль хмурится. В сердце его нарастает тайная тревога: эти люди задерживают его, а ему мучительно хочется выпить. Он не может этого скрыть. Он косится на посетителей. По будням в этот час он уже опохмеляется. Внутри у него все пересохло, горит, он тычется от одного человека к другому. Ожидание — выше его сил.

Вдруг все оборачиваются к раскрытой на улицу двери.

К церкви подъезжает карета — зеленая карета с серебряными фонарями. Старый кучер, с тонким жезлом кнута в руке, в огромных перчатках, кажется многоголовым из-за множества воротников, нанизанных один на другой вокруг его шеи. Вороная лошадь горячится.

— Блестит-то, как рояль! — говорит Бенуа.

В карете — баронесса. Ее не видно, занавески спущены. Но карете все кланяются.

— Рабы, — бурчит Брисбиль. — Вы посмотрите-ка, нет, посмотрите! Стоит только этой старой богачке показаться, как все они — посмотрите-ка! начинают рыть носом землю: полюбуйтесь, мол, на наши лысины и горбы.

— Она делает много добра, — вступается кто-то из присутствующих.

— Держи карман шире! — хрипит буян, размахивая руками, как будто его кто-то держит. — А я называю это ханжеством. Вот как я это называю.

Все пожимают плечами. Жозеф Бонеас, неизменно выдержанный, улыбается.

— Богатые всегда были, — говорю я, поощренный его улыбкой. — Они нужны.

— Понятно! — трубит Крийон. — Все это давно известно, стоит только пошевелить мозгами. Но я вот что скажу: некоторые от зависти лопнуть готовы. Я же не из тех, кто лопается от зависти…

Мьельвак надел шляпу на свою окаменевшую от испуга голову и идет к двери. Жозеф Бонеас тоже поворачивается и уходит.

Вдруг Крийон кричит:

— А-а, вот и Петрарка! — и устремляется на улицу, следом за долговязой фигурой; а та, завидев его, только шире раздвигает длинные ноги и постыдно удирает.

— Вы подумайте, — скорчив страшную гримасу, говорит Брисбиль, когда Крийон испаряется, — ведь этот шут — муниципальный советник! Дьявол его!..

Брисбиль весь кипит и трясется от ярости. Вот он нетвердо стоит на ногах, уставившись глазами в пол. И крутит, и так и этак вертит, мусолит и склеивает лохматую, уродливую папиросу.

Рыча, втянув голову в плечи и хромая в дырявых шлепанцах, как Вулкан, кузнец бросается к горну и дергает цепь мехов. Каждый взмах мехов со свистом выбрасывает из пасти горна, насыщенной угольной пылью, голубоватую комету, изборожденную белым, потрескивающую и ослепительную. Кузнец бьет молотом.

Он взбудоражен, он побагровел, он пригвожден к своему углу, как узник, единственный в своем роде, объявивший бунт необъятности вещей.

* * *

Звонят к мессе, и мы уходим. Вдогонку нам несется брюзжание Брисбиля. Досталось и мне. Но что мог он выдумать против меня!

На церковной площади все снова встречаются — разношерстное сборище. В квартале, за исключением немногих рабочих, которых держат на

примете, все ходят к мессе, и мужчины и женщины: из приличия, в угоду владельцам замка, хозяевам, либо по убеждению. К площади ведут две улицы и две дороги, обсаженные яблонями; эти четыре пути приводят сюда и город и деревню.

Площадь по форме напоминает сердце. Как она хороша! На нее падает тень векового дерева, под которым в старину вершили суд; вот почему его называют «Большое дерево», хотя есть деревья и выше и ветвистее. Зимой оно черное, как дырявый дождевой зонт; летом оно отбрасывает светлую тень, как зеленый зонтик от солнца. Рядом с деревом — высокое распятие, давний обитатель площади.

Площадь кишит, волнуется. Окрестные крестьяне в ситцевых колпаках без кисточек ждут на старом углу Новой улицы, тесной кучкой, как яйца в лукошке. Все эти люди нагружены снедью. Вот по диагонали пересекает площадь крестьянка с огромной черной сеткой в руке; сетка топорщится, и женщина держит ее на весу, как мясную тушу. На каменных плитах мостовой — в силуэтах, точно нарисованных углем, и лицах, румяных, как яблоки, — видишь лубочную картинку. Стаи ребятишек носятся и щебечут;

девочки играют в куклы, изображая матерей, мальчуганы играют в разбойников. Горожане держатся чопорнее крестьян и в ожидании мессы благопристойно говорят о своих делах.

А дальше — дорога; апрельское солнце вдоль линии деревьев украсило ее кружевом тени и золота; звенят, как электрические, звонки велосипедов, стучат колеса экипажей; сверкающая река, полотнища воды, по которым солнце расстилает полотнища света и разбрызгивает слепящие точки. Слежу глазами за дорогой: рядом с утрамбованным, твердым шоссе — мягкая, вспаханная земля; многоцветные полосы, сшитые одна с другой (сукно грубошерстное и сукно бильярдное), постепенно бледнеют в пространствах. Местами в эту цветную карту вкраплены леса. Проселочные дороги обсажены деревьями, которые доверчиво следуют друг за другом, а на лугах стада овец, словно игрушечные.

Знакомый, милый пейзаж. Ночью прошел дождь, и сейчас эти омытые камни, заново отлакированные черепицы, крыши, то серые, то солнечные, блестящая мостовая в разводах лужиц, нежно-голубое небо в облачках из папиросной бумаги, соседняя колокольня — похожая и не похожая на нашу — между двух зданий, жел-

тых, как охра, тронутая коричневой краской, на лиловом бархате дальних лесов — это акварель. Взгляд ловит видение, радостное, точно радуга.

С площади, где чувствуешь себя свободно, как дома, входим в церковь. Из-за чащи свечей кюре бормочет что-то — нескончаемую проповедь, благословляет, обнимает всех и каждого, отечески и матерински. Впереди всех на господской скамье — маркиз де Монтийон, похожий на офицера, и его теща, баронесса Грий, одетая, как простая дама.

Месса окончена, мужчины расходятся, женщины не торопятся, они собираются роями, кружатся на месте. Затем эти шумливые соцветия рассыпаются.

В полдень закрываются лавки: богатые автоматически, остальные кустарным способом, — ставни тащит и водружает какой-нибудь молодец. И все пустеет.

После завтрака я брожу по улицам. Дома мне скучно, но я не знаю, что мне делать вне дома. У меня нет друга. Некого навестить: с одними я уже не могу дружить, другие со мной еще не хотят дружить. Кафе и кабачки гудят, звенят и утопают в табачном дыму. Я не хожу в кафе из принципа — у меня боязнь расходов, внушенная мне моей

тетей. И вот я слоняюсь бесцельно по пустынным улицам, разверзающимся передо мной от поворота к повороту. Бьют часы. К чему мне знать, который час? Мне нечем заполнить время.

Я иду в сторону садов богачей, спускающихся к реке. С некоторой завистью я смотрю на вершины деревьев за оградами этих пышных парков, на могучие ветви в уборе прошлого лета, пропыленном и старомодном.

Далеко от этих мест я встречаю Тюдора, приказчика в модном аптекарском магазине. Он в нерешительности, он не знает, куда ему идти. Каждое воскресенье он надевает один и тот же крахмальный воротничок, который становится все грязнее. Поравнявшись со мной, он останавливается, как будто убедившись, что ему незачем идти дальше. Во рту у него торчит погасшая папироса.

Он тащится за мной. Мы молча бредем до платанов. Изредка на безлюдной улице промелькнет силуэт. Я смотрю на молодых девушек; они на минуту возникают на плоскости фасадов, перед закрытыми витринами — некоторые из них прелестны, рядом с ними матери, похожие на них, как карикатуры.

Тюдор ушел, а я этого даже не заметил.

Почти все кабаки освещены, шумят. В серых сумерках крадется к ним неодолимая толпа. Она надвигается темной тучей, она несет молнии, грозу.

* * *

И вот наконец вечер; он смягчает камень улиц.

…На берегу реки, куда я пришел в одиночестве, рассеянный, оживают идиллии. Смутно вырисовываются фигуры: люди ищут и находят друг друга. Появляются, исчезают пары, укрываясь от бледного света заката. Вечер стирает краски, черты, имена прохожих.

На берегу я вижу женщину; она ждет, силуэт ее вычерчен на жемчужно-сером поле, и кажется, что тень кругом ложится от него. Я хочу вспомнить ее имя, но узнаю лишь ее изваянную красоту. Неподалеку от этой одушевленной кариатиды, между черных колонн высоких деревьев с мглистыми ветвями, словно наклеенных на последнюю полоску лазури, проходят призрачные, тесно слитые пары. Тень укрывает их в своем храме.

Ветхая рыбачья хибарка виднеется на зеленом склоне; ниже густые заросли тростника шуршат от течения реки; а дальше тростники редеют и об-

разуют концентрические круги на сверкающей и текучей поверхности воды. Пейзаж экзотический или античный. Вне времени и пространства. Какой-то клочок вечной земли, где два пола соединяются, облекаясь тайной.

* * *

Задумавшись, я подымаюсь к шумам и движению города.

В воскресные вечера свидания — немалая забота мужчин — менее скромны. На мостовой, на тротуарах чувства прорываются откровеннее. Щебет голосов, смех, слышный даже сквозь двери, крики, песни.

На улицах светло; резкий свет газовых фонарей, отблески витрин обнажают лица. Антони проходит в кругу мужчин; они громко болтают, жадно смотрят на нее, вытянув шеи. Она меня увидела. Позабыв о своей свите, она призывно кудахчет. Но я смотрю в сторону, и она проходит мимо.

Когда она и ее свора исчезают, меня обдает запахом керосина. А-а!.. И заводской ламповщик здесь! Желтый, шершавый, землистый, глаза вытаращены; он пахнет затхлым и как будто пропитан керосином. Он — ничтожество. Его не замечаешь, его узнаешь по запаху.

Проходят и другие женщины. Много воскресных вечеров я сам был участником всех этих любовных занятий.

* * *

Среди этих существ, болтливых и цепляющихся друг за друга, одна женщина стоит, как столб, и вокруг нее пусто.

Луиза Верт. Она страшна, как смертный грех; она была слишком добродетельна в то время, когда, говорят, могла бы не быть такой. Она об этом жалеет, и речи ее бесстыдны, как месть целомудрию. Она ищет любовника, но всех отпугивает ее костлявое, изъеденное экземой лицо. Ребятишки издеваются над ней; они знают, что ей нужно: откровенности взрослых надоумили их. Какая-то малышка лет пяти щебечет, указывая на нее пальчиком: «Она хочет музцину».

По площади бесцельно, как сухой лист, кружится Верон; Верон при всякой возможности увивается вокруг Антони. Весь он какой-то расхлябанный, голова маленькая, склоненная на правый бок, лицо расплывается бесцветной улыбкой; он живет на небольшую ренту, бездельником. Он добр и ласков и по временам подвержен приступам жалости.

Верон и Луиза Верт замечают друг друга и уходят в разные стороны, чтобы не встретиться. Они друг друга боятся.

А вот еще один, тоже вне любви — Жозеф Бонеас, жалкий-прежалкий, невзирая на его высокий ум. Между опущенным полем шляпы и белым, точно жгут полотенца, вздувшимся кашне видно испитое, желтое, унылое лицо.

Мне жаль одиноких, блуждающих в поисках — в поисках самих себя! С сожалением смотрю я на эти суетные тени, на этих неприкаянных, бедных прохожих.

Где я?

Перед рабочими корпусами — колоссальной плоской декорацией, прорезанной окнами. Здесь живет Мари Тюссон; отец ее, как и я, служащий у Гозланов, он управляет этими домами. Я пришел сюда инстинктивно, не отдавая себе в этом отчета, едва замечая людей и вещи, отчужденный от всего.

Мари — моя двоюродная сестра, но я с ней почти не вижусь. Мы только здороваемся, и при встречах она улыбается мне.

Прислонившись к платану, думаю о Мари. Высокая девушка, пышная и нежная, — широкобедрая Венера в простом платье; красивые губы

блестят, и глаза тоже!

От сознания, что она близко, я волнуюсь. Я испугался бы, как в последнюю нашу встречу, появись она передо мной, выступи из темноты ее сияющее лицо, ее тело в шелках и рука, держащая руку сестренки.

Но она не появляется. На холодной синей декорации я вижу во втором этаже лишь два окна, нежно обласканных светом; за одним из них, быть может, — она. Свет этот не облекается в формы и живет в другом мире.

Я отрываю наконец глаза от здания, от этого вертикального и немого неба, где, как звезды, сияют окна в просветах между деревьями.

В этот вечер, завершающий прожитые мною дни, я иду прямо домой.

* * *

Маленькая Антуанетт — как это ее оставляют одну? — появляется передо мной и протягивает ко мне руку. Она просит показать дорогу. Я веду ее. Расспрашиваю, слушаю, нагибаюсь к ней и стараюсь идти с ней в ногу. Но она слишком еще мала, лепечет что-то, и ничего у нее нельзя понять. Зрение у нее такое слабое, что вечером она как слепая; я осторожно веду ее к низенькой

двери лачуги, где она живет.

На моей улице, около дома с решетчатым слуховым окном, похожим на фонарь, стоит дядя Эйдо в неизменном капюшоне, темный и островерхий, как этот дом.

Я его побаиваюсь. Чиста ли у него совесть? Но, даже будь он преступником, все же он жалок; я останавливаюсь и заговариваю с ним. Он подымает голову; под капюшоном белеет одряхлевшее лицо. Я говорю о погоде, о близкой весне. Он слушает рассеянно, сквозь зубы роняет «да» и говорит:

— Вот уже двенадцать лет, как умерла моя жена, двенадцать лет я одинок, двенадцать лет меня преследуют ее последние слова.

И я вижу, как жалкий маньяк, поглощенный своим непостижимым горем, побрел дальше, и едва ли он слышит, что я с ним прощаюсь.

В глубине холодной комнаты нижнего этажа горит огонь. Мам сидит на скамеечке у камина, освещенная пламенем пылающих углей, и, вытянув руки, греется.

Входя, я вижу ее сутулую спину. Шея желтая, точно кость, и тонкая, вот-вот переломится. Тетя моя задумалась и держит в руке ненужные щипцы. Я сажусь на свое место. Молчание мое мучает

Мам. Она роняет щипцы; они издают металлическую икоту. И вот Мам начинает оживленно судачить:

— Чего-чего только здесь не насмотришься. Воскресенье всегда так хорошо начинается, и все говорят: «А вот и я!» Незачем ездить в Париж и даже за границу. Наш квартал — маленький мирок, построенный по образцу других, — добавляет она, спесиво покачивая усталой головой. — Немногие найдут, чем похвастать: у нас все людишки маленькие. Шуты они, это верно. Но это только с виду, а в сущности, нет шутов: есть только люди, каждый думает о самом себе, потому что каждый, мой милый, заслуживает счастья. Как и везде, есть две породы людей: бунтари и люди приличные, так было всегда, мой милый, и так будет всегда.

III. Вечер и рассвет

Как раз в ту минуту, когда я старательно проверял счет Семезона, — я помню эту подробность, — раздались незнакомые шаги, голоса, и сквозь стеклянную дверь, не успев даже обернуться, я услышал: «Тетушка господина Полэна очень плоха».

Фраза эта ошеломила меня. Я замер… Кто-то стоит передо мною. Дверь хлопает от сквозного ветра.

Мы ушли вдвоем. Прибежал за мной Бенуа. Спешим. Я задыхаюсь… Рабочий день на заводе в разгаре, навстречу нам идут равнодушные люди, они улыбаются мне, не зная еще о случившемся.

Вечер холодный, грязный. Резкий ветер; накрапывает дождь. Идем, шлепаем по лужам. Как загипнотизированный, я смотрю на широкие плечи Бенуа и на пляшущие фалды его сюртука; он идет впереди меня темной дорогой, и ветер бросает его из стороны в сторону.

Предместью нет конца; ветер свищет между редкими домами, дрожащие кусты по обе стороны дороги бегут нам навстречу, как волны в бурю. Да, мы не созданы для больших событий!

* * *

В комнате меня поражает гулкий треск дров в камине и жара, почти невыносимая. От запаха эфира и камфары щиплет в горле. Знакомые люди стоят вокруг кровати. Они оборачиваются ко мне и начинают говорить все сразу.

Я наклоняюсь, чтобы взглянуть на Мам. Она точно врезана в белизну постели, как бы изваянной из мрамора. Лицо ее утонуло в подушке. Глаза полузакрыты; взгляд застыл; кожа потемнела. Каждый вздох вылетает из ее горла со свистом; и если бы не слабые содрогания гортани и губ, маленькое, тщедушное тело ее было бы недвижимо, как кукольное. Она без чепца; седые волосы сбились на голове хлопьями пыли.

Несколько голосов хором объясняют мне: кровоизлияние в мозг, да и сердце, знаете ли… Она потеряла сознание, и этот непрекращающийся, ужасный озноб! Она бредила, звала меня и вдруг стихла. Врач считает положение безнадежным; он придет еще раз. Аббат Пио был в пять часов.

Молчание. Какая-то женщина бросает в камин, в ослепительный сноп пламени, полено. Дерево трещит; отсветы огня преображают комнату.

* * *

Я долго смотрю на это лицо, сочетавшее в себе волнующим образом уродство и доброту. Я хочу поймать взгляд чуть приоткрытых глаз, в которых меркнет свет. Что-то темное исходит от нее, накладывает на нее печать, какая-то тень изнутри искажает ее облик. Видно, что она истощена до последней степени и живет только чудом.

Эта мученица, эта обреченная, только она заботилась обо мне в течение двадцати лет. Двадцать лет она водила меня сначала за руку, потом стала брать под руку; она не давала мне почувствовать моего сиротства. Тщедушная и слабая, она была мужественнее, сильнее и лучше меня. И в это мгновение, когда передо мною встало все прошлое, я вдруг понял, как эта старая чародейка скрасила мое детство; и я опускаю голову, вспоминая, что она неустанно восхищалась мной. Как она меня любила! Она еще и теперь смутно любит меня, если в ней сохранилась хоть искра света. Что со мной станется без нее!

Она была такая любящая, такая хлопотунья. Жизнь ее встает передо мной в сотне мелочей. Оцепенело гляжу я на кочергу, на щипцы, на большую ложку, на все эти предметы, которыми

она орудовала, продолжая без умолку болтать; вот они здесь, брошенные, никому не нужные.

Как во сне, встают те времена, когда она говорила, когда она кричала, дни юности, дни весны и нарядов; и сквозь эти радужные, легкие образы передо мной возникает ее темная рука, словно тень, упавшая на простыню.

Все смешалось в моих глазах. Я снова вижу наш сад в первые весенние дни; наш садик, вот за этой стенкой — такой узенький, что отблески солнца на стеклах двух окон сплошь расшивают его узорами; в нем нет ничего, кроме нескольких растений в горшках и трех кустов крыжовника, посаженных в незапамятные времена. Птичка, малиновка, похожая на тряпичную игрушку, прыгает с ветки на ветку в солнечных лучах. Весь пыльный, греется на солнце наш рыжий охотничий пес Мирлитон; он лежит, вытянувшись, словно бежит… По воскресеньям за городом он гоняется за кроликами. Но он ни разу не поймал ни одного кролика; он ловит только блох… Когда я отстаю, тетя моя останавливается на дорожке, протягивает ко мне руки, наклоняется, зовет меня, а я, мальчуган, бросаюсь к ней.

* * *

— Симон! Симон!

Передо мной женщина. Я отрываюсь от образов, ворвавшихся в комнату. Встаю. Моя двоюродная сестра Мари.

Она протягивает мне руки. Вокруг постели мерцают свечи. И в их горестном свете я вижу ее опечаленное и мокрое от слез лицо. (Тетя любила ее.) Губы ее дрожат. Частое дыхание подымает грудь.

Я снова опускаюсь в кресло. Воспоминания снова завладевают мною, а дыхание больной все замедляется, неподвижность ее становится все более и более грозной. Слова, которые она мне говорила, просятся на мои губы. Но вот глаза мои открываются, ищут и останавливаются на Мари.

* * *

Она прислонилась к стене и стоит, удрученная. Тот угол, где она стоит, освещен ее пышной и греховной красотой. Каштановые волосы — бронза и золото — небрежными и влажными прядями падают на ее лоб и чистый абрис щек. Шея, белая шея, видна мне особенно ясно. Задыхаясь от

раскаленного, тяжелого воздуха, который нас окутывает почти видимой пеленой, она расстегнула воротник платья; я чуть улыбаюсь ей. И в этой разоренной комнате взгляд мой блуждает по ее широким бедрам, плечам и останавливается на ее груди, белой, как заря.

* * *

Снова пришел врач. Несколько минут он молча смотрел на постель. Сердца наши, по мере того как он смотрел, леденели. Он сказал, что конца надо ждать сегодня ночью. Он засунул обратно в карман пузырек, который принес. Извинился, что не может дольше оставаться, и ушел.

И вот мы сидим здесь, рядом с умирающей, такой слабой, что мы не осмеливаемся прикоснуться к ней и даже заговорить с ней.

Госпожа Пио устроилась на стуле. Скрестила руки, опустила голову. Так идет время.

Изредка в дверях выступают из тени фигуры: люди входят на цыпочках, что-то говорят шепотом и уходят.

Умирающая шевелит руками, ногами. Лицо ее исказилось… В горле клокочет; шея утонула в провале под подбородком, словно в сумрачном гнезде. Лицо побледнело. Кожа, обтягивающая

кости этого лица, как саван, с каждой минутой все бледнеет. Мы теснимся вокруг ее постели, подстерегая каждый вздох. Протягиваем к ней руки — она так близко и так далеко; не знаем, что делать.

Я смотрю на Мари. Она опустилась на низенькую скамейку, слишком тесную для ее молодого, расцветшего тела.

Стиснув зубами платок, она встает, чтобы оправить подушку. Нагибаясь над кроватью, она опирается коленом о стул. Это движение на минуту приоткрывает ее ногу, округлую, как прекрасная амфора, и сквозь черный прозрачный чулок ее кожа просвечивает золотистым муаром… Я весь рванулся к ней, над этой кроватью, превращавшейся в могилу, едва подавил крик призыва… Край платья опустился; но я не могу оторвать глаз от этой глубокой черноты. И смотрю, смотрю на Мари. Я так хорошо знал ее, но как будто впервые вижу ее всю.

— Ничего не слышно, — говорит одна женщина.

— Нет, слышно еще…

— Нет… Нет… — повторяет та.

И вот, я вижу: мощная спина Крийона сгибается. Рот моей тети медленно открывается и так

остается открытым. Веки приподнялись, глаза скосились, остекленели на маске из серой кости. И я вижу, как толстая рука Крийона скользнула по иссохшему, будто у мумии, лицу, закрыла глаза и придерживает веки.

Мари вскрикнула, поняв по этому движению, что наша тетя умерла.

Она шатается. Я протягиваю к ней руку, поддерживаю ее, обнимаю. Обессиленная, она цепляется за меня; на секунду я почувствовал на своих руках тяжесть ее тела. Платье у ворота расстегнуто, ткань поникла, как оборванные лепестки, и ее неровное дыхание приоткрыло чистую линию груди.

Тело ее вздрагивает; она закрывает лицо руками и вдруг поворачивает голову. Лица наши столкнулись, и рот мой ощутил вкус ее слез.

* * *

Комната наполняется рыданиями. От причитаний стоит гул. Засуетились соседи, превратившись в друзей; на них никто не обращает внимания.

И вот в этой комнате, где все еще кровоточит смерть, я не могу запретить моему сердцу бурны-

ми толчками стремиться к девушке, стоящей, как и все, на коленях, но оттеснившей все, что не она, вопреки моей воле, вопреки своей воле, вопреки всему. И в этом мраке тело мое и все, что я есть, — возрождается. Рядом с этим бедным существом, жизнь которого еще так недавно была тесно слита с моей и которое сейчас отходит, отходит в ад вечности, меня окрыляет какая-то надежда!

Я хочу сосредоточить внимание на неподвижности постели. Я закрываю рукой глаза, хочу думать только о мертвой, уже беззащитной, уже лежащей на земле, в которую ее опустят. Но сквозь пальцы взгляд мой рвется к новой женщине, открытой мною в хаосе и печали, и взгляд мой не может от нее оторваться.

Госпожа Пио переменила свечи, подвязала челюсть у покойницы. В оправе этой повязки, стянутой узлом на темени в руне седых волос, лицо с заострившимся носом и чертой остекленевших глаз напоминает маску из зеленой бронзы. Острые колени приподымают простыню; полотно обтянуло тонкие жердочки ног, и ступни торчат, как два гвоздя.

Мари собирается уходить. Она застегнула воротник платья, надела плащ, спряталась. Она подходит ко мне, печальная, сдерживая слезы, и

молча улыбается.

Я привстал, руки мои дрогнули навстречу ее улыбке, как будто хотели осязать ее над прошлым, над прахом моей второй матери.

К концу ночи, когда из погасшего камина потянуло холодом, женщины ушли одна за другой. Час, два часа. Я один. Я хожу по комнате из угла в угол и, дрожа, оглядываюсь. Нет больше моей тети. От нее не осталось ничего, кроме какой-то разрушенной, непонятной вещи землистого цвета, и место ее пусто. И вот я возле нее один! Один, со своим сиротством, хозяин своего будущего, потрясенный и холодеющий у порога новых времен. Наконец окно светлеет, сереет потолок: первые признаки дня, в котором меркнут огоньки свечей.

Я дрожу от холода. Из глубин моего рассвета, в этой комнате, где прошло мое детство, я вызываю образ женщины, и он заполняет комнату; она стоит у камина, где пылает радостный огонь, блики его одевают ее в пурпур — алое платье, золотое лицо, — она протягивает к огню прозрачные, прекрасные руки. Из мрака я настороженно смотрю на нее.

* * *

Две ночи, после этой ночи, прошли в скорбной неподвижности, в углу комнаты, где мерцанье восковых свечей, казалось, одушевляло вещи. Два дня разные дела отвлекали меня, и отчаяние сменилось тупой болью.

Последняя ночь. Я открываю ящичек с сокровищами моей тети. Она называла его «ларчик». Он стоял на комоде под кучей всякого хлама. Я увидел старинные серьги с топазами, золотой крестик, маленький и легкий — она носила его подростком или девушкой — и завернутую в папиросную бумагу, как реликвия, мою детскую карточку. И, наконец, исписанную страницу, вырванную из моей школьной тетради, которую она не могла решиться выбросить целиком; лист бумаги, пожелтевшей и прозрачной на сгибах, был хрупок, как старинное кружево, и казался тоже драгоценностью. Вот и все сокровища, которые накопила моя тетя. И ящичек этот свидетельствовал о скудости ее жизни и о богатстве ее сердца.

* * *

В день похорон шел проливной дождь. С утра

в просторный склеп нашей комнаты, сменяясь, приходили и уходили люди. К двум часам тело положили в гроб. И понесли его коридором, где ноги людей оставили лужицы и грязь. Ждали запоздавший венок; и вот раскрылись, заколыхались черные зонты: процессия тронулась.

Когда вышли из церкви, было около четырех часов. Дождь не перестал, и вдоль улицы, по обе стороны медлительной процессии, бежали ручьи. Было много цветов — траурная колесница создавала довольно живописное пятно. Было много народа — я не раз оглянулся. И всякий раз глаза мои натыкались на дядю Эйдо в черном капюшоне, прыгавшего по лужам, горбатого, как ворон. Мари шла с женщинами под ненадежной, мокрой крышей зонтов во второй половине этой цепочки, которую похоронные дроги волокли за собой толчками. Она шла разбитой походкой. Она была поглощена нашим горем. И этот ненасытный вечер мне кажется еще мрачнее.

Кладбище под сеткой дождя. Грязь. Под ногами хлюпают лужи. Несколько деревьев, голых, безжизненных. Небо похоже на болото и усеяно воронами.

Гроб с искаженными останками человеческой формы снимают с колесницы, и он исчезает в

свежеразрытой земле.

Проходят гуськом. Мари и отец ее стоят рядом со мной. Я благодарю всех. Они все одинаковы: темные одежды, беспомощные жесты, убитые лица, готовые слова, которые они роняют, проходя мимо меня. Из замка никто не приехал; но все же народу много, и внимание всех этих людей сосредоточено на мне. Я приободрился.

Подходит Люсьен Гозлан, называет меня «дорогой мой», передает соболезнование своих дядей, все это слышат.

Жозеф Бонеас сказал мне: «милый друг», и это меня очень тронуло. Покар сказал: «Если бы меня вовремя известили, я произнес бы несколько слов. Как это прискорбно…»

Другие… И вот на ветру сквозь дождь и сумрак видны только спины.

— Кончено… Пойдем.

Мари подымает ко мне лицо все в слезах. Она кроткая, она нежная, она несчастна, но она меня не любит.

Расходятся вразброд, между скелетами деревьев, обугленных зимой.

Когда мы добрались до квартала, сумерки уже завладели улицами. Долетают обрывки разговоров о деле Покара. Да, люди живут жестоко и

стараются преуспеть!

Малышка Антуанетт осторожно пробирается возле стены, она слышит наши шаги. Она останавливается и посмотрела бы, если бы могла. В сумраке, с которым она начинает сливаться, нечетко видна ее фигурка, тоненькая, как пестик цветка.

— Бедный ребенок! — говорит какая-то женщина.

Когда мы проходим мимо заведения Рампая, возле меня только Мари со своим отцом. Мужчины, присутствовавшие на похоронах, сидят за столиками все черные.

Подходим к моему дому. Мари протягивает руку. Замешательство.

— Зайди.

Она входит. Видим мертвую комнату. На полу лужи; дует ветер, как на улице. Мы оба плачем. Она говорит:

— Я приду завтра прибрать… До завтра.

Смущенно, не глядя, протягиваем руки.

* * *

Немного позже в дверь скребутся, затем стучат, и показывается кто-то длинный.

Это Верон; вид у него смущенный. Большое,

нескладное тело его покачивается, как вывеска, повисшая в воздухе. Странный он, этот Верон, сентиментальный. Никто никогда не полюбопытствовал узнать, что это за человек. Он говорит:

— Дружок мой, мези (через каждые три минуты он повторяет это бессмысленное слово, точно у него какой-то звуковой тик). Может, нужны деньги, а? Или еще что… Может, нужны деньги… мези, мези… Все эти расходы… Я и подумал: дайка отнесу ему…

Он смотрит на меня, повторяя: «мези». Я жму ему руку, на глазах у меня слезы. Мне не нужны деньги, но я никогда не забуду этого порыва, такого человечного, такого редкостного.

И когда он ушел, вразвалку, обескураженный моим отказом, стесняясь своих длинных ног и большой души, я сажусь, поеживаясь, в угол, затем пересаживаюсь в другой, такой же пустынный. Мне кажется, что Мари унесла с собой последнее, что у меня было. Я тоскую, я одинок — из-за нее.

IV. Мари

Скамья стоит у серой стены, там, где растет розовый куст и начинается спуск к реке. Я просил Мари прийти сюда, и вот, в сумерках, жду.

Когда, после стольких дней колебания, я наконец решился и попросил ее прийти сюда сегодня вечером, она удивилась и промолчала. Но она не рассердилась; ничего не сказала. Затем пришли какие-то люди, и она ушла. Я жду.

Медленно схожу к реке. Подымаясь обратно, в темноте вижу: кто-то сидит на скамье. Лица не видно, но смутно белеет вырез платья и чернеет широкая юбка. Нагибаюсь, слышу тихий голос:

— Я пришла, видишь.

Я говорю:

— Мари!

Сажусь рядом с ней. Долго молчим. Она здесь, вся. Я вижу белизну ее лица, шеи, рук, всю красоту ее, подобную свету под черными покровами.

Она была для меня образом волнующим, но далеким, отчужденным, живущим своей жизнью. Сегодня она меня услышала, она откликнулась на мой зов, она пришла.

* * *

День был знойный, под вечер прошел ливень с грозой, затем дождь перестал. Слышно, как падают последние капли с ветвей, нависших над стеной. Воздух насыщен запахами земли, листьев и цветов, и ветер приносит их тяжелыми гирляндами. Она первая начинает говорить об одном, о другом.

Я не слышу, что она говорит; я придвигаюсь, я хочу видеть ее губы. Я отвечаю:

— Я только о тебе и думаю.

Она слушает. Она молчит. Молчание ее ширится, ширится в темноте. Я придвинулся еще ближе; я ощутил на своей щеке крыло ее дыхания и почувствовал, что молчание ее — ласка.

И, чтобы прийти в себя, я хочу закурить; я зажигаю спичку, но не закуриваю; я вижу Мари — бледную, золотую, чуть взволнованную. На лице ее проступает улыбка. Я вижу ее всю, пронизанную этой улыбкой.

Темнеет в глазах, дрожат руки. Я хочу, чтобы она говорила:

— Говори…

Мари подымает голову, хочет сказать что-то. И вдруг при свете крохотного огонька, этого хрупко-

го, великого разоблачителя, мы видим надпись, вырезанную на стене, — сердце и в нем инициалы: Э. С. Надпись эту однажды вечером вырезал я сам! Тогда здесь сидела Элен, и мне показалось, что я боготворю ее. На секунду меня ошеломили эти следы былого и забытого заблуждения. Мари ничего не знает, но уже одно то, что она увидела начальные буквы чьих-то имен — чужую тень, вставшую между нами, — мешает ей говорить.

Спичка гаснет, я бросаю ее на землю. Последняя вспышка огня осветила край черного платья из саржи, такого поношенного, что материя лоснится даже вечером, и туфель Мари. Чулок у лодыжки порван, и мы оба это увидели, Мари, смутившись, быстро спрятала ногу под юбку. Еще сильнее меня охватывает дрожь: глаза мои коснулись частицы ее укрытого тела, частицы присущей ей белизны.

В тусклом сумраке она медленно встает, обрывая эту первую встречу, менявшую наши судьбы.

Возвращаемся. Тень легла вокруг, тень легла на нас. Мы идем анфиладой покоев, из мрака в мрак. По расплывчатой тени на стене я слежу за движениями ее тела. В ночной тьме платье ее — ночь; она — здесь, вся. В ушах у меня звенит; мир поет гимн.

Безлюдной улицей она идет по краю тротуара. Чтобы лицом быть на уровне ее лица, я иду рядом, канавкой, и холодная вода проникает сквозь мою обувь.

Весь во власти желания, в этот вечер я так был уверен в победе, что даже забыл взять ее за руку. Перед ее домом я сказал: «До завтра». Она ответила: «Да».

В один из последующих дней, под вечер, кончив работу, я пошел к большому, густонаселенному дому, где она живет. Я поднялся на второй этаж темной узкой лестницей, прошел длинный, извилистый коридор. Здесь. Дверь прикрыта неплотно. Я постучал. Вошел; навстречу мне — глубокая тишина. Никого. Я почувствовал острое разочарование.

Нерешительно топчусь в пустой крошечной прихожей, освещенной через стеклянную дверь кухни; там журчит струйка воды. Отворяю другую дверь. Комната; сквозь занавеси узором падает свет; у стены — кровать, голубое сатиновое одеяло блестит, как на фромолитографии. Комната Мари. Обои в цветочках; на гвозде висит шляпа из серой тафты с розой: Мари не носит ее в дни траура. Тут же висят черные платья. Я вхожу в это светлое и голубое жилище, опрятное и скромное,

точно на картинке, точно здесь обитает лишь холодный снеговой свет.

Крадучись протягиваю руку. Слегка касаюсь этих одежд, касавшихся ее. Оборачиваюсь, смотрю на голубую кровать.

На полочке — книги, заглавия которых могли бы меня заинтересовать: что она думает, что ее волнует… Но я пренебрегаю всем: мне хочется подойти к кровати. Движением взволнованным и боязливым я подымаю покрывало. Взгляд мой не может оторваться от этой белизны, и колени, дрожа, опираются о край единственного из всех предметов, наделенного нежной и податливой плотью.

* * *

Обычная жизнь идет своим чередом, и работа моя все та же. Я по-прежнему машинально отмечаю избитые истины Крийона, назойливые обличения Брисбиля, слухи о деле Покара и процветание «Реванша» — общества национального пробуждения, основанного Жозефом Бонеасом. Сложное и однообразное существование поглощает меня, как и всех. Но с той трагической ночи, когда в старой комнате, у постели умершей, скорбь моя преобразилась в радость, мир, в сущ-

ности, перестал быть для меня тем, чем он был. Блуждаю ли я по улицам в толпе; одеваюсь ли у себя в комнате, открывая, что черное мне к лицу; сижу ли за столом, залитым солнцем, — и вещи и люди, все кажется мне суетным, далеким. Лишь изредка воспоминания о моей тете меня захватывают. Но стоит мне услышать имя: «Мари», как я вздрагиваю. Когда люди говорят: «Мари», они не знают, что говорят. И ощущение нашей разлуки порой бывает таким острым, таким напряженным, что я не знаю, отсутствует она или она здесь, со мной.

Во время прогулки, с которой мы только что вернулись, лето и радость жизни легли мне на плечи ощутимее, чем когда-либо…

Огромный дом ее, в иные часы похожий на муравейник, сейчас зияюще пуст: ни души в лабиринте темных лестниц и площадок, куда выходят узкие, замкнутые улицы коридоров и где по углам в раковины капает вода из кранов. Мы проникнуты нашим необъяснимым, полным одиночеством. И когда мы медленно подымаемся вертикальной и размеренной дорогой, радостное возбуждение овладевает мною. В лестнице, в обдуманных формах ее спирали, в разумной нарезке ее ступеней, в ритме ее ступеней есть

что-то одухотворенное. Высоко, в покатой крыше, прорезано круглое окно: в эту часть доходного дома, в этот жалкий замкнутый городок, свет проникает только оттуда. Тень на стенах колодца, из которого мы стремимся, шаг за шагом, выйти, укрывает наше неуклюжее восхождение к свету, проникающему сквозь щель. Темные и скрытые, мы словно подымаемся в небо.

Изнемогая от усталости, мы наконец садимся рядом на ступеньку. В доме с простым круглым окном, нависшим над нами, ни звука. Лестница так узка, что мы невольно прижались друг к другу. Истома ее сообщается мне; меня тревожит потаенный свет, который она излучает. Сквозь теплоту ее тела, мне кажется, я ощущаю ее мысли. Тени ложатся вокруг нас. Я едва вижу женщину, сидящую рядом, согнувшуюся, теплую и полую, как гнездо.

Тихонько называю ее по имени — это звучит криком признания! Она оборачивается, и я как будто впервые вижу ее лицо открытым. Я обнимаю ее за плечи. «Поцелуй меня», — говорит она. Не говорим, — щебечем, шепчемся, смеемся.

* * *

Вдвоем рассматриваем мы квадратик бумаги. Я нашел его на скамье под розовым кустом, у спуска к реке. Он был бережно сложен, как будто был забыт кем-то и точно чего-то ждал, задержанный тяжестью своего нежного груза: на нем несколько старательно написанных строк. Читаем:

«Я не знаю языка набожных сердец, я ничего не знаю: я — экстаз и страдание, и лишь слезы подступают к моим глазам, когда я вижу твою красоту и твою улыбку».

И мы, поддавшись таинственному влиянию слов, прочтя, перечитываем снова. Мы ощупываем эту случайно найденную бумажку, не зная, что это такое, и не вполне понимая смысл этих слов.

* * *

Когда в прошлое воскресенье я позвал ее пойти со мной на кладбище, она согласилась, — она всегда соглашалась на все мои просьбы. Я смотрел, как она шла садами, задевая кусты роз. Мы шли молча; мы все реже и реже прибегали к словам. Долго смотрели мы на цветущий клочок земли за оградкой, где лежит наша тетушка, — на этот

цветник, занимающий ровно столько пространства, сколько нужно ей самой. Возвращаемся полями с кладбища; солнце уже низко, мы держимся за руки, и нас окрыляет радость.

На Мари черное платье из шерстяного фуляра; юбка, и рукава, и воротник треплются на ветру; изредка она оборачивается, смотрит на меня, и тогда ее лицо, такое светлое, еще больше светлеет. Она идет, слегка склонившись вперед, зеленые блики ложатся на ее лоб, на щеки, и среди трав и цветов она кажется великаншей. Бабочка вьется перед нашими глазами, и садится чуть подальше, и снова от нас улетает; мы улыбаемся бабочке — она думает о нас.

Позолоченные косыми лучами солнца, подходим, держась за руки, к статуе Флоры, поставленной в старину на опушке леса каким-то помещиком. На вечном фоне дальних гор стоит полунагая богиня, чуть тронутая красками заката; на золотистое бедро наброшено покрывало из камня, белого, словно полотно. Перед древним замшелым цоколем я крепко прижал к себе Мари. И в уединении священных рощ коснулся ее тела. Я расстегнул ее черное платье, развязал ленты рубашки и, уподобляя ее богине, обнажил широко расставленные, острые груди.

Опустив голову, в милом смущении, раскрасневшись от крови и солнца, она не отвергает моего поклонения.

Губы мои касаются ее губ. До этой минуты рот ее оставался безучастным, сколько бы я ни целовал его. Но сейчас она ответила на мой долгий поцелуй и даже закрыла глаза.

И вот она уже стоит, скрестив руки на белоснежной груди, — рот полуоткрыт, алый и влажный; она стоит, оторвавшаяся от меня, но все еще близкая, и рот ее — это вся она.

Она прикрыла грудь. Ветерок посвежел, яблони в садах стряхивают птиц с ветвей и рассыпают их в пространстве, и вдали, за ярко-зеленой оградой, пляшет на солнце развешанное белье. Небо потемнело. И ветер усиливается и начинает хозяйничать на земле. Это было в тот день, когда поднялся такой страшный ветер. Он застигает нас на склоне горы. Он несется из бесконечности. Он вырывает стоны из рыжей листвы леса, и сквозь колоннаду черных стволов видно, как он пригибает к земле кусты.

Небо в серых покровах проносится над нами с головокружительной быстротой, и в прорывах облаков летящая птица кажется камнем, брошенным вниз. Почти ползком спускаемся мы

по откосу в долину. Бешеное дыхание неба нас настигает, гонит вперед, и мы держимся друг за друга.

И, досыта наглотавшись ветра, оглушенные космическим концертом пространств, мы укрываемся на берегу реки. Река бежит между деревьями, сомкнувшими свои верхушки. Мы идем мягкой сырой черной тропинкой под стрельчатым сводом этого зеленого монастыря тени, с изразцами из хрусталя. Вот плоскодонная рыбачья лодка. Зову Мари сесть в нее, и лодка скрипит и оседает от тяжести ее тела. Под всплески двух старых весел плывем мы вниз по течению.

Глаза и сердца наши заново творят мир; берега бегут нам навстречу; деревья и кусты отступают назад. А мы — мы стоим на месте! Но вот, в густых травах, лодка садится на мель. Мари полулежит. Молчим. Я подползаю к ней на коленях, лодка дрожит, как и я. Без слов лицо ее зовет меня; вся она зовет меня своим небрежно раскинутым, беззащитным телом и — под легкими тканями, живущими ее жизнью, — своей упругой грудью, своей плотью.

Я взял ее. Беспомощная, покорная, милая, она подчинилась нежному насилию. Теперь она моя, навсегда! Отныне будь что будет, пусть идет

время, пусть зимы сменяют лето — она моя, и жизнь оправдана. С гордостью я думаю о прославленных любовниках, на которых мы похожи, и я вижу, что нет закона, который устоял бы перед силой любви. И под тленным крылом листвы, при непрестанной смене декорации на земле и на небе, мы твердим: «Никогда», мы твердим: «Навсегда» — и взываем к вечности.

* * *

Листья облетели, год подходил к концу. Свадьбу назначили под Рождество. Так решил я: Мари со всем согласилась, а отец ее, целыми днями погруженный в цифры, по вечерам выплывал из них, как утопленник, безучастный ко всему, за исключением тех редких случаев, когда на него вдруг нападало дикое упрямство.

На рассвете, идя на службу, я подымался на холм Шатенье, и Мари встречала меня у поворота. Едва брезжила розовая заря. Мы шли, купаясь в ее прохладном свете, и смотрели, как у наших ног город возникал из пепла ночи. Или на обратном пути она вдруг появлялась на моей дороге, и дальше мы уже шли вместе. Мы слишком любили друг друга, чтобы растрачивать свою любовь в словах. Лишь изредка перекидывались мы ко-

роткими фразами, чтобы слышать наши голоса, и, говоря о других, улыбались друг другу.

Однажды — это было в те же времена — маркизу де Монтийон пришла фантазия пригласить на вечер в замок и нас с Мари в числе нескольких почетных старожилов нашего квартала. Когда гости собрались в широкой галерее, уставленной бюстами, возвышавшимися между широкими занавесами из красного штофа, маркиз, как подобает знатному барину, любивший нелепые шутки, вздумал погасить электричество. Я улыбался Мари, стоявшей рядом со мною в тесной толпе гостей; вдруг электричество погасло. Впотьмах я протянул к ней руки, обнял, прижал к себе. С небывалой для нее страстностью она прильнула ко мне, и губы наши встретились горячее, чем когда-либо; мы тесно прижались друг к другу, пошатываясь от толчков невидимой и шумливой толпы. Электричество вспыхнуло. Я выпустил ее из рук… Это была не Мари. Женщина отпрянула с приглушенным криком стыда и негодования и бросилась к тому, кому предназначался ее порыв, — он ничего не заметил. Взволнованный и словно еще в темноте, добрел я до Мари; я с трудом приходил в себя. Поцелуй, бросивший в мои объятия незнакомую женщину,

дал мне испытать острое наслаждение. Затем мне показалось, что я узнал эту женщину по голубому платью и затылку, промелькнувшим передо мной после короткой, ошеломляющей сцены. Но женщин в голубом было три, и все они между собой были схожи. И я никогда не узнал, которая из этих незнакомок таила в своем влюбленном теле частицу того волнения, от которого я весь вечер не мог освободиться.

* * *

На свадьбе было много народа. Маркиз и маркиза де Монтийон появились в ризнице на минуту. Брисбиль, к счастью, отсутствовал: этот фанатик признавал только гражданские браки. Мне было немного совестно, когда к нам стали подходить — и каждой перепадала милая улыбка Мари — мои бывшие любовницы: г-жа Лакайль, нервная, взбудораженная, загадочная; добродушная толстуха Викторин, принимавшая меня, когда мне это было угодно, и у себя, и где случалось; и Мадлен Шен; и особенно худощавая Антони с пламенным и театральным лицом итальянки, обрамленным волосами, черными, как вороново крыло; на ней была чудесная парижская шляпка: Антони стала необычайно элегантна с тех пор, как вышла

замуж за Верона. Меня передернуло, когда перед нами появилось в нарядной одежде это сухое тело, когда-то вечерами прижимавшееся к моему телу в случайных комнатах, получавшее от меня и дарившее мне наслаждение. Но как все это отошло далеко, как стерлось.

V. Дни

По-новому устраивались в доме. Не меняли ни назначения комнат, ни расстановки громоздкой мебели: это было бы слишком большой переменой; но выбросили пыльный скарб, накопленный Мам, ее дешевенькие, допотопные безделушки. Вынули из рамок, сделанных «под черепаху», и похоронили на дне ящиков фотографии, погибавшие от желтухи и немощи и по давности совсем утратившие сходство с оригиналом.

Я купил еще мебели. И, вдыхая запах лака, долго стоявший в нижней комнате, мы говорили: «Настоящая квартира!» Да, наш домик был копией буржуазных домов квартала, и не только квартала. Но не истинная ли гордость иметь право сказать: «И у нас все, как у людей!»

Годы шли. В нашей жизни не было ничего знаменательного. Вечером, когда я возвращался домой, Мари — она иногда целыми днями не выходила из дому — в халатике, небрежно причесанная, встречала меня словами:

— Нового ничего нет.

В те годы появились первые аэропланы. О них

только и говорили, снимки их помещались в газетах. Раз в воскресенье мы из окна увидели один из них. Мы услышали прерывистый шум мотора, заполонивший небо; внизу, у дверей домов, горожане подымали головы к потолку улиц. В скрипевшем пространстве чернела точка, мы не отрывали от нее глаз и видели, как по горизонтали, на пушистой вате облаков, разрастался, разрастался черный, с пересеченными линиями, с крыльями, силуэт насекомого, огромного и шумливого. Когда аэроплан стремительно пронесся мимо, когда он на наших глазах снова стал точкой в центре этого нового мира звуков, порожденных им, Мари вздохнула, размечтавшись.

— Полететь бы на аэроплане по ветру, по небу! — сказала она.

Одну весну мы часто мечтали о путешествии — куда-нибудь и когда-нибудь. Афиши «Железнодорожной компании» пестрели на ветхих стенах бывшей мастерской жестяных изделий, которую перестраивали для предприятия Покара. В тот день, когда они появились на стене, блистающие свежей типографской краской, пахнущие клейстером, мы долго стояли перед ними. Мы облюбовали Корсику по плакату: в рамке из цветочных гирлянд были изображены морские

виды, порты, живописные фигуры на первом плане и пурпуровая глыба высокой горы. И долго еще нас останавливала эта афиша, уже полинявшая, полуоборванная, трепавшаяся по ветру. Есть воспоминания, каким-то чудом переживающие все: однажды вечером, когда мы вернулись домой, Мари, еще в шляпке, растапливала в кухне плиту; запачканные углем руки ее сливались с сумраком, вдруг она сказала:

— Все же когда-нибудь позже мы поедем туда.

Бывало, среди недели мы отправлялись погулять. Я смотрел по сторонам, наблюдал и делился с ней мыслями. Не говорунья, она слушала меня. Сворачивая с Церковной площади, еще так недавно волновавшей нас, мы часто встречали возле расколотой тумбы, где валяется старая жестянка из-под консервов, Жана и Женевьеву Тромсон; о них говорили: «Они расходятся, — вот что значит слишком пылкая любовь! Ведь это было просто безумие! Я так и знал». Слушая эти, увы, справедливые речи, Мари говорила с каким-то кротким упрямством:

— Любовь священна.

На обратном пути, неподалеку от берлоги анахронического и подозрительного Эйдо, мы слышали кашель попугая. Эта старая птица, неко-

гда ярко-зеленая, а теперь облезлая и выцветшая, без устали передразнивала приступы кашля, два года назад раздиравшие легкие Адольфа Пио, который умер в кругу близких при обстоятельствах весьма грустных. В такие дни даже дома нас неотвязно преследовал крик птицы-регистратора, точно задавшейся целью увековечить звук, когда-то пронесшийся в мире, и будить эхо старого несчастья, о котором уже никто больше не думает.

Посещают нас только Марта, моя шестилетняя свояченица — копия Мари в миниатюре; мой тесть — сходящий постепенно на нет, и Крийон. Наперекор времени Крийон не меняется; всегда всем довольный, живет он в своей клетушке, как жили его отец, дед и бессмертный его предок — сапожник из сказки. В четырехугольной шапочке, на пороге своего стеклянного гнезда, он покуривает короткую, замусоленную трубку, что-то бурчит себе под нос; трубка пыхтит, плюется, как и он, и кажется, будто они друг с другом разговаривают. Жизнь этого ремесленника-одиночки становится день ото дня тяжелее, он чуть ли не бедствует. Он частенько заходит к нам починить ножку стола, затянуть прорвавшееся сиденье соломенного стула, вставить стекло. И

неизменно говорит:

— Я вам расскажу кое-что…

И он рассказывает разные истории из жизни квартала; совесть не позволяет ему скрывать то, что он знает, простодушно говорит он. Но одному богу известно, что творится в квартале! Целая сеть происков, интриг, обмана вокруг мужчин и женщин, — всюду, от верхов до низов. Говоришь: «Этого быть не может!» — и думаешь о другом.

А он, зная все эти напасти, все это зло, улыбается! Я люблю эту добродушную улыбку на лице скромного ремесленника. Он лучше меня, и безошибочный здравый смысл помогает ему лучше меня разбираться в жизни.

Я говорю ему:

— Но ведь существуют злоупотребления, пороки, алкоголизм!..

— Ну что же, — говорит Крийон, — не надо только преувеличивать. Я этого не терплю, а по-моему, пессимисты по этой части не отстают от оптиков. Алкоголизм, говорите? Ну что ж, вся беда в том, что люди не знают жалости. Закидали камнями этих несчастных пьянчуг и воображают, будто умно поступили! Да и завистливы же люди: если бы не зависть, скажи-ка, разве стали бы они вставать на дыбы из-за всяких там фоку-

сов Пьера и Поля? То-то оно и есть! Это крепко в нас сидит. Слушайте, что я вам скажу; я уже не говорю про Термита, он браконьер, а для господ из замка нет хуже такого зверя, но даже и этот бандит Брисбиль, не будь он анархистом и не нагоняй он страха на людей, я простил бы ему, что он выпивает и даже ни одного дня в неделю не протрезвится. Разве это было бы преступление, будь он приличный пьяница? Надо быть дальновидным, надо иметь широкий кругозор, как говорит господин Бонеас. Снисходительность! Мы все в ней нуждаемся, не так ли?

— Вы хороший человек, — говорю я.

— Человек как человек, — отвечает Крийон. — Я не цепляюсь за старину: я не антикварий, но я не хочу отличаться от людей. Если я кой-как и свожу концы с концами, так это только потому, что я такой же, как и другие, не хуже других, — говорит он, выпрямляясь.

И, выпрямляясь еще больше, добавляет:

— Но и не лучше.

Когда нам с Мари не хочется разговаривать, мы читаем. При заводе есть для служащих прекрасная библиотека из произведений поучительного и религиозно-нравственного характера, подобранных лично Валентиной Гозлан. Выбором

книг ведает Мари, — воображение у нее богаче, и она свободнее меня. Она читает вслух, а я отдыхаю и от нечего делать рассматриваю портрет пастелью, висящий на стене против окна. На стекло рамки набегает и вздувается отражение занавесей, колеблемых ветром, и лицо этого замороженного портрета затягивается муаровой пленкой и ломаными линиями.

— Сказки! — со вздохом говорит иногда Мари, дочитав главу. — В жизни никогда так не бывает.

— И слава богу! — восклицаю я.

— Очень жаль! — отвечает она.

Даже живя вместе, чувствуешь расхождение более глубокое, чем ожидаешь.

Иной раз Мари читает про себя. Я застаю ее погруженной в это занятие. Иногда у нее в руках книга стихов, и она увлекается ими. Склоненное лицо ее строго, глаза скользят по коротким строкам. Время от времени она подымает голову и видит небо, и за пределами видимого неба — все то, что вырывается из тесной клетки слов…

Иногда подкрадывается скука.

* * *

В один из вечеров Мари сказала мне, что чижик умер; и она расплакалась, показывая на открытую клетку, где лежала птичка с подогнутыми лапками, — помятая и недвижимая желтенькая игрушечка.

Я посочувствовал горю Мари, но слезы ее не утихали, и я подумал, что печаль ее преувеличена. «Ну, что с тобой, — сказал я, — в конце концов птица — это птица, просто какая-то точка, прыгающая в углу комнаты… Ну, что с тобой? Умирают тысячи птиц, и люди умирают, а сколько несчастных?..» Но она качала головой, упрямо не желала утешиться, пыталась доказать мне, что все это страшно важно и что права она, а не я…

На минуту от этого непонимания, от этого расхождения в чувствах я растерялся. Неприятное открытие чего-то неизвестного. Часто какая-нибудь мелочь могла бы натолкнуть на множество мыслей, если бы захотеть; но обычно не хотят.

* * *

Мое положение на заводе и в квартале незаметно становится все более прочным. Благодаря

вознаграждению, которое я получил, мы начали наконец откладывать каждый месяц понемногу денег, как и все.

— Послушайте-ка, — окликнул меня Крийон однажды вечером, когда я уже подошел к дому, и потащил меня на улицу, — должен вам сказать, что на ближайших выборах в муниципальный совет вашу кандидатуру намечают одногласно. Ведется большая кампания, знаете ли, сам господин маркиз метит в палату депутатов... Э, да мы вышли из своего квартала, — говорит Крийон, внезапно останавливаясь. — Пойдем-ка, пойдем назад!

Поворачиваем обратно.

— Патриотическое общество господина Жозефа Бонеаса, — продолжает Крийон, — наделало немало хлопот анархистам. Надо действовать всем заодно, это чрезвычайно необходимо. К вам хорошо относятся на заводе, не так ли? Потолкайтесь среди рабочих, поговорите с ними. Постарайтесь расположить их к себе, это даст вам несколько голосов. Ведь вся опасность в рабочих.

— Правда, они относятся ко мне с большой симпатией, — пробормотал я, взволнованный подобной перспективой.

Крийон остановился перед банями.

— Нынче семнадцатое — день, когда я моюсь в бане, — объяснил он. — Вы, я знаю, ходите сюда каждый четверг. У меня другой обычай. Ну, вы молоды: любовь и все такое! Но поверьте мне, потолкайтесь-ка среди рабочих. Надо же наконец пошевелиться да взять себя в руки, черт возьми! Я-то со своей политической карьерой покончил. Теперь ваш черед защищать порядок.

Он прав. Я смотрю на него: он постарел, чуть сгорбился, давно не брит, одутловатые щеки покрыты седой щетиной. В своей скромной области он сделал все, что должен был сделать. Я думаю об усилиях незаметных людей, о безвестных героях долга. Они нужны, эти множества человеческих существ, так похожих друг на друга; города построены на смиренном братстве мостовых.

Он прав, как всегда. Я еще молод, и я во всем выше его, я должен играть роль в жизни и победить в себе обывательское желание предоставить событиям идти своим чередом.

В жизни моей, протекающей нормально, намечается пробуждение воли.

VI. Голос из сумерек

Я стараюсь сблизиться с рабочими: ведь я отношусь к ним с полной благожелательностью, и жизнь трудящихся ставит интересные проблемы, которые надо изучить. Я расспрашиваю рабочих.

— Вы хотите знать, как работает смазчик? Пожалуйста, — говорит мне Маркасен[16], по прозвищу Керосинщик. — Я ламповщик, а раньше был смазчиком. Что лучше? Не знаю. Вот сюда, сюда… Здесь. Мою берлогу найдешь и ночью, по запаху.

И верно, в том углу завода, куда он меня привел, едкая вонь. Корявые стены этой своеобразной пещеры все в полках, заставленных лампами, мокрыми и грязными, как зверюшки. В лоханях — фитили, горелки, резервуары. На полу, возле деревянного шкафа, похожего на железный, — ламповые стекла, завернутые в бумагу; подальше — шеренги бидонов. Все заброшено, пришло в ветхость, все черно в этом углу громадного здания, где вырабатывают свет. В глубине — призрак

---

[16] Примечания: 16

Фамилия персонажа несет смысловую нагрузку: слово «маркасен» означает по-французски молодого кабана.

гигантского окна. Стекла наполовину перебиты и так грязны, что кажется, будто они заклеены желтой бумагой. Каменные глыбы стен, подобных утесам, покрыты жирным налетом сажи, как дно кастрюль, и с них свисают гнезда паутины; на полу поблескивают черные лужи, а там, где заправляют лампы, выросли болотистые островки нагара с фитилей.

Маркасен копошится в своем углу; его рабочая блуза, как броней, покрыта корой грязи цвета кофейной гущи. Он сжимает костлявой жалкой лапой рабочий инструмент — мягкую тряпку. Землистая рука лоснится от машинного масла, а ногти грязны и черны, как обгоревшие концы фитилей. Целый день он чистит, отвинчивает, заправляет лампы. Он переносит на себя всю грязь и копоть этого сонмища осветительных приборов и работает как каторжный.

— Надо все делать как следует, — говорит он. — Иной раз из сил выбиваешься, а надо начищать с любовью. Ведь их шестьсот шестьдесят три штуки, мосье (он говорит «мосье», когда пускается в технические объяснения), считая дорогие лампы для кабинетов и фонари для дровяного склада и ночных сторожей. Вы спросите, почему же не проведут электричество, которое зажигается са-

мо собой? Да ведь за него надо платить, а керосин достается им почти даром; какая-то есть там у них комбинация. А я вечно на ногах, с раннего утра, когда я не высплюсь, встаю усталый, и до завтрака, когда мне еда противна, и так до самого вечера, когда мне уже все на свете противно.

Отзвонил колокол. Мы выходим вместе. Керосинщик скинул синие штаны, блузу и бросил в угол эту отяжелевшую одежду, ржавую, как старая сковорода. Рабочий футляр полнил его. Он вылезает из него совсем тощим, стиснутым курткой, будто орудием пытки. Иссохшие ноги в широких, коротких штанах засунуты в жалкие остроносые ботинки, длинные и бугристые, похожие на крокодилов. Пропитанные керосином подметки оставляют в мягкой грязи маслянистые следы всех цветов радуги.

Быть может, оттого, что рядом со мной идет этот мрачный, долговязый спутник и я вижу, как он медленно ковыляет в гудящем сумраке вечерней смены, — передо мной молниеносно проносится трагическое видение народа (в иные минуты я вдруг прозреваю). Казалось, в вечерней мгле портал раскололся надвое. И между призраков этих двух колонн движется черная масса. Толпа наводняет равнину, ощетинившуюся черными

трубами, подъемными кранами, черными железными прямыми лестницами, подпирающими облака, и смутно исчерченную геометрическими линиями (серые дороги и рельсы), — равнину истощенную и бесплодную. Вокруг завода высятся груды шлака и золы; кое-где тлеющие угли разгораются костром, выбрасывая языки темного пламени и черную кисею дыма. А выше грязные облака, изрыгаемые заводскими трубами, сгущаются громадами гор, окутывая землю и нависая над всей округой грозовым небом. В гуще туч неистовствуют люди. Человеческая толпа всколыхнулась, гремит и катится к предместью. Неумолчное эхо криков, — словно разбушевался ад, опоясанный бронзовым горизонтом.

И я испугался толпы. Она необъятна, она сильнее нас и нам угрожает; я понял, что тот, кто не с нею, будет когда-нибудь раздавлен.

Я думаю, опустив голову. Иду рядом с Маркасеном, потому ли, что у него такое имя, потому ли, что от него исходит зловоние, — в полумраке он кажется мне животным, убегающим трусцой. Вечер все пасмурнее. Ветер рвет листья, набухает дождем, клюет лицо.

Голос моего несчастного спутника обрывками долетает до меня. Маркасен пытается объяснить

закон непрестанного труда. Последнюю его фразу ветер бросает мне прямо в лицо.

— …а вот этого-то и не знаешь. Часто не видишь как раз того, что рядом с тобой.

— Да, это правда, — говорю я, утомленный монотонностью его жалоб.

Я хочу подбодрить его, я знаю, что он недавно женился:

— Зато в вашем углу вам никто не докучает. Это важно. И все же вы идете наконец домой. Вас ждет жена. Вы счастливы…

— У меня не хватает времени, вернее, не хватает сил. Я скажу вам… Вечером я прихожу домой такой усталый!.. Ну, вы понимаете, я слишком устаю. Где уж мне быть счастливым. Понимаете?.. Каждое утро я верю в это, надеюсь до полудня, но к вечеру совершенно разбит: ведь одиннадцать часов надо бегать и чистить и заправлять лампы, и к воскресенью я совершенно измотан. Иной раз придешь домой и нет даже сил умыться: так и сидишь с грязными лапами; а в воскресенье, когда я хорошенько помоюсь, мне все говорят: «Как вы поправились!»

Слушая этот трагикомический рассказ, который он ведет монологом, не дожидаясь моих реплик (к счастью, — ведь я не знал бы, что ему

ответить), я вспоминаю, что в праздничные дни лицо Керосинщика в разводах — явно от воды.

— Если бы не это, — продолжает он, пряча подбородок за серую полоску слишком широкого воротника, — если бы только не это… Шарлотта хорошая женщина. Она заботится обо мне, хозяйничает, и у нас дома лампу зажигает она сама, и она убирает подальше от меня книги, чтобы я их не замаслил, — я ведь оставляю на всем отпечаток пальцев, как преступник. Хорошая она женщина, но я вам уже сказал — не все у нас с ней ладится: беда беду кличет.

Он молчит минуту, затем, как бы подводя итог всему сказанному и всему, что можно сказать, говорит:

— Отец мой помер в пятьдесят лет, и я помру в пятьдесят, а то и раньше.

Он указывает рукой на черное в сумерках пятно толпы.

— У тех вот дело иначе обстоит. Одни хотят все изменить и живут этой мыслью. Другие пьют, и хотят пить, и живут этим.

Я едва слушаю, а он толкует мне о недовольстве различных групп рабочих.

— Литейщики, мосье, те обижаются насчет смены…

Только что, наблюдая толпу, выходившую с завода, я почти испугался. Заводские рабочие показались мне существами иной породы, чем те ремесленники-одиночки, среди которых я живу. Но, глядя на своего спутника, я говорю про себя: «Нет, они одинаковы, они все одинаковы».

Издали и в массе они пугают, и скопление их — грозная сила, но вблизи они все одинаковы. Не надо смотреть на них издали.

Керосинщик воодушевляется. Он жестикулирует, нахлобучивает кулаком шляпу, которая криво сидит на его конической голове; уши у него острые, как листья артишока. Он идет впереди меня, дыры на его подметках, как клапаны, всасывают воду из топкой земли.

— Профсоюзы, — кричит он против ветра, — это, мосье, штука опасная! Только дай им палец! Они вам не позволят рассуждать. И это они называют свободой. Они запрещают любить попов. Я не возражаю, — пожалуйста. Но какое это имеет отношение к работе? А самое главное, — кричит ламповщик, и голос его внезапно срывается, — они запрещают любить армию… Армию!

И вот бедняга Керосинщик, словно приняв решение, останавливается; на его изможденном, потемневшем лице сияют глаза Дон Кихота, и

он говорит:

— Из головы у меня не выходит одна вещь. Вы спросите, в чем дело? Вот в чем: я состою в «Лиге патриотов».

В темноте, на ветру, глаза его горят, как два уголька.

— Дерулед[17]! — кричит он. — Этот человек — мой бог!

Керосинщик говорит громко, широко размахивает руками наподобие своего идола: худоба и длинные, гибкие руки создают ламповщику отдаленное сходство с Деруледом. На этой скверной дороге, по которой шлепают его промокшие подметки, он кажется тенью Деруледа, пленной, посаженной в клетку тенью Деруледа, с подрезанными крыльями сюртука…

— Он хочет войны, он хочет Эльзас-Лотарингию. И, главное, он ничего не хочет другого. Да, бошей надо стереть с лица земли, иначе они нас сотрут. Когда со мной начинают говорить о политике, я прежде всего спрашиваю: «Вы за или против Деруледа? Да или нет?» Этого достаточно. Я учился на медные гроши, я почти неуч, но я

[17] Примечания: 17

Дерулед, Поль (1846–914) — французский политический деятель и поэт, ярый пропагандист реванша за поражение Франции во Франко-прусской войне 1870–871 годов.

знаю, какая радость думать только об этом одном, и пусть я простой ламповщик, мосье, но в запасе я унтер-офицер, почти офицер.

Он изъясняется со мной и жестами и криком; он старается перекричать ветер равнины, и я знаю теперь, что его поклонение Деруледу началось с одного собрания, на котором тот выступал.

— Он говорил, обращаясь сначала ко всем, потом заговорил лично со мной; я видел его близехонько, как вот вас вижу; но ведь это был он! Мне нужна была идея, и он мне ее дал!

— Это хорошо. — говорю я, — очень хорошо… Вы патриот, это очень хорошо.

По недосугу я никогда не задумывался над такими вопросами, но сейчас мне кажется, что этот культ своим величием превосходит эгоистические требования труда, и я нахожу его трогательным и благородным. Завидев вдали островерхий дом Эйдо, Керосинщик еще раз загорается огнем патриотизма и кричит, что в день великого реванша сведут счеты с этим шпионом. Затем пыл этого носителя идеала гаснет, бледнеет, охлаждается за долгую дорогу, и к концу ее он уже похож на общипанного черного петуха, не способного ни на какие взлеты. Лицо его уныло сереет в сумерках. Он волочит ногу, длинная, сла-

бая спина ссутулилась; и, растратив последнюю энергию, еле живой, подходит к низенькой двери своего дома, где его ждет г-жа Маркасен.

VII. Выводы

Рабочие относятся ко мне с недоверием и даже враждебно. Почему? Не знаю; но мое увлечение ими понемногу прошло.

Жизнь мою заполнили женщины. Началось с Антони Верон. Ее замужество, моя женитьба, препятствия, узы семьи — все это снова бросило нас друг к другу, как бывало. Однажды у нас в доме, где никогда ничего не случается, мы очутились одни, и неодолимая сила снова нас сблизила. Чувственность ее передалась мне, и мы стали часто встречаться. Но неизменная радость встреч, толкавшая меня в ее объятия, всегда кончалась грустным отрезвлением. Она была все такой же черствой, взбалмошной эгоисткой, и, возвращаясь от нее ночными улицами, встречая подобных мне беглецов, я уношу лишь воспоминание о ее нервном, раздражающем смехе, о новой морщинке, прицепившейся к уголку ее рта.

Затем старые желания оттесняются новыми и одно любовное похождение порождает другое. А там — разрыв то с одной, то с другой из тех, кого я любил. И позже, встречаясь с ними, я только

удивляюсь, как может человек говорить почти в одно и то же время об одной и той же женщине, совершенно не изменившейся: «Как я ее любил!» и «Как я ее не люблю!».

Я выполнял, как обязанность, свою повседневную работу, принимал все предосторожности, чтобы Мари ничего не узнала и не страдала, но я весь был поглощен поисками живого счастья. И верно, стоит только мне почувствовать зарождение новой гармонии, стоит мне только пойти на первое свидание, как у меня вырастают крылья, и я чувствую себя способным на все. Но наступает разочарование, и все начинается сызнова.

Так проходит моя жизнь. Желание истощает мозг не меньше, чем его истощает мысль, и оно подменяет любовь. Все существо мое стремится к любви, и я готов любить каждую. Когда при мне говорят о молодой женщине: «Она несчастна», — меня пронизывает дрожь радости.

По воскресеньям, на улицах, глядя на незнакомок, я испытываю чувство горечи, у меня сжимается сердце. Часто я бредил весь день какой-нибудь встречной, которая промелькнула и исчезла, оставив мне призрак своего тела, распростертого в затемненной комнате, дрожащего, как арфа, и это неотвязное ощущение острого

сладострастия. Не она ли это, кого я любил бы вечно, не ее ли — ощупью, как слепец, — я с таким отчаянием ищу то в одной, то в другой… Да, издали все женщины обольстительны и для глаз, и для воображения!

Бывают минуты, когда я страдаю и достоин жалости. Впрочем, если бы люди читали в мыслях, меня не пожалел бы никто. Но все мужчины похожи на меня. Если у них сносная внешность, они очертя голову мечтают о любовных приключениях, они их ловят, и сердце наше не останавливается никогда. Но никто в этом не сознается — никто, никогда.

Встречались женщины, не уступавшие моим желаниям. Мне вспоминается одна — г-жа Пьеррон, прекрасная буржуазка лет двадцати пяти; у нее были черные волосы, зачесанные на уши, мраморный профиль, и она тогда еще не утратила милой неловкости и отсутствующего взгляда новобрачной. Она приходила, уходила, жила, спокойная, сосредоточенная, молчаливая, совершенно не замечая моих восхищенных взглядов.

Эта великолепная безучастность обостряла мою любовь. Я помню то чувство тревоги, с которым в одно июльское утро я смотрел на женское белье, развешанное на зеленой живой изгороди

в ее саду. Теплый ветер колебал листву и белые тонкие ткани; весна наделяла их недолговечной формой, нежностью — жизнью. Я помню также дом, облупившийся, сожженный солнцем, и окно, — сверкнув, оно захлопнулось и стало непроницаемым, как каменная плита. Весь мир замолк. И чудесное существо было замуровано за этим окном. Я вспоминаю еще один вечер: зелено-черный и меловой город среди синих красок пейзажа утопал в садах, и вдалеке, внизу, я вдруг увидел — знакомое окно засветилось. Я различил в узком просвете оконной рамы, розовом и золотистом, женский силуэт: она появилась передо мной, словно уступив моей мольбе. Опершись о низкую, нависшую над городом стену, я долго смотрел на это окно, расцветшее в пространстве, — так смотрит пастух на восходящую Венеру. В тот вечер, вернувшись домой и оставшись на минуту один — Мари хлопотала внизу, в кухне, — один в нашей унылой спальне, я подошел к звездному окну и задумался. Пространство, расстояния, неисчислимые сроки… Все это стирает нас в пыль, все это полно какого-то страшного величия, от которого мы прячемся, пытаясь защититься.

* * *

У меня почти не сохранилось воспоминаний о тех приступах ревности, которые мучили меня один год. По некоторым признакам и по резкой перемене в настроении Мари мне показалось, что между нами встал кто-то третий. Но, кроме этих смутных примет и этих грозных отражений на ней, я ничего больше не заметил и никогда не узнал истины. Во всем вокруг меня истина была лишь призраком истины. Я ощущал в себе открытую рану от чувства унижения, стыда, негодования! Жалко, как умел, я боролся с этой тайной, для меня непосильной; затем моя подозрительность прошла. Я отогнал этот кошмар и напряжением воли заставил себя забыть о нем. Обвинения мои были, может быть, необоснованны; но странно — в конце концов веришь только тому, во что хочешь верить.

* * *

В социалистическом подполье уже давно что-то назревало, и вдруг на заводе вспыхнула забастовка, за ней последовала демонстрация, прокатившаяся по испуганному городу. Всюду

опускали жалюзи. Торговцы закрывали ставни, оберегая свои лавки, и день превратился в какое-то трагическое воскресенье.

— Это революция! — побледнев, сказала Мари, когда Бенуа от ворот крикнул нам, что рабочие двинулись в город. — Как это ты на заводе ничего не замечал?

— Я был в стороне от всего, — сознался я.

Часом позже стало известно, что армию манифестантов возглавила делегация из самых опасных бунтовщиков и что им даны полномочия угрозами добиться от господ Гозлан какого-то неимоверного повышения заработной платы.

Улицы приуныли, точно растерялись. Горожане ходили крадучись, ловили слухи. Двери приоткрывались неохотно. То здесь, то там толпились люди. Вполголоса жаловались на беспечность властей, которые не сумели предупредить событий и принять меры для охраны порядка.

Передавались вести о продвижении манифестантов:

— Они переходят реку.

— Они на развилке, возле Креста.

— Они идут к замку.

Я заглянул к Фонтану. Самого Фонтана в кафе не было. В полумраке от закрытых ставен разго-

варивали мужчины.

— Баронесса вне себя. Она издали увидела черную толпу. Молодежь из аристократии вооружилась и охраняет замок. Баронесса сказала: «Это жакерия!»

— Ах, господи, господи! — вздыхает Крийон. — Что за кутерьма!

— Это начало конца, — объявляет старый дядя Понс, обнажив свой изжелта-серый морщинистый лоб.

Так шло время. Никаких известий. Что-то они там делают? Что нас ждет?

Наконец около трех часов в дверях вырастает Постер. Он весь в поту, он ликует.

— Конечно! Все идет как по маслу, шут его дери! — захлебывается Постер. — Право слово, они так вот всей гурьбой и докатились до виллы Гозлан. Там были господа Гозлан. Делегаты, право слово, подняли крик, начали угрожать, шут их дери! «Погодите, ребятки, — сказал господин Гозлан, — надо бы выпить, и разговаривать тогда будет легче». Накрыли стол и, право слово, притащили шампанское. Ну, понятно, угостили всех как следует, и угощали же их, угощали… Право слово, шут их дери! Немало они за галстук заложили. Право слово, бутылки с шампанским как

из-под земли выскакивали, как по волшебству. Господин Фонтан то и знай их подтаскивал, будто тут же его изготовлял. А шампанское-то было самого высшего сорта, с гарантией, доверяться ему не следует. И вот не прошло часа, как вся делегация перепилась. Ну и куролесили же они там… Целуются, языки у всех заплетаются, право слово! Кое-кто еще держался, но эти не в счет, шут их дери! Остальные даже не соображали, зачем они там очутились. Хозяева сначала здорово струхнули, а потом им уже нечего было бояться, и надорвали же они животики со смеху, право слово, шут их дери! А завтра, вздумай только эти молодцы начать сначала, завтра прибудут войска!

Ошеломляющая радость: забастовку потопили в вине! И все твердили:

— Завтра прибудут войска.

— Вот это ловко! — восторженно заорал Крийон, вращая глазами. — Вот это ловко! Ну и здорово! Вот так, старина…

И он разразился громким, злорадным хохотом и во все горло прокричал свою излюбленную поговорку: «Державный народ, державный, а сами на ногах не держатся!»

Наряду с несколькими малодушными граж-

данами, уже изменившими с утра свои политические убеждения, перед моими глазами встает одна крупная фигура: Фонтан. Я вспоминаю ночь в далеком прошлом, когда я заглянул случайно сквозь отдушину в его погреб и увидел там целый склад шампанского; бесконечные ряды бутылок, заостренных, как пушечные снаряды. Он давно готовился к сегодняшней победе. Вот кто подлинная сила, вот кто смотрит на вещи трезво и предугадывает будущее. Он спас порядок каким-то гениальным прозрением.

Гнет, который весь день сковывал жесты и слова, сменился радостью. Обыватели шумно отрекаются от повадок, усвоенных с утра. Окна, закрытые в тягостные часы восстания, широко распахнулись; дома дышат спокойно.

— Избавились-таки от этой банды, — говорят люди при встрече.

Радость спасения охватывает даже самых скромных. У входа в ресторанчик-пивную цвета запекшейся крови я заметил Мьельвака; он притоптывает от удовольствия. И он дрожит от холода: на нем легонький серый измятый пиджачок, точно сшитый из оберточной бумаги; худое лицо его стало белым, как те бесконечные листы бумаги, за перепиской которых он корпит ноча-

ми, выколачивая несколько лишних грошей. Он стоит, не решаясь — по известным ему причинам — войти в ресторан, но как он рад итогам дня! И мадемуазель Константен, портниха, работающая на дому, вечно без денег, измученная швейной машиной, не помнит себя от радости. Она всегда в полутрауре, всегда будто заплаканная, вся серая, кое-как умытая, теперь она таращит глаза и, побледнев от возбуждения, хлопает в ладоши.

Мы с Мари слышим яростный стук молота в кузнице Брисбиля и смеемся, как не смеялись уже давно.

Ночью, лежа в постели, я вспоминаю о своих былых демократических увлечениях. Слава богу, я избежал большой опасности! Об этом свидетельствует ужас, охвативший порядочных людей перед угрозой рабочего движения, и то ликование, которым встретили поражение рабочих.

Мои пристрастия снова и крепко овладевают мною, и все идет по-старому.

* * *

Прошло много времени. Вот уже десять лет, как я женат. За этот период не было ни одного памятного события, если не считать разочарования, пережитого нами после смерти богатой

крестной матери Мари, не оставившей нам никакого наследства. Или вот еще: лопнуло предприятие Покара, — оно оказалось просто мошенничеством и поглотило последние гроши многих бедняков. Политиканы раздули скандал, а кое-кто поспешил отнести свои сбережения г-ну Булаку, предприятие которого было солиднее и надежнее. И, наконец, болезнь и смерть моего тестя; это было большим ударом для Мари, и мы надели траур.

Я не изменился. Но Мари изменилась: она пополнела, расплылась, у нее утомленные глаза, красные веки, и она становится все молчаливее. Между нами нет больше согласия в житейских мелочах. Когда-то у нее был для меня один ответ: «Да», — теперь же первое ее побуждение на все сказать: «Нет». Если я настаиваю, она защищает свои позиции, слово за слово, резко и часто недобросовестно. Слышал бы кто, какой крик мы подняли по поводу перегородки в нижней комнате, наверное, подумал бы, что у нас скандал. После таких стычек лицо Мари становится замкнутым, враждебным, или она смотрит, как мученица, и минутами мы чувствуем друг к другу ненависть.

Часто она совершенно невпопад говорит:

— Будь у нас ребенок, все шло бы по-иному!

Я распустился, меня одолевает лень, бороться с которой у меня нет охоты. Если мы одни, я сажусь иногда за стол, не вымыв руки. Со дня на день, из месяца в месяц я откладываю посещение зубного врача, не лечу зубы, и они портятся.

Мари не проявляет ревности. Она ни разу даже не намекнула на мои любовные похождения. Доверчивость ее, право, чрезмерна! Видимо, Мари не очень проницательна, или я не очень много для нее значу, и я ставлю ей в вину это равнодушие.

Теперь я вижу вокруг себя женщин, слишком молодых для меня. Самое серьезное препятствие — разница лет — начинает отделять меня от возлюбленных. А я еще не насытился любовью, и меня влечет молодость! Марта, моя молоденькая свояченица, как-то сказала мне: «Вам-то, старику...» Этот наивный приговор, который мужчина тридцати пяти лет слышит от девочки пятнадцати лет, едва расцветшей и не искушенной жизнью, — первое предостережение судьбы, первый хмурый день в разгаре лета, напоминающий о зиме.

Однажды вечером, войдя в комнату, я увидел Мари, прикорнувшую у окна. Как только я во-

шел, она встала. Марта! Свет луны, бледный, как утренняя заря, обесцветил золотистые волосы девушки и улыбку ее подменил резкой гримасой; игра отражений безжалостно сморщила кожу на ее шее, на юном лице; и даже глаза у нее были влажные — она зевнула, и веки на секунду покраснели и припухли.

Сходство сестер меня мучило. Молоденькая Марта, яркая и привлекательная, с блестящими глазами, розовыми теплыми щеками и сочным ртом — эта девушка-подросток в короткой юбке, широкобедрая, с округлыми икрами, вызывает волнующий образ прежней Мари. Это какое-то ужасное откровение. И верно, Марта больше, чем сейчас сама Мари, похожа на ту Мари, которую я когда-то любил; она пришла когда-то из неизвестности, и однажды вечером я увидел ее на скамье под розовым кустом, безмолвной и просветленной перед лицом любви.

Мне стоило больших усилий удержаться от жалкой и напрасной попытки сблизиться с Мартой. Несбыточная мечта, сон в снах! У нее была любовь с мальчиком в переходном возрасте, немного потешным; иногда он, как тень, следовал за ней. И однажды она пела, потому что ее юная соперница была больна. Я чужд ее детской победе

и ее мечтаниям, как будто я ей враг! В то утро, когда она в венке из цветов, смеясь, топталась на пороге дома, она показалась мне существом с другой планеты.

* * *

В один из зимних дней, когда Мари не было дома, разбирая бумаги, я нашел письмо, написанное мною, но не отправленное, и бросил в камин этот бесполезный документ. Вечером Мари, вернувшись, села перед камином в темной комнате и, чтобы обсушиться, начала разжигать огонь; листок, лишь наполовину обгоревший, снова вспыхнул. И в темноте пламя вдруг осветило клочок бумаги с обрывком моего письма: «Я люблю тебя так же, как ты меня...»

И эти пылающие в темноте строки были так понятны: не стоило даже пытаться как-нибудь их объяснить.

Мы не осмеливались заговорить, не осмеливались глаз поднять. Роковая общность мыслей, захвативших нас в эту минуту, заставила нас отвернуться друг от друга, хотя в комнате было совсем темно. Мы бежали от истины. При первом же испытании мы оказались чужими, потому что никогда не пытались узнать друг друга. Мы все

здесь смутно разобщены, но особенно далеки мы от своих близких.

* * *

После всех этих событий мое прежнее существование все же как-то наладилось. Не могу сказать, что я так же несчастлив, как те, у кого кровоточит рана непоправимой утраты или угрызений совести, но я не так счастлив, как мечтал в юности. Да, любовь мужчин и красота женщин слишком недолговечны, и все же — не единственная ли это радость, которой живем и мы, и они? Любовь — чувство такое светлое, единственное, ради которого только и стоит жить, а можно подумать, что оно преступление: ведь рано или поздно за него всегда несут кару. Я не понимаю. Все мы жалкие люди, и вокруг нас, всюду и во всем — в наших поступках, в наших стенах, в наших днях, засасывающая посредственность. Рок — серого цвета.

Между тем положение мое упрочилось и стало постепенно улучшаться. Я получаю триста шестьдесят франков на заводе, имею долю в прибылях — около пятидесяти франков в месяц. Вот уже полтора года я не прозябаю в маленькой

стеклянной клетке, вместо меня там сидит г-н Мьельвак, — он тоже пошел в гору. Случается, мне говорят: «Вам везет». Когда-то я завидовал многим людям, теперь завидуют мне. Сначала я удивлялся, затем привык.

Я пересмотрел свои политические взгляды и выработал разумный и естественный план действий. Я считаю, что должен заменить Крийона в муниципальном совете. Рано или поздно так это и будет. Я становлюсь человеком с положением, в силу вещей, незаметно для самого себя; и все же я никому по-настоящему не нужен.

Часть моей жизни уже прошла. Порой я над этим задумываюсь, дивлюсь числу умерших дней и лет. Как быстро пролетели годы, а в сущности, нет больших перемен. И я отворачиваюсь от этого видения, и реального и непостижимого. Все же, помимо моей воли, будущее встает передо мной как нечто законченное. Оно будет похоже на прошлое; оно уже похоже. Я вижу всю свою жизнь, от начала до конца, вижу все, что я есть, все, чем я буду.

VIII. Глашатай

Во время больших маневров в сентябре 1913 года Вивье был центром крупных операций. Наш округ стал похож на сине-красный муравейник, и все были воинственно настроены.

Один только Брисбиль, как водится, критикует все. С высоты холма Шатенье мы наблюдаем за стратегическим развертыванием фронта; Брисбиль показывает рукой на военный муравейник внизу:

— Маневры? Да на что это похоже? Можно лопнуть со смеху! Красные кепи вырыли окопы, а кепи с белыми кантами засыпали их. Уберите военный совет, что останется? Ребяческая игра.

— Это война! — объясняет какой-то важный военный корреспондент, стоящий рядом с нами.

И, обращаясь к своему собрату, он что-то говорит ему о русских.

— Русские!.. — вмешался Брисбиль. — Вот погодите, когда у них будет республика…

— Наивный человек, — улыбается журналист.

Но алкоголик уже сел на своего конька.

— Война или не война, — а разве это не сумасшествие? Вы только посмотрите, посмотрите на

эти красные штаны! Ведь их видно за сто километров. Вырядили солдат словно для того, чтобы легче было в них целиться. Хорош защитный цвет!

— Отменить красные брюки наших солдатиков! — возмущается какая-то дама. — Да это же вздор! Это невозможно! Они и сами не захотят. Они взбунтуются!

— Еще бы! — поддакивает молодой офицер. — Нам всем пришлось бы подать в отставку! Да к тому же красные брюки не так опасны, как вы думаете. Если бы они действительно так бросались в глаза, высшее командование предусмотрело бы это и издало приказ об изменении цвета военной формы; конечно, походной, а не парадной.

— В день реванша, — язвительно говорит, обращаясь к Брисбилю, учитель фехтования в чине унтер-офицера, — придется нам защищать таких, как вы!

Брисбиль в ответ бурчит что-то невнятное, ведь учитель фехтования атлет и человек несдержанный, особенно на людях.

Генеральный штаб обосновался в замке. В поместье по этому случаю устраивались охоты, скакали пестрые кавалькады. Среди генералов и знати блистал австрийский принц, принц крови,

носивший одно из громких имен «Готского альманаха»[18]; он прибыл во Францию официально на маневры.

Пребывание у баронессы гостя чуть ли не императорской фамилии наложило на округ торжественный отпечаток исторического прошлого. Имя принца твердили все. Окна его комнат на главном фасаде замка притягивали все взгляды. Малейшее движение занавесей на этих окнах радовало. По вечерам обыватели со своими семьями приходили из нашего квартала и подолгу стояли перед стенами, за которыми он жил.

Мы с Мари два раза видели его вблизи.

Однажды вечером, после обеда, мы встретились с ним, как встречаются с любым прохожим. Он шел один. На нем был широкий серый непромокаемый плащ. Фетровая шляпа с коротким пером. У него были характерные черты его рода: нос клювом, покатый лоб.

Когда он прошел, мы, чуть растерявшись, сказали в один голос:

— Орел!..

---

[18] Примечания: 18

«Готский альманах» — выходивший с 1763 года в немецком городе Гота справочник, содержавший сведения о генеалогии царствующих династий, аристократических и титулованных фамилий, а также некоторые статистические и политические данные.

* * *

Мы снова увидели его после охоты с борзыми. В Мортейском лесу травили оленя. Последний акт охоты разыгрывался на лужайке парка, возле ограды. Баронесса — она никогда не забывала о народе — приказала распахнуть калитку, чтобы люди могли войти и полюбоваться зрелищем.

А зрелище было подготовлено мастерски: темно-зеленая арена в вековом лесу. Сначала видны были только громады деревьев; величественные вершины их, как шатры и горные пики, уходили в поднебесье, отбрасывая на лужайку зеленоватую тень.

Среди торжественного величия природы, словно игрушечная, на траве, на мху и валежнике вокруг места казни животного расположилась блистательная толпа.

Животное лежало на коленях, обессиленное. Люди толкались, вытягивали шеи, и все взгляды были устремлены на него. Нам виден был серый куст его рогов, длинный высунутый язык и весь профиль его истерзанного тела, содрогавшегося от бурных ударов сердца; прижавшись к нему, лежал его детеныш, истекая кровью.

Вокруг лужайки, в несколько рядов, располо-

жились зрители. Шеренга егерей была резким красным мазком среди зеленых и ржавых красок. Охотники, мужчины и женщины, в красных камзолах и черных невысоких цилиндрах, сойдя с лошадей, стояли особняком. Поодаль, скрипя кожей сёдел и позвякивая металлическим набором сбруи, фыркали лошади, верховые и в упряжи. А дальше, на почтительном расстоянии за канатом, натянутым на колья, росла толпа любопытных.

Лужа крови возле оленя-детеныша все ширилась, и дамы-охотницы, подходя к нему, приподнимали юбки амазонок, чтобы их не запачкать.

Олень-самка, разбитый усталостью, все ниже опускал ветвисторогую голову, вздрагивая от лая собак, которых с трудом сдерживали егеря; прижавшись к матери, умирал ее детеныш с зияющей раной на шее, и зрелище это было бы трогательным, если бы дать волю чувствительности.

Ожидание неизбежного убийства животного вызывало, я заметил, какое-то странное, лихорадочное возбуждение. Женщины и особенно девушки, взволнованные, радостные, расталкивали толпу локтями, чтобы лучше видеть.

Оленей, большого и маленького, закололи среди тишины, глубокой и торжественной тишины

мессы. Г-жа Лакайль дрожала; Мари была спокойна, но глаза ее блестели, а маленькая Марта, уцепившись за меня, вонзила мне ногти в руку.

Принц был неподалеку от нас. Он тоже смотрел последний акт охоты. Но он не сошел с коня. Красный камзол на нем был ярче, чем на других, точно пурпур тропа бросал на него свой отблеск. Он говорил громко, как человек, который привык повелевать и любит поговорить. Даже в его осанке было нечто властное. Он блестяще изъяснялся на нашем языке и знал все его тонкости. Я слышал, как он сказал:

— Большие маневры, в сущности, — комедия. Война в инсценировке режиссеров мюзик-холла. Охота лучше, тут я вижу кровь. В нашу гуманитарную, прозаическую и плаксивую эпоху — это редкость. И пока народы будут любить охоту, я не перестану в них верить.

В эту минуту звук рогов и лай спущенных борзых заглушили все. Принц привстал на стременах; он возвышался над сворой окровавленных и пресмыкающихся собак; он высоко поднял надменную голову, его рыжие усы топорщились, ноздри раздувались: он, казалось, вдыхал запах полей сражений.

На другой день нас собралось несколько чело-

век на улице возле расколотой тумбы, где лежит старая жестянка из-под консервов, как вдруг появился Бенуа, — с новостями, конечно. Речь идет, само собой, о принце. Бенуа захлебывается, губы его дрожат.

— Он убил медведя! — сказал он, сверкая глазами. — Ах, надо было это видеть!.. Ручного, понятно. Вы только послушайте: возвращается он с охоты, ну, понятно, с маркизом, мадемуазель Бертой, со свитой. И вдруг навстречу вожак с медведем. Черный мужчина, волосатый, будто в перьях, а медведь садится на задние лапы и начинает свои фокусы, а сам в поясе. Принц был с ружьем. Не знаю, что ему вдруг взбрело в голову, только он говорит: «Я хочу убить этого медведя, как у нас на охоте. Послушайте-ка, любезный, сколько вам заплатить за вашего зверя? Вы, говорит, не прогадаете, ручаюсь». Тот человек даже задрожал, всплеснул руками. Он любил медведя. «Медведь, говорит, для меня все равно что брат». Догадайтесь-ка, что сделал маркиз де Монтийон? Господин маркиз вытаскивает бумажник, открывает и тычет в лицо этому типу. Ну, и потешались же над беднягой все эти знатные господа охотники. Ведь он даже в лице изменился, как увидел столько бумажек. Ну, понятно, он потом

согласился, молча махнул рукой и даже плакать перестал, засмеялся, — столько было денег! Тогда принц прицелился и наповал убил медведя, в десяти шагах, в ту самую минуту, когда мишка сидел и раскачивался вправо-влево, ну, точь-в-точь человек! Надо было это видеть! Не многим посчастливилось. Я-то видел!

Рассказ произвел впечатление. Сначала все молчали. Потом кто-то несмело сказал:

— Да, таков, верно, у них обычай в Венгрии или Богемии, где он там правит. — И простодушно добавил: — У нас это бы не прошло.

— Он из Австрии, — поправил Тюдор.

— Это не важно, — пробормотал Крийон. — Из Австрии ли он, венгерец ли, богемец ли, все же он высокого звания, и, значит, в его власти делать то, что он хочет, не так ли?

Эйдо, видимо, хотел что-то сказать и подыскивал слова, — этот юродивый когда-то подобрал и выходил лань, раненную на одной из охот и убежавшую от смерти (поступок его разгневал высшие сферы). Но он и рта не успел раскрыть, на него зашикали: какой-то Эйдо будет судить принцев крови!

И другие, по углам, притихли, качали головой и бормотали:

— Он высокого звания…

И эту короткую фразу повторяли шепотом, робко, почти неслышно.

* * *

Большинство именитых гостей прожило в замке до праздника всех святых. Из года в год день этот по традиции отмечается у нас пышной церемонией. В два часа весь город, с цветами, собирается на площади или возле кладбища на холме Шатенье: месса и все торжество происходят под открытым небом.

Я пошел туда с Мари в первом часу. Я надел узорчатый, черный с белым, жилет и новые лакированные башмаки, на которые часто поглядывал. Ясный, чудесный день. Звонят колокола. Толпы народа стекаются к холму со всех сторон: крестьяне в поярковых низких шляпах, принаряженные семьи рабочих, молодые девушки, — белые лица их, как атлас подвенечного платья цвета их мечтаний, — юноши с горшками цветов. Весь этот мир устремляется к площади, где седеющие липы как будто тоже собрались на празднество. Детишки садятся на траву.

Господин Жозеф Бонеас, весь в черном и, как всегда, весьма изысканный, проходит под руку с

матерью. Я низко им кланяюсь.

— Национальный праздник! — говорит он, указывая на открывающееся перед нами зрелище.

Слова эти заставляют меня внимательнее отнестись к тому, что я вижу, к этому мирному и сосредоточенному оживлению среди ликующей природы. Размышления и жизненный опыт придали зрелость моему уму. В мозгу моем наконец выкристаллизовалось представление о каком-то единстве, о массах, необъятных в пространстве и бесконечных во времени, о массах, частицей которых я являюсь; сформировав меня по своему подобию, они оберегают это сходство и увлекают меня за собой: это — свои.

Баронесса Грий в амазонке, в которую она облекается, когда снисходит до общения с народом, стоит у величественных ворот кладбища. Рядом с ней красуется маркиз де Монтийон: статный, лицо породистое, крепкое тело спортсмена, манжеты ослепительные, башмаки редкостные; он шлет улыбки направо-налево. Поодаль депутат, бывший министр, весьма угодливо разговаривает с дряхлым герцогом; господа Гозлан и другие важные особы, имена которых нам неизвестны, — академики, члены прославленных научных обществ или богачи-миллионеры.

Господин Фонтан стоит в стороне от этой группы, огражденной от всех ярко-красным барьером егерей, поблескивающих перекинутыми через плечо цепями от рогов. Толстый виноторговец и содержатель кофейни занимает обособленное, промежуточное место между знатью и народом. У него бледное, жирное лицо, подбородок многоярусный, как живот у Будды. Безмолвный, неподвижный монумент. Невозмутимый, он то и дело плюет, и плевки его лучами разлетаются во все стороны.

На это торжество, подобное апофеозу, собралась вся городская знать и вся беднота рабочего квартала — такие различные и такие одинаковые.

Знакомые лица. Проходит сторонкой Аполлии. Она приоделась. Надушилась одеколоном. Глаза у нее живые, лицо чисто вымыто, уши красные. Все же она грязновата, и руки у нее цвета коры, но она в нитяных перчатках. Тени на картине: Брисбиль со своим кумом, браконьером Термитом; всем своим растерзанным, непристойным видом пьяница выражает протест. А вот еще темное пятно: жена рабочего, она выступает на митингах, и все на нее указывают пальцем:

— А эта еще зачем сюда явилась?

— Она не верит в бога, — говорит кто-то.

— Это оттого, что у нее нет детей! — кричит женщина.

— Что вы, у нее двое ребятишек.

— Ну, значит, они никогда не болели, — отвечает женщина.

А вот и Антуанетт! Старичок кюре ведет ее за руку. Ей, должно быть, уже лет пятнадцать-шестнадцать, но она не выросла, по крайней мере этого не замечаешь. Аббат Пио все такой же белый, кроткий и, как всегда, что-то бормочет, но он стал меньше ростом, он все ближе и ближе к могиле. Оба идут мелкими шажками.

— Говорят, ее вылечат. За нее взялись серьезно.

— Да… говорят, будто на ней хотят испробовать какое-то новое, никому не известное средство.

— Нет, нет! Уже не то. Приезжий врач, который здесь поселился, берется ее вылечить.

— Бедный ребенок!

Девочку, почти слепую, знают лишь по имени, но здоровье ее вызывает столько забот. Она проходит мимо нас, у нее такое каменное лицо, как будто она глухонемая и не слышит всех этих добрых слов.

После мессы кто-то выходит и произносит речь. Это старик, кавалер ордена Почетного легиона, у

него слабый голос, но внушительное лицо.

Он говорит об умерших, памяти которых посвящен этот день. Он разъясняет, что мы не разлучены с ними: не только в жизни будущей, как учит церковь, но и в нашей земной, которая должна быть продолжением жизни усопших. Надо делать то, что они делали, надо верить в то, во что они верили, иначе грозит опасность заблуждений, утопий. Мы все связаны друг с другом, мы связаны прошлым, единством заповедей и традиций. Надо предоставить судьбе, присущей нашей природе, естественно завершаться на предначертанном пути, не поддаваясь искушению новизны, ненависти и зависти, особенно — зависти, этого социального рака, врага великой гражданской добродетели: покорности.

Он умолкает. Отголосок высоких, прекрасных слов реет в тишине. Не все понимают сказанное, но все глубоко чувствуют, что речь идет о простоте, благоразумии, покорности, и головы дружно качаются от дыхания слов, словно колосья от ветра.

— Да, — говорит Крийон, задумавшись, — господин этот владеет словом! Ты только подумаешь, а у него уже на языке. Здравый смысл, уважение — вот что сдерживает человека!

— Человек сдерживает порядок, — говорит Жозеф Бонеас.

— Ну, само собой, — поддакивает Крийон, — недаром же об этом все твердят.

— Понятно, — соглашается Бенуа, — раз все это говорят и все повторяют.

Старый кюре в кругу внимательных слушателей поучает.

— Би, — говорит он, — не надо кощунствовать. Вот если бы не было бога, можно было бы многое сказать, но раз господь существует, значит, все идет прекрасно, как говорил монсеньер, — хвала богу! Улучшения будут, успокойтесь. Нищета, общественные бедствия, война — все это изменится, все уладится, эх, би! Предоставьте это дело нам. Не вмешивайтесь, дети мои, вы только все испортите. Мы сумеем без вас все сделать, потерпите.

— Да, да! — вторят ему хором.

— Сделаться счастливым, так вот, сразу, — продолжает старик, — превратить горе в радость, бедность в богатство! Да ведь это же немыслимо! И я вам скажу почему: если бы это было так просто, все уже давно было бы сделано, не правда ли?

Зазвонили колокола. Часы пробили четыре. И

казалось, что церковь, уже подернутая туманом, с колокольней, еще не тронутой сумраком, поет и говорит одновременно.

Знатные особы садятся на лошадей или в экипажи и уезжают; кавалькада пестрит яркими мундирами, блещет золотом шитья и галунов. Группа этих властелинов сегодняшнего дня вырисовывается на гребне холма, над могилами наших мертвых. Всадники подымаются на вершину и исчезают, один за другим, а мы спускаемся; но в сумерках — они вверху, а мы внизу — образуем одну и ту же темную массу.

— Как красиво! Они точно скачут на нас, — говорит Мари.

Они — блистательный авангард, наши защитники, за ними силы прошлого, они олицетворяют ту вечную форму, в которой замкнута родина, ее блеск, они поддерживают и охраняют ее от внешних врагов и революции.

А мы — мы все похожи, невзирая на разность наших душ, похожи величием общих интересов и даже самим ничтожеством личных целей. Я все яснее вижу за всеобъемлющей и почтенной иерархией тесное единение масс. Это приносит какое-то горделивое утешение, это касается каждого существования, подобного моему. И в

этот вечер, на закате солнца, я читаю все своими глазами, и я восхищен.

Мы спускаемся все вместе вдоль полей, где колосятся мирные хлеба, вдоль огородов и садов, где родные деревья гнутся под тяжестью плодов: ароматный цветок распускается, зреет плод. Поля раскинулись необозримой отлогой степью с бурыми холмиками, и зеленеет теперь лишь одна лазурь. Девочка идет от водоема; она поставила ведро на землю и, как столбик, стоит у дороги, тараща глазенки. С веселым любопытством смотрит она на движение толпы. Всем своим маленьким существом охватывает она это великое множество, потому что все это в порядке вещей. Крестьянин работает, невзирая на праздник, — согбенный над глубоким мраком пашни; он отрывается от земли, на которую похож, и обращает к этому золотому диску свое лицо.

* * *

Но кто этот человек, кто этот сумасшедший? Он стоит на шоссе и как будто хочет один преградить дорогу толпе. Ну конечно, Брисбиль, пьяный, топчется впотьмах. Движение, гул голосов.

— Сказать, куда все это ведет? А? — кричит он, и слышно только его одного. — В пропасть! Все это

ваше общество — старье, гниль! Одни — дураки, другие — прохвосты! В пропасть, говорят вам! Завтра… Берегитесь! Завтра!..

Из мрака растерянный голос женщины вопит:

— Замолчите, злой человек! Нам страшно!

Но пьяница орет во всю глотку:

— Завтра! Завтра! Думаете, все так и останется навсегда? Убить вас мало. В пропасть!

Испуганные люди исчезают в темноте. Другие толпятся вокруг одержимого, ворчат:

— Он не просто злой, он сумасшедший! Ну и скотина!

— Какой позор! — говорит молодой викарий.

Брисбиль направляется к нему.

— А скажи-ка ты, что нас ждет? Иезуит, петрушка, крючкотвор! Знаем мы тебя, отравитель, и твои грязные шашни!

— Повторите!

Это крикнул я. Бросив руку Мари, рывком, не помня себя, очутился я перед этим чудовищем. И на этом клочке поля глубокая тишина сменила ропот возмущения. Брисбиль ошеломлен, лицо посерело от испуга, он спотыкается, пятится.

Вздох облегчения, смех, поздравления, похвалы мне и ругательства вдогонку человеку, потонувшему в темноте.

— Как ты был хорош! — говорит мне Мари, когда я, вздрагивая от волнения, снова взял ее под руку.

Я вернулся домой возбужденный, гордый своим энергичным поступком, радостный. Во мне заговорил голос крови. Великий первобытный инстинкт заставил меня сжать кулаки, бросил меня, как оружие, против общего врага.

После обеда я пошел, разумеется, на вечернюю зорю; обычно, по непростительному равнодушию, я не присутствовал на ней, хотя эти патриотические манифестации были организованы Жозефом Бонеасом и его обществом «Реванш».

Яркая, шумливая процессия потянулась по главным улицам, распаляя, особенно в молодежи, энтузиазм ради великих и славных подвигов будущего. В первом ряду шагал Керосинщик, высоко выбрасывая ноги, и блики красных фонариков, казалось, одевали его в красный фантастический мундир.

Помню, в тот вечер я много говорил и на улицах и дома. Квартал наш похож и на все города, и на все деревни, и на все, что видишь всюду. В малом — это образ всех человеческих обществ старой вселенной, как моя жизнь — образ каждой жизни.

IX. Гроза

— Будет война, — сказал в один июльский вечер Бенуа, появляясь у ворот.

— Нет, не будет, — сказал Крийон. — Конечно, война когда-нибудь будет, я это знаю. С тех пор как мир существует, войны всегда были, а значит, и будут. Но сейчас вот, на днях, такое большое событие, как война?.. Нет! Это неправда. Нет.

Прошло несколько дней, спокойных, похожих на все дни. И вот страшная весть снова пронеслась, нарастая, распространяясь повсеместно: Австрия, Сербия, ультиматум, Россия. Вскоре мысль о войне оттеснила все. Она останавливала людей на улицах, отвлекала от работы. Она стерегла за дверьми и окнами домов.

В субботу вечером, когда мы с Мари, как и большинство французов, не знали, что и думать, и говорили, лишь бы не молчать, мы услышали барабанную дробь, — барабанщик выполняет в нашем квартале те же обязанности, что и в деревне.

Мари ахнула.

Мы вышли и увидели издали спину человека,

колотившего в барабан. Блуза его вздулась. Ветер, казалось, бросал его из стороны в сторону, а он боролся с ветром, продолжая в летних сумерках отбивать глухую дробь. И хотя его было едва видно и чуть слышно, все же в шествии этого человека по улице было что-то торжественное.

Люди, стоявшие на углу, сказали:

— Мобилизация.

Других слов не слетало с губ. Я переходил от одной группы людей к другой, пытаясь уяснить, что произошло, но люди расходились по домам; лица у них были замкнутые, руки механически поднимались к небу. Теперь, когда наконец знали, в чем дело, по-прежнему не знали, что и думать.

Мы вернулись во двор, в коридор, в комнату, и тогда я сказал Мари:

— Мне ехать на девятый день, если считать с ночи послезавтра. Сборный пункт в Монтвиле.

Она взглянула на меня, как будто не поняла. Я достал из зеркального шкафа воинский билет и положил его на стол. Прижавшись друг к другу, испуганно созерцали мы красный листок, на котором был обозначен день моего отъезда, и по складам разбирали написанное, словно мы учились читать.

На другой день и в следующие дни мы толпой

бросались навстречу газетчикам. Невзирая на различные названия, все газеты писали одно и то же; мы читали, что единодушный порыв наэлектризовал Францию, и наше маленькое сборище тоже охватил порыв энтузиазма и решимости. Переглядывались, сверкая глазами, поощряли один другого. Я сам кричал: «Наконец-то!» Наш патриотизм показал себя.

Квартал был взбудоражен. Шли толки, провозглашались или разъяснялись высокоморальные истины. Большие и мелкие события находили в нас отклик. На улицах разгуливали гарнизонные офицеры, напыщенные, подтянутые. Говорили, что комендант де Траншо, несмотря на свой преклонный возраст, записался добровольцем в действующую армию, что германские войска атаковали нас сразу в трех пунктах. Проклинали кайзера и радовались его близкому разгрому. И среди всего этого ощущали Францию как живое существо, и мысли всех были заняты ее великой жизнью, которая вдруг оказалась незащищенной и под угрозой.

— Ведь можно было предвидеть эту войну, не так ли? — говорил Крийон.

Господин Жозеф Бонеас подводил итог мировой драмы:

— Мы все были миролюбивы до глупости. Мы изображали каких-то праведников. Никто во Франции не говорил больше о реванше, никто его не хотел; никто даже не помышлял о подготовке к войне; и в сердце мы только и лелеяли мечту о всеобщем счастье и прогрессе, в Германии тем временем исподтишка все подготовили, чтобы напасть на нас. Но, — пригрозил он, приходя в азарт, — и всыплют же ей… И все будет кончено!

Во всем сквозила жажда славы, и всем грезилось возрождение наполеоновских времен.

В ту пору лишь вечер и утро сменялись обычной чередой. Все остальное было нарушено и казалось временным. Рабочие праздно бродили по заводу, вели беседы; и всем мерещились смутные перемены на нашей равнине, под сводами нашего неба.

Вечером провожали полк кирасир. Эскадроны молодых кавалеристов, торжественно гарцевавших по мостовой, сменялись лошадьми, навьюченными тюками с фуражом, громыхавшими повозками и фургонами. Люди выстраивались вдоль сумеречных тротуаров и смотрели, как все это исчезало. И вдруг крики, приветствия. Лошади прянули, всадники приосанились и, удаляясь, вырастали, казалось, на глазах, словно они не

уходили, а возвращались.

— Как красиво! И как все воинственны во Франции, — говорит Мари, судорожно сжимая мне руку.

Отъезды, единичные или группами, все учащались. Точно шла какая-то методическая и неотвратимая порубка, руководимая иногда жандармами, — и мужское население день ото дня редело.

И все возрастающая сумятица. Столько сложных мероприятий, мудро предусмотренных и связанных одно с другим; столько новых афиш, наклеенных на старые; реквизиции скота и помещений, и комиссии, и награды, и этот гудящий вихрь автомобилей, переполненных офицерами и аристократическими сестрами милосердия, и столько существований, перевернутых вверх дном, и нарушенных привычек. Но надежда затмевала заботы и мгновенно заполняла пустоту. И все любовались выправкой кавалеристов и военной подготовленностью Франции.

На углах улиц или у окон появлялись люди в новеньких мундирах. Все знали хорошо этих людей, но не сразу узнавали: граф д'Оршам, лейтенант запаса, доктор Барду, военный врач второго ранга, с ленточкой Почетного легиона

в петлице, вызывали почтительное удивление. Словно из-под земли, вдруг вырос унтер-офицер Маркасен, весь с иголочки и точно деревянный, в синем и красном обмундировании и с золотыми нашивками. Он издали был виден; как чужестранец, он гипнотизировал стаи ребятишек, которые несколько дней назад бросали в него камнями.

— Старики, молокососы, богатые и бедные, все переодеваются! — торжествующе говорит какая-то женщина из народа.

Другая сказала, что наступает новое царство.

* * *

Начиная с пятницы я был занят приготовлениями к отъезду. В этот день мы пошли покупать обувь.

По дороге мы полюбовались прекрасным оборудованием вестибюля кинематографа, приспособленного под лазарет Красного Креста.

— Обо всем позаботились! — сказала Мари, глядя на груды кроватей, разной мебели, ящиков и множество всяких диковинных ценных приборов; отряд санитаров под командой красивого сержанта Варенна и в присутствии г-на Люсьена, заведующего госпиталем, расставлял все это по местам с чисто французской живостью.

Вокруг госпиталя кипела жизнь. На улице, как по волшебству, выросла палатка со спиртными напитками. Аполлин, для которой в суматохе мобилизации все дни превратились в воскресенья, приходила туда запастись водкой. Вот она ковыляет, пухлая, широкая, сжимая в коротких черепашьих лапах пустой полуштоф; щеки краснеют, как ломтики моркови, и она уже пошатывается, предвкушая выпивку.

На обратном пути, проходя мимо кафе Фонтана, мы увидели и его самого: он стоял в угодливой позе, и лицо его расплылось улыбкой. Кругом, в дыму, пели «Марсельезу»; штат служащих увеличился; сам хозяин разрывался на части и подавал, подавал. В силу фатального хода вещей дела его процветали.

Когда мы пришли на свою улицу, она была пустынна, как и раньше. Звуки «Марсельезы» замирали вдали. Слышно было, как пьяный Брисбиль колотит что есть сил по наковальне. Тени, те же, что и всегда, и те же огни чередовались в окнах. Казалось, что после шести дней неописуемого хаоса привычная жизнь снова водворилась в нашем уголке и настоящее уже побеждено прошлым.

Мы хотели было подняться на крыльцо, как

вдруг увидели Крийона, на корточках, у дверей его клетки: при свете лампы, облепленной роями москитов, он старался насадить на палку хлопушку для уничтожения мух. Он работал усердно, — рот его был полуоткрыт, язык высунут, толстый, блестящий от слюны. Крийон заметил нас и наши пакеты. Он отбросил инструменты, шумно вздохнул и сказал:

— Ну и дерево! Настоящий трут, да! Пилить его нужно бечевкой, как режут масло!

Он уныло стоял, освещенный снизу лампой, как башня в темноте, и, следуя капризу мысли, вдруг протянул волосатую руку и хлопнул меня по плечу:

— Раньше все твердили: война, война… Ну, вот мы и воюем, а?

В нашей комнате я сказал Мари:

— Всего три дня осталось!

Мари, пришивая цинковые пуговицы к новой парусиновой сумке, жесткой от глянца, ходила взад и вперед и говорила без умолку. Она, видимо, хотела развлечь меня. На ней была голубая блузка, поношенная и мягкая, с открытым воротом. Мари занимала много места в этой унылой комнате.

Она спросила меня, надолго ли я уеду, затем,

как и всегда на этот вопрос, ответила: «Впрочем, ты и сам не знаешь». Она досадовала, что я простой солдат, как все. Надеялась, что война кончится еще до зимы.

Я молчал; я видел, что она украдкой наблюдает за мной; она обрушила на меня целый поток новостей.

— Знаешь, викарий пошел в армию простым солдатом, да, да, рядовым, как все священники. А господин маркиз, хотя он уже на год старше предельного возраста, написал военному министру, что отдает себя в его распоряжение, и министр уже прислал ему с курьером ответ и поблагодарил его.

Она упаковывала и перевязывала веревочками туалетные принадлежности и провизию, как для путешествия.

— Все твои мелочи здесь. Посмотри, у тебя будет решительно все.

Затем села и вздохнула.

— Ах, война все же страшнее, чем ее представляешь, — сказала она.

Она, казалось, предчувствовала трагические события. Лицо ее было бледнее обычного. Усталое выражение его было полно нежности, веки розовели, как розы. Но вот она чуть улыбнулась

и сказала:

— Юноши, лет по восемнадцати, записываются в армию, но только на время войны. Они умно поступают, в жизни им это пригодится.

* * *

Понедельник. Бродим по дому. Наконец, в четыре часа, я покидаю дом, чтобы пойти в мэрию и оттуда на вокзал.

В мэрии топчутся люди, похожие на меня. Они навьючены разными свертками; за плечами болтаются новенькие башмаки. Я подошел к своим товарищам и затерялся среди них. Тюдор был в кепи артиллериста. Г-н Мьельвак суетился, как в конторе, с кипой бумаг в руках; он сменил пенсне на очки и этим как бы положил основу военной формы.

Каждый говорил о себе, называл свой полк, сборный пункт, сообщал какую-нибудь подробность личного характера.

Среди этой толчеи, в кругу скромно одетых людей, ораторствовал учитель фехтования, щеголяя безукоризненным мундиром действующей армии:

— Я остаюсь здесь. Я пользуюсь льготой, меня не могут отправить на фронт.

Ждали долго, шли часы. Пронесся слух, что мы уедем только завтра. Вдруг тишина, все подобрались и стали навытяжку: дверь распахнулась, и вошел комендант де Траншо.

Женщины столпились возле стены. Какой-то штатский, поджидавший офицера, подошел к нему со шляпой в руке и заговорил вполголоса.

— Ну, друг мой, — сказал комендант, отходя от него с военной решительностью, — не стоит хлопотать: через два месяца война будет кончена!

Он подошел к нам. На кепи у него белела полоска.

— Комендант вокзала, — сказал кто-то.

Де Траншо обратился к нам с краткой, зажигательной патриотической речью. Он говорил о великом реванше, столь желанном для всех французов. Уверял, что в будущем эти дни станут нашей гордостью, взволновал нас и в заключение прибавил:

— Ну, а теперь прощайтесь с родными. Теперь с женщинами покончено. И в дорогу! Я провожу вас до вокзала.

Последняя сумятица; звуки поцелуев и причитания наполнили большой зал.

Обняв Мари, я поспешил к товарищам. Выстроились на улице, по четыре в ряд. Пошли. Тротуары

были забиты провожавшими. Я испытывал в эти минуты чувство восторга и настоящую горячку славы.

На углу одной улицы я заметил Крийона и Мари, забежавших вперед, чтобы еще раз меня увидеть. Они махали мне руками.

— Ну, смелей, ребятки! Не на смерть же идете! — крикнул Крийон.

Мари смотрела на меня и не могла слова сказать.

— В ногу! Ровней! Раз, два! — командовал унтер-офицер Маркасен, шагая рядом с колонной.

Мы прошли через весь квартал. И в темной бесконечности, среди мира вещей, от которых мы уходили широкими, размеренными шагами, сливавшимися в единый шаг, мой сосед, крестьянин, качал головой и ронял отрывистые слова.

— Неразбериха! — бормотал он. — С тех пор как это началось, я ничего еще не успел понять. А знаешь, есть ведь такие, что говорят: «Я понимаю». Ну так я скажу тебе: неправда это!

Вокзал. Не останавливаемся: желтый барьер, который никогда не снимают, снят. Нас ведут через лабиринт чуть поблескивающих железнодорожных путей и загоняют на темную крытую платформу с чугунными столбами.

И тут мы вдруг поняли, что мы одни.

* * *

Город, жизнь остались там, за пределами этой угрюмой равнины рельсов, платформ и мрачных приземистых строений, заполнивших необозримое пространство. Сумерки приносят свежесть, охладившую наши потные тела и наш энтузиазм. Мы дрожим. Ждем. Вечереет; вот и совсем темно. Ночь замыкает каждого в его тесной бесконечности. Трясемся от холода и ничего уже не видим. Под навесом, где мы топчемся, я едва различаю темную беспокойную массу, слышу гул голосов и запах табака. Огонек спички, красная точка папиросы то здесь, то там освещают чье-нибудь лицо. А мы все ждем, праздные и взвинченные ожиданием, садимся на землю, жмемся друг к другу. Мрак и пустыня.

Проходит несколько часов. Наконец появляется унтер-офицер Маркасен с фонарем в руке и пронзительным голосом делает перекличку. И снова уходит. И снова мы ждем.

В десять часов, после многих ложных тревог, объявляют, что подают наш поезд. Он подходит, все вырастая и вырастая, черный и красный. Он уже набит битком, там горланят. Он останавли-

вается, превращая платформу в улицу. Лезем в вагоны, бросаемся к скамьям; при свете мигающих фонариков на бегу видим на вагонах нарисованные мелом свиные головы в островерхих касках и надписи: «В Берлин!» — единственные указатели нашего маршрута.

Поезд отходит. Мы толпимся у дверей и стараемся выглянуть наружу, где люди, для которых мы еще существуем, быть может, поджидают нас; но взгляд улавливает неясные, неспокойные очертания, затушеванные, слитые с природой. И мы снова садимся на свои места. Под мерный стук колес раскладываем багаж, устраиваемся на ночь, курим, пьем, разговариваем. Скудно освещенный, в тумане дыма, вагон похож на переполненный кабачок, увлекаемый в неизвестность.

Под мурлыканье поезда мурлычут голоса. Соседи мои беседуют об урожае, о солнце, о дожде. Насмешливые парижане вспоминают знакомых, а чаще кафешантанных певцов. Другие спят, примостившись на деревянных скамьях; губы их шевелятся и что-то шепчут; толчки поезда встряхивают спящих, но не могут вывести их из оцепенения. Я мысленно перебираю подробности последнего дня и даже воспоминания минувших

лет, когда ничего не случалось.

* * *

Ехали всю ночь. Изредка, на станциях, кто-нибудь опускал оконное стекло; в смрадный вагон врывались мрак и струя сырого, как из погреба, воздуха; и фонарь железнодорожного сторожа плясал в глубине ночи.

Часто подолгу стояли, пропуская воинские поезда. На одной станции, где мы простояли много часов, мимо нас прогромыхало несколько таких поездов; быстрота движения скрадывала расстояние между окнами и между вагонами, сливая в одну массу втиснутых в вагоны солдат; и взгляд улавливал в тусклом головокружительном свете лишь длинную, непрерывно движущуюся цепь — синюю и красную. И не раз мы видели, как проносились, почти касаясь одна другой, эти механически мчавшиеся со всех сторон к границе человеческие колонны.

X. Стены

На рассвете остановились. Нам сказали: приехали.

Зевая, стуча зубами, почерневшие за ночь, мы высадились на платформу, черную от моросившего дождя, в густой туман, пронизанный отдаленными свистками. На холодной заре, выйдя из вагонов, мы ждали, и тени наши напоминали тюки товаров.

Унтер-офицер Маркасен, бегавший за распоряжениями, наконец возвращается.

— Пошли!

Он выстраивает нас по четыре в ряд.

— Шагом марш! Держаться прямо! В ногу, в ногу! Ну, веселей!

Мерный, ритмичный шаг заставлял идти в ногу, и мы ступали по следам друг друга. Маркасен шагал рядом с нашей маленькой колонной. И когда один из нас, близкий его знакомый, окликнул его, он не ответил. Время от времени он бросал на нас взгляд, резкий, как удар хлыста, чтобы проверить, идем ли мы в ногу.

Я думал, что попаду в старые казармы, где отбывал учебный сбор. Но меня ожидал сюрприз,

огорчивший меня больше, чем следовало бы. Пройдя развороченный пустырь, засыпанный щебнем и известкой, мы подошли к новым казармам, зловеще белым на бархате тумана. Перед свежевыкрашенной решеткой ограды стояла толпа: люди в темных штатских одеждах, осыпанные медной пылью первых лучей солнца. Нас впустили во двор, и калитка захлопнулась за нами.

Нам приказали сесть на скамьи у стены караульного помещения. Мы прождали здесь весь день. Знойное солнце разгуливало по небу и гоняло нас со скамьи на скамью. Мы ели, разложив пищу на коленях. Я развертывал пакетики, приготовленные Мари, и мне казалось, что я касаюсь ее рук. Уже наступил вечер, когда на нас натолкнулся проходивший по двору офицер; он спросил, что мы здесь делаем, и о нас вспомнили. Мы ворвались в мрак здания. Топая ногами, толкаясь, взбирались мы по черным ступеням сырой лестницы; пахло табаком и гудроном, как во всех казармах. Нас повели по длинному коридору с ярко-синими оконцами; здесь проносились неистовые сквозняки, и на каждом повороте трепыхалось и шипело пламя газовых рожков.

Возле освещенной двери давка: цейхгауз. Под напором плотной толпы людей, вытолкнувших

меня, как стальная пружина, я протиснулся в дверь. Кладовщики уверенно хозяйничали среди тюков обмундирования, пахнувшего новым сукном, среди груд красных кепи и поблескивающей походной утвари. Захваченный толпой, выбрасывавшей нас толчками поодиночке, я обошел помещение и вышел одетый в красные штаны, перекинув через плечо синюю куртку и штатский костюм; не решаясь надеть ни шляпу, ни кепи, я держал их в руке.

И вот мы все одеты одинаково. Мне не во что посмотреться. Я смотрю на других, чтобы представить себя. При убогом свете свечи меланхолично съедаем скверную похлебку в пустой длинной комнате. Затем, вымыв котелки, спускаемся во двор, огромный, серый, сонный. В ту минуту, когда мы туда выкатываемся, раздается скрип и лязг железа: калитку запирают на замок, натягивают цепь. Часовой с ружьем шагает взад-вперед у ворот. Выходить за ограду запрещено под страхом военного суда. На западе, за пустырями, виден в низине вокзал; он багровеет и дымит, как завод, и мечет хриплые молнии свистки. По другую сторону — впадина улицы: в этой длинной яме светятся желтыми точками окна и венцом сияет лавка. Прижавшись лицом к решетке, я смотрю

на эти отблески другой жизни; затем возвращаюсь на темную лестницу, в коридор, в казарму; я представляю собою нечто, и все же я — ничто, не больше, чем капля воды в реке.

* * *

Укладываемся на соломе под жиденькими одеялами. Под головой у меня сверток с моим штатским костюмом; я засыпаю. Утром, очнувшись, хочу стряхнуть бесконечный путаный сон.

Сосед мой сидит на соломе, волосы у него свесились на лицо, он почесывает ноги, зевает до слез и говорит:

— Я видел себя во сне.

* * *

Дни тянутся один за другим. Мы по-прежнему сидим взаперти, в полном неведении. О том, что происходит, мы узнаем по утрам из газет, которые нам просовывают через решетку ограды. Война затягивалась; она замерла, а мы, занятые перекличками, рапортами, приказами и нарядами по уборке своего помещения или всей казармы, — мы ничего не делали. В город не пускали, и мы ждали вечера; стояли, сидели, бродили по ка-

зарме, никогда не казавшейся пустой, — так она была насыщена терпкими запахами; слонялись по темным лестницам и темным, точно железным, коридорам, по двору до ограды, до кухонь на заднем дворе, откуда весь день доносился запах кофейной гущи или сала.

Говорили, что, возможно, и даже наверное, мы просидим здесь до конца войны. Мы скучали. Ложились спать усталые от неподвижности или от слишком медленной ходьбы. Всем хотелось на фронт.

Маркасен, помещавшийся при ротной канцелярии, всегда был поблизости и украдкой следил за нами. Однажды он вдруг накинулся на меня за то, что я хотел умыться не в тот час, как это было предписано! Я опешил, но должен был стоять перед ним навытяжку. Он грубо спросил, умею ли я читать, пригрозил наказанием и прибавил: «Чтобы это больше не повторялось!» Выговор от бывшего Керосинщика, по существу, может быть, и справедливый, но весьма бестактный, глубоко оскорбил меня и расстроил на весь день. Несколько подобных же случаев ясно мне показали, что я больше не принадлежу самому себе.

* * *

Однажды, после переклички, когда ряды рассыпались, один парижанин из нашего взвода подошел к Маркасену и сказал:

— Господин унтер-офицер, разрешите спросить. Почему мы здесь сидим?

Маркасен взбеленился.

— Так надо! Не спрашивай! Вам бы все знать! — заорал он. — Это какая-то болезнь во Франции: обязательно знать! Ну так вот! Вбейте себе в голову, что вы ничего не узнаете! Знают за вас! Довольно болтовни! Нынче требуется другое: дисциплина и молчок.

Желание отправиться на фронт скоро остыло. Два-три случая слишком явного дезертирства оказались заразительными, и нередко слышался припев:

— Раз другие отвиливают, дурак я буду, если не поступлю так же.

Но большинство молчало.

Наконец объявили об отправке подкрепления; посылали и молодежь и стариков: список был составлен под давлением всяческих интриг. Протесты вспыхивали и угасали в безмятежности канцелярий.

Я пробыл в казарме сорок пять дней. В середине сентября стали отпускать в город после ужина и по воскресеньям. Вечером мы ходили к городской мэрии читать военные бюллетени, однообразные, как дождь. Затем с кем-либо из товарищей мы шли в кафе, не спеша, одинаково размахивая руками, изредка перекидываясь словом, праздные и похожие на двойников. Или мы вваливались в кафе гурьбой, но я себя чувствовал там одиноким. Зал был пропитан теми же запахами, что и кафе Фонтана, и казалось — это обрывок какого-то длящегося сна; какое-то смутное воспоминание обволакивало меня, когда я сидел на продавленном диване, и пол поскрипывал у меня под ногами, и взгляд не отрывался от белого мрамора столика. Там я писал Мари, там перечитывал ее письма, в которых она говорила: «После твоего отъезда ничего нового не было».

Однажды в воскресенье я сидел на скамье в сквере, под пустынным небом, и зевал до слез. Мимо меня прошла женщина. По сходству силуэта я вспомнил женщину, любившую меня; я вспомнил и то время, когда жизнь была жизнью, и прекрасное ласковое тело; и мне показалось, что я обнял ее, прижал к себе, и дыхание ее коснулось моих век, как бархат.

На смотру видели мельком капитана. В те дни снова встал вопрос об отправке на фронт, но это оказалось ложной тревогой. Тогда начали поговаривать: «Нам воевать не придется», — и стало легче на душе.

Фамилия моя бросилась мне в глаза в списке отбывающих на фронт, вывешенном на стене. И когда этот список прочли на вечерней поверке, мне показалось, что прочли только мою фамилию. Я не успел даже подготовиться: на другой день вечером наш отряд выступил из казарм, через ту же калитку.

XI. На краю света

«Едем в Эльзас», — говорили осведомленные. «На Сомму», — говорили еще громче другие осведомленные.

Ехали тридцать шесть часов, сидя на полу вагонов для скота, парализованные, зажатые, точно тисками, ранцами, мешками, винтовками, потными телами. Поезд часто и подолгу останавливался. Мне казалось, что он больше стоял, чем двигался.

Наконец днем нас высадили на станции, недавно пережившей орудийный обстрел. Полуразрушенный вокзал; крыша, похожая на обглоданный хребет рыбы; небо, затянутое свинцовыми тучами. Внизу, за насыпью, разрушенное местечко, где в грязном снегу развалин несколько семей ютилось под дождем.

— Не Эн ли это? — говорили солдаты.

Лил дождь. Выгрузились, и ро́здали хлеб, за которым каждый протянул мокрую, окоченевшую руку; дрожа от холода, поели наспех, стоя на дороге, серое полотно которой было исполосовано лоснящимися параллельными колеями, убегающими вдаль. Каждый думал о себе и держался

особняком, и от этого было еще холоднее. По обе стороны дороги бескрайной пустыней тянулись болотистые поля; в воде, местами подернутой зеленой плесенью, отражались остовы деревьев.

— Мешки на спину! Шагом марш! — скомандовал унтер Маркасен.

Куда идем? Неизвестно. Проходим по деревне. В августе, во время отступления, она побывала в руках немцев, была разгромлена, но этот разгром начинал оживать, обрастать свежими отбросами, мусором, и дымиться, и снова разрушаться. Дождь нехотя перестал. В просветах неба гроздья шрапнели пятнали воздух вокруг аэропланов, и слышны были негромкие, отдаленные взрывы. По вязкой дороге, по рельсам из грязи неслись автомобили Красного Креста с невидимым грузом. Сначала все вызывало любопытство и расспросы, как у чужестранцев. Один раненый — он после выздоровления вместе с нами возвращался в свой полк, — изредка давал нам разъяснения и неизменно добавлял: «Это еще пустяки. А вот увидишь!..» Долгая дорога заставила наконец людей замолкнуть.

Мешок, нагруженный с большой изобретательностью, безжалостно набитые подсумки, разбухшие сумки на ремнях, режущих плечи, —

вся эта ноша сначала кидала меня из стороны в сторону, и с каждым шагом ремни все больнее впивались в тело. Боль стала острой, нестерпимой. Я задыхался, едва волочил ноги, слепой под маской пота, проступавшего, несмотря на пронизывающую сырость, и скоро почувствовал, что мне не под силу почти часовой переход до привала. И все же я преодолел этот путь: я не мог улучить минуты, чтобы передохнуть, и я мог все же сделать еще один шаг. Позже я понял, что именно эта механическая причина и заставляет солдат до конца выдерживать нечеловеческое физическое напряжение.

Северный ветер пронизывал нас, а мы все тащились по мокрым сумеречным равнинам. Один новобранец, который на сборном пункте рвался на фронт, на остановке свалился возле составленных винтовок; на нем лица не было; он сказал мне, что войной он уже сыт по горло! Щуплый Мелюсон, которого я встречал в Вивье, весь пожелтел, словно полинял от пота, складки его век, казалось, были нарисованы красной тушью; он с трудом поднял голову и заявил, что завтра скажется больным.

После четырех бесконечных, томительных переходов по земле без цвета, под небом без света,

разгоряченные и потные, мы часа два простояли на ветру у самого гребня холма, откуда виднелась какая-то деревушка.

Вечером вошли в деревню. Но остановились на улице. Небо было затянуто тучами. Фасады домов позеленели и вытянулись, отражаясь в лужах. Перед нами — площадь, черная, в серебряных полосах, точно круглое старинное зеркало со следами амальгамы.

Наконец глубокой ночью скомандовали: «Марш!» — заставили нас пройти вперед и снова отступить в туннели улиц, переулков, дворов. При свете фонаря нас разбили по взводам. Я попал в одиннадцатый, расквартированный в какой-то вилле, совсем новой, судя по уцелевшей ее части. Начальником моего взвода оказался Маркасен. Я даже обрадовался: в этом мрачном смятении привязываешься, как собака, к знакомым лицам.

Мои новые товарищи, помещавшиеся в конюшне, сквозной, точно клетка, объяснили мне, что мы стоим далеко от фронта — в десяти километрах; что мы будем отдыхать здесь четыре дня, а затем пойдем на четыре дня в окопы неподалеку от стекольного завода. Череда отдыха и окопов так и будет тянуться до конца войны, и вообще не стоит унывать.

Слова эти подбодрили новичков, свалившихся где попало на солому. Усталость отходила. Люди принялись за письма, за карты. В этот вечер письмо к Мари я горделиво пометил: «С фронта». Я понял, что слава заключается в том, чтобы действовать, как действуют другие, и иметь право сказать: «И я тоже».

* * *

Три дня отдыха прошли. Я привык к этому существованию, заполненному строевым учением живых автоматов, нарядами на работу, и уже забывал свою прежнюю жизнь.

В пятницу, в три часа, сбор при оружии, во дворе школы. Среди нескошенной травы камни разрушенных стен и сводов галереи напоминали могильные плиты. Ветер хлестал нас; мы проходили гуськом перед капитаном, он ревизовал наши сумки и мешки, грозя тюрьмой за малейшую утечку в патронах и запасном провианте.

Вечером, со смехом и песнями, двинулись широкой извилистой дорогой. Ночью, пошатываясь от усталости, в ожесточенном молчании карабкались по скользкому бесконечному косогору под грозовыми тучами, похожими на кучи навоза. Черные грузные фигуры спотыкались в этой

необъятной отлогой клоаке и падали, громыхая железом. Люди копошились в хаосе ночи, боролись с косой тенью, которая их отталкивала, и начинали проявлять признаки усталости и озлобления. Со всех сторон нас подгоняли окрики, пронзительные, как лай: «Вперед! Вперед!» — и я услышал близ себя голос унтера Маркасена, бормотавшего: «Ну, что ж! Ведь это ради Франции!»

Добравшись до верхушки косогора, стали спускаться по другому склону. Приказано было погасить трубки и не разговаривать. Вдали рождался целый мир звуков.

Из темноты вдруг выступила низкая дверь. Мы рассыпались среди плоских строений; в стенах зияли черные дыры, точно жерла печей, земля была завалена щебнем и балками, из которых торчали гвозди. Во мгле на стенах белели свежие яркие пятна недавних обвалов камня, цемента, штукатурки.

— Стекольный завод, — сказал кто-то из солдат.

Сделали привал в коридоре с полуобвалившимися стенами и разбитыми окнами; здесь нельзя было шага ступить или сесть, не раздавив стекла. Затем пошли топкими тропинками, ближе к заводу засыпанными кое-где мусором, а

дальше тонувшими в грязи. Сквозь болотистые обледенелые саванны, зловеще мерцавшие в ночи, подошли к краю гигантского беловатого кратера. Дно этой пропасти, вокруг которой мокрые чернильные поля, поблескивая, уходили в бесконечность, вспыхивало огоньками и гудело.

— Каменоломня, — сказал кто-то.

Начинаем спускаться, не видно ни конца, ни края. Спустились, сползли, скатились в глубину; впотьмах попали в настоящее столпотворение: лошади, повозки и авангард полка, которому мы пришли на смену. Миновали бараки, скученные у подножия мелового утеса, смутно белевшего в черных кругах пространства. Выстрелы приближались со всех сторон, учащались; от орудийных залпов все сотрясалось — и под ногами и над головой.

Я вдруг очутился перед узкой щелью в земле, туда ныряли один за другим мои товарищи.

— Окопы, — прошептал за моей спиной человек. — Начало-то видно, а конца никто не видал. Ну что ж ты? Иди.

Три часа шли мы траншеей. Три часа погружались мы в расстояние и одиночество, замуровывались в темноту, царапали стены мрака амуницией и нередко застревали вдруг в узких

проходах, не пропускавших наши сумки. Казалось, земля хотела раздавить нас, расплющить и злобно осыпала нас ударами. Над незнакомыми равнинами, в глубине которых мы прятались, выстрелы пробивали пространство. Изредка ракета мягкой белизной окрашивала участки мрака, освещая мокрые недра рва и вереницы громоздких теней, придавленных огромными тюками; они брели в черном тупике, закупоренном мглою, сталкивались на поворотах. От орудийных залпов небесный свод, полыхнув заревом, приподымался и снова падал на свое место.

— Берегись! Открытый проход!

Земляная насыпь уступами вздыбилась перед нами. Выхода не было. Траншея внезапно обрывалась, но затем, видимо, шла дальше.

— Почему это? — спросил я машинально.

Мне объяснили:

— Да потому.

И прибавили:

— Нагнись и удирай!

Люди, нагнув головы, карабкались по скользким ступеням, прыгали вниз, один за другим, и бросались опрометью в зону, защищенную лишь мраком. Свист шрапнели, раздиравший воздух, и взрывы, на миг разгонявшие тьму, с неумолимой

ясностью открыли мне, насколько мы недолговечны и беззащитны. Усталость сковала меня, но я рванулся из последних сил вслед за навьюченным телом, бежавшим, гремя железом, впереди меня, и очутился, задохнувшись, в подземной щели, успев приметить темное поле, свист пуль, глубокие ямы, какие-то пятна, вытянутые или изогнутые, и фантастическую чащу крестов и кольев, черных, как погасшие головни, и небесный свод над чудовищным поединком дня и ночи.

— Я, кажется, видел трупы, — сказал я срывающимся голосом.

Человек, который шел впереди меня, засмеялся:

— Ты, видать, прямо из деревни, удивляешься, что здесь пахнет мертвечиной!

Я тоже смеюсь от радости: опасность миновала. И снова мы идем гуськом, пошатываясь, ударяясь о стенки узкого прохода, вырытого на уровне древних могил; кряхтя, сгибаясь до земли под тяжким грузом, движимые силой воли, мы идем сквозь головокружительное свистящее облако пуль, исполосованное красным и порой полыхающее заревом. На разветвлениях сворачиваем направо, налево, наталкиваемся друг на друга, и гигантское тело роты слепо устремляется к

своей цели.

Последний привал сделали среди ночи. Я до того ослабел, что упал на колени в мягкую грязь и простоял так несколько минут, блаженствуя.

Тотчас же мне пришлось идти на пост. Лейтенант поставил меня перед бойницей, приказал прижаться лицом к отверстию и объяснил, что в лесистой ложбинке, против нас, засел неприятель, а справа, в трехстах метрах, дорога на Шони: «Они там». Надо было держать под наблюдением черную впадину рощи и при каждом взлете ракеты вглядываться в молочно-белое пространство, отделявшее наше прикрытие от дымчатой изгороди придорожных деревьев. Он сказал, что мне надо делать в случае тревоги, и оставил одного.

Меня бросило в озноб. От усталости голова была пустая, сердце щемило. Стоя у бойницы, я таращил глаза, всматриваясь в мрак, непроницаемый, враждебный, насторожившийся мрак.

Мне чудилось, — среди белесых теней равнины, в пасти леса, всюду мелькают тени! Я чуть не закричал от ужаса и от сознания своей ответственности. Но нет! Страшные козни тьмы рассеялись на моих глазах, и я убедился наконец в неподвижности предметов.

На мне нет ни мешка, ни сумок; я закутался в

одеяло и стоял, не шелохнувшись, замкнутый до самого горизонта в круг механической войны, под ударами живых громов над головой. Тишина, бодрствование, успокоение. Я забыл о себе. Я прилежно смотрел. Я ничего не видел, ничего не знал.

Через два часа уверенные шаги часового, шедшего мне на смену, вывели меня из оцепенения. Я оторвался от места, к которому, казалось, был прикован, и пошел спать в землянку.

Землянка была просторная, но такая низкая, что в одном месте пришлось ползти на четвереньках, чтобы пробраться под ее корявым потолком. Воздух был насыщен испарениями и нагрет дыханием людей.

Растянувшись на соломенной трухе, я положил голову на свой мешок и блаженно закрыл глаза. Открывая их, я видел солдат, сидевших кружком; они ели из одной миски. Головы их тонули в мраке низкого свода; ноги лежали бесформенными глыбами, точно черные и мокрые камни, вырытые из земли. Ели дружно, без ножей и вилок — руками.

Сосед мой снаряжался в караул. Он не торопился. Набив трубку, он вытащил из кармана длинный, как солитер, фитиль и сказал мне:

— Твоя смена только в шесть часов. Счастливчик!

Сосредоточенно выпускал он густые клубы дыма, и дым смешивался с испарениями спящих, храпевших тел, распростертых вокруг нас. Он собирал вещи, стоя на коленях, и наставлял меня:

— Не расстраивайся, брат! Здесь никогда ничего не случается. Вот плохо добираться сюда. Пока идешь — намаешься; особенно когда спать охота. Спасибо, хоть дождя не было. Ну, а после обтерпишься и, когда вернешься, уж ни о чем не помнишь. Хуже всего открытый переход. Но из наших никто не попался. Все чужие. Да, брат, два месяца, как мы здесь. Можно сказать, мы дешево еще отделались.

На рассвете я снова встал у бойницы. Совсем близко, в рощице, — кусты и голые ветви, расшитые каплями воды. Впереди, под смертоносным небом, где вечный лет снарядов незаметен, как свет днем, — поле, похожее на поле, дорога, похожая на дорогу. Кое-где виднеются трупы, но какая до странности ничтожная вещь — труп в поле: большие увядшие цветы, заслоненные травами! Луч солнца на мгновение напомнил прошлое.

Так потянулись дни, недели, месяцы: четыре дня на передовых позициях, изнурительные

переходы, однообразные караулы у бойницы, долина, гипноз пустого пространства и ожидания; и четыре дня отдыха, перегруженные строевым учением, смотрами, генеральными чистками амуниции и улиц; строжайшие приказы, предусматривающие все наказуемые случаи, тысячи запретов, на которые жестоко наталкиваешься при малейшем движении; литания оптимистических фраз, абстрактные утопические рапорты и капитан, больше всего озабоченный сохранностью двух сотен патронов и запасного рациона. Потерь в полку не было, или почти не было: во время смены бывали раненые, изредка один-два убитых, об этом сообщалось как о несчастном случае. Одолевала страшная усталость, но ведь усталость приходит и уходит. Солдаты говорили, что, в общем, живется спокойно.

Мари писала мне: «О тебе сердечно вспоминали у Пио», или: «Сын Тромсона произведен в офицеры», или: «Если бы ты знал, на какие уловки пускаются люди, пряча золото, с тех пор, как его стали требовать! Если бы ты только знал все эти гадости!», или: «Все идет по-старому!».

* * *

Однажды, возвращаясь с позиций, мы подошли к деревушке, в которой прежде стояли, но не остановились в ней, к великому горю измученных солдат, согнувшихся под тяжестью мешков. Мы двинулись дальше, понурив головы, сквозь ночь, и час спустя разбрелись между темных фасадов, угрюмых примет незнакомого места, и нас разместили среди теней, облаченных в новую форму. С этих пор наша стоянка каждый раз была в новой деревне, и мы узнавали об этом, только придя на место. Я жил на сеновалах, куда надо было взбираться по приставной лестнице, в трухлявых и душных конюшнях, в погребах, где вечные сквозняки, казалось, раскачивали запах плесени, висевший в воздухе, в покосившихся и дырявых сараях, расшатанных бурями, в измызганных, увечных бараках, в деревнях, превращенных в окопы и прикрытия: мир наизнанку. Ветер и дождь нападали на нас, подстерегая наш сон; бывало, нас защищали от жгучего холода жаровнями, и мы до того угорали, что головы у нас разламывало. Все это забывалось при каждой смене декорации. Я начал было записывать названия мест, где мы проходили, но, перечитывая

записи, запутался в черном муравейнике слов. А калейдоскоп лиц сменялся так быстро, что я не успевал закрепить за ними имена.

Товарищи относились ко мне неплохо, но я был для них лишь одним из многих. На стоянках в минуты отдыха я уныло бродил, обезличенный жалкой одеждой простого солдата, все говорили мне «ты», и женщины не смотрели на меня.

Мне не быть офицером, как сыну Тромсонов. В нашем секторе это не такое легкое дело. Для этого должны произойти события, которые, вероятно, не произойдут. Но я хотел бы попасть в канцелярию. Попали же туда другие, менее меня пригодные для такой работы. Я считал себя жертвой несправедливости.

* * *

Однажды утром я столкнулся нос к носу с Термитом, кумом и сообщником Брисбиля, — он пошел на фронт добровольцем и попал в нашу роту.

Он был все такой же тощий и нескладный, военная форма подчеркивала его уродливую фигуру. Новая шинель казалась на нем поношенной, башмаки стоптанными; лицо у него было такое же неприятное, так же мигали глаза,

щеки по-прежнему в черной щетине, и все тот же скрипучий голос. Я встретил его ласково; отправившись на фронт добровольцем, он искупал свое прошлое. Он воспользовался положением — стал говорить мне «ты». Я рассказал ему о Вивье и даже сообщил последнюю новость из письма Мари: г-н Жозеф Бонеас держал экзамен на жандармского офицера.

Браконьер не вполне отрешился от старых замашек: он посмотрел на меня искоса, потряс в воздухе почерневшим кулаком; на руке его болталась медная опознавательная бляха, большая, как у сельского стражника (может быть, былой трофей). Ненависть к богачам и золотопогонникам снова проступила на его волосатом, угрюмом лице.

— Проклятые националисты, — брюзжал он, — они только и делали, что забивали головы реваншем, разжигали ненависть всякими «Лигами патриотов», и парадами, и говорильней, и газетами; а когда добились войны, теперь говорят: «Деритесь-ка вы».

— Многие из них погибли в первых рядах. Они сделали больше, чем требовал их долг.

С предвзятостью революционера маленький человечек не пожелал этого признать:

— Нет. Они только исполнили свой долг, вот и все!

Я хотел было сослаться на слабое здоровье г-на Жозефа, но, взглянув на изможденное, желтое лицо этого тщедушного человека, который мог бы сидеть дома, я на это не отважился.

И я решил не затрагивать вопросов, вызывавших в нем такую непримиримую враждебность и неизменную готовность вцепиться в противника.

Мы постоянно чувствовали на себе взгляд Маркасена. Его персона, украшенная нашивками, заслонила образ прежнего Керосинщика. Он даже как будто сразу стал культурнее, и речь его уже не пестрила ошибками.

Он разрывался на части, не щадил себя и ухитрялся нарываться на опасность: когда ночами посылали патрули на огромные пустынные кладбища, окруженные могилами живых, он всегда шел с нами.

Но он хмурился: по его мнению, мы недостаточно пылали священным огнем, и это его удручало. Когда мы жаловались на утомительные наряды, изматывающие ожидания, мытарства, лишения, осенний дождь, — на все у него был один ответ:

— Да разве вы не понимаете, что все это ради

Франции! Черт вас дери! Ради Франции!

Однажды серым утром, когда мы, серые, возвращались из окопов, уже перед самым привалом, кто-то из солдат, задыхаясь, крикнул: «Довольно с меня! Тошно!» Маркасен подскочил к нему:

— Где у тебя совесть, свинья? Что же, Франция не стоит, скажешь, твоей поганой шкуры, да и всех ваших шкур!

А солдат, взвинченный болью в суставах, огрызается:

— Ну что же — Франция! Это ведь французы.

Из рядов товарищ его, тоже подстрекаемый усталостью, подает голос:

— Понятно! В конце концов это все мы.

— Сволочи! — рычит Маркасен. — Франция — это Франция, и точка! А ты мразь, и ты тоже!

Солдат передергивает плечами, поправляя мешок; ярость начальства заставила его сбавить тон, но все же он упирается, цепляясь за свою мысль, и бормочет:

— Люди — ведь это человечество. Скажешь — неправда?

Под мелким дождем Маркасен рысцой трусит вдоль длинной колонны и, дрожа от волнения, кричит:

— Плевать я хочу на человечество; и на правду

плюю. Знаем мы твои идеи: мировая справедливость, тысяча семьсот восемьдесят девятый год… Плюю и на это! Одно только важно на земле: слава Франции. Всыпать бошам, вернуть Эльзас-Лотарингию, вернуть деньги — вот зачем тебя сейчас гонят, и конец! Это может усвоить даже такой идиот, как ты. А если ты этого не понимаешь, так потому, что не хочешь поднять свое свиное рыло, чтобы увидеть идеал; или же ты просто социалист и продажная тварь!

Он с трудом отрывается от примолкнувших рядов, что-то бормочет, глаза злые, угрожающие. Минуту спустя, когда он проходил мимо меня, я заметил, что руки его еще дрожат, и я сам расстроился, увидев на его глазах слезы.

Маркасен поглощен придирчивой слежкой за нами, он с трудом обуздывает бешенство, и нервный тик передергивает его лицо. Он ссылается на Деруледа и говорит, что вера внушается, как и все остальное. Он живет в постоянном недоумении и горькой обиде, что не все думают, как он. Маркасен пользуется большим влиянием; что бы ни говорили, в массах еще живы здоровые затаенные инстинкты, и они всегда могут проявиться.

Капитан, строгий и щедрый на наказания при малейшей утечке в нашем грузе, все же был

человек уравновешенный; он признавал, что Маркасен одушевлен высокими чувствами, но сам не проявлял подобной пылкости. Капитан — мое старшее начальство — умел разбираться в людях. Он говорил, что я хороший, добросовестный солдат и что он желал бы иметь побольше таких, как я.

Лейтенант, совсем еще юный, производил впечатление доброго малого.

— Славный паренек, — говорили благодарные солдаты. — Другой, только заговори с ним, задаст тебе жару! А этот, стой ты хоть болван болваном, поговорит с тобой. Толкуешь иной раз о себе, о семье — не больно ведь ему это интересно, — а он, брат, все-таки тебя слушает.

* * *

Бабье лето ласково пригревало нас, когда мы стояли на отдыхе в какой-то новой деревушке. В один из тех дней, помнится, я потащил с собой Марга (он на чем свет стоит ругал единственного местного лавочника, извечного и беспощадного обиралу покупателей); мы вошли в дом, разрушенный бомбардировкой. Он стоял без крыши, был засыпан щебнем, светился насквозь и вздрагивал, как корабль. Тайна покинула этот дом, и

он был хуже, чем пустой. Мы пробрались в гостиную. В комнате сохранились остатки роскоши, красивого убранства: изуродованный рояль с пучками оборванных струн, неплотно прикрытый шкаф, истлевший, словно вырытый из земли, паркет, засыпанный штукатуркой, усеянный золочеными прутьями, растерзанными книгами и обломками, хрустевшими под ногами. Над окном с разбитыми стеклами угол занавеса бился, как летучая мышь. Камин раскололся пополам, но над ним уцелело зеркало в узкой раме — светлое, без единой царапинки.

И вдруг девственная чистота этого длинного зеркала заворожила нас, меня и Марга, одинаково. Совершенная нетронутость стекла напоминала живое тело. Схватив по кирпичу, мы что было сил швырнули в зеркало и разбили его, неизвестно зачем. Затем побежали по шаткой винтовой лестнице; ступени тонули в щебне. У двери переглянулись, еще взбудораженные, но уже стыдясь своего варварства, внезапно проснувшегося в нас и подтолкнувшего наши руки.

— Ну, что поделаешь!.. Невтерпеж человеку! — говорил Марга.

Делать нам было нечего, мы сели. Внизу расстилалась долина. День был ясный.

Марга смотрел по сторонам; он наморщил лоб и выругал деревеньку за то, что она не похожа на его деревню: дома какие-то дурацкие, и церковь какая-то чудная, и колокольня стоит не там, где надо.

Подошли Оранго и Ремюс, подсели к нам. Солнце клонилось к закату.

Где-то далеко белым кустом разорвался снаряд. Посмеялись над безобидным за дальностью расстояния взрывом. Ремюс верно подметил:

— Если снаряд не попал в тебя, ты и не думаешь, что где-то он все-таки разорвался.

В эту минуту облако землистого дыма взвилось внизу, у окраины деревеньки, и тяжкий гул докатился до нас.

— Бьют по деревне, — лаконически констатирует Оранго.

Марга, занятый одной мыслью, кричит:

— Эх черт! «Чемодан»-то промазал! Лавочник живет в другом конце. Вот жалость! Ведь как он обдирает, да еще приговаривает: «Не нравится, так катись отсюда, любезный». Экая жалость!

Он вздыхает и говорит:

— Лавочники… Не выношу их. «Подыхайте, разоряйтесь, меня это не касается! Я должен нажить!»

— Что ты привязался к лавочникам? — спрашивает Оранго. — Они всегда были такими. Все они воры и грабители.

Минута молчания. Ремюс откашливается, чтобы придать твердость голосу, и говорит:

— Я тоже лавочник.

Тогда Марга добродушно говорит:

— Ну что ж делать, братец... Я ведь хорошо знаю, что на земле выгода важнее всего.

— А то как же, милый, — подтверждает Ремюс.

* * *

В тот раз, когда мы тащили к месту своего ночлега солому, один из моих несчастных товарищей подошел ко мне и спросил:

— Объясни мне, почему нет больше справедливости? Я просился у капитана в отпуск, и я показал ему письмо и сказал, что так, мол, и так, тетка моя только что умерла. «Брехня!» — говорит он. Ну, думаю, это еще того чище! Так вот, ты мне скажи, почему, когда началась война, не началась и настоящая справедливость для всех; ведь это можно было устроить, в то время никто не сказал бы: «Я не хочу». А? Почему все получилось как раз наоборот? И дело не только во мне, а ты возьми крупных промышленников, они, говорят,

наживают на этой бойне сотни франков в день, да еще и шкура при них, а возьми ты франтов, которые окопались в тылу, а сами в десять раз здоровее этой дохлятины, ополченцев, которых еще до сих пор не эвакуировали; а возьми ты гулянки в городах с девками, жемчугами и шампанским. Нам Жюсеран рассказывал.

Я ответил, что полная справедливость невозможна, что надо учитывать всю совокупность вещей. Но, сказав это, я смутился, — с такой настойчивостью, неловкой и неуклонной, товарищ мой в одиночку искал света!

В те однообразные дни я часто пытался собрать воедино свои мысли о войне. И не мог. Кое в чем я уверен по-прежнему. Но в остальном… Не знаю. В остальном я полагаюсь на тех, кто нами руководит и кто представляет собою государственный разум. Но все же я иногда жалел, что возле меня нет такого наставника, как Жозеф Бонеас.

Впрочем, люди, окружающие меня, — если не считать тех случаев, когда затрагивались их прямые интересы, и если не считать нескольких болтунов, которые вдруг пускаются излагать теории целыми абзацами из газет, — все были равнодушны к сложным проблемам и слишком глубоким вопросам, которые касались неотвра-

тимых бедствий, настигших нас.

Во всем, что выходит за пределы будничных интересов или их личных дел, они мудро сознают свое неведение и беспомощность.

Как-то вечером, когда я вернулся на ночевку, солдаты, лежавшие на соломе вдоль и поперек хлева, разговаривали, и все сходились на одном. Кто-то из них сказал в виде вывода:

— Раз все идут, и ладно.

Но Термит, свернувшийся, как сурок, на общей подстилке, не дремал. Он поднял голову с соломинками в волосах, затрепыхался, словно попал в капкан, потряс, как погремушкой, медной бляхой на запястье и сказал:

— Нет, не ладно. Надо думать собственной головой, а не чужой.

Головы приподымаются, на лицах любопытство, все предвкушают, что он пустится в свои бесконечные рассуждения.

— Тише, ребята! Он сейчас затянет насчет милитаризма! — возвещает один озорник по прозвищу Зяблик; я уже отметил его живой ум.

— Взять хотя бы вопрос о милитаризме… — продолжает Термит.

Хохочут, глядя на косматого карлика, который в сумерках на соломе выкрикивает, как на митин-

ге, громкие слова, жестикулирует, отбрасывая китайские тени на затянутое паутиной оконце.

— Уж не хочешь ли ты сказать, — спрашивает кто-то, — что боши не милитаристы?

— Понятно, милитаристы, — должен был признать Термит.

— Вот и загнали тебя в угол! — не унимается Зяблик.

— А я, брат, — говорит один ополченец, отличный солдат, — я не гляжу так далеко и не такой умник, как ты. Я знаю, что на нас напали, а мы только одного и желаем, чтобы жить спокойно и в мире со всеми. Да вот для примера у нас в Крезе, я знаю…

— Знаешь? Ничего ты не знаешь! — яростно вопит Термит. — Ты просто жалкая домашняя скотина, как и миллионы товарищей. Они нас собирают, но они нас разъединяют. Они что хотят, то и говорят нам, или ничего не говорят, а ты им веришь. Они говорят: «Вот что должно запасть тебе на ум!» Они…

Глухое возмущение против Термита, тот же самый инстинкт, который некогда заставил меня наброситься на его единомышленника Брисбиля, снова проснулся во мне. Я прервал его:

— Кто это «они»?

— Короли, — говорит Термит.

В эту минуту силуэт Маркасена показался на серой улице.

— Тише! Шкура идет!.. Заткни глотку! — советует сердечно один из присутствующих.

— Не боюсь я говорить то, что думаю, — заявляет Термит, сразу же понизив голос, и ползком пробирается через ворох соломы, отделявшей наше стойло от соседнего.

Хохот. Марга серьезен.

— Всегда были и будут, — сказал он, — две породы людей: бунтари и покорные.

Спрашивают:

— Зачем же он пошел добровольцем, этот дядя, а?

— Жрать нечего было, — ответил ополченец, выражая общественное мнение.

Сказав это, старый солдат зевнул, встал на четвереньки, оправил под собой солому и прибавил:

— Нечего голову вешать, и пусть себе делают, что хотят. Все равно ничем ведь этому не поможешь.

Надо ложиться спать. Хлев открыт с двух сторон. Но не холодно.

— Кончились ненастные дни, — говорит Ре-

мюс. — И больше не вернутся.

— Давно пора! — говорит Марга.

Легли вповалку. Кто-то в темном углу погасил свечу.

— Поскорей бы война кончилась! — бормочет Оранго.

— Хоть бы уважили мою просьбу и перевели в самокатчики, — откликается Марга.

Смолкаем; каждый таит ту же великую смутную мольбу и еще какую-нибудь маленькую жалкую просьбу, как Марга. Ночь тихо окутывает нас на соломе; засыпаем.

* * *

На краю деревни, в длинном розовом доме жила очаровательная фермерша; когда она улыбалась, глаза ее щурились. После дождей и туманов, в дни ласковой юности года я смотрел на нее всей душой. У нее был маленький нос, большие глаза и нежный светлый пушок, словно брызги золота, на верхней губе и шее. Муж ее был мобилизован. За ней ухаживали. Она мимоходом улыбалась солдатам, болтала с унтерами, а перед офицерами замирала в почтительном молчании. Я думал о ней и забывал писать Мари.

Многие, говоря о фермерше, спрашивали:

«Можно чего-нибудь добиться?» Но многие отвечали: «Ничего нельзя добиться». Одним погожим утром, в овине, после завтрака, мои товарищи покатывались со смеху, потешаясь над пьяным однополчанином; они поддразнивали его и угощали вином, чтобы поддержать в нем опьянение и вволю позабавиться. Наивное веселье, подобное тому, какое вызывал Термит, разглагольствуя о милитаризме и вселенной, не увлекало меня, и я вышел на улицу.

Я шел по отлогой мостовой. Из садов и огородов почки протягивали множество зеленых, еще крепко сжатых крошечных рук, и яблони были в белых розах. Весна спешила. А вот и розовый дом. Он стоял один на дороге и, казалось, притягивал к себе все солнце. Я колебался. Прошел мимо. Невольно замедлил шаг, остановился и вернулся к двери. Не помню, как вошел.

Первое — свет! На красных плитках пола горел солнечный квадрат. Кастрюли, тазы сверкали.

Она была там! Стоя у крана, она подставила под серебристую струю ведро, отражавшее красные кафели пола и золотую медь. Руки и шея ее были обнажены, и кожа казалась влажной в зеленоватых отсветах стекол окна. Она увидела меня, улыбнулась.

Я знал, что она улыбалась всем. Но мы были одни! Я почувствовал сумасшедшее желание. Что-то властное вопреки моей воле подымалось во мне и насиловало ее образ. С каждой минутой она становилась все прекраснее. Тугое платье подчеркивало ее формы, юбка колыхалась над глянцевитыми сабо. Я смотрел на ее шею, на пленительную линию груди. Острый запах шел от ее плеч, казалось, он открывал истинную сущность ее тела. Я неуклюже подошел к ней, не зная, что сказать.

Она чуть опустила голову в венце густых кос, нахмурила брови; в глазах промелькнула тревога. Ей была знакома ребяческая мимика ослепленных мужчин. Но эта женщина была не для меня! Сухой смех ее хлестнул меня, она скользнула за порог, и дверь захлопнулась перед моим носом.

Я открыл дверь, я побежал за ней в сарай. Я лепетал что-то, я догнал ее, протянул руку. Она увернулась; она ускользала от меня навсегда… Но ужас остановил ее.

Стены вдруг сдвинулись с грохотом и визгом; в потолке зазияла дыра, и все потонуло в черном огне. Дыхание вулкана отшвырнуло меня к стене, опалило глаза, я был оглушен, в мозгу стучало молотом, вокруг меня рушились камни, и я увидел,

как подбросило в воздух женщину, фантастически окутанную красным и черным, закружило в белом и красном хаосе белья и платья, и что-то огромное, двуногое, нагое, с вывороченными кишками, ударило меня по лицу и залило рот кровью.

Я чувствовал, что кричу, всхлипываю. Под гипнозом страшного поцелуя; омерзительного объятия, сдавившего мою руку, протянутую к красоте этой женщины, ошеломленный смерчем пара и золы и чудовищным, величаво затихавшим грохотом, я выбрался из этих стен, которые шатались, как и я. Дом рухнул. Я бежал по содрогавшейся земле, за мной гнались обезумевшие камни, вопли развалин и, подобные взмахам гигантских крыльев, вихри пыли при обвалах.

Ураган снарядов обрушился на этот край деревни. Поодаль солдаты сокрушались, глядя на домик, который только что раскололся надвое. К нему нельзя было подойти: страшный свист взрывал вокруг него землю и забрасывал стальными осколками. Мы стояли под прикрытием стены, и при вспышках искусственной грозы он возникал перед нами под сводом клубящегося пара.

— Ты весь в крови! — сказал кто-то из товарищей, испуганно глядя на меня.

Остолбенев от ужаса, еще не собравшись с мыслями, я смотрел на этот домик с раздробленными костями, на этот дом человеческий.

Он раскололся сверху донизу, фасад рухнул. Видны были гнезда обугленных комнат и геометрическая линия труб; пуховик, похожий на кишку, лежал на остове кровати. В первом этаже уцелело несколько половиц, они повисли над развалинами, и там виднелись трупы двух офицеров, пригвожденных осколками к столу, за которым они завтракали в момент взрыва: изысканный завтрак, судя по тарелкам, стаканам и бутылке шампанского.

— Это лейтенант Норбер и лейтенант Ферьер.

Один из этих призраков стоял, улыбаясь; рот его стал вдвое шире из-за раны, расколовшей голову; рука была поднята заздравным жестом, застывшим навсегда. Другой сидел, облокотившись на стол, застланный красной, как кумач, скатертью, до ужаса внимательный; лицо его было залито кровью, он весь был в мерзких пятнах, но красивые белокурые волосы были нетронуты. И среди этого разгрома оба они походили на изуродованные статуи юности и жизни.

— А вот и третий! — крикнул кто-то.

Раньше мы его не заметили, он висел в воздухе,

у стены, зацепившись штанами за балку, руки его болтались. Он казался вытянувшейся тенью кровавого пятна на белой стене. Каждый новый взрыв подбрасывал его и осыпал осколками; казалось, смерть облюбовала его и обрушила на него слепые силы уничтожения.

Было что-то гнусное и горестное в этом трупе, повисшем в позе картонного паяца.

Мы слышим голос Термита.

— Ах, бедняга! — говорит он и выходит из-под спасительного прикрытия.

— С ума ты сошел! — кричат ему. — Ведь он уже помер!

Рядом стояла лестница. Термит схватил ее, поволок к развалинам, на которые ежеминутно обрушивался град осколков.

— Термит! — крикнул лейтенант. — Не смейте туда ходить! Ни к чему!

— Господин лейтенант, я хозяин своей шкуры, — ответил Термит, не останавливаясь, не оборачиваясь.

Он приставил лестницу, влез, отцепил труп.

Вокруг него о штукатурку били волны оглушительных взрывов и белые молнии. Он ловко спустился с телом, положил его на землю — оно так и осталось там, согнутым, — побежал к нам

и наскочил на капитана, который видел всю эту сцену.

— Ну, друг мой! — сказал ему капитан. — Говорят, вы анархист. Но я вижу, что вы храбрец, а это уже добрая половина француза.

И он протянул ему руку. Термит пожал ее, делая вид, что не очень польщен такой честью.

Вернувшись к нам, он сказал, запустив пятерню в свою лохматую бороду:

— Парень-то… ведь вот глупость! Сам не знаю почему, я подумал о его матери.

На него смотрели с уважением: во-первых, он влез туда, во-вторых, выбрался живым и невредимым, несмотря на стальной град. Не было среди нас ни одного, кто пламенно не желал бы так же смело и удачно сделать то, что он сделал. Но решительно никто не мог понять этого странного солдата.

Бомбардировка стихла.

— Кончено! — решили все.

На обратном пути Термита окружили. Один спросил за всех:

— Так, значит, ты анархист?

— Нет, — сказал Термит. — Я интернационалист, оттого-то я и пошел добровольцем.

— А-а!

Термит пытается объяснить свою мысль:

— Понимаешь, я против всякой войны.

— Против всякой? Война не всегда плоха. Бывают оборонительные войны.

— Нет, — снова сказал Термит. — Есть только одна война — наступательная. Не будь войны наступательной, не было бы и войны оборонительной.

— А-а!

Продолжаем говорить, вяло, равнодушно, лишь для того, чтобы говорить; мы идем ненадежными улицами, под небом, порой темневшим от тучи обломков и пыли, полным грозных неожиданностей.

— А не молодчики ли вроде тебя помешали Франции подготовиться к войне?

— Молодчиков вроде меня еще очень мало, чтобы помешать чему бы то ни было, а будь их побольше, не было бы войны.

— Ты бы не нам это говорил, а бошам да еще кое-кому.

— Всему миру, — говорит Термит. — Оттого-то я и стал интернационалистом.

Термит юркнул куда-то, а его собеседник сказал, разводя руками:

— Ну, что ж! Этот парень лучше нас.

Мало-помалу к Термиту стали обращаться с разными вопросами, наивность которых вызывала у меня улыбку, а порой и раздражение. Так, на днях его спросили:

— Ну, а вот вся эта стрельба — что это? Подготовка к наступлению?

Но он знал не больше других.

XII. Тени

В назначенный день нас не послали в окопы. Вечер, затем ночь… Все то же. На пятый день утром мы сидели в конце улицы возле пробитой и наспех заделанной стены дома. Мы томились от неопределенности и безделья. Один из товарищей сказал:

— Может, мы так и останемся здесь до конца войны.

Другие покачали головой, но все же эта узенькая улица, с которой мы не расстались в назначенный по предписанию день, показалась нам в ту минуту похожей на улицы в нашем прошлом.

Неподалеку от того места, где мы коротали часы, роясь в пачках листового табака с колючими остовами корешков, помещался госпиталь. Мы видели, как в низкую дверь вошли солдаты, истощенные, грязные; у всех был тупой, безразличный взгляд нищих; среди них выделялся чистеньким новым мундиром сопровождавший их капрал.

Приемный покой посещали почти всегда одни и те же люди. Многие солдаты считают вопросом чести никогда не заявлять о болезни, и за

этим упорством скрывается бессознательный, но глубокий героизм. Другие не так выносливы, они охотно являются в мрачное помещение медицинского пункта и простаивают в очереди к полковому врачу. Среди этих людей, которые проходят перед ним хмурые, как осенние вечера, попадаются настоящие человеческие развалины.

Приемный покой помещался в комнате нижнего этажа; мебель была сдвинута в угол. Из открытого окна доносился голос врача, и, вытянувшись, можно было разглядеть за столом и его самого, в пенсне и с галунами. Перед ним стоял какой-нибудь бедняга, полуголый, с кепи в руке, с курткой, перекинутой через плечо, или в спущенных штанах. Сквозь облик солдата проступал горестный образ человека. Каждый пытался разжалобить, показывая свои набухшие багровые вены, руку в обрывке грязного бинта, разъедаемую какой-нибудь упорной раной, чахоточную грудь с выступающими ребрами. Врач был прекрасный человек и, видимо, хороший медик. Но теперь он едва бросал рассеянный взгляд на обнаженные язвы, и до нас долетал его однообразный вердикт:

— Здоров. Годен в строй. Консультация без

наказания.

«Консультации», попросту возвращавшие солдата в строй, следовали одна за другой. Никто не был освобожден от окопов, и никто не смел протестовать. Один только раз повысился хриплый и жалобный голос какого-то солдата, натягивавшего свои лохмотья. Врач поднял голову, взглянул на него, что-то добродушно сказал, затем голос его стал вдруг серьезным:

— Что ж делать, голубчик, я не могу тебя освободить. Мне даны инструкции. Потерпи. Ведь ты еще в силах.

И одна за другой на улицу выходили уродливые фигуры, едва передвигая ноги, опираясь друг на друга, точно скованные вместе, и бормотали:

— Ничего не поделаешь. Ничего.

Хворый Мелюсон, длинноносый, с красными пятнами на скулах, сидел рядом с нами, бездельниками, и утро, казалось, составляло нам компанию. Мелюсон не пошел на осмотр, но сказал:

— Нынче еще сойдет; но завтра я забастую. Завтра…

Никто не обратил внимания на слова Мелюсона. Кто-то возле нас сказал:

— А ведь эти инструкции врачу — скверный

признак.

* * *

В то же утро на перекличке командир, уткнувшись носом в бумагу, сказал: «По приказу высшего командования...» И стал перечислять скороговоркой имена солдат из другого полка нашей бригады, расстрелянных за неповиновение. Список был длинный. Когда его начали зачитывать, пробежал глухой ропот. Но по мере того как называли имена, по мере того как мертвые толпой обступали нас, мы замолкали; от этого соприкосновения с призраками казненных повеяло ужасом, и все опустили головы.

То же самое повторилось и в следующие дни. После одной переклички командир, редко появлявшийся у нас, собрал на пустыре четыре роты при оружии. Он говорил, что на всех фронтах положение необычайно благоприятно для нас и решительная победа не за горами. Пообещал: «Скоро будете дома», и впервые улыбнулся нам. Он сказал:

— Друзья мои, я не знаю, что будет, но в случае необходимости рассчитываю на вас. Как всегда, исполняйте свой долг и молчите. Ведь это так просто: молчать и действовать!

Ряды разомкнулись, солдаты стали расходиться. Вернувшись на место стоянки, мы узнали, что капитан проверяет патроны и запасной провиант. Едва успели поесть, Мажора возмутился и стал жаловаться Термиту, который охотно его выслушивал:

— Все это штучки проклятого капитанишки. Мы настоящие рабы!

Сказав это, он погрозил кулаком в сторону мэрии.

Но Термит пожал плечами, ехидно взглянул на него и сказал:

— Дурацкие твои слова, вот что! Да разве этот офицеришка и все эти дергунчики сами выдумывают приказы? Они просто-напросто разозлоченные автоматы, не такие грошовые, как ты, но все же автоматы. Если ты хочешь уничтожить дисциплину, уничтожь войну, простофиля; это легче, чем сделать ее приятной для солдата.

Мажора был озадачен, да и другие тоже. А я подивился, с каким искусством антимилитарист ухитрялся давать уклончивые ответы, и всегда при этом казался правым.

В следующие дни нас изводили маршировками и учением, все это делалось для того, чтобы офицеры могли прибрать к рукам солдат. Осо-

бенно изматывали нас учебные атаки. Помню, как-то вечером мы брали штурмом лесистый холм. Мы проваливались в ямы, увязали в грязи, продирались сквозь колючий кустарник. Вернувшись с ученья, солдаты падали рядом со своими мешками и, не в силах даже поесть, засыпали тяжелым сном.

Среди ночи, когда все спали как убитые, за стеной вдруг раздался крик:

— Тревога! В ружье!

Сонные люди оторопело мигали слипающимися глазами. Внезапное пробуждение казалось кошмарным сном. Но уже в раскрытую настежь дверь потянуло холодом, по улице забегали связисты, капралы уже зажигали свечи и поднимали нас окриком, и мы, — кто сидя, кто на корточках, — собрали наконец свои вещи, встали. Ноги подкашивались, сердце щемило. Мы вышли и, дрожа от холода, построились на темной улице.

Перекличка, приказы и контрприказы, затем скомандовали: «Вперед!» — и мы вышли с нашей стоянки такие же измученные, какими пришли. И двинулись неизвестно куда.

Сначала шли привычным путем. Это была все та же дорога, и мы спускались по тем же широким, черным кручам.

Мы дошли до разрушенного стекольного завода, затем до каменоломни. Рассвет окрашивал ее жидкой мутью и подчеркивал ее предельное запустение. Усталость тормозила и делала вялым наше движение. Лица были бледные, суровые и точно затянутые сеткой. Со всех сторон, меж сумерками неба и ночью земли, нас подгоняли крики: «Вперед!» И все труднее было отрываться от места привала.

Наш полк не единственный шагал в этих краях. Сумеречная даль была полна. Полями, вокруг каменоломни, непрерывно, без конца шли люди, и ноги их, как плуги, вспахивали и бороздили землю. Чувствовалось, что мрак населен толпами и эти толпы идут во все четыре стороны неизвестного. Затем глинистые, бесплодные трупы полей, изрезанных несметными колеями, пошли под уклон. Человеческие туманы под пеплом тусклого рассвета спустились по кручам. С гребня холма мне виден был весь полк, низвергавшийся в пучины. Как и в тот далекий вечер, я почувствовал величие и грозную силу толпы, силу, которая сметает все преграды, но все же подчиняется каким-то непреложным законам.

Остановились, передохнули. И даже у края мрачной бездны кто-то из солдат, забавы ради,

подстрекал Термита на разговор о милитаризме и антимилитаризме. Люди обступили этого маленького, тщедушного человечка, размахивающего руками, и я видел, как сквозь скорбную маску усталости на потемневших лицах проступала улыбка. И снова надо было идти.

До сих пор мы проходили здесь только в темноте, и теперь, глядя на эти места, не узнавали их. С тропинки, по которой мы гуськом спускались к траншее, впервые перед нами открылась пустыня, по которой мы шагали столько раз.

Бескрайны лагуны равнин. Широкие болотистые луга с засыпанными прудами и островками туманных деревьев казались лишь отражением белесого неба, затянутого грязными обликами. Беловатые, похожие на ледяные заторы насыпи обрисовывали ползучую, извилистую линию окопов, откуда их постепенно набросали лопатами. Эти рельефы, эти каналы тянулись сложной и бесконечной сетью, вблизи испятнанной телами и обломками, вдали — сиротливой, точно на какой-то мертвой планете. Видны были, куда глаз хватал, колья заграждений, четкие или сливающиеся в одну линию, бугры и чернильные кляксы прикрытий. Кое-где в окопах виднелись черные полосы, словно стены между стен; полосы эти

перемещались: то шли работники разрушения. На севере вздымался островок, ощетинившийся голыми деревьями, как морской берег мачтами. Небо громыхало, но моросил дождь, и даже молнии были серыми над этой размокшей пустыней, где целый полк терялся, точно один человек.

Мы вступили на равнину, исчезли в траншее. Открытое пространство пересекал окоп, но он был неглубокий. Под свист пуль, срезавших гребень насыпи, нам приходилось ползти на животе по вязкому дну. В узких проходах груз наш застревал, и мы гребли руками, как пловцы, и ползли дальше под смертоносным небом. На секунду от тоски и напряжения остановилось сердце, и мне почудилось, словно в кошмаре, что надо мною смыкается могильная теснота этого рва. Наконец пытка кончилась, мы поднялись, с трудом осилив мешки. Последние ракеты кровавым северным сиянием блуждали в небе. Огненные зарницы приковывали взгляды, столбы черного дыма вздымались, как кипарисы. Со всех сторон, впереди, позади слышалось ужасающее самоубийство снарядов.

* * *

Шли под землей до вечера. Время от времени подтягивали мешок и кулаком поправляли кепи, сползавшее на потный лоб: упади оно на землю, поднять его было бы невозможно под шестерней этой машины на полном ходу; и снова мы вступали в борьбу с пространством. Рука, сжимавшая ружейный ремень, перекинутый через плечо, отекла, и согнутый локоть ныл.

Монотонным припевом доносились до меня жалобы Мелюсона, твердившего, что дальше он не пойдет, но он все же шел, и когда свисток возвещал привал, он натыкался на товарища, шагавшего впереди него.

Человеческая масса безмолвствовала. И величие этой немоты, это покорное гнетущее шествие раздражали унтер-офицера Маркасена: он жаждал воодушевить нас. Он тормошил нас, подстегивал, подталкивал нашу цепь в тесной траншее, прижимаясь на поворотах к стене, чтобы пропустить мимо себя свой взвод. Но ведь он был без мешка.

Сквозь тяжелый глухой топот, сквозь ласковую истому дремоты слышался металлический голос Маркасена; он отчитывал то одного, то другого:

— Где ты слыхал, свинья, что патриотизм может существовать без ненависти? Что ж, ты думаешь, можно любить свою страну и не чувствовать ненависти к другим странам?

Кто-то в шутку заговорил о милитаризме — никто, кроме Термита, который не шел в счет, не принимал этого слова всерьез. Маркасен отчаянно завизжал:

— Милитаризм французский и милитаризм прусский не одно и то же, потому что один французский, а другой — прусский.

Но чувствовалось, что все эти споры обескураживают его и утомляют. Он тотчас же мрачно замолк.

Остановились для сторожевой службы в местности, где мы никогда не были, и, верно, поэтому она показалась нам хуже других. Пришлось рассыпаться поодиночке и всю ночь бегать по открытой траншее, спасаясь от ныряющих сверху снарядов. Эта ночь была сплошным грохотом, а мы были рассеяны среди черных луж и землистых декораций — не призраков ли? Утром пошли дальше, ослепленные и черные, как ночь. В головной колонне кричали: «Вперед!» Мы напрягали последние силы, спешили, и наша промокшая, окоченевшая толпа шла под сводами

туч, что рушились и загорались, шла жертвой судьбы, имени которой подыскать не было времени и которая давала лишь чувствовать свою силу, как бог.

Мокрая равнина — мы видели ее через выемки в бруствере, — казалось, полыхала от края и до края, а небо было лишь гигантским и безотрадным дымом земли.

Днем, далеко от этого места, скомандовали: «Стой!» — и тяжкий гул шагов вздыбился и смолк. В траншею мы ввалились с грузом за плечами, когда другой отряд оттуда уходил; из этой канавы видна была железнодорожная насыпь. Амбразура бойницы — как рама, и в ней — домики, лачуги, сады с развороченной землей, похоронившей цветы и траву, огороды, замаскированные частоколом, развалины каменных стен с красноречивыми обрывками афиш, уголок, сохранивший следы искусственного мира человеческих дел и обмана. Железнодорожная насыпь была близко, и в сети проволочных заграждений, отделявших нас от полотна дороги, как мухи, запутались трупы.

Дожди сгноили их, время разрушило. В неестественных позах, голова с кулачок, болтались они на проволоке. Часами не отводили мы глаз от

этой страны, огражденной колючей изгородью и населенной людьми, не касавшимися земли. Один был виден особенно отчетливо, он покачивался на ветру, как щит, насквозь пробитый сотнями пуль, и там, где было сердце, зияла дыра. Другой призрак, совсем близко от нас, должно быть, давно истлел, и сберегала его только одежда. И когда вечерняя тень начала подавлять нас своим величием, поднялся ветер; ветер встряхнул мумию, и она рассыпалась трухой перегноя и пыли. И на том месте, где был человек, пространство потемнело, взъерошилось, и вихрь разметал останки солдата и похоронил их в небе.

К концу дня пронзительный свист пуль усилился. Свист этот хлестал, сверлил нас. Предосторожности, которые мы принимали, наблюдая за окрестностью, подстерегавшей нас, явно раздражали Маркасена. Он что-то замышлял. Вдруг он решился и победоносно крикнул:

— Смотрите!

Он взобрался на бруствер, выпрямился, в слепом безрассудстве, с простодушием апостола, который показывает людям пример и отдает им свое сердце; он погрозил кулаком в пространство и крикнул:

— Смерть бошам!

Он соскочил с насыпи, еще возбужденный порывом самопожертвования и веры.

— Это уж лишнее, — ворчали солдаты в траншее; они остолбенели: редкое зрелище — живой человек среди белого дня стоит, неизвестно зачем, на бруствере, на линии огня. И эта отвага была непонятна им, но восхищала.

— Лишнее? Так вот же!

Маркасен снова вскочил на насыпь, вытянулся, худой, длинный, как жердь, и, подняв руки, закричал:

— Я верю только в славу Франции!

Ничего другого для него уже не существовало: он весь был убеждение. Едва успев крикнуть эти слова в невидимый ураган, он раскинул руки, вычертив крест в синеве неба, перекувырнулся и грузно свалился в траншею. Он упал на живот. Мы окружили его. Он вздрогнул, перевернулся на спину; руки его вяло дергались, глаза закатились. Вокруг него расплывалось кровавое пятно, и мы отступили, чтобы наша грубая обувь не коснулась его крови.

— Он умер, как идиот, — сказал Марга сдавленным голосом. — А хорошо, черт возьми!

Он снял кепи, неуклюже поклонился и стоял с опущенной головой.

— На смерть пойти ради идеи… Это хорошо, — пробормотал Видам.

— Хорошо! Хорошо! — слышались голоса.

И слова эти падали, как лепестки, на тело убитого солдата.

— А где его кепи? Он дорожил им, — жалобно спросил его ординарец Обо, оглядываясь по сторонам.

— Наверху, понятно. Я поищу, — сказал Термит.

И чудак пошел на поиски реликвии. Он тоже спокойно поднялся на бруствер, но пригнулся. Мы видели, как он, щуплый, проворный, точно обезьяна, обшаривал землю на страшном гребне. Наконец нашел кепи, спрыгнул в траншею. Все его бородатое лицо, глаза светились улыбкой, и медная бляха позвякивала на мохнатой руке.

Тело подняли. Двое понесли его. Третий шел следом и нес кепи. Кто-то сказал: «Для него война кончилась!» И в то время, когда мертвого несли в тыл, нас снова собрали, и мы снова пустились в путь, к неизвестному. Но чем ближе мы подходили, тем дальше все отступало назад, даже события.

* * *

Блуждали по окопам пять дней, шесть дней, почти без сна. Стояли часами, ночью, днем, выжидая, когда освободятся где-то ходы сообщения. Без конца отступали, и снова нас гнали вперед. Охраняли траншеи, приткнувшись в каком-нибудь зловещем открытом углу, в черной тьме или под огнем. Мы были обречены созерцать одни и те же бездны.

Две ночи надрывались, восстанавливая старые окопы третьей линии, накладывали заплаты на заплаты; исправили длинный остов подгнивших и черных креплений; прочистили пересохшую канаву, забитую отбросами, объедками, обрывками истлевшей одежды и военной амуниции, обломками оружия, — нечто вроде свалки городского и лесного хлама — грязной, эпически грязной, грязной до бесконечности. Ночью работали, днем прятались. А когда нас будили, уже угасала мутная вечерняя заря: вечная ночь нависала над землей.

Но едва унылый рассвет начинал разгонять тьму, мы бросали работу и один за другим зарывались в норы. Лишь отголосок гула проникал в эти глубины, но земля содрогалась, как при

землетрясении. Мы видели друг друга, только закуривая трубку. Все были в полном снаряжении, готовые выступить в любую минуту; запрещено было снимать тяжелую, гремящую цепь патронных сумок.

Я слышал, как кто-то сказал:

— В нашей стране поля, дороги, море, каких нет нигде.

И во мраке пещеры, похожей на пещеру первобытных людей, я видел руку, которая жила созерцанием этих полей и моря, пыталась изобразить их и удержать; или я видел в кольце мутного света четырех солдат, игравших в манилью, и карты, казалось, приобщали их к частице прошлой жизни; или я видел, как Марга размахивал социалистической газетой, выпавшей из кармана Термита, и покатывался со смеху, глядя на испестрившие ее пробелы. А Мажора клял жизнь, то и дело прикладывался к фляге и тянул, пока дух не захватывало; с его усов стекали капли, а он говорил, что для него вино единственное средство вырваться из этой клетки. Затем сон убивал жесты, слова, мысли. Я твердил про себя одну и ту же фразу, стараясь вникнуть в ее смысл, а сон одолевал меня, первобытный сон, такой тягостный, такой глубокий, что казалось, кроме

сна на земле не существует ничего и что наши действия — лишь зыбь на поверхности сна, который неизменно возвращается, наполняя тело человеческое ночною тьмой.

Вперед! Эту тьму вырывают из нас по частям. Тела, одурманенные ласковым ядом сна, признаниями и призраками, вздрагивают, разгибаются. Выбравшись из норы, из спертого воздуха подземелья, спотыкаясь, выходишь в ледяное пространство, бескрайное пространство, где нет никаких запахов. Во время коротких остановок, таких коротких, что кажется, будто люди просто запнулись, опираешься на насыпь, бросаешься на нее. Обнимешь землю, — ведь только ее и можешь обнять!

Затем движение снова подхватывает нас. Ритмом мерных толчков, напряжением каждого шага, стесненным дыханием оно все больше сковывает нас и внедряется в нас. Оно принуждает отдаваться в голове, звучать во всем теле негромкое слово: «Вперед!» — дольше неумолчных воплей бомбардировки. Оно принуждает нас делать скачки к востоку и к северу, скачки протяжением в целые дни и ночи. Оно превращает нас в цепь, которая движется с лязгом стали, — с механическим позвякиванием ружья, штыка,

патронов и фляги, поблескивающей на почерневшей амуниции, как болт. Колеса, шестерни, машина. Видишь, как жизнь и реальность вещей колотятся друг о друга, изнашиваются и выковываются.

Мы знали, что идем к какой-то трагедии, известной начальникам; но главная трагедия была в том, чтобы дойти.

* * *

Нас перебрасывают на другой участок. Расстаемся с окопами, выходим на поверхность земли. Мы стоим на склоне высокой горы, она скрывает неприятеля и нас прячет от него.

В тот вечер, когда мы вышли из окопов, земля была океаном тумана, в котором плавали плоские равнины с призраками деревьев, и весь мир колыхался в этом тумане, и мы в нем плыли. Сырая мгла превращала холод в нечто материальное, и от его прикосновения нас бросало в леденящий озноб. Какое-то зловоние подкрадывалось к нам, окружало нас, и порой ряды белесых крестов на нашем долгом пути внятно говорили о смерти.

То была десятая ночь, и эта ночь, завершившая прежние ночи, казалась длиннее всех. Дали ухали, рычали, грохотали, внезапно обрисовывали в

саванах тумана гребень холма, и при вспышках света я видел спину солдата, шагавшего впереди меня. Я не отрываясь смотрел в эту спину, видел овчинную куртку, пояс, ремни, которые врезались в тело, подсумки, набитые патронами, штык и кирку, сдвинутые назад, круглые сумки, винтовку в чехле, тяжелый, высоко подтянутый мешок, — чтобы легче было пробираться в узких ходах, одеяло, подстилку, полотнище палатки, сложенное гармоникой, и поверх всего этого — котелок, побрякивающий над головой, как заунывный колокол. Какую громоздкую, грузную и мощную массу представляет солдат в полном снаряжении, если смотреть на него вблизи и смотреть только на него!

Однажды — приказ ли был ошибочный, либо его не поняли — рота сбилась с шагу, ее оттеснили назад, ряды рассыпались, и люди бестолково топтались на склоне горы. Человек пятьдесят — все, как один, в овчинных куртках — растерянно бегали взад и вперед, а вокруг этого сборища безвестных, темных, жалких существ метались унтеры и, ругаясь, выстраивали ряды. Порядок восстановился, и в дымчатых и голубоватых шлейфах, тянувшихся от ракет, я снова увидел, как под темным длинным телом роты закачались

маятники шагов.

* * *

Ночью ро́здали водку.

При свете фонаря, поблескивая, задрожали, задвигались фляги. Возлияние это вызвало на минуту ощущение животной радости и подъема. Терпкая жидкость пробудила скрытые инстинкты, наделила нас воинственной выправкой и заставила сжать винтовку в победоносной жажде убийства.

Но все же ночь оказалась сильнее мечты. Богиня, разгорячившая наши головы и руки, вскоре покинула нас, и хмель славы ничему не послужил. И даже воспоминание об этом переполняло сердце горечью.

— Ты видел, здесь нет окопов? — ворчали люди.

— Почему же здесь нет окопов? — спросил какой-то придира. — Стало быть, шкуру солдата ни во что не ставят?

— Болван! — крикнул капрал. — Зачем тебе окопы сзади, когда они есть впереди. Болван!

* * *

— Стой!

При свете прожектора перед нами проходил штаб дивизии. Казалось, по черной долине шла процессия принцев, покинувших свой подземный дворец. На обшлагах, на рукавах, вокруг шеи мерцало и фосфоресцировало золото галунов, значков и шитья; золотые нимбы украшали головы этих блистательных призраков.

Ослепительное видение подхлестнуло и властно разбудило нас, как разбудило ночь.

Солдат оттеснили на край оползавшей крутизны, чтобы освободить дорогу, и, столпившись, они смотрели из мрака. Важные особы одна за другой попадали под пыльное опахало солнца и загорались светом на протяжении нескольких шагов. В темноте человеческие тени несмело, полушепотом говорили о тех, что проходили, как факелы.

Первыми шли, расчищая дорогу штабу, ротные и батальонные офицеры. Этих знали. Из мрака раздавались простодушные замечания, похвалы и проклятия: одни офицеры — заботливые, смекалистые, другие — пьяницы либо негодяи.

— Этот подводил солдат под расстрел!

— За этого душу отдать не жалко.

— Пехотного офицера, если он делает все, что от него требуется, непременно ухлопают, — говорит Пеликан.

— А если нет, так это случайность.

— В ротных офицерах есть и черное и белое. В общем, вот что я тебе скажу: они тоже люди. А это уже твое счастье, — к хорошему попадешь в руки или к плохому. Ничего не поделаешь. Дело случая.

— Тем хуже для нас.

Солдат, сказавший это, бледно улыбнулся, попав в полосу света, падавшего от начальников. На его лице была написана покорность, и я вспомнил улыбку, подмеченную мною когда-то на лицах скромных ремесленников. Те, что меня окружают, думают: «Так приказано», — и не заглядывают в будущее; безликие, они притаились во мраке невидимой черной толпой.

Затем шли офицеры, о которых не говорили, потому что их не знали. Эти незнакомые начальники занимали солдат больше, чем знакомые. Проходили все более и более важные персоны, на кепи их красовались все более широкие галуны. И вот тени смолкли. Похвалы и порицания, адресованные тем, кого видели в деле, теряли здесь

смысл, и все будничное отступало. Эти просто ослепляли.

Суеверное поклонение это вызвало у меня улыбку. Но вот появился дивизионный генерал; он шел один, как священная особа: аксельбанты, молнии, галуны его свиты поблескивали на почтительном расстоянии. И мне почудилось, что передо мной предстал рок: воля этого человека. Непроизвольный страх перед ним ослепил меня.

— Мешок на спину. Вперед!

Снова взвалили мешок, тяжестью и формой подобный ярму; с каждой минутой он все больнее давит на плечи. И снова пошли. Полчища наши покрыли огромное пространство, под нашими ногами дрожали каменистые склоны. Я низко опустил голову, но не слышал своих шагов — так сливались они с другими. И я упорно твердил, что надо преклоняться перед разумной силой, приводящей в движение всю эту несметную массу, перед силой, которая говорит или приказывает говорить: «Вперед!», или: «Так надо!», или: «Тебе этого не понять!» — перед силой, бросившей целый мир, который мы представляем, в такой головокружительный вихрь, что мы даже не замечаем, куда он нас несет, в какие бездны низвергает, невидимые нам, потому что это

— бездны. Нам нужны руководители, которые знают то, чего мы не знаем.

* * *

Усталость росла, превышала наши силы, и казалось, что тела наши разбухают с каждым шагом! Затем перестали думать об усталости. Забыли о ней, как забыли число дней и даже названия дней. Еще один шаг, еще один шаг — и так все время.

Несчастный солдат-пехотинец, осужденный на вечную ходьбу. Вечный Жид! Вот идет он единицей математической четырехзначной шеренги или в цепи по окопам, квадратный, обвешанный железом, одинокий-одинокий. Вот идет он рядом с другими, сгорбившись, почти падая ничком, волоча ноги, натыкаясь на трупы. Медленно, изо дня в день, ранит его тягучесть времени, бесконечная повторность движений, огромность событий. Его давит тяжесть собственных костей и мышц, человеческий вес. Привал на десять минут — солдат валится на землю.

«Не успеешь поспать!» — «Не беда», — говорит он и блаженно засыпает.

* * *

И вдруг мы узнаем, что ничего не будет! Наша роль кончена, и мы возвратимся на отдых. Слух облетел всех. Однажды вечером сказали: «Мы идем назад», — хотя шли мы все прямо, и неизвестно было, идем мы вперед или назад.

В печи для обжигания извести, мимо которой мы проходим, горит огарок свечи, и при этом скудном свете видны четыре человека. Вблизи можно разглядеть, что здесь солдат стережет трех пленных. Эти неприятельские солдаты в зеленоватых и красных отрепьях вызывают в нас сознание нашей силы и уверенность в победе. Несколько голосов на ходу окликают их. Они испуганы, отупели, подпирают кулаками щеки, и от этого лица их принимают форму уродливых треугольников. Иногда под ударом резкого вопроса они как будто приподымают голову и неловко пытаются ответить.

— Что он сказал, вон тот? — спрашивают сержанта Мюллера.

— Говорит: война не по их вине, виновато начальство.

— Скотина! — бурчит Марга.

Мы поднялись на холм, спускаемся по другому его склону. Петляя, сползаем вниз к адским огням, вспыхивающим вдали. У подошвы холма останавливаемся. Час совсем не поздний, но кажется, что уже вечер: день ненастный, небо затянуто грязными облаками химических газов и все в каких-то черных точках. К войне присоединяется гроза. Я услышал, как, заглушая яростный рев снарядов, прокатились мирные раскаты грома.

Нас выстраивают в траншее. Перед нами от самого горизонта спускается отлого широкая ложбина; буря раскачивает кусты и деревья, треплет их темные космы. Порывами дует холодный ветер, набухший дождем, а по траектории снарядов — реки и лавины грохота. Тяжелое бурое небо мечет железо и дымное пламя; внизу, в желтом просвете, как виселицы, торчат остовы деревьев. Земля разрыта. Пласт почвы местами сорван: обнажены недра мира, красноватые и меловые. Всюду, куда ни взглянешь, — бойня.

Ничего не остается, как сесть и прислониться поудобнее. Можно передохнуть, пожить еще немного, посидеть спокойно; ведь мы наделены способностью не видеть ни прошлого, ни будущего.

XIII. Куда идешь ты?

Но скоро всех нас охватывает дрожь.

— Слышишь? Перестали… Слышишь?

Свист пуль прекратился, орудийные залпы смолкли. Затишье это фантастично. И чем дальше, тем сильнее оно переполняет нас какой-то животной тревогой. Мы жили в вечном шуме; затаившись, он встряхивает, пробуждает нас и может довести до сумасшествия.

И вот мы топчемся, всматриваемся и вдруг замечаем, что вся котловина шевелится.

— Что это?

Протираем веки, таращим глаза. Без всяких предосторожностей высовываем головы над обвалившейся насыпью. Спрашиваем: «Видишь?»

Сомнений нет: тень ползет всюду, куда ни взглянешь. В далях нет ни одной точки, где тень не ползет.

Кто-то говорит наконец:

— Ну, понятно, это боши!

Тогда замечаем на отлогом скате равнины необозримые географические контуры: армия движется на нас!

* * *

Внезапно обрушивается страшный треск — и позади и впереди — и замыкает нас, темных, на дне огненной долины. Огненный ураган освещает человеческую равнину, ползущую по равнине земной. Он освещает ее на всем пространстве, несметную: первые колонны, выступившие вперед, чуть колышутся и образуют на белой, как мел, земле ряды точек и линий, напоминающие какие-то письмена.

Эта живая громада приводит нас в оцепенение и превращает в немых. Затем мы начинаем понимать, что все это множество, исток которого скрыт от нас, все оно находится под ужасающим обстрелом наших семидесятипятимиллиметровых орудий; снаряды пролетают над нашими головами и падают где-то далеко от нас. Гигантские столбы дыма, рассекая ряды лилипутов, скачут, как боги ада. Молнии взрывов вонзаются в это распластанное по земле тело. Оно сплющено и горит клочьями, и толпы ползут пылающим костром.

Не останавливаясь, они ползут на нас. Горизонт выбрасывает все новые и новые волны. Слышно, как нарастает рассеянный негромкий

гул. Издали вся эта неистовая иллюминация, все эти глухие взрывы напоминают праздничный город вечером.

Ничего не поделаешь против мощи этого натиска, против его численной мощи. Слышишь орудийные залпы и понимаешь их ничтожество. Вся эта жизнь топит огонь и сталь и снова смыкается, как море.

— Открыть огонь!

Мы стреляем ожесточенно. Но у нас мало патронов. С тех пор как мы находимся на первой линии, никто не проверяет наше снаряжение, и многие из нас, особенно за последние дни, побросали часть груза, терзавшего бока и живот и сдиравшего кожу. Те, что подходят, не стреляют, и поверх неопалимой купины нашей линии видно, как все новые волны набегают с востока. Они идут тесными рядами, как будто они спаяны друг с другом. Они не прибегают к помощи ружей. Единственное их оружие — несметность. Они идут похоронить нас под своими ногами.

Вдруг порыв ветра доносит запах эфира. Дивизии, наступающие на нас, пьяны! Мы убеждаемся в этом, говорим об этом с ужасом.

— Они горят, они горят! — кричит, срываясь, голос человека, который стоит рядом со мной,

плечи его вздрагивают при каждом выстреле его ружья.

Они приближаются. Огненная рампа наших выстрелов освещает их снизу; уже можно различить силуэты солдат. Они идут стройно и в то же время нестройно. Видишь деревянные фигуры, угадываешь окаменелые лица; ружья висят на ремнях, руки пусты. Они идут, как лунатики, способные лишь передвигать ноги, и будто поют. Орудия продолжают сокрушать в гуще неприятельскою нашествия живые стены и здания. Четко вырисовываются силуэты: они падают, поодиночке и целыми гроздьями; и лица — как факелы.

Теперь они совсем близко, шагах в пятидесяти, они дышат нам в лицо эфиром. Мы не знаем, что делать. Патронов больше нет. Мы примкнули штыки; в уши врывается невнятный, безостановочный гул, исходящий из их глоток, и глухой рокот надвигающегося наводнения.

Сзади нас разносится крик:

— Приказ отступить!

Нагибаемся и уходим из окопов через запасные выходы. Нас немного, а казалось, нас было множество; окопы быстро пустеют, и мы подымаемся на холм, с которого недавно сюда спустились.

Подымаемся к нашим семидесятипятимиллиметровым орудиям, скрытым за гребнем холма; они еще грохочут. Подымаемся наугад, без прикрытия, неизвестными дорогами, по грязным колеям; окопов здесь нет. Во время этого невеселого восхождения мы на виду, но в нас не стреляют. Если бы стали обстреливать, всех бы перебили. Не оглядываясь, мы подымаемся медленной перебежкой, рывками, шатаясь от одышки, и нас преследует, подгоняет вой этих волн утопленников. Взбираемся по содрогающимся склонам ревущего вверху вулкана; бежим от наготы пространства под кров сумрака. Вместе с нами взбираются пустые батареи, лошади, дым, весь современный ужас. И каждый торопит отступление, и отступление торопит каждого; мы подымаемся; тяжесть тела тянет нас назад, ноги подкашиваются; мы подымаемся, согнувшись под тяжестью мешков, безропотно, как скот, и наше дыхание точно шепот, точно одно бесконечное слово.

С вершины мы видим бушующее внизу наводнение, глухо рокочущее и черное; оно захлестывает окопы, брошенные нами, и как будто уже движется дальше. Но глаза наши и уши зачарованы двумя батареями, между которыми

мы проходим: они стреляют в несметные толпы наступающих, и каждый выстрел вонзается в жизнь. Никогда еще зрелище действующей артиллерии не казалось мне таким патетическим. Орудия лают и ревут невыносимым ревом, стволы скользят взад и вперед по лафетам, подскакивают от толчков фантастической четкости и силы.

В выемках, где укрыты батареи, в центре фосфоресцирующего веера, мелькают силуэты артиллеристов, заряжающих орудия. Рыжее зарево обжигает им руки и грудь, когда они поворачивают замок. Словно ожесточенные рабочие у доменных печей: стволы орудий раскалены от выстрелов, сталь светится в темноте.

Вот уже несколько минут стреляют реже. Точно устали. Единичные залпы… Батареи замолкли, и вслед за погасшими взрывами гаснет сталь.

В бездне молчания раздается жалоба артиллериста:

— Нет снарядов!

Сумеречная тень снова водворяется в небе, пустом теперь. Холодно. Кругом — траур, таинственный и страшный. В полумраке я слышу стоны, прерывистое дыхание, вижу тюки, спины, руки, вытирающие пот со лба, шалые глаза.

Снова приказ отступить; голос выдает волнение, он пугает нас, как крик отчаяния. Мы растерянно топчемся на месте, затем сходим вниз, идем туда, откуда пришли, и толпа тяжело ползет по своим следам и приближается еще на один шаг к бездне.

* * *

Спустившись по склону холма, попадаем в ложбину: перед нами снова холм. Останавливаемся передохнуть, готовые ринуться дальше при первых вестниках наводнения. Мы стоим среди луга. Ни траншей, ни прикрытий. Удивляемся, что не видно подкрепления. Идем среди какой-то пустоты…

Садимся где придется. И вдруг один из солдат, почти уткнувшись лбом в колени, говорит, высказывая общую мысль:

— Мы не виноваты.

Здесь же стоит лейтенант. Он подходит к солдату, кладет руку ему на плечо и ласково говорит:

— Нет, друзья, вы не виноваты.

В эту минуту к нам присоединяется несколько отделений пехоты; говорят: «Мы из арьергарда». Кто-то добавляет, что наверху две наши батареи уже взяты. Раздается свисток.

— Шагом марш!

Отступление продолжается.

Нас всего два батальона; впереди и позади нас ни одного французского солдата. Незнакомые соседи: разношерстные, отбившиеся от своих частей, растерянные солдаты инженерных войск и артиллеристы; незнакомые соседи, они подходят и уходят, словно рождаются и словно умирают.

На одну минуту в приказах высшего командования происходит какая-то путаница.

Неизвестно откуда появившийся штабной офицер бежит навстречу нам, затем останавливается и драматическим голосом кричит:

— Несчастные, что вы делаете? Что вы делаете? Вперед, во имя Франции! Заклинаю вас, вернитесь!

Солдаты ошеломлены и ничего не понимают: не будь приказа, им и в голову не пришло бы отступить.

— В чем дело? Отступили потому, что нам приказали отступить.

Мы повинуемся. Готовы идти обратно. Часть отряда уже пошла, зовут товарищей:

— Эй, вы там! Выходит, что надо поворачивать оглобли!

Но приказ отступить повторяется, и уже ре-

шительно; повинуемся, ругая брехунов, и поток уносит с собой офицера, отдавшего контрприказ.

Шаг наш ускоряется, становится стремительным, растерянным. Нас увлекает какой-то порыв, которому мы подчиняемся, не зная, откуда он исходит. Начинаем подыматься на другой холм, в темноте он кажется высокой горой.

Добравшись до первых уступов, мы слышим вокруг себя, совсем близко, страшное пощелкиванье и протяжный мягкий свист — точно косят траву. Издали с неба несется равномерное постукивание, и тот, кто в эту ужасающую грозу на секунду оборачивается, видит, как по горизонтали зажигаются гребни облаков. Понимаем, что на вершине, брошенной нами, неприятель установил пулеметы и что место, где мы находимся, рассекают клинки пуль. Вокруг меня солдаты летят кубарем, скатываются вниз с проклятиями, стонами, криками. Цепляются друг за друга, сталкиваются, словно в драке.

Уцелевшие достигают наконец вершины холма. В эту минуту лейтенант кричит звонким, пронзительным голосом:

— Прощай, моя рота!

Видим, как он падает и как его подхватывают те, что еще живы.

Поднялись на вершину, спускаемся на несколько шагов по другому склону и ложимся на безмолвную землю.

Кто-то спрашивает:

— А лейтенант?

— Умер.

— Эх, — говорит солдат, — как он с нами простился!

Отдышались немного. Думаем лишь об одном: наконец мы спаслись и наконец лежим.

Пиротехники пускают ракеты, чтобы обследовать позиции, с которых мы ушли. Некоторые из нас решаются взглянуть в ту сторону. На вершине первого холма, там, где стояли наши орудия, длинные ослепительные зонды обнаруживают ползучую волнистую линию. Слышны удары заступов и деревянных молотков.

Они приостановили наступление. Они укрепляются там. Роют окопы и устанавливают проволочные заграждения — когда-нибудь придется их брать. Мы смотрим, растянувшись на животе, или стоя на коленях, или сидя; пустые ружья валяются рядом с нами.

Марга размышляет, покачивая головой, и говорит:

— Будь там проволочные заграждения, они бы

их задержали. Но у нас не было проволочных заграждений.

— А пулеметы? Куда же девались наши пулеметы?

Ясно, что здесь какая-то огромная оплошность командования. Неосмотрительность: подкреплений не было, не подумали о подкреплениях. Мало было орудий, мало снарядов для заградительного огня; мы видели своими глазами, как обе батареи прекратили стрельбу в разгаре боя: никто не подумал о снарядах. Во всей этой огромной зоне не было защитных укреплений, не было траншей: никто не подумал о траншеях.

Это ясно даже простым солдатам.

— Что ж делать! — говорит один из нас. — Виновато начальство.

Так говорят, и так еще говорили бы, если бы нас не подняла и не увлекла суета нового перехода и не поглотили заботы более близкие и более важные.

* * *

Не знаем, где мы.

Шли всю ночь. Усталость еще больше сгибает наши спины, еще больший мрак гудит в голове. Шли ложем долины. Набрели на окопы, потом на

людей. Насыпи в ходах сообщения обваливаются и оседают, земля сквозь мешки сочится грязью, почерневшие подпорки гниют, точно куски трупа; эти ходы выводят в широкие тупики, там — суета: командные посты или перевязочные пункты. Около полуночи, в золотой полоске приоткрытой двери убежища, мы увидели офицеров, сидевших за белым столом: скатерть или карта. Возглас: «Счастливцы!» Ротные офицеры подвергаются опасности, как и мы, но только во время атак и смены, мы же страдаем все время. Они не знают ни дежурств у бойницы, ни мешка, ни нарядов. То, что длительнее, — тяжелее.

И снова потянулись рыхлые земляные стены, зияющие пещеры. Занимается утро, тягучее и тесное, как наша судьба. В отверстия землянок видны люди: одни спят, другие тут же на коленях наскоро пишут письма, быть может прощальные. Подходим к перекрестку, забитому людьми. Смрад перехватывает мне горло: не канава ли это, куда улицы, вырытые в земле, выбрасывают свои нечистоты? Нет: длинный ряд носилок; они живые, на каждых носилках разлагается мертвец. Тут же серая полотняная палатка; полотно хлопает, как флаг, и на этой трепещущей стене заря освещает кровавый крест.

* * *

Иногда, с какой-нибудь высоты, я вижу вдали геометрические чертежи, на расстоянии такие неясные, такие пустынные, что я не знаю, наша ли это страна или чужая: видишь и не знаешь. Взгляд устает смотреть. Не видишь, не можешь населить мир. Общее у всех нас — лишь вечерние глаза да ночная душа.

И вечно, вечно в окопах между зыбких, как волны, стен, пахнущих хлором, серой бесконечной цепью, один за другим идут солдаты. Они идут быстро, как только могут, как будто стены вот-вот сомкнутся над ними. Они идут сгорбившись, как будто вечно идут в гору, черные, с огромными мешками, которые они без отдыха перетаскивают с места на место, точно скалы ада. Минута за минутой заполняем мы место подобных нам, что пронеслись здесь, как ветер, или остались недвижимы, как земля.

Располагаемся в воронке отдохнуть. Привалив мешки к бугристым стенам, прислоняемся к ним спиной. Но, ощупав бугры, догадываемся, что это колени, локти, головы. В один из дней убитые были погребены здесь, затем дни, сменяясь, постепенно выкапывают их из земли. В том месте,

где я присел и откуда неуклюже шарахнулся со всем своим железным скарбом, торчит нога зарытого в земле тела. Пытаемся ее отодвинуть; она вросла крепко: чтобы ее убрать, пришлось бы сломать этот стальной труп. Я смотрю на обломок мертвого тела. Мысль не повинуется воле, она прикована к этому мертвецу, на которого давит мир, — она проникает сквозь землю и создает ему форму. Его лицо… Какое выражение застыло и искажает в черных глубинах земли вершину этого праха? А-а! Я вижу то, что скрыто полями битв. Всюду, в широком слое земли, — грязные, черные руки и ноги, застывшие жесты; страшный эскиз, барельеф из глины, вздымающийся перед глазами. Это врата ада; да, это вход в недра земли.

* * *

Доро́гой я спал на ходу. Теперь мне кажется, будто я спрятан в этом низком, тесном погребе, замурован в покатый свод. Я весь — немой крик тела: спать! Я уже начинаю дремать, мной уже овладевают сны, как вдруг входит человек. Он без оружия, он обшаривает пол белой яркой точкой электрического фонарика. Это вестовой полковника. Разыскав нашего унтера, он говорит:

— Давай шестерых в наряд.

Туша унтера приподымается, зевает.

— Бютуар, Видам, Марга, Термит, Полэн, Ремюс! — командует он и снова засыпает.

Выбираемся из погреба и, более медленно, — из дремоты. Мы на деревенской улице. Но едва мы выходим под открытое небо, нас встречает и начинает преследовать ослепительный рев, и вдруг мы видим друг друга. Бросаемся, как свора собак, в первую дверь, в первую зияющую нору, кто-то кричит: «Ловушка, измена!»

Возвращаемся из наряда. Я ложусь в своем углу, еще более отяжелевший и разбитый, еще глубже погребенный на дне всего. Я начинаю засыпать, уходить в забытье; чей-то голос, убаюкивая меня, напрасно доискивается, которые сутки мы в походе, и перечисляет названия ночей: четверг, пятница, суббота… И снова появляется человек с ослепительным фонарем, требует смену, и я снова иду, вместе с другими. И третий раз он появляется. Ночь словно подстерегает нас: едва мы выходим, она посылает громовой ливень, разрушающий пространства; он разъединяет нас, затем мы снова стягиваемся, сходимся в темноте. По двое перетаскиваем бревна, затем груды мешков, известковая пыль слепит глаза, и носильщики покачиваются, как мачты.

И, наконец, в последний раз, самое ужасное: проволока, коричневая проволока. Каждому из нас дали по обручу из колючей смотанной проволоки огромному, в рост человека, и весом килограммов в тридцать. Когда несешь это эластичное колесо, оно вытягивается, как животное, и при малейшем движении пляшет, мнет плечо и бьет по ногам. Мое колесо пытается вцепиться в меня, остановить, повалить на землю. С этим грузом, одушевленным мучительной тяжестью и силой варварских движений, я пробираюсь развалинами вокзала, по камням и бревнам. Карабкаемся по откосу, земля скользит и убегает из-под ног, и мы из сил выбиваемся, тащим, подталкиваем нашу строптивую и остервенелую ношу. Невозможно добраться до этой ускользающей вышки. Все же добираемся.

Я человек нормальный: я люблю жизнь, и у меня есть чувство долга. Но в ту минуту я всем сердцем призывал пулю, которая избавила бы меня от жизни.

Наконец-то у нас в руках нет ничего. Возвращаемся в состоянии какого-то зловещего блаженства. Помню, на обратном пути мой сосед сказал мне или кому-то другому:

— Листы волнистого железа еще хуже.

На рассвете приходится приостановить работы, хотя саперы сокрушаются, глядя на груды материалов, бесполезно загромождающих склады. Спим от шести до семи утра. С последними следами ночи покидаем погреб, слепые, как совы.

— А кофе? — спрашивает кто-то.

Нет кофе: ни поваров, ни кофе. Один ответ:

— Вперед!

Суровым, пасмурным, омерзительным утром перед нами на окраинах деревни возникают заброшенные, лишенные всякого ухода сады. Земля обгорела, залита водой, всюду валяются, словно кости, камни разрушенных оград. Там, где были деревья, в грязных лужах отражаются и меркнут желтоватые и полосатые тени солдат. Война грязнит поля, как лица и души.

Наша рота, серая, посиневшая, бредет, изнемогая от усталости. Останавливаемся перед сараем.

— Кто устал, может оставить мешок, — советует наш новый сержант. — На обратном пути возьмете.

— Если разрешают оставить мешки, значит, идем в атаку, — говорит один из бывалых солдат.

Он говорит, но сам тоже не знает.

Один за другим на угольно-черный пол сарая,

как тела, падают мешки. Кое-кто все же предпочитает оставить мешок при себе: всегда найдется исключение из правила.

Вперед! Все тот же крик снова приводит нас в движение. Вперед! Встать! Шагом марш! Преодолейте ваше непокорное, ленивое тело, вставайте от сна, как из гроба, возрождайтесь снова и снова, отдайте все, что вы можете отдать. Вперед, вперед! Так надо. Это высшее благо, высший закон. Неизвестно, что это такое. Известен только шаг, который ты делаешь, и даже днем ты идешь в ночи. Да и нельзя ничего поделать. Покончено со всеми мыслями, желаниями, которыми ты жил в те времена, когда ты был самим собой. Невозможно ускользнуть от событий, от колес машины, невозможно избавиться от усталости, от холода, омерзения и боли. Вперед! Так надо! Мировой ураган гонит вперед этих страшных слепцов, нащупывающих дорогу ружьями.

* * *

Прошли лес, затем снова зарылись в землю. В ходу сообщения попали под продольный обстрел. Страшно идти ярким днем по этим канавам, перпендикулярным линиям окопов, — ты на виду с одного конца до другого. Солдаты падают под

пулями. И там, где они падают, толчея, короткая заминка. Остальные, задержанные на миг преградой, иногда еще живой, смотрят, насупившись, в разверстую смертоносную даль и говорят:

— Ну, что ж, пойдем, если надо. Пошли!

Они отдают свои тела. Свои теплые тела, к которым резкий холод и ветер и невидимая смерть прикасаются, словно женские руки. В этом соприкосновении живых существ и сил природы есть что-то плотское, девственное и священное.

* * *

Меня назначили в караул на слуховой пост. Пришлось пробираться туда почти ползком, низкой, сплошь загроможденной подземной галереей. Сначала я старался не наступать на эти сплошные кочки, но все же пришлось, и я решился. Мои ноги дрожали, ступая по твердой и податливой массе, заполнившей этот подкоп.

У выемки слухового отверстия — здесь когда-то была дорога, а может быть, и площадь — срубили дерево, и пень торчал столбиком, как стела. Зрелище это на минуту приковало взгляд, и, ослабев от физического изнурения, я был растроган этим подобием могилы дерева.

Через два часа я вернулся в свой взвод, в траншею. В ней мы и сидим. Канонада усиливается. Проходит утро, затем день. Наступает вечер.

Нас вводят в просторное прикрытие. Видимо, где-то идет атака. Время от времени мы поглядываем в отверстие между мешками с землей, скользкими и такими прогнившими, что кажется — они были когда-то живыми существами. Смотрим на перекресток, зимний и унылый. Смотрим на небо, чтобы определить направление бури. Невозможно что-либо понять.

Орудийные залпы ослепляют, вскоре они застилают горизонт. В воздухе дикая пляска клинков. Стальные глыбы раскалываются над нашими головами. При разрывах снарядов во все стороны разлетаются бледные лучи, а небо черное, как перед грозой. От края и до края видимого мира шевелятся, оседают, расплываются поля, и беспредельность зыблется, как море. Гигантские взрывы на востоке, шквал на юге; в зените — стаи шрапнели, похожие на вулканы в воздухе.

Ползут часы, ползут клубы дыма, еще больше омрачая этот ад. Вдвоем, втроем отваживаемся мы прижаться лицом к отверстию в насыпи, чтобы почувствовать землю и посмотреть. Но ничего, ничего не видно в этой пустыне, дождливой

и мглистой, где ветер гонит и соединяет небесные облака и облака, поднимающиеся от земли.

Затем, под косым дождем, из серого густого тумана появляется человек, один-единственный человек; с винтовкой наперевес он идет, как призрак.

Смотрим на это бесформенное существо, на этот одушевленный предмет, покидающий наши линии, — он идет туда.

Виден только он один. Быть может, слева от него тень другого.

Не понимаем, затем понимаем. Это край штурмовой волны.

О чем думает сейчас этот человек? Он идет под дождем, одиноко, словно отверженный, идет вперед, в пространство, превращенное в завывающую машину! Освещенное огнепадом молний, передо мной промелькнуло его странное монашеское лицо; затем я разглядел: лицо обыкновенного человека, закутанного в шарф.

— Этот парень из сто пятидесятого, а не из сто двадцать девятого, — бормочет рядом со мной чей-то голос. Ничего не известно, кроме того, что это край штурмовой волны.

Когда он исчезает в вихре, издали появляется другой, затем третий. Они идут розно, поодиноч-

ке, как посланцы смерти, убийцы и сами жертвы. Полы шинелей развеваются. А мы, в нашем темном углу, мы жмемся друг к другу, толкаемся, приподымаемся на ослабевших мускулах, чтобы видеть и эту пустоту, и этих героических солдат, разбросанных в пространстве.

Возвращаемся в прикрытие, погруженное в тьму. Голос мотоциклиста настолько все заполняет, что кажется, даже видишь поблескивание его черного кожаного панциря. Он описывает кутежи в Бордо, в сентябре месяце, когда там находилось правительство; рассказывает о празднествах, оргиях, мотовстве, и в голосе несчастного, вызывающего видение пышных пиршеств, звучит почти гордость.

Но все замолкает от страшного грохота. Убежище наше дрожит и трещит. Это заградительный огонь, и те, кого мы только что видели, должны пройти сквозь него и ринуться в атаку… Молния ударила у самого входа в прикрытие, она метнула в нас свое зарево, и на лицах можно было прочесть предельный ужас и убеждение, что все кончено. Вот лицо, — оно искажено гримасой преступника, захваченного врасплох, вот другое, с вытаращенными, дикими, растерянными глазами, а там горемычная голова мотается, трясется

от мучительной жажды сна; четвертый, сидя на корточках, закрыл лицо руками, съежился в темный комок. При свете этого молниеносного дня, сошедшего в недра земли, чтобы воскресить наши тени, мы видим друг друга стоящими, сидящими, распятыми.

Когда орудие, как будто переводя дух, на минуту смолкло, голос у входа позвал нас:

— Вперед!

— Ну, теперь уж нам крышка, — ворчат солдаты.

Они говорят это, но они в этом не уверены. Выходим в хаос грохота и пламени. Целы ли траншеи?

— Надо бы примкнуть штыки! — кричит сержант. — Примкнуть штыки!

Едва успеваю примкнуть оружие к оружию; бегу в бурю, чтобы догнать остальных. Вокруг нас вырастают огненные колонны. Сама смерть хлещет по нашим лицам земляными вихрями, воплями, дыханием, красными метлами. Ясно, что мы уже почти мертвецы, но понять это нет времени. Ураган, словно крылья за плечами, несет нас вперед, волочит и наталкивает на препятствия. Захватывает дыхание, мысль убита в отупевшей голове. И все же, минутами, каждый

видит все, как оно есть.

— Нагнись! Стать на колени!

Останавливаемся, падаем на колени. Ракета буравит нас своим нестерпимым взглядом.

При свете ракеты мы видим, в нескольких шагах от нас, зияющую канаву. Мы едва не свалились в нее. Она недвижима, пуста… Нет, там люди… Нет, она пуста. Она заполнена шеренгой убитых дозорных. Солдаты выбирались, видимо, из-под земли, когда упал снаряд, и все были ранены в лицо. Белый резкий луч освещает этих мертвецов. Осколками снаряда искалечены лбы и виски, сорваны мышечные покровы, и на чудовищном поле сражения из канавы торчат изуродованные, страшные головы: одна вся разбита, обезображена; другая похожа на мотыгу — половину черепа снесло. В конце шеренги разрушение не так ужасно, только глаза полопались. Мраморные головы смотрят черными впадинами пустых глазниц. Глубокие темные раны на лицах напоминают гроты и воронки, развороченные ямы, пятна на луне; и грязь звездами прилипла вокруг этих ран.

Мы перепрыгнули через эту канаву. Идем быстрее, не обращая уже внимания на ракеты, которые, среди нас, незнающих, говорят: «Я знаю»

и «Я хочу». Все изменилось — привычки, законы: идем открытым полем, даже не согнувшись. И вдруг я понимаю то, что от нас до последней минуты скрывали: мы идем в атаку!

Да, контратака завязалась независимо от нас… Я стараюсь не отставать от других. Лишь бы меня не убили, как других. А если убьют? Ну, что же…

Я иду вперед. Веки мои открыты, но я ничего не вижу; смутные образы запечатлеваются в моих остановившихся зрачках. Вокруг меня какие-то странные потоки людей, крики сталкиваются или падают. Выстрелы отбрасывают на фантастические темные насыпи пляшущие тени и молнии. Земля и небо кишат видениями, — и тянется золотое кружево проволочных заграждений.

Впереди меня человек; голова его обмотана белой тряпкой.

Он идет мне навстречу. Он пришел из другой страны. Он искал меня, а я искал его. Он совсем близко; вдруг он бросается на меня. Что это? Он остановился, топчется в полосе дыма и как будто улыбается.

Страх, что он убьет меня или ускользнет, — я сам не знаю что, заставляет меня отчаянно напрячь силы. Раскинув руки, выронившие ружье,

я хватаю его. Пальцы мои вонзаются в его плечо, в затылок, нащупывая с бешеной радостью вечную форму человеческого скелета. Я сжимаю его шею изо всех сил, сверх сил, и оба мы дрожим моей дрожью.

Он не так быстро, как я, догадался бросить ружье. Он опускается, падает. Я цепляюсь за него, как будто в нем спасение. Он хрипит, слова застревают у него в горле. Он шевелит рукой, на ней всего три пальца, и на облачном небе они четко вырисовываются, как вилы.

В ту минуту, когда он, обороняясь от смерти, барахтался в моих руках, удар грома поразил его в спину. Руки его обвисли, голова запрокинулась, но тело его упало на меня, подобно снаряду, подобно сверхчеловеческому дыханию.

Я свалился на землю; я снова встаю, пытаясь прийти в себя, и чувствую легкий удар в поясницу. Что это? Я иду вперед, все вперед, с пустыми руками. Я вижу, как другие проходят, проходят мимо меня. А я не двигаюсь. Вдруг я падаю на землю.

XIV. Развалины

Я падаю на колени, затем ложусь. Я делаю то, что делают столько других.

Я один на земле, лицом в грязи, и не могу шевельнуться. Вокруг меня падают ужасающие снаряды, они точно что-то нащупывают. Хриплый ураган не знает, что я здесь, но все же нащупывает место, где я лежу.

Затем бой отдаляется, и это отдаление невыносимо. Невзирая на все мои заклинания, перестрелка затихает, я один, дует ветер, я наг.

Я останусь пригвожденным к земле. Погружая руки в лужу, хватаясь за камни, я с трудом поворачиваю голову: я хочу увидеть, какая чудовищная тяжесть легла мне на спину. Но нет: давит меня только бесконечность.

Взгляды мои ползут по земле. Передо мною скопище каких-то предметов, они не то вцепились друг в друга, не то обнимаются. Я смотрю на эти черные пятна, которые копируют людей, их позы и, как холмы, заслоняют горизонт. Человеческое множество, павшее здесь, замыкает меня в своих развалинах; я замурован среди трупов, как рань-

ше был замурован среди живых.

Я не чувствую боли. Я невыразимо спокоен. Я пьян спокойствием. Они мертвы, все эти люди? Неизвестно. Мертвые — призраки живых, но и живые призраки мертвых. Что-то теплое лижет мне руку. Черная глыба надо мной вздрагивает. Это раненая лошадь с развороченным брюхом; ее кровь течет на мою руку, как будто лижет ее. Я закрываю глаза и, завороженный, вспоминаю один праздник в прошлом, когда среди оперной декорации леса я видел последний акт охоты и оленя-детеныша, истекавшего кровью на потеху всем.

Чей-то голос подле меня.

Я не могу поднять глаз к высотам отвесных облаков, к пасти неба, но, конечно, луна выглянула из-за туч. В ее молочном свете трупы блестят, как надгробные плиты.

Я пытаюсь найти тихий голос. Два тела лежат одно на другом. Тот, что внизу, гигантского роста; руки его откинуты назад буйным жестом; прямые волосы разметались и окружают его голову растерзанным венцом. Глаза у него мутные, серо-зеленого цвета, как два плевка; и неподвижность его страшнее самого страшного сна. Другой под звездным лучом весь искрится серебристым зо-

лотом, в точках и линиях.

Это он говорит вполголоса, без устали. Но, хотя он говорит тихо, как друг, говорит он бессвязно. Он сумасшедший! Я покинут им! Все равно, поползу сначала к нему. Я смотрю на него. Я прищуриваюсь, чтобы лучше видеть. На нем проклятый мундир!

Я вздрогнул, в когти согнулись пальцы, я потянулся к этой сверкающей добыче и хочу схватить ее. Но я не могу дотянуться: у меня точно нет тела. Он смотрит на меня. Он узнал мой мундир, если его еще можно узнать, и мое кепи, если оно на мне. Быть может, он признал неизгладимую печать расы, отметившую мои черты. Да, он признал этот знак на моем лице. Отблеск ненависти точно стер его лицо, белевшее так близко от моего. Две души напряглись в отчаянном усилии ринуться друг на друга. Но мы не можем ни уничтожить друг друга, ни разойтись.

Видит ли он меня? Не знаю. Лихорадка, как ветер, треплет его; он захлебывается кровью. Он мечется, и я вижу смятые крылья его черного плаща.

Совсем близко крикнули раненые, а вдалеке — за рядами кольев, сломанных, исковерканных, как будто обезглавленных, — они точно поют.

Он не сознает, что говорит. Даже не сознает, что говорит он, что от него исходит мысль. В ночи, то раздираемой в клочья, то вдруг озаряемой снопами молний, бред его впивается в мой мозг. Он бормочет, что логика таит страшные узы и что все между собой связано. Он произносит фразы, в которых, как взметнувшийся пламень, вспыхивают разумные слова, понятные в гимнах: Библия, история, величие, безумие. Затем он кричит:

— В мире нет ничего, кроме славы Империи!

Крик этот сотрясает неподвижные глыбы. И я, как эхо, кричу:

— Нет ничего, кроме славы Франции!

Крикнул ли я, столкнулись ли наши голоса в этой страшной ночи — не знаю.

Голова его обнажена. Он подносит руку к лицу, и на лице остается след. У него птичий профиль, тонкая шея выступает из мехового воротника плаща. На груди блестят какие-то погремушки. Мне начинает казаться, что все вокруг — и мозг, и легкие угрюмых пленников, у которых мы в плену, — погружается глубже в безмолвие и человека этого слушают.

Раненый бредит, какая-то тайна его мучит: он говорит о массах, только о массах. Массы преследуют его. «Люди, люди!» — бормочет он.

Несколько вздохов, невольных признаний, до ужаса нежных, ласкают землю. По временам небо рушится, и молниеносный удар света каждый раз изменяет очертания равнины. И снова мрак и раскаты, и снова эхо овладевает всем.

— Люди! Люди!

— Что люди? — камнем падает чей-то насмешливый вопрос.

— Пусть они не пробуждаются, — глухим, настойчивым голосом заявляет поблескивающая тень.

— Будь спокоен, — говорит иронический голос; в эту минуту он внушает мне ужас.

Несколько тел приподнимаются на руках — в темноте я вижу их по тяжким стонам — и озираются.

Тень говорит сама с собой, твердит безумные слова:

— Пусть они не пробуждаются.

Голос напротив меня срывается, захлебывается от смеха, набухает хрипом и все твердит:

— Будь спокоен!

На земле, на том полушарии, где сейчас ночь, проносятся кометы с пылающей сердцевиной, смешивая в одно свои крики, похожие на плач совы и на свист паровоза. Вернет ли когда-нибудь

небо бескрайный мир солнца и незапятнанную лазурь!

В голове проясняется. Я начинаю думать о себе. Умираю я или нет? Куда я ранен? Мне удалось осмотреть, одну за другой, обе свои руки; живые руки: я ничего не разглядел под их липкой чернотой. Какое странное состояние лежать парализованным и не знать, что с тобой. Я с трудом могу лишь взглянуть на этот край мира, куда я упал.

Вдруг — толчок: лошадь, к которой я прислонился, пошевелилась. Я вижу: она повернула свою большую голову, уныло жует траву. Эту лошадь, с сединой в гриве, я видел недавно в полку, она подымалась на дыбы и ржала, как настоящий боевой конь, а нынче, раненная, она нема, как немы подлинно несчастные. Еще раз я вспомнил молодого оленя с перерезанным горлом на ковре свежего пурпура, и волнение, которого я не пережил в тот далекий день, сжало мне горло. Животное сама чистота. Эта лошадь — точно безмерно большой ребенок. И если бы надо было создать образ невинности, надо было бы изобразить не ребенка, а лошадь. Голова моя клонится, я слышу свой стон и лицом ощущаю землю.

Вдруг судорожное движение лошади опрокинуло меня и придвинуло еще ближе к человеку в бреду. Он вытянулся, лежит на спине. Лицо его словно зеркало, обращенное к бледной луне, и на шее в мерзостной наготе зияет рана. Я чувствую, что он умирает. Голос его теперь словно шелест крыльев… Он говорит что-то непонятное об испанском художнике, о застывших портретах во дворцах: Эскуриал, Испания, Европа… Вдруг он неистово отбрасывает людей, живших в прошлом.

— Прочь, мечтатели! — говорит он громче грозового неба, где языки пламени темны, как кровь, громче низвергающихся молний и неистового ветра, громче самой ночи, которая заживо нас похоронила и все же продолжает терзать.

Он пришел в неистовство, и во мраке душа его обнажается, как обнажено его горло.

— Истина революционна, — задыхается ночной голос. — Прочь, глашатаи истины; прочь те, что вносят смятение в темные умы, те, что сеют слова и сеют бурю; изобретатели, прочь! Они несут царство человеческое!.. Но массы ненавидят их, издеваются над ними!

Он смеется, словно слышит смех масс.

И взрыв другого конвульсивного смеха поды-

мается вокруг нас из недр черной равнины и нарастает до бесконечности.

— Что он болтает?

— Оставь его. Ты же видишь, он сам не знает, что говорит.

— Эхма!

Я так близко от него, что лишь один слышу его голос, а он почти беззвучно кричит:

— Я полагаюсь на слепоту народа.

И слова эти ранят меня в самое сердце, и ужас расширяет зрачки — я вдруг понял: он сознает, что говорит! Образ воплощается: принц, которого я видел когда-то, в кошмаре жизни, принц, который любил кровь и охоту… Невдалеке шрапнель сотрясает тьму, взрывает и облаком подбрасывает землю, и кажется, что взрыв — это тоже чей-то голос.

Глубокая ночь. Руки мои утонули в крови; затылок, щеки — под черным, кровавым дождем.

Вереница погребальных туч в серебряной бахроме набегает еще раз, и снова луна серебрит болото, засосавшее солдат, и одевает тела в саван.

И вдруг, разбуженная неизвестно чем, по равнине прокатывается волна жалоб:

— Помогите! Помогите!

— Что же нас бросили? Что же это!

И руки чуть шевелятся, как на дне моря.

И под гул голосов, среди этой неукрощенной и не остывшей еще равнины, скованной холодом смерти, орлиный профиль запрокидывается. Плащ трепыхается. Большая хищная птица отлетает.

Уши полны криков; не крики ли приветствий? Они вызывают видение пехоты, эскадронов кавалерии; всадники скачут по сонным улицам, вертикально, к солнцу. Вдали я слышу глухой шум прибоя о рифы: монотонное постукивание. Что это, — вколачивают колья заграждений? Новая граница страны мертвых, воздвигнутая за одну ночь?.. Нет, это не стук — это все еще сочится кровь лошади. Кровь падает на меня, капля за каплей, с точностью часового механизма, как будто лошадь впитала в себя всю кровь, пролитую на этой равнине, все мучения раненых. Да, видимо, истина во всех отношениях глубже, чем думаешь! Сочувствуешь страданию животных, потому что их понимаешь вполне.

Люди, люди!.. Всюду растерзанный профиль равнины. На фоне горизонта, то черно-лилового, то черно-красного, равнина величественна!

XV. Явление

Я лежу все на том же месте. Открываю глаза. Я спал? Не знаю. Ровный свет. Утро или вечер? Руки дрожат. А я врос в землю, как корявый куст. Рана? Это она приковала меня к земле.

Чуть приподымаю голову; мокрые волны пространства хлещут в глаза. При бледном землистом свете, под проливным дождем, терпеливо открываю в мутных далях туманные плечи, облачные углы локтей, ломаные линии рук. Я вижу окостенелый хоровод, в который я замкнут; тела лежат либо ничком, лицом в грязи, либо на спине, и под дождем лица, словно чаши, полные слез.

Совсем близко от меня, припав к земле, на меня смотрит чье-то лицо. Оно выглядывает из-за кочки, точно зверек. Волосы торчат, как гвозди. Нос треугольная дыра, и в ней белеет кусочек мрамора человеческого. Губ нет, и два ряда зубов напоминают литеры! На синеватой коже щек — плесень бороды. Вместо тела — грязь и камни; лицо — лишь красноречивое зеркало.

Вокруг почерневшие от воды шинели прикрывают и одевают землю.

Я ищу, я ищу…

Я окоченел от холода. Холод исходит от мягкой глыбы, на которую я опираюсь. Локоть тонет в ней — это брюхо лошади. Вытянутая нога ее наискось рассекает тесный круг, в котором замкнут мой взгляд. Животное подохло. Мне кажется, в груди у меня пустота, но сердце все-таки сжимается. То, чего я ищу, — жизнь.

Вдали небо громыхает, и каждый глухой удар отдается мне в плечо. Неподалеку тяжко ухают снаряды. Я не вижу их, но я вижу рыжий отсвет взрывов и беглую тень от их грязных туч. Вокруг меня другие тени набегают на землю, и я слышу тогда хлопанье крыльев и дикие вопли, они раздирают мозг.

* * *

Смерть не везде еще умерла. На поверхности земли есть еще точки, где шевелятся, борются и кричат; не оттого ли, что восходит солнце? Временами ветер относит приглушенные звуки фанфары. Невзирая на долгие леденящие часы, иных все еще испепеляет невидимый пожар — лихорадка. Но холод берет свое. Неподвижность вещей прокрадывается в них, и ветер сиротеет.

Голоса заглохли; взгляды припаяны к глазам. Раны не кровоточат; все изжито. Кровоточат

лишь камни да земля. Дождливым утром я вижу, как растерзанные, еще теплые трупы курятся, точно кучи навоза за деревней. Я вижу, как поднимается дыхание смерти. Хлопают орифламмы крыльев, слышен воинственный клич — вороны кружат над свежим мясом. Я вижу, как ворон выклевывает драгоценные рубины из черной оправы ноги; а там другой падает камнем, приникает к чьему-то рту, как будто рот звал его. Изредка, то здесь, то там, приподымется и снова упадет, еще безнадежнее, какой-нибудь труп. Они не будут погребены, они — точно последние люди на земле.

* * *

Кто-то стоит близко, совсем близко от меня, и я хочу видеть — кто. Опираясь локтем о раздувшийся труп лошади, я с трудом поворачиваю голову. И вдалеке вижу новое скопище людей: изваяния из бронзы под истлевшими покровами; и особенно четко вижу серую шинель, натянутую на острые колени; отлакированную кровью шинель с огромной рваной дырой, вокруг которой алеет грядка махровых карминовых цветов. Медленно приподымаю тяжелые веки, чтобы разглядеть дыру. В этом растерзанном мясе всех цветов и с

таким острым запахом, что я чувствую приторный вкус во рту, в глубине клетки с черными и ржавыми, как железные прутья, костями, я вижу что-то темное, круглое. Сердце.

И я вижу также руку, от локтя до кисти. На руке три пальца, вилы… Я узнаю это сердце. Это тот, кого я убил. Я что-то кричу этому человеку, этому сверхчеловеческому существу, распростертый перед ним в грязи, ибо я побежден и подобен ему. Я опускаю глаза и вижу — у края бездонной раны копошатся черви. Я лежу совсем близко от этой кишащей массы. Беловатые черви с острым, как жало, хвостом; они выгибаются, вытягиваются то в форме «i», то в форме «u». Абсолют неподвижности превзойден. Человеческая материя распадается ради иного назначения.

Когда этот человек был жив, я ненавидел его. Мы были чужими и созданы были для взаимоистребления. Но я гляжу на его посиневшее сердце, еще соединенное со своими красными нитями, и мне начинает казаться, что я понял ценность жизни. Я чувствую ее бессознательно, как ласку; я начинаю понимать, сколько времени, сколько воспоминаний, сколько живых существ понадобилось, чтобы создать эту судьбу. И на краю равнины, бодрствуя над ним, как сиделка, я

слышу голос, которым говорило его тело, когда оно еще чуть жило, когда мои свирепые руки сквозь мясо прощупывали его скелет, у всех у нас одинаковый. Он занял все пространство. Он значит слишком много. Как могут существовать в мире столько миров? Навязчивая мысль опустошает все.

…Этот запах туберозы, запах тления. На земле вокруг меня вороны, похожие на куриц.

Я!.. Я думаю о себе, обо всем, что есть я. Я! Мой дом, моя жизнь, и прошлое, и будущее, похожее на прошлое! И в эти минуты я чувствую, как плачет во мне, цепляясь за какое-то давнее воспоминание, трагическая и незнакомая раньше неохота умирать, потребность еще раз обогреться в дождь и холод, замкнуться в себе наперекор пространству, сохранить свою жизнь, жить. Я плакал; на щеках я чувствовал свою кровоточащую душу. Я звал на помощь, затем лежал, задыхаясь, в безутешном ожидании, сторожа даль… «Носилки!» Я кричу и не слышу себя; но если бы другие услышали!

Это было последнее усилие, и голова моя падает у края этой огромной, как мир, раны.

Ничего больше нет.

Нет, есть вон тот… Он лежал, вытянувшись,

как мертвец. Но вдруг, не раскрывая глаз, он улыбнулся. Этот, наверное, еще вернется сюда; и что-то во мне поблагодарило его за это чудо.

И был еще тот, кто умер на моих глазах. Он поднимал руку. Зарытый под другими, он жил, он звал, он видел лишь этой рукой. На пальце блестело обручальное кольцо, оно рассказало мне целую историю. Когда его рука, вздрогнув в последний раз, застыла и превратилась в мертвое растение с золотым цветком, я почувствовал горечь разлуки. Но их слишком много. Возможно ли всех оплакивать? Сколько же их на этой равнине? Сколько же их, сколько в эту минуту? Сердце наше может сразу вместить лишь одно сердце. Не хватит сил смотреть на все. Хотя говорят: «Есть и другие», — но это только слова. Тебе не узнать; тебе не узнать.

Холод и бесплодие сошли на тело земли. Ни единого движения, лишь ветер, насыщенный холодной влагой, да глухие залпы орудий вдали, да вороны, да мысли, что кружатся в моей голове.

* * *

И вот наконец они неподвижны, те, что вечно шли, те, для кого пространство было таким

необъятным! Бедные руки их, бедные ноги, бедные спины отдыхают на земле. Наконец-то они успокоились. Снаряды забрызгивают их грязью, но разрушают уже иные миры. Они же на вечном покое.

Все завершено, все кончено. Здесь, в этом тесном, как колодезь, кругу, кончился спуск по кругам в бешеные глубины ада, кончились медленные пытки, и неумолимая усталость, и бури. Мы пришли сюда, потому что нам приказали идти. Мы сделали то, что нам приказали сделать. Я думаю о том, как прост будет наш ответ на Страшном суде.

Орудийная стрельба продолжается. По-прежнему, по-прежнему свистят пули и снаряды, бьющие на много километров. Живые люди, скрытые горизонтом, составляют одно целое с машинами и ожесточенно борются с пространством. Они не видят последствий своих выстрелов. Они не знают, что творят. Тебе не узнать! Тебе не узнать!

Но если обстрел возобновился, значит, возобновился бой. Все эти сражения, рождающиеся сами собою, продолжаются до бесконечности!.. Одно-единственное сражение — этого недостаточно, это не исчерпывает, это не имеет смысла. Ничто не кончено, ничто никогда не бывает кончено.

Умирают одни только люди! Никто не понимает громадности событий, и я сам хорошо знаю, что не вполне сознаю весь тот ужас, среди которого нахожусь.

Вот и вечер, час, когда загораются выстрелы. Горизонты сумрачного дня, сумрачного вечера и огненной ночи вращаются вокруг моих останков, как вокруг оси.

Я — как засыпающие, как дети. Слабею, разомлеваю, закрываю глаза. Я вижу мой дом. Я не хочу умирать, я упрашиваю себя не умирать, открываю глаза, ищу санитаров, может быть, именно в эту минуту они вспомнили обо мне… Я вижу мой дом.

Там, наверное, собираются люди, хотят скоротать вечерок, а потом вернуться в привычную неподвижность комнат и заснуть среди вещей, не просыпающихся никогда.

Вот и Мари, и другие женщины, они готовят обед; дом теперь — это запах кухни. Я слышу голос Мари; она стоит, затем садится за стол. Я слышу, как звякнул прибор, — садясь, она задела скатерть. Затем кто-то подносит к лампе спичку, приподымает стекло, а Мари встает закрыть ставни. Она открывает окно. Она наклоняется, руки раскинуты; мгновение она стоит погруженная в

открытую ночь. Она вздрагивает моей дрожью. Рождаясь из тени, она смотрит вдаль, как и я. Глаза наши встречаются. Это истина: ночь эта ее ночь, так же как и моя, одна и та же ночь, а расстояние — ведь это не есть что-либо осязаемое или реальное; расстояние — ничто. Это полное, тесное общение — истина.

Где я? Где Мари? И даже — что она такое? Я не знаю. Я не знаю раны своего тела, могу ли я знать рану сердца?

* * *

Облака в венцах созвездий. Это огненная клетка, это серебряный и золотой ад. Звездные катаклизмы обрушивают вокруг нас гигантские стены света. Фантасмагорические дворцы грохочущих молний, с арками из ракет, возникают и исчезают в чаще бледных лучей.

Бомбардировка непрерывно зажигает в небе свои факелы — она все ближе. То здесь, то там стрелы молний вонзаются в землю, взрывают ее и пожирают всякий другой свет. Нечеловеческая армия наступает! Все дороги пространства забиты ею. Разрывается снаряд оглушительной силы, он освещает окрестность, и среди нас, защищенных лишь случаем, он ищет, чье бы тело

ему растерзать. Снаряды все падают, падают в ближайшую от нас яму… И среди земных вещей я еще раз вижу воскресшего человека. Он ползет к этой яме. Он ползет на животе, сверху белый, снизу черный. Вытянутыми руками цепляясь за землю, он ползет, длинный и плоский, как лодка; он все еще слышит окрик: «Вперед!» Он ползет к яме, он ничего не знает и ползет прямо к чудовищной ловушке ямы. Снаряд попадет в цель. Когти пространства с головокружительной быстротой вонзятся в его тело, как в спелый плод. Из какого хрупкого вещества сделан человек! У меня нет голоса крикнуть, чтобы он бежал прочь от этого места, собрав последние силы; я могу лишь раскрыть рот. Я готов преклониться перед живучестью этого человека. Ведь один он остался в живых; и, кроме спящего, которому что-то грезится, у меня никого нет.

Свист!.. Последний удар настигает его; двухцветный червь съеживается под железной пятой свиста, оборачивается, и я вижу растерянное лицо.

Но нет, не его! Удар света ослепляет меня; все поглотил свет. Я подымаюсь на воздух, плыву на какой-то непонятной волне, в непонятном световом кругу. Снаряд… Меня! И я падаю, падаю

без конца, фантастически выпадаю из этого мира, но все же успеваю представить себя в этом зигзаге молнии, подумать о своем сердце, о своих внутренностях, брошенных на ветер, услышать голос, что шепотом, издалека-издалека, твердит: Симон Полэн умер тридцати шести лет.

XVI. De profundis clamavi[19]

Я мертв. Я падаю, я лечу вниз, как подбитая птица, ослепленный светом, стиснутый тьмой. Головокружение давит на внутренности, душит и впивается в меня. Я низвергаюсь камнем в пустоту, и взгляд мой падает быстрее меня.

Я вижу: в бешеном дыхании бездн, что настигают меня, внизу брезжит берег моря. Цепляясь за свое тело, я вскользь заметил: этот призрак песчаной отмели гол, необозрим, затоплен дождем, не по-земному уныл. Сквозь пласты тумана, плотные и концентрические, создающие облака, глаза мои нащупывают воду и песок. На берегу я вижу существо, которое бродит в одиночестве, окутанное покрывалом. Женщина. Я связан с этой женщиной. Она плачет. Слезы падают на песок, где бушуют воды. И, проваливаясь в бесконечное, я протянул к ней свои тяжелые руки, страшные крылья моего падения. Она исчезает на глазах.

Долго нет ничего, и если я падаю, я этого не сознаю. Нет ничего, только невидимое время да безмерная тщетность дождя над морем.

---

[19] Примечания: 19
De profundis clamavi — из бездны взываю *(лат.)*.

* * *

Удары света… В глазах моих отблески пламени: сильный свет бьет в меня. Мне больше не за что держаться… Огонь и вода!

Вначале это борьба огня и воды. Мир, что стремительно вращается в изогнутых когтях своего пламени, и водные пространства, которые он отбрасывает облаками. Но вода наконец омрачает вихревую спираль костра и заступает его место. Под сводом густого мрака, изборожденного молниями, торжественные ливни, которые длятся сто тысяч лет. Века веков огонь и вода наступают друг на друга: огонь во весь рост, легкий, скачками; вода плоская, ползком, крадучись, расширяет свои очертания и свою поверхность. Когда вода и огонь друг друга касаются, вода ли шипит и воет или огонь? И воцаряется покой блистающей равнины, равнины неизмеримого величия. Метеор зернистых частиц застывает формами, и острова материков высечены бескрайной рукой воды.

Я больше не одинок и не покинут на древних полях битвы стихий. Возле этой скалы подобие скалы принимает форму, устремляется вверх, как огонь, и шевелится. Это первый проблеск мысли. Она отражает пространства, прошлое

и будущее, и ночью, на холме, она — пьедестал светил. Царство животное завершается двуногим существом, жалким существом, у которого есть облик и голос, которое таит внутренний мир и в котором невнятно работает сердце!.. Одно существо — одно сердце. Но сердце в оболочке первых людей бьется только для ужаса. Тот, чей образ возник на поверхности земли, кто волочит свою душу, как хаос, — различает вдали формы, подобные своей, — и он различает другого: страшный силуэт, что подстерегает, бродит, поворачивает голову-ловушку. Мужчина преследует мужчину, чтобы убить, и женщину, чтобы ранить. Кусать, чтобы пожирать, валить наземь, чтобы обнимать, — украдкой, в норе темного логова или на глубоком ложе ночи прорывается черная любовь, — жить единственно для того, чтобы защищать в какой-нибудь пещере (владеть которой — право сильного) ласкающие головни своего костра, и свои глаза, и свою грудь, и свой живот.

* * *

Великое спокойствие вокруг меня.

Там и тут собираются люди. Это стаи, человеческие стада с поводырями, в испарениях рассвета, и в их кругу — дети и женщины, они жмутся

друг к другу, как лани. Я вижу: на востоке, в безмолвии огромной фрески, расходящиеся полосы утренней зари создают сияние вокруг темных фигур двух охотников с длинными волосами, всклокоченными и спутанными; они держатся за руки, стоя на горе.

Людей связывает луч света, который теплится в каждом из них, и свет подобен свету. Он открывает, что человек одинок, слишком свободен в пространствах и, невзирая на это, обречен на несчастье, как узник, и что необходимо объединиться, чтобы быть сильным, быть спокойным, и даже для того, чтобы выжить.

Ибо люди созданы для того, чтобы прожить свою жизнь, и прожить ее всю, до конца. Сильнее стихии, напряженнее всех ужасов потребность человека продлить свое существование, овладеть днями своими и до предела их исчерпать. Это не только право, но и долг.

Общение гонит ужас и умаляет опасность. Дикий зверь нападает на одинокого человека и бежит перед содружеством людей. Вокруг огня, униженного пресмыкающегося бога, — радость тепла и убогое великолепие отсветов. В ловушке дня — лучшее распределение различных форм труда; в ловушке ночи — нежность и единообраз-

ный сон. Из деловитого оживления рождается по утрам и вечерам мягкий ропот в долине — песня оброненных одиноких слов.

Закон, устанавливающий общее благо, называется законом нравственным. Везде и всегда у нравственности лишь одна эта цель, и если бы на земле существовал только один человек, она бы не существовала. Она урезывает вожделения индивидуумов в зависимости от общих интересов. Сама по себе, она исходит от всех и каждого одновременно; она — и разум, и личное благо. Она непреложна и естественна, как и тот закон, по которому на наших глазах чудесно уживаются тьма и свет. Она так проста, что доступна каждому; и каждому ясно, что это она. Она не исходит из какого-либо идеала, всякий идеал исходит из нее.

* * *

Катаклизм мироздания снова начинается на земле. Видение мое, прекрасное, как прекрасный сон, в котором вырисовывалось в лучах восходящего солнца единство — опора спокойствия людей, — сметается кошмаром.

Но опустошение, мечущее молнии, не есть нечто хаотическое, как во времена столкновения

юных стихий и познания мира ощупью. Эти трещины в земле и эти отливы огня обнаруживают симметрию, но это не симметрия природы, она говорит о дисциплине в разнузданности и об исступлении мудрости. Она свидетельствует о мысли, о силе воли, о страдании. Людские массы, разобщенные, насыщенные кровью, устремляются друг на друга потопом. Одно видение возникает и обрушивается на меня, подбрасывая от земли, на которой я, верно, распростерт: надвигающееся наводнение. Оно захлестывает ров со всех сторон. Огонь шипит и воет в войсках, как в воде, огонь иссякает в источниках человеческих!

* * *

Мне чудится, что я — лежа, скрючившись — защищаюсь от того, что вижу перед собою, и мне чудится — меня кто-то тянет к себе; и одно мгновение я даже услышал необычайный призыв, как будто я был в ином месте.

Я ищу людей, поддержки речью, словом. Сколько, бывало, я слышал слов! Теперь я жажду только одного! Я в стране, где люди зарылись в землю. Расплющенная равнина под головокружительным небом, которое несется, населенное светилами иными, чем светила небес, затянутое

иными облаками и вдруг озаряемое светом дня, который не есть день.

Неподалеку виднеется не то гигантское человеческое тело, не то холмистые поля, расцвеченные незнакомыми цветами: труп взвода или роты. Еще ближе, у самых моих ног — мерзость черепов. Я видел раны во весь рост человека! В свежей клоаке, красной — ночью от пожаров, днем от толп, спотыкаются пьяные вороны.

Там — слуховое отверстие, через которое наблюдают за окрестностью. Их пять или шесть дозорных — пленников, погребенных во мраке этой цистерны; в отдушине — искаженное лицо, шапка перечеркнута красным, как отсветом ада, взгляд безнадежный и хищный.

Когда их спрашивают, зачем они дерутся, они говорят:

— Чтобы спасти свою родину.

Я блуждаю по ту сторону необъятного поля, где желтые лужи испещрены черными лужами (кровь пятнает даже грязь), где железный кустарник, а деревья только тень деревьев; я слышу, как стучат мои зубы. Посреди зияющего, растерзанного кладбища мертвых и живых — обширное пространство в развалинах, поверженных на землю, лунных ночью. Это не деревья, это нагро-

мождение обесцвеченных обломков, похожее на остов деревни. Другие мои — проложили своими руками и ногами ненадежные рвы и колеи бедственных дорог. Глаза их устремлены вдаль, они вглядываются, они принюхиваются.

— Зачем ты дерешься?

— Чтобы спасти свою родину.

Два ответа совпали, схожие между собою, как голоса орудий, схожие, как похоронный звон.

А я? Я в поисках, это лихорадка, это потребность, это безумие. Я мечусь, я хотел бы оторвать себя от земли и унестись в истине. Я ищу различия между теми, кто убивает друг друга, и не могу найти ничего, кроме сходства. Я не могу освободиться от сходства людей. Оно страшит меня, я пытаюсь кричать, и у меня вырываются звуки, хаотические и странные, они отдаются в неизвестности, и я их едва слышу.

Люди не носят одинаковых одежд, но каждое тело — мишень, они говорят на разных языках, но в каждом из них — человечность, исходящая из одной и той же простоты. У них одни и те же обиды, одно и то же исступление, порожденное одними и теми же причинами. Слова их похожи, как стоны, которые боль вырывает у них, похожи, как та страшная немота, которую скоро выдохнут

их израненные губы. Они похожи друг на друга, как похожи и будут похожи их раны. Они дерутся лишь потому, что поставлены лицом к лицу. Они идут, один против другого, к одной общей цели. Во мраке они убивают друг друга, потому что они подобны.

Эти две половины войны продолжают ночью и днем подстерегать издали друг друга и у своих ног рыть себе могилы. Они раздавлены границами неизмеримой глубины, ощетинившимися оружием и ловушками, взрывчатыми, непроходимыми для жизни. Они разделены всем, что разделяет — смертью и мертвецами, героизмом и ненавистью, священными огнями и черными реками, которые неустанно отбрасывают каждого из них на свои содрогающиеся острова. И несчастье без конца порождает несчастных.

В этом нет здравого смысла. Нет смысла. Я не принимаю. Я стенаю, я снова падаю.

Тот же вопрос снова овладевает мною, мучит, преследует, суровый, упрямый, колючий, как вещь. Почему? Почему? Я как воющий ветер. Я ищу, я бьюсь в бесконечном отчаянии разума и сердца. Я слушаю. Я помню все.

* * *

Прерывистый, взмахами крыльев невидимого архангела бури, дрожит и разносится раскат над головами, над массами, которые движутся в бесконечных темницах или кружат по кругу, чтобы снабдить живым мясом передовые линии.

— Вперед! Так надо! Не спрашивай!

Я вспоминаю. Я хорошо видел, и я вижу хорошо. Разум, душа, воля этих человеческих масс, поднятых и брошенных друг на друга, — не в них, а вне их!

* * *

Другие — вдали — думают и желают за них. Другие направляют их руки, и подталкивают, и тянут их; другие, те, что на расстоянии, в центре дьявольского круга, в столицах, во дворцах, держат все нити. Есть высший закон, есть над людьми движущая машина, сильнее людей. Массы — это мощь и одновременно бессилие, и я вспоминаю, и я отлично знаю, я видел это своими глазами. Война, это массы — и не они! Почему же я этого не знал, если видел?

Солдат любой страны, человек, выхваченный

наугад из людских масс, вспомни: нет минуты, когда ты был самим собою. Никогда не перестанешь ты сгибаться под суровой командой: «Так надо, так надо». Скованный в мирное время законом неустанного труда, каторгой завода или каторгой канцелярий, раб инструмента, пера, или таланта, или чего-либо другого, ты с утра до вечера бьешься в когтях работы, которая едва дает тебе возможность жить, и отдыхаешь ты только во сне.

Когда наступает война, в которую ты вовлечен, которой ты никогда не желаешь, — каковы бы ни были твоя страна и твое имя, — страшная неизбежность хватает тебя и является перед тобою без маски, хищная и запутанно-сложная.

Тебя реквизируют. Тобой овладевают угрозами, мерами, равносильными аресту, от которых ничто не может уберечь бедняка. Тебя заключают в казармы. Тебя раздевают донага и наново облекают в мундир, который тебя обезличивает; тебе на шею вешают номер. Мундир въедается тебе в шкуру; муштра тебя обтесывает и откровенно перекраивает. Вокруг тебя вырастают, тебя оцепляют чужаки, одетые блистательно. Ты узнаёшь их: это не чужаки. Значит, это карнавал, но карнавал жестокий и грозный: это новые хозяева,

и символ их неограниченной власти — золотые галуны на рукаве и кепи. Те, что рядом с тобой, сами лишь слуги других, облеченных высшей властью, — она запечатлена на их одеждах. Изо дня в день ты ведешь убогое существование, в угнетении и унижении, недоедая, недосыпая, и все твое тело, как бичами, исхлестано окриками твоих сторожей. Каждую минуту насильственно низвергают тебя в твою ограниченность, за малейшую попытку протеста тебя наказывают или убивают, по приказанию твоих хозяев. Тебе запрещено говорить, чтобы ты не сблизился с твоим братом, стоящим рядом с тобою. Вокруг тебя царит железное молчание. Твоя мысль — одна глубокая боль, дисциплина необходима для того, чтобы перековать толпу в армию, и механизированный порядок, невзирая на смутное родство, возникающее порой между тобою и твоим ближайшим начальником, тебя парализует, чтобы твое тело лучше двигалось в такт шеренге и полку, куда, уничтожив все, что ты есть, ты входишь уже подобием мертвеца.

— Они нас собирают, но они нас разъединяют! — кричит голос из прошлого.

Если некоторые и проскальзывают сквозь ячеи невода, значит, эти трусы все же люди сильные.

Они редки, невзирая на очевидность, как редки сильные. Ты, единичный человек, обыденный человек, смиренная миллиардная часть человечества, ты не бежишь ни от чего, и ты идешь до конца событий или до собственного конца.

Ты будешь раздавлен. Или ты будешь уничтожен на бойне подобными себе, потому что война — это вы сами, или ты вернешься домой калекой, страшным незнакомцем, узнать которого можно только по обрывку лица, или ты вернешься в свой уголок земного шара расслабленным или больным, сохранив лишь свою жалкую жизнь, без сил, без радости, выбитый из колеи долгим отсутствием, и ничто никогда не вернет тебе убитого понапрасну времени. Даже избранником чудесной удачи, даже уцелев при победе, ты будешь побежден. Когда ты снова впряжешься в ненасытную машину рабочих часов, в кругу своих, из которых торгаши, в одержимости наживы, успели высосать последние соки, работа станет тяжелее прежнего, потому что ты будешь расплачиваться за все неисчислимые последствия войны. Ты, населявший тюрьмы городов или овины, спеши населить неподвижность полей битв, более обширных, чем площади столиц, и если ты останешься в живых — плати! Оплачивай славу

— не твою — или разрушения, которые твоими руками произвели другие.

Вдруг — совсем близко от меня, у моего изголовья, как будто я лежу в комнате на кровати и внезапно проснулся, — из-под земли вырастает нескладная фигура. Даже в темноте видно, как она обезображена. На уровне лица тускло светится какое-то странное пятно; по спотыкающимся шагам, приглушенным черной землей, угадываешь, что обувь пуста. Он не может говорить, но протягивает тощую руку в обвисших мокрых лохмотьях, и этот обрубок руки, терзая мысль, как фальшивый аккорд, указывает на то место, где было сердце. Я вижу это сердце, скрытое в темной плоти, в черной крови живых: лишь пролитая кровь — красная. Я вижу проникновением, сердцем. Заговори он, я услышал бы те слова, которые — еще посейчас слышу — падали капля за каплей: «Ничего не поделаешь. Ничего». Я пытаюсь пошевелиться, отодвинуться. Но не могу: я скован, как в кошмаре. Если бы он не исчез сам по себе, я остался бы здесь навсегда, ослепленный его тенью. Он ничего не сказал, этот человек. Он показал себя, как вещь, он и был вещью. Он ушел. Быть может, он уничтожился; быть может, он — ушел в смерть, которая для него не более

загадочна, чем жизнь, из которой он вышел, — и я снова проваливаюсь в самого себя.

Он снова вернулся, чтобы показать мне свое лицо. Вокруг его головы теперь повязка, я узнаю этот мерзостный венец. Я снова переживаю те минуты, когда он был тесно прижат ко мне, когда я сдавил его, подставил под снаряд, когда я почувствовал под руками хруст его костей у самого моего сердца. Это он!.. Это я!.. Он не подает голоса из тех вечных бездн, где он был мне братом по немоте и неведению. Крик раскаяния, раздиравший мне горло, рвется из меня в поисках кого-то другого.

Кого?

Судьба, которая моими руками его убила, не в образе ли она человеческом?

— Короли! — говорит Термит.

— Начальство, — говорит человек, попавший в ловушку, наголо обритый германский пленный с шестиугольным лицом каторжника, зеленоватый с головы до ног.

Короли, величества, сверхчеловеки, осиянные фантастическими именами и непогрешимые, разве их всех не отменили давно? Неизвестно.

Те, которые правят, невидимы. Видно только

то, чего они хотят, и только то, что они делают с другими.

Почему же они вечно властвуют? Неизвестно. Массы не отдавались им во власть, они не знают их; они были ими узурпированы, и они в их руках. Власть их сверхъестественна. Она существует потому, что существовала. Ее объяснение, ее формула: «Так надо».

Как они овладевают руками, так овладевают и умами и насаждают веру.

— Они говорят тебе, — кричит тот, кого ни один из униженных солдат не хотел слушать, — они говорят: вот что должно запасть тебе на ум и на сердце.

Неумолимая религия их обрушилась на всех нас, и она поддерживает то, что существует, она поддерживает то, что есть.

Я слышу вдруг возле себя предсмертное бормотание, как будто я попал в шеренгу казнимых; и я снова вижу того, кто, как подстреленный ястреб, бился на земле, взбухшей от мертвецов. И слова его входят мне в душу крепче, чем раньше, когда исходили от живого, и ранят ее, как столкновение тьмы и света:

— Пусть люди не пробуждаются!

— Вера по приказу, как и все остальное, — го-

ворит унтер-офицер Маркасен; на нем красные штаны, и он мечется вдоль шеренги, подобный жрецу кровавого бога войны.

Он был прав. Он поймал цепь, когда бросал этот крик истины против истины. Каждый человек — некая значимая величина, но невежество изолирует, покорность разъединяет. Каждый бедняк несет в себе века заброшенности и рабства. Он беззащитная добыча ненависти и ослепления.

Человек из народа, которого я ищу, барахтаясь в путанице, как в грязи, рабочий, преодолевающий непосильную работу и никогда от нее не освобождающийся, современный раб, я вижу его, как будто он стоит передо мною. Он выходит из своей конуры в глубине двора. На нем четырехугольная шапочка. Серебристая осыпь старости запуталась в его отросшей бороде. Он ворчит и курит свою закопченную, посапывающую трубку. Он качает головой и говорит с добродушной и важной улыбкой:

— Война всегда была, значит, она всегда будет.

И люди вокруг него качают головой и думают то же самое в жалком, одиноком колодце своей души. Они под гипнозом убеждения, вбитого им в голову, будто положение вещей никогда уже не может измениться. Они, как придорожные

столбы и камни мостовой, различны, но сцементированы: они думают, что жизнь вселенной — нечто вроде огромного гранитного сооружения, и они, во мраке, пассивно повинуются каждому, кто повелевает, и не смотрят в будущее, хотя у них есть дети. И я вспоминаю, как легко было отдаваться душой и телом полной покорности судьбе. А ведь есть еще губительный алкоголь и дурманящее вино.

Невидимы короли, видимо лишь отражение их на толпе.

Ослепление, ослепление, — я в его власти. Я размечтался, ослепленный.

Губы мои благоговейно повторяют отрывок из книги, которую читал один юноша, а я, еще ребенок, слушал его, полусонный, облокотившись на стол в кухне.

«Роланд[20] не умер. Великолепный предок, воин из воинов, на протяжении веков скачет он верхом по горам и холмам Франции Каролин-

[20] Примечания: 20

Роланд (ум. в 778 г.) — французский маркграф (правитель пограничной области, марки), погибший в битве с басками в Ронсевальском ущелье. Сказания о Роланде легли в основу французского героического эпоса — «Песнь о Роланде».

гов[21] и Капетов[22]. Как символ победы и славы, он, в своем пышном шлеме и с мечом, возникает перед населением в годы великих народных бедствий. Он, как воинствующий архангел, появляется и застывает на горизонте, полыхающем пожарами, или на черном пепелище войны или чумы, согбенный, над крылатой гривой своего коня, призрачный и покачивающийся, словно земля пьяна. Его видят всюду, и всюду он воскрешает былые идеалы и былую доблесть. Видят его в Австрии, во времена нескончаемых распрей между папой и императором, и при загадочных волнениях скифов и арабов, и цветных племен, цивилизации которых подымаются и падают, как волны, вокруг Средиземного моря. Великий Роланд не умер, не умрет никогда».

Юноша, прочитав эти строки легенды, открыл мне их смысл и посмотрел на меня.

Я вновь вижу его так ясно, как на портрете, таким, каким он был в тот далекий-далекий вечер. Это мой отец. И я вспоминаю — с того дня,

---

[21] Примечания: 21

Каролинги — французская королевская династия, правившая в 751–87 годах.

[22] Примечания: 22

Капеты (Капетинги) — французская королевская династия, правившая в 987–328 годах.

погребенного среди многих дней, я почувствовал красоту народных легенд, потому что ее мне открыл мой отец.

В низком зале старого дома, стоя в полосе зеленоватого и водянистого света, у стрельчатого узкого окна, древний горожанин восклицает: «Есть же безумцы, способные поверить, что наступит день, когда Бретань не будет больше воевать с Мэном!» Он появляется в вихре прошлого, говорит это и снова исчезает. И оживает знакомая гравюра в детской книге: на деревянном помосте пристани старый корсар, опаленный солеными ветрами моря, в камзоле, изрубцованном и вздувшемся на спине, как рваный парус, грозит кулаком фрегату, проходящему вдали, и, перегнувшись через перекладины просмоленных брусьев, как через борт своего пиратского судна, предвещает вечную ненависть своего народа к англичанам.

«В России республика!» Воздевают руки к небу. «В Германии республика!» Воздевают руки к небу.

А великие голоса, поэты-певцы, что говорили великие голоса? Они прославляли лавры, не зная, что это такое. Старый Гомер, певец младенческих

племен, лепетавших на побережьях, ты, с твоим лицом, почтенным и ясным, изваянным по подобию твоего великого ребяческого гения, с твоей лирой, трижды тысячелетней, с твоими пустыми глазами, — ты, который указывал к нам дорогу Поэзии! И вы, толпы поэтов, порабощенных, не понимавших, живших раньше, чем научились понимать, — в эпоху, когда даже великие люди были слугами знатных вельмож; и вы, угодники славы наших дней, громкой и пышной, льстецы красноречивые и великолепно невежественные, бессознательные враги человечества!

Ослепление, торжества, обряды — вот чем тешат и обольщают народ; изумляют его яркостью красок, блеском галунов и звезд, этих крупиц власти, распаляют бряцанием штыков и медалей, и трубами, и тромбонами, и барабанами и вдувают демона войны в податливые чувства женщин и пламенное воображение юнцов. Триумфальные арки, военные смотры на обширных аренах площадей, и колонны тех, что идут на смерть и в ногу маршируют к пропасти, потому что они молоды и сильны; и прославление войны, и то неподдельное восхищение, которое чувствуют маленькие люди, простираясь перед владыками. Кавалькада увенчивает холм: «Как красиво! Они

точно скачут на нас!» — «Как красиво! И как все воинственны во Франции», — говорит вечно ослепленная женщина, судорожно сжимая руку уходящему.

И другая экзальтация возникает и душит меня адским зловонием бездн. «Они горят, они горят!» — бормочет солдат, задохнувшись, как и его ружье, перед натиском германских дивизионов, экстатически марширующих, плечо к плечу, в божественных парах эфира, чтобы наводнить преисподнюю своими единственными жизнями.

Ах, беспорядочные лохмотья образов, всплывающих на поверхность населенных бездн. Когда два властелина в блистательном окружении генеральных штабов, по обе стороны содрогающихся, мобилизованных границ, одновременно заявляют: «Мы хотим спасти отечество», — это означает одно множество обманутых и два множества жертв. Означает — два множества обманутых.

Ничего иного не существует. То, что возгласы эти могут раздаваться одновременно перед лицом неба, перед лицом истины, доказывает и чудовищность управляющих нами законов, и выдуманность богов.

Я мечусь на постели страданий, чтобы ускользнуть от этого мерзостного маскарада, от фанта-

стической нелепости, в которую упирается все, а моя лихорадка все ищет.

Блеск ослепляет, мрак также. Ложь царит среди тех, что царят, стирая всюду Сходство и создавая Различие.

Нигде не укрыться от лжи. Где ее нет? Сцепление лжи, цепь невидимая, цепь!

Бормотание и стоны скрещиваются. Здесь и там, справа, слева — обман. Истина никогда не доходит до людей. Вести просачиваются искаженными или бессодержательными. Здесь все прекрасно и бескорыстно; там все прекрасное и бескорыстное — подлость. «Французский милитаризм не одно и то же, что милитаризм прусский, потому что один — французский, а другой — прусский». Газеты, крупные, влиятельные газеты, черными тучами обрушиваются на умы и туманят их. Ежедневное пережевывание одного и того же притупляет и мешает смотреть вдаль. А честные газеты выходят с пробелами на месте тех строк, где истина была высказана слишком ясно. Но чего никогда не узнают дети убитых и калеки, оставшиеся в живых, это истинной цели, во имя которой правители начали войну.

Народ внезапно ставят перед свершившимся фактом, подготовленным в тайне монарших

дворов, ему говорят: «Теперь уже возврата нет. Твое спасенье в одном: убивай, чтобы не быть убитым».

И когда вооружения, притязания и дипломатия уже подготовили войну, раздувают какой-нибудь вздорный инцидент как предлог для нее и говорят: «Вот единственная причина войны». Неправда! Единственная причина войны рабство тех, кто ведет ее своими телами, и расчеты финансовых королей.

Солдатам говорят: «Вот одержим победу по воле наших хозяев, и тирания сразу же исчезнет, как по волшебству, и наступит мир на земле». Неправда! Мир не наступит до тех пор, пока не придет царство человеческое.

Но придет ли оно когда-нибудь? Будет ли время ему прийти, ослепленное человечество так спешит умереть! Вся эта сверкающая на солнце реклама, все эти легковесные доводы, лживые, глупо или искусно сфабрикованные, из которых ни один не касается благородных глубин общего блага, все эти недостаточные доводы достаточны, чтобы держать простодушного человека в скотском невежестве, вооружить его железом и заковать его.

— Не разумом, — кричал призрак, когда на

поле битвы душа палача расставалась с телом, еще раззолоченным, — не разумом создана библия Истории. Либо закон величеств и богатых и древний спор знамен сверхъестественной и неприкосновенной природы, либо старый мир построен на принципах безумия.

Он касается меня своей каменной рукой, я пытаюсь стряхнуть ее и странно спотыкаюсь, хотя лежу. Чей-то крик отдается в висках, затем грохочет в ушах, как орудие, затопляя меня, и я тону в этом крике:

— Так надо! Так надо! Не спрашивай!

Это крик войны, это крик войны.

* * *

После этой войны снова начнется война. И война будет повторяться до тех пор, пока вопрос о ней будет решаться не теми, кто умирает на полях сражений, не теми, кто темными толпами одушевляет штыки, когда они уже выкованы. Одни и те же причины порождают одни и те же следствия, почти все живые должны оставить всякую надежду.

Нельзя знать, какие исторические комбинации породят великие бури, какие имена собственные будут в то время олицетворять изменчивые

идеалы, навязанные человечеству. Причиной, быть может, всюду будет страх перед действительной свободой народов. Ясно только то, что бури будут.

Вооружения будут год от году расти с головокружительной быстротой. Неистовая пытка точности овладевает мною. Мы отбывали три года воинской повинности, дети наши будут отбывать пять, будут отбывать десять лет. Мы платим два миллиарда в год на подготовку войны. Заплатим двадцать, заплатим пятьдесят. Все, что у нас есть, отнимут; это будет грабеж, разорение, банкротство. Благосостояние будет убито войной, как и люди; оно исчезнет под обломками и в дыму, а золото нельзя изобрести, как и солдат. Разучились считать; не знают больше ничего. Триллион — миллион миллионов… Слово кажется мне начертанным на волнах событий. В отчаянии пытаюсь я понять непостижимость этого нового слова, рожденного вчера войной.

На земле не будет ничего иного, кроме подготовки к войне. Она поглотит все живые силы, завладеет всеми открытиями, всей наукой, всеми идеями. Одного господства в воздухе, овладения пространством достаточно будет, чтобы исчерпать национальные накопления, потому что

воздушный флот, изобретение чудесное и чарующее, от самого своего рождения превратился в кругах завистников в богатую добычу, на которую нашлось много охотников.

Другие расходы иссякнут раньше расходов на истребительные войны, как и другие устремления, как и сама цель жизни. Вот смысл последнего века человечества.

* * *

Поля сражений подготовлены издавна. Они покрывают целые провинции одним черным городом, одним огромным металлургическим заводским бассейном, окруженным массивами лесов из стальных деревьев и колодцами, где спит острая тень ловушек; там сотрясаются железные настилы и железные костры, несутся составы неистовых поездов параллельными и плотными рядами, как штурмовые колонны, падающие горизонтально. На каком бы месте равнины ни находиться — даже отвернувшись, даже убегая, — расходящимися лучами протянуты светлые щупальца рельсов, и облачные нити проволок взвиваются в полете. На этом месте казни, от горизонта до горизонта, подымается, и опускается, и работает такая сложная машина,

что нет ей имени, такая огромная, что нет у нее формы; и только наверху, над вихрями и громами, бушующими от востока до запада, при свете струй расплавленного металла, огромных, как снопы света от маяка, или мигающих электрических созвездий, едва можно различить, словно наклеенный в небе, профиль искусственной цепи гор. Колоссальный муравейник удвоен и утроен в глубинах другими подобными же бассейнами, взгромоздившимися друг над другом и недоступными вражеским прожекторам — прожекторам таким мощным, что только шарообразность земли преграждает путь их лучам.

Этот огромный город с огромными низкими домами, прямоугольными и темными, — не город: это танки, которые, дрогнув от одного слабого движения изнутри, готовы ринуться и покатиться на своих гигантских гусеницах. Эти дальнобойные орудия, погруженные в колодцы, вырытые до раскаленных недр земного шара и стоящие, чуть наклонившись, как Пизанская башня, и эти наклонные трубы, длинные, как трубы фабричные, такие длинные, что перспектива искажает линии и порой как будто расширяет их к краям, наподобие апокалипсических труб, — это не пушки, это пулеметы, насыщаемые длинными лентами

поездов; они пробивают в целых областях — если надо, минуя страну, — недра гор.

На войне, которая напоминала когда-то деревню, а теперь, из края в край, напоминает город и даже одну гигантскую фабрику, почти не видно людей. На окружных путях и в казематах, в проходах и на подвижных платформах, среди лабиринта бетонированных пещер, над полком, выстроенным взводами от глубин земли до ее поверхности, видны стада одичавших людей, бледных, согбенных людей, черных и промокших, выползающих из трясины ночи, пришедших сюда спасать свою страну. Они окопались в какой-нибудь зоне перпендикулярных укреплений и сидят в этом углу, еще более проклятом, чем другие, где свирепствует ураган. Человеческий материал этот собран, подобно преступным теням Данте, в глубинах отполированных пещер. Адские взрывы обнаруживают бесконечные, как дороги, линии окопов, узкие содрогающиеся полосы пространства, которые даже днем, даже под солнцем остаются испачканными мглой и циклопической грязью. Облака материи, ураган секир обрушивается на них, а полыхающее зарево ежесекундно освещает железные рудники неба над осужденными на вечную пытку,

бледные лица их не изменились под пеплом. Они ждут, впитывая в себя торжественность и важность этих оглушительных, тяжких раскатов. Они залегли здесь, чтобы остаться навсегда. Они будут, как и другие до них, заживо погребены в совершенном забвении. Крики их не вырвутся на поверхность земли, как и уста. Слава не покинет их бедных тел.

Я уношусь на одном из аэропланов, флотилия которых омрачает день, как тучи стрел в детских сказках, и образует армию в форме свода. Флот этот может выгрузить в одну минуту, и безразлично где, миллион людей и все их военное снаряжение. Немного лет назад услышали мы первый стрекот аэропланов. Теперь голос их покрывает все голоса. Развитие авиации шло нормально, и одного этого было достаточно, чтобы территориальные гарантии, которых требовали безумцы прошлых поколений, всем наконец показались каким-то шутовством. Уносимый чудовищной мощью мотора, сила которого в тысячу раз превышает его огромный вес, мотора, содрогающегося в пространствах и наполняющего все мое существо грохотом, я вижу, как мельчают холмы, на которых гигантские, вздыбленные пушки торчат, точно воткнутые булавки. Я мчусь

на высоте двух тысяч метров. Воздушное течение подхватывает меня в разрывах туч, и я падаю камнем, сдавленный яростным всасыванием воздуха, холодного, как клинок, и распираемый своим криком, вонзившимся в меня. Я видел пожары и взрывы мин с гривами дыма, которые треплются и разматываются черными длинными космами, длинными, как волосы бога войны. Я видел, как концентрические круги все еще рябят множеством точек. Прикрытия, изборожденные подъемными машинами, уходят наклонно, параллелограммами, в глубины. Я видел ужасающей ночью, как враг затопил их неиссякаемым потоком воспламененной жидкости. Мне было видение: скалистая и черная долина наполнилась до краев ослепительной расплавленной лавой, несущей страшную зарю земную, которая светит всю ночь и заставляет бледнеть звезды. Вдоль этой трещины земля с пылающей сердцевиной стала прозрачной, точно стекло. Посреди огненного озера скопища оставшихся в живых, всплывшие на каком-то плоту, извиваются, как осужденные на вечные муки. А там люди карабкаются, виснут гроздьями на прямоугольных гребнях долины мерзости и слез. Кишащий мрак громоздится у края длинных бронированных

пропастей, содрогающихся от взрывов, как пароходы.

Вся химия сгорает фейерверком в облаках или стелется отравленными полотнищами, равными по площади большим городам; против них не убережет никакая стена, никакие окопы, и убийство подкрадывается так же незаметно, как и сама смерть. Промышленность множит свои феерии. Электричество разнуздало свои молнии и громы — и свое чудодейственное могущество, позволяющее метать энергию, как снаряд.

Кто знает, не изменит ли уже одна эта необычайная мощь электричества лицо войны: централизованный пучок волн побежит по непреложным орбитам сжигать и уничтожать все взрывчатые вещества и срывать с земли ее панцири, загромождать подземные пучины грузом обгоревших людей, перекатывающихся, как ненужный шлак, и даже, быть может, разбудит землетрясения, вырвет из глубин, как руду, центральный огонь.

Увидят это еще люди, живущие сегодня, и все же это провидение такого близкого будущего — лишь бледная тень того, что будет на самом деле. Страшно сознавать, что наука совсем еще недавно стала методической и работает производительно.

И к тому же разрушение — самая легкая вещь на земле. Кто знает, какие еще средства есть в запасе, кто знает, не используют ли эпидемии, как используют цветущие армии (или не возникнут ли они, непобедимые и педантичные, из армий мертвецов). Кто знает, после какого катаклизма будет забыта нынешняя война, которая бросала на землю лишь двадцать тысяч человек в день, изобрела до сих пор только орудия, бьющие на расстояние не больше ста двадцати километров, воздушные торпеды в одну тонну, аэропланы, покрывающие пятьдесят километров в час, танки и подводные лодки, пересекающие Атлантику и расходы на которые не доросли ни в одной стране до суммы некоторых частных состояний.

Но предугадываемые потрясения, изобразить которые могут лишь цифры, окажутся сильнее жизни. Остервенелому, свирепому уничтожению армий будет положен предел. Мы разучились считать, но фатальность событий подсчитывает. В какой-нибудь день будут убиты все мужчины, женщины и дети. Исчезнут также и те, которые держатся на бесславной смерти солдат, они исчезнут вместе с необъятным и трепещущим цоколем, который они попирают. Но они живут настоящим и думают, что ничто не изменится,

пока существуют они. И каждый из них в свой черед говорит: «После нас хоть потоп…»

Настанет день, когда всякая война прекратится, оттого что не будет бойцов.

Картина будущего — картина агонии. Ученые прилагают смехотворные усилия, чтобы установить в тысячелетиях причины конца населенного мира. Комета ли уничтожит людей, недостаток воды или угасание Солнца? Они забыли причину самую вероятную и самую близкую: самоубийство.

Тот, кто говорит: «Войны будут всегда», — не знает, что он говорит. Его подтачивает всеобщая внутренняя болезнь — близорукость. Он считает себя образцом здравого смысла так же, как считает себя образцом честности. В действительности же у него грубая и ограниченная психология убийцы.

Хаотическая борьба первоэлементов стихий снова начнется на сожженной Земле, где люди перебили друг друга, потому что они были рабами, потому что верили в одно и то же, потому что подобны друг другу.

У меня вырывается крик отчаяния, и мне чудится, что я уткнулся лицом в подушку, чтобы его заглушить.

* * *

Все — безумие. Нет никого, кто осмелился бы встать и сказать, что не все — безумие и что будущее окажется не таким роковым, не таким непоправимым, как воспоминание.

Но сколько же найдется людей, которые осмелятся встать и перед лицом всемирного потопа, который будет концом, как он был и началом, крикнуть: «Нет!» — и провозгласить выводы, неопровержимые и грозные:

— Нет, интересы народов и интересы всех их нынешних хозяев — не одни и те же. Испокон веков существуют две враждебные расы: сильные и слабые. Невзирая на все случайности, сильные всегда союзники сильным. Союзники народов — народы. На земле существует только одно племя паразитов и поджигателей — все еще победители, и только один народ — побежденные.

Как и в первые века, не выступят ли из теней, здесь или там, мыслящие существа, ибо это — хаос и животное царство. Разум должен родиться, так как его больше не существует.

— Надо думать собственной головой, а не чужой.

Простая мысль, рожденная в чудовищной

схватке армий, глубже всего проникла в мое сознание. Мыслить — значит верить, что массы творили до сих пор много зла помимо своей воли и что древние авторитеты, цепляясь за все, извращают человечество и разъединяют нераздельное.

Были отважные люди. Были глашатаи истины. Они шли ощупью в мировом беспорядке, пытаясь внести в него ясность. Они открывают то, чего еще никто не знает, а чаще они открывают то, что уже позабыто.

Но какая паника среди сильных мира и среди держав!

— Истина революционна! Прочь, глашатаи истины, изобретатели, прочь! Они несут царство человеческое!

Этот крик, глухой, как из-под земли, я услышал однажды в ночь пыток от умирающего с перебитыми крыльями, буйно восставшего против того, чтобы люди открыли глаза, но я всегда, всегда его слышал вокруг себя.

Изобретатели — это те, которые открывают смысл жизни. Чтобы уничтожить войну, надо уничтожить капитализм, который ее порождает. Чтобы установить мир, надо установить верховную власть созидающих масс, ибо мир — это

спокойствие, вытекающее из труда. Но вокруг авангарда, который провозглашает великую историческую роль масс, неистовствует хохот, механический, злорадный, животный хохот:

— Твоя идея всеобщего мира только утопия, если ты один, своими силами, не можешь со дня на день прекратить войну.

Показывая на поле битвы с его останками:

— Ты говоришь, война не будет вечной? Взгляни, глупец!

Диск заходящего солнца багрянит человеческий, растерзанный горизонт:

— Ты говоришь, солнце больше земли? Взгляни, глупец!

Миллиарды жертв сами издеваются над восставшими и при любом случае побивают их камнями. Все их побивают камнями, все, даже страдающие, даже обреченные, перед лицом смерти.

Солдаты, раненные при Ваграме, кричат, истекая кровью: «Да здравствует император!» И на улицах несчастные эксплуатируемые рукоплещут поражению тех, кто пытается облегчить участь своих братьев. Другие, в прострации от вечного подчинения, присутствуют при этом и, как эхо, вторят тем, что стоят над ними: «После

нас хоть потоп», — и дыханием чудовищным и фантастическим слова эти разносятся по полям и городам, потому что несметны те, кто их шепчет. Ведь было сказано:

— Я полагаюсь на слепоту народа.

* * *

А я?

Я, человек нормальный, что делал я на земле? Я поклонялся ослепляющим силам, не спрашивая, откуда они исходят и куда ведут. На что же мне послужили глаза, созданные, чтобы видеть, разум, чтобы судить?

Раздавленный стыдом, я зарыдал: «Не знаю!» Я крикнул так громко, что крик мой вывел меня из забытья. Меня держат чьи-то руки, меня успокаивают, оправляют постель, окутывают саваном.

И мне чудится: кто-то склоняется надо мною, низко-низко, и нежный голос говорит мне что-то; и мне чудится: я слышу родной говор, и ласковость его уводит в далекое прошлое.

— Почему бы тебе, мой милый, не быть великим глашатаем?

Я не понимаю. Мне? Как я могу?

Мысли путаются. Я снова падаю… Глаза мои все же уносят образ железной кровати и на ней

неподвижное тело. Вокруг — распростертые тела, и кто-то стоя читает молитвы. Но занавес этого видения задергивается. Широкое пространство раздвигает замкнувшую меня комнату, и все расплывается.

Куда обратить взгляд? Бог? Бог… Донесшийся обрывок литании вызвал воспоминание о боге.

* * *

Я видел Иисуса Христа на берегу озера. Он шел тропинкой, как обыкновенный человек. Вокруг его головы не было нимба. Изобличали его только бледность и кротость. Полосы света сближались, набегали одна на другую, сливались вокруг него. Он сиял, как на небесах, как на воде. Борода и волосы его, как о том свидетельствуют, были цвета вина. Он созерцал необъятное пятно, оставленное на земле христианством, пятно хаотическое и черное, лишь край которого, у его босых ног, был красного цвета и человеческой формы. Посредине — гимны, жертвы искупления, сонмища монашеских ряс, и гонения, острия штыков, секир, алебард, и столкновение, в грядах облаков и хвостах армий, двух крестов не совсем одинаковой формы. И подле него, на холсте палатки, я снова увидел кровавый крест. Народы, что раз-

дираются надвое, чтобы лучше раздирать друг друга, и, через голову бедноты, торжественные союзы тех, кто носит тиары, с теми, кто носит короны, и, под знаком «ухо королей», козни серого духовенства или лукавых монахов цвета тьмы.

Я видел — человек света и простоты поник головой, и мне послышался голос, говоривший:

«Я не заслужил зла, которое они мне причинили».

Он присутствовал, ограбленный зачинатель, при жестоком прославлении своего имени. С давних пор алчные и яростные торгаши, в свою очередь, изгнали его из храма и на его место водворили священников. Его распинают каждым распятием.

В деревнях встречаются церкви, разрушенные войной; и люди уже спешат с кирками, подносят камни, чтобы восстановить стены. Он излучает свет своих рук и ясно говорит в пространство:

«Не восстанавливайте церквей. Они не то, за что вы их принимаете. Не восстанавливайте церквей!»

* * *

Спасение только в тех, кого мир обрекает на каторжный труд и кого война обрекает на смерть

— и кому нужен только свет. Спасение только в бедняках.

* * *

Белые фигуры как будто снова появились в белой комнате… Истина проста. Тот, кто говорит, будто истина сложна, ошибается: сложна не она… Я вижу еще, неподалеку от себя, кровать ребенка, ребенка, спящего в доме; глаза — две черточки… В дом, уже много позже, привели мою старую тетю. Она видит жизнь в достатке: «Уютное гнездышко». Она ласково одобряет, но, покидая принаряженные комнаты, все же тихонько шепчет: «В мое время было лучше». И я вздрогнул — одно из окон широкими крыльями было открыто во мрак; призыв пустоты этого окна сквозь расстояние достиг меня. Однажды ночью мне показалось, что оно было раскрыто до самого сердца.

Я, мое сердце… Зияющее сердце, властелин в кровавом ореоле. Это мое, это наше сердце. Сердце — наша рана. Мне жаль себя.

Я снова увидел берег под дождем — тот, что я видел до начала времен, до начала драмы событий, — и женщину у моря. Она жалуется, она плачет, в окружении образов, которые то

возникают сквозь сетку дождя, то рассеиваются, уносимые облаками. Она говорит так нежно, что я отлично чувствую — она обращается ко мне. Она со мной связана. Любовь… Я вспоминаю: любовь — это один несчастный и не одна несчастная.

Я просыпаюсь со слабым криком новорожденного ребенка.

Все бледнеет, — бледность, белизна, которую я предугадывал сквозь вихри и вопли. Запах эфира вызывает воспоминание, воспоминание ужасное, но бесформенное. Белая комната, белые стены, склоненные женщины в белом.

Я говорю дрожащим, глухим голосом:

— Мне снился сон, нелепый сон.

Я провожу рукой по глазам, чтобы его отогнать.

— Вы метались в бреду, особенно когда вам казалось, что вы падаете, — говорит голос, спокойный, серьезный, дружественный голос, знающий меня, но мне незнакомый.

— Да, — говорю я.

XVII. Утро

Я снова заснул в хаосе, затем проснулся, как первый человек.

Я в постели, в зале. Ни малейшего шума. Трагедия тишины. Тесный массив горизонта. Кровать, к которой я прикован, стоит в шеренге кроватей, выстроенных рядами, длинные полосы паркета бегут к далекой двери. Высокие окна; день, окутанный полотном. Ничто иное не существует. Я всегда был здесь, здесь будет мой конец.

Белые женщины промелькнули, что-то сказали. Я уловил этот новый звук, затем потерял. Мужчина, весь в белом, сел возле меня, посмотрел, пощупал. Глаза его странно поблескивают, от очков.

Я сплю, затем мне дают пить.

Длинный день проходит в длинном коридоре. Вечером зажигают свет, ночью гасят. Ряды ламп, и кровати, и окна, и все исчезает. Остается лишь одна лампа посредине, направо от меня. Спокойный призрак вещей предписывает спокойствие.

Но глаза мои раскрыты, и я все больше и больше просыпаюсь. Во мраке я овладеваю сознанием.

Вокруг меня тела, неподвижно лежавшие на кроватях, начинают шевелиться. Этот длинный зал необъятен; ему нет конца. Спеленатые кровати кашляют и содрогаются. Кашляют на все тона и на все голоса. Это выкрики, хриплые или сухие, спирающие дыхание, надрывные, с мокротой, протяжные. Люди, в припадках кашля изрыгающие чудовищные слова, не знают друг друга. Я вижу их одиночество, как вижу их самих. Между кроватями нет ничего, ничего.

Вдруг я вижу, в полумраке, маячит шарообразная масса: лицо как луна; вытянутые руки нащупывают железо кроватей, ищут дорогу; вздутый живот выпячен и, словно кринолин, подымает рубашку, треснувшую по швам. Несут это существо короткие ножки, неестественно тонкие, перевязанные у колен веревкой и цвета веревки. Оно подходит к соседней кровати, от которой меня отделяет только проход. На другой кровати, как заводная игрушка, мерно покачивается тень. Это негр, голова у него большая, как ярмарочная мишень, и тонкая-тонкая шея.

Сиплый концерт легких и глоток нарастает и ширится. Он исходит от тех, кто подымает руки игрушечных паяцев из коробок-кроватей. Остальные по-прежнему погребены под серыми

одеялами. Время от времени зал, пошатываясь, пересекают призраки, в проходе между кроватями они нагибаются, и слышен стук железного ведра. В глубине зала, в черной сумятице этих слепцов, глядящих в пустоту, этих кашляющих немых, можно различить только сиделку — по белизне халата. Она переходит от одной тени к другой, склоняется над недвижимыми. Это весталка, которая по мере своих сил не дает им угаснуть.

Я поворачиваю голову на подушке. В кровати, придвинутой к моей кровати, при свете единственной бодрствующей лампы я вижу сутулого карлика в толстой фуфайке цвета горчичника. Иногда он с трудом приподымается, вскидывает остроконечную голову, дергается и, сталкивая зажатые в одеревеневших руках плевательницу и чашку с отваром, кашляет, как лев. Я лежу так близко от него, что чувствую на своем лице этот ураган плоти и запах скрытой раны.

* * *

Я спал. Я вижу яснее, чем накануне. Передо мною нет больше пелены. Глаза мои притягивает каждый движущийся предмет. Острый ароматический запах доносится до меня; я ищу

его источник. Напротив меня, в ярком солнечном свете, на краю кровати сидит сестра, она растирает каким-то снадобьем узловатые руки — огромные лапы, черные, как земля полей битв, в которую они так долго врастали, что почти заплесневели. Пахучая жидкость превращается в слой пенистой ваксы.

Чернота этих рук меня пугает. С усилием собравшись с мыслями, я сказал громко:

— Почему ему не вымоют руки?

Сосед справа — гном в горчичной фуфайке, — казалось, услышал меня: он покачал головой.

Я отвожу взгляд в сторону и часами, широко раскрыв глаза, упорно, пристально рассматриваю разбухшего от водянки человека, которого я смутно видел ночью, когда он маячил, как воздушный шар. Ночью он был белесым. Днем он желтый. У него большие глаза навыкате, налитые желтизной. Он урчит, бурлит, как подпочвенные воды, вздохи перемежает словами, обрывками слов. Приступы кашля окрашивают его лицо охрой. Он кашляет, хрипит, захлебывается и выхаркивает волокна яичного белка и желтка. Плевательница его всегда полна. Видно, что сердце, к которому он прикладывает иссохшую и пропитанную серой руку, бьется слишком сильно и давит на его

разрыхленные легкие и на распирающую его опухоль. Он живет навязчивой мыслью опорожнить свой неисчерпаемый живот. Он ежеминутно заглядывает в банку с мочой, и лицо его возникает передо мною в желтом отсвете. Целый день созерцал я пытку и кару этого тела. Кепи и куртка его, совсем уже на него непохожие, висят на гвозде.

Лежа в постели, захлебываясь и задыхаясь, он показывает мне на негра, который раскачивается, как заведенный:

— Он хотел убить себя, от тоски по дому.

Доктор мне сказал: «Все идет на лад». Я собирался его расспросить, но не мог улучить минуты.

Под вечер сосед в фуфайке, по-прежнему покачивая головой, отвечает на мой утренний вопрос:

— Ему не отмоешь грязь, она въелась.

Немного позже, в тот же день, я почувствовал беспокойство. Я поднял руку, одетую в белое полотно. Я с трудом узнал свою исхудалую руку — незнакомый силуэт! Но я узнал ее по бляхе на запястье, удостоверяющей личность. Она сопутствовала мне до глубины бездны.

В голове моей, часами, пустота, пробел; множество вещей я различаю плохо: они то возникают, то исчезают. Я отвечаю на вопросы. Когда я го-

ворю: «да» — это выдох, и только. Я весь еще в прошлом, во власти образов: взбухших равнин и зубчатых гор; отголоски тех событий звучат в ушах, и я хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил мои сны.

* * *

Незнакомые башмаки стучат по паркету и останавливаются. Я открываю глаза. Передо мной женщина.

Появление ее потрясло меня. Это женщина моих видений. Значит, мое видение было явью? Я смотрю на нее широко раскрытыми глазами. Она говорит:

— Это я.

Затем наклоняется и нежно добавляет:

— Я — Мари, а ты — Симон.

— А-а! — говорю я. — Помню.

Я повторяю непостижимые слова, сказанные ею. Она еще что-то говорит голосом, идущим издалека. Я приподымаюсь, всматриваюсь, заучиваю слово за словом.

Она, конечно, рассказывала мне, что я был ранен в грудь и бедро и трое суток пролежал без помощи: широкие рваные раны, потеря крови, лихорадка, полное истощение.

— Скоро ты будешь на ногах, — говорит она.

На ногах! Я представляю себя на ногах — себя, лежачее существо. Я удивлен и испуган.

Мари уходит; шаг за шагом углубляет она мое одиночество, и глаза мои долго хранят ее уход и ее отсутствие.

Вечером слышу разговор — приглушенные голоса у постели больного в коричневой фуфайке. Он весь скрючился и дышит покорно. Говорят шепотом:

— Он умрет. Еще час-два. Он в таком состоянии, что к утру начнет разлагаться. Придется убрать его сразу же.

Говорят это в девять часов вечера, затем гасят свет и уходят. Я вижу только его одного. Бодрствует над ним одна-единственная лампа. Он тяжело дышит, обливается потом. Он блестит, как под дождем. Отросшая борода чернеет. Волосы прилипают к мокрому лбу; пот у него серый.

Утром постель его пуста и покрыта чистыми простынями.

Вместе с человеком исчезли все зараженные им вещи.

— Теперь черед за тридцать шестым, — говорит санитар.

Я слежу за его взглядом. Я вижу обреченного

человека. Он пишет письмо. Он разговаривает, он живет. Но он ранен в живот. Он вынашивает свою смерть, как плод.

* * *

День, когда сменяют белье. Некоторые больные обходятся собственными силами; руки и полотно сигнализируют из кроватей. Другим помогают сиделки. Мелькают рубцы, темные впадины, швы, заплаты всех оттенков. Бронхитик, у которого ампутирована нога, демонстрирует обрубок: кожа на нем розовая, словно у новорожденного. Негр не шелохнется, когда обнажают его торс, тощий, как насекомое; затем, побелевший, он снова принимается покачивать одурманенной головой и созерцать солнце и Африку. Напротив меня раскапывают из простыней и переодевают паралитика. В чистой рубашке он лежит сначала неподвижной глыбой. Потом издает гортанный звук, зовет сиделку. Надломленным, пустым голосом говорящего механизма он просит переменить положение ног, запутавшихся в простыне. Затем, открыв глаза, прибранный, неподвижный, он продолжает существование, замурованный в свой скелет.

Мари снова приходит. Она садится на стул. Вдвоем восстанавливаем по складам прошлое, которое она в таком избытке мне приносит. Непосильная работа идет в моей голове.

— Знаешь, мы совсем близко от наших мест, — говорит Мари.

Слова эти воскрешают дом, квартал и отдаются бесконечным эхом.

В тот день я впервые приподнялся на постели и посмотрел в окно, которое, впрочем, все время было у меня перед глазами. И я впервые увидел небо и серый двор, откуда веяло холодом, и серый день, похожий на жизнь, похожий на все.

Дни сменяются быстро, один — другим. Я начал понемногу вставать с кровати; вокруг меня впавшие в детство люди, которые учатся ходить или жалобно стонут в постелях. Я брожу по палате, затем по аллее. Все дело теперь в формальностях: выздоровление, через месяц осмотр в комиссии для увольнения с военной службы.

Однажды утром Мари приходит, чтобы взять меня наконец домой, до комиссии.

Она застает меня во дворе госпиталя — бывшей школы — на скамье, под часами (единственный уголок, куда заглядывает солнце!). Погруженный в свои мысли, я сижу в кругу калек на костылях,

с перевязанными руками и головой, в потешных одеяниях, в сборных и потрепанных больничных одеждах. Я покидаю этот «Двор чудес»[23] и следую за Мари, поблагодарив сиделку и распрощавшись с ней.

Старший санитар — викарий нашей церкви: тот, кто говорит и приказывает говорить, что он, как и все священники, разделяет страдания солдат. Мари говорит: «Ты хочешь его повидать?» — «Нет», — говорю я.

Мы пошли в жизнь тенистой тропинкой; затем большой дорогой. Мы шли медленно. Вещи несла Мари. Горизонт был безоблачен, земля была ровная и замолкшая, и купол неба не гудел колоколом. Поля были опустошены войной, но стрелы дорог — прямые и библейские. И я, омытый, опростившийся, просветленный, хотя все еще изумленный тишиной и потрясенный спокойствием, видел все четко, без пелены, без ничего. И мне казалось, что я несу в себе великий разум, неискушенный, нетронутый.

Идти было недалеко. Вскоре, шаг за шагом, стало открываться прошлое. Чем ближе мы под-

---

[23] Примечания: 23

«Двор чудес» — квартал нищих, воров, калек и бродяг в сред-невековом Париже.

ходили, тем отчетливее возникали все мелочи и напоминали о себе: вот дерево в грядке камней, вот накренившиеся, заброшенные сараи. Пробуждали смутные воспоминания даже маленькие холмики у придорожных столбов.

Мари наблюдает за мной с непостижимым выражением.

— Тебе холодно… — вдруг говорит она, поеживаясь.

— Нет, — говорю я, — нет…

Мы остановились на постоялом дворе, чтобы отдохнуть и поесть, и был уже вечер, когда мы вступили в улицы.

Мари указала на прохожего:

— Рампай разбогател на войне.

Затем прошла и скрылась за углом женщина в развевающемся платье, белом с голубым.

— Антони Верон. Она была в Красном Кресте. Получила орден.

— А-а! — говорю я. — Все изменилось.

Дом уже виден. Расстояние от угла улицы до дому кажется мне более коротким, чем полагалось бы. Площадь кончается внезапно: она не так широка, как в действительности. Воспоминания прошлого тоже как будто сузились.

Дом, комнаты. Я поднялся и спустился по лестнице, оберегаемый Мари. Я узнал все вещи: я узнал даже те, которых не видел. В нависающей ночи никого, кроме нас двоих, как будто люди сговорились не показываться возвратившемуся человеку.

— Вот мы и дома, — говорит наконец Мари.

Садимся друг против друга.

— Что же будем делать?

— Жить…

— Жить…

Я думаю. Она поглядывает на меня украдкой, с тем затаенным выражением тревоги, которое меня подавляет. Я замечаю, с какой настороженностью она на меня смотрит. Мне даже показалось, что глаза у нее красные от слез. А я, я думаю о жизни в госпитале, откуда я вышел, о серой улице и о простоте вещей.

* * *

Один день уже прошел. В один день восстановилось все прошлое. Я снова стал тем, чем я был. Как будто ничего не случилось. Только я еще не так силен и не так спокоен, как прежде.

Но истина еще проще, чем раньше.

Я узнаю от Мари об одном, о другом расспра-

шиваю.

Мари говорит:

— Ты все спрашиваешь: «Почему?» — как ребенок.

Говорю я все же немного… Зато Мари усердствует: ее, видимо, пугает мое молчание, и один раз, когда я долго молчал, сидя рядом с ней, она вдруг закрыла лицо руками и спросила сквозь слезы:

— Что с тобой?

Я колеблюсь.

— Мне кажется, — говорю наконец вместо ответа, — я вижу вещи, как они есть.

— Бедный мой! — говорит Мари.

И снова плачет.

Я тронут этой тревожной печалью. Это правда, — вокруг меня все стало видимым, как бы обнаженным. Я утерял тайну, усложнявшую жизнь. Нет у меня больше обольщений, искажающих и заслоняющих вещи, нет этой запальчивости отваги слепца, этого безрассудства, которое нас бросает из часа в час, изо дня в день.

И все же я снова начинаю жизнь с того места, где оставил ее. Я на ногах и крепну с каждым днем. Я принадлежу не к тем, кто кончает жизнь, а к тем, кто ее начинает.

* * *

Я крепко спал один в нашей кровати.

На другой день утром я увидел Крийона, торчавшего в комнате внизу. Он протянул мне руки, затараторил. После поздравлений он залпом выпаливает:

— Знаете, что произошло в совете? Вон там, возле местечка по прозванию Январь, есть спуск, а где он расширяется, стоит сторожка и газовый фонарь, об этот фонарь все велосипедисты разбивают носы; еще на днях один такой ротозей наткнулся на него, а другой — так и не выяснилось, кто это был, раскроил себе череп и умер. Рядом с этим фонарем, искалеченным велосипедистами, надумали вывесить дощечку с надписью, да разве дощечками здесь поможешь! Вы догадываетесь, в чем тут дело? Это просто-напросто подвох: хотят насолить мэру…

Слова Крийона рассеиваются. Я отрешаюсь от этого жалкого хлама, как только он мне его преподносит. Я не могу ему ответить, когда он замолкает и смотрит на меня, как и Мари. Я говорю: «А-а!» Он кашляет, чтобы не смущать меня. Скоро он уходит.

Приходят другие порассказать о своих делах, о

ходе событий в квартале. Шум в ушах. Такой-то убит, тот стал офицером, тот в канцелярии. А этот здесь, разбогател. Ну, а как на войне?

Меня окружают; лица у всех вопрошающие. Однако я сам, еще больше, чем они, — огромный вопрос.

XVIII. Глаза

Два дня прошло. Я встаю, одеваюсь, открываю ставни. Воскресенье, и это видно по улице.

Я надеваю прежний костюм. Ловлю себя на желании принарядиться ради праздника, в силу привычки.

Теперь только я замечаю, как осунулось мое лицо: я вспомнил, каким я его оставил в знакомом зеркале.

Выхожу. Встречи. Г-жа Пио спрашивает, много ли я убил врагов. Отвечаю, что убил одного. Она перескакивает на другой предмет. Я чувствую, что между ее вопросом и моим ответом — глубокая пропасть.

Закрытые витрины омрачают улицы. Это все то же непроницаемое и расплывчатое лицо праздничного дня. Возле расколотой тумбы мне на глаза попадается старая жестянка из-под консервов, она лежит все на том же месте.

Подымаюсь на холм Шатенье. Никого, из-за воскресенья. В этом белом саване, в этой разлитой воскресной бледности, восстанавливается, от дома к дому, вся прежняя жизнь.

Я смотрю с высоты холма. Линии, краски — все

как прежде. Вчерашняя картина и сегодняшняя одинаковы, как две цветные открытки одной серии. Я вижу свой дом: крышу и фасад, в три четверти. Дрожь нежности охватывает меня. Я чувствую, что люблю этот уголок и особенно — мой дом.

Все как прежде. Нет ничего нового. Ничего? Неужели только я один изменился? Я постарел, шагаю слишком медленно, в слишком свободных одеждах, опираясь на трость.

Простота дня безысходна. Не знаю, почему я ждал каких-то откровений. Взгляд напрасно блуждает всюду, в бесконечном.

Но предгрозовой мрак меняет и тревожит небо и внезапно наделяет утро приметами вечера. Под широким покрывалом этих великих сумерек, надвигающихся в неуловимой гармонии, толпа на отдаленном шоссе привлекает мое внимание.

Они крошечные, все эти тени, усеявшие длинную дорогу, разбросанные, но однородные. На расстоянии видно, как человек похож на человека. Истина, что человек похож на человека. Один как другой. Это единственная уверенность, которую я принес, единственная; и истина проста: то, во что я верю, я вижу своими глазами.

Схожесть всех этих человеческих пятен, пред-

ставшая в угрюмых вспышках грозы, — ведь это откровение! Зачаток порядка в хаосе. Как случилось, что я никогда не видел того, что так очевидно, как случилось, что я не замечал этой очевидности: сходства человека с человеком, всегда и всюду! Поняв это, я возрадовался, как будто я призван был пролить немного света на нас и наши дороги.

* * *

Колокола привлекают наши глаза к церкви. Она окружена лесами, муравьиная цепочка пробирается между ними, копошится вокруг, проникает внутрь.

Земля, небо… Я не вижу бога. Всюду, везде я вижу отсутствие бога. Взгляд, пробежав пространство, возвращается беспомощный. И я никогда его не видел, и нигде нет его. Нигде.

Никто никогда не видел его. Я знаю, я всегда знал! Нет доказательств существования бога, и для того, чтобы доказать, надо сначала поверить в него. В чем он проявляет себя, кого спасает, от каких пыток, от каких бедствий избавляет он всех и каждого в горести сердец? Когда же мы ощущали, осязали, целовали что-либо другое,

кроме его имени? Отсутствие бога бесконечно, оно подтверждается каждым коленопреклоненным просителем, жаждущим какого-либо жалкого личного чуда, и каждым изыскателем, который, склонясь над рукописями, заостряет доказательства, как некий творец, и ненавистническим, чудовищным и кровавым антагонизмом религий, ополчившихся одна против другой. Отсутствие бога простирается, как небо, над тревожными конфликтами добра и зла, над трепетным вниманием праведных и над необъятностью кладбищ, где царит агония, и над бойней неповинных солдат, и тяжкими воплями погибающих. Пустота! Пустота! За сто тысяч лет, с тех пор как жизнь пытается отсрочить смерть, не было на земле ничего более напрасного, чем крик человека, взывающего к божеству, ничего, что давало бы такое совершенное представление о молчании. Как случилось, что я дожил до сих пор и не понял, что я не верю в бога?

Мне кажется, что теперь я способен не верить вещам, которым мне приказывают верить, и я чувствую себя освобожденным.

Я оперся о каменную низкую стену, о которую опирался когда-то, когда мнил себя чем-то и думал, что знаю нечто.

Я гляжу на людей, группами и в одиночку спешащих к черной дыре церковного портала, в мрак корабля, где их окуривают ладаном, где круги света и цветистые ангелы под сводом, повторяющим великую пустоту небес.

Мне кажется, теперь меня больше влечет к людям; я угадываю некие глубины среди мимолетных образов, которые проходят перед моими глазами; среди всех существ я наугад открываю сокровищницу какого-либо одного человеческого существа. Я думаю об ограниченных мирных существованиях, и мне кажется, что мы слишком поспешно несколькими словами штампуем действительность и что так называемым ограниченным мирным существованиям знакомо ожидание, тоска и бесконечная усталость.

Я понимаю, почему хотят верить в бога и, значит, почему в него верят: вера внушается.

Прислонившись к стене, прислушиваясь, я вспоминаю, как неподалеку отсюда, в один из прошлых дней, обездоленная женщина возвысила голос и сказала:

— Она не верит в бога! Значит, у нее не было детей или они никогда не болели.

И я вспоминаю — даже не помня, кто были эти люди, — столько, столько других уст, гово-

ривших:

— Было бы слишком несправедливо, если бы бога не было!

Нет иного доказательства существования бога, кроме потребности в его существовании. Бог — это не бог, это имя всего того, чего нам недостает. Это наше желание, достигшее неба. Бог — это мольба, а не кто-то.

Относят все блага в вечное будущее, хоронят их в неизвестном. Томительные сроки топят в расстояниях, превышающих наше воображение; разрешают противоречия в тумане непостижимого. Все равно, верят в идола, созданного словом.

А я? Я пробудился от религии, потому что она была сном. В одно прекрасное утро глаза мои открылись и увидели пустоту.

Я не вижу бога, но вижу церковь и вижу священников. Другая церемония происходит в эту минуту в другом месте: в замке служат мессу святому Юберу[24]. Опершись о стену, я наблюдаю это зрелище.

На площадке замка, перед толпой, которую

---

[24] Примечания: 24

Святой Юбер (ум. в 727 г.) — епископ Маастрихта и Льежа. По преданию, во время охоты ему явилось меж рогов преследуемого оленя распятие; считается покровителем охотников.

сдерживает на расстоянии канат, разряженные служители культа с большой пышностью совершают положенный обряд, а рядом с ними — богачи в потешных военизированных охотничьих костюмах, женщины одеты, как мужчины; священники благословляют свору собак, ружья и охотничьи ножи, и зрелище это ярче всяких слов свидетельствует о расстоянии, которое отделяет современную церковь от учения Христа, и о позолоченном тлене, замутившем его безыскусственные и чистые источники. То, что творится здесь, творится всюду.

Священники и сильные мира сего всегда тесно связаны. В глубине моего сознания растет уверенность. Религии духовно уничтожают друг друга, потому что их много. Они разрушают то, что опирается на их легенды. Но вожаки, которыми держатся идолы, их навязывают. Они устанавливают авторитеты, они утаивают свет. Это люди, защищающие свои интересы, властители, защищающие свою власть.

«Так надо! Не спрашивай!» Ужасное воспоминание потрясает меня, и я смутно вижу людей, которые ради своих целей обещаниями и громами поддерживают несчастье безумия, тяготеющего над массами.

* * *

Шаги приближаются ко мне. Я вижу Мари, одетую в серое. Она пришла за мной. Издали я увидел ее лицо, посвежевшее, помолодевшее от ветра. Вблизи я разглядел ее веки, помятые, как шелк. Она застает меня погруженным в раздумье. Смотрит на меня, как испуганная и беспомощная мать, и одной этой заботливости, которую она мне приносит, достаточно, чтобы меня успокоить и утешить.

Я указываю ей на праздничное оживление у наших ног и говорю что-то горестное о безумии людей, которые толпами напрасно спешат в церковь и молятся там, адресуясь в пустоту… Одни веруют, другие им подражают: я поступаю, как ты.

Мари не спорит о сущности религии.

— Ах, — говорит она, — я никогда об этом серьезно не думала. Мне всегда твердили о боге, и я всегда в него верила. Но я не знаю… Я знаю только одно, — добавляет она, глядя на меня своими голубыми глазами, — самообольщение необходимо. Религия необходима народу, чтобы он мирился с горькой жизнью, с жертвами…

И она продолжает еще решительнее:

— Несчастным нужна религия, как поддержка. Может быть, это безумие, но если у них это отнять, что им останется?

Женщина покорная, уравновешенная, обыденная, какой я здесь ее оставил, повторяет: «Самообольщение необходимо». Она цепляется за эту мысль, она настаивает, она вступается за несчастных. Может быть, она говорит так для себя, а быть может, только из жалости ко мне.

И напрасно я говорю:

— Нет, довольно обольщений, довольно заблуждений. Не надо больше лжи… Не знаешь больше, куда идешь!

Она упорствует, и жест ее говорит: нет.

Замолкаю. Я устал. Но я не опускаю глаз перед показным могуществом вещей, взгляд мой беспощаден и не может не разоблачать ложность бога, лживость священников.

Мы возвращаемся молча, идем по дороге, ведущей с холма. Да, мне кажется, закон зла нашел удобное убежище среди обольщений, которым мы подвластны. Я ничто, я не больше того, чем был раньше, но теперь я несу в себе потребность истины. Я твержу себе, что нет сверхъестественных сил, что ничто не падает с неба, что все в нас и в наших руках. И, окрыленный этой уверен-

ностью, я ласкаю взглядом великолепие пустого неба, земной пустыни, рай возможного.

Мы проходим мимо церкви. Мари говорит, как будто ничего не было сказано:

— Взгляни, как пострадала бедная церковка, стена колокольни совсем разрушена бомбой с аэроплана. Кюре даже заболел. Как только он выздоровел, он всецело занялся поисками денег, чтобы восстановить свою милую колоколенку. И он уже их нашел.

Люди бродят вокруг здания и глазом измеряют зияющие увечья. Я думаю о всех этих прохожих, и о всех тех, кто будет проходить и кого я не увижу, и о ранах других колоколен. Чудеснейший из голосов звучит во мне, и я хотел бы призвать его на помощь, чтобы сказать:

— Не восстанавливайте церквей! Вы, которые придете после нас и в спокойствии, наступившем после потопа, обретете, быть может, способность яснее видеть строй вещей, не восстанавливайте церквей. Там нет того, во что вы веруете. Веками церкви были лишь темницами освободителей и чудовищной ложью. Если же вы все еще веруете, пусть ваш храм будет внутри вас. Но если ради ограниченной и злой традиции вы начнете снова закладывать камни — конец всему. Во имя спра-

ведливости, во имя света, во имя сострадания, не восстанавливайте церквей!

Но я ничего не сказал. Я понурил голову и пошел еще медленнее.

Я вижу: г-жа Маркасен выходит из церкви, усталая, глаза моргают — настоящая вдова. Я кланяюсь, подхожу, говорю осторожно о ее муже; ведь я был ему подчинен и он умер на моих глазах. Она слушает с угрюмой рассеянностью. Она отсутствует. Наконец говорит: «Я отслужила панихиду, как полагается», и умолкает, точно хочет сказать: «Не о чем говорить, и ничего не поделаешь». Полная опустошенность. И я понимаю, какое преступление сделал Маркасен, подставив себя под пули ради славы умереть.

XIX. Призраки

Мы вышли вдвоем, бесцельно. Мы идем наугад. Осенний день. Серое кружево облаков, ветер. Мертвые листья лежат на земле; другие кружатся. Стоит август. И все же это осенний день; дни не так легко поддаются дисциплине, как люди.

Шаги ведут нас в сторону водопада и мельницы. Мы не были там со времени нашей помолвки. На Мари широкий серый плащ, черная шелковая шляпа с цветным, вышитым спереди, квадратиком. У нее усталый вид, глаза покраснели. Когда она идет впереди меня, я вижу узел ее прекрасных каштановых волос.

Мы оба инстинктивно ищем знаки, которые в безумной радости вырезали когда-то на деревьях и на камнях. Мы ищем их, как рассыпанное сокровище, на причудливых щеках старых ив, возле грифов водопада, на березах, словно белые свечи стоящих у лиловой лесной поросли, на старой ели, которая не однажды укрывала нас своими темными крыльями. Многие надписи исчезли: одни стерлись от времени, другие скрылись под множеством новых надписей или испорчены,

искажены. Почти все исчезли, как исчезают прохожие.

Мари устала. Она часто садится, и, сидя, строгая, в широком плаще, она похожа на статую природы, пространства и ветра.

Мы не разговариваем. Медленно, как будто идем в гору, спускаемся к реке, к каменной скамье у стены. Расстояния изменились: скамья, как некто в тени, оказалась ближе, чем я думал. Да, это она. Розовый куст над ней высох и превратился в терновый венец.

На каменной плите мертвые листья. Они облетели с каштанов внизу. Они упали на землю и все же потом залетели на скамью.

На эту скамью, куда она пришла ко мне впервые и которая когда-то приобрела в наших глазах такое значение, что, казалось, вся декорация вокруг была создана нами, садимся мы сегодня, после напрасных поисков в природе следов нашего прошлого.

Пейзаж спокойный, простой, пустынный; он пронизывает нас дрожью. Мари так грустна и так непосредственна, что видно, о чем она думает.

Я сижу, опершись локтями о колени. Я смотрю на песок под ногами и вдруг вздрагиваю: я понял, что ищу даже на камнях, даже на песке священ-

ное доказательство — след наших ног.

Внезапно, среди торжественности долгого молчания, лицо Мари омрачается, и она начинает плакать. Слезы, ее переполняющие, — плачут всегда всем существом, — льются ручьями. И с мокрых губ, сквозь всхлипывания, слетают слова почти бессвязные, но безнадежные и дикие, как взрыв насильственного смеха.

— А-а-а! Все кончено! — выкрикивает она.

* * *

Я обнял ее, я озадачен этой скорбью, клокочущей в ее груди, в горле и сотрясающей ее, — скорбью, которая вызвана не мною и не кем-либо другим и которая существует, как божество.

Она успокаивается. Я беру ее за руку. Слабым голосом она вспоминает прошлое: «То и это… А то утро…» Она напрягает память, она ведет прошлому счет. Я говорю, как и она, тихо. Спрашиваем: «Помнишь?» — «Да». При всякой подробности, более точной, более ярко вызывающей прошлое: «Помнишь?» — отвечаем: «Вспоминаю…»

Разлука, великие события, во время которых земля совершила свой круг, отбросили далеко назад прошлое и углубили ров. Ничто не изменилось; но когда пробуждаются — видят.

И вот, когда мы вспомнили один магический летний вечер, я сказал: «Мы любили», — она ответила: «Я помню».

Вполголоса я окликнул ее, чтобы вывести из немоты, в которую она погрузилась.

Она слушает, затем говорит покорно, безнадежно:

— Мари… Так ты меня называл когда-то. Я не могу представить, что и тогда это было мое имя.

Я отвожу глаза, чтобы вспомнить…

Немного позже она вдруг говорит:

— А! В тот день мы бредили путешествиями, строили планы… Ты был со мной, сидел возле меня.

Тогда жили. Теперь не живем больше, потому что отжили. Мы, прежние, умерли, потому что теперь мы уже другие. Взгляд ее, устремленный на меня, не связывает больше двух переживших себя неизвестных — нас с ней. Взгляд ее не сглаживает нашего вдовства и ничего не меняет в событиях. А я, я слишком переполнен прозорливой простотой истины, чтобы ответить: нет, если надо сказать: да. Сейчас, рядом со мною, Мари подобна мне.

Великая горесть человеческих сердец предстает перед нами. Мы не осмеливаемся еще назвать

ее, но не осмеливаемся не обнаружить ее во всем, что мы говорим.

* * *

Мы видим — женщина поднимается тропинкой, идет в нашу сторону. Марта. Она выросла, расцвела. Проходя мимо нас, она что-то говорит, улыбаясь… Она смеется, она, игравшая роль в нашей драме. Сходство, которое преследовало некогда меня, преследует теперь Мари: мы оба, друг подле друга и таясь один от другого, полны мыслью об этом подростке, двойнике прежней Мари.

Мари вдруг признается:

— У меня была лишь молодость и красота, как и у всех женщин. Молодость моя, красота моя, вот они: Марта. А я?..

Она повторяет горестно:

— Я не стара еще, мне тридцать пять лет, но я состарилась слишком рано; у меня седые волосы, вблизи это видно; появляются морщины, и глаза теряют блеск. Я еще живу, существую, занимаю место. Но я лишь то, что я есть! Я еще жива, но будущее кончается раньше жизни. А-а! Настоящее принадлежит только молодости. Молодые лица все схожи и безошибочно узнают друг друга. Они

стирают и уничтожают все остальное, заставляют других видеть себя такими, каковы они есть, и признать свою ненужность.

Она права, она права! Когда юная девушка расцветает, она заступает место другой в мыслях, в сердце человека и превращает другую в призрак. Это правда. Я это знал… Но я не знал, что это до такой степени правда. Слишком это естественно, слишком ясно. Я не могу этого отрицать, есть вещи, о которых никогда не думаешь: так они печальны. Снова крик утверждения рвется с губ и мешает сказать: нет.

Я не мог не видеть торжества Марты и, глядя на нее, не узнать в ней Мари.

Я знаю, у нее были увлечения. Сейчас она одна. Она одна; она найдет опору… Призрак или реальность, возлюбленный невдалеке от нее. Это ослепляет. Конечно, я не думаю больше, как некогда, что эгоистический порыв насытить свое желание — своеобразный долг, и меня обуревает потребность прямоты, но все же, приди ко мне это юное существо, я чувствую: раньше всего и невзирая ни на что я весь обратился бы в безудержный крик радости.

Мари упорно возвращается к своей мысли и говорит:

— Женщина существует только любовью и для любви. Если она уже не может внушить любовь, она — ничто.

Она повторяет:

— Видишь, я уже ничто.

Она на дне своей бездны; она у предела своего женского горя. Она думает не только о себе. Мысль ее выше и глубже. Когда она говорит: «Я уже ничто», — она думает о каждой женщине, о каждой любви, о каждой возможности. А я, я только присутствую возле нее в эту минуту, и ей не от кого ждать помощи.

Я хотел бы успокоить, утешить эту женщину; она — сама женственность и простота, и она горюет здесь, тревожа меня своим присутствием; но именно потому, что она такова, я не могу ей солгать и не могу ей ничем помочь в ее горести, в ее глубокой, прозорливой горести.

— А-а, — вскрикивает она, — если бы родиться снова!

Но она все же цепляется за самообман. Я вижу по следам слез — потому, что я на нее смотрю, — она сегодня напудрилась, подкрасила губы и даже, быть может, щеки, как делала это когда-то ради забавы, прихорашиваясь назло мне. Женщина подкрашивается, пытается наперекор времени

сохраниться, закрепить себя за собой, — как похоже это на то, что делали глубокий Рембрандт и щедрый, великолепный Тициан: сохранить, спасти! Но на этот раз несколько слезинок смыли ненадежные и недолговечные ухищрения.

И она пытается обмануть себя словами, открыть в них нечто, что преобразило бы ее. Она не может пожертвовать собой: нельзя сдаться, отречься от себя — это ложь! Она, как и прошлым утром, утверждает: «Обольщения необходимы. Нет, нельзя видеть вещи, как они есть». Но ясно, что таких слов не существует.

И вот, глядя на меня в смятении, она прошептала:

— У тебя нет больше обольщений, совсем нет. Мне жаль тебя.

В эту минуту просветления она думает только обо мне, меня жалеет! В своей безутешности она черпает дары для меня.

Она замолкает. Она ищет высшей жалости; она ищет того, что мучительнее всего и проще всего. Она шепчет:

— Истина!

Истина, что любовь — неповторимая пора в жизни людей. Это то, что мы носим в себе, — нечто более смертное, чем мы сами, и все же

самое главное в нас. Мы изживаем себя задолго до своей смерти. Есть вещи… как будто их знаешь, и все же они для нас — тайна. Знаем ли мы то, во что верим! Верим в чудеса. Напрягаем все усилия, чтобы побороть себя, чтобы одурманиться. Жаждем показать все, чего достойны. Воображаем, что являемся каким-то исключением и что должно случиться нечто сверхъестественное. Страдаем, насколько хватает сил. Но спокойствие истины нас отрезвляет. Невозможное снова становится невозможным. И мы безмолвствуем, как само молчание.

До вечера просидели мы на скамье в одиночестве. В тишине и тумане руки и лица наши светились, как зарницы.

Вернулись домой. Ожидание, обед. Живем эти несколько часов. И вот мы одни в доме, лицом к лицу; мы никогда себя такими не видели и не знаем, что нам делать! Разыгрывается подлинная драма небытия. Живем рядом, действия наши согласуются, соприкасаются, смешиваются. Но все это — в пустоте. Мы не желаем, не ждем больше друг друга, не мечтаем, не счастливы. Какая-то попытка подменить жизнь движениями, издали — живые существа, а вблизи, совсем вблизи

— призраки.

Приходит час сна. Мари спит в маленькой комнате, выходящей на площадку, против моей — меньше и хуже моей: она оклеена выцветшими, пожелтевшими обоями, на которых цветы выступают неровным рельефом, под налетом пыли и пепла разных оттенков.

На площадке мы расходимся. Так повелось не с нынешнего вечера, но сегодня мы чувствуем глубину разрыва, который, в сущности, не есть разрыв.

Она раздевается. Снимает лиф. Я вижу ее шею и сквозь рубашку чуть опустившуюся грудь и полураспущенные волосы, когда-то великолепно пламеневшие, как горящая солома.

Она говорит:

— Мужчиной лучше быть, чем женщиной.

На мое молчание она отвечает:

— Видишь, нам не о чем больше говорить.

В пролете узкой двери она сказала это с особой значительностью.

Она входит в комнату. Скрывается в ней. До моего отъезда на войну мы спали на одной постели. Мы ложились рядом, чтобы раствориться в бессознательном или далеко унестись мыслями. (В жизни обыденной бывают крушения горше, чем

в драмах Шекспира; для любящих: уснуть — умереть.) Но с тех пор как я вернулся, нас разделяет стена. Искренность, которую я принес в глазах и мыслях, заменила вокруг меня — и сильнее, чем я подозревал, видимость реальностью. Мари скрывает от меня свое увядающее, отвергнутое тело. Стыдливость вернулась к ней; да, она кончает тем, с чего начала.

Она закрыла дверь. Она раздевается одна в комнате, медленно и как будто нехотя. Только свет маленькой лампы ласкает ее распущенные волосы, в которых другие еще не замечают седых волос, ледяных волос; прикасается к ним только она одна.

Дверь ее закрылась, бесповоротно, буднично, угрюмо.

На столе, среди бумаг, я наткнулся на отрывок стихотворения, найденного когда-то на улице, — клочок бумаги, выскользнувший из таинственных рук, его исписавших, и залетевший на каменную скамью. Оно кончается шепотом: «…и лишь слезы подступают к глазам, когда я вижу твою красоту и твою улыбку».

В прежние дни, читая эти строки, мы радостно улыбались. Сегодня вечером у меня действительно слезы на глазах. Что же это? Я подметил, что

есть нечто большее, чем то, что мы видели, что говорили, что перечувствовали сегодня; быть может, она и я когда-нибудь найдем слова настоящие, нужные, и нынешний день со всеми его горестями окажется не бесплодным.

XX. Культ

Я был на заводе. Я почувствовал себя таким потерянным, как будто очутился там после долгого легендарного сна. Много новых лиц. Завод увеличился втрое, вчетверо; он оброс целым городом легких построек.

— За три месяца они выстроили еще семь таких, как этот! — с гордостью говорит г-н Мьельвак.

Теперь другой директор — молодой племянник господ Гозлан. Он жил в Париже и вернулся в день мобилизации. Ведает всем старик Гозлан.

Месяц ожидания. Я жду терпеливо, как все. Домики нижнего квартала населены семьями отсутствующих. Как только туда входишь, тебе начинают рассказывать о последнем письме, толковать о войне, о которой у них неверные представления. На моей улице двенадцать домов, где уже людям нечего больше ждать и нечего говорить, как г-же Маркасен. В других без вести пропавший, быть может, вернется; там живут проблеском надежды, опора которой — пустота и молчание. Есть женщины, в каком-то спасительном несчастье они перестроили свою жизнь и

заменили мертвых — или живых другими.

Большие улицы и площади не изменились; только на круглой площади вырос лагерь бараков. Она оживленна, как прежде, и стала еще красочнее и веселее. Многие юноши из богатых и влиятельных семей отбывают военную службу в канцеляриях воинского управления, крепости, этапного пункта, мобилизационного, казначейства и других административных учреждений, — всех названий и не упомнишь. Оба госпиталя кишат священниками; та же профессия написана на лицах санитаров, связистов, сторожей. Я никогда не видел священника на передовых позициях в одежде рядового солдата, в одежде тех, кто несет наряды и борется со всеми невзгодами!

Я вспоминаю слова, сказанные мне однажды человеком, лежавшим рядом со мной на соломе в хлеву: «Почему нет больше справедливости?» На основе того немногого, что я знаю, что я видел и вижу, я чувствую, как одновременно с войной началась яростная борьба против равенства людей. И если эта несправедливость, обращавшая героев в простофиль, не совершалась открыто, то лишь потому, что война слишком затянулась и позор стал таким вопиющим, что пришлось положить

ему предел. И, по-видимому, продиктовано это было только страхом.

* * *

Захожу в кафе Фонтана. Со мной Крийон: выходя, я увидел его в стеклянной клетке — мастерской. Ему все труднее сводить концы с концами; он сильно постарел, и крепко сколоченный организм его трещит от ревматизма.

Садимся. Крийон охает и, преодолевая приступы боли, так скрючивается, что, того и гляди, ударится лбом о мраморный столик.

Он подробно рассказывает о своих немудреных делах, в которых нынче застой. Он говорит о будущем, предчувствуя угрозу полной нищеты; в это время в зал входит сержант с рыжеватыми усами и в пенсне. У этого субъекта вместо номера на воротнике белые молнии. Он усаживается недалеко от нас. Заказывает стакан портвейна. Викторина подает, улыбаясь. Она улыбается всем мужчинам, без разбора, инстинктивно, как природа.

Сержант снимает кепи, смотрит в окно, зевает.

— Скучища! — говорит он.

Он придвигается к нам, заговаривает. Говорит бойко, остроумно. Он служит в мэрии, знает много тайн и выбалтывает их. Он показывает на двух

посетителей, которые сидят в облюбованном коммерсантами уголке.

— Бакалейщик и скобяник, — говорит он. — Вот кто делает дела! В начале войны, оно и понятно, в торговле произошла заминка, вот и пришлось им, как и всем прочим, подтянуть пояс. Потом они наверстали: принялись грабить, припрятывать, спекулировать; они и теперь еще наверстывают! Сколько товаров они прячут в своих подвалах, выжидая повышения цен, обещанного газетами! Правда, у них есть оправдание: другие и покрупнее их, а поступают еще хуже! Да, можно сказать, купцы показали свой патриотизм в эту войну!

Молодой блондин откидывается на спинку стула и, вытянув ноги, упершись руками в стол, долго зевает во весь рот. И, не смущаясь тем, что его могут услышать, громко говорит:

— Как вам нравится, на днях я видел в префектуре груду подоходных деклараций, затребованных министерством. Не знаю, не читал, но я уверен, убежден (и вы, конечно, убеждены), что все эти несметные груды бумаги колонны, монументы ерунды и вранья!

Сержант, окопавшийся на должности писаря, знает обо всех всю подноготную; он развязно рассказывает скандальные истории, называет

чудовищные цифры прибылей. «В то время как добрый народ дерется...» Говорит, говорит и в конце концов заявляет, что ему, в сущности, на все наплевать, лишь бы его оставили в покое...

В зале г-н Фонтан. Женщина тащит к нему человека, который едва держится на ногах.

— Он недоедает, оттого и болен, господин Фонтан, — говорит женщина.

— Ну, что же! Я тоже болен, но оттого, что переедаю, — отвечает Фонтан добродушно.

Сержант уходит, небрежно раскланявшись.

— Он прав, этот молодчик, — говорит Крийон. — Так всегда было, так всегда будет!

Я молчу, думаю о своем. Я так долго слышал только одного себя, каждое слово меня все еще оглушает и утомляет. Но я хорошо знаю, что это правда и что патриотизм для многих всего лишь фраза или орудие. И, все еще чувствуя на себе рубище простого солдата, я хмурю брови, — я понимаю, что позор для бедняков быть обманутыми, как они обмануты.

Я смотрю на Крийона. Он улыбается, как всегда. На его широком лице, где каждый прошедший день оставляет теперь след, на его тупом лице с круглыми глазами и открытым ртом-ноликом все та же, как и раньше, добродушная улыбка!

Я думал, что покорность — добродетель; теперь я вижу, что она — порок. Оптимист — вечный сообщник преступников. Покорная улыбка, когда-то умилявшая меня, кажется мне гнусной на этом ничтожном лице.

* * *

Кафе переполнено: рабочие из города, из деревни, старики или совсем юнцы.

Зачем они здесь, эти нищие, эти горемыки? Они грязные и пьяные. Утро, а они угрюмые, потому что грязные. В свет они вносят мрак, и там, где они, — тяжелый запах.

К столику рабочих подходят трое раненых солдат из госпиталя; узнать их можно по одежде из грубого сукна, по кепи и тяжелым башмакам и по согласованным жестам, выработанным привычкой к совместному движению.

Все эти пьяницы, чем дальше, тем больше, повышают голос, приходят в возбуждение, кричат наперебой и, наконец, впадают в бессознательное состояние. Забвение всего, прострация.

За стойкой, блистающей, как серебро, — владелец кабака, бесцветный, неподвижный, точно величественный бюст. Голые руки его, бледные, как и лицо, повисли. Но вот он вытирает проли-

тое вино, и руки его увлажняются и багровеют, как у мясника.

* * *

— Забыл сказать вам, — восклицает Крийон, — на днях получены известия из вашего полка. Мелюсону разворотило голову, когда он бежал в атаку. Он был лодырем, еле ноги волочил. А в атаку бежал как одержимый. Видите: война все-таки исправляет людей.

— А Термит? — спросил я.

— Ах да, Термит… Браконьер? Давно его не видели. Пропал без вести. Надо думать — убит.

И он рассказывает о здешних знаменитостях: Брисбиль все такой же социалист и буян.

— Он да еще этот вредный Эйдо со своей показной добродетелью… — говорит Крийон. — Верите ли, так и не удалось поймать его на шпионских махинациях! Ничего нет плохого ни в его прошлом, ни в его поведении, ни в его денежных делах. Не подкопаешься к нему. Надо же быть таким пройдохой!

Я отваживаюсь подумать: а что, если все это неправда? И все же мне кажется чудовищным сразу разрушить одно из наших самых закоренелых, самых давних убеждений. Я делаю попытку:

— Он, может быть, невиновен.

Крийон подскакивает и кричит:

— Как? Вы можете допустить, что он невиновен?

Лицо его перекосилось, и он разразился страшным, непреодолимым, как столкновение волн, смехом — смехом всех!

— К слову, насчет Термита, — говорит минутой позже Крийон, — похоже, что браконьерствовал-то не он.

Раненые уходят из кабачка. Крийон смотрит, как они шагают в ногу, опираясь на палки.

— Столько раненых, столько убитых, и у них и у нас, — говорит он. — И все это люди, у которых не было заручки… Ой-ой-ой… Подумать только, чего этим беднягам не пришлось выстрадать! И посейчас все время умирают. А как-то незаметно все это, почти об этом не думаешь. Ясно, можно бы позаботиться, чтобы поменьше было убитых… Ведь бывали ошибки, промахи, все это знают. Но, к счастью, — добавляет он, опуская на мое плечо огромную медвежью лапу, — смерть солдат и промахи начальников — все это когда-нибудь позабудется. Но останется слава командира-победителя!

* * *

В квартале много говорят о дне Поминовения.

Я не жажду на нем присутствовать и смотрю, как уходит Мари. Вдруг меня охватывает желание бежать туда, как будто в этом мой долг.

Перехожу мост. Останавливаюсь на повороте Старой дороги, у кромки полей. В двух шагах — кладбище; новых могил мало: ведь неизвестно, где лежат те, что теперь умирают.

Подымаю голову. Окидываю взглядом пейзаж.

Холм, вздымающийся передо мною, облеплен людьми. Он гудит, как улей. Площадка на вершине, где белеют липы, увенчана красной эстрадой и вся сверкает: солнце, богатые наряды, мундиры, трубы оркестра.

Дальше — красный барьер. За барьером, внизу, копошится шумливая толпа.

Узнаю внушительный образ прошлого. Узнаю обрядовость, непреложную, как смена времен года, возникавшую здесь, передо мною, почти в тех же канонах и формах, столько раз с дней моего детства и юности. Так было и в прошлом году, и в прежние годы, и в прошлый век, и в прежние века.

Возле меня стоит старый крестьянин в сабо.

Одежда рваная, выцветшая от времени, прикрывает извечного человека полей. Он все тот же, каким был всегда. Он щурится, опираясь на палку; шапку он держит в руке: то, что он видит, похоже на мессу. Ноги его дрожат; он не знает, нужно ли становиться на колени.

А я, я чувствую себя помолодевшим, почти ребенком, вернувшимся сквозь круги времени к тому малому, что я есть.

* * *

С трибуны, затянутой флагами, говорит какой-то человек. Он вскидывает скульптурную голову с белыми, как мрамор, волосами.

На расстоянии я едва его слышу. Но ветер все же доносит до меня обрывки фраз. Оратор проповедует народу покорность судьбе и существующему положению. Он заклинает покончить решительно с «проклятой борьбой классов» и навеки посвятить себя благословенной борьбе народов во всех ее формах. После войны — никаких больше социальных утопий: дисциплина, величие и красоту которой, к счастью, выявила война, союз бедных и богатых под знаком национальной экспансии и победы французов во всем мире и священная ненависть к немцам — вот доблесть

французов. Запомним это!

Затем другой оратор беснуется и кричит о том, что война была победным расцветом героизма и не следует жалеть, что ее начали. Она была благом для Франции: она пробудила в нации, которую считали вырождающейся, высокие добродетели и благородные инстинкты. Народу нашему нужно было пробудиться, опомниться, закалить себя. В образных выражениях, с пафосом и выкриками, он восхваляет доблесть убийства врага и доблесть смерти от руки врага, он превозносит старинную любовь к военной романтике, которой живет душа француза.

Одинокий, не смешиваясь с толпой, присел я на придорожный столбик. Я леденел от прикосновения этих слов, этих заповедей, нанизывающих будущее на прошлое, несчастье на несчастье. Я уже все это слышал и запомнил навсегда. Целый мир мыслей рокочет во мне. Один раз я даже крикнул сдавленным голосом: «Нет!» Глухой выкрик, ущемленный протест всей моей веры против всех заблуждений, обрушившихся на нас. Это первый крик протеста, на который я отважился: я бросил его, как фанатик и как немой. Старый крестьянин даже не шевельнул головой, гранитной и землистой… И я слышу, как с подлинно

народной щедростью гремят аплодисменты.

Я поднимаюсь на холм, чтобы разыскать Мари, и смешиваюсь с толпой. С трудом пробираюсь сквозь нее. Вдруг — глубокая тишина, и все застывают на месте. Наверху появляется епископ. Он подымает указательный палец и говорит:

— Мертвые не умерли. Им уготована награда на небесах, но и здесь, на земле, они живы: они бодрствуют в наших сердцах, навеки огражденные от забвения. Они заслужили бессмертную славу и благодарность. Они не умерли. Зависти достойны они, а не сожаления.

И он благословляет народ, и каждый преклоняет голову или падает на колени. Я стою, по-прежнему выпрямившись, упрямо стиснув зубы. И я вспоминаю и говорю себе: «Неужели те, что умерли, умерли напрасно?» Если мир должен остаться таким, каков он есть, — да!

Сперва еще кое-кто стоял спокойно, затем все поддались гипнозу общего жеста. Я сам испытал, как тяжко давит на плечи склоненная поза толпы.

В кругу слушателей разглагольствует г-н Жозеф Бонеас. На секунду он снова обретает в моих глазах былое обаяние. На нем мундир офицера

муниципальной гвардии, высокий воротник скрывает обезображенную шею. Он разглагольствует. Что он говорит? Он говорит: «Надо быть дальновидным».

— Надо быть дальновидным. Единственно, что меня изумляет в милитаристской Пруссии — это ее военная организация. После войны — ибо не следует ограничивать свой кругозор нынешним конфликтом — придется у нее кое-что позаимствовать, предоставив благодушным гуманистам хныкать о всеобщем мире.

Он упрекает ораторов за то, что они, по его мнению, недостаточно энергично говорили о необходимости связать Германию экономически по окончании войны. Без аннексии — пусть будет так; но нужны тарифы, а это, пожалуй, еще выгоднее. И он доказывает, что резня и разруха способствуют процветанию страны.

Он увидел меня. Он расцветает улыбкой, идет ко мне о протянутой рукой. Я резко отворачиваюсь. Мне не нужна рука этого чужака, этого предателя.

Шут, дающий уроки дальновидности, когда во всем мире найдется всего лишь несколько великолепных мучеников, отважившихся быть прозорливцами, франт, которому мало несчастья

людей нашего времени, он готовит еще несчастье их детям; и седовласый человек, только что проповедовавший непротивление рабству и старавшийся предотвратить требования народа, натравив его на традиционные убийства; и тот, кто с высоты расцвеченных флагами подмостков бряцал в оправдание красоты и моральности бойни; и тот, кто тревожил память мертвых, чтобы игрой слов затушевать грозную правду смерти, и, жестикулируя, расплачивался с мучениками фальшивой монетой пустых слов, — все эти люди лгут, лгут. Сквозь слова я слышу их мысли: «Вокруг нас хоть потоп, и после нас хоть потоп!» Быть может, они даже и не лгут: они ничего не видят и сами не знают, что говорят.

Красный барьер поднят. Аплодисменты и поздравления. Почетные гости сходят с эстрады, оглядывают меня, видимо, говорят обо мне — о раненном на войне, идут в мою сторону. Среди них я вижу интеллигента, который говорил первым. Он покачивает белой, курчавой, как цветная капуста, головой, поводит пустыми, как у карточного короля, глазами (мне назвали его фамилию, но я забыл ее, с презрением). Я прячусь. Я корю себя за то, что так долго верил тому, что говорил Бонеас. Мне стыдно, что в прошлом

я доверял краснобаям и писателям, которые, несмотря на свою ученость, изысканность и знаменитость, были глупцами или ничтожествами. Я бегу от них, потому что я недостаточно силен, чтобы ответить им, дать отпор, крикнуть, что единственное воспоминание, достойное вечной памяти, — воспоминание о безумии и ужасах войны.

* * *

Достаточно было слов, брошенных с трибуны, чтобы глаза мои открылись и я увидел, что различие, которое я подметил бредовыми ночами в госпитале, действительно существует. Кошмар, отрывавший меня от земли, возникает из облаков и туманов, принимает формы и пускает корни: вот он, вот; и обвинение вырисовывается, четкое и трагичное, как и этот калейдоскоп лиц!

Короли — вот они. Существуют разновидности королей, как существуют разновидности богов. Но королевская власть существует везде — это сама форма старого общества: громоздкая машина сильнее людей. И все эти лица, восседавшие на эстраде — дельцы, епископы, политические деятели, крупные коммерсанты, важные чиновники или журналисты, старые генералы в

блистательных орденах, писатели в военной форме, — все они хранители высшего закона и его исполнители.

Это все те, чьи интересы противоречат интересам народа, и они хотят превыше всего, сильнее всего, чтобы ничто не менялось! Они держат вечных подданных в вечном повиновении, обманывают, ослепляют, овладевают умами, как овладевают телом, потворствуют низким инстинктам, фабрикуют религии, мишурные и ограниченные, и дают огромным событиям произвольные толкования. По их вине закон вещей опирается не на закон разума и нравственности.

Пусть некоторые из них действуют бессознательно, не все ли равно! И не все ли равно, что не всегда и не все извлекают выгоды из порабощения народа, что кое-кто из поработителей сам страдает от этого. Все же, опираясь на свою крепкую материальную и моральную сплоченность, они остаются охранителями лжи в верхах и заблуждения в низах. Они властвуют вместо королей или совместно с королями, как здесь, так и везде.

Когда-то этот праздник на солнечном холме был для меня символом гармонии человеческих интересов и идей. Сегодня, как и тогда, на одре

страдания, я вижу — действительность расколота надвое. Я вижу враждебные расы: победителей и побежденных.

Господин Гозлан точно владыка над владыками: старый стяжатель, спекуляции его легендарны, богатство его растет само собой, он получает огромные, какие душа пожелает, прибыли и держит в страхе весь округ. От вульгарного движения его руки загорается бриллиант, с живота, словно символ пола, свисает массивный золотой брелок; вокруг него генералы — самодержцы славы, улыбка которых окуплена столькими жизнями; администраторы и академики напоминают актеров на вторых ролях.

Господин Фонтан занимает на эстраде видное место. Он дремлет, шарообразные руки его возлежат перед ним. Ненасытный обжора пыхтит, рот его вымазан маслом; он с урчаньем переваривает пищу. А мясник Рампай смешался с толпой. Он богат, но одет бедно, он любит говорить: «Я бедный простолюдин; взгляните, как изношена моя одежда!» И когда сборщица «Лиги борьбы с забвением» подходит к нему, он, попав в ловушку общего внимания, растерянно роется в кошельке и достает три су: будто отдирает кусок от своего тела. Таких, как он, по эту сторону барьера мно-

го, и кажется, что они составляют одно целое с толпой, но это не так: они здесь по долгу своей профессии. Короли не носят больше эмблем своей власти и скрываются под обычной одеждой. Но все сто личин власти отмечены одними и теми же приметами, которые проступают сквозь их улыбки: алчность, хищность, жестокость.

А темная масса? Вот она топчется здесь. Дорогами и улицами пришли эти люди из деревни и города. Видишь лица, застывшие от внимания, опаленные суровым прикосновением времен года или увядшие от недостатка воздуха, скуластые, впалые щеки крестьян, лица подростков, уже изнуренные, лица женщин, рано подурневших, натягивающих на свои выцветшие кофты и поблекшую грудь крылья пелерин; и чиновников, обреченных на серенькое и безответное существование, и маленьких людей, приниженных тяжелой жизнью, — весь этот круговорот спин, плеч, рук, нищеты принаряженной или неприкрытой. Вот они массы и сила неисчислимая. Вот право и справедливость. Ибо справедливость и право не пустые формулы, но сама жизнь, максимум жизни; это — люди, все люди, всех времен и всех стран. Слова эти звучат не в абстрактной сфере. Они пускают корни в живом существе. Они

переполняют нас, ищут выхода. Когда требуют справедливости, не бродят ощупью в абстракциях, это вопль сердца всех несчастных.

Вот что такое эта толпа людей, прибитых к земле, как камни на дорогах, искалеченных страданиями, униженных нищетой, прочно прикованных тяжелой нуждой к богатым и захваченных одной и той же шестерней в вечное круговращение. К этой толпе я причисляю почти всю молодежь — кто бы это ни был, — потому что она так же покорна и невежественна. Эти смиренные образуют необозримую массу, но каждый из них сам по себе неполноценен, потому что одинок; когда смотришь на толпу, видишь величину, созданную из ничего.

Народ, придавленный темнотой, одурманенный предрассудками, сегодня шалеет от красной обивки эстрад, его зачаровывает блеск уборов, ожерелий, орденов и стекол очков, вся мишура пустоты, выпадающая по праздникам на его долю, как милостыня; ему даны глаза, чтобы не видеть, уши, чтобы не слышать, руки, чтобы не действовать, и он безумен, потому что другие думают за него… Иногда слышен шепот: «Каждый за себя!» Утопающие цепляются за эту мысль и не замечают, что она погружает их еще глубже

и топит их. А там другая половина этого множества ищет человека на земле, а человек ищет это множество в глубоких черных бороздах земли, удобренных кровью и поглощающих род человеческий… А дальше, в другой части земли, такие же эстрады, подобные тронам, подавляют такие же необъятные площади людей, и те же раззолоченные приспешники власти бросают слова, и они лишь перевод слов, сказанных здесь.

Траурные платья женщин едва заметны на этом темном полотне. Они бродят, толкутся на перекрестках, они все такие же, как и в античные времена. У них нет возраста, они не принадлежат какому-либо веку; истерзанные души в черных покровах. Это — мы.

Видение мое было правдой от начала до конца. Страшный сон сбылся наяву еще горшей трагикомедией, безысходной, тяжкой, гнетущей; в ее лабиринтах я запутался, и она поглощает меня. Вот то, что есть; значит, вот то, что будет: эксплуатация до полного изнеможения, до последнего вздоха и нерушимой смерти.

Я отыскал Мари. Когда я один, я не чувствую себя таким обезоруженным. Мы смотрим на празднество, на блестящую, победоносную шумиху, баронесса примечает меня, улыбается,

подзывает. Когда я подхожу, она в присутствии всех говорит мне что-то лестное о моем пребывании на фронте. Она в черном бархате, седые волосы уложены короной. Двадцать пять лет вассальства сгибают меня перед ней и сковывают молчанием. Я кланяюсь так же почтительно — против своей воли — Гозланам: ведь власть их надо мной неограниченна, и они дают Мари пособие, без которого нельзя было бы прилично жить. Я только человек.

Тюдор, под Артуа раненный в глаза, переминается в нерешительности. Баронесса приютила его в кухне при замке.

— Как она добра к раненым, — говорят вокруг меня. — Поистине благодетельница!

Теперь я говорю громко:

— Вот кто благодетель.

И показываю на обломок, в который превратился всем нам знакомый юноша, на жалкое, слепое двуногое существо, моргающее на свету глазами; а он, беспомощный среди праздничной сутолоки, прислонился к дереву, как к позорному столбу.

— Да, да, пожалуй… — робко бормочут люди вокруг меня и тоже моргают глазами, как будто лицо несчастного благодетеля ослепило их запоздалым светом.

Но запели фанфары, и за всплеском звуков никто не услышал слов этих людей, и даже они сами не услышали себя. Триумфальный марш несется мощным материальным порывом: «Вперед! Не спрашивай!» Присутствующие захлебываются музыкой и рукоплещут.

Празднество подходит к концу. Тот, кто сидел, встает. Фонтан спросонья беспомощно пытается надеть цилиндр, слишком тесный для его головы, он крутит его, точно привинчивает, и гримасничает. Потом он улыбается беззубым ртом. Рукопожатия, поздравления. Все эти люди крепко держатся друг за друга. Причастившись патриотизму, они вернутся к своим делам и забавам, прославленные в эгоизме, освященные, принаряженные, и смелее чем когда-либо отождествят свою личную выгоду с общим делом и скажут: «Мы!»

Брисбиль, увидев одного из ораторов, проходившего мимо нас, метнул на него свирепый взгляд, крикнул: «Брехун!» — и грубо выругался.

Заревели медные трубы; мы видели только, как он разевает рот, и г-н Мьельвак весело притоптывает. Мьельвак был признан негодным к военной службе, теперь он призывается… Этот экспедитор совсем уже высох, изможден, сгорбился от мно-

голетней работы без отдыха, он обтрепан, пальто в заплатах, побелевшие места на сукне закрашены чернилами. Он сегодня особенно жалок. Он показывает на Брисбиля, которому музыка зажала рот, и, покатываясь со смеху, кричит мне прямо в ухо:

— Он как будто поет!

Лицо г-жи Маркасен точно окаменело, постоянная мысль об утраченном исказила черты этого лица. Она аплодирует, она тоже! И лицо ее вспыхивает и гаснет, как лампа. Потому ли только, что сегодня внимание сосредоточено на ней?

Несчастная мать убитого сына жертвует обол в пользу «Лиги борьбы с забвением». Она приносит свой жалкий дар нищеты тем, кто говорит: «Помните зло не для того, чтобы избегать его в будущем, но для того, чтобы творить его по-прежнему, разжигая любой повод к ненависти! Пусть воспоминание будет заразной болезнью». Истекающая кровью и кровожадная, обуреваемая тупым эгоизмом мести, она протягивает руку к сборщице и тащит за собой девочку, которая когда-нибудь тоже будет матерью.

А вот мальчик-подмастерье пожирает взглядом мундир офицера. Он стоит, как загипнотизированный, и синева неба и великолепный кармин

отражаются в его глазах. И я понял ясно, что мишура формы не только глупа, но, что еще хуже, — вредна.

Ужасное пророчество не выходит у меня из головы:

— Я полагаюсь на слепоту народа!

* * *

Удрученный тем, что я вижу, я забиваюсь в угол.

Истина проста. Но мир уже не прост. Столько в нем всяких вещей! Каким путем истина обратит когда-нибудь свое поражение в победу?.. Как будет она исцелять когда-нибудь всех незрячих? Я страдаю от своей беспомощности, от своей слабости, оттого, что я — только я. Увы, на земле истина безгласна и душа — всего лишь подавленный вопль.

Я ищу опоры, кого-нибудь, кто избавил бы меня от одиночества. Я так одинок. Я напрягаю зрение, но возле меня один Брисбиль!

Один этот проспиртованный паяц, этот пасквиль на человека.

Вот он. Вблизи видишь, что он еще пьянее, чем казалось! Он пьян в лоск; прядь липких волос закрыла ему один глаз, другой налит вином,

щеки бурая глина, нос — печеная картошка. На перекрестке его точно вихрь подхватывает. На минуту у него хватает сил удержаться возле меня, он бросает мне в лицо гневные слова, я узнаю в них истины, в которые сам верю! С трудом управляя своими движениями, он пытается мимикой и жестами изобразить какую-то карикатуру на буржуазию: богач, толстобрюхий, как мешок с золотом, сидит на пролетариате, уткнув его носом в лужу, и — глаза в небо, рука к сердцу — провозглашает: «А самое главное — долой классовую борьбу!» Уродливый образ, порожденный одурманенным мозгом, несмотря на свою неуклюжесть, страшен. Казалось, звериным криком прорывалось сквозь него подлинное страдание.

Замолчав, Брисбиль грузно опускается на камень. Кулаком, покрытым красной, как у коровы, шерстью, он колотит по своему гнусному, точно заплеванному лицу.

— Народ не зол, — говорит он, — но глуп, глуп, глуп!

И Брисбиль плачет.

На перекрестке появляется аббат Пио в серебряном ореоле волос; у него добрая улыбка, губы его постоянно движутся, точно шепчут что-то. Он останавливается посреди нас, кивает каждому

головой и вслух ведет свои простодушные размышления. Он бормочет:

— Эй, би! Главная заслуга войны — обращение к религии. Би!..

Эти чудовищно кроткие слова бросают меня в дрожь и окончательно бесят Брисбиля. Вскочив на ноги, кузнец потрясает непослушным кулаком, пытаясь поднести его к подбородку старого священника, и ревет:

— Ты! Хочешь, я тебе скажу, кто ты… хочешь?.. Хочешь?

Какие-то юноши хватают его, оттаскивают, толкают в грудь. Он падает навзничь, ударяется головой о землю и наконец затихает. Аббат Пио воздевает руки к небу и опускается на колени возле поверженного бесноватого. У старика слезы на глазах.

Мы не успеваем сделать нескольких шагов, как я, набравшись храбрости, говорю Мари, что Брисбиль все-таки прав. Мари возмущена.

— Прошлый раз ты сам же на него набросился, — говорит она укоризненно.

Я хочу, чтобы Мари поняла меня. Я объясняю, что пусть Брисбиль пьяница и скотина, но все же он прав; он заикается, он выблевывает истину, но она создана не им, она неприкосновенна и чиста.

Он — опустившийся глашатай, но в обрывках его прозрений — голос истины… А этот святой старец, воплощенное самоотречение, неспособный обидеть мухи, — всего лишь смиренный служитель *лжи*, он прибавляет свое звено к оковам и улыбается палачам.

— Нельзя отождествлять идеи с людьми. Это ошибка, причинившая много зла.

Мари опускает голову, молчит, затем шепчет:

— Да, это правда.

Я ловлю эту короткую фразу, которой она меня одаривает. Впервые согласие на этой почве сближает ее со мной. Она носит в себе свет: она что-то понимает. Женщины, невзирая на их безрассудные порывы, восприимчивее мужчин. Затем она говорит:

— Ты слишком волнуешься, с тех пор как вернулся.

Крийон шел за нами. И вдруг он вырастает передо мною. Он чем-то недоволен.

— Я слышал все, что вы говорили, — заявляет он мне. — Должен сказать вам, что вы стали смахивать на иностранца — не то бельгиец, не то американец. Вы стали говорить неслыханные вещи, с тех пор как вернулись. Сначала думали, не рехнулись ли вы малость. К несчастью — нет.

Озлобились вы, что ли? Словом, я не знаю, какая у вас цель, но должен вас предупредить, что вы сеете смуту. Надо понять этих людей. Вы ко всему придираетесь и все в одну сторону гнете, — это всякому ясно. Вы уже не такой, как все. Если вы будете продолжать в этом же духе, вы станете чудным, как великан, а если вас начнут бояться — берегитесь!

Он стоит передо мною, его не переубедить, он закоснел в своих убеждениях. При ярком свете видно, как он постарел: лицо в морщинах, кожа обвисла, мышцы шеи и плеч действуют вяло, с трением, будто ветхие ящики.

— Ну чего же в конце концов вы хотите? Воевать-то надо, а? Надо показать бошам, где раки зимуют, для острастки.

Сделав усилие, заранее утомленный, спрашиваю:

— Ну, а дальше?

— Дальше? Дальше будут войны, понятно, но войны цивилизованные. Дальше? Ну… будущее потомство!.. Признайтесь-ка, вы собираетесь спасти мир. Верно? Когда начинаешь городить такой огород, волей-неволей порешь чушь. Будущее, о-го-го!

Я отворачиваюсь. Стоит ли пытаться втолко-

вать ему, что прошлое умерло, что настоящее проходит и что важно только будущее.

Сквозь отеческие увещевания Крийона я чувствую угрозу остальных. Это еще не враждебность, но уже — разрыв. Истина мучает лишь одного меня. Среди мира призраков не бросаюсь ли я в какую-то трагедию, пережить которую немыслимо? Окружающие меня, затонув по уши, по самые глаза в слепой покорности, уподобляющей людей скотам, подозрительно наблюдают за мной и готовы кинуться на меня. Еще немного, и меня начнут ненавидеть, как Брисбиля; до войны он был здесь единственным, кто восставал против всех и пытался говорить в лицо людям, что они идут к гибели.

* * *

Я ухожу с Мари. Мы спускаемся в долину. Затем подымаемся на холм Шатенье. Я люблю эти места, я так часто приходил сюда в былые времена, когда все вокруг меня было адом, которого я не видел. Но и теперь, когда я стал пришельцем из потустороннего мира, холм этот все еще влечет меня, сквозь улицы и дороги. Я помню его, и он помнит меня. Есть нечто, чем мы владеем сообща и что я носил с собой повсюду, в далях, как тайну.

Я слышу голос несчастного солдата: «В нашей стране поля, деревья, море, каких нет нигде», — и среди горестных моих воспоминаний эти слова сияют, как весть истины.

Мы садимся на откосе у дороги. Нам виден город, вокзал, телеги на дороге; дальше маячат три деревеньки, и чуть проглянет солнце, они видны отчетливее. Со всех сторон до нас доносятся шорохи и звуки. На перекрестке, где мы сидим, сходятся четыре дороги.

Но мироощущение мое уже не то, что прежде. Я бессознательно ищу истину во всем. Вещи надо рассматривать во всех их действиях и вплоть до их источников. В любом сцеплении фактов надо отыскать цепь причин, и мировой хаос требует объяснения столь же страшного, как и он сам.

Слабый шум. Щупленькая девочка-подросток и прыгающая возле ее ног точка. Мари смотрит и машинально, точно святоша, осеняющая себя крестным знамением, говорит: «Бедный ребенок».

Антуанетт со своей собакой. Она палкой нащупывает колею дороги. Она совсем ослепла. Никогда ее не лечили. Всё собирались, да так и не собрались. По-прежнему вздыхают: «Бедный ребенок», — и это — все.

Она так нищенски одета, что невольно опускаешь глаза, хотя она ничего не видит. Она бродит и что-то ищет, неспособная осознать зло, которое над ней свершили, допустили свершиться, — об этом никто не вспоминает. Увы, равнодушию болтунов и подлой беспечности людей только один этот маленький слепой свидетель.

Она останавливается перед нами и неловко протягивает руку, она просит милостыню. Никто о ней больше не заботится. Она разговаривает с собакой. Собака родилась на псарне при замке. Мари рассказывает: щенок был последышем, он был безобразен, большеголовый, больные глаза; но все же, когда его понесли топить, баронесса, всегда готовая сделать добро ближнему, сказала: «Отдайте его бедненькой слепой». Девочка приучает собаку быть ее поводырем; но собака молодая, ей хочется поиграть с другими собаками, она слушает одним ухом, рассеянно. Ей трудно взяться за работу серьезно, она выдергивает из рук слепой веревку. Та ее зовет, ждет.

Затем появляются прохожие и снова исчезают, надолго. Мы смотрим не на всех.

Но вот на повороте дороги, как важная особа, под серебряный звон блестящей погремушки на

шее, появляется брюссельский грифон.

Он бежит впереди и возвещает о появлении своей юной хозяйки, мадемуазель Эвелины де Монтийон, восседающей на пони. Девочка, одетая в амазонку и вооруженная хлыстом, важно проезжает мимо нас.

Она давно сирота. Она владелица замка. Ей двенадцать лет, и она миллионерша. Ее сопровождает верхом на лошади выездной лакей в парадной ливрее, похожий на актера или на камергера; а за лакеем следует размеренным шагом престарелая гувернантка, в черных шелках, явно грезящая каким-нибудь августейшим двором.

Мадемуазель Эвелина де Монтийон. Красивое имя! Я невольно думаю об Антуанетт, у которой почти нет имени, и кажется, что из всех прохожих только они две прошли мимо нас. Различие в судьбе этих двух созданий, одинаково нежных и невинных, одинаково отмеченных непорочностью и совершенной беспомощностью детства, погружает в целую драму мыслей. Нищета и богатство, обрушившиеся на эти несмышленые детские головки, незаслуженны — как одно, так и другое. Позор человеку видеть нищего ребенка. И позор человеку видеть богатого ребенка.

Меня раздражает маленькая принцесса, уже

надменная, несмотря на детский ее возраст, и я полон жалости к слабенькой жертве, которую жизнь затирает всеми своими силами, и Мари, такая нежная, добрая, проникнута, я вижу, теми же чувствами. Кто не испытал бы их перед этими двумя образами детства, мимолетно сопоставленными случаем, перед этим единым растерзанным образом? Но я борюсь с этим чувством; представление о вещах должно исходить не из чувства, а из разума. Нужна справедливость, а не милосердие. Доброта одинока. Жалость сближает с тем, кого жалеют. Она позволяет изучать его глубже, чем всех остальных, но она не может принести пользы массам. Надо исходить из познания, ясного, как свет маяка сквозь искажения и соблазны тьмы.

Так же, как я видел равенство, я вижу неравенство. Равенство в том, что должно быть, неравенство в том, что есть. От первых дней человечества идут болезни человечества. Символ злоупотреблений — наследование.

Несправедливость, искусственное и плохо обоснованное право, безрассудная власть, феерическая фантазия, внезапно возлагающая короны на головы! До сих пор существует чудовищное право мертвецов; надо выпрямить линию и рас-

сеять мрак. Каждому по его труду.

Я говорю обо всем этом Мари. Она, видимо, больше поражена моей горячностью, нежели правотой слов. Она вяло роняет: «Верно», — кивает головой, но говорит:

— Да, но никто не стал бы работать, если бы знал, что он не может свое имущество оставить близким.

Но тотчас же сама себе отвечает:

— Хотя нет…

Она приводит примеры, она берет их из нашей среды: такой-то, такой-то… Приманки заработка, или положения, или даже увлечения работой, творчеством достаточно, чтобы люди старались изо всех сил. И, наконец, эта великая перемена парализовала бы трудящихся меньше, чем устарелый обычай парализует скороспелых богачей, поднимающих богатство с земли: один из тех, кого мы знали, умер на двадцатом году от истощения, а сколько гнусных и неопровержимых примеров — комедий привязанности и любви, разыгрывающихся вокруг наследств, наследников и наследниц, — сколько всех этих мерзостей, которыми слишком древний обычай покрыл, как плесенью, души.

Мари волнуется, как будто отрадно отыскивать

истину в путанице обстоятельств и радостно выразить ее словами.

Все же она прерывает себя, она говорит:

— Всегда найдут способ обмануть.

И добавляет:

— Да, быть может, это было бы справедливо; но этого не будет.

* * *

Долина вдруг заполняется звуками. Дорогой, огибающей другой склон холма, идет, возвращаясь в казармы, полк, только что сформированный полк со знаменем. Знамя плывет краем долины, посреди бесконечной колонны, под приглушенные возгласы, в султанах пыли, в сверкающем тумане битвы.

Мы оба машинально встаем у дороги. И когда знамя проплывает мимо нас, у меня дрожит рука от привычки отдавать ему честь. Но как воздетая рука епископа не заставила меня опустить голову, так и теперь я стою неподвижно и не отдаю чести.

Нет, я не склонился перед знаменем. Оно внушает мне страх, я ненавижу его, я его обвиняю. Нет, в нем нет красоты, это не эмблема родного угла земли, это варварское пестрое пятно, которое

лишь омрачает мирный ландшафт. Это назойливый знак кровавой славы, милитаризма и войны. Над зыбью человеческой толпы оно развевается как символ превосходства и владычества: это оружие. Это не любовь к одной стране, это резкое, надменное, агрессивное различие, которое афишируют. Это орел, который в радужных мечтах завоевателей и их поклонников перелетает в чужой стране с колокольни на колокольню. Священная защита земли… Да, но если бы не было войны наступательной, не было бы и войны оборонительной. В оборонительной войне кроется та же гнусная причина, что и в наступательной войне, которой она спровоцирована. Почему не хотят этого признать? По слепоте либо двуличности упорно стараются расчленить вопрос надвое, как будто он слишком велик. Любые софизмы допустимы, когда спекулируют на крупице истины. Но земной шар населен только одной породой обитателей.

Я вспоминаю слова одного человека, — он говорил, что логика таит в себе страшные узы и что одно влечет за собой другое: трон, алтарь, меч, знамя. И в завязке и в развязке войн я прочитал, что они служат орудиями культа человеческих жертвоприношений.

* * *

Задумавшись, я прохожу несколько шагов один; Мари снова села отдохнуть.

Как наяву, я вижу перед собой унтер-офицера Марка-сена, о котором только что шла речь, простодушного героя, слепого и схематического в своей исступленной вере. Мне чудится, я его спрашиваю: «Веришь ли ты в красоту, в прогресс?» Он не знает; он отвечает: «Нет! Я верю только в славу французского народа!» — «Веришь ли ты в ценность человеческой жизни, в достоинство труда, в святость счастья?» — «Нет!» — «Веришь ли ты в истину и справедливость?» — «Нет. Я верю только в славу французского народа».

Идея родины… У меня никогда не хватало смелости поставить этот вопрос прямо. Я приостановился, мысли мои приостановились. Как, и это тоже?.. Но разум мой так же честен, как и сердце, и он толкает меня вперед. Да, и это тоже.

…В этих родных местах, в их дружественном уединении, на высоком холме, возле перекрестка, куда дорога привела меня, как неотступный спутник, неподалеку от того места, где отлогий склон как бы поджидает и манит меня, я вздрогнул, услышав, что говорю вслух и кощунствую.

Идея родины… Так часто вызывала она во мне, как некогда мысль о боге, дрожь радости и энтузиазма!..

Но ведь это во имя ее, как некогда во имя бога, человечество обкрадывает себя и старается задушить себя собственными руками, и скоро оно этого добьется. Ведь это во имя родины крупные, более полнокровные страны поработили малые страны. Ведь это во имя родины какой-нибудь кайзер, царь или Англия разжигают междоусобную войну среди народов мира. Надо поставить вопрос по-настоящему, то есть повсюду и сразу. Надо охватить одним взглядом, увидеть лицом к лицу все эти несметные множества, из которых каждое кричит: «Я!»

Идея родины — не ложная идея, но это идея ограниченная, и она должна остаться ограниченной.

Притязания национальные — открытые или скрытые — противоречивы. Народы, стиснутые границами и соприкасающиеся с внешним миром, живут неограниченными мечтаниями. Территориальные притязания наций перекрывают друг друга на карте вселенной, притязания экономические и финансовые с математической непреложностью взаимно уничтожают друг дру-

га. Значит, в целом, они неосуществимы.

Над этой схваткой истин, не признающих одна другую, не существует никакого высшего контроля, и поэтому каждый народ осуществляет свою истину всеми доступными ему средствами, всей верой, всем законом, гневом и всей грубой силой, какую он только может извлечь из себя. По милости мировой анархии существует лишь хрупкая перегородка между понятиями: патриотизм, империализм, милитаризм; эту перегородку попирают, топчут, переступают по всей линии, и быть иначе не может. Мир живых не может не превратиться в организацию вооруженной конкуренции. И это не может не повлечь за собой непрерывной смены несчастий, без надежды на какую-либо прочную добычу (ибо не было случая, чтобы завоеватели долго наслаждались безнаказанностью: история обнаруживает подобие равновесия в соотношении несправедливостей и фатальную смену гегемонии). Всюду надежда на победу влечет за собой надежду на войну. За войной следует война, за убийством — убийство.

Бессмысленная система национальных блоков, раздирающих друг друга, пожирателей или пожираемых, — имеет своих апостолов и защитников. Но, несмотря на все словесные уловки,

разглагольствования и софизмы, извлеченные из мнимых примеров или из мнимых необходимостей экономики и техники, несмотря на все ухищрения теоретиков и лжеученых, простой, грубый и победный крик жизни обращает в ничто их усилия гальванизировать или создать беспочвенные доктрины. В наши дни отрицательное отношение к слову «интернационализм» доказывает одновременно и глупость и низость общественного мнения. Человечество — вот живое имя истины. Люди похожи друг на друга, как деревья!

На всей земле, до самого конца жизни каждого, основная человеческая жалкая забота: прожить свободно свою жизнь там, где хочешь прожить; любить, жить, творить в избранном окружении, подобно людям древних провинций, из которых каждая, с утратой своих правителей, утрачивала и свою традиционную алчность, и пристрастие к взаимным грабежам.

Но если идею родины освободить от алчности, ненависти, зависти и жажды славы, если ее освободить от жажды гегемонии путем насилия, то что от нее останется?

Это не индивидуальная совокупность законов; справедливые законы не имеют окраски. Это не

солидарность интересов: материальных национальных интересов не существует, либо они нечестны. Это не расовое единство: карта стран — не карта рас. Что же остается?

Остается ограниченное, глубокое и радостное единение — нежная и трогательная любовь к языку (чужим на земле бывает только язык), личная и сложная любовь к определенным видам мысли, памятников, пейзажа — крыло крыши, голубой свод над каким-нибудь садом. Но даже эта сфера влияния ограничена. Культ шедевров искусства и мысли, этот полет духа, всегда был выше национальных загородок, — с этим согласен весь мир.

Но голоса официальные трубят, что существует иная магическая формула: великое прошлое — общее достояние каждой нации. Да, прошлое существует. Но долгий скорбный путь угнетенных народов; но закон сильных, который превращает в бесконечные и напрасные гекатомбы скромный праздник жизни; но летопись гибели существований и идей, когда новаторы неизменно обрекались на пытки, когда монархи разрешали территориями и кровью свои личные дела: союзов, разрывов, вопросов приданого и наследования, когда каждую страну беспощадно грабили, когда слабый нравственный прогресс,

благосостояние и единение кристаллизовались с мучительной медлительностью, с застоями, в страшных блужданиях по путям варварства и насилия; но это мрачное прошлое, позорное прошлое заблуждений и маний, пережитое каждой древней нацией, его надо изучить, чтобы возненавидеть, оно ведь является общим для всех наций, так же как общее у них горе, позор и скорбь. (Счастливы молодые народы: они не знают угрызений совести!)

А дары прошлого: взрыв Французской революции и драгоценные приношения мореплавателей, обогативших старый мир новыми мирами, и чудо научных открытий, каким-то вторым чудом не погубленных в самом зародыше, — разве все это не общее достояние, как и незабываемая красота развалин Парфенона, молний Шекспира, гроз Бетховена, как любовь и радость!

Я скажу то, что надо сказать: я ставлю Республику выше Франции. Франция — это мы; Республика — это мы и другие. Общие интересы должны быть поставлены выше интересов национальных, потому что они неизмеримо выше. Но если мы смеем утверждать, — как это столько раз утверждали, — что национальные интересы тождественны с общими интересами, то очевидно и

обратное, — это ясно, важно и решающе: общее благо таит в себе благо каждого. Франция может процветать, хотя бы мир и не процветал, мир не может процветать, если не процветает Франция. Взволнованный разум воссоздает из неоспоримых реальных данных, окружающих нас со всех сторон, тревожащую дилемму, которую Паскаль пытался поставить, как рычаг в пустоте: с одной стороны, я могу все проиграть, с другой — я могу все выиграть.

* * *

На холме Шатенье, среди красоты этих мест, излюбленных мною, у скрещения четырех дорог, я увидел новый мир, — не потому, что произошли новые события, но потому, что глаза мои открылись.

Я, ничтожный, вознагражден тем, что один из всех проследил заблуждение до конца, до его скрижалей, и открыл наконец всю простоту истины и ясность широких горизонтов. Откровение кажется мне еще настолько грозным, что молчание людей, скученных под крышами, внизу, у моих ног, сковывает меня и пугает. И если, кроме этого робкого осознания истины, у меня нет слов, чтобы высказать ее, то лишь потому, что каждый

из нас прожил больше, чем одну свою жизнь, и потому, что века тьмы, унижения и рабства воспитали меня, как и других, рабом.

Истина устанавливается осторожно, но она — истина, и бывают минуты, когда логика вовлекает нас в свой божественный вихрь. В этом неустроенном мире слабость некоторых парализует силу всех, и с тех пор как одного культа воинствующего бога и покорности судьбе стало недостаточно, чтобы освятить неравенство людей, в мире царит традиция, догмат слепого обожествления того, что было, и того, что есть: бог без головы. В мире, грубой силой и обманом, царят эксплуататоры.

Не знаю, что будет с нами. Надолго ли еще хватит пролитой крови, слов, потраченных на то, чтобы внушить людям искусственный идеал, чтобы принудить массы осуществлять нелепость?

Мы уходим. Впервые с тех пор, как я вернулся, не опираюсь я на Мари. Она опирается на меня.

XXI. Нет!

Торжественное открытие нашего Музея войны — знаменательное событие последних дней — переполняет Крийона радостью.

Первый зал деревянного, расцвеченного флагами здания, построенного муниципалитетом, отведен под выставку картин и рисунков любителей из высшего общества на тему войны. Много экспонатов было прислано из Парижа.

Крийон, парадно разодетый, купил каталог, продававшийся в пользу раненых, и умиляется составом участников. Он говорит о титулах, гербах, коронах и вникает в тонкости дворянской иерархии. Он даже спрашивает, глядя на картины:

— А кто же во Франции талантливее, графини или герцогини?

Он поглощен этими вопросами и, впиваясь глазами в нижний уголок картины, разбирает подписи.

В зале, соседнем с комнатой, где блистает эта выставка автографов, давка.

Вдоль стен идут подмостки, на которых кра-

суются трофеи: остроконечные каски, ранцы, обшитые рыжеватой шерстью, осколки снарядов.

В витрине полное обмундирование германского пехотинца — разрозненные вещи, на некоторых пятна.

В зале несколько раненых из запасного госпиталя в Вивье. Солдаты ходят по залам молча. Многие пожимают плечами. Но перед призраком немецкого солдата один из них пробурчал:

— У-у, свинья!

В целях пропаганды под стеклом выставлено письмо, найденное в кармане убитого врага, и рядом — перевод, подчеркнуты строки: «Когда же кончится эта проклятая война?» Письмо от жены; она сокрушалась по поводу возрастающих расходов на содержание маленького Иоганна. В конце страницы сентиментальный рисунок — наглядное доказательство нарастающей любви к мужу.

Как проста и обнажена действительность! Ни один разумный человек не станет оспаривать, что существо, личная жизнь которого вывернута здесь наизнанку и кровью и потом которого пропитаны, быть может, эти лохмотья, не несет ответственности за то, что в его руках было ружье и дуло наведено было в определенном направ-

лении. Глядя на эти останки, я думаю, и у меня создается непоколебимое убеждение, что толпа нападающая так же неповинна, как и толпа обороняющаяся.

На доске, затянутой красным, рядом с простой этикеткой: «Укрепления Блан, 9 мая» — погнувшийся французский штык.

Штык — оружие, которое вонзают в тело, — погнулся!

— Какая прелесть! — говорит молодая девушка из замка.

— Да, брат, не видно, чтобы они гнули штыки!

— Ничего не скажешь, мы первые солдаты в мире, — говорит мясник Рампай.

— Мы показали прекрасный пример всему миру, — говорит сенатор с бойкими глазами.

Вокруг штыка оживление. Молодая девушка, прекрасная и сияющая, не может от него оторваться; вот она дотрагивается до него пальцем и вздрагивает.

Она не скрывает радостного волнения.

— Я шовинистка, каюсь! Я в этом безудержна. Шовинистка и поклонница военных!

Все вокруг одобрительно кивают головами. Подобные чувства никогда не кажутся безудержными — речь идет о вещах священных.

А я, в ночи, нависшей внезапно, и в буре агоний, затихающей на земле, вижу — чудище в образе человека и в образе птицы вытягивает над ней свою пугающую голову, скальпированную короной, и хрипло клекочет: «Ты не знаешь меня, ты ничего не знаешь, но ты мне подобна».

Девушка идет дальше в сопровождении молодого офицера, ее жизнерадостный смех возвращает меня к действительности.

Каждый, кто останавливается перед штыком, говорит одно и то же, и в глазах одна и та же гордость.

— Разве они сильнее нас? Куда там… Мы их сильнее!

— У нас неплохие союзники, но их счастье, что решительный удар будет нашим делом.

— Ну, понятно.

— Да, да, одна надежда — французы. Мир дивится на нас. А мы-то всегда себя ругаем.

Я держусь в стороне. Я здесь — пятно, я точно какой-то зловещий пророк. Я несу в себе уверенность, от которой сгибаюсь, как от ноши ада: поражение, только оно одно может открыть миллионы глаз!

Кто-то говорит брезгливо:

— Германский милитаризм…

Это высший аргумент, это формула. Германский милитаризм гнусен и должен исчезнуть. С этим согласны все: сапог юнкеров, кронпринцев, кайзера, и камарилья интеллигентов и дельцов, и пангерманизм, жаждущий окрасить Европу в черное и красное, и чуть ли не скотское рабство народа германского должны исчезнуть. Германия — оплот самого остервенелого милитаризма. С этим согласны все.

Но те, которые создают общественное мнение, злоупотребляют этой солидарностью, ибо они отлично знают, что как только простодушные сказали: «Германский милитаризм», — они сказали все. Они ограничиваются этим. Они смешивают два слова, отождествляют милитаризм с Германией: если Германия потерпит поражение, этим все будет сказано. Так сочетают ложь с истиной и мешают нам разглядеть, что в действительности милитаризм существует всюду, более или менее лицемерный, либо неосознанный, но готовый пожрать все, что можно пожрать. Подстрекают общественное мнение, утверждая: «Преступление думать о чем-либо, кроме победы над врагом — Германией». Но беспристрастный должен ответить: преступление думать об этом, потому что враг не Германия, а милитаризм.

Я знаю; я уже вне власти слов, которые можно подменять одно другим.

Либеральный сенатор нарочно громко говорит о том, что народ держался молодцом, ибо в конце концов он спас нашу ставку в игре, и придется его наградить за хорошее поведение.

Другая фигура из той же группы — мануфактурист, поставщик на армию — говорит о «славных ребятах в окопах» и добавляет тише:

— Покуда они нас защищают, все хорошо.

— Они будут вознаграждены, когда вернутся, — отвечает старая дама. — Они прославятся: начальников произведут в маршалы, а их пригласят на праздник с королями.

— Ну, а многие не вернутся.

Вот несколько новобранцев призыва шестнадцатого года, скоро их отправят на фронт.

— Славные ребята, — говорит благосклонно сенатор, — но бледноваты немного. Подкормить надо, подкормить!

Чиновник из министерства подходит к сенатору и говорит:

— Наука военной подготовки еще в зачаточном состоянии. Мы принимаем спешные меры, но это организация, рассчитанная на долгий период, и полный эффект она даст только после войны. В

будущем мы начнем обучать их с детства и создадим солдат, стойких и здоровых как морально, так и физически.

Закрывают. Музыка: порыв военного марша. Какая-то женщина восклицает, что марш действует на нее, как шампанское.

Посетители разошлись. Я замешкался, чтобы посмотреть на разукрашенное флагами здание Музея войны при закате солнца. Это храм. Придаток церкви и ее подобие. Я думаю о крестах, которые с куполов церквей сгибают шею живым, связывают им руки и закрывают им глаза, и о тех крестах, которые белеют на могилах фронтовых кладбищ. По вине этих храмов народы в сомнамбулизме снова начнут в будущем разыгрывать огромную и мрачную трагедию повиновения. По вине этих храмов тирания финансистов и промышленников, самодержцев и королей (а все те, кого я встречал на своем пути — это либо сообщники, либо марионетки в их руках) завтра снова начнет расцветать на фанатизме штатских, на усталости вернувшихся, на молчании убитых. (Когда войска будут проходить под Триумфальной аркой, кто увидит — а это все же будет отчетливо видно, — что французские гробы, растянувшись на десять тысяч километров, проходят

тоже!) И флаг по-старому будет реять над своей добычей, вот этот самый флаг, который торчит над фронтоном и от дыхания ветра извивается, принимая в сумерках то форму креста, то форму косы в руках смерти!

Это несомненно. Но видение будущего волнует меня до отчаяния, до дрожи священного гнева.

Бывают минуты смятения, когда спрашиваешь себя, не заслуживают ли люди обрушивающихся на них катастроф! Я беру себя в руки: нет, не заслуживают. Но мы не должны говорить: «Я хотел бы», — мы должны говорить: «Я хочу». И то, что мы хотим, надо строить организованно, методически, начав с самого начала, раз мы дошли до начала. Надо раскрыть не только глаза, надо раскрыть руки, надо раскрыть крылья.

Это деревянное, стоящее особняком здание одной стороной примыкает к дровяному сараю, в стенах его уже никого нет…

Сжечь, уничтожить… Я подумал об этом.

Бросить свет в лицо зыбкой ночи, которая топталась здесь в сумерках, копошилась и ушла, чтобы раствориться в городе, чахнуть в каменных мешках комнат, вынашивать во мраке еще большее забвение, еще большее зло и несчастье или рождать бесполезное потомство, которое

проживет всего лишь двадцать лет!

Желание на минуту впивается в тело. Но я не поддался и ушел, как другие.

Мне кажется, что, поступив так, я поступил плохо.

Но если люди будущего, вопреки всему, не увязнут в тине, но освободятся, если они взглянут на век, в котором я умру, мудро и с эпическим состраданием, которого он достоин, они, быть может, поблагодарят меня! А у тех, кто меня не увидит, не узнает, но кого я как бы вижу и на кого я хочу надеяться, у тех я прошу прощения за то, что я ничего не сделал.

* * *

Там, где невспаханное поле переходит в пустырь, по которому я иду домой, дети бросают камни в зеркало, как в мишень, отступя на несколько шагов. Они толкаются, кричат: каждый добивается славы разбить его первым. Я снова вижу зеркало, разбитое мною камнем в Бизанси, потому что оно стояло, как человек! И когда кусок твердого света разлетелся вдребезги, они начали бросать камни в старую собаку с перебитой ногой, волочившейся, как хвост. Собака никому больше не нужна, годна только

для живодерни, и мальчишки пользуются случаем. Животное, прихрамывая, выгорбив спину с бугристой линией позвоночника, беспомощно трусит и не может обогнать булыжник.

Ребенок — это щепотка смутных, но обнаженных наклонностей. Наши затаенные инстинкты, вот они.

Я разгоняю ребятишек, они, упираясь, отступают в сумрак и злобно поглядывают на меня. Они вернутся, как шакалы. Я встревожен злобой, необузданной от рождения, я опечален судьбой старого пса. Признайся я в своей тревоге, меня не поняли бы, сказали бы: «Что с вами? Ведь вы видели столько раненых, столько убитых!» Все же есть какое-то высшее уважение к жизни. Я не отрекаюсь от разума, но право на жизнь принадлежит не только нам, но и существам более жалким, чем мы. Тот, кто без необходимости убивает животное, как бы ничтожно оно ни было, — убийца.

На перекрестке встречаю Луизу Верт. Она сошла с ума. Она по-прежнему пристает к мужчинам. Даже не знаешь, что ей нужно. Она всегда в бреду — на улицах, в своей конуре и на убогом ложе, где ее распинают пьяницы. Все ее презирают. «Разве это женщина? — говорит какой-то прохожий. —

Эта грязная, старая шкура — женщина? Помойная яма, это да». Она безобидна. Она говорит мне голосом тихим, слабым, живущим в каких-то нездешних мирах, далеко, далеко от нас:

— Я королева.

И странно — тотчас же, словно охваченная предчувствием, она добавляет:

— Не говорите: «нет».

Я хотел ей ответить. Я удержался. Я говорю: «да», как бросают милостыню, и она уходит счастливая.

* * *

Я так ценю жизнь, что жалею убитую мною муху. Глядя на крошечный трупик, едва различимый с гигантской высоты моих глаз, я не могу не думать о том, как прекрасно создана эта организованная крупица праха: крылышки ее, как две капли пространства, глаз в четыре тысячи фасеток, и я думаю об этой мухе целую секунду, для нее это — вечность.

XXII. Ясность

Сегодня вечером я выглянул в открытое окно. Как и в былые ночи, начинает обрисовываться темная, сначала неясная картина: колокольня в лощине и высоко-высоко, на холме, ярко освещенный замок — великолепная корона драгоценных камней; дальше — густая чернота покатых крыш с бесконечными трубами, четкими на светлой черноте пространств, и несколько молочно-белых окон. Взгляд, разбегаясь, теряется в этих развалинах, где скрыто множество мужчин и женщин, как всегда и везде.

Вот, что есть. Кто скажет когда-нибудь: вот, что должно быть!

Я искал, я смутно видел, я сомневался. Теперь я надеюсь.

Я не жалею о своей юности и ее верованиях. До сих пор я тратил время только на то, чтобы жить. Молодость — настоящая сила, но она редко бывает зоркой. Ей свойственно порой победное влечение ко всему новому, и воинственная сторона парадокса может ее увлечь. Но есть в новшествах ступень, недостижимая для тех, кто

мало жил. Впрочем, как знать, не научило ли грозное величие событий и не состарило ли оно то поколение, которое сегодня представляет собою трогательную границу человечества?

Какова бы ни была надежда, но если не возлагать ее на молодость, на кого же ее возлагать?

Кто начнет говорить? Видеть, затем говорить… Говорить — то же, что видеть, но это больше. Слово увековечивает образ. Мы не несем света; мы порождение тьмы, потому что вечер закрывает нам глаза и потому что, как только смеркнется день, мы бродим ощупью; наш свет — слово; истина говорит устами человеческими. Ветер слов — что это такое? Наше дыхание; не всех слов, ибо есть слова искусственные, заимствованные, не от плоти и крови говорящего, но слов из глубин: голос сердца. Крик человеческий свидетельствует о силе его источника. Крик зарождается в нас; он полон жизни, как ребенок. Крик вырывается и зовет истину отовсюду, где бы она ни была. Крик притягивает крик.

Есть еще один голос, тихий и неутомимый. Он несет помощь тем, которые не видят и не увидят друг друга, он соединяет их: голос книги, избранной, любимой книги, — раскрываешь ее, а она тебя ждала!

Раньше я был равнодушен к книгам. Теперь я полюбил их власть. Я приобрел их, сколько мог. Вот они, на полках: тайна их заглавий и глубокие, ясные мысли. Они здесь, вокруг меня, стоят рядами, как здания.

* * *

Кто выскажет истину? Но сказать еще не значит показать.

...Только что меня преследовало искушение поджечь Музей войны, и я на миг представил себе, что поддался искушению и предстал перед судьями. Я открыл бы им много истин, я доказал бы им, что я прав; из обвиняемого я стал бы обвинителем...

Нет! Я ничего не сказал бы, потому что не нашел бы слов! Я стоял бы, косноязычный, преисполненный истины, чувствуя, как она бьется во мне, задыхается, невысказанная. Мало говорить, надо найти слова. Когда человек говорит: «Я страдаю», или говорит: «Я прав», — в сущности, он ничего не сказал — он говорил только с самим собой. Не в каждом правдивом слове живет истина: слова слишком стерты, доводы слишком ускользающи и многообразны. Нужно обладать даром убедить в истине, сохранить выразительную простоту

истины, ее торжественное развитие. Не я скажу эти слова, я не умею говорить от глубины сердца. Внимание людей, как только оно настораживается, страшит меня. Одна уже нагота бумаги меня пугает и застилает глаза. Не я нанесу на эту белизну письмена, равные озарению.

Я понимаю, на чем основана тоска по великому трибуну, и могу только мечтать о появлении того, кто огромному кризису человеческих потребностей подведет итог в одном произведении, где ничто не будет забытым, где каждая запятая будет на месте, кто провозгласит хартию нашей эпохи и нам покажет ее. Да будет благословен этот упроститель, в какой бы стране и когда бы он ни появился (но все же, в глубине сердца, я хотел бы, чтобы родным языком его был французский).

Еще раз возникает во мне тот, кто впервые предстал предо мною призраком зла и кто водил меня по аду. Когда агония душила его и голова его почернела, как голова орла, он предал анафеме шедевры искусства; я не понял его тогда, но понимаю теперь. Он боялся их вечности, той страшной силы, которой они обладают, запечатлевшись однажды в глазах какой-нибудь эпохи: этого нельзя ни убить, ни отбросить. Он говорил, что Веласкес, который был только царедворцем,

пережил Филиппа IV, переживет Эскуриал, переживет даже Испанию и Европу. Он сравнивал мощь художника — короли сумели приручить искусство во всем, кроме его величия, — с мощью поэта-глашатая, бросающего слово свободное и справедливое, не умирающее никогда, книгу, мечущую искры в тьму человеческую. Голос умирающего принца полз по земле и отбивал глухими ударами: прочь все эти вопли о свете!

* * *

А мы, — что нам сказать? Разбирать вслух, по складам, великую хартию, которую мы смиренно провидели. Обратиться к народу всего мира: проснись, познай себя, взгляни и пойми и, перестроив свое искаженное рабством сознание, реши, что надо перестроить все!

Перестроить все, сверху донизу. Да, прежде всего перестроить. Если хартия человечества не создаст все заново, она ничего не создаст.

Преобразования, которые необходимо совершить, будут утопическими и непрочными, если не охватят всего. Реформы национальные лишь обрывки реформ. Никаких полумер. Когда надо в последний раз попытаться остановить земной

шар на той страшной крутизне, по которой он катится, полумеры смешны: они слишком ничтожны для этого. Никаких полумер: ведь нет же никаких полуистин. Делай все, или ты ничего не сделаешь.

А самое главное, остерегайся преобразований, которые исходят от королей. Это самое важное, что тебе необходимо внушить. Либеральные начинания владык, превратившие мир в то, что он есть, — только комедия, только средство парализовать будущий прогресс, восстановить под поверхностной штукатуркой прошлое.

Не слушай также никогда громких слов, которые они изрекают, слов, буквы которых проступают скелетами на фасадах зданий. Некоторые официальные декларации, полные разглагольствований о свободе и праве, были бы прекрасны, если бы действительно говорили о том, о чем они говорят. Но сочинители их не вкладывают в эти слова подлинного их смысла. Они не способны ни желать, ни даже понять того, что они твердят. Единственный неоспоримый признак поступательного движения идей — это то, что есть вещи, о которых сегодня уже не осмеливаются не упоминать, вот и все. Партий не так много, как кажется. Они кишат, их так же много, как и близоруких

людей, но их, в сущности, только две: революционеры и консерваторы; каждый политический акт неизбежно приводит к одной или другой, и все правители склонны действовать в духе реакции. Будь недоверчив и никогда не забывай, что стоит известные утверждения услышать из известных уст, как в них следует немедленно усомниться. Когда бывшие, вылинявшие республиканцы берут твое дело в свои руки, знай — дело это не твое. Будь недоверчив, как лев.

Не спускай глаз с истины нового мира. Социальная истина проста. Сложно то, что над ней: горы заблуждений и предрассудков, накопленных веками господства тиранов, паразитов и краснобаев. Убежденность в этом действительно бросает свет на долг человека и указывает способ его выполнения. Кто хочет докопаться до истины, тот должен упрощать: нужна истина до грубости простая, иначе все погибло. Пренебреги тонкими оттенками, различиями риторов и присяжных врачевателей. Скажи громко: вот, что есть; и затем: вот, что должно быть.

Народ всего мира, ты никогда не достигнешь этой простоты, если не добьешься ее сам. Если ты хочешь ее иметь, создай ее сам, своими руками. А я даю тебе талисман, слово необыкновенное и

магическое: ты можешь!

Чтобы судить о существующем положении вещей, поднимись до его источников, проследи весь путь и пойми, куда он ведет. Самая благородная и самая плодотворная работа человеческой мысли: начисто отметать навязанные понятия — будь то интересы или идеи — и обнаруживать сквозь видимость вечные основы. Тогда ты ясно увидишь началом всех начал свое предвечное начало, и понятия справедливости и равенства предстанут пред тобой подобием твоей собственной силы.

Сильный этой высшей простотой, скажи: я народ народов, и, значит, я царь царей, и я хочу, чтобы верховная власть всюду принадлежала мне, потому что я сила и творческий труд. Не хочу деспотов, явных или скрытых, больших или малых; я знаю, я больше не хочу. Неполное освобождение 1789 года пострадало от королей. От полного освобождения пострадают короли.

Но короли не только костюмированные монархи в бутафории дворов. Конечно, у народов, которыми управляют короли, больше традиций, и они больше принижены, угнетены, чем другие. Но есть страны, где ни один человек не может встать и сказать: «Мой народ, моя армия», — и все же там осуществляются, хотя и более замаски-

рованно, те же монархические традиции. Есть и другие страны, где появляются крупные фигуры борцов, но до тех пор, пока не будет опрокинута совокупность вещей (всегда совокупность, священная совокупность!), люди эти не в силах будут сделать невозможное, и добрая воля их останется в одиночестве, непризнанной. И разве важна тебе, при этой великой неотложной необходимости прогресса, дозировка элементов, образующих старый строй мира? Необходима полная перестройка. Все твои правители, неизбежно и крепче, чем ты думаешь, держатся друг за друга, они объединены старой машиной канцелярий, министерств, дипломатии и железным раззолоченным церемониалом; и если бы даже они затеяли друг с другом войну, между ними есть неизгладимое сходство, которого ты больше не хочешь терпеть. Разбей цепи, уничтожь все привилегии и, наконец, скажи: да будет равенство.

Человек равен человеку. Иными словами, ни один человек не обладает преимуществами, которые ставили бы его выше общего закона. Речь идет о принципе равенства, а не о законных различиях, основанных на труде, таланте либо высокой нравственности. Равенство касается

только прав гражданина, а не человека в его сущности: ты не творец живого существа; ты не лепишь живую глину, как это сделал бог в Библиях; ты устанавливаешь законы. Индивидуальная ценность, на которую ссылаются иные, условна, неустойчива, и никто не может о ней судить. В обществе, разумно организованном, она культивируется и приобретает значение автоматически. Но эта великолепная анархия человеческой ценности не может, на первых порах устроения общества, заменить явное для всех равенство.

Бедняк, пролетарий ценнее любого человека, но не священнее его. Перед лицом истины все трудящиеся и все честные люди одинаково ценны. Но на земле полтора миллиарда эксплуатируемых бедняков. Они — право, потому что они массы. Новый порядок нельзя установить до тех пор, пока не будет уничтожено до основания старое положение вещей: надо уничтожить эксплуатацию человека человеком, уничтожить класс собственников, касту правящих, уничтожить все это путем построения общества трудящихся.

В социальном отношении женщины равны мужчинам безоговорочно. Существа, излучающие тепло и рождающие людей, не созданы для

того лишь, чтобы одаривать теплотой своего тела. Справедливо, чтобы общая работа разделялась ими, шла на убыль и приобретала гармонию в их руках. Справедливо, чтобы судьба человечества опиралась также и на силы женщин. Какой бы опасностью ни грозили вначале их инстинктивная любовь к блеску, легкость, с которой они все окрашивают чувством, и власть над ними импульсов, все же легенда о их неполноценности лишь туман, который ты рассеешь, шевельнув пальцем. Раскрепощение женщин в порядке вещей, как в порядке вещей ждать в надежде сердца того дня, когда спадут с женщин социальные и политические цепи и свобода человеческая сразу вырастет вдвое.

Народ всего мира, установи равенство до пределов твоей великой жизни. Установи Республику республик, — иными словами, установи на всем пространстве, где ты дышишь, общественное и открытое руководство внешними делами, установи единый закон: о труде, производстве, торговле.

Так называемая нераздельная общность национальных интересов распадается при малейшей попытке это проверить. Существуют только интересы индивидуумов и единый общий ин-

терес. Когда говорят «я» — это значит: я; когда говорят «мы» — это значит: люди. И до той поры, пока единая Республика не охватит весь мир, всякие национальные раскрепощения будут лишь зачинаниями и сигналами подлинного освобождения.

Итак, ты разоружишь страны, ты придашь идее родины то социальное значение, которое она должна иметь. Ты уничтожишь военные границы и экономические и торговые заставы, — они еще вреднее. Протекционизм вносит насилие в развитие труда; в нем гнездится та же гибельная неустойчивость, что и в милитаризме. Ты уничтожишь все то, что оправдывают во взаимоотношениях народов и что в отношениях между индивидуумами носит название убийства, грабежа, конкуренции нечестными средствами. Ты уничтожишь конфликты не столько прямыми мерами надзора и порядка, сколько уничтожением причин, порождающих конфликты. А главное, ты их уничтожишь потому, что делать это всюду будешь ты, один ты: ведь силы твои неодолимы и твое ясное сознание не осквернено корыстью. Ты не объявишь войны самому себе.

Тебя не запугают древние заклинания и храмы. Твой гигантский разум, перестроив понятие

родины, свергнет идола, душившего своих почитателей. В последний раз ты отдашь честь знаменам. Старому энтузиазму, баюкавшему ребячество дедов, ты спокойно скажешь решительное «прости». В прошлом во времена кровавых бедствий бывали трогательные часы. Но истина выше всего, и на земле так же не существует границ, как и на море!

Мировая Республика есть неизбежное следствие равенства права на жизнь. Исходя из понятия равенства, приходишь к идее интернационализма. Если к этому не приходишь, значит, путь мышления шел не по прямой. Те, которые исходят из противоположных понятий: бог, божественное право пап, королей и дворян, авторитет, традиция, — приходят фантастическими путями, но без погрешностей против логики, к противоположным выводам. Надо твердо запомнить, что в наше время существуют лишь две противостоящие доктрины. Все подчинено разуму, который искалеченное и раненное в глаза человечество обоготворило в облаках.

* * *

Ты уничтожишь право мертвецов, преем-

ственность какой бы то ни было власти по праву наследования — право наследования на всех своих ступенях несправедливо: в него внедряется традиция, это — покушение на строй труда и равенства. Труд — великий гражданский долг, который каждый и каждая, без исключения, должны выполнять под страхом морального падения. Это разделение труда сделает труд посильным для каждого и не даст ему пожирать человеческие жизни.

Ты не допустишь права собственности государств на колонии, испятнавшей карту обоих полушарий и не оправдываемой никакими разумными основаниями, и ты уничтожишь это коллективное рабство. Ты сохранишь существование частной собственности лишь в малых размерах — в форме трудовой собственности живых. Это будет вполне справедливо, потому что в нашем человеческом состоянии потребность в собственности нам свойственна и потому что бывают случаи, когда право собственности неотъемлемо от самого права; и любовь к вещам такое же чувство, как и любовь к живым существам. Цель социальной организации не в том, чтобы уничтожить чувства и радость жизни, но в том, чтобы способствовать их расцвету, в пределах,

не причиняющих ущерба другим. Справедливо наслаждаться тем, что явно заработано своим трудом. И уже одна эта разумная постановка вопроса обрушивается на старый порядок вещей как проклятие.

Изгони повсюду и навсегда дурных учителей из школы. Образование постоянно обновляет цивилизацию. Интеллект ребенка — большая ценность, он должен быть под охраной общества. Старшие в семье также не вольны обрабатывать по своей прихоти неведение, с которым молодость вступает в жизнь; никто не давал им этой свободы против свободы. Ребенок не принадлежит душой и телом родителям; ребенок — личность, и уши терзает кощунство — пережиток деспотических римских традиций — кощунство тех, кто говорит о своих убитых на войне сыновьях: «Я отдал своего сына». Живое существо нельзя отдать — мыслящее существо прежде всего принадлежит разуму.

Ни одной школы, где насаждают идолопоклонство, где будущие воли выращиваются в страхе несуществующего бога, в традициях и шовинистическом политеизме, не должно больше существовать. Нигде ни единого учебника, в котором все самое ненавистное и унизительное

в прошлом народов наделяется невесть каким обаянием. Только всеобщие истории, только общие черты и вершины, свет и тени хаоса, вот уже шесть тысяч лет отмечающие путь двух миллиардов людей.

Ты уничтожишь повсюду публичное исповедание культов, ты упразднишь черные одежды священников. Пусть каждый верующий хранит свою религию в себе, и пусть священники остаются в пределах стен. Терпимо относиться к заблуждению — еще большее заблуждение.

Те, которые объявили мораль Христа своим достоянием и сфабриковали религию, — отравили истину и, помимо того, за две тысячи лет доказали, что они свои кастовые интересы ставят выше священного закона добра. Никакие слова, никакие цифры не смогут никогда дать представление о том, какое зло церковь причинила людям. Когда она сама не угнетала и силой не поддерживала мрак, она поддерживала своим авторитетом угнетателей и освящала их действия; и поныне еще она всюду тесно связана с теми, кто не хочет власти неимущих. Как шовинисты напевают о сладости семейной колыбели, подготовляя войны, так и церковь взывает к поэзии Евангелий; но церковь стала аристократической

партией, подобной другим партиям, и каждое крестное знамение — пощечина Христу. Любовь к родной земле превратили в национализм, а из Иисуса сделали иезуита.

Только величие Интернационала позволит наконец вырвать с корнем закоснелые заблуждения, умноженные, запутанные и упроченные национальными перегородками. Будущая хартия — приметы которой смутно намечаются, и предпосылками которой служат великие моральные принципы, поставленные на свое место, и опора которой коренится в массах, тоже поставленных наконец на свое место, — принудит газеты использовать все свои возможности. Говоря языком юным, простым и скромным, она объединит народы — пленников самих себя. Она уничтожит гнусную путаницу судебной процедуры с ее травлей человека и даже изгонит из суда адвокатов, вносящих в ясный и простой механизм правосудия дипломатию и мелодраматические приемы краснобайства. Справедливый должен решиться сказать, что в судах нет места милосердию: величие логики приговора, осуждающего виновного ради устрашения каждого потенциального преступника (но не ради какой-либо иной цели), — выше самого прощения. В силу

этой хартии закроют кабаки, запретят продажу ядов, обуздают торгашей, готовых погубить в мужчинах и юношах красоту будущего и царство разума. И вот какая представляется глазам моим заповедь, высеченная на скале: твердый закон, обязанный карать неуклонно всех расхитителей общественной собственности, всех крупных и мелких циников и лицемеров, которые по своему положению или профессии эксплуатируют несчастье или спекулируют на нужде. Надо выработать новую иерархию ошибок, проступков и преступлений: истинную.

Никто не подозревает, какую можно создать красоту! Никто не подозревает, какую пользу могли бы извлечь из расточаемых сокровищ, каких высот может достичь возрожденная человеческая мысль, заблудшая, подавленная, постепенно удушаемая постыдным рабством, проклятием заразительной необходимости вооруженных нападений и оборон и привилегиями, унижающими человеческое достоинство; никто не подозревает, что она может открыть в будущем и перед чем преклонится. При верховной власти народа литература и искусство, симфоническая форма которых едва еще намечается, приобретут неслыханное величие, как,

впрочем, и все остальное. Националистические группировки культивируют узость и невежество и убивают самобытность, а национальные академии, авторитет которых покоится на неизжитых суевериях, — лишь пышное обрамление развалин: куполы Институтов, вблизи как будто величественные, просто смешны, как колпаки, которыми гасили свечи. Надо расширять, интернационализировать неустанно, без ограничения, все, что только возможно. Надо разрушить преграды, пусть люди увидят яркий свет, великолепные просторы; надо терпеливо, героически расчистить путь от человека к человечеству: он завален трупами идей, и каменные изваяния заслоняют дугу далекого горизонта. Да будет все это преобразовано по законам простоты! Существует только один народ, только один народ!

* * *

Если ты это сделаешь, ты сможешь сказать, что в тот момент, когда ты сорганизовал свои силы и принял решение, ты спас род человеческий, насколько это возможно на земле. Ты не кузнец счастья. Софисты не запугают нас, проповедуя покорность и бездействие, под тем предлогом, что никакие социальные перемены не принесут

счастья; пусть их играют этими серьезными вопросами. Счастье — часть внутренней жизни: это сокровенный, личный рай, нечаянное или гениальное озарение, неприметно рождающееся из близости людей, и это также — чувство славы. Нет, оно не в твоих руках и, значит, ни в чьих. Но чтобы построить укромный дом счастья, человеку необходима спокойная и организованная жизнь; а смерть — страшное соприкосновение преходящих событий с глубинами нашего «я». Мир внешний и мир внутренний различны по своей природе, но они связаны покоем и смертью.

Чтобы мудро завершить великий труд, чтобы, как статую, изваять все здание, не строй ничего в расчете на невозможные изменения человеческой природы, не жди ничего от сострадания.

Милосердие — преимущество, оно должно исчезнуть. Впрочем, как нельзя любить незнакомцев, так нельзя и сострадать им. Мысль человеческая создана для бесконечности; сердце — нет. Человек, переживающий по-настоящему, сердцем, а не только разумом, страдание людей, которых он не видит и не знает, — это человек с болезненной чувствительностью, и служить примером для обобщения он не может. Оскорбление

разума терзает мысль более плодотворно. Как ни проста социальная наука, она — геометрия. Не допускай, чтобы слово «гуманность» приобретало сентиментальный смысл, и скажи, что проповедь братства и любви — напрасна; слова эти теряют силу от столкновения с большими числами. Человечество нельзя прижать к своему сердцу. В беспорядочном смешении чувств и идей всегда скрыта утопия. Солидарность и взаимность — интеллектуальны. Здравый смысл, логика, методическая суровость, нерушимый порядок, неуклонное, беспощадное совершенствование ясности!

Взволнованный, из глубины своей бездны, я громко произнес эти слова в тишине. Моя великая мечта слилась, словно в Девятой симфонии, с голосом самой судьбы.

* * *

Я облокотился на подоконник. Смотрю в ночь, нависшую над землей и надо мной, хотя я — только я, а она — ночь бесконечная. Мне кажется, что я все теперь понял. Вещи связаны между собою; они освободят одна другую, и все придет в порядок.

Но я снова испытываю горчайшую из своих

тревог: я боюсь, что массы удовольствуются мелкими подачками, которые им бросят повсюду… Чтобы помешать народу сначала понять, а затем хотеть, враги вооружатся против него своим цепким и изощренным могуществом. В день победы его опьянят и ослепят, вложат в его уста крик, почти сверхчеловеческий: «Мы освободили человечество, мы — солдаты Права!» — не разъясняя, какие огромные обязательства и созидающий гений таит в себе подобное утверждение, какое оно таит уважение к великим народам, кто бы они ни были, и благодарность к тем, которые стараются освободиться. Снова вернутся к своей извечной миссии: ослаблять великие сознательные силы и отвлекать их от цели. Начнут взывать к единению, миру, терпению, оппортунизму, указывать на опасность слишком быстрых перемен или на опасность вмешиваться в дела соседей, прибегнут к любым софизмам в этом же духе. Постараются высмеять и опорочить тех, кого подкупленные газеты называют мечтателями, фанатиками, предателями; снова пустят в ход все свои старые талисманы. Несомненно, предложат установить международное право и под модными словами протащат официальные пародии на справедливость, которые когда-нибудь рух-

нут, как театральные декорации, ибо это будет урезанное право с несколькими ребяческими оговорками и чудовищным попустительством, похожее на кодекс чести бандитов. Зло, обезвреженное в странах явной автократии, будет созревать в мнимых республиках, в странах, будто бы либеральных, маскирующих свою игру. Уступки народу дадут возможность обрядить в новые одеяния старую, прогнившую автократию и продлить ее существование. Один империализм сменит другой и заклеймит железом будущие поколения. Солдат, из какой бы страны ты ни был, память о тебе попытаются стереть или использовать, исказив истину; но забвение истины — первая форма твоего несчастья! Да не будут против тебя ни поражение, ни победа. Ты выше и того и другого, потому что ты — весь народ.

* * *

Небеса населены звездами; гармония эта окрыляет разум и влечет мысль к волнующей идее целого, но что она дарует нам — надежду или сомнение?

Мы в сумерках мира. Надо знать, проснемся ли мы завтра. Нам помогает лишь одно: мы знаем,

из чего создана ночь. Но сумеем ли мы сообщить нашу ясную веру, ведь глашатаи ее всюду в меньшинстве, и даже самые обездоленные жертвы ненавидят и называют утопией единственный неутопический идеал! Общественное мнение, переменчивое и покорное воле ветров, скользит по поверхности народов и наделяет гибкими убеждениями и гибкой совестью большинство людей. Оно обрушивается на глашатаев и кричит о святотатстве, потому что ему открывают, в его же собственных смутных мыслях, то, что оно не сумело в них разглядеть; оно кричит, что мысль его искажают, но нет — мысль расшифровывают.

Я не боюсь, как боятся многие и как я сам когда-то боялся, быть поруганным и растерзанным. Я не ищу для себя самого ни уважения, ни признательности. Но я не хотел бы, чтобы люди, если я дойду до них, прокляли меня. Почему же не хочу, если я не боюсь? Единственно потому, что я убежден в своей правоте. Я убежден в принципах, которые вижу в истоках всего: справедливость, логика, равенство — все это величайшие человеческие истины, воплощенные в недрах жизни, в эксплуатируемых массах, и контраст между ними и «истиной», осуществляемой теперь, —

чудовищный, и я хотел бы призвать всех вас и передать вам, как приказание и как мольбу, эту уверенность, переполняющую меня трагической радостью. Нет нескольких способов достигнуть этой уверенности и связать жизнь с истиной: есть только один способ — прямота. Перестроить порядок вещей верховным контролем мысли и отдаться безграничной смелости разума. Я такой же человек, как и другие, такой же, как вы все. Вы, которые, слушая меня, покачаете головой и пожмете плечами, мы двое, мы все — почему мы так чужды друг другу, когда мы вовсе не чужие?

Я верю, невзирая ни на что, в победу истины. Я верю в значимость отныне ощутимую, тех немногих людей, подлинно братьев, которые во всех странах мира, среди свистопляски разнузданных национальных эгоизмов, стоят неколебимо, как великолепные статуи права и долга. Отныне я верю, я убежден, что новое общество будет построено на этом человеческом архипелаге. Даже если нам суждено страдать еще долгое время, идея, как и сердце человеческое, уже не приостановит своего биения, не перестанет жить, и волю, уже проявляющую себя, нельзя будет сокрушить.

Я возвещаю неминуемое пришествие мировой Республики. Ни временная реакция, тьма и тер-

рор, ни трагическая трудность всколыхнуть мир сразу и всюду не помешают осуществлению истины Интернационала. Но если силы тьмы окажут упорное сопротивление, если предостерегающие голоса затеряются в пустыне, о, народы, неутомимые жертвы позорной Истории, я взываю к вашей справедливости, к вашему гневу. Над расплывчатыми дискуссиями, заливающими кровью побережья, над пиратскими нападениями на корабли, над обломками кораблекрушений и рифами, над дворцами и монументами, воздвигнутыми на песке, я вижу приближение великого прилива. Истина революционна лишь потому, что заблуждение беспорядочно. Революция — это порядок.

XXIII. Лицом к лицу

Сквозь стекло — я часто подхожу к окнам — смотрю на улицу. Затем иду в комнату Мари, оттуда видны поля. Комната узенькая; проходя к окну, я задеваю тщательно прибранную постель, и она на секунду занимает мою мысль. Кровать — вещь, которая никогда не кажется холодной, неодушевленной; она живет отсутствием.

Мари хлопочет внизу, я слышу, как она передвигает мебель, задевает ее щеткой и стучит совочком о ведро, когда сбрасывает сор. Общество плохо организовано, если обрекает почти всех женщин на положение служанок. Мари не хуже меня ничем, но она растрачивает жизнь, убирая мусор, сгибаясь над пылью, вдыхая горячий жар и копоть в темных закоулках дома. Я находил все это естественным. Теперь я думаю, что это неестественно.

Я не слышу шума, Мари кончила уборку. Она подымается наверх, подходит ко мне. Мы ищем друг друга и ловим каждую минуту, чтобы быть вместе; так повелось с того дня, когда нам ясно стало, что мы друг друга не любим больше!

Опершись о подоконник друг подле друга, смот-

рим, как угасает день. Видны дома на окраине города, у выхода в долину: низенькие домики за оградами, дворы, сады, застроенные лачугами. Осень вернула садам прозрачность и, обнажив деревья и живые изгороди, обратила их в ничто; все же, здесь и там, она великолепно расцветила листву. Не пейзаж нас увлекает. Нам нравится отыскивать каждый домик и пристально его разглядывать.

Домики предместья невелики и небогаты; но вот над тем домиком вьется дым и наводит на мысль об умершем дереве, оживающем в очаге, и о рабочем, сидящем пред очагом; наконец-то руки его познали отдых. А вот этот, хоть и неподвижен, ходуном ходит от детворы: ветерок рассыпает ее смех и как будто с ним играет; на песчаных проталинах частые следы детских ног. Провожаем глазами письмоносца, который возвращается домой, он справился героически с работой и завершает свой долгий путь; целый день разносил он письма тем, кто их ждет, а теперь несет самого себя своим близким, которые также его поджидают: семья знает цену отцу; он толкает калитку, входит в палисадник, наконец-то у него пустые руки!

Вдоль старой серой стены бредет старик Эйдо,

неутешный вдовец; неотвязная, невеселая мысль, которой он одержим, замедляет его шаг; и он занимает больше места, чем, казалось бы, должен был занимать. Навстречу ему идет женщина; в сумерках быстрая, легкая поступь изобличает и подчеркивает ее молодость. Это Мина. Она идет на свидание. Она накрест стянула косынку и прижимает ее к сердцу; чувствуешь, как расстояние ласково сокращается перед ней, а она бежит, чуть согнувшись, и улыбается сочным ртом.

Сумрак постепенно сгущается. Теперь видны только белые предметы: новые части домов, стены, широкая дорога, связанная с другой тропинками, исчертившими черное поле, глыбы белых камней, похожих на кротких овец, водопой, отсвет которого неожиданно белеет в темной низине. Затем видны только светлые предметы: пятна рук, лиц, — вечером лица видны долго, дольше, чем полагалось бы по логике вещей, и кажутся фантастическими.

Сосредоточенные, возвращаемся мы в комнату, садимся: я на край кровати, она — на стул у раскрытого окна, спиной к перламутру неба.

Она думает о том же, о чем и я, потому что, обернувшись ко мне, говорит:

— А мы?..

* * *

Она вздыхает. Ее преследует какая-то мысль. Она хочет молчать, но ей надо высказаться.

— Не любим больше, — говорит она, подавленная огромностью того, о чем она говорит. — Но любили, и я хочу снова увидеть нашу любовь.

Она встает, открывает шкаф, достает ящичек, садится. Она говорит:

— Вот они! Вот наши письма. Наши письма, наши чудесные письма! — говорит она. — Можно смело сказать — они не сравнимы ни с чьими… Они известны нам наизусть, но хочешь, мы их перечитаем? Читай ты, еще не так темно, дай мне взглянуть, как мы были счастливы.

Она протягивает ящичек, где хранятся письма, которые мы писали друг другу, когда были влюблены.

— Вот, — говорит она, — твое первое письмо. Первое ли? Да… Нет… Что ты там говорил?

Беру письмо, читаю про себя, затем вслух. В письме говорилось о будущем: «Как мы будем счастливы позже!»

Она придвигается, наклоняет голову, читает дату и тихо говорит:

— Тысяча девятьсот второй… Тринадцать лет,

как это письмо умерло… Так давно… Нет, недавно… Неизвестно, что должно было быть. Читай другое…

Я перебираю письма. Скоро открывается, как ошибались мы, говоря, что они известны нам наизусть. На одном нет даты: только день — понедельник; тогда казалось, этого было достаточно. Сейчас это — анонимное письмо, затерявшееся среди других и ненужное.

— Не помню больше наизусть, — сознается Мари. — Вспомнить себя… Если бы можно было все это сохранить в памяти!

* * *

Чтение это напоминало чтение книги, уже прочитанной когда-то. Оно не могло воскресить прилежных и отрадных часов, когда двигалось перо, а вместе с ним слегка и губы. Беспорядочно, с глубокими провалами, оно воссоздавало события, пережитые на земле другими: другими, которыми были мы. В одном из писем Мари говорилось о будущих ласках. Она пробормотала: «Та, что писала это письмо, осмелилась говорить так!» Но она не покраснела и не смутилась.

Затем она покачала головой и сказала жалобно:

— Чего только не носим мы в себе помимо нашей воли! Какая сила должна быть в человеке, чтобы настолько все позабыть!..

Она начинала смутно угадывать глубину пропасти и отчаиваться. Вдруг она перебивает:

— Довольно! Немыслимо перечитывать. Неизвестно, что там еще написано. Довольно! Не отнимай у меня обольщений.

Она говорила, как та жалкая сумасшедшая бродяжка, и совсем тихо добавила:

— Утром, когда я открыла ящичек с письмами, оттуда вылетела моль.

На минуту прекращаем чтение и смотрим на письма. Прах жизни! То, что вспоминаешь, — почти ничто. Воспоминания переживают нас, но они тоже живут и умирают. Эти письма, эти засохшие цветы, эти обрывки кружев и бумаги — что это? Что остается вокруг этих суетных предметов? Мы оба держим ящичек. Так мы целиком умещаемся в ладонях наших рук.

* * *

И все же продолжаем читать. Один конверт надорван… Я было его отбросил, но почувствовал, что все это неповторимо, мне жаль письма, и я его спасаю.

Продолжаем читать.

Но нечто странное понемногу ширится и горестно изумляет нас: все письма говорят о будущем.

Сколько бы Мари ни говорила: «Дальше… Другое…» — в каждом письме говорилось: «Как мы будем любить друг друга позже, когда наша жизнь станет общей… Как хороша будешь ты, когда все время будешь со мной… Позже мы поедем путешествовать, позже мы осуществим этот план, позже…»

Мы только об этом и говорили!

Незадолго до свадьбы говорилось, что вдали друг от друга мы растрачиваем дни и что мы несчастны.

— Что ты, — говорит Мари с каким-то ужасом, — неужели так и написано? А дальше, дальше…

Дальше в письме, от которого ожидалось все, говорилось: «Скоро мы не будем больше расставаться. Наконец-то начнется жизнь!» И говорилось о рае, о будущем…

— А дальше?

— Дальше ничего больше нет: это последнее письмо.

* * *

Ничего больше нет. Как театральная развязка, которая вскрывает истину. Ничего нет общего между раем ожидаемым и потерянным раем. Ничего нет, потому что всегда жаждут того, чего не имеют. Надеешься, потом жалеешь. Надеешься на будущее, потом бежишь в прошлое и, украдкой, страстно начинаешь сожалеть о прошлом! Два чувства, самые сильные и самые живучие, надежда и сожаление, оба опираются на небытие. Просить, просить, не получать! Человечество точь-в-точь как нищета. Счастью нет времени жить; действительно, нет времени, чтобы исчерпать то, что есть. Счастье — это то, чего нет, и все же, в какой-то день, его уже не существует!

Я вижу, она опустилась на стул, вздыхает, мечется, раненная насмерть.

Я беру ее за руку, как недавно. Говорю, чуть смущенно и наудачу:

— Любовью тел не исчерпывается любовь.

— Это любовь! — отвечает Мари.

Я не отвечаю.

— А-а! — говорит она. — Мы пытаемся играть словами, но от истины укрыться нельзя.

— Истина!.. Я скажу тебе, чем я был на самом деле…

* * *

Нагнувшись к ней, я не мог удержаться, чтобы не сказать, не выкрикнуть это громким и дрожащим голосом. Не сейчас стала назревать во мне трагическая форма моего нечаянного признания. Меня обуревало какое-то безумие искренности и простоты.

И я разоблачаю перед ней мою жизнь, протекавшую все же рядом с ее жизнью; всю мою жизнь, со всеми грехами и грубостью. Я открываюсь перед ней в своих желаниях, потребностях, падениях.

Никогда не обрушивалась на женщину исповедь более откровенная. Да, в совместных судьбах мужчин и женщин, чтобы не лгать, надо быть чуть ли не безумцем. Я ворошу прошлое, перечисляю похождения, сменявшие одно другое, и даже неудавшиеся. Я был обыкновенным человеком, не хуже, не лучше других, вот я, вот мужчина, вот любовник.

Я вижу, она привстает в этой маленькой, вдруг потускневшей комнате. Она боится истины! Она смотрит на меня, как смотрят на святотатца. Но

истина овладела мной и не может больше меня освободить. Я вызываю в памяти то, что было: и та, и эта, и все те, кого я любил, не потрудившись никогда узнать того, что каждая приносила мне, принося свое тело. И свирепый эгоизм, который ничто не утоляло, и дикость моей жизни рядом с ней. Я говорю все, даже не пытаясь ослабить удары, умолчать о грубых подробностях, словно выполняя до конца жестокий долг.

Она то шепчет, как бы вздыхает: «Я это знала». То, чуть ли не рыдая, говорит: «Правда». Иногда у нее вырывался робкий протест, упрек. Но вскоре она уже слушала настороженно. Ее словно захватила великая искренность моего признания; и я вижу: в милой, светлой еще стороне комнаты замолкает понемногу женщина, у которой на волосах, на шее и руках блестят крупицы неба.

…И самым постыдным было то, что в прошлые дни, когда я терял голову от новизны незнакомок, я клялся им в вечной верности, говорил о сверхчеловеческом влечении, божественном экстазе и сакраментальных судьбах существ, которые созданы друг для друга, извечно жаждут друг друга и должны соединиться вопреки всему, — все, что только можно сказать, увы, почти искренне, чтобы добиться своего! Во всем этом я ей испо-

ведовался, каялся, словно освобождаясь наконец от лжи, от зла, причиненного ей, и другим женщинам, и самому себе. Инстинкт есть инстинкт; пусть он существует как сила природы, но ложь растлевает.

Я чувствую, как во мне подымается проклятие этому слепому обожествлению мира плоти, потому что плоть — сила; я был игрушкой в ее руках, как все, всегда и всюду... Нет, два чувственных любовника не два друга. Скорее, два врага, связанные близостью. Я это знаю, я это знаю! Есть, должно быть, совершенные пары — совершенное всегда где-то существует, — но мы, остальные, мы все — люди обыкновенные. Я знаю! Истинная ценность человека, тонкая прелесть мечтаний и сложная тайна индивидуальности, — любовникам все это безразлично! Очная ставка двух эгоизмов, исступление. Оба полностью жертвуют собою вспышке страсти. Они готовы подчас вырвать радость силой, будь для этого достаточно преступления. Я это знаю, я это знаю от всех, с кем я бывал поочередно близок, и кому я осквернял тело, и кого я презирал, не желая взглянуть на них, — даже от тех, которые были не лучше меня.

И эта потребность новизны отмечает чувствен-

ную любовь непостоянством, побуждает искать одну и ту же дрожь в других телах — которые отбрасываешь, как только они теряют новизну, — и превращает жизнь в сатанинскую цепь разочарований, злобы, презрения, обращая нас в жертву несбыточной надежды и напрасных раскаяний. Пытаешься забыться, ударившись о предел воли человеческой. О, эти рты, они произносят лишь слова, скрывающие мысли; эти лучистые глаза, они никогда ничего не освещают! Любовники, упорствующие в борьбе, мучают друг друга; имя их общей пытки сначала: отсутствие, затем: присутствие; покинутый не тот, кто возвращается один, как Олимпио; те, что остаются вместе, разлучены бесповоротнее.

По какому праву любовь тел говорит: «Я — и сердце и душа, и мы нераздельны, и я влеку за собой все, и в победах и в поражениях. Я любовь!» Неправда, неправда. Лишь насилием овладевает она мыслями, а поэты и любовники, и те и другие немудрые и ослепленные, наделяют ее величием и глубиной, которых в ней нет. Страсть сильна и прекрасна, но она — безумие и обман. Лица преображаются, влажные губы шепчут: «Быть безумцем утонченно». Нет: заблуждение всегда — пятно.

В углу комнаты, у занавеса, стоя неподвижно, я говорю вполголоса, но мне кажется, что я кричу, защищаясь от чего-то.

Когда я кончил говорить, мы были уже не прежние, потому что не было больше лжи.

Минута молчания. Мари подымает голову. Лицо у нее растерянное, глаза пустые. Она спрашивает:

— Но если та любовь — обольщение, что же остается?

Я подхожу к ней, смотрю на нее, хочу ответить. Она сидит спиной к окну, за которым еще брезжит бледное небо, я смотрю на ее волосы, посеребренные лунным светом, и на ее лицо, затененное сумраком. Смотрю вблизи на частицу прекрасного, которым отмечено ее лицо, и думаю, что я бесконечно привязан к этой женщине, и неправда, что она нужна мне меньше потому, что желание не влечет меня к ней, как прежде. Привычка? Нет, не только она. Привычка, простирающая на все свою вкрадчивую силу, быть может, связывает и нас. Но есть и большее. Сближает нас не только теснота комнат. Что-то большее. Что-то большее. И я говорю:

— Существуешь ты.

— Я? Я — ничто, — говорит она.

— Нет, ты все, ты все для меня.

Она встает. Она пытается что-то сказать, она опускает руки мне на плечи, но, ослабев, падает мне на грудь, цепляется за меня, и я несу ее, как ребенка, на старое кресло в глубине комнаты.

Вся моя сила вернулась ко мне. Я не раненый, не больной. Я несу ее на руках. Существо, равное тебе, — тяжелая ноша. Как ни силен ты, едва ее выдерживаешь. И то, что я говорю, глядя на нее и ощущая ее, я говорю потому, что я силен, а не потому, что я слаб:

— Ты все для меня, потому что ты — это ты, и я люблю тебя всю.

И мы думаем вместе, как если бы я говорил, а она слушала:

«Ты — живое существо, ты существо человеческое, ты — бесконечность, и все, что ты есть, связывает меня с тобой. Твои страдания, — вот только что, — твои жалобы над обломками юности и призраком любви связывают меня с тобой, я чувствую их и разделяю их. Тебе, как ты есть, могу я, такой, как я есть, сказать наконец: „Я люблю тебя“.

Я люблю тебя, тебя, которую по-настоящему вижу, и ты по-настоящему моя вторая жизнь. Нам не нужно закрывать глаза, чтобы быть вместе.

Все твои мысли, все твои желания, твои замыслы, твои предпочтения находят отклик во мне, и я понимаю, что для этого они не должны быть схожи с моими (ибо свобода каждого — часть его ценности), и мне кажется, что я лгу тебе всякий раз, когда не говорю с тобой». И я только продолжаю свою мысль, когда вслух говорю:

— Я отдам жизнь за тебя и заранее прощаю тебе все, что ты можешь когда-нибудь сделать, чтобы быть счастливой.

Она тихонько сжимает меня руками, и я чувствую — слезы ее шепчут и слова поют в созвучие моим.

И мне кажется, в нашей маленькой комнате истина нашла свое место, воплотилась и обрела признание в величайшей привязанности, какой только могут быть связаны два существа, величайшей привязанности, которой мы не знали и в которой все спасение.

— Раньше я любил тебя ради себя, теперь я люблю тебя ради тебя.

Когда смотришь прямо, приходишь к тому, что видишь непостижимое событие: смерть. Единственно, что имеет значение во всей нашей жизни, наша смерть. В ее страшном свете тот, кто должен когда-нибудь умереть, может судить

о своем сердце. Я знаю, что для меня смерть Мари равносильна моей собственной смерти, и мне кажется, что в ней одной на всем свете живет мой образ. Мы не боимся слишком большой искренности и говорим о смерти, глядя на кровать, которая ждет неизбежного, но предназначена также для того, чтобы на ней не проснуться. Мы говорим:

— Наступит день, когда я начну что-либо и не кончу… Это будет прогулка, письмо, фраза или сон…

Я наклоняюсь, смотрю в ее голубые глаза. Я вспомнил вдруг черное окно вдали, открытое настежь в ту ночь, когда я был на краю смерти. Я долго всматриваюсь в эти ясные глаза и вижу, что погружаюсь в единственную могилу, которая у меня будет. И мое любование почти неизъяснимой красотой этих глаз — не обольщение и не жалость.

Что происходит с нами сегодня вечером? Что значат эти взмахи крыльев? Не открываются ли наши глаза с приближением ночи? Раньше мы испытывали перед небытием животный страх любовников; но теперь для нас умереть прежде всего значит расстаться, и это — самое простое и самое торжественное доказательство нашей

любви.

И узы плоти — мы больше не боимся думать и говорить о них, говорить о том, что мы были ими привязаны друг к другу, что мы познали друг друга до конца, что тела наши не знают тайны. Это воспоминание, эта печать на телах — глубокая ценность, и любовь, обоюдно озаряющая два существа, создана из всего, что у них есть и что у них было.

Я стою перед Мари, почти уже обращенный, и дрожу, и шатаюсь, — так мое сердце владеет мною.

— Ты видишь, истина прекраснее мечтаний.

Истина, она единственная, пришла к нам на помощь. Истина дала нам жизнь. Нежность — величайшее из чувств человеческих, потому что она сочетает уважение, ясность и свет. Понять — значит постигнуть истину, в этом — всё, а любить — то же самое, что познать и понять. Нежность, которую я называю также жалостью, потому что не вижу между ними различия, побеждает все своим ясновидением. Чувство это беспредельное, как безумие, но мудрое единственное совершенное проявление человечности. Нет ни одного глубокого чувства, которое не уместилось бы в руках жалости.

Понять жизнь и полюбить ее в другом существе — в этом задача человека и в этом его талант; и каждый может посвятить себя, полностью, только одному человеку; только один у нас истинный сосед на земле.

Жить — значит ощущать радость жизни. Полнота жизни… Расцвет ее не облечен в мистические формы, о которых напрасно мечтаешь, когда парализован юностью. Это скорее форма тревоги, трепета, страдания и подвига. Сердце не создано для отвлеченной формулы счастья, потому что истина вещей также для этого не создана. Оно бьется для волнений, а не для покоя. Такова природа истины.

— Ты хорошо сделал, что рассказал мне все! Да, легко солгать на минуту. Можно было бы лгать и дольше, но когда мы проснулись бы от лжи, было бы хуже… Сказать — это искупить; единственное, быть может, искупление, которое существует.

Она говорит проникновенно, слова ее доходят до глубин моего сердца. Теперь она меня поддерживает, и мы оба ощупью отыскиваем то великое, что находят, когда сознают свою правоту. Согласие Мари так безоговорочно, что кажется неожиданным и трагичным.

— Я словно окаменела от заброшенности и

скорби. Ты меня оживил; ты превратил меня в женщину…

…Я искала утешения в религии. Не очень-то веришь в бога, пока он не нужен. Когда все потеряно, обращаешься к богу. Но теперь я этого не хочу.

Так говорит Мари. Одни святоши и слабые нуждаются в обольщениях, как в лекарстве. Остальным нужно лишь видеть и говорить.

Она улыбается, призрачная в ясности вечера, между светом и тьмою. Я так близок к ней, что становлюсь на колени, чтобы быть еще ближе. Я целую ее мокрое лицо и нежный рот, держа ее руку обеими руками.

Сентябрь 1918 года